Вадим Сафонов

2

Вадим Сафонов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Вадим Сафонов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРЕХ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983

Вадим Сафонов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ВТОРОЙ

ПОВЕСТИ О БЕССМЕРТНЫХ СУДЬБАХ

НА ГОРАХ — СВОБОДА!
Роман

Рассказы



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983

Р2
С22

Оформление художника
Г. Шипова

С $\frac{4702010200-125}{028(01)-83}$ подписное

Повести о бессмертных судьбах

УЗКИЙ ПУТЬ И ТЕСНЫЕ ВРАТА

Гибель Пушкина... Всякий, кто прикоснулся к дуэльной истории, мучающей наше сознание вот уже скоро полтора века, не может не ощутить нечто смутное, непроясненное в ней. Все мы ощущаем это...

Недавно один из самых блестящих пушкинистов, Сергей Михайлович Бонди, высказал новую догадку. Решает ли она дело либо нет, во всяком случае на многое заставляет взглянуть по-иному. Научное обоснование остается задачей автора. Я же отважился лишь на обоснование, если можно так выразиться, литературное, опираясь и на издавна сложившиеся у меня мысли по некоторым частным вопросам, и на пристальное прочтение того, что составило последний этап поэтической работы Пушкина. Я бы назвал это документальной повестью. Поиск ведет герой, следуя логике собственного образа, вслушиваясь в свидетельства, вглядываясь в реалии места и времени, группируя факты — стремясь «вжиться».

Все это не претендует, разумеется, заместить строгое исследование, какого, повторю, следует ждать от С. М. Бонди, без чьей основной идеи это повествование не стало бы возможным.

Считаю себя обязанным оговорить это.

В. С.

1

Я отлично представляю тот день, который мой друг, или, скажу осторожнее, знакомец, Вольховский задумал провести по-особому.

Он вышел из гостиницы «Ленинград». Возносящаяся ввысь плоскость фасада смотрела ему в спину всем своим голубоватым стеклом. Миновал кораблик на постаменте. Спустился по отлогим цокольным ступеням, осторожно пересек прибрежную магистраль с шумным, ни на миг не замирающим движением.

И водный мир сверкнул ему навстречу холодным режущим блеском, от которого невольно пришлось зажмуриться.

Лед непрочен, жался к граниту, к мостовым быкам, дороги, проломанные ледокольчиками, зияли и стыло, свинцово ширились, в них видна была работа воды, туго струящейся, мелко наплескивающей на закраины. Вертелись верткие катерки, медленно, с глухими скрипами двигались трудолюбивые буксиры. Шла своя, собой занятая неустанная жизнь. Над разводьями, над сверкающей гладью, насколько хватало глаз, вились чайки, морские чайки с мурлыкающими криками, вдали они казались снежными хлопьями.

И весь город точно овеян этой влажностью, подчинен сияющему простору. С витающей слабой дымкой, дымкой-невидимкой по всему исполинскому размаху. От Смольнинского собора на дальнем краю. Через пеструю ленту набережных с коротеньким, если глядеть отсюда, разрывом — там Летний сад, знаменитая его решетка и горбик за нею, в уголку, среди голых ветвей: петровский домик-дворец. Вплоть до золотого шлема Исаакия, мерцающего над разлитым морем крыш на другом краю. Дальше сквозят вздернутые шеи, натруженные плечи

кранов — уже начинается, километр за километром протянулась территория порта. Сквозь нее река устремляется к заливу...

Удивительная особенность города, не громоздящегося, но ковром настеленного!

Достигнув предела, взгляд скользит обратно. Кировским мостом переносится через реку сюда, на этот берег. Где-то остается позади Пушкинский Дом, чье имя «не пустой для сердца звук», как неоспоримо на все минувшие с тех пор шесть десятилетий сказал Александр Блок. Этот Дом (хоть отсюда его не видно) — такая же неотъемлемая составная часть пейзажа, как и три тонких трубы на стальном корпусе, узком, вытянутом вверх, непривычном, немыслимом для боевого корабля в наши дни: совсем рядом стоит «Аврора», живьем вплывшая из давно минувшего времени! Курится дымок, утром и вечером слышно, как играют зорю, доносится властная команда перед выстроенным в линейку экипажем — продолжается легендарная жизнь крейсера на вечном якоре!

Пейзаж, которого не передаст никакая фотография. Тот, что станет сниться,— со всей своей завораживающей силой...

И Вольховский спросил себя, есть ли еще город с таким живым ощущением пролетевшего, но непогашенного, как бы присутствующего времени? Город, так стойко оберегающий внутреннее свое ядро в его всесильном потоке? И притом — сегодняшний, самый современный, полный кипучей, никогда прежде не мыслимой жизни!

Очутившись в нем сегодня, разве не узнал бы Пушкин хотя бы этот кругозор, в общих его очертаниях,— кругозор, так знакомый ему, открывшийся в последний раз у Троицкого моста, тогда, в роковой день 27 января 1837 года!

Финляндский вокзал в двух шагах, и на второй остановке электрички через несколько минут окажешься там, куда через весь город ехали тогда Пушкин с Данзасом. Проще простого! Только смотря по тому, чего ищешь. Туристы, им некогда, они, верно, так и поступают. И неважно, что ничего похожего не было тогда на Выборгской — слободки, церковки, пустоши, заборчики, «смиренные лачужки», вроде описанной самим Пушкиным в «Домике в Коломне», или другой, подобной же, где жила

невеста маленького чиновника Евгения из «Медного всадника». Долго так все и оставалось. Еще Достоевский, повествуя в «Скверном анекдоте» про ночные похождения некоего превосходительства, ставшего генералом на свадьбе, описывает деревянные мостки на улицах, одноэтажные халупы — и где же? На Петроградской стороне, рядом с Большим проспектом!

Нет, если хочешь понять *тот* путь, дальний проклятый путь, как он пролег на склоне ясного, светлого, с веселыми зимними развлечениями январского дня, навсегда с той поры окрашенного черным цветом; если хочешь ощутить реальность движения, тяжесть простертой земли,— легкий способ заказан.

Так и думал Вольховский. Пушкин бесконечно много значил для него.

Значил не только Пушкин-поэт, а и самая личность его.

Началось это у Вольховского с юношеских ранних лет — впрочем, как и у миллионов других людей.

Однако что-то в напряженности такого интереса было и свое собственное.

Помню самое первое время нашего с ним знакомства.

— Вольховский,— сказал он и протянул руку дощечкой.

— Как? — переспросил я.

— Именно,— подтвердил он.— Пушкинский лицейский товарищ. Генерал-декабрист. Его разумел Пушкин в нескольких стихотворениях. Ему послал «Историю Пугачева», переименованную царем Николаем в «Историю пугачевского бунта».

— И вы в самом деле...

— Отец говорил — со своей обычной ужимкой, как он любил в таких случаях, можете вообразить? (Как это я мог вообразить?) «Не жди, подтверждать не стану. Бумажки хочешь? Нет бумажки. Ты просто запомни: мы от *того* Вольховского. А выводы — вырастешь, сам сделаешь».

С Вольховским-отцом я не имел чести быть знакомым. Но с такой же точно ужимкой произнес все это и сын, истинный сын своего отца.

Сколько я понял, выросши, он сделал вывод о баснословности родословия, подобного множеству иных предполагаемых. Сватали же за рубежом Юрия Гагарина к князьям Гагариным, чтобы сразу с избытком воспол-

нить их оскудевшую честь. Да чем только черт не шутит! Сам Вольховский рассказал мне (он вовсе не был лишен чувства юмора) об известной ему в Москве вполне современной даме, какая кокетничала висящим у нее дома портретом Александра Христофоровича: фамилия ее была Бенкендорф, а сведения о том, чем прославился обер-жандарм, идиллически туманны...

Все же Вольховский вырос под впечатлением отцовских назиданий. И какую-то роль они сыграли.

Судьба свела нас в командировке — в заводском старинном уральском городе, в одной гостинице, в одном номере. И хотя задачи поездки (у каждого из нас свои) никак не касались событий в Санкт-Петербурге полтора века назад, но несколько вечеров мы с Вольховским напролет проговорили о Пушкине. Знал он чрезвычайно много. Подчас склонен был к острым и крайним суждениям — его «заносило» (эту черту я за ним сразу подметил). Но «заносило» с таким огнем и азартом, что, ей-богу же, иной раз он увлекал за собой собеседника.

Он упорно возвращался к финальной трагедии. Его не покидало ощущение, что, несмотря на все сделанное с тех пор, как Вяземский написал о «тайнах, окружающих несчастный конец Пушкина», несмотря на кропотливые поиски, находки, глубокие исследования, что-то остается непроясненным. Словно доходишь до незримой черты, настолько зыбкой, что вроде и нет ее; а тут и застопориваются поиски.

— Да ведь,— говорил Вольховский,— все участники, прямые, косвенные, люди, населявшие и тогда уже огромный город, давным-давно не существуют. Вопросов задавать, стало быть, некому... Слушайте, а вам никогда не приходило в голову... никогда не грезилось — вообразить себя на тех улицах?

— Не так это легко,— возразил я.— Ну хоть начать с того, помимо всего прочего, что человек среднего роста шел бы, выдаваясь над головами встречных. Гулливер не Гулливер, но... Толпа была малорослей. Так сказать, вся улица ниже.

— Да, конечно. И Пушкин вовсе не производил впечатления особенно «маленького». Я знаю. Он попадал в обширнейший слой людей сходного сложения. А беззаботный младший Левушка доставал лишь по брови и своему брату Александру. Ну, чуточку выше. И это ни капельки не препятствовало ему браво носить майорские эполеты.

— А малолюдство улиц? — упорствовал я.— Народ погуще разве что на бойких местах, на рынках да на тротуарах Невского. А так — лишь редкие прохожие. Проскрипит возок. Протрюхает запряженная в сани лошаденка, звякая бубенцом. Сонная тишь, либо завьет поземка столбики колючей белой пыли, от которых будочник-инвалид в затасканном латаном старье укроется в свою полосатую конуру.

— Ну что ж,— сказал Вольховский.— Довольно живописно. Всё?

— Нет, почему же? Наступает черный вечер, темнее, черней нынешних городских. Скупые огоньки, фонарики-сударики, слабосильно полосующие тьму... Забежите в магазин, в лавчонку — обогреться. Звякнет колоколец. Пусто, в больших — чинно зевают приказчики. Их особый, приказчичий суетливо-угодливый жаргон уснащен словоерсами. В мелочных лавчонках шибает в нос неистребимо тяжелый дух. А днем — воробьи возятся на улице, разваливая теплые золотистые конские яблоки — от них парóк. Несколько раз на дню церковный трезвон — глубокие раскатывающиеся удары соборных, мелко и дробно частят приходские. Гораздо меньше чисто физических соприкосновений между людьми — таких, какие теперь привычны, будничны, неизбежны в метро, в трамваях, автобусах, троллейбусах. Иную тогдашнюю юбку, сложное сооружение, и не вывезешь «в свет» иначе, чем в карете.

— Ну, а в церквах, про которые вы только что?..

— И в сырых подвалах, где спали вповалку. На ярмарках, на торжищах. Однако вспомните, как говаривали: церковь битком — вошел городничий, раздались на стороны, прошагал точно по ковру. Глубокие трещины рассекали общество, расслаивая его, напрочь отрывая «чистых» от «нечистых», кучку «господ» от всех остальных — от купцов, мещанства, уж не говорю про «людей» этих же бар... И словечко-то какое — «люди»! Не много ли возьмет на себя тот, кто похвастает, будто он ясно все это себе представляет?

— Камешек в мой огород! Признаю: пусть сложней, чем, может быть, я первоначально... Тут вы правы, отдаю должное. А вот кое в чем и перехлестнули. Отсекли напрочь — слишком решительным взмахом. Что-то было и проще, и понятней. И обыкновенней. Человечней, чем звучит в вашем воображении,— иначе что бы значил для

нас Пушкин? К тому же, как бы ни было, я решился. Словом — хочу попробовать.

— Что попробовать?

— *Вжиться*. Проделать тот же путь. Последний. Как ехали.

— Шаг за шагом?

— Насколько сумею. Да. Предлагаю вместе.

— День в день? Это значит... постойте, 8 февраля.

— Первый ваш промах. Справедливость соблюдена: каждому свой черед. Существовал *один* календарь. Юлианский. Старый стиль. 27 января. Но числу я не придаю такого значения. Вы не можете гарантировать день, точь-в-точь залитый *веселым*, не меркнущим с утра до сумерек солнцем. И с легким, льющимся в грудь, наполняя все тело особенной бодростью и силой, *вкусным* морозцем. Вон, слышно, климат изменился. Помните: «люблю зимы твоей жестокой» — где она? Циклон, антициклон, дыхание Атлантики, дыхание фабричных труб по всей Европе... И если уж до конца — мне дороже «Невы державное теченье», чем Нева, изъятая из *его* города ледяной броней. В общем, достаточно светлых зазимков. Но непременно светлых, ясных. Да и случай выпадает — еду через две недели. Угодно вместе? Решаетесь? Или... что-нибудь вам непонятно?

— Да нет, а только личные мои дела сейчас, при всей соблазнительности...

— Выходит, разошлись! — чересчур поспешно, с явным облегчением умозаключил он.— Разошлись, как...— со своей ужимкой ухмыльнулся.— Вы получите полный отчет! И обсудим, обещаю,— чего там, в Москве почти соседи! — так он торопливо закончил, чтобы не дать мне возможности передумать.

Я понял: по дружному уверению фантастов, машина времени рассчитана лишь на одного пассажира.

2

27-го «встал весело, после чаю много писал — часу до 11-го». Короткие, для себя записи Жуковского о Пушкине...

Встал в 8 часов!

Утром, по камер-фурьерскому журналу, всего 2° мороза. Потом похолодало — еще ярче сделался день.

Тут, под окнами квартиры в первом этаже на Мойке, ощутишь по-особенному: «весело», «много писал». Знаешь, нет — кожей чувствуешь (так рассказывал Вольховский), *какой* день начинался ранними *обычными* рабочими часами. Здесь, под *этим* окном, легче, чем где бы то ни было, вообразишь трудовую тишину кабинета. Полки читаных-перечитаных книг-друзей, с резкими пометками карандашом, а то и чертой ногтя. Полки и по стенам, и еще поперек. Солнечный зайчик впрыгнет через стекло со двора, сядет на головку негритенка-«арапчонка», фигурки чернильного прибора (подарок Нащокина), на очень простом, с прямыми ножками письменном столе. И арапчонок, напоминающий об «арапе Петра Великого», о предке, арапчонок, засиявши, будет смотреть на привычно склоненную кудрявую голову, на лицо, совсем по-прежнему озаренное удивительными голубыми глазами,— вовсе не то желтое лицо, желчное, с угрюмым диким взглядом исподлобья, которое запечатлено на страшном портрете Линева: косматая, втянутая в плечи голова, словно сжался в комок, ежеминутно готовый к удару. Нет, ничем не похожее на то,— некрасивое, *прекрасное* лицо сейчас за столом, даром что не так уж свиваются кольцами темно-русые кудри — и сколько серебра вплетено в них!

Только не заходить! Подожди под окном. Только не помешать важным занятиям человека с нижнего, не главного, не барского этажа дома князей Волконских!

Вот он пишет, сам запечатывает, отсылает письмо Ишимовой, писательнице, переводчице, составительнице «Истории России в рассказах для детей» (сегодня — в такой день! — он опять раскрыл ее книжку и «зачитался»!). Деловое, редакционное письмо, приложил и книгу Барри Корнуола, отметил, что́ перевести для «Современника», извиняясь, что не заедет к ней по ее приглашению,— это ничего не значит, речь идет только о сегодня, жизнь и работа продолжаются.

В одиннадцать сел обедать, как пишет Жуковский,— совсем ранний, не по-петербургски, обед, до полуденных курантов, или до пушки, вернее — второй, плотный завтрак, ленч, обед же еще будет ждать: когда, в ночной темноте, уже не выйдет сам из кареты, а преданный дядька Никита Козлов подымет и внесет домой, охватив руками его легкое тело, стол в столовой стоял накрытый...

Перед самым завтраком, а может — прямо к завтраку, приходил еще библиограф Ф. Ф. Цветаев, «который говорил с ним о новом издании его сочинений». Очень насыщенное деловое утро! Жизнь не оборвана, не приостановлена — да, она продолжается!... (До боли стесняется сердце, когда вживешься в этот последний день полного сил Пушкина!)

«Пушкин был весел», отмечает и Цветаев. Радушный хозяин, радостно озабоченный деловой собеседник; как легко было, вероятно, с ним!

А жены, кажется, так и не повидал, она-то еще не вставала (вполне по-петербургски) — так и лучше, проще. Жизнь врозь не в диковинку.

«Ходил по комнате необыкновенно весело, пел песни — потом увидел в окно Данзаса»,— в то окно, за которым сахарно искрился снег,— «встретил радостно».

Как донеслись адмиралтейские куранты, или полуденная пушка,— слава богу, вот и секундант! Улеглась последняя тревога. Помучился-таки с этим. Присмотрел вчера на балу у Разумовской англичанина из посольства Артура Медрениса,— тот подумал и прислал отказ. Написал д'Аршиаку, секунданту врага: давайте какого угодно, хоть егеря. Жесткий ответ: не может быть и речи — ваше дело. Приуныл было. Искать широко, афишировать нельзя — разнесется, прознают, и все опять к черту, как при том первом вызове в ноябре!

Все велось в таком скоропалительном темпе, что иные исследователи, даже до нашего времени, отказываются верить, что хлещущее по лицу письмо старику Геккерну (а «старик» был всего восемью годами старше, ему стукнуло 45),— что клокочущее яростью пушкинское письмо послано лишь вчера, во вторник, 26 января.

Ну вот теперь и секундант здесь. С божьей помощью,— ухмыльнулся,— здесь! (Сегодня он будет много шутить, ухмыляться.) Друг с детских лет Данзас хоть и француз по фамилии, крови, нраву (и привычнее разговоры с ним, как и все в этой дуэли, вести по-французски), но русский боевой офицер, раненный в турецкую кампанию. Верный товарищ Данзас, залученный в секунданты — с божьей-то божьей, но еще и ловко, хитро (ай да Пушкин!) поставленный перед совершившимся фактом, так что ему не отлынуть!

Очень скоро, в половине третьего, между секундантами Данзасом и д'Аршиаком будут согласованы и условия: барьер в десяти шагах, если — что невероятно: десять шагов! — не будет «результата», то есть оба промахнутся, все, таким же чудовищным образом, повторяется наново. Условия бойни. Из которой кому-то не уйти живым. Нынче же, в пятом часу.

Принял, даже не дочитав.

Самообладание почти сверхчеловеческое, бесстрашие героя, изумившее современников, спустя полтора века изумляющее нас. (Потом, в непереносимых мучениях, он прерывисто выговорил: «Смешно же, чтоб этот... вздор... меня... пересилил...» А лейб-медик Арендт признался: «Я был в тридцати сражениях, я видел много умирающих, но мало видел подобного». С тем же самообладанием на смертном ложе будет заканчивать свои дела. Поручит что-то по поводу каких-то бумаг, продиктует и даже своей рукой напишет список долгов. Вспомнит, что у Греча умер сын, надо было бы быть на похоронах — передайте извинения Гречу и непременно скажите о его, Пушкина, душевном участии!)

Самообладание. Но им одним не объяснить преддуэльное состояние духа Пушкина. Было тут и еще нечто. *Освобождение.* Разительная *сила* этого освобождения. Точно что-то враз сбросил громадно-гнетущее, душащее.

Что сбросил? От чего освободился?

3

Вымылся. Надел все чистое. В бекеше ступил на коротенькую, ведущую к выходу в подворотню лестницу своего небарского этажа. Почувствовал — холодает. Вернулся, переоделся в шубу. Очевидно, веря в разные приметы, не знал такой: нельзя возвращаться, пути не будет.

И бодро, весело (таким встретил его еще Федор Петрович Лубяновский, шестидесятилетний сенатор, живший на втором, барском, этаже) пошел к Невскому, в кондитерскую Вольфа — ждать Данзаса, чтобы прямо уже ехать «на место».

— Странная иллюзия! — прервал в этом месте свой рассказ Вольховский.— Выйди Пушкин сейчас из той же

квартиры, озабоченный своими мыслями, так что не бросился бы ему в глаза иной облик прохожих (которых и не густо здесь, в стороне от Невского), не приметилось бы и отличие уличного движения (машины тоже нечасты в этом месте, на набережной Мойки),— так бы и дошел до Невского или, если в сторону Зимнего, то мимо арки Главного штаба, Александрийского столпа на площади, стоячей Зимней канавки по совершенно тому же городу, будто и не пролетело полтора века!

...Выехали в санях около четырех — уже сильно выросли, раздвинулись дни (было и впрямь тогда, по нашему календарю, 8 февраля).

Все играло солнце.

На Дворцовой набережной встретили Наталью Николаевну, едущую с прогулки. Данзас, кто «по долгу чести» сам не смел ничего предпринять, чтобы отвратить чудовищное, к чему вез Пушкина, все же надеялся на спасительные случайности. Их могло быть много. И не сработала ни одна!

Вот, при всей стремительности событий, знала, видимо, Евпраксия Вревская, дочь тригорской хозяйки, заметно тучнеющая прежняя «Ефрозина — Зина» Вульф,— приехав в Петербург, она остановилась у родни мужа, Пушкин заходил накануне, обедал. Знала также накануне, если не за два дня, Вера Федоровна Вяземская, умница, близкий друг,— самого князя не случилось дома, да и ни словом Пушкин не обмолвился ему, напротив — замолчал, встретив в гостиной Разумовской, но ведь вернулся же Вяземский в конце концов домой, и впереди еще целый день, среда! А если все знала уже и за два дня, с 25-го?! А из домашних... Не утаил, кажется, не сумел утаить от сестры жены, свояченицы Александры, которую называли Александрина, Азя, «Ази́». Тревожно догадывались и видевшие Пушкина на том балу у Разумовской 26-го (куда приехал прямо с обеда у Вревской) — в напряженном разговоре с д'Аршиаком, с англичанином Медженисом. Совсем молоденькая Нарышкина, уже в браке за Воронцовым-Дашковым, та, про которую Лермонтов напишет: «Как мальчик кудрявый резва, нарядна, как бабочка летом», встретила на островах сани с Пушкиным и Данзасом, сани с Дантесом и д'Аршиаком, поспешила домой, ломая руки, стеная, как Кассандра:

— Свершается несчастье! Что делать? Кому сказать? «О горе, горе!»

Точно заклятье лежало на тех сутках, беспомощность, паралич воли одинаково поразили всех разных доброжелательных, предчувствующих страшное людей.

И вот — встреча на Дворцовой.

Но близорукая Наталья Николаевна не узнала мужа. А Пушкин глядел в сторону. А ведь все время болтал, острил — значит, ничего бы не стоило Данзасу сказать ему, обратить внимание какой-нибудь французской фразочкой, вроде «Mais voici votre femme!» — «Вот и жена!» Раз сам Данзас рассчитывал на спасительную случайность. Но сделать так — проще простого,— очевидно, запретила ему та же «честь».

И разъехались!

4

— Да. Разъехались,— сказал Вольховский.— А ведь не так-то просто нам отпустить ее!..

Что нельзя было впрямую признаться жене, поделиться — это, пожалуй, ясно. Ведь, формально говоря, дело шло как раз о ней. Но впрочем...

Вяземские, оба, муж и жена, говорили П. И. Бартеневу, собиравшему материалы о Пушкине, издателю «Русского архива», а Бартенев записал: «Пушкин не скрывал от жены, что будет драться. Он спрашивал ее, по ком она будет плакать. «По том,— отвечала Наталья Николаевна,— кто будет убит». *Кто будет убит!* Так стоит у Бартенева.

Можно возразить. Вяземские не присутствовали — *кто* им сказал? И кому из них — или обоим сразу? Не Пушкин же, с его гордостью. И уж не Наталья Николаевна. Так кто? Много лет спустя пересказали Бартеневу. Пересказали с пересказов... И тон делает музыку — каков был тон и контекст вопроса Пушкина, ответа жены: всерьез ли, не принимая всерьез? Боялась накликать, сказав: «По тебе»?

Однако сегодня, 27-го, хотел, *должен был* скрыть. Но ведь даже не попрощался, отправляясь, быть может, на смерть! А она? Не почувствовала ровно ничего? Не пригляделась к мужу в *такой* день? Встала, как всегда, поехала кататься. Заезжала к Мещерской, дочери Карамзина, к ней до этого завезли детей. Раскраснелась от мороза, от игры солнца «на синих, иссеченных льдах»,

от бега «санок вдоль Невы широкой». Как представить себе что-либо похожее, доведись почти что до любой нынешней обыкновенной семьи? Приходится допустить вовсе не привычную нам степень отъединенности. Иной способ семейного существования, «своей» жизни у обоих. И чтобы при этом никто не находил тут ничего чрезвычайного по меркам и нравам времени.

Впрямь, кому дивиться, если «две половины» в доме — заурядная вещь в том кругу, в чей обиход входили танцы в Зимнем и Аничковом, приемы и «рандеву» в гостиных, балы и маскарады в зале Энгельгардта — весь неумолимый ритуал «развлечений для избранных»!

Другое дело, считал ли это естественным сам Пушкин или всеми силами рвался прочь — то была кровоточащая рана его души.

Рвался прочь, испытывая в то же время и на себе каждодневное засасывающее действие трясины,— цена звания светского человека. Человека «комильфо».

Как бесконечно далеко ушел от нас весь этот безбытный быт! Как трудно, почти невозможно поставить себя на место какого-нибудь по горло занятого попрыгунчика-пустоцвета, «бездельника делового» (пушкинское слово!) с его мнимой жизнью, «вечным праздником быстро бегущей», не давая ему очнуться!

Вольховский помолчал.

— Вот тут, я признал уже, вы правы,— сказал он.— Белинского дома, в редакции мне легко вообразить. Но так, реально, как хромой бес, проникнуть в радужную пленочку, облекающую трон... Я пасую. Пас. От слишком многого, элементарного, азбучного надо отказаться. Включая самый язык.

Всевластие чужого, привитого и потому искусственного французского языка! С неизменным «вы», еще дальше отчуждающим друг от друга и без того отчужденных обитателей аристократических особняков. «Ты» оставалось лишь для наиболее интимного.

Надо ли верить (или исходит из мутного источника), будто Наталья Николаевна, жена Пушкина, красавица, «ровесница Бородина» (она родилась днем позже великой битвы), будто бы она была на «ты», на французском «ты» с кавалергардом Дантесом? Утаивая это от мужа? (Условности того времени сделали бы это не сравнимым

по значению ни с каким нашим нынешним разговором на «ты».)

Пушкин писал ей по-русски замечательные, человечные письма. Как отвечала она? Не сохранилось, не найдено — не знаем.

— В ушах стоит крик впавшей в отчаяние женщины, теперь-то осознавшей, что́ значило происходившее около нее, к чему, страшному, привело,— крик упавшей на колени у ложа умирающего после дуэли: «Tu vivras!» Не «ты будешь жить», а «Tu vivras». Даже в такой момент!

(Да и слову «дуэль» чаще придавали мужской род — как на французском. «Дуэль не кончен» значится в шуточном экспромте Пушкина после кишиневского поединка с полковником Старовым.)

Красавица. Это срослось с ней. «Венера», «Психея». Современники не скупились на восклицательные знаки. Ее портрет-миниатюра притаился на внутренней крышке царского медальона. Царь за руку подвел к царице: «Смотрите и восхищайтесь!» И услужливый живописец начал тотчас писать акварелью «в костюме Ревекки», чтобы не лишить и потомков возможности восхититься.

— Вы таким тоном пересказываете чужие свидетельства, будто «резервируете», по выражению дипломатов, свое несогласие,— перебил я Вольховского.

— Не знаю, откуда это вы... Вполне возможно, все так и было. Только по сохранившимся портретам и по тому, как они написаны, судить трудно. Хотя бы оттого, что с каждого глядит как бы другое лицо, по-своему толкуемое и, в меру разумения, приукрашаемое художником. В который раз пожалеешь, что не было фотографии,— ее сфотографировали лишь пожилой, когда пополнела, стала круглолицей, впрочем сохранив, видимо, точеный профиль. А кроме того — признаюсь, превосходные степени настораживают. Припомните-ка ядовитое толстовское замечание, что папа не просто святой, но святейший. Вот на самом известном портрете — очень юна. С сиянием юной свежести. Чуть капризное, избалованное выражение лица — хотя в гончаровской семье, с деспотической, считающей копейки святошей матерью и душевнобольным отцом, о баловстве не могло быть речи. Высоко, мраморно открытый лоб — пушкинскую Татьяну воображаешь иной...

Была, не забывайте, близорука. И выше мужа — 173 сантиметра по мерке на двери замка в Бродзянах.

Если уж мерить классическими канонами... Глаза теснее, сближеннее, чем надо, на широко известной акварели Александра Брюллова (вот она, условность портретов!), однако ни акварель Гау, ни макаровский портрет не подтверждают этого. Впрочем, один ученый немец, Отто Штратц, в изданной в Штутгарте в 1906 году книге «Красота женского тела» горделиво написал: «Как я показал в моей магистерской диссертации, идеально красивых женщин не бывает».

Я же хочу подчеркнуть лишь одно: что в женской красоте, в том, как она оформлялась, а еще больше — в стиле изображения, каждой эпохе присущ свой стандарт. Опять-таки не универсальный, но господствующий в определенной общественной прослойке. Стандарт времени и места. Да что далеко ходить — за целых полтора века! Возьмем гораздо ближе. На нашей с вами памяти — мы же не вчера родились...

— Увы,— вставил я.

— Есть плюсы и минусы — не станем думать, что перевешивают минусы... Так вот, я пожалел, что не было фотографии: поглядите именно не на портреты, а на фотографии знаменитых кинодив двадцатых годов, которыми, нимало не усомнюсь, вы восхищались. И карточки, не отрицайте, держали так, чтобы почаще любоваться. Поглядите-ка на эти начесы, букольки, глаза, зияющие прямо из-под низко надвинутой громадной широкополой шляпы, как... как убирающееся шасси под самолетом! Стереотип лица, сложения, даже позы. Предусмотренный размер груди. Положа руку на сердце — кажется ли вам это сегодня таким же неслыханно прекрасным, как в ту пору? Время приукрашивает, ретуширует; время и отнимает. На протяжении жизни одного поколения! Согласимся же с Пушкиным: «Красота дело вкуса» — значит не на все времена и все вкусы. А сказал он это в том отрывке «Гости съезжались на дачу», который послужил последним толчком для Толстого, чтобы начать «Анну Каренину»...

Круто оборвал:

— Все эти разборы... вот которыми мы с вами сейчас занимаемся... ей-богу же, они лишь щекочут наше любопытство, не больше. Дело ведь идет о Пушкине, *Пушкине*, а мы шмыгаем в сторону.

Но мы еще говорили о Наталье Николаевне, «маленькой Таше», как звали ее в гончаровской семье,— тема

оказывалась не такой уж «сторонней». О том, что, по крайней мере в первые годы замужества, писала стихи, а Пушкин, с добродушной шуткой, их не читал. О письмах ее брату Дмитрию. Об умиротворенных (но не чуждых житейским треволнениям), обширных письмах спокойно, благодарно любящей жены, заботливой многодетной матери второму мужу, Петру Петровичу Ланскому, вероятно,— хорошему человеку.

— Без вины виноватая,— сказал я.— Во всяком случае, Лермонтов примирился с нею после долгого разговора на прощальном вечере у Карамзиных 12 апреля 1841 года — перед самым отъездом на Кавказ, под пулю Мартынова. Немалого стоит примирение написавшего непримиримую «Смерть Поэта»!

— Да, конечно. Все же меня, сейчас особенно, не покидает ощущение несоразмерности случившегося — гибели великого поэта, трагедии не только нашей, национальной, но и всечеловеческой,— с усидчивым уяснением свойств и качеств, внешних, внутренних, женщины, которая была бы давно забыта, не одари он ее, на немногие годы, волшебным именем: *Пушкина*.

И, совсем непохоже на себя, миролюбиво улыбнулся:

— Я лишь это и хочу подчеркнуть. Еще несомненней мне это стало там, на Дворцовой, где мелькнула, вихрем пролетела, разминулась в искрящейся морозной пыли! Поехали дальше...

5

Вот он, тогдашний, деревянный Троицкий мост.

Пушкин мрачновато пошутил (он шутил все время):

— Уж не в крепость ли везешь?

— Самая короткая дорога на Черную речку!

Навстречу сани, сани, кареты с гербами — сегодня, хотя день вовсе не праздничный, очередное светское развлечение: катанье с гор на островах.

Все знакомые, кто-то увидел в санях Пушкина, знаменитого поэта, с Данзасом, «храбрым Данзасом» (и рука у того, может быть, была уже на перевязи — таким встретит его через несколько дней Софи Карамзина: ныла и открылась старая рана, а лицо было тогда мокрое от слез),— кто-то увидел, узнал, замахал руками, весело закричал:

— Куда вы так поздно — все уже разъезжаются оттуда!

Данзас и д'Аршиак нарочно везли, каждый — «своего», через гулянье, неловко перекладывали ящики с оружием, роняли пули — пусть увидят, вмешаются, остановят. Ребяческие попытки, наивные надежды...

Проспект — снежная дорога. У мостков по сторонам скребут лопаты дворников в фартуках. И вдоль по всей улице — сани на острова, с островов, сани с подрезами, писаные, открытые, низко посаженные возки. У понуро стоящих кляч заиндевели гривы: «ваньки» напрасно дожидаются седоков. Мчатся лихачи, запахнута, заправлена медвежья полость. Заливаются бубенчиками сытые, гладкие гнедые, вороные, караковые, серые в яблоках. «Па-ади! Па-ади!» — «Эх вы, залетные!» Покачивается белый султан. Рука в перчатке взлетает приложиться к киверу. Несутся, распахнувшись, кутящие купчики. Хохочут парочки — захватывает им дух от быстрой езды, и весело им до слез.

Издали видны муравьиные кучки народу на перекрестках.

Как билось горячее пушкинское сердце на этой длинной дороге!

Весел, спокоен — *освободился*, но нет, не равнодушно билось. Скорее — как он сам однажды изобразил, со своим кипучим, метким юмором, говоря о тревожно-радостном напряжении ожидания:

То так,
То пятак.
То денежка.

Повторив при этом любимое присловье — как утверждающий кивок головой: «Очень хорошо!»

6

Так что же случилось, что случилось около 25 января, или ко вторнику 26-го, что вызвало взрыв, бешеное письмо Геккерну, кого даже царь Николай Павлович назвал гнусной канальей?

Ничто не лежит на поверхности.

Недоумевали уже современники.

Всего две недели назад, 10 января, Дантес повел к алтарю Екатерину Гончарову, вторую, самую старшую свояченицу Пушкина (тремя годами старше сестры Натальи). И женитьба, как думали, все погасила.

Но следом, прямо при своей слепо влюбленной «Коко», при Пушкине, Дантес возобновил с демонстративной наглостью, скользя по грани светских приличий, ухаживания, вернее сказать — преследования Натальи Николаевны. Она бледнела и краснела, когда он пожирал ее большими выпукло-стеклянными глазами. Расцветала в ответ на его шутки. В такую минуту Софья Карамзина заметила на пожелтевшем, со впалыми щеками лице Пушкина выражение тигра. И слышала, как тигр скрежещет зубами,— последнее вернее приписать игре художественного воображения.

Говорят, Дантес не был трусом. Говорят, он реваншировался за жалкую свою женитьбу, подстроенную ему так называемым «отцом», чтобы отстранить дуэль по первому вызову Пушкина. Говорят еще, что красавчик Жорж, француз по отцу, немец по матери, голландец по «усыновлению» (при живом родном отце!), не был нулем и бездарностью, у него оказались свои способности, он сделал карьеру во Франции, произносил речи, из роялиста вовремя стал бонапартистом, ракетой взлетел при Наполеоне III и еще успел прибыть к Николаю I, выгнавшему его в 1837 году, уже как специальный посланец и знаток России (царь принял его в Потсдаме). Черство-расчетливый, он упорно вымогал от разорившихся Гончаровых не «выплаченное» ему за Екатерину, сутяжничая из Франции еще долго после смерти жены (она умерла в 1843 году от родовой горячки). Но какие бы достоинства ни украшали его, все они ничто и навсегда останутся ничем перед одним, перед каиновой печатью: *убийца Пушкина.* Не боялся? Лишнее подтверждение буквальной точности пригвоздивших стихов:

Пустое сердце бьется ровно,
В руке не дрогнул пистолет.

Почему же, самое простое, Пушкин не пресек прямо и твердо встреч, плясок, кокетничанья жены с Дантесом? Избрал трудный, сложный и, по правде, окольный путь? Он перестал быть «господином поведения своей жены» вопреки тому, что утверждал еще в ноябре в не отослан-

ном тогда письме Геккерну. Но почему? Зыбкая область догадок... Что-то темное, непроясненное, какой-то остаток за всем тем, что знаем...

Казарменные каламбуры, пошлости, что отпускал (слова Пушкина в преддуэльном письме) красующийся барончик Жорж?

Острил, каламбурил он непрерывно. Весело, случалось — удачно в офицерском обществе. А с женщиной, от которой не отставал, так:

— Педикюрщик утверждает, что у вас тело («кор») красивее, чем у моей жены.

Екатерина прислала сестре своего «мозольного оператора», а скабрезная двусмысленность заключалась в том, что по-французски «тело» и «мозоль», хоть пишутся по-разному, звучат одинаково: «кор».

Другой раз понес из буфета тарелку фруктов.

— Это для моей законной!

Взял жену под руку.

— Пойдем, моя законная!

Следовало разуметь, что есть еще и незаконная — ясно кто.

Старший Геккерн (правильнее — голландская фамилия — Геккерен) — верткий, с постоянной лисьей улыбкой, вхожий во все великосветские салоны, умный, циничный, ловко вершащий посольские дела своей малой, богатой страны, «старичок». На балах, на раутах роняющий по два-три словечка то в одной группке гостей, то в другой, повсюду втираясь, перенося новости. Отлично осведомленный обо всем — в том числе и об открытых толках насчет более чем странных отношений с невесть откуда взявшимся «сыном», Жоржиком. Непроницаемо и тонко ухмылялся: а что такое мораль? Это же для черни, для улицы — не для нас же с вами! Принципы? Превосходно выглядит умело вставленное в дипломатическую ноту упоминание о них! Его «высокая, худая, узкоплечая фигура» произведет «самое отталкивающее впечатление» на Фридриха Боденштедта, немецкого поэта и отличного переводчика великих поэтов русских, когда Боденштедт встретит его позднее в Вене.

Был ли сводником между Дантесом и Натальей Николаевной? В чем была его игра? Пушкин плюнул ему в лицо этим обвинением — повторил то, что написал (и не отослал) в ноябре. Царь Николай сообщал брату Михаилу о сводничестве «гнусной канальи», относя это ко

времени до сватовства и женитьбы Дантеса. Разнеслись слухи, будто Геккерн составил целый план увоза жены Пушкина за границу и с красноречием прожженного политикана уговаривал ее согласиться... Верно ли, раз он сам был «заинтересован» в Дантесе? И во всяком случае — не на другой же день после женитьбы «сына»!

Тайное свидание наедине Натальи Николаевны с Дантесом у Идалии Полетики? Миниатюрной, кукольно-хорошенькой, с осиной талией, острым осиным жалом ненавистницы Пушкина (и пушкинской памяти — до самого конца своих очень долгих лет), зато — приятельницы его жены.

Стоит чуть подробнее сказать о Полетике — имя ее вплелось в трагедию Пушкина.

Она была внебрачная, точнее — добрачная, дочь вельможи и красавца графа Григория Строганова, кстати — двоюродного дяди сестер Гончаровых (значит, приходилась им троюродной): многие нити сходились, или спутывались, в «свете». Был он в свое время послом в Испании, и о любовных победах его пел в «Дон-Жуане» сам Байрон. Но время шло — граф Григорий стал суровым блюстителем кодекса дворянской чести, согласно которому, например, Дантес, невинно пострадавший, был во всем прав, а кругом виноват — им убитый (какой гнев, какую ярость вызвало это в Лермонтове, писавшем «Погиб Поэт!..»).

Там, на Пиренейском полуострове, посол познакомился с молодой женщиной, до чрезвычайности экзотической. Кто была она? Мать — португальская маркиза и поэтесса, отец — вестфальский граф, служивший дворам половины Европы, пока не осел в Лиссабоне, где и погиб (был убит). Пышный унаследованный титул не помешал юной особе кинуться в бурный водоворот жизни искательницы приключений. Адъютант Наполеона — среди любовников, камергер королевы — в кратковременных мужьях... И вот — подруга посла! Так родилась Идалия. Поистине необыкновенный сплав... Неожиданные генеалогии выскакивали в кичащемся «корнями» и «предками» Большом Свете! Тем временем ее мать достигла наконец тихой пристани. Граф Строганов женился на ней, теперь она знатная петербургская дама и зовут ее уже Юлия Павловна. В пушкинском доме — близкая знакомая и тоже приятельница (как и дочь ее Идалия)

Натальи Николаевны — странно сказать, на тридцать лет старше!

Только дочь, дитя любви, никогда не получила права на фамилию Строгановой и не уравнялась с «законными» детьми — жестокая заноза до конца дней в самолюбивой душе отнюдь не способствовала умягчению характера.

Устроился брак с офицером привилегированного полка, сделалась Полетикой. Квартира в кавалергардских казармах — так почему не предоставить ее прелестному Дантесу для амурных резвостей с милой женой *этого* Пушкина?!

Ротмистр Петр Петрович Ланской, человек порядочный, военным шагом вышагивает у дома «на стреме». Сейчас он числится в поклонниках Идалии Григорьевны. А потом станет вторым мужем Натальи Николаевны — но как предугадать это молоденькой женщине, чей муж жив, здоров, и жить ему еще да жить! Какая гримаса судьбы!

И Дантес, и Полетика, и Ланской — кавалергарды.

Если было такое свидание... Было ли? Когда? Иные пушкинисты относят его еще к ноябрю. А некоторые не верят в него. (Как раз тут необходимо добиться большей точности: один из самых важных моментов!)

Любое из перечисленных обстоятельств могло стать поводом к дуэли. Но, кажется, юристы не любят, когда обнаруживается слишком много «мотивов».

Да, вот еще. Сохранилось кратчайшее упоминание о ссоре с Геккерном на лестнице. Произошло это 25 января. То есть последнее звено в цепи. Поэтому на происшествие, о котором в сущности ничего не знаем, тоже пытались возложить груз — послужить ближайшей причиной отсылки яростного письма, письма-пощечины, на другой же день.

7

Растленность насквозь разъедала «высший свет». Переливчато-радужную пленочку вокруг трона. Искусственный осадок для калечения человеческих душ, сбитых в «малое стадо», как однажды выразился Пушкин. С какой-нибудь постыдной «тайной» у половины семей.

Вот повстречалась карета, выписанная из знаменитой венской мастерской, в карете едут с гулянья граф Борх

с супругою. Правит прямо, как палки, вытянутыми руками пышный идолоподобный кучер, на выносной скачет впереди кудряво-смазливенький мальчик форейтор, одетый под английского грума. Это тот самый Борх, кого мерзавец или мерзавцы, составители ноябрьского подметного «диплома» Пушкину, подписали непременным секретарем ордена рогоносцев.

— Стоит поглядеть — две образцовые семьи! — саркастически кинул Пушкин.

Данзас поднял брови: две?

— Разумеется: жена с кучером, муж с форейтором.

Каменноостровский быстро выводил за город.

После моста через Невку потянулись дачи, наглухо заколоченные, с голыми прутьями на участках. Каменный остров — аристократическое место летнего отдыха, так сказать — великосветский курорт. Снегом заметен сворот к даче Доливо-Добровольского. Там жили летом — на самом берегу Большой Невки. Шутил: «Загородное болото!» Но отлично работалось, написан там «Памятник». И оттуда же горничная Лиза (Лиза! Совсем как в «Горе от ума»! Почему это только сейчас пришло в голову?) носила записочки в лагерь кавалергардов, в Новую деревню, рядышком,— к Дантесу! Знакомая дорога!

Мимолетно яростно нахмурился. И тотчас разгладил набежавшие морщины — Данзас ничего не заметил. С этим покончено. Через полчаса от силы — точка. Изгнать из мыслей — навсегда. *Освобождение.*

Но как напряглось, чудовищно нагнетаясь, ожидание удара именно в этом, только что минувшем тридцать шестом году! Затравленно озирался, но, могучий человек, никогда не уступил бы искушению спрятать голову. Слизняков брезгливо презирал. Мускулы сжаты в ежеминутной готовности отразить удар ударом. «Восстать на море бед» — как это у Шекспира?

Только главное оставалось вне досягаемости — разве не понимал? И что иные ответные падут лишь на ничтожные цели? На *неверные* цели?

Но не мог сдержать неукротимости — она была в нем другой стороной исполинской жизненной силы.

Словно бился в клетке с железными прутьями — до слез, до боли нестерпимо следить за этими метаниями Пушкина из нашего полуторавекового далека!

Чем больше обид, чем горше они, тем сильнее возрастала нетерпимость к любой, пусть самой маленькой, пусть мнимой, почудившейся!

Тогда вызвал на дуэль 22-летнего мальчишку Соллогуба, лощеного чиновника при губернаторе, светского бонмотиста, едва лишь начинающего писателя. Некоего Хлюстина. Едва не вызвал старика князя Репнина.

Слепые удары — вместо тех, которыми невозможно было ответить. Потому что еще десять лет назад сам нашел пронзительные слова: неотразимые обиды («Вновь сердцу моему наносит хладный свет неотразимые обиды» — в отброшенном, притом замечательном, окончании стихотворения «Когда для смертного умолкнет шумный день»). Слова, которые после подхватит великий поэт, которого назовут «печальником горя народного», но уже оспаривая их: «Помни, что нету на свете неотразимых обид» (Некрасов, в поэме «Дедушка», 1870).

8

Какие же узлы все туже стягивались? Что за тревога, напрягаясь, нарастала?

Тут мы касаемся сокровенного в трагедии Пушкина.

Но свидетельские голоса умолкли. За исключением одного голоса. Он звучит громче и громче. Голоса Пушкина!

А если — спросить у *самого Пушкина*?! Он не мог молчать о том, что было ему больнее всего!

Только прислушаться. Пристальнее вглядеться.

Пятнышко тени мелькнуло в 1829 году.

Крошечное пятнышко — его мало кто и отмечает. Среди поэтических отзвуков кавказской, арзрумской поездки. Отрывок без продолжения.

Как же мимо него проходят, не замечая?

Страшно и скучно
Здесь новоселье,
Путь и ночлег.
Тесно и душно.
В диком ущелье —
Тучи да снег.
Небо чуть видно,
Как из тюрьмы...

Печатают и «небо чуть светит...»

Удивительные по сумрачной силе выражения стихи. Стоит сравнить с любыми из того же путевого цикла. С «Обвалом», «Монастырем на Казбеке», «Кавказом». Или с черновым на том же листке «И вот ущелье мрачных скал». И «Меж горных стен несется Терек». Вроде о том же — и вовсе не о том. Залетевшая птица из чужой стаи! Двухстопный дактиль с усечениями, рифмовка терцетами — единственная по форме среди пушкинских. Что же это? Географическая картина? *Только* ли Дарьяльское ущелье? *Душно жить.* Вырвался на Кавказ, в армию, чтобы испытать иллюзию свободы. Вероятно, предвидя гнусавый выговор, который сделают ему — как мальчишке. Как школьнику. (Посмел отлучиться без спросу! И какой разнос — даже из-за простой поездки в Москву!) Зная, догадываясь, что подписан, утвержден, учрежден за ним, за каждым его шагом секретный надзор,— то, что будет, глядя в глаза ледяными немигающими глазами, отрицать Бенкендорф.

Но тогда пятнышко мелькнуло, пролетело — не так просто сломить его жизненную силу, омрачить мир.

Без продолжения кинуты стихи — предвестники черных теней, набежавших, сгустившихся в два последних года.

Точно физически прикасаешься к тревожному току горячей крови из сердца, почти полтора века назад переставшего биться.

Как в оркестре барабанная дробь, подземный рокот ударных знаменует жестокий поворот музыкального повествования, суровое испытание, вторжение несчастья,

> виденье гробовое,
> незапный мрак,—

так в поэзии последних пушкинских лет глухой прибой словно нарочито отчужденных шестистопных ямбов со смежными стучащими рифмами сопровождает упорное, но прикровенное возвращение мысли поэта к враждебно-уродливому, гнетущему, вторгшемуся.

Неожиданный, неведомый наивным «хрестоматийным» канонам Пушкин! Один из наиболее трагических поэтов.

Беспощадное, до натурализма, изображение мук смертельно отравленного и сжигающего самого себя Геракла.

Длинное, странное стихотворение (и виньетку сам нарисовал, с растениями, согнутыми, скрученными вихрем, с косым могильным крестом). «Странник». Надо

бежать, спасаться от гибели. Бросив дом, семью, друзей, всю налаженную жизнь.

Это — переводы? Формально — да. Но десятикратно усилены, по сравнению с оригиналами, крики боли!

Се — ярый мученик, в ночи скитаясь, воет...

И кто принуждал переводить *эти* вещи, английскую мистическую книгу XVII века проповедника-пуританина, чья жизнь, наперекор королевским законам, с долголетними тюрьмами, несколько напоминала житие нашего протопопа Аввакума? Превращая в стихи главу из «Пути паломника» Джона Беньяна, резко, по-своему, меняя!

То же самое он повторяет, твердит — и безо всяких переводов.

...Злое на меня уныние находит.
Хоть плюнуть да бежать...

(«Когда за городом, задумчив, я брожу»)

На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

(«Пора, мой друг, пора!»)

А в «Страннике»:

...Незапно был объят я скорбию великой...
...«Что делать буду я? что станется со мной?»
...о горе, горе...
...«Коль жребий твой таков...
Чего ж ты ждешь? зачем не убежишь отселе?
...Пока ты тесных врат спасенья не достиг,
Ступай!»
...Иные уж за мной гнались; но я тем боле
Спешил перебежать городовое поле,
Дабы скорей узреть — оставя те места,
Спасенья верный путь и тесные врата.

«Верный»?! Полно. Он сам колебался (видно по рукописи), *какой* путь: не «узкий» ли? Как лезвие ножа. Как острие бритвы. Опасный, страшный... А «верный» — усилие заговорить судьбу, заклясть удачу!

Он верил в приметы...

Но, раз вслушавшись в эти стихи, не станешь больше скользить по ним беглым взглядом, как подчас делалось и делается: ведь не так просто ввести их в школьно-хрестоматийный пушкинский канон. Как и последний при жизни Пушкина линевский портрет. Они сопротивляются. Вихрятся. Топорщатся.

Теперь они покажутся словно напечатанными курсивом. И не перестанешь слышать застывший в них крик.

— Помните то место у Белинского,— настойчиво продолжал Вольховский,— где он говорит, что Пушкин ничего не преувеличивает, ничего не украшает, не гонится за эффектами, никогда не возводит на себя великолепных, но неиспытанных чувств и везде остается таким, каким был в действительности? И тем не менее,— а я бы сказал иначе: именно благодаря этому,— нельзя вычитывать в стихах буквального изложения событий. Это не дневник, не отчет, не жалоба в любую из канцелярий, имя же им было в ту пору — легион; и не молитва это, не воззвание к небесам о справедливости! Это — искусство. И ни за что я бы не стал искать в «треугольнике», изображенном александрийскими шестистопниками о смерти Геракла — «Покров, упитанный язвительною кровью»,— в мифическом «треугольнике»: герой, жена и кентавр, убитый, но после смерти отомстивший, отравив своей кровью героя с помощью «ревнивой любви» неразумной обманутой женщины,— нет, не стал бы я тут искать точное подобие действительного, терзающего сердце Пушкина «треугольника» в городе Санкт-Петербурге в лето 1835-е. Тем более, что отношения внутри этого реального были, сколько можно судить, вовсе не похожи на мифические.

— Вы могли бы добавить,— прервал я,— что «перевод из Шенье» был наполовину сделан еще в 1825 году, когда ни о каких треугольниках...

— Начат, брошен — и подхвачен, доведен до изумительного совершенства все-таки в 1835-м. Когда лег ближе к сердцу. Но суть в том, что поиски аллегорий, иносказаний, шифрованных смыслов больше всего походят, простите меня, на разгадывание снов психоаналитиками.

Искусство подставляет действительности не безличное зеркало, а «магический кристалл». В нем сложными путями, с неуловимой подчас цепочкой ассоциаций, преломляется жизнь. Художник не ведет поденных записей — он рассказывает больше, о самом главном: о времени и о себе.

Потому что никогда, пока он творец, не угасает его внутренняя свобода. Как бы ни были тягостны условия.

Не судьба и кропотливый покорный регистратор — но судьба и противостоящая ей личность художника!

Что же такое была эта сила и свобода у Пушкина? В 1828 году, когда опять собрались тучи, грозил суд, может быть — новая ссылка, он написал изумительные строки:

Сохраню ль к судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?

...Силу, гордость, упованье
И отвагу юных дней.

Необычайное свидетельство. И какой *урок!*

Напором воли сдержан, подавлен крик. Перелит в чистое золото поэзии.

Если закрыть на это глаза, если судить не по законам орлиного полета, а приземленно, с «бытовой» прямолинейностью, то не пришлось бы нам, чего доброго, расследовать и ужасное преступление, бременящее совесть Пушкина?

...Тяжким бременем подавлен и согбен,
Как тот, кто на суде в убийстве уличен.

Есть загадочное четверостишие 1836-го — последнего пушкинского года... Будто выбитое на медной доске. Четыре строки — и встала картина такой ясности и мощи, что хоть срисовывай. Голый, выжженный хребет — «высоты». Обнажена душа. Обнажена библейская пустыня — обжигает дыхание ее враждебной жизни (чего стоят «пыльные ноздри» льва! «пахучий», не для человека — для хищника, бег оленя!). Все готово к смертельной схватке. Завязка, кульминация — очевидна развязка. Всего четыре строки!

Как могли вершину пушкинского мастерства и завершенности при предельном лаконизме счесть едва намеченным, необработанным наброском! Взять, чтобы далеко не ходить, хоть третий томик малого академического десятитомника, где, очевидно, потому и поставлено многоточие после второго стиха... Оно ненужно. Надо вот так:

Напрасно я бегу к сионским высотам,
Грех алчный гонится за мною по пятам;
Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий,
Голодный лев следит оленя бег пахучий.

Какие немолчные укоры чуткой совести Пушкина преобразились при взгляде «сквозь магический кристалл» в апокалиптическое видение?

Так вот, о высочайшем техническом совершенстве, поэтической дерзости этих стихов.

— Слушайте,— перебил сам себя Вольховский,— чем больше я вчитываюсь... Ведь тут, словно каким-то волшебством, нам дана прямая возможность заглянуть в тайная тайных гения, подсмотреть, как он работает. И, знаете, трудно преодолеть — я, по крайней мере, о себе,— чувство буквального головокружения, да нет — и еще: сознания собственной нескромности, что ли, неловкости при этом... подглядывании. Я о себе. Но, в сущности, и каждый из нас, вы понимаете? Ведь тут яснее ясного встает перед тобой — вплотную, рядом — гений. Не талант, как бы ярок ни был, но гений! И не просто понимаешь, но воочию видишь, чуть не осязаешь — что это такое: *гений.*

Есть поэты, что все главное наборматывают про себя. Шагая из угла в угол — так вышагивают свои черновики. И заносят на бумагу, что уже близко к окончательному результату. Нам повезло: Пушкин работал с пером в руке. Как же достиг он *чуда зримости*?

Вот, смотрите, он стремится вместить в стих, жестоко правя себя, громовой раскат львиного рева. И как бешено бьет хвостом по ребрам на впалых, втянутых боках. Взметает пыль гривой. С этого начинал — словно наводя на фокус, чтобы добиться отчетливой резкости в изображении голодной ярости — так изображали льва на знаменитых полотнах, описывали путешественники, охотники. Добивался пластики, а то, чего добился, так бы и осталось в стихах отличных, обыкновенных поэтов — как еще восхищались бы критики! А Пушкин — Пушкин лишь коснулся рубежа, отметил, отверг, прошел мимо. Что для стольких других стало бы завершением, для него оказалось промежуточным этапом. Шагнул дальше — к единственному, необыкновенному, чего не подскажет никакое предварительное рассуждение. Никакая заданная программа. Пустыня, рыкание, удары хвостом? Все теперь есть *само собой* — неназванное, «снятое», по излюбленному философскому словечку, и тем более несомненное.

Чекан золотой латыни, сжатость как под исполинским давлением, точно изменяющим самую природу слова! Вон

в тех стихах о смерти Геркулеса неведомый прежде, до Пушкина, обжигающий огонь высечен из нагой простоты речи, с кратким фразовым членением не через точки, но через точки с запятыми. Стихи о смерти Геркулеса:

Гнет, ломит древеса; исторженные пни
Высоко громоздит; его рукой они
В костер навалены; он их зажег; он всходит...

И как в геометрии Лобачевского пересекаются параллели, так сошлись здесь пути пушкинской прозы, чуждающейся украшений, сжатой, прямо идущей к цели, с пушкинским стихом!

Взлет к прежде небывалому совершенству — это защита мощного духа, щит и меч его, ответ на «море бед», перед которым сник бы слабый дух.

Такой пушкинский стих остался без наследника. Разве что поздний Брюсов отважился принять вызов — и, напрягая силы, все же не сумел натянуть лук Одиссея.

Издавна подмечали поворот к эпической повествовательности; видели доказательство разнообразия поэзии Пушкина, его удивительной способности переноситься легко и свободно в самые противоположные сферы жизни — вот дал в «Страннике» самую душу северного протестантизма, «отразил» всю противоречивую смесь мистических чувств и стремлений в этой душе. Перевоплощался, живописал, умело изображая смятение, порывистые движения произвольно избранных, чуждых себе героев. А личного пушкинского — долго не замечали: так дивно переплавлено оно, преображено и возвышено в *искусство*. Не сопоставили с тем, что Пушкин говорил прямо от себя в других, соседних стихах...

Современники же вообще не ведали такого Пушкина. Ничего (почти) не печаталось при его жизни.

Видим, ощущаем *мы*. Страшное одиночество. Жгучую тоску по воле. Мечту восстать, разорвать стягивающееся кольцо. Побег — единственное, что осталось, *если хочешь спасения*.

9

Когда все кончилось, в феврале, над свежей могилой друга, гения, «победителя-ученика», Жуковский начал письмо Бенкендорфу. Он писал его 12 дней — с 25 фев-

раля по 8 марта. И, обширное, чуть не расчлененное по пунктам, это письмо выросло в поражающе смелый обвинительный акт, брошенный прямо в лицо. Это самое бесстрашное, что было сказано тогда о трагедии пушкинской судьбы,— кто бы ожидал этого именно от Жуковского!

И можно представить себе, как в своем просторном кабинете, в квартире бок о бок с царским обиталищем, он, большой, физически сильный, крепко сложенный человек, склонялся над письменным столом, не утирая слез, катившихся по лицу. Диктовала боль, диктовал гнев, страстное, ставшее повелительным долгом стремление сказать правду, но еще, конечно, и совесть, раскаяние в той роли, какую он не раз играл при жестоких поворотах жизни великого поэта, столкновениях его с тем же Бенкендорфом — и со стоящим над ним.

Он не был бы Жуковским, если бы и сейчас не приглаживал, не причесывал Пушкина, не умащивал благолепным елеем его непокорное вольнолюбие; если бы не ограничил мишени своей одним Бенкендорфом, противопоставляя обер-жандарму того, кем он был поставлен и из чьей воли, разумеется, не смел выходить.

Но почти парадоксальным образом *здесь, сейчас* это не снижает силы удара, а делает его рельефнее, целенаправленнее, служа сверхзадаче письма: тем ярче оттенить чудовищность, злобную бессмыслицу и преступность преследований величайшего поэта России!

Каждой фразой хлестать по лицу наиболее доверенного слугу царя! Как дерзнуть на такое? Искусство опытного царедворца не изменяет Жуковскому, умение, хваля, еще больнее оскорбить. Он пересыпает письмо комплиментами, явно приметанными белыми нитками. Не сладкими, а приторными. Не сахаром, а, хочется сказать, сахарином,— жаль только, что продукт в 500 раз слаще сахара будет получен лишь сорок лет спустя.

Каждая хвала — словно новый плевок. Но декорум соблюден. Придраться не к чему. Смазано, припудрено — пусть глотает!

«Не имею нужды уверять ваше сиятельство в том уважении, которое (несмотря на многое мне лично горестное) я имею к вашему благородному характеру... Новым доказательством моего к вам чувства пускай послужит та искренность, с которою говорить с вами намерен.

Такому человеку, как вы, она ни оскорбительна, ни даже неприятна быть не может».

«...Я перечитал все письма, им [*Пушкиным*] от вашего сиятельства полученные: во всех них, должен сказать [*кристаллик сахарина*!], выражается благое намерение. Но сердце мое сжималось при этом чтении...» За все годы после свидания с царем и «прощения» в Москве, за все протекшие годы, говорит Жуковский, положение Пушкина не переменилось. Он оставался «под строгим, мучительным надзором. Все формы этого надзора были благородные: ибо от вас оно не могло быть иначе [*целая щепоть сахарина!*]. Но надзор все надзор».

«...В Ваших письмах нахожу выговоры за то, что Пушкин поехал в Москву, что Пушкин поехал в Арзрум. Но какое же это преступление? Пушкин хотел поехать в деревню на житье, чтобы заняться на покое литературой, ему в том было отказано под тем видом, что он служил, а действительно потому, что не верили. Но в чем была его служба? В том единственно, что он был причислен к иностранной коллегии. Какое ему могло быть дело до иностранной коллегии? Его служба была его перо, его «Петр Великий», его поэмы, его произведения...»

Прекрасные, горячие слова! «Я числюсь по России»,— однажды сказал о себе Пушкин, и, конечно, эта гордая пушкинская фраза звучала в голове Жуковского. Звучала непрестанным упреком. Потому что в 1834 году, когда разразилась история с просьбой Пушкина об отставке, ведь сам Жуковский, испугавшись за него, изо всех сил хлопотал, как бы сгладить, сделать, чтобы просьбы Пушкина вроде бы вовсе не было, укорял в неблагодарности, предупреждал, что он повредит себе на всю жизнь, учил, беря назад прошение, написать письмо поизвинительнее. Вероятно, воспоминание теперь грызло его...

А сейчас он и прямыми словами, и тем, что между строк, напоминал обер-жандарму, что́, по мнению того, навсегда должно было оставаться скрытым. Чего никто не смел коснуться. Что Пушкина хотели держать *на глазах*, в пожизненном плену. Хотели не выпускать из Петербурга еще и потому, чтобы Наталья Николаевна плясала в Аничковом, всегда оставалась в наиболее тесном придворном кругу. Хотели держать там, где жизнь

ему была невыносима, губительна, в буквальном смысле невозможна!

«Государь император назвал себя его цензором. Милость великая... Но, скажу откровенно, эта милость поставила Пушкина в самое затруднительное положение...» Она сковала каждый шаг Пушкина. Обернулась гнетом двойной цензуры — царско-бенкендорфовской и уваровской, гнетом, какого не испытывали другие русские литераторы, только Пушкин!

«...В одном из писем вашего сиятельства нахожу выговор за то, что Пушкин в некоторых обществах читал свою трагедию [*«Борис Годунов»*] прежде, нежели она была одобрена. Да что же это за преступление?.. Чтение ближним есть одно из величайших наслаждений для писателя. Все позволяли себе его... то же, что разговор, что переписка. Запрещать его есть то же, что запрещать мыслить...»

«Каково же было положение Пушкина под гнетом подобных запрещений? Не должен ли был он необходимо, с тою пылкостью, которая дана была ему от природы и без которой он не мог бы быть поэтом, наконец прийти в отчаяние?..»

«...Русский национальный поэт, выразивший в лучших стихах своих, наилучшим образом все, что дорого русскому сердцу...»

Какие прекрасные слова! Но тут же Пушкин причесан, приглажен благонамеренной рукой Василия Андреевича Жуковского — искренно ли, а скорее с тонким дипломатическим и литературным расчетом (Жуковскому ли не знать Пушкина!),— чтобы тем точнее, как уже говорилось, пришелся удар по всесильному главе страшного Третьего отделения. Лично по нему — превосходно послужило этой цели хирургическое отщепление его от «хозяина».

«Смею спросить ваше сиятельство, благоволили ли вы взять на себя труд когда-нибудь с ним говорить о предметах политических?»

Обер-жандарму, невеже-держиморде, несмотря на все аристократические титулования,— говорить с Пушкиным!

«...Позвольте сказать искренно. Государь хотел своим особенным покровительством [*вот он, хирургический нож*!] остепенить Пушкина и в то же время дать его гению полное его развитие; а вы из сего покровитель-

ства сделали надзор...» Высечен как мальчишка! Пожалуй, это все же — не слишком ли? Только не забыть припудрить! «...сколь бы, впрочем, ни был кроток и благороден (как все, что от вас истекает)».

Никогда входящий номер Третьего отделения не ставился на подобной бумаге!

Пушкин погиб. Случилось непоправимое, но логически вытекавшее изо всего, на что его обрекли. «Жертвой иноземного развратника сделался первый поэт России». Жуковский не удерживает катящихся слез. Осталось досказать немногое — собственно, очень многое, но в этом письме все же нужно ограничить себя. Позорная, поспешно-трусливая организация похорон, с обманными адресами, подземельями, шпиками, страхом перед бездыханным телом. «...Перенесли ночью, с какой-то тайною, всех поразившею, без факелов... Жандармы наполнили ту горницу, где молились о умершем, нас оцепили, и мы, так сказать, под стражею проводили тело до церкви». Острота горя в тот момент заслонила все. Но следом, когда вспомнил, отдал себе отчет, как же мог хотя бы он, Жуковский, не почувствовать себя жестоко оскорбленным!

А дальше, дальше.

Он мог бы подробно рассказать о том, что случилось в пушкинской квартире, пушкинском кабинете. Бумаги поручили разобрать ему, только ему, Жуковскому, поэту, другу — и тотчас рядом вырос Дубельт, правая рука Бенкендорфа по тому же Третьему отделению. Одной рукой милость, другая превращает ее в горшее унижение для того, кому она, как бы перед лицом всех, оказана. Впрячь Жуковского в посмертный обыск (меткое слово пушкиниста М. А. Цявловского) у его мертвого друга!

Вытерпел. Оправдался в унизительных обвинениях, что он что-то незаметно вынес, какие-то пакеты. Однако после не смог смолчать, мучаясь, очищая свою душу: «Хотя я сам и не читал ни одного из писем... но все мне было прискорбно, так сказать, присутствием своим принимать участие в нарушении семейственной тайны»...

Кому написал вот это? Да самому царю. Зная, что письма и живого Пушкина, даже письма жене перлюстрировались, препарировались, восходили по инстанциям — вплоть до «собственных Е. И. В. [его императорского величества] рук». Что значили здесь понятия по-

рядочности, «семейственной тайны»? Но все-таки написал — в этом месяце самоочищения, когда стал внятен и неотвратимо-повелителен голос долга: сказать правду.

Свое же, беспримерное в почте Третьего отделения, письмо он сперва прочитал близким. Выслушал и Александр Иванович Тургенев, лицо замечательное. Тургенев — «европеец», подобно Владимиру Ленскому — «с душою прямо геттингенской» (он учился в том немецком университете). Несколько раз судьба его перекрещивалась с судьбой Пушкина. К нему, человеку влиятельному, уже в чинах, обратились за содействием, когда Василий Львович привез племянника в Петербург определять в новый Царскосельский лицей. В доме Тургеневых на Фонтанке не случайно писалась «Вольность» — брат Николай, «хромой Тургенев» десятой главы «Евгения Онегина», стал декабристом, осужденным по первому разряду государственных преступников; судьи не достали его, он был за границей. Но карьера Александра оборвалась. «Карамзинец», арзамасец, где звался «Эолова арфа», годы он провел на чужбине. Про него сочиняли стишки: «У Вальтера-Скотта он живал, с Кювье он подружился, у Гумбольдта учился, у Гете — гостевал...» и т. д. В Россию лишь наезжал, тщетно хлопоча о брате; и все крепче становилась связь с Пушкиным, которого, в память о своем покровительстве, называл на «ты» (Пушкин же почтительно отвечал «вы»). Старший друг, он стал особенно близок с поэтом в самое последнее время. В пушкинском «Современнике» — его парижские впечатления. Накануне дуэли принес папку — старые донесения королевских послов из России в Париж своему правительству. С какой жадностью накинулся Пушкин на эти больше чем вековой давности документы, это же — к истории Петра! Никому бы не пришло в голову, чтó назавтра предстоит Пушкину, ни о каком конце жизни не могло быть и речи!

Лаконичные тургеневские дневники — бесценный источник сведений о петербургской и о пушкинской жизни в эти месяцы. Два тяжких смертных дня после дуэли он провел почти безотлучно в доме Волконской на Мойке, рассказав обо всем в замечательных письмах. Он же отвез тело в Святогорский монастырь.

Конечно, знал и понимал все не хуже Жуковского. И тот прежде всего спросил его, своего сверстника (лишь годом моложе):

— Ну как находишь?

Жизнь научила осторожности.

— Да что же — ты, вижу, считаешь себя о двух головах.

И Жуковский снова сел за письмо. Пытался что-то исправить, где-то смягчить. Но то, что оставалось,— это все равно было...

Так послал или в конце концов не решился?

Во всяком случае прочитал одному, другому, третьему. И ясно становилось, шире и шире, что не в пошлом «треугольнике» коренятся причины гибели великого русского поэта.

Для Жуковского же Петербург опустел. Вскоре, пользуясь званием воспитателя наследника, он уехал в свите его колесить по стране, перебрался через пояс Урала на сибирский простор. Едет в Европу. Возвращается; хлопочет за Лермонтова; помогает выкупить из крепостной неволи Тараса Шевченко. А вскоре — в отставку. И прощай родина. Но все время работает, переводит. Год проходит за годом. Под чужим небом, на немецком «водяном» курорте, в Баден-Бадене умирает Василий Андреевич Жуковский, один из крупнейших русских поэтов, «побежденный учитель» Пушкина...

10

Чем же была петербургская пушкинская жизнь?

С удавкой на шее.

И удавка стягивалась все туже.

До чего ни коснись.

Взять хоть чисто внешнюю, материальную сторону.

Тетка Гончаровых, придворная самой сутью своей, благожелательная и богатая фрейлина Загряжская, брала на себя расходы на наряды «Натали».

Что это капля в море — в том, во что обходилось Пушкину петербургское житье-бытье,— показала сумма долгов, сосчитанных после смерти его: 138 988 руб. 33 коп. Неимоверная цифра! О какой уплате можно было думать? Удавка стягивалась.

Занимали у ростовщиков. Месяц за месяцем. У какого-то Шишкина. Закладывали все: жемчуга жены, шали, столовое серебро. Свое, пришедшего на выручку Соболевского.

Отравленная, как шкура кентавра Несса, ливрея камер-юнкера.

Письма вскрывались. Навязывались на знакомство, на доверительные беседы гладкие, скользкие, о чьем роде занятий можно лишь догадываться. Замкнулся в себе.

Что будет с тем, чем занят, с историей Петра? Первый император, реальный Петр, с указами, которые «писаны кнутом», оказался далеко не во всем похож на героя «Полтавы», на того, кто пировал «в Питербурге-городке», мирясь с подданным, прощенье торжествуя, «как победу над врагом». За шесть дней до дуэли Пушкин говорил у Плетнева (Никитенко слышал, записал), что «Петра» не позволят печатать.

Запрещен «Медный всадник». Самое дорогое не давал ни в «Современник», ни в чужие журналы. Слушал, как неслось отовсюду: Пушкин исписался! Началось еще с «Полтавы». А на «Бориса Годунова» лягушачий хор отозвался:

И Пушкин стал нам скучен,
И Пушкин надоел...
...«Бориса Годунова»
Он выпустил в народ —
Убогая обнова,
Увы, на Новый год!

Неблагополучие дома. Знал ли когда-нибудь безоблачные дни, рассчитывал ли на них? «На свете счастья нет»... Сам отыскал слова: «О как мучительно тобою счастлив я». *Мучительное счастье.* К кому бы ни относить стих — комментаторы, вместе с Брюсовым, прежде не сомневались: это о жене; вернее всего — так и есть. (Тут спор о датировке стихотворения: 1830? 1831? 1832?)

Неустройство души. Жестокие укоры себе...

Март 1834 года. Из Петербурга в Москву Пушкин пишет другу, Павлу Воиновичу Нащокину. «Говорят, что несчастье хорошая школа: может быть. Но счастье есть лучший университет. Оно довершает воспитание души, способной к доброму и прекрасному, какова твоя, мой друг; какова и моя, как тебе известно».

Так раскрыл Пушкин, в добрых и прекрасных строках, одну из важнейших граней своей необыкновенной природы. Никакого культа боли, несчастья. Не упиваться страданиями, не носиться с ними — с собой. Они не

норма, но грубое и незаконное нарушение, *разрушение* жизненного строя: никакого «шопенгауэрства».

Пройдут десятилетия, и писатель, старший современник Чехова, доживший до Октября, увидавший и конец гражданской войны, произнесет крылатую фразу:

— Человек создан для счастья, как птица для полета.

Будто сверяясь с магнитной стрелкой души Пушкина.

11

— Ваш путь подходит к концу,— сказал я Вольховскому.— Что же он дал вам? Чем обогатил? К какому решению подвел?

— То есть то, что я называл пройти по следам, вжиться? Да, я ожидал, что кое-что может повернуться, под пристальным взглядом, негаданной стороной. Теперь взвесишь, сопоставишь — и поймешь, как придутся к месту мысли, какими поделился недавно один из самых замечательных наших пушкинистов, человек прежде всего не шаблонных воззрений. Да вы сами видите! И так же, как я, спросите себя: не в этих ли мыслях заключается *решение?*

Он в полной мере выждал эффекта своих слов. Это он умел и любил — наслаждаться искусно создаваемыми эффектами.

— Так вы, значит, ничего не слышали об этом? (Откуда же я мог слышать?) Нет, знаю, я не единственный, с кем он делился догадками — любопытнейшими. А дело касается все того же: что случилось к 25—26 января 1837 года? Той самой, темной, зыбкой черты. Не понимали уже современники. И тоже гадали. Объясняли разразившуюся катастрофу то одним, то другим, то третьим. Так что же все-таки случилось? Что? Взрыв, конечно, мог быть вызван любым поводом. Струна натянута до предела. Но возможно, что ничего в частности и в особенности не произошло. Кроме главного: жить так дальше становилось все невыносимее.

И послал ведь Геккерну письмо не новое и не о новом, а немного подновленное прежнее, лежавшее с ноября! Факт, который тоже о чем-то говорит.

Теперь — лишь маленький шаг. Пушкин встретился с Николаем Павловичем за три дня до дуэли. В сущности, в упор. Об этом свидетельствует Корф, зложелатель, ему

сказал сам царь. Так вот допустим — натяжки тут нет, стенограмма не велась, а мысль эта гвоздем сидела в голове Пушкина,— допустим, что Пушкин попытался, пользуясь случаем и к разговору (шел он о Наталье Николаевне), еще раз заговорить о немыслимости, невыносимости своего положения, попросил отпустить? И опять получил хмурый, сквозь зубы ответ?

Тогда он решился. Взял в собственные руки судьбу. («Я стараюсь лишь буквально повторить эти сказанные мне, конечно, ключевые слова»,— подчеркнул Вольховский.) Разорвать мертвое кольцо! Нет, не шел на гибель, не искал смерти, как потом усердно твердили дальние, близкие: он тогда не был бы Пушкиным. До конца бесстрашный, не сдающийся, он искал *исхода*. После дуэли, *чем бы ни кончилась,* прежнего не будет. Если выйдет победителем (а рассчитывал на это!), сошлют, «заточат» в деревне. Что и требовалось доказать.

А поводов... поводов хватало. Каждый день доставлял новые. Да хоть подметные письма... Ходил словно по раскаленным угольям. И что-то стало искрой. Последней огненной каплей.

— Я пересказал вкратце. А подробнее... «Почему вы не напишете об этом, Сергей?..» (Но резко оборвал: «Нет, нет, обойдусь без имени, пока сам не назовет себя!») — «Напишу, напишу, непременно напишу! Ну а если... если и не я, то кто-нибудь другой напишет...» И прибавил: «Имейте в виду — это еще не теория: простое предположение...»

Пусть предположение. Но достойное самого пристального внимания. Теперь мне это особенно очевидно. Как вытекает оно изо всего хода событий и какой неожиданный свет бросает на них догадка, высказанная...

И опять осекся, только и кинув:

— Я шел по следам не только того, что свершилось почти полтора века назад, но и по следам высказанной мне мысли...

Молча выкурил сигарету, погасил ее в пепельнице, уже полной. Мы сидели в его тесноватом, спартански строгом, лишенном каких-либо прикрас кабинете. Лишь несколько разных портретов Пушкина висели на стене — без сумрачного линевского. Да статуэтка молодого, вдохновенного, копия ленинградского памятника на площади Искусств, стояла там, где у самого Пушкина на столе помещался негритенок.

— Впрочем,— сказал Вольховский,— уже некоторые современники подходили почти вплотную... Что? Да, вижу в этом еще одно, косвенное подтверждение. Не угодно ли...

Повернулся вместе с вертящимся стулом, снял с полки книгу, полистал.

— Письмо Хомякова Языкову, сразу же, в феврале 1837 года. В том феврале! «Причины к дуэли порядочной не было, и вызов Пушкина показывает, что его бедное сердце давно измучилось и что ему хотелось рискнуть жизнью, чтобы разом от нее отделаться или ее возобновить. Его Петербург замучил всякими мерзостями; сам же он чувствовал себя униженным...»

Лермонтова мы все помним наизусть:

Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид...

Только — вслушайтесь! — даже в этих мощных гневных стихах зияет бездна между нашим временем и ушедшим бесконечно далеко, запорошенным пеплом полутора столетий: позор-то ведь тем, кто травит, а не травимому! Божок «чести», алчущий человеческих жертвоприношений!..

Захлопнул книгу, достал другую. Воспоминания Соллогуба.

— Вот две строчки.— И постучал по ним костяшкой согнутого пальца.

«Он в лице Дантеса искал или смерти, или расправы со всем светским обществом».

— Заметьте, тут ближе угадана отважная натура Пушкина. Ближе, чем в жалостных словах Хомякова о «бедном сердце»! Пушкинская дуэль была вовсе иной, не похожей на лермонтовскую. Совсем другая дуэль!

Не с красавчиком барончиком шел стреляться, но со всем ненавистным: разделаться со змеиным гнездом, где тот слыл любимчиком. Где окружали его восторженным умилением, с закатыванием глаз, где «надеялись» на него, нынешним бы словом сказать — «болели», злорадно предвкушая потеху — победу его над втирушей, над поэтом. «Свой» против «чужака». И, потешаясь, усердно «раздували чуть затаившийся пожар».

Вот против чего шел Пушкин.

Тут мерещится еще та же мысль, что в «Медном всаднике»: *«Ужо тебе!..»*

Только вместо маленького Евгения — *он сам!*

До конца не сдавшийся. Неустрашимый.

Жутковато вспоминать о его напутствии еще при том, ноябрьском, вызове: «Чем кровавее, тем лучше».

«И кончить все одним ударом».

— Это из «Гамлета». Презренный король, ничтожный сам по себе, лишь воплощал «вывихнутый век», то «море бед», на которое восстал Гамлет. Был лишь точкой приложения его сил. Линией удара.

Последний акт шекспировской трагедии разыгран на Черной речке!

12

Откуда ни возьмись — ветер, пронизывающий, сильно похолодало, градусов 15 по Реомюру.

Начало пятого. Светло: январь на исходе. Но вот-вот смеркнется, подойдет час «между волком и собакой», как игриво окрестили французы.

Город позади, шоссе, обсаженное голыми березами, белые платки их стволов.

Мост через Черную речку.

Наизусть знакомая дорога — тогда, у Троицкого моста, насчет крепости только острил. Сколько живали здесь, с дачи ходили пешком, сколько писем мечено: «Черная речка». И не может быть, чтобы свои, знакомые места и приметы выдали, изменили — чтобы кончилось плохо!

За мостом — шоссе Ланское (да, Ланское — и уже мы содрогнемся от черной шутки судьбы).

Тут, на землях «Комендантской дачи»,— кустарник, лес.

После, в 80-м году (тоже сто лет назад!), публиковались подробные указания, чертежики, как найти точное место. Если пешком — и тогда ведь оставили сани, пошли пешком,— то лучше через маленький пешеходный мостик, огибая с другой стороны огороды Мякишева, пройти вдоль забора «Комендантских дач» — всего 223 сажени. Затем свернуть с Коломягской дороги. Знак — третья березка. Тут была лощинка между двумя канавами.

Другие оспаривали тогда же: не направо, а налево от дороги. И указывали пень к тому времени уже спиленного дерева.

Спорят, как известно, и о точном месте лермонтовской дуэли на склоне Машука...

Да имеет ли значение эта математическая точность точки?

Говорят, в извозчичьей карете, согнувшись в три погибели, чтобы не узнали, примчался и «старик» Геккерн, дожидался вдали, и когда кончилось «благополучно», скрылся.

Глубокий снег. Пушкин сел на сугроб, нетерпеливо глядя, как секунданты (взялся помогать им и Дантес) вытаптывают тропку, смертную дорожку.

Дантес, д'Аршиак, Данзас — и Пушкин. Он смотрел на фатовски закрученные белокурые усики врага, красующегося и сейчас, с наигранной, кокетливой серьезностью «теплого парня» отпуская какие-то словечки, топочущего офицерскими сапожками по снегу. Русского офицера, с которого даже не спросили знания русского языка — предупредительно помогли уклониться от экзамена. А в полку прославившегося полным, пренебрежительным, «детским» неведением вверенных ему людей — русских солдат, за что не раз шумно и весело отбывал необременительные, компанейские дежурства. И опять буквально точными окажутся строки, что будут написаны через считанные дни:

Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы...

Ни слова за все время дуэли не было произнесено по-русски.

Французскую фразу и выкрикнул Пушкин, сбитый выстрелом на секунду опередившего Дантеса, придя в себя после мгновенной потери сознания, обливаясь кровью, что нет, поединок не завершен (Геккернам и тем, кто с ними, торжествовать рано), у него достанет еще сил сделать свой выстрел.

Кровь залила плащ Данзаса, обозначавший барьер.

Разломали забор, чтобы могли подъехать сани.

С саней перенесли в карету, ту, что Геккерн прислал для Дантеса, Пушкину не сказали — чья.

Возвращались медленно, поминутно останавливаясь, смертельно раненный терял сознание от тряски — на месте кровавого поединка не было врачей, очевидно потому, чтобы посвящать меньше людей...

13

Стоит обелиск. Вокруг деревья — как в скверике. Место людное. Играют дети. Ни канав, ни комендантских заборов. Аэродромная улица. Несколько автобусов с трехзначными номерами. А за Коломяжским и Ланским мостами через узкую мутную Черную речку — улица Савушкина, трамваи «двойка», «тройка», автобус «65» — прямо от Летнего сада.

В двух шагах платформа «Новая деревня», из окон электрички едущие смотрят на обелиск.

Не место смерти, а торжествующая жизнь.

В проносящихся вагонах загорелся свет, наверно он мешает смотреть.

Близилось то самое время между волком и собакой.

А город достиг сюда своими кварталами, скверами, садами, неисчерпаемым кипением творящего труда. Город, «полнощных стран краса и диво». С тем же державным течением Невы в береговом ее граните.

Великий город, исполнивший и в самых жестоких испытаниях, доставшихся ему на долю на наших глазах, нашей памяти, завет своего поэта:

> стой
> Неколебимо как Россия.

В несколько минут с платформы «Новая деревня» Вольховский вернулся туда, откуда вышел холодным сияющим утром, когда летучая дымка облекла неизмеримый купол небес и дивную, теряющуюся в отдалении линию набережных.

Смеркалось. Поднялся в голубую гостиницу. Вспыхивали огни.

Он оправдал-таки сегодня свою фамилию!

1977

СТОИТ ГОРА ВЫСОКАЯ

1

И снова, на каком-то развороте, ослепительно вспыхнула маковка, погасла, чтобы передать огненное солнце другому древнему куполку,— и показалось, будто гигантские пальцы, незримо касаясь, исполнили на горящих жаром

клавишах им одним ведомую световую гамму. Вот уже все позади, ничего не различить, лишь на тающем в отдалении мосту хлопотливо снует рой сверкающих точек...

Так уже было, только в обратном порядке, в то утро, когда поезд подходил к городу, и впереди блеснули стремительные искорки на полоске моста, а надо всем встала гора изумительной прелести и чистоты; люди, прильнувшие к окнам вагона, знали, что этот встречающий их город — один из прекраснейших в мире. Несколько мгновений — и плотью обросла каждая искорка: мелькнуло ветровое стекло, огнем полыхнул металл капота; машины в неустанном беге неслись над рекой...

Гомон перрона, радостные восклицания, объятия, букеты.

И начались дни, которых не пересказать. Киев старинный, «мать городов русских». «Киевица, Хоривица, Щековица» — сказка, включенная в городскую топографию, отзвуки имен легендарных братьев — Кия (якобы от него и пошло «Киев»), Щека, Хорива. Выдубецкий монастырь — и на твой вопрос непременно помянут, как стоял народ толпами на берегу, стенал, плакал, когда Владимир-князь побросал в Днепр языческих богов, молил:

— Выдыбай, боже! Выдыбай, Перуне!

Против того места, где построили монастырь, Перун и вынырнул...

Мы шли по Рогнединской — названье, названье-то какое!

Навстречу нам девушка, одетая как уже примелькалось: джинсовые брючки, чуть не распашонка.

Окликнули, спросили — остановилась, хотя шла быстро, спеша, верно, по своим делам, и полился певучий говорок с ласковой теплотой взгляда, какую каждый из нас двоих волен был отнести к себе. Надо же объяснить приезжим людям обстоятельно, терпеливо!

И глядя ей вслед, мой спутник подумал вслух:

— Ярославна — как представляем ее себе? Вот как ты представляешь? В темном до пят, изваяние скорби на городской стене? Полные слез глаза, взошла на стену с мольбой солнцу, ветру, Днепру Славутичу, чтобы полететь ей кукушкой, омочить бобровый рукав в кровавой Каяле-реке? А что до того была девушкой, юной, веселой, была радостная свадьба, помним про это? Ничего не помним. А вот же она — живая, не та, что скорбела на стене, а

что беззаботно шла за молодого красавца князя и не думала не гадала ни о какой Каяле!

Лестницы неожиданно взлетают вверх, открывая разбег еще не виданных улиц, площадей с пестрыми причудами, прихотями архитектуры.

Киев новый, сегодняшний, сиюминутный.

Пышность Крещатика, массивы вырастающих на глазах районов — городов-сыновей. Бессонно-кипучая жизнь магистралей и проносящиеся под ними поезда метро.

А совсем рядом — человек служащий легко доберется в свой обеденный перерыв — стихает всякий шум, сады, сады, широкой лентой километров на восемнадцать. Сады по верху горы. Необъятно распахнется небо над головой, внизу Днепр, за ним необъятные дали Заднепровья...

На склоне Сиреневый сад. Тут вступишь в густейший, под горячим солнцем, настой сладостно-весеннего, будоражащего аромата. И уже без удивления выслушаешь, что в Сиреневом саду 250 оттенков, колеров, сортов сирени.

Природа, не пропыленная, не игрушечная, и огромный город точно подают друг другу руки, породнившись красотой,— вот в самом центре знаменитый Университет имени Шевченко тоже стоит в зеленой оправе, глядя на строгую, стройную шеренгу пирамидальных тополей бульвара Тараса Шевченко.

Это имя — Тарас Шевченко — не перестает звучать вокруг.

И пусть знаешь, как мало привелось ему живать здесь — пальцев одной руки хватит, чтобы исчислить годы, проведенные им к Киеве,— сразу охватывает несомненное ощущение, что едешь к нему *домой*.

Но разве видел Шевченко, разве мог представить *такой* Киев?! В домишке, в крошечной низенькой комнатенке, одном из его пристанищ, сбереженном как память, панорамкой показано, что же видел он за своим окошком. Белые строеньица в садочках, городок-слободка, Киев, еще не сломанный, не искромсанный всевластным одноруким пошучивающим самодуром, пресловутым губернатором Дмитрием Гавриловичем Бибиковым,— Капрал Гаврилович Безрукий — окрестил его Шевченко.

Киев добибиковский, об исчезновении которого так жалел Лесков,— ничего же общего не было в нем с нашим, нынешним!

И все же — «не мог представить...». Да так ли?

Здесь особенно остро и как-то по-особенному думаешь об этом. Не он ли призывал, страстно торопил приход «семьи великой, семьи вольной, новой» — невиданной тогда, небывалой?

Больше того: и себя считал уже членом той небывалой семьи, как бы утверждая мысль, что физический конец вовсе не станет концом подлинной его жизни!

И вышло так, что жизнь его, со сверхчеловеческими тяготами, вплоть до последнего глухого холодного закута вдали от того, к чему рвался, стремился,— героическая, испытавшая его дух всеми пытками, оскорблениями, нищетой, но не пошатнувшая его, жизнь, одарившая и великой радостью — бесстрашно идти вперед, сознавая, что за тобой тысячи и тысячи, которых ты пробудил своим словом, которые слышат тебя,— вся эта жизнь легла краеугольным камнем в основание и дивного города, и того прекрасного, что стало на любимой земле.

Какая необычайная судьба!

2

Настала пора ехать прямо к нему.

Обычным днепровским теплоходом это долго, много часов,— когда потом собирались обратно, нам предложили вернуться на теплоходе: отход в три часа дня, плыть и вечер, и ночь, утром в Киеве.

Совсем иное на подводных крыльях. Не случайно подобраны и названия: «Ураган», «Шквал», «Тайфун», «Юрий Гагарин» (это тоже как ураган!).

Выйдешь на открытое место у кормы, туго охватит равномерный, отдающийся в высоком воздухе, во всем речном просторе гул, заворожат два близко несущихся буруна с бешеными водоворотами, пенным, пятнисто ширящимся шлейфом за кормой — и странно почудятся в грохоте, гуле голоса́, будто настойчиво кричащие тебе. Именно тебе. О чем они? Бог знает что́ иной раз расслышишь в них. Вот мой спутник и товарищ, он писатель, автор строгой, любимой и знатоками и читателями прозы, говорит мне, бегло улыбаясь, чтобы вышло как бы и не всерьез, но в то же время и не совсем ради красного словца:

— С тобой не случалось, нет? Когда станешь так, лицом к лицу с самим собой, с этой рекой, с тем, куда

едешь... Да и с удивительным этим кораблем, мчащим тебя... Или тут уже нужно другое название, не корабль? Вон приглядишь мысок впереди, на краю неба, а он разбежался к тебе, вырос, громадой пробежал — и только щурься, чтобы различить его опять где-то, на противоположном небесном краю, повитым сизоватой мглой. А за такое время, сидя у письменного стола, едва построишь точную фразу, выжмешь лишнее, сведешь, чтобы стояла прочно, наглухо — комариного носу чтоб некуда было просунуть в пустую щелку. Сравнишь и раздумаешься: выдерживает ли соревнование *вот с этим* она, твоя фраза? Знаю, знаю — наивно: а если, скажем, самолет? а если космическая ракета? И все-таки не семь, а сто семь раз взвесь, чтобы перед самим собой отчитаться в праве на то, что и как делаешь...

Так он говорил, писатель, чьи книги не медлят на прилавках магазинов, не залеживаются на полках библиотек. Но именно сейчас, именно в этой поездке особенно отчетливо думаешь и понимаешь, что не забава это, не ремесло, а прежде всего — дело совести. И если совесть твоя стала совестью народа, времени, поколений,— как у того, больше века назад умершего, к кому едем мы, едут и все на прекрасном корабле не корабле (потому что маршрут туда, к *нему!*),— то что же значительнее *такого* дела? Важнее сделанного *им*?

Приглядываемся, прислушиваемся к попутчикам.

Конечно, тот город, куда едем, также вырос ввысь, разросся вширь, там ГЭС, большая стройка, едут, значит, и по своим, сегодняшним заботам. Но и они не забывают, какое непростое это место, каждый побывал на горе, что выросла в людском сознании всех выше.

Какая хорошая пара! Юноша и девушка, да нет — мальчик и девочка, оба строители, из Керчи. Совсем недавно вовсе не знали друг друга — и как это случилось, сразу, «да он и не нравился мне ни вот столько!» — говорит она и не оторвет от него глаз,— и как же горд он, даже ростом, кажется, становится выше, завидно смотреть!

Пошли молодым навстречу и с комнатой, и с отпуском, сложности жизни пока что не видны им, еще будет время столкнуться. А пока — «раз-раз, решили и поехали — у нас ребята хорошо зарабатывают!». Морем до Севастополя, оттуда в Одессу, в Киев — только что ни гостиница — мест нет. «Вы кем командированы?» — «А мы

никем, мы сами». Смеются. Устроились иначе. Эта сложность еле царапнула.

— И теперь вы...

— А как же! Батя мой, отец значит, велел: куда хочешь поезжай, а вот *того места* не минуй!

Человек средних лет толкует о пчелах «діду» из Кременчуга. Рекомендуется: «аматор» (любитель). А дед «всю жизню при пасеке», исключая службу в армии — был артиллеристом, и еще «робил на соли», в войну партизанил в плавнях, в низовьях Днестра, у Черного моря — «нема другого такого моря на світі!». Много исключений изо «всей жизни при пасеке»!

Но об этом он лишь кидает фразы-булыжники под напором оживленной скороговорочкой частящего «аматора».

У деда тяжелое, кирпичного цвета, в серо-сизом волосе лицо с далеко разбежавшимися крыльями утиного носа, глубокими вырезами ноздрей, он велик и сидя, а как подымается, во всем непомерном, обвислом, в широчайших штанинах под хлопающими полами плаща, в чувяках-лодках, сразу становится в общей каюте тесно.

Верно, скороговорочка утомила его, он стоя обрывает:

— А в том Черном море глыбь — на девять километров опустили и дна не достали!

«Аматор» сбит с толку невероятным заявлением, он точно поперхнулся, за его борьбой с самим собой с любопытством следят сверху вниз глаза деда. Да, они выюркнули откуда-то, где прятались, и вот-вот подмигнут, даже кирпичные жилки на щеках шевелятся, как задорные червячки,— кто бы подумал, что он такой, кременчугский дед!

— Мовчите? Я ж казав, что на усім світі нема другого моря, як то Черное!

И пошаркал по проходу к выходу на корму.

Он из Кременчуга, «аматор» из-под Винницы, и не придумаешь людей менее сходных. А путь у них — один.

А это что? Отличен чем-то от прочих, не сразу определимым. Узнаем: канадец. Канадский украинец из провинции Альберта. Как попал туда? Родился на Буковине. «Сами в хате, а земля що під хатою». Война четырнадцатого года одела в австрийскую солдатскую шинель. В восемнадцатом разделался с ней, очутился в Киеве вольным казаком. Думал остаться — «сладкий воздух!».

Полчища, еще вильгельмовские, хлынули в тот год на Украину, австрийцы на подмогу. Снова напялили ту же кожу. Но истекало последнее время Австро-Венгрии. Ночуя где попало, перебираясь через новые границы, солдат бредет домой. Сколько лет не был! Деревня наводнена жандармами боярской Румынии. Родителей нет в живых; заколочена хата. Начал мастерить, научился в армии. Чинит, паяет. Насаживает, вострит топоры. Топоры?! Вон они откуда! (Топором убит жандарм.) Ворота тюрьмы в Галаце захлопываются за ним. Вышел на волю — голый человек на голой земле. «Ось тут тебе чекае лист» (ожидает письмо). От брата. Долго провалялось. Брат давно уехал шукать себе долю за океан. В Канаду. «Хочешь — приезжай: помогу». Шахты. Лесосплав. Черес (пояс) золотом не набил. Но грошей все же поднакопил — вот и приехал. Верно, в останний раз. «Я ж его, Киев, в восемнадцатом пешком обходил. А теперь — ехал, ехал, да и бросил!..» Завтра на самолет, в Канаду. А сегодня... «Что же я скажу землякам, если не побываю *на той Горі?*»

Какие разные судьбы у людей, кого одинаково влечет «та Гора»!

3

Поплыла постройка на причале, остановилась, замерла — стало видно и слышно в тишине течение реки, но для глаз, после бега корабля, это все еще было как движение земли, кустов на берегу. Канев!

Дорогу спрашивать не надо, ее указывают группы, цепочки идущих.

В сознании звучит стих другого великого поэта:

К нему не зарастет народная тропа.

Путь по-над Днепром, вербы, ракиты, иные в правильных шарах омел, высокий берег весел, кудряв. Вдруг он еще взлетает ввысь, на нем, на самой высоте, еще горка, холм. Розовеет гранитная призма постамента — люди у его подножия кажутся крошечными, человеческой россыпью. Их тоже видит с постамента человек, стоящий там склонив голову,— чтобы широко окинуть взором и кручи, и реку, поля, селения, белые кварталы нового Канева.

Чернечья гора — забылось: это Тарасова гора.

И пароход «Тарас Шевченко», поравнявшись с ней, салютует ей тремя гудками.

«Он был сыном мужика,— читаем у Ивана Франко,— и стал властелином в царстве духа.

Он был крепостным и стал исполином в царстве человеческой культуры...

Десять лет он томился под тяжестью российской солдатской лямки, а для свободы России совершил больше, чем десять сильнейших армий».

По крутым изломам лестницы — движение людей, оно кажется муравьиным, если глядеть снизу. Там из наших попутчиков и кременчугский дед, он опередил всех. Но вот он остановился, могучая его фигура застопорила движение. Нагибается — что там? А маленькая старушонка, она оступилась, что ли, рукой прихватила ступеньку и той же рукой отпихнула деда-гиганта — не надо ей помощи, сама! Сама, согнутая в дугу, не давши себе роздыху, стремится на самый-самый верх, *где он!* Поразила меня, да, видно, и деда, кого трудно поразить, эта глубокая старуха — взошла, вскарабкалась, вон как было нужно ей!

А лестница — 9 маршей, 340 ступеней.

Весь подъем в медовом духу акаций, в светлом и легком сплетении ветвей. И вспоминаешь, как по-особенному *тот, кто там*, дорожил расцветом земли, красой ее, зеленым убором. Как, ссыльный, влача каторжную лямку николаевской солдатской муштры, посадил первое дерево, иву, «на гарнизонном огороде», и прославленный академик К. М. Бэр допытывался, как выросло, как могло это вырасти посреди безнадежной, «богом проклятой» пустыни Мангышлака.

...И вот я читаю статью «Город-сад в пустыне», подписанную заместителем председателя исполкома Шевченковского городского совета Л. И. Артамоновым («Здоровье» за 1977 год, № 11):

«...Изнуряющий летний зной, пронизывающие ветры и пыльные бури, солончаки... Недаром же геологи шутили, что попали в край, где даже верблюжья колючка чувствует себя неуютно».

Так было.

«Здесь построена первая в мире атомная опреснительная установка. Жители Шевченко пьют вкуснейшую воду... Наш город по водоснабжению входит в первую де-

сятку городов страны: расход воды на человека составляет 450 литров в сутки... Создается ботанический сад...»

Как бы порадовался Шевченко, чьим именем назван город-сад, Шевченко, как бы сам заложивший ему основание!

А в конце жизни, в последний раз расставаясь с Украиной в августе 1859 года, ночуя в Кролевце, он сажает у дома милых хозяев грушу. И сулится приезжать — помогать собирать урожай. Только уже не он — тело его вернулось в тот самый дом на пути в Киев и Канев...

Теперь бронзовый великан видит все, о чем мечтал, о чем тосковал в стихах. Слышит, «як реве ревучий».

И самое место выбрано им.

Чтобы похоронили, как сказано в знаменитом «Завещании»? Но то написано еще до первого ареста, до ссылки, задолго до конца, и вовсе не своя смерть тема этого поразительного завещания, обращенного к Грядущему.

Нет, поглядев разные места в свой последний приезд, он облюбовал одно — близ Чернечьей горы в сторону деревни Пекари, чтобы поставить хату, «хаточку», «тількі хаточку в тім раї». В *том раю!* Превосходный художник, вычертил, нарисовал «хатину», что просил для себя у судьбы,— «благав і досі ще благаю».

Для жизни он выбрал место!

И охватывает удивительное, ни с чем не сравнимое ощущение живого присутствия. Что воля его не нарушена.

Живая могила!

Сопоставляешь с тем, что по-украински «могила» шире узкогробового смысла, это еще и высокий холм, курган, осененный богатырской славой.

Гора Славы с бронзовым Кобзарем высоко царит над днепровской ширью, гордо господствует над всем кругозором, насколько хватает глаз.

И больше, чем где-либо, думаешь здесь о *живом* Шевченко.

4

Виной, быть может, слякотная пора, с ветрами, секущими висящей над улицами мокредью, мокрым снегом, низко волочащиеся тучи, за которыми нельзя угадать солнца, день, затлевающий в десять, меркнущий к четырем,— только особенно неприютным, холодным (хотя при

нынешнем паровом отоплении здесь жарко) выглядит последнее обиталище Шевченко — в Академии художеств, против сфинксов на набережной Невы. Дверь из какого-то колена громадного казенного коридора, за ней одна вытянутая к окну, чем-то голая в своей узости комната, лестница-трап на антресоли поверх потолочного настила. Так и ждешь, стоя внизу, что покажутся ноги сходящего оттуда, топочущие по ступеням,—так вот и сходил он, встречая приходящих. Потом ему стало трудно, дольше и дольше оставался на своей верхотуре, где было еще голее, койка, бедно застланная, старенький стол, за которым писал, столик с рукомойником, верхушка окна, низко над головой потолок, воздух, тяжелый для дыхания, с резкими испарениями кислот, идущими снизу, из мастерской: он усиленно занимался гравюрой на меди, офортом, «своей возлюбленной акватинтой». А по ногам несло сыростью и холодом от окна.

У дверей в коридор (на двери, кажется, была полустертая, мелом, буква «Ш»), у дешевенькой ширмы, Николай Лесков и услышал его голос с сильной одышкой: «А ходить же, голубчику, сюда».

Лесков лишь начинал свое замечательное литературное поприще — начинал запоздало, ему было тридцать лет; до того, мелкий чиновник, служил в Орле, в Киеве; изъездил Россию вдоль и поперек,— «публицистических рацей о том, что народ надо изучать, я вовсе не понимал... Народ просто надо знать, как самую свою жизнь, не штудируя ее, а живучи ею». Вот и сейчас он приехал с Украины и сразу поспешил сюда. Был конец января 1861 года. Едва месяц оставалось жить Шевченко.

Гость поднялся по крученой, витой лестнице. Хозяин в коричневой свитке сидел сутулясь. Глотнул с ложки лекарство, на столе стоял аптечный пузырек рядом с недопитым стаканом чаю. «Вот пропадаю»,— сказал он. Лескова поразило «что-то ужасно болезненное» в его облике, но ни на минуту он не подумал о близком конце — со всем справится «могучая натура поэта» (сам шеф жандармов Орлов тогда, в 1847 году, при роковом повороте судьбы Шевченко, отмечал: «Художника Шевченко... как одаренного крепким телосложением, определить рядовым в Оренбургский отдельный корпус...»).

Услышав, что гость только что с Украины, Шевченко ожил. «Годи обо мне,— расскажите». Стал расспрашивать о делах, о людях. Схватил какую-то книжицу, от-

крыл, бросил, опять раскрыл, кинул. То была «Граматка» Кулиша. «Скажите мне, для кого она писана?» — «Как — для кого?» — «А так, для кого? — бо я не знаю, для кого, только не для тех, кого треба навчить розуму».

Нет, ничуть не умалилась неистовая сила духа, что жила в нем!

Отшвырнул «Граматку». Справился с жестокой одышкой. «От як бы до весны дотянуть — да на Украину... Там, може б, еще хоть трошки подыхав».

Он не знал, что путь на Украину для него закрыт, что, еще когда он выезжал из Киева в 1859 году, генерал-губернатор Васильчиков, брат секунданта на дуэли Лермонтова с Мартыновым, мягко стелющий, либеральный, послал вдогонку бумагу в Третье отделение: «Если бы Шевченко захотел поселиться в здешнем крае, то полагал бы необходимым отклонить его намерения».

Не знал этого и Лесков, он просто написал: «Мне становилось невыносимо, я чувствовал, как у меня набегали слезы».

— Спасиби, що не забуваете,— сказал Шевченко, прощаясь с молодым, ничем еще себя не ознаменовавшим посетителем. Дал ему свой, в противовес Кулишеву, «Букварь» для воскресных школ на Украине,— меньше двух лет назад, в 1859 году, возникли первые в Киеве и Чернигове, сейчас, в наступавшие годы великих чаяний, их становилось больше и больше на гребне взметнувшейся общественной волны.

— Просмотрите его да скажите мне, что вы о нем думаете.

5

«Что думаете?» До конца дней он, великий поэт, самый замечательный культурный деятель своего народа, человек громадной славы, спрашивал о мнении у людей, с кем встречался, искал поддержки, товарищеской руки («незлого тихого слова» просил он себе от «великой, вольной новой семьи» Грядущего в знаменитом «Завещании», по-украински «Заповіт»).

И как умел быть благодарным и верным — верность в дружбе, в общем деле, в братстве он выше всего ценил.

Есть у него баллада, поражающая неожиданностью сюжета, мастерской сжатостью, пронзительной силой и высотой нравственного чувства, не прощающего лжи,—

ни перед чем не отступая, когда надо утвердить справедливость. Тут и гимн мужской, преданиями казачества освященной, общности-верности, и опять та всепобеждающая, неистовая мощь души, что жила в Шевченко.

У тієї Катерини
Хата на помості...

Трое казаков приехали к красавице. Она сказала: брат мой в неволе вражьей. Кто вызволит, за того пойду. И трое вскочили на коней. Один утонул в гирле Днепра, другого в Крыму на кол посадили, третий вызволил брата «из лютой неволи» и вернулся с ним к Катерине. Она вскрикнула: «Это не брат мой, это мой милый — я тебя морочила».— «Обморочила?!» И снес саблей ей голову. «А славные запорожцы в степи побратались».

Балладу эту, написанную ссыльным солдатом в казахских степях, издавна я невольно сопоставлял с другой, созданной через 65 лет после нее, также отмеченной завораживающим, жутковатым мастерством. С «Мушкетом» Бунина. Крестный брат, замученный на колу в Царьграде, приснился казаку, позвал к себе. Казак убил жену, зарубил детей и через сорок суток добрался до Царьграда. И «турецкий хан» снес ему «башку седую», и поплыла она в морскую даль, разговаривая с богом. Жизнь рядом со смертью, безмерный в жестокости, бессмысленный и в героических поступках мир. Самое имя казака — Мушкет, «нечеловеческое» или «дочеловеческое»; у Шевченко двое запорожцев звались Иванами, третий Семеном. К поучительным выводам ведет сопоставление бунинского и шевченковского разрешения темы, двух картин мира!

Отдавал ли он себе отчет в подлинных размерах и значении своей славы? Думаю, вернее сказать, что он твердо знал: таков святой долг, так надо поступать. И нет сомнения, что вот в значении *дела*, того, что «так надо поступать», отчет он себе отдавал полный и ясный. Только *лично* себя, простой, добрый, на редкость скромный человек, никогда не ставил впереди других, своих друзей, товарищей или тех, кого считал ими.

Кулиш в статье, напечатанной в «Русской беседе» как эпилог к роману «Черная рада», восторженно отозвался о поэтическом гении Шевченко. Он прочитал это в Нижнем Новгороде, на своей полусвободе после каторж-

ной солдатчины (поднадзорный, еще пустят ли дальше? «Собака на привязи»). И записывает в дневнике 26 октября 1857 года, то есть для одного себя, когда не кривят душой: «П. А. Кулиш, говоря о Гоголе, Квитке и о мне грешном, указывает на меня, как на великого самобытного народного поэта. Не из дружбы ли это?»

Как долго он верил в эту дружбу! Хотя, ссыльный, не дождался ни единой весточки от «друга» и лишь в конце, когда стало уже ясно: освобождают! — получил книгу «Записки о Южной Руси», даже без письма. И тогда же занес в дневник: «В особенности благодарен я ему за «Записки о Южной Руси»... Я эту книгу скоро наизусть буду читать. Она так живо, так волшебно живо напомнила мне мою прекрасную бедную Украину...»

За это одно Шевченко прощал ему все! Уже тогда понимая, что есть что прощать... «...Пошли тебе господи, друже мой искренний, силу, любовь и терпение продолжать эту неоцененную книгу» (запись 17 июня 1857 г.).

Мотивы человеческих поступков многообразны и часто противоречивы. Можно допустить, что и простое движение души руководило Кулишом наряду с боязнью как-нибудь не скомпрометировать себя и со стремлением удержать непокорного, не дать отбиться далеко в сторону,— если говорить о малой частности, то, к примеру, чтобы ничего, никаких повестей не писал по-русски, а уж тем более чтобы, боже сохрани, не удалось напечатать их. Кулиш отлично знал, что Шевченко в ссылке оставался Шевченко в глазах тысяч,— нет, мало сказать: когда, случалось, чуть не по году не доходило до него писем и черным крылом касалось души ощущение заброшенности, тоска погребенного заживо (ненадолго, он умел сладить с этим, сознание того, что сделал и что еще обязан сделать, давало опору и силу),— тогда, неведомо для него, вовсе не угасала, но ярче и ярче разгоралась его известность и популярность,— вернется он еще более знаменитым, чем был в день ареста.

Все это отлично знал Кулиш.

А простое движение души... Ведь дружили прежде, и был он не Пантелеймон Александрович, а Панько — на «ты» остались до конца. Верно, еще усмехался Шевченко в начинающие сиветь усы, читая в Нижнем важные поучения Кулиша, какие он присылал с высоты своей благополучной жизни, гладко текущей, после раскаяния в грехах молодости, в участии в Кирилло-Мефодиевском

братстве (да и отделался он тогда пустяком — несравнимо с Шевченко, хотя тот в письмах из Орской крепости больше скорбел об участи Кулиша и Костомарова, чем о своей). Вот какой «лист» пришел от Кулиша в Нижний: не подобает ему приехать повидаться, фигура он в обществе заметная, все сразу скажут: «поехал за семь верст киселя хлебать... Так не жди меня».

Труднее всего было поверить Шевченко в измену товариществу, в неискренность друга. Вот он записывает в Москве, куда наконец пустили из Нижнего,— и как удивительна запись, так непохожая на привычно продиктованные большими и малыми авторскими самолюбиями: «Кончил переписывание или процеживание своей поэзии за 1847 год. Жаль, что не с кем толково прочитать. Михайло Семенович [Щепкин] в этом деле мне не судья. Он слишком увлекается. Максимович — тот просто благоговеет перед моим стихом. Бодянский тоже. Нужно будет подождать Кулиша. Он хоть и жестко, но иногда скажет правду. Зато ему не говори правды, если хочешь сохранить с ним добрые отношения» (18 марта 1858 г.).

Но как поверить, что Кулишовы приязнь и дружба сменились затаенной враждой?

И стала она особенно злой, когда вернувшийся Шевченко оказался не в Кулишовом «курене», а сошелся с кружком Чернышевского!

Кулиш еще выступит в Академии художеств, у гроба Шевченко, будет говорить горячо, и, наверно, ему покажется, что он искренен. Но проживи Шевченко дольше, услышал бы хвалы Кулиша (кто сам был казацкого роду) матушке Екатерине, истребившей Запорожскую Сечь, закрепостившей до того вольных крестьян, раздарившей их вместе с землями панам. Екатерине, что, по слову Шевченко, «доконала вдову сиротину» — Украину.

Так разошлись пути.

6

В дневнике, то есть для самого себя, о многих людях пишет Шевченко: великодушные, святые, искренние мои, великие, щедрые, благородные. Щедрое, верящее в человека, благородное сердце — этой веры не сумела вытравить и николаевская казарма.

Он умел ненавидеть и не прощать. Но если верил и любил, то всем сердцем.

«Милый мой неизменный неутомимый друг» (о Залесском). «Что значит, что Кухаренко мне не пишет?» И был счастливый день, когда узнал, что Кухаренко, кого называл «кошевым батькой» (он был наказным атаманом черноморского казачьего войска и драматургом), конечно, ну конечно же написал, да письмо плутало.

В Нижний навестить приехал Щепкин — он не рассуждал, как Кулиш. «Праздникам праздник и торжество есть из торжеств!» «И чем я заплачу тебе, мой старый, мой единственный друже? Чем я заплачу тебе за это счастье?» (Записи 24 и 29 декабря 1857 г.).

Почему он так мечтал об офортах, о «возлюбленной акватинте»? «Быть хорошим гравером — значит быть распространителем прекрасного и поучительного в обществе. Значит быть распространителем света истины... Прекраснейшее, благороднейшее призвание гравера. Сколько изящнейших произведений, доступных только богачам, коптилось бы в мрачных галереях без твоего чудотворного резца? Божественное призвание гравера!» (26 июня 1857 г.).

Гравировать для народа, для простого народа великие произведения искусства — вот о чем мечтал. Кое-что включал и свое, притом замечательное. Полную гнева и ненависти к поработителям серию — на свой лад перевернутую «Притчу о блудном сыне». Тут и солдатчина, казарма, закованные, забитые в колодки, «зеленая улица» шпицрутенов...

И нигде ни разу, превосходный художник, вскоре — академик по гравированию, пейзажист, жанрист, великолепный портретист, он и словечком не обмолвился о собственном значении. А скольким обязан ему, например, такой мастер, как Федотов! «Я и прежде не был даже и посредственным живописцем. А теперь и подавно». Вот как он говорил! Что был учеником Брюллова, «бессмертного», «великого Карла», «величайшего живописца нашего века» — вот его гордость.

Перед Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем благоговел. Прочитал, сразу запомнил и записал на память «прекрасное стихотворение» Курочкина «На смерть Беранже». А о своих стихах с нетерпением, волнуясь, ожидает отзыва Кухаренко!

Человек — не лучший «наблюдательный пункт» для самого себя. Великий человек, с его обнаженной душой, часто еще более раним, чем обычные люди. Вдесятеро злее у него тоска одиночества. Трудно представить, как неравнодушен оставался Толстой и в зените славы к суждениям о себе, даже явно и грубо несправедливым, подписанным ничтожными именами. Лермонтов допытывался: «...есть ли у меня талант? Есть? Скажи правду!» Только талант! Пушкинское «Поэт! Не дорожи любовию народной... Ты сам свой высший суд...» и «Памятник», оправданный традицией, идущей от Горация, написанный вслед Державину (причем Пушкин не печатал его — зато безо всяких колебаний «Памятник» самому себе по такой же «колодке» написал и напечатал... Завалишин!) — все это было самозащитой от твердивших об его упадке и закате.

Лишь Гете, кажется, был свободен от подобных мучительных сомнений...

Стоит за этим еще одно, обычно не замечаемое: больше или меньше осознанное ощущение своего дела — именно как своего собственного, личного. Упор на индивидуальность его.

И тут у Шевченко резкое отличие, своя, ставящая его отдельно в истории литературы особенность.

7

Поразительная строчка в ранней, почти юношеской поэме, которую не понял Белинский,— в «Гайдамаках», вместе с первым, тоненьким «Кобзарем» и стихами, сразу широко разлетевшимися в списках,— утвердившей славу Шевченко:

Сыны мои, гайдамаки!

Он точно вбирал в себя историю своего народа. Или, лучше сказать, чувствовал себя единым с ней. Такими словами провожал бы отважных хлопцев любой простой человек, снаряжая их и благословляя постоять за правду, за народ вместе с Гонтой и Железняком.

Вот еще двустишие, подпись под офортом,— трое пожилых крестьян в свитках, один поет, двое слушают, слушающий в середке — сам Шевченко:

Ой встань, Харьку, ой встань, батьку,
Просят тебя люди.

Харько — тоже из тех, кто не стерпел гнета и встал за народ, во времена гайдаматчины, заплатив за это жизнью. Люди просят, и я один из них, точно такой же, как они.

То, что писал, должно было прежде всего служить народу, да и мнения спрашивал не для того, чтобы пощекотать самолюбие, а — хорошо ли служит?

Дело вливалось в дело народа — так он осознавал его.

Мог ли не писать?

Нет, во-первых, потому, что всем существом ощущал гигантскую важность — не писания самого по себе, но дела, какому оно должно служить. Такую важность, что никто не заставил бы его свернуть с избранного пути. (Вот она, еще и еще раз, двуединая особенность необычайного явления, имя которому Шевченко: скромность, до растворения своего «я» в великом «мы» народа, но притом неотделимая от железного сокрушающего напора, чтобы сделать, как почитал нужным и «святым», ни на волос не отступая.)

А во-вторых,— что, может быть, правильнее счесть «во-первых»,— мощная, неудержимая лирическая волна подымала и несла его — с самых молодых лет и до последнего дня. «Писать охота страшная». «Странное, однако ж, это всемогущее призвание». Вот что было у него, а не крохоборческие счеты-расчеты с жадным ожиданием, оценят ли по достоинству, поставят ли выше других!..

Сколько стихотворений помечено «В каземате»! Среди них — любимое, излучающее сияние мягкой красоты, овеянное поэзией тихо догорающего сельского вечера, сменяемого теплой ночью: дневной труд окончен, семья собралась, отдых, покой, лишь не смолкли соловьи и девичьи песни.

Садок вишневий коло хати...

Три пятистишия, а в них движущийся, затихая, мир. И написано это в смрадном каземате, в ожидании самого худшего.

А в ссылке, в казарме, когда задыхался с кляпом во рту — с запретом писать и рисовать... Сколько прята-

лось тогда в тоненьких бисерно исписанных тетрадочках, засунутых за голенище,— и «захалявные книжечки» стало термином в шевченковедении.

8

Не писать, не рисовать! «Отнять благороднейшую часть моего бедного существования! Трибунал под председательством самого сатаны не мог бы произнести такого холодного, нечеловеческого приговора». Нет и намека на покорность — горечь и гнев в этой записи 19 июня 1857 года.

Десять лет солдатчины — отказывали даже, с неумолимой злопамятностью, в производстве в унтер-офицеры (так же, как потом, уже при новом царствовании, императорская рука упорно будет вычеркивать из списков амнистируемых). Малый просвет — оказался нужен в Аральской экспедиции Бутакова, оставлен в Оренбурге для приведения в порядок материалов,— и новый донос, арест, угроза колодок, розог, «зеленой улицы», потянулись долгие, самые тяжелые годы ссылки в глушь, в пустыню Мангышлака...

Ничто не сломило.

«...Я сказал себе, что из меня не сделают солдата. Так и не сделали».

Встречались ему и настоящие люди в это время. С открытой душой, горячим сердцем. Завязывалась дружба с «земляками», и русскими, и поляками, тоже ссыльными. С любовным вниманием вникал в жизнь коренного населения пустыни. Находились и среди офицеров, командиров (вплоть до генерала и до коменданта крепости) такие, что понимали, *кто* этот рядовой, и стремились дружеским словом и чем можно облегчить его участь.

Только мало было таких. И до конца дней он благодарно вспоминал о них, обо всех хороших людях, каких подарила судьба и кого не узнал бы, если бы не ссылка.

Сходно вспомнит о своем Мертвом доме Достоевский: и на каторге живут люди.

Драгоценным даром владел Шевченко: везде отыскивать и как бы притягивать к себе истинных людей — не зря «лебедем нашим» звал его поляк-революционер, железный Сераковский. И сочеталось это (опять в двуедин-

стве!) с непримиримостью к катам, к распорядителям кровавых экзекуций под барабанный бой. К тем, кого считал сатрапами и слугами деспотизма. К «панам-злодеям», надевшим ярмо на народ. Еще ненавистнее стала вся система растления, превращающая людей в рабов, вытравляя все человеческое в душах.

Ничего он не забудет, ничего не простит!

«Ни одна черта в моем внутреннем облике не изменилась». «Все это неисповедимое горе, все роды унижения и поругания прошли, как будто вовсе не касаясь меня».

Кажется, что было в нем нечто, что тотчас выпрямляло его при любой попытке согнуть. Да он и сам сказал обо всем — в написанной по-русски еще в 1843 году о воображаемом герое и как бы пророческой поэме «Тризна»:

В юдоли рабства радость воли
Безмолвно ты провозгласил...
Свободу людям — в братстве их
Ты проявил великим словом:
Ты миру мир благовестил;
И, отходя, благословил
Свободу мысли, дух любови!..
...Пройти мытарства трудной жизни,
Измерить пропасти страстей,
Понять на деле жизнь людей,
Прочесть все черные страницы,
Все беззаконные дела...
И сохранить полет орла
И сердце чистой голубицы!
...Нашел друзей и тайной силой
К себе друзей причаровал...

А другой поэт Украины, прозванный «великим каменяром» (каменщиком), Иван Франко, говорит об этом так: «Судьба преследовала его в жизни, сколько могла, но она не в силах была превратить золото его души в ржавчину...»

«Все роды унижения и поругания...» Вот рассказанный им самим случай, «мелкий», но тем более гнусный, что произошел он, когда уже всем было известно: Шевченко выходит на волю.

Через открытые окна офицерского флигеля несся пьяный ор. Кампиони, инженерный офицер, шатаясь, выскочил на плац.

— А, Шевченко! Я тебя сейчас познакомлю — тут приехали такие лихие ребята...

И потащил за рукав.

«Лихие ребята сидели и лежали в одних красных рубахах на разостланной кошме, и перед ними красовалась полуведерная бутыль сивухи».

Что мелькнуло в затуманенном мозгу? Похвастаться, позабавиться диковинкой, с которой «там» носятся, а здесь она — тьфу, ничто, что хочу, то сделаю! На свой, на хамский лад он тоже знал, кто такой Шевченко.

Охватило омерзение. Вырвался, выбежал прочь.

Улюлюкая, кинулись вдогонку. Схватили, заперли в «клоповник». На столе у коменданта — донос: рядовой ворвался нетрезвый, оскорбил площадной руганью только что приехавших, мирно собравшихся у товарища офицеров.

«— Я приму присягу, что это неправда.

— А он примет присягу, что правда. Он офицер...»

Что делать?

«Одно средство — просить прощения...»

Мерзавец продержал в передней два часа. «Простил» не сразу, изгаляясь, с условием тотчас выставить водку.

— Что, батюшка,— захохотал один из «лихих ребят», — вам не угодно было познакомиться с нами добровольно, как следует с благородными людьми, так мы вас заставили!

Всего только «шутка» — ха-ха-ха!

9

А чем была жизнь с самого начала, до страшного десятилетия?

С восьми лет в «науке» у дьячка, вернее — в попыхачах, есть такое выразительное украинское определение. «По многотяжком двухлетнем испытании прошел он грамáтку, часловец и, наконец, псалтырь». Так рассказывает сам Шевченко в наброске автобиографии, писанном за год до смерти в третьем лице. Дьячок щедро кормил березовой кашей и, чтобы было больше досуга пить, посылал читать вместо себя по усопшим, платя «десятую копейку яко поощрение». Прежде чем убежать, ребенок попытался наказать пьяного в дым и в стельку мучителя, отстегав его его же розгами (вот когда уже проявилась неукротимость!).

Дьякон-маляр, «тоже спартанец», в местечке Лысянке. «Терпеливо бродяга-школяр носил из Тикича три дня

ведрами воду и растирал медянку на железном листе и на четвертый день бежал».

Бежал он в село Тарасовку к третьему дьячку — богомазу, «славившемуся в околотке изображением великомученика Никиты и Ивана Воина; у последнего для большего эффекта рисовал он на левом рукаве две солдатские нашивки». Тут мальчик был готов перенести все, лишь бы научиться этому искусству. «Но, увы! Апеллес посмотрел внимательно на левую ладонь бродяги, отказал ему наотрез, не находя в нем таланта не только к малярству или к шевству [сапожничанью], но и к бондарству».

И мальчик-сирота пошел батрачить за харчи, потом какой-то сердобольный хозяин положил пастушку (либо подпаску) три рубля ассигнациями в год — меньше рубля серебром.

Но и пастырем стад не привелось быть долго.

Потребовали к барину Энгельгардту, чьей собственностью он был. В казачки. Такого заводу прежде на Украине не знали, он пришел из шляхетской Польши. Мальчик-холуй, услужающий пану *сюды — туды — навприсюды.* На Николу Зимнего, 6 декабря, в день тезоименитства императора, господа уехали на бал. При свечке стал копировать картину, портрет казака Платова. Не заметил, как вернувшийся барин, усмехаясь, приложив палец к губам, подкрался сзади. Рванул за уши, отхлестал по лицу. На другой день выдрали.

Кому из великих выпадала такая жизнь, *вся* жизнь?

Написанный рукой Шевченко набросок краток — напечатанная, в виде письма в редакцию «Народного чтения» (№ 2 за 1860 год), более подробная автобиография обработана, в сторону «дипломатичности» изложения, Кулишом (был он, конечно, на это мастером) и потом подписана Шевченко; в ней, несомненно, также слышен его живой голос, этого не подделать. Шутливый, насмешливый, вдруг он становится жестким, конец забаве, вырывается гнев, неудержимый, негодующий — столько регистров на малом числе страниц, — хотя в редакции Кулиша все смягчено, выровнено... В подлинной же рукописи читаем: «В 1844 году удостоился звания свободного художника, а в 1847 году был арестован вместе с Костомаровым, Кулишом и многими другими по доносу студента Киевского университета некоего Петрова. Без суда и след-

ствия разослали их в разные крепости, а 30 мая того же года из каземата Третьего отделения Т. Г. Шевченко был сослан в Орскую крепость и потом в Новопетровское укрепление со строжайшим запрещением писать и рисовать.

В 1858 году, 22 августа, по ходатайству графини Анастасии Ивановны Толстой освободили его из Новопетровского укрепления. И по ее же ходатайству всемилостивейше повелено быть ему под надзором полиции в столице и заниматься своим художеством.

В 1859 году летом, после долгой и тяжкой разлуки, увидел он свою прекрасную родину, крепостных братьев, сестру...

После долгих двухлетних проволочек Главный цензурный комитет разрешил ему печатать только те из своих сочинений, которые были напечатаны до 1847 года, вычеркнув из них десятки страниц (прогресс!)».

Разумеется, ни слова об этом в причесанном Кулишом тексте. Разве возможно так писать да еще отдавать в печать?!

То, что родные, близкие, братья, любимая сестра по-прежнему крепостные, «крещеная собственность» какого-то «пана» Флиорковского, было как кровоточащая рана в душе Шевченко. Сколько писем последнего срока его жизни заполнено борьбой за их свободу!

Человеческое достоинство, оскорбляемое в обществе купли-продажи людей, в обществе муштры,— было его гордостью, выработанной, выкованной в итоге прожитых лет. Прожитых вопреки всему унижающему — с начала до конца против течения.

В кулишовском тексте есть фраза: «По врожденной мне продерзости характера...» Думается, что Шевченко со спокойной совестью признал ее своей, если только прямо не подсказал Кулишу.

Мы-то теперь понимаем, что значит она! И что никогда ему не изменяющий юмор — это свобода духа. И *человечность.*

В последний приезд на Украину заходит он в незнакомый домик. Хатку на окраине. И попросту просит приютить в кредит — пришлют деньги, отдаст.

Хозяйка смотрит — седоусый дядька, поношенное парусиновое пальтецо, лысый, глубоко сидящие суровые глаза, но какая-то искра в них, шальная, лукавая, смеющаяся.

— А вы кто будете?

— Як бачите, чоловік... Шов, шов, бачу — хатка... Біла, біла як сметана, та ще й садочком обросла; а на дворі дітячі сороченятка сушаться, рукавами махають, мене кличуть — я и зайшов!..

Ставил почти, так представляется, опыт: что пересилит — человеческая общность или отчужденность людей друг от друга?

И пересилила человечность. Приняла! По простым словам! И только после узнала, *кого* приняла!

В «казематском» стихотворении, означенном цифрой VII, вспоминает о слезах, какими ребенок, подросток, он поливал пустое поле. Жалоба, унылый стон — только и всего? Как после, к примеру, у Надсона? Нет, тотчас стихотворение повернуто на шутку: хоть бы от этого, от тех слез, рута выросла, а то — ничего!

Вот и видно, что лить слезы нет резону. В кандалах не рыдал. Да и кто с тех пор видел Шевченко плачущим?

Болея, мучительно, смертельно, он не застонет.

Начало болезни, сведшей в могилу, положил ревматизм, подхваченный в ссылке. Перешел в грудную жабу, затем в сердечную водянку, при которой боли, с удушьем и «сердечным страхом», по медицинской терминологии, невыносимы.

Лежал один; когда, задыхаясь, не мог лежать, садился на постели. Прислужник от Академии — Лесков его называет солдатом — только захаживал. Друзья хлопотали о больнице, чтобы была по средствам,— не успели. Нищета сопровождала до конца. Пища тяжелобольного скудна, дурна, помещение вытянуто кишкой, с винтовым трапом на «полати», сырым, затхлым воздухом, ледяным холодом по ночам...

Так уже в самом конце.

А в 1847 году Костомаров, тоже участник Кирилло-Мефодиевского братства, позднее — известный историк, дивился стойкости Шевченко на допросах (сам Костомаров не мог похвалиться этим). Когда 15 мая всех «братчиков», захваченных в разных местах, свели вместе в Третьем отделении в Петербурге, Шевченко весело, шутливо рассказывал, что квартальный, подскочивший к нему на киевской пристани, как только подошел паром с того берега, был, обратите внимание, косым!

— Недаром никогда терпеть не мог косых!

Шевченко арестовали 5 апреля при возвращении из-под Чернигова — паром подвозил к Киеву через Днепр. Жандармы уже дожидались.

30 мая объявили конфирмацию. И опять Костомаров видел в окно, как вывели Шевченко в солдатской шинели и как с улыбкой он сел в телегу и снял шляпу, еще «штатскую», прощаясь.

Ведь это конечно же тот самый человек, что увидел «во сне» и не поколебался изобразить в поэме «Сон» императорскую столицу как чудовищную фантасмагорию: раззолоченная знать трусливо, угодливо и жадно жмется к владыке-медведю, передавая дальше, по цепочке сверху вниз, из дворца на улицы, полученные от высочайшей лапы тумаки и затрещины. А по медвежьему реву проваливаются сквозь землю, соблюдая очередь, кабаны, самые пузатые, и челядь, и полки. Веселая комедия — вполне во вкусе Гойи!

Тот самый человек, что в поэме «Кавказ» провозгласил, как возглашают «Многая лета», такую здравицу:

Хортам, и гончим, и псарям,
И нашим батюшкам-царям —
Слава!

А строками, ставшими крылатыми, «успокоил» владык, приравненных к собакам, что все обстоит в отличном порядке:

От молдаванина до финна
На всех языках все молчит:
Все благоденствует!

По-украински еще резче подчеркнут сарказм: «Бо благоденствує» — потому что благоденствует.

Он ничуть не заблуждался в значении того, что делал.

Шел с открытыми глазами.

Вот, перед арестом, он готовит новый сборник «Три літа» — уже название должно показать, что непростые то были три последних года работы, 1844—1847. Готовит *рукописный* сборник, включая в него и «Сон», и «Кавказ», и пламенное «дружеское послание» «И мертвым, и живым, и нерожденным землякам моим на Украине и не на Украине сущим», поэмы «Слепой (Невольник)», «Наймичка»... Смысл был ясен: *нельзя мириться с самодержавием;* надо восстать на царско-крепостнический строй. И тем больше взрывная сила, что помножалась она на мощь поэзии.

Не существенно, состоял ли формально Тарас Шевченко в Кирилло-Мефодиевском братстве. Известно, по костомаровскому свидетельству, что к идеям правой, либеральной части братчиков он отнесся «с большим возбуждением и крайней нетерпимостью». Вспоминают, как приходил он на тайные собрания на квартире левого, Н. Гулака, читал непримиримые стихи, страстно упрекал, что говорят, говорят, вместо того чтобы действовать.

Мы подчас, с нашей высоты, из нашего «далека», легко ставим в строку слова: боролся, страстно выступал, призывал... Надо вдуматься, что означало это в то время, какого бесстрашия, напряжения воли, какой решимости требовало.

В «Синих гусарах», короткой замечательной поэме Николая Асеева о декабристах, есть стих:

Силе такой становясь поперек...

Силе такой становясь поперек. Империя последнего «железного самодержца» из дома Романовых была такой силой. Забивание насмерть на «зеленой улице» шпицрутенов — «прогнать сквозь тысячу восемь раз», под конец тащили не человека, а кровавый кусок мяса. Казнь петрашевцев, весь ритуал которой был выполнен, завязали глаза и тогда, уже прошедших через смерть, помиловали (навсегда надломило это Достоевского),— смертная казнь чуть ли не за одно чтение письма Белинского Гоголю.

Кричащие противоречия как бы загнаны внутрь. Севастопольский крах, сделавший тайное явным, еще впереди.

Вот против чего, против чудовищной силы шел в те «три года» Шевченко, зная, на что идет.

Провокатор Липранди, предавший петрашевцев, доносил о брожении на Украине «от семян, брошенных сочинениями Шевченко».

И мог ли не знать об этом и сам он,— не знать о том, как подымаются, распрямляют понурые, согнутые неволей плечи люди, жадно слушающие, ожидающие его слова!

И это было счастье. То счастье, что даст силу переносить, что бы ни выпало.

Гигантски расширился круг — он ждал и знал, торопил это время! Стихи в заветных тетрадках будут храниться как святыня по всему русскому простору. Их

будут читать наизусть, *его* песни будут петь неколебимо-отважные люди, первые ленинцы. А в Октябрьском штурме Зимнего, начавшем *наше* время, различим всходы и его семян.

10

Шел ноябрь 1858 года.

Становилось ясно, что вот-вот рухнет крепостное право.

Повеяло иными ветрами.

Возникали новые газеты, затеяли издавать журнал «Парус». Иван Аксаков звал сотрудничать Шевченко, хотел печатать старые его стихи («Садок вишневый» и посвященные Щепкину).

Но тот же Иван Аксаков взял под защиту некоего князя Черкасского. А князь предлагал дать право местным дворянам и приходскому духовенству сажать крестьян даже после освобождения в тюрьмы, отдавать в общественные работы, сечь розгами всех — и женщин с детьми.

Были и еще причины, по каким «петербургская украинская громада» отклоняла приглашение Аксакова. Кулиш написал проект ответа. Но дело касалось прежде всего Шевченко — ему и передали проект. И он вписал с резкой прямотой отказ плыть со своими стихами по суше, яко по морю, под тем парусом. С неповторимо шевченковской интонацией: «Олег я, что ли, не дай бог, или кто?» Приглашение шло через украинского профессора М. А. Максимовича, «старого Максимовича», близкого знакомца, «своего» — и отказ послан в письме ему же (22. XI. 1858), с такими характерными для Шевченко, когда касалось главного, серьезного, строками: «Так-то! Не удивляйтесь, благодетель, что я не пожелал поступить согласно вашему желанию, дело нешуточное,— сами понимаете».

Шевченко пишет помеченные тем же днем стихи, страстные, поразительные по смелости, вскоре облетевшие Россию.

Добра не жди,
Не жди сподіваної волі —
Вона заснула: цар Микола
Її приспав. А щоб збудить
Хиренну волю, треба миром,
Громадою обух сталить
Та добре вигострить сокиру —
Та й заходиться вже будить.

Это — *то же самое*, что будет стоять в знаменитой прокламации, за которую обвинят Чернышевского: «К топору зовите Русь».

Таким вернулся Тарас Григорьевич из десятилетней каторжной ссылки. Так непрерывно шел он вперед в своих поисках правды. И если прежде оставались у него какие-нибудь иллюзии, он отбросил их.

Таким он и совершит свою последнюю поездку на возлюбленную свою землю, на Украину, в 1859 году.

Ехал свободный, наконец-то свободный человек? «Собака на привязи» — определил он в дневнике (23. X. 1857) дарованную ему свободу. Недреманное око следило за каждым его шагом. Губернатор писал губернатору, полицмейстер полицмейстеру, пристав приставу.

А там, в Петербурге... Жил он и там на птичьих правах. Верней — без всяких прав. Мучительно следить за дикой, втянувшей в себя и «высочайшие» сферы перепиской, предшествовавшей простейшему: чтобы человек сел и поехал в Киев...

В ту поездку перед ним заискивали былые знакомцы, друзья из кругов обеспеченных, заживших на своих хуторках, в поместьях, «маетностях». Отошедшие от молодых своих мечтаний. Вот Козачковский, переяславский «лекарь», врач — сколько с ним было переговорено (в Переяславле Шевченко и написал «Завещание»), и ему самому посвящал стихи... Теперь Козачковский встретил, читая наизусть те старые стихи, даже такие, что забыл Шевченко. Но время, перед крутым перевалом, строго испытывало людей — «грустное впечатление производил на поэта взгляд мой»,— честно вспоминал сам Козачковский. И он не выдержал испытания! Никогда ни с кем в таких случаях не кривил душой Шевченко. Поехали на Днепр ловить рыбу, заговорили о мужицкой воле — и оказалось, что с Козачковским — пустой разговор. Ушел к рыбакам...

«Старый Максимович», бывший ректор киевского университета, а ныне небогатый владелец Михайловой горы, «кельи», полной книг, малого числа, но все же крепостных душ,— Максимович обижался: лишь ночевать приходит, а день-деньской с мужиками, с ними «в шинке» кощунствует...

Марье Васильевне Максимович, хорошей женщине, трунившей над панибратством его с простыми, хоть давно вроде смыл «грязь крепостную», ответил так:

— Кожу со своего сердца крепостного не содрал!

«Ходімо в селища — там люди».

А про что же он говорил с *людьми?*

Случилось наводнение, «гнев господень»:

— Вот так на панов грянет гнев народный!

Зашел в дьячковскую хату в Пирятине переждать дождь. А дьячок, как те, «спартанцы», в давнем детстве, учил хлопчиков по Часослову. Поглядел Шевченко:

— Есть книги, которые уму-разуму учат, а эта в голове разум мутит.

Он резал правду-матку.

И делал это с особенной присущей ему простотой и наглядностью.

Взял пригоршню зерна. Выбрал одно — его положил посередке на стол (дело было в «шинке»). «От це царь». Вокруг него колечком: «От це паны». А по краю посыпал остальное: «Це громада!» И вдруг смешал. «Ищите теперь царя, панов: где они?»

Кого он знал из тех, что окружили, смотрели, слушали? Да никого. Громада, крестьяне: значит — люди!

Обо всем этом можно прочитать в отличной книжке П. В. Жура «Третья встреча» (Л., «Художественная литература», 1972). В ней день за днем рассказана последняя поездка «до дому».

Жаркое лето, засушливый зной, наконец перепал дождик, и настала благодать на кудрявом днепровском берегу.

Десятого июля, утром, обмеряли на высокой горе «шматок» земли, что хотел купить у помещика Парчевского. И мы видим, представляем себе, как Шевченко стоит в крестьянской соломенной шляпе-бриле, с ним рядом помещичий управитель. А землемер с двумя крестьянами кончают дело. Уже расстелено рядно, расставлены нехитрые закуски. Вон показались еще двое, землемер машет одному — то его родич, Козловский, шляхтич, во фраке и белых перчатках. Шевченко глянул и весело захохотал:

— От-то фигура меж гор и лесу!

А фигура сообщила по-польски, что, направляясь «на полеванье» — на охоту, она, прослышав, зашла познакомиться — и сделала широкий жест.

Ну что ж, по-польски так по-польски. И весело, счастливо Шевченко отдался своей любви к шутке. Точно так же

следовало отвечать и ему — смехом на смех. Это было бы по его! Но черный фрак — белые перчатки закипел. «Естем шляхтич! А и становым служил». Час от часу не легче! И снова, с радостной до слез непосредственностью, откидываясь назад, поправляя сползавший брыль, Шевченко закатился хохотом. Становые — это же алтынники, по алтыну в карман собирающие с народа! Но поглядел на разъяренного, начинающего заикаться Козловского и сразу оборвал. Знал себя: когда покажется что смешным... Но не обидеть же хотел! Даже извинился и, чтобы загладить, стал усиленно приглашать, угощать. Все уже подошли, сели на землю, выпили по доброй чарке. Враз заговорили.

Но не миновать в беседе деревенских дел, панов, царских обещаний. И тут Козловский стал расхваливать ожидаемые петербургские гостинцы — царскую «волю». Шевченко, конечно, не таил своего мнения. А Козловский, затаивший зло, воспользовался какой-то паузой, переменил разговор и по-польски же стал допытываться, как понимает пан поэт, пан художник-академик святую веру, наипаче матерь божью, а также всемогущество пана бога Саваофа?

Ему удалось-таки вывести Шевченко из себя. И с красным от приливщей крови лицом, в той ярости, когда он не считался ни с чем, своим мощным, далеко разносящимся голосом он выложил что думал. Рванул лист липы, и, как с зернами в шинке, спросил, своим «сократическим» способом: что деревенские люди, разве не видали они, как сам рос этот лист, при чем же здесь «соизволение»?

И выкрикнул будто:

— Ни царя, ни панов, ни попов!

Не попрощавшись, зашагал в Межирич.

Трудно установить все подробности, многие оспариваются, могло налипнуть чего вовсе не было. А все же в роковом этом событии на днепровской круче как ясно видим, представляем мы живого Шевченко!

Через три дня его арестовали.

Но вышло не так, как рассчитывали те, кому поручено было не спускать свинцовых глаз с поднадзорного.

Допрашивали всех, с кем он «приходил в соприкосновение».

Но участники «завтрака на траве», и управитель, и землемер (тогда испуганно пытавшиеся успокоить Шевченко), да и Козловский, дали не такие показания, чтобы можно было раздуть хорошенькое, настоящее дельце — здесь бы аукнулось, аж в Питере откликнулось — для чести и славы усердных блюстителей.

Возможно, что смешной, недалекий, гонористый, кичащийся своим шляхетством Козловский доносчиком все же не был.

Мерзавец исправник Табачников попробовал, куражась над попавшим в хамские его лапы, изобразить «царя и бога», принудив попутно «снять» его, хамско-исправничий портрет «во весь рост, безошибочно» и со всеми регалиями. Ледяное, уничтожающее презрение показало ему, что добыча не по зубам.

Шевченко держался неустрашимо, парируя топорную нескладицу жандармских донесений с громадным чувством собственного достоинства.

И дело кончилось губернаторским «советом» покинуть Украину.

11

Начался последний, кратчайший период жизни Тараса Григорьевича Шевченко.

Страшное для многих поэтов обмеление души в конце их деятельности не коснулось его.

На это время приходится новый взлет его силы. Возникают подлинные жемчужины творчества. Снаряженные и пущенные искусной рукой оперенные стрелы. Гармонические трехстишья, проникнутые такой музыкой, что надо сказать о них: трезвучия. Поразительная «Молитва» — он написал ее в нескольких вариантах, это как бы несколько «молящихся» голосов, просящих воздать полной мерой, каждому по делам — «зло начинающим», «доброзиждущим рукам», «чистым сердцем». С финальным аккордом:

А всім нам вкупі на землі
Єдиномисліє подай
І братолюбіє пошли.

О самом же себе такая «молитва»:

Любити правду на землі
І друга щирого пошли!

И еще:

Подай любовь, сердечный рай!
І більш нічого не давай!

Одно из самых грозных своих стихотворений он начинает звуком такой чистоты, каких немного и в мировой лирике. Хочется назвать — светоносным звуком:

Світе ясний! Світе тихий!..

С удивительным дальше:

світе-брате...

Ритмическая игра стала богаче, чем когда-либо. Да ведь он всегда знал за собой эту волю к игре, вольно-причудливые переливы формы и того, что ею выражалось.

В давным-давно написанном «Перебенде» он так и определил бездомного, днюющего и ночующего «попідтинню», но властвующего над душами кобзаря-лирника, вкладывая в него, слепого старика, многое и от себя, тогда 25-летнего:

Отакий-то Перебендя,
Старий та химерний!
Заспіває весільної,
А на журбу зверне.

(А в своем стихотворении о детских горючих слезах начал журбой и тут же свернул на шутку: хоть бы рута на той политой слезами земле выросла!)

Вновь и вновь он возвращается в это последнее свое время к овеянным особенной поэзией изображениям простой, молодой, слитой с родным народом *прекрасной* жизни.

Да нет, слово «возвращается» неверно. Что-то прибавилось к изображаемым картинам. Быть может, легкая дымка грусти...

Душа его расширяется. Он пересказывает плач Ярославны, обратившись к великому общерусскому наследию — «Слову о полку Игореве». Подражает сербским песням, польскому поэту Яну Чечоту, посвящая другому польскому поэту, Антонию Сове (Желиговскому), своему другу-товарищу.

Евангельские образы, псалмы, имена библейских пророков, что жгли сердца гремящим глаголом,— это все рамки, меты для его собственного страстного рассказа, философских раздумий, «глагола», еще яростнее бичующего поработителей народа.

Ни на пядь, ни на волос не отступил. Наоборот — шагнул дальше.

А люди тихо
Без всякого лихого лиха
Царя до ката поведуть.

И прочел это на квартире Федора Толстого, в людном обществе!

Ночью петербургским ноябрем он идет вдоль Невы (дважды в двух стихотворениях, написанных с интервалом в десять дней, повествуется об этом). Перед его взором вновь встает фантасмагорический образ царской столицы, заставляющий вспомнить знаменитый «Сон» (правда, без его широко-разгульной, весело-страшноватой гротескности в духе Гойи — прямее, в лоб).

О люди! люди небораки!
На що здалися вам царі?
На що здалися вам псарі?
Ви ж таки люди, не собаки!

Это, поверх всех национальных границ, наций и народов, всечеловеческая мысль. Обращение ко всем людям.

Как раз тогда он все теснее сходился с Чернышевским. Очевидно, и домами: в альбоме Ольги Сократовны, жены Чернышевского, рисунки Шевченко.

А Чернышевский множество раз ссылался на взгляды, мнения, свидетельства Шевченко, кого признавал непререкаемым авторитетом по всему, что касается деревни, мыслей и чаяний мужика, крестьянина.

Великий украинский поэт встречается с теми, кто скоро станет первыми «землевольцами-шестидесятниками».

Пишет в Лондон Герцену, шлет «Кобзарь».

Соизгнанники поляки-революционеры, с кем сдружился в ссылке, а затем и питерские их товарищи — теперь в числе самых близких людей. Зигмунт (Сигизмунд) Сераковский, Иосафат Огрызко, Ян Станевич, Желиговский — «Сова», Зигмунт Падлевский, Залесский, Савиц-

кий. Жизнь иных из них оборвется на виселице, в застенках...

В семье Федора Толстого, сыгравшего такую роль в освобождении Шевченко (граф Ф. П. Толстой, скульптор и художник, старик с добрым простым русским лицом, каким мы видим его на шевченковском портрете, был тогда вице-президентом Академии художеств), в семье, приветившей его в Петербурге, Шевченко познакомился с трагиком, потрясавшим петербуржцев своим Отелло, своим Лиром, негром Айрой Олдриджем. Он был сыном раба; чудовищное рабство негров еще продлится в Соединенных Штатах, когда в России падет крепостное право. Сын раба на родине не мог стать артистом; Олдридж эмигрировал в Англию.

И вот завязалась, вспыхнула дружба, горячая, близкая, между двумя людьми, родившимися на разных земных полушариях, между людьми сходной судьбы, равно любящими свой народ, его песни, искусство. Не важно, что не знали языка друг друга (немножко переводила пятнадцатилетняя Катенька Толстая). Стали неразлучны, «водой не разольешь» — до самого отъезда Олдриджа. С портрета, написанного Шевченко, на нас смотрит быстроглазый, курчавый, круглолицый, с приподнятыми бровями, жизнерадостным, открытым, детски доверчивым лицом...

Русские писатели приняли Шевченко как своего. Он застал еще в живых старого Сергея Тимофеевича Аксакова — «Радостнейший из радостных дней»,— записывает Шевченко (22. III. 1858) о свидании с ним, кого резко отличал от сына Ивана. Кружок «козьма-прутковцев» — братья Жемчужниковы и Алексей Толстой, сам Тургенев, братья Курочкины — добрые знакомцы. Русские поэты Мей, Плещеев, Михайлов его переводят. Гербель издал целый том — Шевченко на русском.

Да и сам он, помимо двух русских поэм («Слепая», «Тризна»), пишет по-русски прозу, повести — одна усмешливо озаглавлена: «Прогулка с удовольствием и не без морали», по-русски же ведет дневник для одного себя...

Нет, любовь его к родной Украине, к родному народу, языку его, та, про которую он сказал, что душу за нее сгубит, не превращала его во врага и супостата других людей и народов. *Через нее* он становился Всечеловеком. Только так мы касаемся сокровенной сути его.

12

А слава все росла.

Уже на долгом пути только что отпущенного солдата из Новопетровского укрепления по Каспию, по Волге в Нижний множество людей подходили к нему на пароходе «Князь Пожарский». Встречали в волжских городах.

В конце 1858 года в Лейпциге издали книгу запрещенных в России стихотворений Пушкина и Шевченко. Вскоре стихи Шевченко переиздали отдельно. «Не он плачет об Украине — она сама плачет его голосом».

По России ходили списки, литографированные и тайные издания.

А во время последней украинской поездки... Школьники выбегали, лишь бы взглянуть. Он получал письма: «Величайшему поэту новейшего времени...», «Меня занимала одна мысль — увидеть вас...», «Давно уже я посвятил свою жизнь на изучение ваших творений... труд, на который мало человеческой жизни... должны трудиться века и потомства...»

Если верить тому, что в большой судьбе должен быть «звездный час», то он сиял над ним; не было нужды дожидаться, пока воздаст потомство.

Максимович, «отшельник Михайловой горы», преодолев личную обиду, сообщал вслед, в Петербург: «Вы стали лицом мифическим...»

В Пассаже на Невском устраивались литературные чтения. К живому литературному слову очень тянулись. Слушали — муха не пролетит — не одно развлекательное, но и серьезную прозу, если даже автор ее, чье имя было дорого, далеко не блистал искусством чтеца. Вот почему выступали лучшие писатели охотно, считая за честь и в уверенности, что их ждут — не с разговором, но именно с чтением написанного, созданного.

Жаль, что в наши дни традиция эта в значительной мере утрачена...

25 октября 1860 года читали поэты: Бенедиктов (после уничтожающей критики Белинского больше не претендовавший на первые роли, но все же зачастую неплохо делавший свое дело) — читал «прекрасно», вспоминает современник; Майков, Полонский. Выступали Писемский, Достоевский. Вышел Шевченко. Его встретили овацией. Приняли, «точно он гений, сошедший в залу Пассажа... начали хлопать, топать, кричать». Другой мемуарист

говорит о восторге, «какой бывает только в Итальянской опере».

То была восторженная оценка не просто поэзии, но и неразрывно слитой с ней жизни.

Он не ждал такой встречи. Согнулся, вдруг махнул рукой, выбежал, с влажными глазами. Зал замер, в мертвом молчании дожидаясь, пока он выйдет снова и окажется в состоянии прочесть отрывок из «Гайдамаков», «Садок вишневый», «Думы мои».

Как и у всякого долго жившего человека, на моей памяти прошло немало литературных слав, довольно шумных, обратившихся в ничто после смерти того, чье имя шумно славилось. Время отличает золото от позолоты.

Шли десятилетия. Слава Шевченко ширилась. Сквозь все цензурные рогатки прорывался «Кобзарь».

В Петербурге в 1886 году выпущено двуязычное, на украинском и русском (перевод Н. В. Гербеля), как говорили — «роскошное», издание in folio «Гайдамаков». Вот строчки из предисловия Д. И. Эварницкого: «Имя Тараса Григорьевича Шевченко настолько известно в кругу великих творцов мысли, что говорит само за себя... Тарас Григорьевич был не только поэтом для Украины и России, но и для всего славянского мира — даже для всего человечества... Кто из образованных, полуобразованных или даже полуграмотных людей России не читал «Кобзаря» или, по крайней мере, не слыхал о нем?»

Эти строки стоит привести хотя бы потому, что ведь написаны они «в те годы дальние, глухие», когда, по слову поэта, «Победоносцев над Россией простер совиные крыла».

Какой же силы заряд был вложен в то, с чем обращался к людям человек, кого, к тому моменту, уже четверть века не было на свете!

13

30 марта 1858 года он занес в дневник: «Боюся, как бы мне не сделаться модной фигурой в Питере. А на то похоже».

Редкий, даже редчайший случай, когда «боюся» — не риторический оборот!

А между тем в феврале, еще в Нижнем, он так необыкновенно закончил проникнутое мягким лиризмом, написанное с особенной интимностью тона стихотворение «Доля»:

Ходімо ж, доленько моя!
Мій друже вбогий, нелукавий!
Ходімо дальше, дальше слава,
А слава — заповідь моя.

К какой славе он стремится? К воскуряющей фимиам? К той, что «тешит человека»? Про которую скажет «боюся»? К эгоцентрической (чтобы не сказать — эгоистической) славе?

Изо всего стихотворения — пусть бы мы ничего другого не знали о Шевченко — видно, что — нет.

Вот, с дерзкой прямотой и свободой своего, вовсе не «школьного», а неповторимого языка, без чего нет подлинного поэта — хозяина языка, он так отвечает «доле»:

З нас будуть люди,— ти сказала.
А ти збрехала.
Які з нас люди? Та дарма!

В замечательном стихотворении (сейчас мы еще вернемся к нему) строки эти, конечно, иронически-насмешливые: в паны не вышли. Но никаким одним пересказом нельзя исчерпать до дна то, что вложено в подлинное поэтическое слово. Слышится мне здесь помимо иронии, помимо насмешки и отзвук тех щемящих минут раздумья о своей личной, человеческой судьбе, как сложилась она, через что прошла, минут, без которых, думаю, нет поэта. А Тарас Шевченко был великим поэтом.

Так же емки, полагаю, и не исчерпываются однозначным толкованием и два стиха, что, не сверяясь с «правилами», с «хорошим тоном», он вписал еще в оренбургскую «захалявную» книжечку, так, как сказал бы другу-товарищу:

На батька бісового я трачу
І дні, і пера, і папір!

Только какие уж тут «фимиамы» славы! Совершенно очевидно, что «заповідь» его — иная слава. Слово-то это оказывается не с одним, а с разными значениями.

Слава между людьми — за то доброе, что сделаешь для них. Слава — как долг перед людьми. Вот в чем и в ком он уверен. В *себе. Свой* долг он выполнит.

В этот день, 9 февраля 1858 года, в Нижнем, повинуясь высокому всплеску мощной лирической волны, он пишет не одно, а три взаимосвязанных стихотворения: «Доля», «Муза», «Слава». Среди многих и многих обращений поэтов к своим «музам» шевченковское — из замечательнейших по сердечности, трогательной человеческой теплоте. Словно к родному живому существу обращается он. «Зоренька моя», «моя ты доля молодая!», «Не покидай меня». «В ночи, и днем, и вечером, и ранним утром витай надо мной и учи, *учи неложными устами говорить правду»*. Ведь, как написал он в тот же день, «мы не лукавили с тобой, мы просто шли, и нет у нас зерна неправды за собой» — и это суть и сердце изумительного стихотворения «Доля».

Но как резко меняет он голос, когда, бичуя, говорит о славе, «пьяной перекупке», распускавшей крылья над «злодеем в Версале» — Наполеоном III, гулявшей по шинкам с Николаем в Крыму...

Эта слава, с фимиамами,— как не похожа она на ту, что он прочил себе! И как мало, парадоксально мало сказалась на его житье-бытье прославленность!

«Я подвергаюсь естественному следствию десятилетнего моего отсутствия — бедности»,— писал он тогда, в 1858 году. Но материальная скудость сопутствовала ему до конца.

Даже чтобы издать «Кобзарь», книгу, которую ждали не на одной Украине, а по всей России, он должен был просить денег у богача сахарозаводчика и садовода Семеренко — он дал их копейка в копейку, взаймы, втихую, так, чтобы никто не знал, и был очень недоволен, что узнали. У того самого Семеренко, чье имя пережило его, только перейдя к известному сорту яблок...

До конца жизни Шевченко оставались и те же простые мечты, лишь мечты, о высшем, недосягаемом счастье: хата на днепровской горе, жена-подруга (как много говорит украинское слово «дружина»!), малые дети. Мать и дети — этот образ проходит сквозь все творчество Шевченко. Мать. «Мамо». «Великоє, найкращеє слово!»

«Садок вишневий коло хати» — и какое весомое место отведено в этом поэтическом видении (из зарешеченного окошка каземата!) семье, материнству: «Матері вечерять ждуть»; «сім'я вечеря коло хати... Дочка вечерять подає, а мати хоче научати»; «поклала мати коло хати маленьких діточек своїх; сама заснула коло їх».

И как тянулся к детям! Однажды сказал: «Кого любят дети, тот, значит, еще не совсем поганый человек».

В пророчестве о светлом будущем, помеченном 24 сентября 1860 года (меньше полугода оставалось жить!), читаем:

Умруть
Ще незачатиє царята...
І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люди на землі.

Материнство свято и в природе. В темном петербургском ноябре того же 1860 года представились ему три ярких картины, он песенно связал их, с одинаковой нежностью, равными восьмистишиями. Течет вода в долину, красуются над водой «червона калина», явор, а кругом их зеленеют лозы, верболозы; течет вода под горой, «хлюпощутся» утяточки, за ними, с селезнем, выплывает утка, ловит ряску, разговаривает с детками; разлилась вода возле огорода, пошла девушка по воду, запела, а мать с отцом вышли из хаты, судят-рядят, кого назвать зятем...

Нет горше преступления, как обидеть, обмануть мать. Вновь и вновь с пронзительной жалостью он возвращается к тому же — к судьбе обманутой. «Порченая», «Катерина», «Русалка», «Слепая», «Мария», «Неофиты» — не перечисляю всего... И какая неисчерпаемая, да и непочатая нежность живет в его душе!

По-новому возникает картина «Вишневого садика» — уже не как зрителю со стороны — Шевченко сам вводит себя в нее:

Посаджу коло хатини
На вспомин дружині
І яблуньку і грушеньку,
На вспомин єдиній!

...Дружина
Під древами тими
Сяде собі в холодочку
З дітками малими.

А я буду груші рвати,
Діткам подавати...
З дружиною єдиною
Тихо розмовляти.

...Щасливий я! — І я, друже,
З тобою щаслива!

Повторяющееся слово «дружина» — почти заклинание, чтобы сбылась мечта! Это то «Подражание», что посвящено Эдуарду Желиговскому (Антонию Сове); и «подражание», как обычно у Шевченко, не перепев — в данном случае стихотворения Яна Чечота,— а высказывание в перекличке своего кровного. Да так было и у Пушкина.

И еще, с той же силой и достоверностью иллюзии, с удивительным, неожиданным уподоблением хаты его мечты — девушке, а Днепра — отцу:

I сниться сон мені: дивлюсь,
В садочку, квітами повита,
На пригорі собі стоїть,
Неначе дівчина, хатина.

А Днепр, далеко раскинувшийся —

Сіяє бытько та горить!

(«Сестре»)

Кто был больше него достоин простого счастья? Так немного просил у жизни — того, что получают тысячи и тысячи.

А мечта не сбылась.

В Нижнем увлекся юной актрисой, Катей Пиуновой, ей шел всего шестнадцатый, Щепкин, друг, поможет устроить ее сценическую судьбу, сам же Шевченко хочет связать с нею жизнь. Но с холодным пренебрежением и папенька с маменькой, и дочь отстранили его. Расчетливо потянув, прикрыв льстивыми словами — ведь вон как он полезен, до чего слушается его знаменитый Щепкин! И через тридцать лет Пиунова вспоминала лишь смазные, дегтярные сапоги, чуть ли не нагольный тулуп (как меняется отношение к вещам! В наши дни восторгались бы: дубленка!), барашковую шапку, «да такую страшную», которая в живом разговоре рывком летела с головы об пол,— старая казацкая повадка!

Только-то она и видела тогда в Шевченко — правда, слишком была юна.

Одевался Шевченко, конечно, по-разному.

Молодой художник — как все столичные живописцы.

Вот на фотографии — человек средних лет, в сюртуке, галстуке, белых брюках.

Диплом академика вручают одетому строго, как подобает на торжественном акте.

Но не случайны и не нарочиты свитка, шапка, кожух.

Он ощущал себя плотью от плоти своего народа. И легче, свободнее всего было ему, когда, в глазах людей одного с ним корня и роду, становился неотделим от них.

Таким он награвировал сам себя в 1860 году. Таков он на портрете, что прилагался к «Кобзарю», например, к тому, что достался мне от отца, купленному в 1894 году.

Молодой Горький шокировал в Ясной Поляне — не хозяина, но иных домочадцев ненавистью к богатым. Это и шевченковская ненависть к «поганым панам» — что́ к чужим, что́ к своим украинским. К «собачьей господской крови».

После Нижнего, после «Катруси» Пиуновой твердо решил: жениться только на простой девушке. Разве место барышне в мужицкой хате?

Показалось — увидел такую во время последней украинской поездки. Семнадцатилетнюю батрачку Харитину. Было в Корсуне, в одном из тех мест, где четыре года назад разразилось жестоко подавленное восстание доведенных до отчаяния крестьян — киевская казаччина. Была Харита дочерью крепостного Василия Довгополенко из самого бунтарского села Самородни. В Корсуне жила в семье троюродного брата Тараса — Варфоломея Шевченко. Его и просил, уже письмом из Петербурга, сосватать девушку.

А Харита вышла за писаря-однолетку.

Лукерья Полусмакова (Полусмак)... Крепостная, горничная в знакомом доме сенатора Карташевского, где бывали писатели, художники. Тургенев шутливо спрашивал ее, нравится ли ей Тарас Григорьевич? Ей было двадцать лет. С ней он обручился. 5 августа 1860 года посвятил стихи «Моя ти любо! Мій ти друже!» Горячая обжигающая волна, трепет обнаженной души, устремленной к другой душе. С гордыми строками: «Не клянись и не молись никому на свете». Ни византийскому Саваофу — «Мы не рабы его — мы люди!»

Жених и невеста. Он, как положено, уже одаривал ее. Что же произошло? В одном ли хоре скандализованных «мезальянсом» семейств (Карташевских, Кулишей) было дело? «Не пара!» И в нажиме их на Лушу — «откажись»?! Не *только* в этом! С шевченковского рисунка на нас глядит широкое, хорошенькое, с припухлыми

щечками, лентой перехваченными волосами, кокетливо-игривым изгибом бровей, тонкими губами пустенькое личико субретки...

Отчего именно у нерядовых, у замечательных людей столько неудавшихся, бесприютных личных судеб, дурно, тягостно сложившихся? Точно им отказано в том, что дается обычным, «средним». Тургенев, Некрасов, Лермонтов. Далекие от «нормы» семьи Блока, Чехова. Да и самого Пушкина...

Мы склонны порой распространять гениальность великого человека и на выбор им спутницы жизни.

А Сократ был женат на Ксантиппе...

Не подстерегает ли людей бурно-пламенного воображения и темперамента больший соблазн выдумать избранницу, принять за ее собственный лишь отсвет своего огня, чем спокойно-рассудительных, с размеренными привычками, трезво взвешивающим взглядом? Вряд ли, впрочем, нова эта лишь с виду парадоксальная мысль.

«Да гениальные-то люди и ошибаются чаще всего...» — полагал Достоевский («в средствах к проведению своих мыслей»,— уточняет он) — «и часто чем гениальнее они, тем и крупнее ошибаются. Вот рутина, так та реже ошибается» (Журнальные заметки 1863 года. «Ответ «Свистуну».— Полное собрание сочинений, т. 20, с. 74. Л., 1980).

Лукерья Полусмакова много времени спустя пожалела:

— Кабы я тогда знала, кто он такой...

А сколько женщин разного общественного положения не дожидались Горы в Каневе — знали и тогда, *сразу!*

Через полвека после смерти Шевченко Екатерина Федоровна Толстая, «девочка Катенька», переводившая первые фразы, что подружили Шевченко с Олдриджем, оглянулась назад: «Как вспомню я поэзию, которая пронизывала его всего...»

Он жил буквально в песенной стихии.

Песня — своя ли, «чужая», народная (но какая же чужая — народная?!) — была его жизнью.

Очевидцы рассказывают, что не раз, приехав куда-нибудь, остановившись в доме, Шевченко начинал петь. Пел он великолепно, могучим красивым баритоном. Пел

безошибочно — музыка (и серьезная опера) также была его страстью. Народных песен знал множество. Растворяли окна. Под окнами вырастала толпа.

Имел он песен дивный дар
И голос, шуму вод подобный.

Эти слова кажутся написанными прямо о Шевченко, кого не знал Пушкин.

14

Он умер в воскресенье, 26 февраля, в половине шестого утра, после бессонной ночи, что провел один, задыхаясь, сидя с упертыми в свою жесткую постель руками, закусив зубами ус, так и не кликнув прислужника, оставленного на этот раз ночевать внизу. Лишь в пять утра попросил стакан чаю, открыть форточку — на антресолях была спертая духота. Пока тот убирал, начал спускаться по трапу — еще думал о своей акватинте: были приготовлены медная доска, пузырьки с протравами, портрет Бруни для гравирования.

С нижних ступенек, вскрикнув, упал.

Накануне был день рождения, исполнилось 47 лет. Приходили телеграммы, приветствия. Ему их читали зашедшие навестить, он слушал, отзывался фразой, какую сказал на прощанье и Лескову:

— Спасибо, что не забывают.

Поздравления шли и 26-го — к мертвому телу Шевченко.

Гроб стоял в цветах, в лавровых листьях.

Скульптор Каменский снял гипсовую маску. Четыре художника зарисовывали оставшееся таким человечным, не конфетно красивое, но сразу и навсегда запоминающееся, спокойное лицо.

Не было больше небольших, необыкновенных, глубоких, бархатного тона глаз, преображавших весь его облик, их пристального, пытливо-проникновенного взгляда.

На панихиде 28-го академическая церковь была полна. Русские, «украинская громада», вся корпорация польских студентов. Литераторы, не литераторы. И конечно — полиция. Произнесены надгробные речи. По-русски. Кулиш и Белозерский сказали по-украински. Горячее, по-польски, слово Хорошевского: «Ты любил свой родной

край, свой Днепр синий, народ сермяжный! Ты был мощным певцом этого народа. Честь же тебе!..»

Когда Костомаров упомянул, что ни жены, ни детей, ни кровных родных нет здесь, в церкви, неким движением, словно единым вздохом, ответила толпа.

Лесков говорит о семи речах в Академии (другие указывают, видимо вернее,— пять), двух у могилы, где прощание оборвала полиция. Гроб на Смоленское кладбище несли открытым, на руках, падал снежок, за гробом шли виднейшие петербургские литераторы (среди них — Достоевский, Некрасов, Салтыков-Щедрин, братья Жемчужниковы, Лесков, Помяловский; вспоминают и о Чернышевском. Братья Серно-Соловьевичи, поэт-революционер М. Л. Михайлов. Цвет литературы!). И все росла толпа. Николай Курочкин, переводчик Беранже, говорил, рыдая: «Счастье в жизни было не для него — его ждет другое, посмертное счастье».

А через два месяца, 26 апреля, той весной, которой он уже не увидел, гроб выкопали.

В то самое время, какое он назначал для себя, двинулся он на Украину. В то самое место, какое сам выбрал. Ведь еще в конце января так он писал троюродному брату Варфоломею Григорьевичу: «Кончай скорей в Каневе».

До Москвы на поезде, оттуда лошадьми, на украинской земле впрягли волов. Торжественно, по-казацки покрытый китайкой, шествовал гроб, встречаемый и провожаемый толпами.

Уже это медленное, грозное движение безмолвного мертвеца вызвало переполох в служебных кабинетах всех рангов. «Не пускать в Киев!» А студенты встретили в Броварах и на себе повезли по новому Цепному мосту, где прежде с черниговского берега на пароме переправлялся Шевченко. «Остановить в Подоле! Не допустить митинга!» Пешие, конные «охранители»... Но Почтовая площадь, улицы вокруг битком полны народом. Стоят, ждут всю ночь. Как вынесли, полились речи: митинг! Кто-то сплел, положил терновый венок. Гроб поминутно останавливался. Выходили все новые ораторы. Бочка с порохом! Полиция не совалась близко.

8 мая пароход «Кременчуг» отвалил в Канев. Там, под такой же червонной китайкой, положили на старый казац-

кий воз. Шлях по-над рекой залит, каневские девчата стлали прямо по лужам зеленые ветви. На руках взвезли на гору. Могилу копали студенты, крестьяне. Хоронили 10 мая, долгим светлым вечером. Далеко разносились звонкие, смелые молодые голоса, говорившие так, будто и не маячили поблизости угрюмые фигуры урядников, стражников, городовых с «селедками» на боку, не фыркали лошади конных.

Уездный начальник полиции спешил, показывая усердие и в то же время умывая руки, донести обо всем губернатору. Между строк он успокаивал его высокопревосходительство (и себя): зарыли, засыпали, все. Уф!

Мало — зарыли: еще неделю насыпали курган, гору на горе.

И тогда он ожил в могиле.

...Говорят, что он не умер, а живет и продолжает думать о дорогой Малороссии.

...Говорят, его нет под холмом — там спрятаны ножи, ружья, казацкие сабли.

Вот он подаст знак...

Пан Парчевский, тот самый, у кого Шевченко хотел купить клочок земли под свою хату, пишет, потеряв голову, дрожащей рукой: «Город Канев является центром заговора...»

Тщетно располагал успокоить его высокопревосходительство и себя уездный полицейский чин. Теперь он молит губернатора «командировать в г. Канев и его окрестности... еще хотя бы две роты пехоты». Помимо батальона, уже расквартированного. Иначе — страшно подумать, что может статься!

Но и сам генерал-губернатор, князь Васильчиков, в тревоге. Он торопливо пишет не кому-нибудь, а начальнику Третьего отделения в Санкт-Петербург. О мертвеце. На всех уровнях скрипят перья. Строчат особы духовные. Предводители дворянства не ставят в труд сочинять доношения — вопли по-заячьи замирающих сердец. Старательно нижут буквы на казенных бумагах чиновники многих ведомств, особо озабоченные красотой и как бы безликостью почерка. Нарастает бумажная груда — все о том же: о новой грозной жизни мертвеца.

«...И что скоро наступит Тарасова ночь, в которую будут резать панов...»

«Тарасова ночь» — так озаглавлена поэма Шевченко о разгроме в 1630 году восставшим украинским народом под водительством Тараса Трясило войск Конецпольского. Читал ли ее губернатор или просто связал свой страх перед грядущей народной расправой с именем самого Тараса, которого *нельзя похоронить*?

«...Скоро будет время, что здесь останется только один народ...» Без панов!

На Горе стоял черный — белая краска слезла, раскинувший руки деревянный крест. Он упал. Те, кто чтили память Кобзаря Украины, воздвигли чугунный. Выстроили хату, заступил «доглядачим» и, живя в ней, полвека «доглядал» крестьянин Ядловский; он же собрал у себя, какие сумел, памятки о поэте — в горнице получился первый музей Шевченко. Протоптанные стежки змеились по горе, одни крутые, другие более отлогие — для молодых и старых, крепких и послабее! Девчата живущих внизу горшечников, оглядев подошедших, решают и провожают, по какой им взобраться ловчей. Идут, идут — побыть, поговорить, погрустить, «посумовати с батьком Тарасом», потому что там, наверху,— «вот он, наш Тарас!» Живописно рассказал об этом Лесков в 80-х годах.

Он жил. Жил новой, неслыханно могучей жизнью в своей высокой могиле. Никому больше в необъятном царстве поэзии не выпадавшая судьба!

И в 1914 году, в столетний юбилей, опять пришли к нему народные толпы, а властители выслали конные наряды — защититься от него.

«Запрещение чествования Шевченко было такой превосходной, великолепной, на редкость счастливой и удачной мерой с точки зрения агитации против правительства, что лучшей агитации и представить себе нельзя... После этой меры миллионы и миллионы «обывателей» стали превращаться в сознательных граждан...» [1] — *Ленин*.

15

Вспоминая себя ребенком, вспоминаю песни.
Они сопровождали все мое детство.
Пели в семье, пели в деревне.
Пели рыбаки, выходя в море.

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 25, с. 66.

Лучших певунов знали все.

В какой-то мере это особенность места и времени.

В городе, скажем, пели меньше.

Не было радио, которое начало петь за людей (подобно тому, как фотолюбители, особенно ревностные, доверяют смотреть вместо себя глазку фотоаппарата и на вопрос, что́ они видели, веером раскидывают снимки).

Некоторые песни окрашивали собой, как я сужу теперь, тот или иной строго очерченный период моей жизни. Другие, самые любимые, проходили «насквозь».

Рос я на юге, вокруг звучала украинская речь, дедушка по отцу не говорил по-русски, только по-украински. И песни пелись большей частью украинские.

Главных, любимых, проходивших «насквозь», оказалось в итоге не там много. Слышались они тогда повсюду — это, верно, было условие необходимое, хотя на всё, что «слышалось повсюду», оставалось: песни-поденки вспыхивали как бы пожаром и быстро погасали...

Вот запавшие в память прочнее всего: «Реве та стогне», «Ой на горі та й женці жнуть», «Стоїть гора високая», русские — про воробья («В темном лесе»), про Стеньку Разина («Из-за острова на стрежень...»), «Вот мчится тройка», «Хуторок», «Дубинушка».

Для меня, ребенка, это были просто Песни (как названия главных рек у большинства народов в переводе означают просто Река).

И лишь гораздо позднее я узнал, что у некоторых из них есть авторы, что «Реве та стогне» сложил молодой Шевченко далеко от Днепра, в Петербурге, где он часто, улучив время, любил бродить в Летнем саду в белые ночи. И что были это чуть не первые стихи, первая поэтическая проба ученика-художника, должно быть — еще крепостного, «крещеной собственности» Энгельгардта, а как ученика — в полной воле у хозяина Ширяева. Полетела она, эта первая проба, на родину, на Украину, а вскоре разлетелась по всей России, не умирая, передаваясь из уст в уста миллионами, обретая песенную душу, которую вдохнул в нее сам народ,— у мелодии, всем известной, нет автора.

Доставшийся мне от отца «Кобзарь» издания 1894 года заканчивается объявлениями «от книжного магазина

Ф. А. Иогансона». Предлагаются ноты, «музыка до кобзаря Т. Шевченка». 41 стихотворение, в четырех сериях, отмечены как ставшие песнями с мелодиями крупнейшего украинского композитора того времени Н. В. Лысенко.

В современных песенниках страницы заняты перечнями с пометами: «Слова Т. Г. Шевченко», и при многих: «Мелодия народная».

Думается, что, в сущности, перечни такие можно бы удлинить вдвое, втрое. Ведь у Шевченко сам стих рождался уже как песня, широко отворяя дорогу всей музыке одного из наиболее певучих языков мира; и чудится, что «народная мелодия» — это не что иное, как подслушанный, подхваченный народом голос, чтó уже пел в стихе.

Сколько стихов на свете, сделавших некогда прекрасное свое дело, а затем отзвучавших вместе с эпохой, когда они рождены!

Но не угасло биение жизни в поэзии Шевченко — длится мощное воздействие ее.

В книге «Колокол Говерлы» я описал встречу с учительницей в Закарпатье. Звали ее Олена Михайловна. Была она молода. В ее комнате висел портрет Шевченко. Все село, где она учительствовала, недавно спустилось «с небес» — перевели с горных круч на бывшие помещичьи земли. «На небе» село звалось Лютое — кривые, кособокие хатенки, дети росли как трава, с зыбки приучаясь к тому, что косогор, подперший хату, замыкает весь мир. Косили эпидемии — так умерли отец и мать учительницы. Стиснув зубы, твердя себе «только не заплакать!», она, сама тогда почти девочка, ходила по хатам, по больным своим ученикам. Не было ни врача, ни фельдшера. Добыть в «вароше» (городе) лекарства было, при власти Хорти, делом непростым. Вот через что прошла эта невысокая, некрасивая женщина с маленькими руками, пышными золотыми волосами, пока, после воссоединения с Советской Украиной, не началась другая жизнь.

— И если держалась и, видите, справилась, то был и *он* мне помощником!

Так отозвалась она на мой, кажется и невысказанный, молчаливый вопрос о портрете.

Однажды у кого-то достала старый, замусоленный, изуродованный цензурой «Кобзарь», вроде моего от-

цовского. На что же насущное отвечал он ей, чем поддержал?

Искать книжку сейчас ей было не нужно — всегда под руками. Сняла с полочки, открыла и с блестящими глазами сильным грудным голосом прочитала мне:

Пливуть собі, співаючи;
Море вітер чує.
Попереду Гамалія
Байдаком керує.

Что же значил для нее этот Гамалия, созданный поэтическим воображением, Гамалия, поплывший с казаками в бурю через Черное море вызволять братов из неволи! (В точности такого Гамалии не было в истории, но взято поэтом имя, широко известное, встречающееся часто,— вот и нам хорошо знакома фамилия Гамалея...)

Народная песенная стихия — полное слияние с нею: вот широкое основание поэзии Шевченко.

На нем преодолевая выпавшую ему безжалостно-суровую тяжесть жизни, воздвиг он поэтический мир, ярко и прихотливо индивидуальный, по строю, по языку, по мысли, пронизанный музыкой, нежностью, жгучим гневом, дерзкой смелостью, страстным жаром сердца, необоримой волей к свободе. С удивительным ядром — поднятым на недосягаемую высоту образом родной земли, родного народа, его судьбы, сплетенной с судьбами других народов. Братски протягивая им руки. Мир, в орбиту свою включивший образы мировой истории, мирового искусства.

И, вглядевшись в это, увидим неповторимость поэзии Шевченко во всемирной исторической сокровищнице, едва ли не единственность черт самого поэта в галерее великих творцов.

16

Гора Славы с бронзовым Кобзарем высоко царит над днепровской ширью, гордо господствует надо всем кругозором, насколько хватает глаз.

Не видно уже многих попутчиков наших по поездке в Канев. Пришло им время озаботиться обратной дорогой в Киев, свериться с расписанием «ракет».

У канадца, конечно, каждый час на счету, завтра у него самолет. Но *был*, поднялся на самую верхушку «той Горы», серьезно и сосредоточенно обвел глазами кругозор, методически запоминая, что́ передать «землякам». Сделал это на совесть, ничего не скажешь! И, верно, не для одних «земляков», но и для собственной тревожной души...

Молодая пара... Слишком силен радостный ветер, чтобы дать долго промедлить на одном месте, громок призыв не того, что было, но ожидающего их, всей только распахивающейся шири жизни. Подняло, точно по воздуху понесло их в Киев, чтобы потом оттуда... Да вот, думаю я, и с гостиницей сегодня им непременно повезет, прекрасным приступом будет взято каменное сердце директора либо администратора, обернутое в заскорузлый лист мертвенных инструкций. Потому что, не могу я не думать, существует, должна существовать еще иная, куда более важная инструкция, запрещающая омрачать мир, каким надолго увидят его люди со своего радостного порога.

Но кто это? Да кременчугский дед! Что делал он тут все это время? Не стоял — подымался, спускался, кряхтя взбирался снова, огромный, нескладный. По-хозяйски все осматривал. Не знаю, всем ли остался доволен. И странная вещь: «аматор», с кем он так немилостиво обошелся в «ракете», тоже здесь. Но теперь он опасается прибегать к своей журчащей скороговорочке, изливать чувства, мысли и впечатления, хотя заметно, каких усилий ему стоит хранить в себе, чем полон он сейчас.

И мы стоим четверо, просто сейчас стоим, вслушиваясь, вглядываясь в то, что видел и лежащий здесь человек, к кому мы приехали.

Вон там, за горбищем,— Прохоровка. Значит, и Михайлова гора, приют Максимовича. Кто только не бывал в нем из замечательных людей! Гоголь все обошел кругом, а старую церковь счел подходящей для таинственных и жутких событий, про которые повествуется в «Вие». Вяземский однажды сказал, что если бы ему чего оставалось пожелать в жизни, так это пожить на Михайловой горе. Хороша гора — так и поймем эту фразу. А все же друг Вяземского Пушкин не произнес бы ее. Ни Лермонтов. Ни Толстой и Достоевский. Ни Александр Блок. Ни тот, кто лежит рядом,— уж конечно, не он! Святое бес-

покойство, непокой, исключающий умиротворенную сытость желаний,— нет и не бывало без этого могучего духа великого поэта. Многого надо им от жизни! И жестока плата, взимаемая за то с каждого из них, с запретом торговаться с судьбой: знай, ты, счастливец, в рубашке родившийся,— довольство, счастье не про тебя.

...Там 13 июля 1859 года, когда Шевченко, переправлявшийся в долбленом «дубе» из Пекарей в Прохоровку, шагал к саду Максимовича, его нагнал посланный из Межирича мерзавцем исправником Табачниковым — «Кабачниковым» становой пристав Добржинский с тысяцким и десятскими: так в Прохоровке был в последний раз арестован Тарас Григорьевич Шевченко.

Ярок день, с чуть приметной золотинкой в вечереющем воздухе. Голубизной залило дали. Той самой приднепровской голубизной, что видел внутренним взором из Орской крепости сосланный николаевский солдат и никогда не мог забыть. Описал как щемящий сон наяву, на тот раз избравши такую точно указанную, даже подчеркнутую точку видения:

С Переяслава старого,
С Виблой могилы...

(«Сон»)

Какая фотография передаст ширь, свободу, открывающуюся здесь? И словно облекающую тебя! Точно входишь во что-то неизмеримо большее тебя самого, подымающее над тобой самим, над мелководьями твоей жизни.

Вот что с несомненностью ощущаешь на Тарасовой горе — перед дивным, всхолмленным, синеющим очерками «гор» кругозором. Теперь уже навсегда неотъемлемым от великого Кобзаря, своего певца.

Горы Корсунские, Мошенские, «отрасль» гор Трехтемировских, возвышенность Роднянская.

И внятно возникает, звенит в светлом воздухе еще стих — мой спутник, мой товарищ по этой поездке, точно вслушавшись в голос, произносящий его, повторяет за ним:

— Горы мои высокие!

БРОНЗОВЫЙ КАБАН

I

ТРЕВОЖНЫЙ КАНУН

Дело в том, что... Добролюбов сказал Тургеневу, который надоедал ему своими то нежными, то умными разговорами: «Иван Сергеевич, мне скучно говорить с вами и перестанем говорить», встал и перешел на другую сторону комнаты.

Н. Г. Чернышевский

— Просто это у вас, слишком просто, молодые люди!

А ведь далеко не всех в этом обширном зале можно было аттестовать «молодыми людьми». Ну что молодого в Анненкове, с его округлым животиком, зачесом на правый бок через всю круглую голову, вислым усом и умными с грустинкой глазами при общем — что поделаешь! — начинающем проступать несколько рачьем выражении лица? Или в Боткине — тот был в дружбе еще с Белинским (перемежаемой охлаждениями — но сколько писем, по десятку страниц, написал ему Белинский!), дружил потом с Некрасовым, но много утекло воды, разрослась лысина — чей он теперь друг? Эстет и богач, подъехавший на денек-другой из Москвы, где чаеторговая фирма «Боткин»! Скоро полсотни и ровеснику его, Языкову,— вот он сидит со своим школьным товарищем Иваном Ивановичем Панаевым, «Новым поэтом», у которого в расстановке глаз и сочетании их со лбом некогда, когда он был моложе и не завел еще мушкетерских усов пиками и бородки, усматривали нечто лермонтовское. Но раз упомянут Иван Иванович, нельзя пропустить и еще двоих Панаевых — Валериана, инженера-путейца, Ипполита, жестко ведающего довольно расхлябанными конторскими делами редакции, не давая, по мере возможности, потачки и легкомысленному своему двоюродному братцу Ивану Ивановичу. Кто еще? Тридцатилетний Михаил Ларионович Михайлов, публицист, романист, поэт, переводчик,— всех облетело в его переводе «Во Францию два гренадера...». И долго потом будет жить, доживет и до нас, когда тысячи и тысячи станут петь, не задумываясь — чье, «Смело, друзья! Не теряйте бодрость в неравном бою». Внук мужика Михайлушки, получившего вольную,

но добрая барыня (двоюродная бабка С. Т. Аксакова) умерла, алчные наследники Куроедовы схватили, закабалили вновь. Одна из диких историй окаянного времени! Дважды закрепощенный, Михайлушка умер, погиб в неволе... А Михайлов родился полуслепым — и выбился, пробился, твердый, бесстрашный человек! Только остались считанные годы — стремительно пролетят они! — и до собственной его гибели на каторге...

Те же безжалостно-быстрые часы отсчитывают скудно отмеренное время и Зигмунту Сераковскому. На нем мундир слушателя Академии Генерального штаба; в журнале — его иностранные обозрения; а за плечами у него ссылка — арестантские роты в безводной, раскаленной как сковорода пустыне, там сошелся он с Тарасом Шевченко («Батьку!» — звал его,— «лебедь наш»); впереди же, после польского восстания,— петля, казнь...

Мы вовсе не исчислили входящих и выходящих, тесно поместившихся на турецком диване во всю длину боковой стены, работавших за конторками не подымая глаз. Повторим однако: зал велик, так что говорящему был открыт и простор мерить его вдоль и вкось, мелькая длинными, на уровне лиц сидящих, ногами,— они казались тощими в клетчатых английских панталонах. Так, шагая,— настоящий великан! — он говорил сейчас о колонии молодых русских художников в Риме.

— Послушать их, что такое Рафаэль? Старье. Ни уму ни сердцу. Почище того: дрянь! Бездарность! Захотеть только да найти время — сяду и намалюю, куда там какой-нибудь «Сикстинке»! Так вот, по-простецки: «Сикстинке»! А поглядишь на этакого попрыгунчика à pieds joints да на то, что сядет, напишет...— он поморщился с непередаваемо брезгливым выражением.— Или еще. Скажешь: Шекспир. А тебе в ответ: а Гоголь? Я на колени готов перед Гоголем. Всем нам, с меня начиная, до него как до звезды небесной. Аз грешный и попытался хоть как-то выразить это, да многим известно, как в оны времена отозвалась попытка вот на этой шкуре!.. — он бегло коснулся борта сюртука.— Дело, впрочем, прошлое, баста... Однако к чему путать мерки? Шекспира, Данте сколько веков читают? И во всех странах мира! А даже Гоголя — все еще горсточка. Вроде нас. «Высоколобых» — меткое не без яду английское словечко, отнюдь не в одну похвалу. Теккерей — я говорил ему — расхохотался: великий писатель для собственного потребления компат-

риотов! Уперся, по британской манере, не сдвинешь. Не переубедишь. Остался при своем. Как говорит наш брат, орловский мужик: «Пощебелил, да и за щеку». Автор «Ярмарки тщеславия», надо признаться, сам далеко не чужд высмеянного им порока, но, согласитесь, в данном случае он, к огорчению, имеет резон...

Так, спроста, подойти и похлопать по плечу Теккерея! Прошелестел шепоток. И, видно, для того-то и приостановился, чтобы позволить прошелестеть. А теперь несколько мгновений пережидал, не убирая стеснительной улыбки. Он вообще владел, при всей массивности своего лица, неисчерпаемо богатой мимикой.

— Вот и выходит — еще надо расти нам. Расти и расти! Никуда не денешься, молодые друзья мои! Рафаэлевская мадонна легко в руки не дается. Часы простоял перед ней Белинский в Дрездене — перед *вечным*. Hein! — выдохнул он высочайшим фальцетом, как бы ставя некую утверждающую точку после сказанного.

— Нет, я не обо всех, вовсе не обо всех, очень прошу не понять меня ложно. Там же, в Риме, жил, мы с ним встречались, Александр Иванов. Сейчас — знаменитое имя; горькое, позднее воздаяние мертвецу. Кто не видал «Явления Христа» или не слыхал, не судил о нем вкривь и вкось, но непременно, непременно с собственной точки! А в картине этой двадцать пять лет отшельнического, подвижнического труда — не чета трескучему ложно величавому кумиру Брюллову, не могу умолчать!

«Козёр», златоуст, он любил и умел говорить — легко, гладко, увлекательно; привык ко вниманию; только, отчего-то спеша и волнуясь, сейчас слегка пришепетывал. Заметнее, чем обычно, чем хотел, грассировал; и — странное дело — чуть ли не сбивался... Все же каждое слово внятно слетало в нерушимой тишине. Входили на цыпочках, придерживая дверь. Ей-богу же, не каждый день послушаешь того, у кого, в сущности, нет соперников в изящной словесности. Тем более, что реже и реже видишь его тут, в стенах, даже когда, редкий гость, бывал он в России, в столице,— неужто что-то значили слушки о шмыгнувшей черной кошке? Иные, предваренные, специально приехали сегодня, чтобы разувериться. В своем углу сводил косматые брови Елисеев, и без того утонувший — вроде как и нет его! — в бороде (да и статьи он чаще всего будет подписывать не собственной фамилией, а «Грыцько»: как и нет его!). Двое братьев Колбасиных

восторженно преклоняли ухо друг к другу. А зрачки Сераковского, лишь сумрачные черные зрачки на бледном лице, железно сосредоточенном на одной мысли, пристально следовали за говорящим, за всеми движениями громадного, тучнеющего торса, красиво вылепленной головы с высоким лбом, обрамленным рано поседевшими волосами.

А это кто? Позже других как-то осторожно пробрался и резко опустился на стул с самого краешка малый вполне бурсацкого облика. Как сел, так и сидит, словно, набычившись, склонил рога — спрятал лицо; верно, новичок здесь. Фамилию успели подсказать: Антонович. Бурсак. Бери выше: с последнего курса духовной академии. Богослов! Но тяготится (ясное дело!): увлечен естественными науками. Тоже пишет. И подает надежды. Тоже подбирается к литературе, критике. Бог с ним. Небось напросился послушать: пусть слушает. Возможно, пойдет на пользу.

— Так вот что такое искусство: отбирай, безжалостно бракуя, самому себе наступай на становой хребет! Меня зазвали в салон, который не назову. Будет исполнена только что написанная музыка, новое имя: что там Глинка и Берлиоз, Гуно! Я сказал, что любой немецкий капельмейстер сочинит такую же, да никому не покажет. Должно быть, огорчил хозяев, но в эдаких вещах нельзя вилять, ходить вокруг да около — лгать. Сел писать — выкидывай лишние слова — des chevilles, говорят французы, у них термин: они наше дело ой как понимают. Лишние слова, я скажу — и *лишние мысли*. Щеголянье наблюдательностью. Тому уже лет девять, в Куртавнеле, вышел я перед сном из замка, дошагал до яблоневой аллеи — мертвая тишь, звездное небо и ты. Но стал на мосту, вслушался и различил восемь родов звуков, разных, я записал их, так, для себя. И никогда не вставлю в роман. *Лишнее*. «Дави как вшей!» — трубой трубит Флобер, его «Бовари» мало пробежать глазами, надо на зуб брать — фразу за фразой, учиться ремеслу, это ведь и ремесло, молодые люди! Кто читал, хоть по-русски?

— Я, к примеру,— безразлично отозвался темноволосый с рыжинкой, вскинув очки, и тотчас опять опустил спокойно и жестко отчужденное лицо к мелко исписанному листу бумаги; неизвестно, слышал ли что-нибудь до этого и продолжал ли слушать.

— А я ничуть и не сомневаюсь, Чернышевский. Не о вас речь. Позвольте, я поясню мысль наглядным, но,

прошу прощения, не очень эстетическим примером. Что в нашем бренном составе? Под кожей, оболочкой? Миллионы склизких пузырьков-клеточек. Кровяная жижа. Жгуты жил, веревки, ниточки нервов. Зловонная масса в клубке скрученных, белых, червеподобных... бр-р! Гробовой скелет. Но в прекрасной статуе Фидиаса изваяно прекрасное человеческое тело. Вот правда! Вот Искусство! Возьмешь повестушку иного юного собрата. И способен, и свежесть взгляда, но какая мелочная подробность, мелькнуло — и на бумагу, и на бумагу. «Так в жизни». Дагерротип совсем как в жизни. Изобрази пуделя, не пропустив ни кудельки, ни куделечки его шерсти, что получится? Гете твердо объяснил: еще один пудель, только всего. Слишком уж вы предаетесь реальности, уж извиняйте старика. Или я не прав, что?

Нет, мерянье шагами и вдоль и по диагонали, оказывается, имело направление и цель, оно неизменно подводило к конторке, за которой серьезно и строго работал (как будто ничего не происходило вокруг) безусый, с голыми губами и подбородком, но в обводе молодой курчавой бородки, вроде как носят английские шкиперы. Мальчишка. Молоко на губах. Попович. И у самого, конечно, семинарская закваска — даром что бросил семинарию. Да кто же он такой, если только сравнить его с говорящим? А ведь речь-то прежде всего назначалась именно ему, разговор с ним, продолжение прежних. Давид и Голиаф?! Что за чушь! Но было тут неясное, зыбкое —уверенно присвоенная им сила и власть, передавали — писанием своим он низводит даже признанных, даже известных. И возвышает — как не суметь возвысить и товарищам-друзьям, тоже признанным, тоже известным! В чем штука, затаенный секрет в нем — в *них*?

— Вы абсолютно правы.

И даже не оторвал пера от бумаги! Как ни в чем не бывало.

Возникла заминка. И сквозь двойные рамы, в тишине, вкрался в зал, вырос, заполнил его игривый высвист флейты, бас духовых. Человек рослый, но с понурыми плечами, чуть наклоненной как бы в неизбывной задумчивости головой, поднялся с места, приложил купол широкого лба к холодному стеклу. Какая тусклая слякоть в мире! Существует ли где-нибудь солнце? Хоть с утра зажигай свечи. По Литейной, солдатскими сапогами расшлепывая грязь, маршировала воинская команда под

игривый мотивчик — точно и не было только что, вот вчера пожара, развалин, сдачи Севастополя! И зачем-то конные городовые — кто там должен был еще следом пройти-проехать? У дома наискосок, с худосочными, неопределенного пола Атлантами — атлантиками на пилястрах, держащими на раменах балкон, обрамляя вход, *парадный подъезд*, с грозным стражем-швейцаром в темном его зеве, жалась, вжимаясь в стену от месива под ногами, от сеявшегося дождика, от прохожих, лапотная толпа. Конный осадил, махнул рукой в перчатке, разодрал черную бездонную пасть, встопорщив усы. Тогда надвое порвалась кучка, обе части отползли прочь от атлантиков, но там, озираясь, каждая склеилась, сплотилась вновь, держась за стенку, точно боясь потерять связь с ее камнями.

— Стоят. С четырех утра — я не ложился еще. Так и стоят,— сипловато произнес человек у окна.

— А стихи твои жгутся, я говорил тебе,— неправдоподобно тонким, при своем росте, голосом отозвался великан.— Но знаешь, повторю — собранные вместе, не порознь — как пучок лучей через лупу, им и поджечь можно. Только если я отнимаю время, мешаю делу, вы скажите?— вопросительный взгляд не на хозяина у окна, а на двоих, на Чернышевского и на того молодого, что, кажется, и поселился, и столуется здесь, чтобы стать вовсе своим, в этом доме на углу Литейной и Бассейной, доме Краевского, сейчас расчетливого, солидного, преуспевающего дельца (даже не верится, что было время, когда к нему, в редакцию тогдашних «Отечественных записок» на Невском, врывался Лермонтов и, хохоча, устраивал ужасный, неслыханный кавардак!).

— Нет, говорить так говорить все,— с нарочитым вызовом первым ответил Боткин.

— Да, все... Все? Жизни не хватит на все. Меня считают западником, потому что я твержу — нельзя сидеть в скорлупе, раком-отшельником, а невежество никого не украсило. Я люблю и ценю тебя, Боткин, ты знаешь, но никогда, никогда не соглашусь с тобой насчет шибающего в нос запаха русского овчинного тулупа. И как еще стоскуешься и по овчине этой, по мужику, хоть он порой и досадит тебе, как может, загоняя будто невзначай своих буренок в твою прадедовскую липовую аллею, и на клумбы, и в овсы, а ты молчи и разводи руками...

— Старый разговор, долгий разговор,— подхватил Анненков.— Я за то, что надо различать. Особенно те-

перь, накануне великой перемены, исторического порога, о котором все мы не можем не думать денно и нощно. Кормилице нашей, Руси православной человеческие права: слава те господи! Конец перед всем миром позору — продаже людей, своих, русских, как скота! Как американские плантаторы продают негров. Но эк мы любим чуть что шарахаться из стороны в сторону. То в нос шибает, то готовы истосковаться и даже на коленях поерзать. А тулуп овчинный есть просто овчинный тулуп, и больше ничего. Надо же видеть вещи здраво. И я скажу: одно дело мужицкая полюбовница, что пойдет за пьяным каторжником, который бил ее и будет бить в Нерчинске. А другое дело княгиня Волконская, бросающая все, что составляло ее жизнь, чтобы разделить каторжную нору с тем, кто вышел на Сенатскую площадь. Есть шкала человеческих ценностей, вот мое profession de foi!

— Княгиня Волконская — русская женщина,— и человек у окна зябко потер громадный купол своего открытого лба.— Арина же, солдатская мать, для вас иностранка, так, что ли? И та, про кого мне рассказывал печник, ярославец, мой земляк? Вы видели сельский пожар, Анненков? Когда деревня сухим костром горит? Так вот — влетела, не раздумывая, в полыхающую избу, в ревущее, жрущее все пламя и спасла, вытащила двоих ребят, чужих — полузадохлись, волосенки спалены. Саму же еле отлили водой...

Молчание. Тихий ангел, как говаривали. Не сразу, нерешительно отогнал его великан.

— Я не очень верующий по-церковному. Боюсь, что и просто неверующий с младых моих ногтей. «Отцы-пустынники и жены непорочны», а равно весь катехизис Филарета ничем не просветили меня в отношении треклятых загадок нашего бытия. Но вот поди ж ты: и я перед этим, правильно назвал Анненков,— историческим порогом, накануне того, когда я, как был, останусь землевладельцем, но перестану быть душевладельцем,— готов воскликнуть: слава тебе, господи! Да, *накануне* — вот слово! И повторю — это тебе, Боткин! — Голос его окреп.— Перед очередной триумфальной арочкой нового Гелиогабала... Каракальчика, который пыжится надуться, прямо по дедушке Крылову, в рост своего дяди, первого Наполеона, чье имя, с прибавкой «Третий», он принял,— так вот, где-нибудь на Елисейских полях, с натыканными венецианскими мачтами, наспех рассованными статуями,

цветочными гирляндами — не хватает еще амурчиков,— вдруг засосет под ложечкой. И сквозь всю мишуру увидишь поле под паром, пересохшее добела, в порошок: засуха. Над дорогой пыльный полог. Ушли и подпочвенные воды. Мычит скотина, бьет копытом в истресканную землю. Кажется, язи и караси задыхаются в обмелевших речках. Каменное, медное небо. Ты с ружьем, с собакой, и она, так верившая тебе, жалко, с укором засматривает тебе в глаза, вывалив язык. И вдруг, к ильину дню, сошлись, тяжко нависли тучи — сперто, мертво, не дыхнуть. И сверкнуло, грянуло, хлынуло,— не струями — кручеными водяными столбами, слепнешь от молний, глохнешь от неумолчного грохота, удача твоя, если зароешься в прелый стог... И — как рукой развело. Просинь, блеск, не режущий, а благодатно-матовый, что на земле, что на небесах, теплынь — хотя вымок до нитки. Только ворчит, перекатываясь где-то по краю, куда все, отходя, лилово свалило, а над головой сахарные груды с сверкающим обводом, сердцевина — чистая бездонная синь, как само небо. Глянешь на воду — серебряную скатерть и вздохнешь всей грудью так глубоко, так счастливо, как не вздыхал во всю твою жизнь...

— Какой поэт! В каждом слове поэт! — Василий Петрович Боткин звонко, задорно шлепнул себя по коленке.— И бедное же то время, когда не ко двору придется поэзия!..— усмехнулся он с тем же, прежним нарочитым вызовом.— То-то и дорого, что ты поэт. А в чем ты там со мной не согласен — не знаю и не ведаю. Я ведь только про то, что спасение России не в спанье на полатях, не в овчинном тулупе, то есть не в житье по-народному. А в чем же? В разуме и цивилизации, которые надо поискать там, где они есть. Чтобы перелопатить — это я для тебя говорю, вашим языком, языком хозяина-помещика! — чтобы перетрусить до донышка нашу мужицкую кондовую Русь, далеко не лучший из миров. И ты, имей смелость признаться, сам думаешь точно так же!

И, припечатав им сказанное новым шлепком по коленке, Василь Петрович Боткин, «Васенька», даже игриво помахал главой, блеснув зеркальной лысиной, прославленной еще Белинским.

Вот так союзник, непрошеный, досадный, с этим мефистофельским сарказмом черт знает к чему! (Однако выскочил и каламбур: черт — Мефистофель!) С мефисто-

фельским, только с мефистофельским — отнюдь не с фаустовским!

— Да, наука, прогресс, гуманность, цивилизация — Запад, но баста, баста, Боткин, ни шагу дальше! Дальше у нас с тобой развилка!

Круто и резко. Так и должно.

Но однако же — погляди внимательнее на этого человека, с кем столько переговорено и переспорено и читан строка за строкой немецкий «Фауст», погляди на лысину, изборожденное жизнью, гастрономическими и любовными пристрастиями лицо с печатью недолгого остающегося срока, и на молодящееся это хлопанье по коленке, отсылающее к тем годам, когда с пылающими глазами отважно продирались сквозь гегелевские дебри,— не чересчур ли резко и крутенько взял ты с ним?

— Hein,— выдохнул коротко, похоже не смешок — «парижский звук», так и назовет это позднее Боборыкин в одном из своих романов. Смущенная просьба о внимании и предварение шутки, старой своей шутки, знакомой, как он знал, и Боткину,— протянутая оливковая ветвь. Удачные шутки он любил повторять.

— Насчет же того, Василий Петрович, что у нас на святой Руси носят не одни шапки, но и *мозги набекрень*, тут у нас с тобой разномыслий нет...

Когда-то, давным-давно, он сострил так Белинскому (как раз в споре о русских и немцах — то ли изобретя это, то ли к месту и ко времени повторив где-то слышанное), и Белинский, прервав спор, расхохотался. И тотчас, со своим удивительным свойством сорадоваться, как никто другой не умел, всякой находке в языке и литературе и делиться своей радостью, сообщил Боткину об остроте молодого знакомца-писателя; и полетела она, стала крылатой, каким станет и словечко «нигилист», вовсе не придуманное (как сочтут многие), но громко прозвучавшее именно со страниц его знаменитого романа...

— Некра-асов! — раздалось с капризной растяжкой в задних комнатах. И нетерпеливее: — Некрасов! Вы слышите?

На пороге стала властная, гордая, с разобранными на прямой ряд, скрепленными бандо темными волосами. Возраст еще не стер редкой ее красоты.

— Некрасов, к вам опять ва-аши там — ярославцы, земляки (нажимая на «земляки»). Выйдите.

Голос, растягивающий гласные, глубокий, низкий, струнного тембра; некоторые слова звучали гортанно и небрежно, в нос. И была удивительная особенность ее пристального взгляда: каждому казалось, что она смотрит на него.

Он повернулся от окна. На миг женщина в мантилье, преданная подруга, жена, мучительница, не желавшая ни в чем уступать ему, до смешных мелочей («стрижено — брито»),— на миг представилась она ему как бы в образе императрицы Анны Ивановны — если допустить нелепую мысль, что Анна Ивановна могла бы быть красавицей. Любимая, исступленно любящая, взбалмошная, ненавидящая, тяготящаяся и тем, что по паспорту она жена другого... Как стала, как сумела она стать такой — после скудного безрадостного детства всеми пренебрегаемого зверька в актерской семье, сумбурной, с тираническим отцом, шумно переживавшим свои и взлеты и падения на сцене, после постоянно оскорбляемого девичества, жалкого брака (в который она кинулась, как в воду) с Панаевым? С этим самым Иваном Ивановичем Панаевым, безалаберным, унижавшим ее, чаще всего не замечая,— вот и сейчас он не глянул в ее сторону, перешептываясь с соседом и школьным товарищем Языковым!

— Вы не слышите, Некрасов?

Отозвался кратко, сухо:

— Авдотья Яковлевна, передайте — приду.

И подойдя вплотную к высокому человеку, умолкнувшему на это время, почти что шепнул:

— В одном не наплел Боткин, Василий Петров. После Пушкина именно ты больше поэт, чем все прочие прозаики, да и поэты, вместе взятые. Это я тебе еще и еще повторю... А что до *него*, ты вот что, отец, ты попомни — лет через пяток выравняется в нового Белинского.

— Белинского! Эк куда! — Возразил громко, во всеуслышание, напрягши фальцет до высочайшей ноты, потому что сразу догадался, на *кого* намек, а задушевного шепота не принял.— Любим на свои седалища примерять треножник пифии!..

И что-же: как и ожидал, на громко и одиноко прозвучавшее имя Белинского отозвался-таки, не мог не отозваться молодой человек, тот, на кого намек. Сторожко, как борзая, поднял голову — только ничего не прочтешь в глазах за окулярами...

— Вот-вот, и продолжайте в этаком роде вести бесе-

ду — о заветах, о дельфийском оракуле, о красоте, о душевладении. Сегодня без меня — не помешаю.— И Авдотья Панаева, с улыбкой, мгновенно скользнувшей по жесткому прекрасному лицу, скрылась за порогом.

Легко сказать — «продолжайте»! Молча шагнул, двинулись, переставились клетчатые панталоны. Несколько раз издал свой носовой звук. Может быть, бросить, оборвать все это? Росло ощущение вязкой зыбкости — некуда опустить, не на что опереть ногу. Но что-то тревожно сверлило его мозг — столько до боли, до муки недосказанного!..

— О красоте?.. Красота, прекрасное... Единственная бессмертная вещь: помним ли всегда об этом? И всюду она: даже в смерти.

Опять он оказался рядом с тем юношей в рыжеватой курчавой бородке. Чуть расставив, для твердого упора, ноги, слегка откинув массивную голову, полуприкрыв веками глаза (было у него такое обыкновение, вызванное, верно, тщательно преодолеваемой близорукостью), прямо обратился к нему. Пришлось теперь тому отвечать, хоть что это за ответ:

— Нам бы о жизни-то. Смерть в наши дни и сама чересчур о себе думает — не потатчики мы ей, пусть уж ее без нас, до времени, пока за косу не схватим.

Но ведь думал же, не мог не думать, даже в стихах писал — смотря какая смерть, за что!

— Конечно, о жизни! Нет большего утверждения жизни, чем прекрасное, как не понять! Некрасов! Где он? Я не поверил глазам, прочитавши:

Служи не славе, не искусству,
Для блага ближнего живи.

Опечатка! — сказал я.— А если нет, что же ты делаешь? Он внял, исправил.

Будь гражданин! служа искусству,
Для блага ближнего живи...

Да, так. Неоспоримо. Но вот, например, это:

Еще стыдней в годину горя
Красу долин, небес и моря
И ласку милой воспевать...

Конечно, он оговаривается — «Не Пушкин»: еще бы! А все-таки, как же быть с Пушкиным? С самим Пушкиным? Позвольте спросить. С тем, о чем он писал? Или не

было годины горя, годины за годиной при в бозе почившем?

Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь...

Он поднял лицо, когда мерно скандировал эти высокие строки, словно отрешаясь от зала, от всяческой суеты.

— Самым благородным манером сколоченное прокрустово ложе калечит искусство — простейшая штука, как не понять! И уж кто-кто, а яснее других понимал это Белинский!

Нет, не ошибся, вторично призвавши в зал тень человека, кого и сама смерть, казалось, не могла успокоить. Вон оно, опять что-то дрогнуло у губ юноши. И писание свое оборвал, с размаху, с силой всадивши перо в чернильницу — куда же будет теперь годиться твое перо, разреши поинтересоваться? Поискал, пошарил глазами (почуял, значит, *кто* вступил в залу!) — и остановил их... на Панаеве! Да при чем же здесь легкомысленнейший Иван Иваныч?!

— «...Какое мучение повторять зады, твердить одно и то же... не сметь выходить из определенных рам, все искусство да искусство!.. Я рожден памфлетистом — и не сметь пикнуть о том, что накипело в душе!..»

Вот слова, набрать бы их курсивом, жесткие к себе слова, что врезались в сознание и память молодого человека. Хоть вовсе не ему были сказаны, да и не видал он никогда живого Белинского. Сказаны они были Панаеву, вот кому! А что ведает о *таком* Белинском мастито вышагивающий вдоль и поперек по зале, тонкой флейтой выпевающий стихи, настойчиво задающий всяческие вопросы, напряженно вынуждая отвечать? Не ведает или не *хочет* ведать? Вот почему извилисто шевельнулись губы с детским, нежным сосочком над рыжей шкиперской бородкой. Ну же, ну, Панаев!

А тому — как с гуся вода. Перешептывается, похохатывает с этим Языковым, и ногу фатовски забросил на ногу, и ручкой кругообразно поболтал в воздухе, чтобы выходило смешней и наглядней.

Пусть. Что было сказано, то сказано. Только зачем повторять, кидать в тот воздух, где выделывает пируэты ручка все позабывшего Ивана Ивановича? Так ничего и не сказал, только кратко, сухо привел строку из того са-

мого некрасовского стихотворения, что здесь с язвительным пафосом пытались разъять на части:

— «Но гражданином быть обязан».

Ну, еще четыре слова — от себя:

— Иные времена — иные песни.

Достаточно. Взялся за перо, выручил его из чернильницы — так и есть, кончик пострадал, досадно...

— Иные, вы говорите? О, конечно, иные! (Даже как бы с радостью подхватил, с восторгом, точно того и ждал!) Вы просто опередили меня. Воздух искусства — живая жизнь и ничего кроме жизни. Великолепно у Гете — не устаю повторять, любой из нас должен бы на стенке зарубить, по крыловскому совету. «Greift nur hinein in's volle Menschenleben!» Запустите руку — не умею иначе перевести — внутрь, в глубину человеческой жизни! «Und wo ihr's packt — da ist's interessant». И где вы ее захватите, там будет интересно. Какая дерзкая сжатость, какое властное распоряжение мыслью и языком! Или... что? Вы не согласны?

— Нет, почему вы... Хотелось бы разве чуть яснее: какой жизни; насколько глубоко войдет рука; и ради чего.

— Словом, присядем рядком и, сем-ка, давайте исправлять Гете! Не стоит. Поверьте, не надо. Он свое высказал — дай бог нам так! И значит это, что ложь, лицемерие, сентиментальность, трескучая риторика — смертные грехи. Как они забрели к нам? А от таких французов, как Сю, Дюма-père, сын Бонапартова генерала, внук негритянки, тискающий столько романов, сколько никому не намарать обеими руками при круглосуточном маранье. И от Гюго, да, да, главы романтиков. Каким бесстрашным, достойным гражданином себя показал. И поэт даже удивительный в иных стихах, правда — чересчур обильных. Но как раз поэзия его известна у нас меньше, чем всесветно превознесенный роман, капризно уснащенный чудовищными горбунами, хмурыми химерами, кавалерами неизреченного благородства, умилительными козочками: как огня сторонитесь их! Пишите проще и *выше* — без затейливых выкрутасов, ходульных образов, не громоздя Пелион на Оссу вымученных выдумок, не кружа мыслью в беличьем колесе гениальничанья: вы пишете *историю жизни*. И она станет правдой; станет гражданским долгом. И я, со слабыми моими силами,— прошу простить такую ссылку, но ведь себя знаешь лучше других,— я, если и внес, как говорят, малую лепту в то громадное, че-

го мы все сейчас ожидаем, то потому только, что старался изобразить народ, человеческую душу мужика так, как понял, бродя с охотничьим ружьем по проселкам и весям Руси. Чем и горжусь больше всего.

— С полным правом.— (Спасибо, выставил балл. Вот спасибо! Но хоть не цитатой, а своими словами).— Ваша книга сослужила службу. Завидную, всем известную. Ей воздано: этого ничто не коснется. Только спросишь, имею в виду себя,— (как заботливо прячет коготки!),— да, ты *сделал* для общего дела. А что *делаешь*? Что *сделаешь*? Гете, вами любимый, считал, что лишь тот заслуживает свободы и самой жизни, кто ежедневно вновь завоевывает их. Ежели не так, поправьте. Новые времена — новые песни,— повторил он и, укрывшись за своими очками, склонился над бумажным листом.

— Я не закончил. Не торопитесь. Пушкин! Пушкин был великим гражданином своей родины. О, я знаю, возразите, что литератор отражает идеи, бродящие в обществе, и весь литературный успех измерен тем, насколько он сумел выразить их. И длится до поры, покуда не сменились они. Так? А сам он? Кто? Что? Чистая доска! Tabula rasa.

— Мы бы предпочли учителя, чутко усвоившего, чему учить, и не ошибающегося в своем деле. (Сколько раз приходится отрываться, под этим напряженным натиском, разъяснять, что дважды два — четыре.)

— Да, да! Пусть учитель, пусть! Я скажу больше: глашатай. Поэт-глашатай. Но не губка, жадно впитывающая, а после бери выжимай ее. И вам, я слышу, губка не нравится? Отлично! Так как же все-таки насчет бродящих идей? Что же они — сами собой являются в обществе? Без родителей? Саморождение даже микробов ставит под сомнение профессор Ecole normale Луи Пастер, вы осведомлены?

Поднял глаза под очками, сосредоточился, припоминая,— и юным, почти детским стало сейчас его лицо! Как же легко, оказывается, и его сбить, повернуть простым вопросом на излюбленную ими естественнонаучную тему! «Generatio aequivoca»,— уж конечно нарочито на схоластической, средневековой латыни подкинул Чернышевский: «самопроизвольное зарождение». И как смягчились, засветившись, также и его черты, твердые, угловатые, при взгляде на то детское, открытое лицо, потеплели в мгновенной улыбке женственные губы,— что же

они, эти двое, связаны одной веревочкой?! А молодой человек качнул головой. Пастер? Слышал, но что-то другое, кажется с опытами по брожению. Эта Ecole normale — не близкий свет...

Ну что ж, а мы пойдем дальше.

— Отражающий рефлектор? Только и всего? А ведь художник — человек. Человек и сам меняется. И не по одному тому, что изменилось электричество в воздухе. Что диковинного? Вот некий англичанин, объехавший кругом света, джентльмен с болезненно-тихим голосом, женатый, как у них водится, на двоюродной сестре, письменно сообщил в Линнеевское общество, что в борьбе за жизнь изменяются все породы живых существ. И, слышно, рудокопный гном воздвиг этакую груду добытых фактов, что она на сей раз грозит погрести под собой извечные прерогативы Творца, чего вовсе не удалось прежним эскападам Ламарка и Жоффруа.

— Крайне интересно! — Это Чернышевский встрепенулся.— Впрочем, для мыслящих людей давно не оставалось сомнений. Ну а что касается метода... В борьбе за жизнь? Неясно. Может быть, спорно. Какие подробности? Да вы присядьте, что же-с как на часах...

— Нет. Мне проще. Нашему брату степняку не привыкать стать мерить дороги. А то, когда весь пейзаж — один бумажный лист, ой, не заслонил бы он жизни! — Однако примостился боком к еще утром вытопленному остывшему камину,— в зале и без того было душновато,— любовно положил большую, широкую в кисти жиловатую руку чернорабочего пера, охотника на литую, с острой спиной фигуру кабана на каминной доске.— Для всех мыслящих людей? Так ли? Пришлось перемолвиться с сэром Чарльзом Ляйелем и Альфонсом Декандолем — не надо пояснять, кто такие? Оба назвали доклад разорвавшейся бомбой — первый с восторгом, второй — с удивившим меня недоумением. Но не будем отбивать хлеб у специалистов — они и распорют по швам, и перекроят, и ушьют кафтан по-своему. Отвлекся, жаль.— Снял руку с кабана, распрямился, зашагал.— Разве Пушкин великих последних работ все тот же гениальный мальчишка-бесенок, что потряс затхлую храмину неповоротливых од, чувствительных элегий задорными, шипучими стихами «Руслана и Людмилы»? Он сам сознавал: «Душа моя расширяется» — в горении такого накала, о каком мы ед-

ва ли в состоянии и судить! Сравним его, коли уж сравнивать, с Петром Великим, больше не с кем...

— С государем императором? Отцом отечества? Сыноубийцей? На костях чудотворным строителем?

Язвительные изощрения Михайлы Михайлова. Переждал. Довольно отвлечений.

— Пушкин отзывался на все. И создал — создал! — *мир*. Неисчерпаемый, как божий мир. С прошлым, настоящим, предугаданным будущим. Единственный среди всех! Возможно ли? *Как* возможно? Потому что в нем воплотились глубинные основы, средоточие народной жизни, обретя живую, *личную* душу, мысль и язык; он сам их носил в себе. Сошлемся ли на новые песни, ему неведомые? Да. Чего бы мы стоили со старой погудкой! Слышу об охлаждении к Пушкину. Нет, поверьте мне, он жив! И пребудет ныне и присно. Доколе живет наш, русский язык; сбережем же его как зеницу ока! Канут в забвение иные человеческие слабости — у кого их нет? Останется искусство — поверх злобы, потребы дня. Оно подпора и союзник вере в свет, в добро, в грядущее. Без этой веры — что художник, что гражданин! Оно дает крылья, поднимающие над сутолокой. А коли не чувствуешь их за собственной спиной — и не садись к столу. Будут читать тебя — все на месте, а... Скажу просто: букета нет. Как в плохом вине. Еще и еще вспомянешь легкокрылого Пушкина с его чувством гармонии, волшебством мастерства, секретом с первой же строки *брать быка за рога*: отлично говорят французы, нет у нас сходного выражения...

— А больше ничего не присовокупите о том линнеевском сообщении? Тут, я утверждаю, самое существенное в нынешнем исследовании природы. Мерило достоинства его. Пробный камень миропонимания. Смею полагать это ясным как день для любого человека с непредубежденным разумом.

Досадливо обернулся: кто? Да со своего краешка — Антонович!

— Мы всё про Пушкина, Пушкина, судим-рядим, а он двадцать лет покойник...

Расторг уста! Решился! Морщась, зитиевато, самонадеянно, но с истинно лампадным оканьем, голосом искусным в осмогласных песнопениях. Сын дьячка. Либо пономаря. И крошечные, непривычные ему стеклышки соскочили с его носа. Невзрачен, мешковато сутул от вечно-

го согбенного бдения над трактатами о земле и небесах. И пусть бы, пусть, оставив в покое литературу! Но нет, со страстью и рвением он перемежает их своеручными, конечно — пространнейшими, писаниями, в которых слово — не драгоценный самоцвет, любовно, тщательно гранимый, а вода. Так у них у всех, у поповичей, Павлов, ставших Савлами...

И, окинув новичка взором со своей высоты, сердито нахмурился, не прощая себе шевельнувшейся о нем недоброй мысли — бог знает, как еще повернет его жизнь, перемелют жестокие жернова ее... Да и не сужден ли ему, с этими бумажными шорами на перетруженных глазах, век короче воробьиного носа!

Если б догадывался расхаживающий по залу, среди тесноты и ног сидящих, красивый, мощный с виду человек, что всех здесь стеснившихся переживет именно Антонович! Всех до одного. И чего только не ждет его в долгой, очень долгой череде грядущих лет. Безоглядные схватки с недругами — и оружие, поднятое на друзей тоже. Бескомпромиссная резкость суждений, свято хранимая память о своих товарищах-шестидесятниках, скромный усидчивый труд ученого, что впишет его имя в историю геологии,— и генеральский чин на склоне дней. Но переживет он и трех оставшихся российских самодержцев, узнает про главковерха, «временного» Керенского. И про бегство его, маскарадно ряженного в чужое платье. Услышит громовой раскат выстрела «Авроры». Прочтет ленинские декреты. Лишь на исходе 1918 года завершится его путь...

Дверь в глубину квартиры плотно закрыта, не шелохнется коротенький фестончатый ламбрекен над ней. Как ушел, так и не возвращается. Променял на «земляков». С ним бы, Некрасовым, другой разговор. И о Пушкине — другой разговор. А сейчас... Хватит, хватит виляний по сторонам! Выяснить *главное* все с тем же молодым в рыжей бородке — с кем же еще? Умницей — вот чего от него не отнимешь!

— Художество, учим, суррогат действительности? Подделка, обезьяна — да чего там, давайте уж прямо по Фоме Аквинату: *служанка жизни!* Ancilla vitae. Так и хочется вставить в какую-нибудь новую схоластическую «Summa theologiae». Ведь так, не станете отрицать? (А Чернышевский, разумеется, глух и нем — словно вопрос,

хоть и не к нему обращенный, не касается прямо его, с его эстетикой, и ничего стоящего не было произнесено, что бы отвлекло от работы!)

— Написанное яблоко — только намек на настоящее?! Неловко даже спорить... в детской. Это как же — для сытого прочь все натюрморты? Только натощак любоваться Снейдерсом? На что он — с полным-то стомахом? Разжигать аппетит, дразнить червячка — счастливое назначение фламандца! Вот чему его выучил Брейгель Младший! Нет, вы, именно вы — вы так и находите?

И молодой человек слегка развел ладони:

— Что же я могу находить? Разве что съедобные примеры несколько диссонируют, на мой слух, своей низменностью с тем возвышенным способом трактовки предмета, какой изволили избрать...

Ну конечно — одна веревочка, связывающая двоих!

— Вы хотите искусства, доступного народу, я понимаю. Искусства правды. Так что же мы расточаем и то, чем владеем? Не такие уж... Ротшильды. Как случилось, что упустили, не удержали во что бы то ни стало в журнале Толстого Льва? Ведь этакая медвежья хватка! Лишь вчера, можно сказать, начал? Не все у него ровно? Нравен, строптив? Уж кому-кому знать, как не мне!

Быстрый легкий шелест: Антей о Геркулесе!

— Сообщают — увлечен проектом заселения всей России... лесами! Вот человек: какие ноги бог дал, а ему бы пройтись на руках — если не на голове. Откуда ни подступись, выпрет углом. Ну и что же? Меньше нетерпимости. Предвзятости, пристрастности. Да, я давно хотел... Пусть без Некрасова — все равно. Как те стихи, не скрою — поразительные, было время — я восхищался ими:

То сердце не научится любить,
Которое устало ненавидеть...

Опять смена темы! Не сразу и уследишь, каким скачком это выскочило. Впрочем, лишь писаные диалоги выстраиваются в стройные ряды, при живом же общении... бывает, что через самый короткий срок никак не уловишь в ином разговоре, почему и куда снесло твой утлый корабль! Однако изменился и тон, и повадка — значит, самому ясно, что *эта* песня из другой оперы, и как важна ему она!

— Ненависть без устали. Месть. Трижды остережемся умножать предметы их, вовсе и не хлопоча о христиан-

ском всепрощении. Не во всякий же час одни мы правы, мало ли распрей, где правы обе стороны!

Как осторожно теперь ставил он на топком месте сапоги, мягкие, плисовые, без каблуков, большеносые, сшитые на особый заказ, по-великаньи просторные, для ног, мучимых подагрой!

— Накануне Светлого Воскресения, которого ждет не дождется Русь, послушайтесь совета, не трогайте вы хоть Александра Николаевича. Его и так щиплют все реаки. За что с двух сторон лишать его духу? Сравним, как было при отце его, приснопамятном Николае Павловиче,— свежо еще...

Возбуждение угасло. Захотелось присесть. Может, и вообще пора бросить перо — как Просперо волшебную палочку в «Буре» Шекспира? И сам усмехнулся самолюбивой причудливости сравнения...

— Как подумаешь, что через пятьдесят лет и помину не останется от всех нас, пишущих. От проклятий, увещеваний... плача на реках вавилонских... Поневоле станешь сдержаннее, скромнее.

— Плача? — вдруг поймал слово Чернышевский.— Где вы слышали плач? Кто это плачет? Нытьем, хныканьем не выжмешь ни у кого ни слезинки; тем более не побудишь действовать. Нормальный человек передернет плечами и отойдет. А через полсотни лет... Вы сам неужто озабочен этим? — сказал он, упорно ставя в единственном числе и глаголы, и определительные слова при «вы», обращенном к одному человеку: так ему представлялось логичнее и менее пошло-искательным.— Завидую. По мне — да рассыпься прахом мое имя, вся эта галиматья,— вставил он излюбленное,— ахинея, ерундистика! (Какое именно пристрастие к семинарскому балагурству, плетению словес!) Жило бы дело. Я, впрочем, гляжу со своей колокольни — не могу отрицать родственных отношений с этого рода архитектурными предметами.— И коротко хохотнул: ха-ха! — Извините, лишен возможности долее отвлекаться.

Это — Чернышевский. Ну а *тот*? Едва переступив порог, уже ощутивший себя — удивительно вымолвить: чуть не признанный — хозяином! Неужели за *ним* завтрашний день?!

— Чего же вы хотите, молодежь? Спрашиваю, потому что я не сторонний. Чего добиваетесь? Если прямо, как на духу?

— Куда же прямее? Никаких тайн и секретов. Все сказано, все вслух.

— Нет! Не все! Говорится, да не выговаривается. Обиняки. Вот затеваем тискать «Свисток» в виде этакого сатирического журнала в журнале. Листка-издевки. О, не сомневаюсь — как будет «Свисток», так и журнал нарасхват. Только ведь это не самая высокая мера; «Служенье муз не терпит суеты»; искусство не рыночный товар. Лучше сами спросим себя: кому же собираемся свистать в «Свистке», чему подсвистывать? У меня верхнее чутье, старый легаш, меня не проведешь: тут совсем не то, что разумел поэт: «истину с улыбкой говорить». Великие, кого мы должны равно чтить, не приняли бы такого сорта речи. Они предпочитали сеять при свете дня, всерьез, in earnest, по выражению англичан. Если об одном болеем — вот рука. Авось и она еще сгодится — нет-нет и опереться на нее. Никто не скажет, что я кому-либо отказал в этом. Даже и тут, в зале, есть тут такие, что помнят меня крестным отцом у своей литературной купели... Ну, а если вовсе не об этом, если о *другом*... Тогда... впрочем, что ж тогда? Слово-то мне известно. Ваше утаенное «Сезам, откройся».

— Это какое же именно, не поделитесь ли?

— Нет, теперь уж я утаю! До поры, пока, может быть, и напишется о нас, отцах, и о вас, детях. Там-то и выставлю en toutes lettres!

Минут немногие годы — так он и сделает. И *нигилисты* — разнесется со страниц романа, одного из лучших в русской литературе по яркой изобразительности, мастерскому лаконизму, совершенству отделки, точно вовсе свободной от недочетов, шутя побеждающей любые трудности,— возможно, вершине всего им созданного. Разнесется — и вызовет взрыв страстей, не часто сопровождающий рождение какого бы то ни было литературного произведения. И тогда-то Антонович, вот этот самый бурсак, нынешний новичок, опубликует злой памфлет «Асмодей нашего времени». Но так предстоит случиться. Теперь же...

— Оставим это. Пусть будет à propos. Важнее дело. Вывести журнал на торную дорогу. Я берусь помочь с новинками. С тем, о чем говорят на Западе. Виноват, не спросясь, уже беседовал с Мериме — какой превосходно организованный разум у этого человека! На литературном обеде в присутствии лорда Пальмерстона удалось переговорить кой с кем из виднейших английских писа-

телей. А что мы знаем о Бертольде Ауэрбахе? Да ровно ничего. Крупнейшая сила в литературе — наследнице Гете и Шиллера. Еврей по национальности, немец по духу и культуре, он уже создал как раз ту деревенскую повесть, о которой спорим. Ломаем копья, а он создал. С событиями, типами, характерами, выхваченными из глубин народной жизни. И без зубовного скрежета, какому платим, ей-богу же, лишнюю дань. Забывая о первоосновах. Даже о своих. Вот Мей дописывает — вам известно? — «Псковитянку». Вече, исповедь женщины, слюбившейся с Иоанном, высокий драматизм, прадедовская почва — на ней стоим! Я сам готов попросить у него, как кончит,— привезу, прочту в этой комнате...

Нотки требовательности смягчены, а в глазах на крупном лице в оправе рано засеребрившихся волос — беспокойный огонек. Словно снова и снова пробует ступить то тут, то там на зыбкое место — не утянешь сапога. Не кошачья ли тропа тут надобна?!

— Нам, русским, дорога наша земля, но свята и та, что сама приняла тысячелетний отблеск взращенного ею искусства. Как же молчать о ней? Если я не обхожу Италию, Рим, то ведь где же еще ощутить постоянное присутствие окружающего, обволакивающего тебя Великого? Каждый день — точно сверкающий праздник на небе и на земле. Уединение не тяготит. А как работается — *вкусно*, не назову иначе!

Да, так. Но работалось, думалось, писалось ведь только о ней, о России! О ее сегодняшнем дне. Ее людях. Не Сильвестр же он Щедрин, живописец, талантливый — надо признать, до конца кратких своих дней уязвленный прекрасной Италией! Красоты, да, и льющиеся звуки языка — «Isola bella» (музыкой звучало для него это название островка: Прекрасный остров), но связывались они в единый узел со всем, о чем он неотрывно думал. И с самым глубоким, что он знал на Западе. Что уже мысленно скользнуло сегодня. *Фаустовская душа*. Фраза сказалась сама:

— В «Фаусте», повестушке, верно уже забытой, что я здесь напечатал...

И тотчас перебил один из Колбасиных:

— Что вы — забытой! Некрасов тоже находит — прекрасная вещь!

— Не с кондачка, не с кондачка,— вмешался Анненков, давно дожидавшийся повода.— У нас не младшие

классы с указкой учителя и проставлением баллов. Я говорил и буду говорить о ваших романах, повестях что́ думаю. Не всегда расточал хвалы, оттого и верите мне. Вы никогда не *глазеющий*, как иные: вот первое. Картины ваши не разбегаются врозь без оглядки, так что читатель, расставивши руки, теряется, за которой кинуться. Автор, авторская личность всегда на страже — как часовой на часах. И еще: вы владеете драгоценным — *простотой поэзии*. Так и в «Фаусте» вашем...

Анненкова не перебивал — с внимательно склоненной головой. Но вдруг отмахнулся:

— «Фауст» не мой — гетевский, я лишь сослался. И хотел, знаю — слабо, передать ощущение *гнезда красоты*. Как оно стоит перед моими, перед русскими, глазами. С белым светом луны и запахом — ванили, кактуса...

— Никогда не слыхал запаха кактусов.

Неужели, наконец, задело за живое его, мальчика в бородке?! Ответил улыбкой: мало ли чего ты не слыхал, еще не слыхал! И продолжал серьезно, сидя (собственно, когда же он сел? Очевидно, чуть проявил желание, сжались, тесная баба стала еще теснее, выпростали место).

— ...С водной ширью, гладью, плоским островком, заросшим оливами — маслинами. А над самым берегом — как сейчас вижу — дом, маленький, мраморный...

— Что ж, очевидно, строить из камня или там кирпича выходит из обычая...

Пусть, пусть прячется за своими окулярами! Прячет простодушное, детское лицо, а показалось-таки оно! И беседа, диалог, от них ему не уклониться,— ведь сел с ним вот так, совсем рядом, долетает тепло дыхания (правда, диван низок, сидеть на нем неудобно, колени сухощаво вскинулись острым углом). Опять улыбнулся широкой, доброй своей улыбкой, доверительно вложив в нее, словно беззвучно выкрикнув, настойчивый, самый важный, другой, чем произносится вслух, вопрос.

— О, внешняя оболочка мира,— мы, пишущие, неравнодушны к ней! И понимаю, уже сказал,— может быть, выполнил слабо, не спорю. Как сумел. Надо ощутить неустанно бьющуюся живую, ищущую человеческую мысль под этими одеждами. Она-то и дорога. Всем нам, чтобы не изобретать паровой машины после Уатта. Но,— легкий отстраняющий жест рукой,— бог с ними, с философией, наукой. Присмотримся хоть к тому, как сумели устро-

иться на земле. Да вот — как вывели вперед женщину. Любовь.

— Перси и розы!

Это что, опять Михайло Михайлов? Ну конечно!

— А я не стыжусь: любовь.

— Жаль только, что перси и розы в стихах и прозе почему-то до сей поры сочетались с тучными пажитями в личном владении певца.

Набившая оскомину банальность. В рифму: розы — прозе,— бедная рифма. Пожать плечами.

— Я говорю не о барских забавах на досуге; не о клубничке. Но о том, что порой сомнет или вознесет твою жизнь. Как проклятие или благословение.

Вот так — смотря в глаза тому, с кем очутился рядом. Это для него,— кое-что слышал о нем, не монах, не аскет. Нужнее всего ему, едва мужающему, вовремя отечески поданный совет! По-детски, по-ребячьи припухлые с сосочком губы — уж как он их сурово ни складывай. И эта рыженькая, мальчишеская бородка. Ведь мог бы быть сыном...

— Вы упоминаете про жизнь, девственно свободную от всяческих земных тягот, я не ошибаюсь?

Ну зачем же — значит, все еще таится в своем укрытии, упорствуя в том? Что он, не угадывает, что ли, грубо не понимает, *чья* жизнь раскрыта сейчас перед ним? Но ответил иначе на грубую, нарочитую фразу:

— Я про вас. У вас она вся впереди, жизнь. Не дайте же увянуть сердцу. Омертвелое сердце — конец. Как огня берегитесь этого! Пуще всего. Свято всегда думайте о женщине. Не о теле ее, но о всем естестве. О женском сердце.

Как будто остались одни во всей зале. Один на один. Больше никого. Так легко он умел сделать это, когда хотел.

— Француз говорит: femme le veut — Dieu le veut... Женщина хочет — Бог хочет!

Всю жизнь он писал о любви. И всегда, большой, сильный человек, отвращался от сальности, цинизма в плотских отношениях. Он становился нем, когда, разогретые вином, начинали нескромно, нечисто изощряться языки его прославленных друзей, французских писателей. И на парижской улице замечал он не то, что зачастую виделось им.

— Рассказать вам о полуденном Париже? Ровно в полдень, midi,— вот как у нас играют куранты, а скоро будет опять ударять пушка, чего желал сам Основатель, Петр Великий,— в полдень разом высыпают на тротуары тысячи девушек. Из контор, агентств, магазинов, кондитерских, модных мастерских. У них свободное время, обед — юные, свежие, совсем простые, но с той особенной грацией, изяществом, с каким, можно сказать, родится женщина в Париже. Улица, в полдень отданная Женщине! И кто бы ни шел — золоченые франты, банкир, негоциант, маркиз, маршал Франции, министр — все расступаются перед ней, она, самая простая, в этот час выше всех. И вмиг — улица полна радостных молодых голосов, сам воздух звенит, искрится от летучего обмена молниеносными шутками, острыми как бритва, смех, чье-то веселое чертыханье: «Bigre!» — «Zut!» Нет, чтобы стать своим на такой улице, петербургского французского недостаточно, надо владеть тонкостями, оттенками речи, этого не почерпнешь в гостиных. А по-русски и слова не передашь, каким парижанин обозначает полуденных девушек, усмешливого и ласкового, образованного от midi; ручаюсь, наш язык никогда не примет какого-нибудь уродца «мидинетку»; да и как нам смириться с эдаким множеством зарабатывающих свой хлеб юных девиц?

Легко, шутливо, доверительно, с горловым тонким коротким смешком. Как бы прикасаясь голосом к юношески худому высокому плечу — вырос, вымахал, очевидно — выдаются ключицы. Раз сам он, собеседник, предпочел вот такой тон прикровенной серьезности. Собеседник?! Вот этот— с отрывистым басовитым «Н-да-с»? Произносимым так, будто не верил ни слову, или все это нимало не касалось, нисколько не было нужно и шло мимо слуха?

Диковинная беседа — не беседа; и если монолог — сколько безответно звучать ему? *Топкое место.* Бой, давно замышленный, но разве так выигрываются бои? Боже мой, что, о чем он говорит? Про это ли надо? И разве *так* на самом деле он думает? Ведь был он, в общем мнении, умен, не просто, но очень умен — и сознавал это о себе.

Явилось странное ощущение, будто уже куда-то вдаль и вглубь отодвинулось начало сегодняшней встречи — да и сам он (еще страннее!), тот ли он сейчас, кто, пружиня икрами, бросил в залу (когда?): «Просто это у вас, слишком просто, молодые люди!»

И опять в сознании его возник Белинский. Уж верно,

все эти часы он незримо присутствовал в зале. Тот и такой, какого он знал. И что бы там ни говорилось, разве не был это тоже подлинный Белинский?

И вот Белинский, признавая его «необыкновенно умным», говаривал, что ему легко с ним, что его беседа и спор отводят душу, неистово-страстную, непримиримую, широко распахнутую, восторженную душу, рвущуюся к сшибке мнений! «Тяжело быть среди людей, которые... во всем соглашаются с тобою... И отрадно встретить человека, самобытное и характерное мнение которого, сшибаясь с твоим, извлекает искры».

Вот как судил Белинский. Именно о нем. Собственноручно засвидетельствовал в письме к Боткину, Боткин и хранит письмо. Но здесь...

И вдруг он круто переломил свой рассказ — с глубокой морщиной, врезавшейся между бровями, внезапной хрипотцой, почти с вызывающей резкостью, так мало свойственной ему, прорвавшимся раздражением. Словно махнув рукой на этого сидящего рядом угрюмого молчуна — бог с ним, с чуждой, на замок запертой его душой и с топким его местом!

— Так, скажу я, прежде чем браковать, отважно перечеркивать крест-накрест *не свое,* починим-ка мосты, проложим дороги в двойную невылазную распутицу — весеннюю и осеннюю.

Вскочил, забывши про подагру, прислонился к плачущему окну.

— Вот она, родимая!..

Заметно смеркалось. Вечером его ожидали у великой княгини Елены Павловны — знакомство укрепилось в Риме, стало близким. Многие блестящие особняки города Санкт-Петербурга гостеприимно растворяли двери перед гостем — украшением интимных приемов и суаре. «Лев сезона»,— не без завистливого яду определил Боткин, меткий на клички...

Сейчас он грассировал сильнее, чем прежде.

— И пусть не сладим — хоть воздвигнем заслон перед заразой, поветрием, которое, настигнув, унизительно, пакостно истязает, прежде чем раздавит тебя, как насекомое. Перед средневековым мороком, азиатчиной, — от нее не укроешься у нас ни в захолустье, ни в богоспасаемом столичном граде. Русский живописец Иванов, чуть вернулся из Рима, едва успел выставить картину,— и нате: свеженький труп, бр-р!

Рывком, в два-три длинных шага, вернулся к конторке.

— Ваш батюшка, Николай Александрович, также, ежели не ошибаюсь, скончался от холеры?

И по этим словам Добролюбов поднялся и, для чего-то положив ладонь на лист, исписанный наполовину, только наполовину, не вышло у него нынче исписать все кругом,— внятно, твердо,— мальчишка! — выговорил:

— Иван Сергеевич, и то, что вы рассказываете, и как рассказываете, к каким пестреньким выводам ведете, мне скучно слушать. Пишите — это существеннее; будет плодотворнее и несогласие. Прекратимте бесцельный разговор.

Аккуратно собрал с конторки листки, отошел, сутулясь, к дальней стене, к бронзовому кабану на камине в углу направо.

II

КАБАН

> Произошла какая-то маленькая пауза... по всей вероятности, Некрасов говорил что-нибудь и на эту минуту остановился, чтобы отодвинуть тарелку и взять другую... Подвернулся под глаза мне кабан, и я сказал: «а хороший кабан». Некрасов... произнес задыхающимся голосом: «ни от кого другого не стал бы я выносить таких оскорблений».
>
> *Н. Г. Чернышевский*

Василий Матвеев, в засаленном полукафтанчике, слуга, отворил и тотчас, ничего не спрашивая, нырнул в низенькую, со следами свечной копоти боковую дверцу. Чего там, свой, каждодневный, сам найдет дорогу!

И точно — услышав стук в дверь спальни, Некрасов отбросил одеяло, приподнялся, сунул руки в рукава халата.

— Вы? Очень хорошо и кстати. Заходите. Я сейчас.

— А который час, не поглядели?

— Проклятая засасывающая петербургская привычка. То ли дело в деревне, в Грешневе!.. Когда вчера лег? А сегодня такой день, никого не жду. Позволил себе полениться. Отлично, что заехали.

Между тем растрепанная стопка рукописей и листов набора лежала на ночном столике, поверх нее толстый очиненный и уже притупленный карандаш.

— Лучше выдумать не могли! Поговорим на свободе — надо. Завтракали?

— Уж и забыл когда.

— Значит, сможете повторить. Василий! Самовар!

Слуга распахнул дверь без стука.

— Сюда подавать?

— Я сказал — самовар. В залу, в залу!

Самовар, верно, поддерживался в готовности — едва, вставши, Некрасов вернулся из туалетной (в том же вытертом по швам, утерявшем блеск шелковом халате), на круглом столе в зале уже кипел, распевал, как живое домашнее существо, с гирляндочками орленых медалей по начищенным медным бокам!

— Что же вы — пустой чай-брандахлыст? А за компанию? Вон сколько наставлено.

— Телятины, вам известно, не употребляю.

— Известно-то известно, но чтобы, по чести, я когда-нибудь уразумел... Пожалуйста — масло, калачи. Да и какая телятина? Василий! Вот видите... Я же, признаться, голоден.

— После вчерашнего? С ним или на нем?

Фразочка для затравки беседы, расхожая цитатка,— если верить хрестоматиям, так справлялись о воинах в Элладе — вернулся ли победителем со своим щитом или принесли мертвым на щите. Но тотчас раскаялся, чуть не прикусил язык. Какое ему дело, что там было вчера, в этом Английском клубе, «клобе», за раскинутыми карточными столами!

— С ним, с ним, сегодня, представьте, с ним! — Ну конечно: кончилось далеко за полночь, когда он, гость, видел последний сон, после третьих петухов, говоря по-деревенски или по-саратовски, то есть *сегодня*. Поутру.— Но, Николай Гаврилович, нам совсем не это надо обсудить, вас ведь это не интересует?

— Совершенно справедливо: ничуть не интересует.

— Всерьез надо, вот так, с глазу на глаз, Николай Гаврилович.

Только по имени-отчеству, ни разу не обратился «отец», как почти ко всем другим, как любил, с «отцом» тут с самого начала не вышло, поняли оба.

— Задыхаюсь. Вот как рыба, вытащенная бреднем. Что бы ни хотел написать... нет, обязан — *главное* мое, лучше не живи, если не напишешь!.. А знаю — под нож. Все под нож. Под красный карандаш. Словно вырвали

язык. Без языка говори. С ума сойдешь. Подлость — такая жизнь. Бессмыслица.

— Ну, у жизни есть смысл. Особенно у вашей.

— Десятая, сотая доля смысла!

— Не преувеличивайте. Математика требует точности.

— Книжку свою в руки возьмешь. Сборник. То, что издано. Да она же исполосована, в рубцах, живое кровоточащее мясо — будто прогнали сквозь строй. После шпицрутенов.

— Тут мы с вами не откроем Америки. Оба. Равный опыт.

— Потому и говорю. Вам одному. Теперь уже одному. Говорил и второму, да...

Это понятно. Кивнул. И так ясно в этот миг ощутил прикосновение, при последнем целовании, к окостенелому лбу Добролюбова, что непроизвольно шевельнул губами. Затем отозвался:

— Живем не среди серафимов и херувимов. Надо прямо смотреть в лицо необходимости. Какая бы ни была. Отлично понимаете безо всяких моих слов. Это пострашней? Да. И нужна железная закалка. Зато — ясна дорога.

— Дорога... но иной раз в бессонную ночь сто раз переспросишь себя: а хватит у тебя, лично у тебя, хватит ли сил, терпения?

— У вас?

Как он был хил, сдал за последние месяцы — и после смерти Добролюбова, и после того случившегося, о чем сейчас не может не начаться разговор: журнал на самом краю. И после еще такого, что вовсе не касалось Чернышевского, каждый должен сам нести свое, чего же ты стоишь, если собственного своего не подымешь. Хил, желт в сочащемся петербургском свете, бородка ламанчского рыцаря, но ведь это видимость, кто говорит, что человек таков, каким выглядит,— обывательская благоглупость! Мощные неиссякаемые силы скрыты в слабом теле, могучий мозг под громадным куполообразным лбом — никогда не видал, не встречал большего контраста!

— У вас-то?!

— Вчера был опять старик, отставной николаевский солдат, прибрел с котомкой. Тот, что подсказал «Власа». Ярославец. Разговорились. Деревней пахнуло. Солнцем, хвоей, бекасиными, дупелиными местами, болотцем на рассвете. Так и пахнуло!.. Поют. Вы понимаете? Поют! Как? Каким путем? Только что, гляди — вчера, написал

«Ой, полна, полна коробушка!» И поют! На деревне. Кто сложил голос? И «Еремушку», и «Меж высоких хлебов затерялося...». Слушаю — и будто не я. Это же гораздо лучше, чем у меня,— с голосом, как вышло у них. Ясней, короче, скинули лишнее. И где слова меняют — к лучшему.

«Будто не я». Всегда смеялся над несчастной склонностью беллетристов, поэтов — служителей муз разглагольствовать о своих творениях, донимая ни в чем не повинного, угодившего в ловушку слушателя. «Душить трагедией в углу». И, разумеется, впрямь меньше сейчас думал о себе. О своем авторстве. Иначе и не могло быть между ними двумя. Будто стал в сторонку, слушая деревню.

— Как меняется она, прямо на глазах! Русский мужик. Баба, вчера бессловесная. Многое поняли после той... «воли». Вижу — не слепой!

— Именно. Я и говорю: именно.

...Тогда, придя, он также застиг Некрасова в постели. Такое случалось не раз (совсем несхожая раскладка суток у обоих) и ни одного не смущало. Он лежал, запрокинув голову на подушку, забыв о чае, стынущем в стакане на ночном столике. Навзничь, глаза в потолок. Руки кинуты вдоль тела, в правой печатный лист — состоявшееся наконец решение крестьянского дела, по манифесту 19 февраля. Встрепенулся, приподнялся на постели, стискивая лист: «Так вот что такое «воля». Вот что такое она!» И бурно, задыхаясь, заговорил о пунктах «решения». Чернышевский дал ему выговориться. Ответил сразу на все: «А вы чего же ждали?»

— Нет, не слепой! А сужу лишь про свои, собственные силы и терпение. Достанет ли *мне*. Перетяни струну — лопнет. У меня есть папка, в портпапье, в шкатулке. Я не показывал вам, не упоминал — не случалось. Какое-нибудь одно слово на обрывке. Или вырежу змейкой, обкорнаю с обеих сторон, оставлю лишь по словечку-другому в середке каждой строки. Для себя зову: рецепт. Похоже — мне-то они, аптечные, пришлись вот по это место...

...Да, сколько раз, приходя, Чернышевский заставал на столике возле постели табунчики пузырьков с хвостиками-змейками!

— Месяцы, годы лежат строчки, словечки на обрывочке, рецептики самому себе. Мне — достаточно. Словечка. Никогда не забуду. Лежат — заживо похороненные.

Слушая с напряженным вниманием, глянул на свои руки. Пальцами одной коснулся кисти другой руки. Нет,

у него это иначе. Он должен исследовать мысль на бумаге, дать ей форму, чтобы она сделалась «металлов тверже». В недалекие уже, страшные, мертвые годы каторжной ссылки, когда отнимутся у него все человеческие права, в том числе и право писать даже для себя (а это и было ему — как запрет дышать),— он все же будет писать чем попало на чем попало. Иногда волевым напором принуждая себя не разгибаться ночь напролет в смрадной, зимами ледяной норе. Чтобы спасти в себе человека. Не позволить уничтожить себя. А утром — жечь, рвать, стирать написанное: оно уже стало неистребимой частью его существа.

— Не вымолвить — подумать невыносимо: никогда не выну из шкатулки? Что же — сесть дрессированной обезьяной и сейчас писать впрок, в ту же шкатулку? Для потомков — для никого? Чтобы оценили, когда и косточки сгниют? *Что* оценили? Нами, что ли, только и будут заняты? Других забот не станет? Я нынче живу. Живой человек. Не гробовой призрак. Для тех пишу, кому нужен. Кто ждет. Отзовется мне на этом свете. А для того света — в какую же самовлюбленную воблу надо иссохнуть! Нет, слуга покорный — не способен. Честь имею!

Стихи. Погибшие, погибающие в шкатулке. Чернышевский и сам не был чужд стихотворчества. Время от времени даже пробовал печатать. Видит бог, как он ценил и Добролюбова-поэта, чьи строки широко разлетались как лозунги, призывы, будя молодые сердца. Но здесь, перед ним — это же было совсем иное. С чем сравнить небывалую, впервые всенародно прозвучавшую песенную мощь? Лишь о малом краешке, примере народного отзвука поведал сегодня Некрасов, не отдавая, может быть, и себе отчета в истинном значении рассказанного! Так с кем сравнить? Пушкин? «Невиданная литературная сила» — учит Сашенька Пыпин, двоюродный брат; вне спора; но — певчая птица, райская птица. Лермонтов? Проживи он дольше, *доживи*. Раз навсегда запретить себе рассуждать по способу «если бы да кабы». Жил, «вкушая вкусих мало меду», пал «с свинцом в груди»... Гоголь? Выше этого имени он не ведал. Но нет — даже, даже и не Гоголь! Тот *был*, этот *есть*. Не для вчерашних — для нынешних наших крутых, горячих дел. Великое выпавшее счастье сидеть за одним столом с *таким* человеком, слушать быструю, негромкую речь, сгусток жгучей страсти,— с поэтом, подлинным великим поэтом, разве может быть

иным великий поэт! И знать, что и для него нет никого ближе тебя!..

Оберегай же его, вместилище самого драгоценного сейчас для России — в скудельном телесном сосуде. Береги, охраняй — если бы он догадывался, от сколького он уже огражден!

— Журнал. В нем не одна моя жизнь. А ваша? Легко перечесть и других, кому уничтожить журнал — это перерубить пуповину. Дамоклов меч над головами.

— Вы собирались вчера поехать...

— Да. Ездил. Убеждал. По-лисьи юлил — перед сукиным сыном. Дамоклов меч — на гнилой веревке.

— Ну что сказать? Одно повторю: смотреть прямо в лицо действительности. И не отводить глаз. Что-то зависит от нас. Но что-то больше не зависит. Журнал занял свое место только потому, что он именно такой. Иным он не может стать. Все равно, что закрыть. И тогда все равно, кто закроет: та сволочь или мы сами. Отсюда отнюдь не вытекает, что следует услужливо пропихивать себя в пасть; умаститься маслицем, чтобы не подавились.— Хохотнул, оборвал.— Когда я, без вас, по-дурацки перепечатал из книги два ваших стихотворения, я судил: вот лучшие сегодняшние стихи. И не предвидел взрыва тупой ярости. Удара копытом по журналу. Вы ни словом не осудили меня, вернувшись. Безразлично; я не повторю глупости.

— Ждал такого ответа. Опоры; плеча рядом. Ну что ж — так. Пойдем как шли. А что составляет для меня ваше мнение, сами убедились — хоть из той истории, когда я во всем уступил с Добролюбовым. В последний год его. Ввел в издольщики, на четвертую часть, как вы настаивали. Ну да что поминать!..

— Просто поняли тогда: было необходимо.

— Да не в том же дело! Добролюбов был мне не меньше другом... сыном, чем вам...

— Зачем сравнивать?

— Но я не имел права. Вот в чем суть. Блюдя не свои шкурные — вам незачем объяснять, а иным, вдохновителям черной, дьявольской легенды о Некрасове... им-то, что ли?! Привык, пусть их! В Панаеве суть. В покойнике. Вместе с ним, с Иваном, взяли журнал, начали. Жалкий, слабый, добренький, готовый до конца дней

своих транжирить все, что было, что есть... Но какое же у меня было право? Проклятые, треклятые деньги!

— Я знаю. Но прав — не прав, вы или я — тогда не имело значения. Я понимал это все три часа, что мы проспорили. Было *надо*.

— Уступил. Вам я уступил. И все погашено... смертью. Теперь уже двумя смертями. Так стоит ли сейчас про то, что до конца дней его шли бумажки в контору, бумажки за бумажками — выдать тому, кто ввек не отработает? Кто угадал минуту, разжалобил... просто попал под такой стих — размахнись рука! Панаев, Панаев...

— Ну, туда шли бумажки еще и за другой подписью. («Друг Платон, но больше подруга — истина!»)

— Моей, прямо скажите. Не обеляю себя. Но не могу, не могу поступать иначе, когда убежден — способен, талантлив. Тот же пример: Николай Успенский. Пиши пропало и хуже того: на всех перекрестках хает, поносит. И чем больше выцыганит, получит, тем злее. Но ведь в какого богатыря вырастет... если сивуха отпустит! Уж не по образу ли и подобию Краевского или Дружинина прикажете вести журнал, сквалыжничая? Недалеко уедешь! Угодно еще случай? С этим Пиотровским?.. Выгнан из университета за участие в волнениях, в сходках, сидел в крепости. Давал ему деньги, наперед зная — пиши пропало. Не отказал, нет, по новой слезнице, а запоздал. Он же, не будь дурак, пулю влепил в лоб. Себе, а все равно что мне. По ночам спится. В себя прийти не могу...

Сильный, даже крутой, все таящий про себя, привыкнув охранять свой внутренний мир от чужого, злого, любопытного или завистливого, от всякого постороннего взгляда, никогда не «нараспашку» — как он открывался теперь! Ничем не выдавал Чернышевский, что видит, понимает редкостную особенность этого выпавшего часа. Но думал, слушая, как трудно, может быть и невозможно, человеку сказать все, до дна. Даже в такую минуту.

Пиотровский попросил — и тотчас дал ему Некрасов двести рублей. И жестоко проигрался в клубе. Пульки, бессонные потом угрызения, «счастье», «несчастье», «дурные знаки», зароки, заклинания удачи, милостей от безжалостного божка зеленого сукна, мирок пушкинской «Пиковой дамы», лермонтовского «Маскарада»,— нет, не сужу, не сужу. Да что: и Пушкин верил в приметы. Оста-

ется улыбнуться. Суть не в том, что заколебался выдать следом еще три сотни, повторно «искушая судьбу». Но в том, что почти тотчас пересилил себя, понимая, сверх всего, что это — безвозвратные деньги!

— ...Я люблю деньги? Не Ивана ли Тургенева наслушались, кто сребролюбцем меня, где может, расславляет?..

Кому же сказано это? Уж конечно — не собеседнику, не Чернышевскому, он-то никак не «наслушался»! Собственно, он и был виной, что обе рекомендации Тургенева, из числа последних, остались втуне. И Ауэрбаха, «пресного жеманника», и меевской «Псковитянки»: сентиментальные страсти под ложную народность, скучная бездарность — так, с перехлестом, но решительно, определил Чернышевский, и Тургенев оборвал чтение на первом акте, нервно, чуть не сминая, запихал рукопись в карман...

— Тургенев!.. Ему-то что, чистенькому,— барственно-аккуратно приходуй пересылочки из Спасского-Лутовинова. Пускай! Цены ему, что бы там ни было, не забываю. Высокой цены. И что в сердце своем беззлобен — если бы не чересчур мягок...

Упреки и оправдания, счеты, обида — ведь это перед ним, кого нет за круглым столом, перед отсутствующим, перед Тургеневым! Яснее, чем когда-либо, ощутил Чернышевский, как дорога Некрасову былая, рухнувшая дружба, даже память о ней!

— Я ненавижу деньги. Здесь, в Питере, я валялся на полу в нетопленой конуре, пальтишко подмащивая,— хозяйка «сердобольно» вытащила все, вплоть до колченогого стула, чтобы выжить, выморозить за неплатеж. И думаете, так-таки всегда вспоминаю с содроганием, ужасом, даже просто с тяжелым чувством? Да ничего подобного!..

И опять — все так, но ведь было и другое, сейчас не высказанное. Человек гордый (а разве существовал, может или должен существовать великий поэт, человек могучей души — без гордости?!), он поклялся тогда никому — верно, не определяя еще ясно, кто в точности это,— никому не доставить удовольствия, умерев на чердаке. Я *никого не хуже*. Вот что было у него в нищей, голодной юности.

— ...А этот «клоб», обеды, картеж...

Голос упал почти до шепота, и тотчас Чернышевский

словно пожал некий рычажок внутри себя, и звук исчез для него — при полностью сохранившемся виде внимания. Всерьез обсуждать картеж или еще иные некрасовские слабости? Не поставлен надзирателем ни над картежниками, женолюбцами. Ни над пьяницами, чтоб не пили (сам же не пил настолько, что однажды, годы спустя, пиво принял за мадеру). И притом тут не слабости мелких душонок, нет! Котел под чудовищным давлением. Не открой клапана — взлетит. Брать, каков есть, человека, которого не измеришь простецкой меркой. Человека, которого любил так, как больше никого. Его жажду жизни, страстность, жар, обжигающий под хмурой, холодной корой. Темный огонь глубоко сидящих глаз — его он не в силах скрыть, притушить. Выигрыш? Меньше всего, меньше других он способен стремиться *только* к выигрышу — и на охоте и там, за зеленым сукном! Неистовый азарт — как исход, когда не по его вине нет иного, истинного исхода!..

— ...И если бы не Ипполит Панаев, черт бы сломал ногу в этих бухгалтерских лабиринтах. «Полинька» называет его она. Для нее он Полинька. И кое-что, правда самое минимальное, необходимое он для нее делает. Выручая... Откуда, из чего выручая? Я ничегошеньки никогда не пойму до конца. С этой ужасной, мерзостной продажей огаревского имения. Огаревским наследством. Уверен, что прохвост, пробы ставить некуда, этот Шаншиев, а как поработил ее! Втянул, стал доверенным лицом. Обвел вокруг пальца... или послушно выполнял, что велела? Вот в чем проклятый вопрос! Вам говорю. Никому больше. Внес за нее, покрывая ее, тысячи. А я не миллионщик. Но не мог же я умывши руки дать ей провалиться в смрадную яму? Не мог, вам понятно? Только... такое не забывается! Мы с ней при конце. Что, разве она жалела меня, умирающего по приговору врачей? Ждала гробовщика! При самом конце, говорю вам. А разорвать... нет!.. Силы нет разорвать. Судите, осуждайте...

Не развел, шевельнул руками. Чернышевскому было нестерпимо жалко его. Но и с этим надо, обязан справиться! Опять пожал рычажок, чтобы шелестящий звук исчез. Не его дело, совсем не его дело! Такое, *свое*, всякий должен нести сам. Ни на чьи плечи не перекладывая. Тверже всего он знал всегда, знает сейчас и до конца будет знать именно это. Впрочем, и еще нечто замеша-

лось сюда. Многое простится Авдотье Панаевой за то, что она не отходила от постели и последняя держала мертвую руку Николая Добролюбова. И кто другой, а он не судья ей... Им обоим не судья!

— ...И вообразить до сих пор не умею, что вовсе стану ей чужим. Сколько зла ни сделала мне эта женщина. Страшно вымолвить, но иногда сверлит мысль: да когда же она умрет? Вы понимаете, что значит, если дошел до такого? Если решаюсь, пусть вам, вслух признаться? Все она взяла мое — ум, страсть, характер, нравственную силу. Не желая понять, что даром такого ни у кого не берут. И даром не отдает — никто!

Если чему-нибудь завидовал, то уму Некрасова. Светлому, ясному — в других, важнейших делах. Чудесному разуму под куполом черепа дивной лепки. Нет, не excultum ingenium — не вышколенный систематическим обучением интеллект, подумал Чернышевский (любовь к латыни вынес еще с семинарской скамьи; Цицерона читал без словаря). Но ни с чьим иным он не сравнил бы такой невышколенный! Хоть и способный так замутиться — в *этом* деле...

— И если это любовь... Да будь она проклята!..

...Слишком легко кидаемое слово! Что значит оно? Вот он любил человека, так говорящего сейчас у потухающего самовара, как редко когда говорил. Его любил — это безусловно. А жену, Лялечку? Он совершенно искренно убеждал себя, что был влюблен в нее лишь в первую встречу у нее дома, с обеда до вечера и притом, разумеется, с перерывами! А потом? Для нее он сделал бы все. Друг, на которого она может положиться. Готовый на пытки, на муки. Ради счастья ее — чтобы ничто не омрачало его. Ради ее здоровья. Из страшной своей ссылки он, человек неколебимой твердости, станет уверять в письмах, какие пропустят: мне хорошо, я ни в чем не нуждаюсь; и будто некий превосходный врач непрерывно печется о нем. Лишь бы ничем не огорчать!

Но со своей привычкой к точному разграничению понятий это он не признавал любовью. Не находил сходства с той, распаленные страсти которой на все лады смаковали поэты и модные беллетристы. О какой пели, раскатывая «р-р», заводя глаза, пощипывая семиструнную, юные купидоны с холеными усиками. Равно и с тем парением чувств, эфирным и в то же время роковым, какое неизменно воспевалось в повестях Тургенева.

А она, жена? Даже не спрашивал не то что ее — самого себя, любит ли? Да разве он из породы героев-любовников, и что она за тургеневская героиня, Ляля, Ольга Сократовна, дочь Сократа Васильева, саратовского врача! Стала женой — мало этого?! И, ясно, ничто больше не могло отразиться на его отношении к ней: таков закон справедливости, которой он навсегда подчинил свое поведение. Поставил над собой. Справедливость и чистоту. Не допуская ни малейшей поблажки себе — как бы ни вели себя другие.

Смешно сказать, но лишь при рождении третьего, последнего ребенка он увидел, поверил: любит! Вот так-то, Николай Чернышевский! Ты ошибался: любит! Но что же общего с огнедышащими страстями, бабскими историями, конфидентом в которых он никогда не желал быть — даже у Николая Добролюбова, более дорогого, чем сын! Не осуждая рабов и данников их — просто отсек: меня не касается.

Он стал думать о вещах, куда более существенных. Аресты, виселицы. До какой поры? Что же, может, и тебя не минует. Он, кстати, предупреждал ее, Ольгу Сократовну, о возможности такого, закономерного хода событий. Еще в самом начале, перед обручением. Чтобы могла отступиться, пока не поздно. Сам же был внутренне готов. И придирчиво допрашивая самого себя: ей-богу же, безо всякого страха. А теперь подступило вплотную. Каторга, может — и смерть близкому, Михаилу Илларионовичу Михайлову. Так что примеряй на себя. Спокойно, *безо всякого страха.* И ничуть не играя с собой, не кокетничая — обдумай, как продуктивнее использовать отведенное время? (*Кем* отведенное?! До чего же въевшаяся манера выражаться — даже наедине с собой!) Вот, например, сразу, двумя словами-молниями сделать понятным миллионам, чего хотим. Земля. Своя земля. Не помещичья, не барская. Не царская, не монастырская. И свобода. Самое заветное. Итак — *Земля и воля.* Центр — братья Серно-Соловьевичи, Николай Обручев, Слепцов, Курочкин. Что ж, пусть при них и Антонович, молодой человек лермонтовского возраста, неукротимого темперамента. Переговорено в Лондоне с Герценом, Огаревым. Комитеты на местах, в губерниях. Двести офицеров в варшавском комитете — отлично! Не рассчитывайте, ваши превосходительства, сиятельства, величества, что ружья будут палить только куда велите! Будут другие,

не ваши ружья — найдутся и топоры. Канун. Живем накануне. Слово-то тургеневское, с его и тут легкой руки — жаль, не туда повернул. Так вот как раз накануне — не даваться в лапы. Пусть не обольщаются, что чем-то облегчим им палаческую работу. Никаких следов. Никаких торчащих кончиков. Научились и мы! А если говорить о себе — разве не готовил себя с самого начала, с тайнописи ранних дневников?

Он улыбнулся. Кажется, опять хохотнул. Нечего перерешать. А улыбнулся всплывшему в сознании милому, нынешнему. Это как привал для мысли, в безостановочном ее беге. Был Иринарх Введенский, земляк, удивительный человек, пробившийся по-ломоносовски со злого, нищего дна жизни к науке и литературе. Это он стал, в частности, таким переводчиком, что соперничал с теми, кого переводил. Однажды он сказал: «Если жизнь измеряется силой ощущений, желаний, опытов, страданий, я прожил не менее ста лет. [Умер сорока двух.] Сколько благословений и проклятий я разбросал по дороге!..» Не в каждой ли это букве о нем, о Чернышевском? Но вот сейчас — милый отдых. Он улыбнулся (сама улыбка и хохоток должны были также стать как бы участниками беседы за круглым столом, словно еще подчеркивая внимание к ней).

Сегодня купить Сашке, старшему, книжку с картинками, про зверей. Еще просит про изгнание двунадесяти языков — барабаны, баталии, Александр Благословенный, «на нем треугольная шляпа» — это еще взвесить. А Мишке заводную мартышку в красном фраке, взбирающуюся по проволочке, пожарного с лестницей или вот лучше — деревянный наборчик строить дом; строить, а не стрелять, не рушить! А чем они там хотели сегодня удивить, вместе с мамой, с Лялечкой? Ух ты, какие секреты! Шито-крыто, и надо до конца сохранить невинно-непроницаемый вид. А ведь все насквозь видать, заговорщики Ляля, Саша, Миша! Котенок жалкий, выкинутый да еще поленницей дров заваленный какими-то «добрыми» мещанскими душами во дворе. Услышали ребята писк, выручили — молодцы мои ребятишки! Отпоили молочком, и заурчал свою благодарную песенку, тепленький, быстро забывающий дурное комочек. Я-то поглядел уголком глаза — будто ничего и не вижу. Небось повяжут голубую ленточку к моему приходу, к торжественному обеду с новым членом семьи!..

Несколько мгновений он подбирал имя новому члену семьи. Васька, Мурка — чепуха, галиматья. Мелентия Васильевна — вот! Если девица. Черномазова или Белова — глядя по окраске. Мелентий Васильевич — если молодой человек (то бишь кот).

Он улыбнулся — и вдруг вновь очутился в зале, за круглым столом. Стояла тишина. Стенные часы секли секунду за секундой в такт широкому размаху маятника. Разве не шла сейчас — он мог бы присягнуть — беседа с оживленным его участием? Очевидно, очередь его реплики. Взгляд упал на камин, на бронзового кабана, вздыбившего шерсть. Напоминание стрелку-охотнику.

— А хороший кабан,— сказал Чернышевский, со смешком, чтобы вышло веселее и приятней стрелку-охотнику: ха-ха.

Сначала не понял. Лицо хозяина сквозь желтизну запунцовело. С трудом, как бы давясь ими, он вытолкнул фразы:

— Вот уж не ждал, не чаял... удружили. Ни от кого другого я не снес бы таких оскорблений!

Оскорблений — человеку, кого ставил выше всех?!

— Я толкую вам битый час о положении журнала, такого же вашего, как и моего. По вашим словам, советам сужу: встретил понимание, поддержку. И после всего, вдруг, смеясь, колете мне глаза роскошью моей жизни, этой квартирой, что за счет журнала, за ваш счет ем, пью, езжу в Английский клуб, покупаю, как толстосум, драгоценности, бронзу! И если бы это не вы, Николай Гаврилович...

III

И СПУСТЯ ВЕК

Все восстановлено, насколько возможно, бережно сохранено в квартире, где находилась редакция «Современника», где жил и, написавши щемящие, единственные в русской литературе «Последние песни», тяжело умирал Некрасов. Надолго пережила его жена, другая, которую он обессмертил под именем Зины. Та, что сутками бодрствовала около него. «Зина! закрой утомленные очи! Зина! усни!»

С кем развела жизнь, кто надолго стали недругами — свиделись с ним перед концом. «Последнее свидание» вошло в круг тургеневских стихотворений в прозе.

Многое в горячих, отшумевших спорах, с перехлестами с обеих сторон, отсеяло и отвеяло время.

Книги Тургенева, писателя, что называется, божьей милостью, показали миру Россию: вклад его в русскую литературу — всемирный вклад. Города и веси, прелесть природы, как никто не показывал до него. И чистоту души, горечь и радость трепетного молодого чувства. Сотни разных людей, бар, мещан, разночинцев, мужиков, златоустов и молчальников, высокоумных и простых сердцем, живут на страницах его книг.

Минует столетие, а по книгам этим еще будут познавать многие стороны великой страны — какой она была в то время. И если не все (а кто может претендовать на все?), то самые драгоценные из его слов, звуча на десятках и сотнях языков, станут по-прежнему отдаваться в живых сердцах...

Другой великан — Достоевский... Он также проводил Некрасова. Слабым своим голосом (как пишет сам он о себе), голосом пророка (каким слышался многим новый его голос времен «Дневника писателя»),— Достоевский сказал речь, протиснувшись к еще разверстой, но уже в цветах и венках по обледенелым комьям могиле. За гробом по улицам шли, одни называют, четыре тысячи, другие — десять тысяч; был ясный день с жестоким морозом, группы людей, пройдя часть пути, отставали, примыкали новые; множество, особенно молодежь, студенты, шли до конца. Толпа сгрудилась, плотно сбилась на Новодевичьем кладбище. Когда Достоевский сопоставил Некрасова с Пушкиным и Лермонтовым, юноша Плеханов выкрикнул, поддержанный звонкими молодыми голосами в тесном людском кольце: «Выше, выше!»

К умирающему Некрасову успел долететь прощальный привет Чернышевского из вилюйской ссылки — по свидетельству мемуаристов, то было ему дороже всего, скрасило конец; хочется верить, что сказано не пустое слово «скрасило», но осталось правдой и в «кромешную» последнюю вереницу слившихся в одно ночей и дней, еще сужденную Некрасову.

Самый дом, «дом Краевского», как стоял, так и стоит на углу Литейного проспекта и нынешней улицы имени поэта, бывшей Бассейной. Зал совсем не показался мне

огромным, как приходилось читать. Просторная комната, бывают и больше, так что я с некоторым недоумением спрашиваю себя, как умещались в ней все люди, о которых рассказано здесь, да еще Тургенев мерил ее вдоль и поперек длинными шагами, позабыв про подагру.

Впрочем, очень многие среди заполнявших залу в достопамятный день обратились для нашего сознания лишь в бесплотные тени: бессмертие — удел далеко не общий. Если доныне широко известна фамилия Боткин (Боткинские капли, весьма неприятная болезнь Боткина, Боткинская больница), то это не потому, что несколько поколений Боткиных богатели на торговле чаем, а Василий Боткин дружил и ссорился с замечательными людьми, входил в «бесценный триумвират» (Анненков, Боткин, Дружинин), шумел «Письмами из Испании» и умер, брюзжа об упадке чувства прекрасного и призывая цензоров к строгости; но потому, что был у него брат, на 21 год моложе его, Сергей Петрович, знаменитый клиницист и диагност (он лечил и Некрасова), физиолог, реформатор медицины, учитель Ивана Петровича Павлова, вовсе не занятый литературой...

Пользуясь тем, что отлучилась, доверяя мне, дежурная, я приподнял кабана. И сделал это без напряжения. Ничего грандиозного, ни особо драгоценного не видно в этой хорошей вещи, обычном бронзовом накаминном кабане, подобии того, какой как раз и стоял у Некрасова. Да господи, сколько таких и лучших, более дорогих, выставлено на продажу по комиссионкам! Камин не сохранился, на его месте сейчас майоликовая печь в углу...

Переосмысливаются понятия. Некрасовская роскошь. Пушкинская — в квартире на Мойке. Домодельная «роскошь», убивавшая старого Толстого в Ясной Поляне или в дощато-бревенчатом окраинном московском хамовническом доме. Не погрешим, поставив кавычки. Оглянемся вокруг себя. На дома и народные дворцы-исполины в новых городах, что «вырастают по лицу земли родной», нашей земли. Да и просто на привычный, воспринимаемый как должное и потому не замечаемый стандарт обиходных вещей конца XX столетия. Полезно иногда оглянуться, сравнить, чтобы отдать себе отчет, что предоставлено нам временем,— вот, скажем, перед живым окном в мир, что ежедневно распахивает «голубой экран» в самом скромном жилье, под нашим небом, где

встречаются, стыкуются, мчатся космические корабли — с той скоростью и на такой высоте, для отчетливого осознания которых у кого, по чести, достанет воображения!

Только почему же и нас потрясают те же строки, те самые стихи,— точно так же, как потрясали они (а иным и переворачивали жизнь) в уже бесконечно далекие от нас годы? И не стоит разве хотя бы ради одного этого, именно ради этого сохранить старинное слово — *чудо?*

1975

ЧЕЛОВЕК С РЕЙНА

...И этот труд необычайный
Бездушным будет злой укор.

Лермонтов.
«На картину Рембрандта»

Какой контраст с Францией — рядом с Францией! ...Оливковые, повитые мутной мглой волны наскакивали на корабль, раскачивали его, почему-то вызывая в памяти былину о Садко и полузабытые слова «морская пучина».

Мы увидели берег, плоский, точно штрих, проведенный по линейке.

Отделился маяк, красноватые домики выглянули из какой-то особенно литой зелени деревьев.

Стена волнолома заканчивалась родом железной гребенки — через нее и сквозь ее зубья перекатывалась желтая пена моря.

В глубь страны вел водный путь. Глубокий и широкий, как отрог моря, он напрямик перерезал низину дельты.

Тут свободно проходят любые суда. Лес мачт спереди, и лес мачт сзади.

А кругом земля, не берег, а «самая земная земля» — такая где-нибудь в тысяче верст от моря, возле тихой летней реки. Ниточки каналов. Мельницы — одна, две, пять. И повсюду эта особенная зелень полей, лугов, деревьев.

А чтобы еще подчеркнуть разность этой земли и моря — она ниже воды, ты смотришь на нее *сверху вниз.*

Я оглядываюсь назад — сквозь серые слоистые облака отвесно падает одинокий луч, выточенный столб неяр-

кого жемчужного света. Никогда не виданное зрелище, ни с чем не сравнимый пейзаж!

Но рождается странное чувство: *видел* все это. И такую землю, и воду, и мельницы, и этот столб света.

Так вот *откуда* Рембрандт!

На его земле в этот момент я понял, что по-иному, чем когда-либо раньше, откроется мне творчество великого голландца... *Его* страна. Я вступаю в нее.

Полоски хлебов. В этом сыром воздухе, под неярким небом они зелены, густы, пышны, ровны как на подбор.

На небольших луговинах пасется скот. Знаменитый молочный скот. А посмотришь — ничем внешне будто и не примечательны, не велики, не тучны выведенные в течение веков тружениками земли, улучшенные голландскими селекционерами черно-белые коровы...

Тесно вжатые в зеленое кольцо, дымят трубы металлургического завода. Стоит буровая вышка. Именно метрами, квадратными метрами, не гектарами, не километрами, тут надо мерить землю! Каждый метр завоеван вековыми усилиями.

Леса здесь шумят только в исторических воспоминаниях или легендах. Все или почти все деревья этой зеленой равнины посажены человеком. Сосна и тополь на дюнах, купы дубков и буков на возвышенностях.

Я написал это слово и чуть не зачеркнул. «Плоскостность» так необычайна, так разительна для видящего ее в первый раз и так не сравнима ни с чем, что понимаешь особенное имя страны: Недерланд (по-голландски), Нидерланде (по-немецки), Пэи-Ба (по-французски) значит одинаково — низкая, низменная страна.

В ландшафте, где летят вверх лишь башни и стрелы готических колоколен, вдруг начинаешь — как в детском сказочном мирке — считать вереницу десяти-пятнадцатиметровых холмиков на горизонте горной цепочкой. И, должно быть, научишься клясться в кругу семьи, что «сам, своими глазами» наблюдал — подумать только! — стометровый пик!

Это морское дно. Ты едешь по нему. Над твоей головой гуляли волны,— оглянись на реки, каналы — и поймешь где: они подняты над уровнем почвы, они текут *выше головы,* по насыпям — на уровне той «обычной» земли, которая лежала бы здесь... если бы не было это морским дном.

Мы немного опоздали к такому национальному празднику: столетие изгнания моря вот с этих полей.

Начало единоборства человека со стихией уходит в глубь времен. Мельницы... Голландский пейзаж немыслим без них. Их крылья изображали живописцы. Металлические и фаянсовые мельнички продают как броши, как сувениры. Что и когда мололи они? Восемь тысяч мельниц откачивало, гнало прочь морскую воду. Сохранилось тысяча триста. Половина продолжает работать. Остальные — реликвия, в знак благодарной памяти. Пришла новая техника...

На холме-«останце», бывшем острове, музей: черные, изглоданные остатки судов, утонувших века назад, утварь времени Рембрандта. Все это просто взяли с полей. Морское дно!

Единоборство не только с волнами, но и с неотвратимостью геологических сил. Громадная изъедина на карте Нидерландов, залив Зейдер-Зе, с тыла «обошедший» Амстердам,— ничего этого не было до 1282 года. Земля неудержимо оседает. Воды хлынули и на семьсот лет поглотили громадные пространства...

Труженики, кому никакая работа не тяжка, создатели голландской земли («бог создал воду и воздух», *только* воду и воздух, по старой поговорке!), выносящие на себе вечную, жестокую войну с Северным морем,— каковы они?

Стучат желтые громадные деревянные башмаки — кломпы. На пожилых людях, мужчинах и женщинах, старинные, пятисотлетней давности национальные костюмы — времени словно нет. Или толстые, грубые куртки. Дорога уложена клинкерным кирпичом на бетонном основании (неутомимый, муравьиный труд!). По сторонам маленькие домики. Крохотный участочек, цветы, цветы, мостики через квадрат водяных канавок — маленькое подобие больших мостов и каналов.

Ребенок играет один в этом мирке; тесьма, которой он привязан, не дает ему свалиться в воду. Не плачет, привык, терпеливо ждет матери, отца, которые вернутся вечером с работы. И он, как все дети в мире, копается в песке, окружает валом крошечный городок, только молча, не напевая, не бормоча себе под нос: он учится терпению на всю жизнь.

Пища груба. Обильна, сытна, тяжеловата и в лучших ресторанах. Гастрономия, чревоугодничество — это не

для нас. Вечная трубка в зубы, островерхий, под черепицей домик, белые «швы» между красными кирпичами заменяют окраску (как и триста лет назад, как в «Дворике» Питера де Хооха). И неусыпная работа...

Селедку продают прямо на улицах столицы. Люди покупают и едят, держа за голову и хвост, тут же, на улице...

А мечта об островерхом домишке с сеточкой белых швов тоже не часто сбывается, как всякая мечта...

Города — их знаменитые имена учил в детстве, в школе. И представлял себе: сборы, путешествия из города в город — вот как в тот соседний с нашим город, куда все обещал свозить отец: сменятся горы, расстелется степь, увидишь другое море — сто верст!

Но на земле, которая измеряется метрами, а не километрами, от одного города до другого три километра, четыре, ну, десять. Можно вечерком всей семьей сходить в гости, а на велосипеде, любимейшем здесь транспорте, тем более.

Роттердам. Эразм Роттердамский. В Дельфте на площади хочется протереть глаза: этого не может быть, это награвировано шестьсот лет назад! Перед узким и высоким, как посох, собором стоит памятник Гуго де Грооту. Спустись он на мостовую — юрист, законник и философ «Гроций», трактовавший о «естественном праве» знающих себе цену бюргеров в купеческих государствах,— ничему бы он не удивился, завернул бы за угол, чтобы отыскать отцовский дом — тихую пристань в своей бурной и несчастливой жизни...

Имя города носит художник, который по возрасту мог бы прийтись младшим сыном Гроцию. Работал этот художник не долго, оставил не много полотен. Но каждое из них отмечено такой поэтической силой и такой резкой печатью творческого своеобразия, что музеи, владеющие полотнами Вермеера Дельфтского, вот уже три века числят их среди бесценных своих сокровищ.

Волны Зейдер-Зе лижут набережные Амстердама.

Вода и мосты. По числу их «город ста островов», вероятно, на первом месте в мире. Венеция вдвое беднее...

Если просветить рентгеном почву, на которой выстроена фактическая столица Голландии, мы увидели бы сотни тысяч свай. Под королевским дворцом их 13 659. Дома

на сваях. Свайные города. Расчищая центр Роттердама, вытащили из земли сваи общей длиной 2400 километров — «корни» сметенных гитлеровцами улиц, кварталов.

Удивителен облик Амстердама! Современность наслоена на старину.

Вот дом, сжавшийся, вытянутый вверх, как башня,— чтобы только не занимать места,— в каждом этаже одно окно. Внутри спирали лестницы так круты, что ногу надо ставить боком. Мебель подают в окна.

Но нет, это не древность для обозрения, не «дом боярина», как у нас на улице Разина,— тут просто живут люди, получают письма по обычному городскому адресу. А когда выстроен дом? Да лет четыреста назад. Вот странное мостовое сооружение — точь-в-точь как на картине Ван-Гога. Оно отчасти похоже на самолет эпохи Райтов. Но, оказывается, этим разводным механизмом любовался царь Петр Алексеевич, саардамский плотник.

Дом Рембрандта только флагами выделяется среди соседних. А из окон во двор видны те же черепичные крыши, на которые бросал взор и художник, когда, еще богат и славен, он весело возвращался с каким-нибудь дорогим подарком для любимой своей Саскии.

Здесь есть площадь Рембрандта, театр. «Уча детей бережливости, купите копилку»: модель другого, последнего жилья Рембрандта — в гетто. «Ночной дозор» на тарелочках, вазочках, коробочках сигар, печений...

Здесь самый воздух, кажется, пропитан воспоминаниями об этой великой прошлой славе Голландии,— воздух, полный влаги и слабого запаха моря, со смягченными тонами и жемчужным светом.

И вот я стою перед подлинником «Ночного дозора». Как ждал я этой встречи!

Роковая роль, какую он сыграл в судьбе Рембрандта (с него начался быстро углубившийся разлад между художником и самодовольным обществом всесильных бюргеров, хозяев несметно выросших богатств республики торговцев), затем необычайность самой картины — все это придавало, в нашем представлении, холсту амстердамского музея какой-то особенный характер.

Что изображено на нем?

Вооруженные люди еще толпятся; движение захватило только их первые ряды. Но барабанщик выбивает дробь, на что-то указывают протянутые руки. Что предстоит сделать — знают все. Глава, вождь, уже идущий вперед, совершенно спокоен, у него ни тени сомнения в своем *долге*. На ходу он объясняет детали, подробности помощнику, лейтенанту в очень светлой одежде, с бердышом наперевес.

Некоторые фигуры вырваны беспокойным светом, другие погружены во мрак. Не ощущение ли подвига, предчувствие его, готовности к нему разлито над всеми? Может быть, они снова выступают на героическую борьбу за честь и свободу своей родины, своего народа? Но зачем между солдатами девочка или карлица в тяжелом, сверкающем платье?

А сзади темнота, стены, колонны, может быть — сумрак арки, прибитый герб, символ победы, торжества вольного Амстердама...

Сколько делалось попыток все разгадать в этом суровом, неотразимо влекущем волшебстве! Мне не забыть вдохновенных строк Верхарна; они больше, чем критика или искусствоведческий отчет: поэт в них подслушал гения.

...Кловенирсдулен — собрание стрелков, добровольное военное общество; защитники республики бюргеров — сами богатые бюргеры. Капитан Франц Баннинг Кок заказал Рембрандту, в недолгие годы моды на этого художника, к тому же породнившегося со знатью через жену свою, Саскию ван Эйленбюрх, групповой портрет амстердамских стрелков, чтобы повесить у себя в собрании. Cosi fan tutti, как говаривали итальянцы,— так делают все: групповые портреты висели во всех гильдиях и корпорациях.

Создание Рембрандта озадачило добрых соратников капитана Кока. Те, чьи лица художник заставил выглядывать в полутьме из-за чужих спин и рукавов, потрясали кулаками. Пожар, неслышно полыхавший на громадном полотне, не обжег их добродетельных буржуазных сердец. Они хотели того, зачем и сейчас мы ходим в фотографию, ну, допустим, с некоторой дозой льстивой хвалы, что в этом дурного,— на это были такие мастера многочисленные итальянские комплиментщики!

Каждый из них хотел видеть себя, каким сам себе представлялся.

В 1946—1947 годах знаменитый холст претерпел резкое превращение. Реставраторы с величайшим тщанием удалили черноту, накоплявшуюся столетиями в зале общества, где камин топили торфом. Рассеялся таинственный мрак. Непостижимый свет оказался косыми солнечными лучами (значит, это день, «пять часов пополудни», точно определил один искусствовед). Комментаторы строят догадки, что отряд выступает попросту на празднество или даже собирается возвратиться после призовой стрельбы.

Я смотрю на вовсе неожиданную для меня, очень светлую картину. Должно быть, не так легко отказаться от всего, что за свою сознательную жизнь читал и думал о ней. Да и надо ли? Мне сейчас жаль *моего* «Ночного дозора». «Призовая стрельба»? Не верю, не верю этому.

...И вот я нахожу сообщение.

Когда юноша Рембрандт только брался за кисти, слава уже избаловала поэта Йоста ван ден Вонделя. Он немолод, на девятнадцать лет старше Рембрандта. Близка маститость. Голландцы с восторгом слышат свой язык звучащим в поэмах и драмах, где даже за библейскими и легендарными сюжетами легко угадать гимн молодой республике, ее богатству, ее городам, ее борьбе. Никто не замечает риторики, длиннот, утомительно-размеренного «классицизма», стихи кажутся прекрасными, как гекзаметры и холиямбы античных авторов, которых усердно переводит Вондель.

«Гейсбрехт ван Амстел» Вонделя вышел в 1637 году, двумя годами позже начат «Ночной дозор». И вот в 1955 году кропотливый исследователь профессор Хеллинги с изумлением обнаруживает сходство расстановки фигур на картине с героической сценой из трагедии! Итак, все-таки не призовая стрельба! Правда, нет никаких сведений, что сам автор «Гейсбрехта» удостоил заметить, при всей шумной истории картины, с судом и сплетнями, еще одну дань преклонения со стороны еще одного современника.

Он умер девяноста двух лет, через десять лет после Рембрандта. Ему показалась бы не просто невероятной, но и смешной — если бы она вообще могла прийти ему в голову — самая мысль о том, что картины, рисунки

и оттиски с гравировальных досок почти вовсе забытого мельникова сына сочтут вершиной всечеловеческого искусства тогда, когда мало кто, кроме историков литературы, будет знать и помнить стихи его, Вонделя.

Рембрандт Харменс ван Рейн («с Рейна») был сыном мельника из Лейдена-на-Рейне.

А нам труднее всего понять, как могли проглядеть это великое творчество, равнодушно отвернуться от него. Если существует сама собой, с первого взгляда очевидная, внеспорная гениальность в искусстве — то вот она!

Отлично известен берег, от которого «отчалил» Рембрандт. Нас по праву восхищают полотна «караваджистов» — Бабюрена, Хонтхорста (его имени — улица в Амстердаме). Они по-своему претворяли откровения бурного гения, запоздалого брата прежних титанов итальянской живописи, почти столь же мощного, как его тезка (Караваджо тоже звали Микеланджело), лишь более грубого, в течение своей краткой, неистовой жизни искавшего простой правды, не боясь и низменности, жестокости ее.

Но еще до разделения на «свободные провинции» и Фландрию, не вышедшую из-под испанской власти, нидерландские художники заговорили своим, прежде не слыханным языком. Были на совесть сколоченные люди, и горящая страсть, и снег, и празднества-кермессы родной деревни, и эзоповы обиняки, и отвращение к безжалостности, мерзости, карикатурности рабьего быта — у Питера Брейгеля «Мужицкого»; и голубые дороги сына его Яна «Бархатного»; и фарфоровая, почти пальцами ощутимая выпуклость лиц у Иоса ван Клеве; и рынки, тугие, жесткие одежды женщин,— поставь их, они останутся стоять. А потом рубенсовская тучная цветистость и неиссякаемость, крестьянские божества, ходящие в гости к своим односельчанам, радость всякой плоти — у Йорданса, вавилонские башни снеди, натюрморт, вдруг неожиданно протолкавшийся «в первый ряд» (а ведь даже Караваджо лишь однажды решился сделать «героиней» корзину с фруктами!).

То, что мы обозначаем этим взятым у французов словом — «натюрморт», «мертвая натура», голландцы именуют иначе, характернее: тихая, спокойная жизнь — stilleven.

Разве не была другим выражением ее и миниатюра, поднятая на изумляющую высоту еще в начале XV века, во времена Ван-Эйков: живопись становилась ювелирным делом, картина — драгоценностью.

И как же умели изображать это *затишье жизни!* Комнаты и дворики, поля, облака и коровы, лоток тех же селедок, что и теперь можно купить на улицах Амстердама, красный «рытый» бархат, пышный атлас — они спустя столетия продолжают играть всеми переливами, вы чувствуете их ворс, тяжесть их складок, искусство очарованного их роскошью мастера кажется фокусом.

Старуха молитвенно сложила пергаментные короткопалые руки, на бледном морщинистом лице ее покорность: день прошел, господи, хоть бы завтра не стало хуже... И вы никогда не забудете этого огонька свечи, который бессилен разогнать мрак нищей хижины, одинокой старости!

Да, то были замечательные живописцы — Маттиас Стомер, Ян ван Гойен, Питер Хоох, братья Остаде, семья Воуверманов, Поттер, Метсю и многие, многие другие, не говоря уже о Вермеере,— собратья Рембрандта, одни старше, другие младше его. Они столько рассказали о реальном облике своей страны, как никакая другая национальная живопись того времени. Черты быта, богатство и бедность, город и деревня, истории, случившиеся с людьми, круг их интересов, радости, горести.

Корабли плыли к знойным берегам, в портах разгружались дары сказочных островов, даль становилась близью, кидая причудливый отблеск на полотна художников — восточными тканями, крикливым оперением попугая, гримасами обезьян. И сырые ветры свистели над «низменной страной», над ее каналами, мельницами, кладбищами, угрюмыми селениями,— этот тревожный посвист всю жизнь слышал Якоб Рейсдаль...

А Рембрандт,— не был ли и он также зачарован пышностью, ароматами Востока? Да. И в невиданной, удесятеренной мере. Дом на Брестраат он сделал — в быстро промчавшиеся годы своего счастья, взлета и безрассудных трат — хранилищем сокровищ «Тысячи и одной ночи». Женщин, которых он пишет в то время, он одевает в парчу, осыпает сверкающими каменьями, мужчинам расточает пурпур. С карбункулом в фантастиче-

ской чалме, оружием, унизанным самоцветами,— это цари.

Косая завеса дождя, столбы света, три дерева у края плоской равнины, где-то на грани земли крылья мельницы, сумрачный мир и тревога,— ему тоже был знаком рейсдалевский посвист ветра!

Двадцатилетний Рембрандт пишет «Изгнание торгующих из храма». Никаких таинственных теней, очень многоцветно, кропотливая выписанность почти в технике миниатюры: и это он умел! Только Христос уже и тут не бог с иконы, а разгневанный, круглоглазый человек, сжавший кулаки, врезавший морщины над переносицей, и какой накал страстей различно преломляется на лице каждого из торгующих!

Известное нам наследие Рембрандта колоссально: 600 картин, 2000 рисунков, около 300 офортов; остается гадать, сколько еще утрачено. Подчеркивать ли опять, что гений никогда не «гуляка праздный», *это труд*, неустанный, до смерти?

Что приковывает гения к подвигу подвижничества, запрещая всякому человеку разрешенный отдых: Бальзака и Флобера — к каторжной тачке письменного стола, Микеланджело — к «колесу» шатких лесов, где, запрокинутый навзничь, он расписывает, покрывает красками давящие его, как гробовая крышка, пустыни потолка? Отчего умирающий Толстой пишет по одеялу?

Не оттого ли, что жизнь тесна гению, чтобы «выложить» себя, сказать все, что он имеет сказать людям!

Колоссален размах, диапазон творчества Рембрандта. От легендарных царей и волхвов до предельной простоты обиходных сцен, обликов голодного горя, ютящегося у каналов города патрицианского бюргерства. Гражданин страны, он неутомимо запечатлевает ее небо и землю, образы пестрого, горького и единственного своего мира.

И мир давно минувший встает перед нами не «документальным» слепком, а озаренный как бы внутренним, своим, сквозь столетия пронесенным и сбереженным светом, в котором секрет и волшебство Рембрандта, странная власть воскрешения из мертвых.

Предельно скупы, небрежны даже рисунки (пером, иглой), зарисовки. Но отчего с силой наваждения внушают они: вглядись — подробностей так мало именно потому, что сохранены лишь *напоминающие тебе это!*

Что «напоминающие»?! Ведь ты никогда не бывал у ворот старого, деревянного верно, города Вендена, не встречал морильщика крыс или слепца, нашаривающего дверь, в которую постучался его сын, не видывал таких львов, слонов, райских птиц и алхимика, мудреца мага, стоящего у грани чуда, разгадки последних тайн! Но чем больше смотришь, тем непобедимее немыслимое впечатление: тебе знакомо все это. Словно жил *также и той жизнью, ее* потрясающей напряженностью — вместе с художником!

Почти с самого начала Рембрандт искал свой живописный и графический язык. И «рембрандтовское» узнается всеми, сразу — так что кажется даже, оно явилось без предшественников. Да были ли и последователи? Отдаешь себе отчет, как далеко он ушел от своего века, с удивлением опознавая в изображении отраженных в воде хижин линии Ван-Гога. Тогда как-то по-иному начинаешь понимать подпочву и этого, тоже голландского, трагического художника, двумя столетиями отделенного от Рембрандта.

Твердую, связную линию довольно хлопотливо отыскивать у Рембрандта-рисовальщика. Образ вылупливается из паутины штрихов. Он не отлит из бронзы, не высечен резцом — у него сотни зыбких граней, тени и свет, живое тепло, никакой *предел* не вырывает его из окружающего его мира; он — часть мира; целое — это человек в мире.

И хижины Ван-Гога — продолжение полевых увалов, «пузыри земли»...

Вдруг понимаешь: таинственность живописи Рембрандта — это тоже поиски последней простоты. Стремление сказать одно то, что кажется художнику бесконечно важным. Именно оно источает на полотне как бы собственный, внутренний живой свет, переливающийся сказочно от края к краю. Оно и составляет картину.

И тут забываешь о новаторской изощренности этого языка. Слышишь простую речь о *самом главном.*

Нет художника менее скульптурного, чем Рембрандт. Пусть, идя к своей цели, он громоздит пласты красок, и ригористы грозят «схватить за нос» его фигуры. Вещи, фигуры у него влиты, впаяны в поток мира. Ничего не выйдет, если мы захотим сделать с ним опыт, какой так легко удается с другими великими художниками: мыслен-

но разрезать полотно — вот изумительно написанный портал, свидетельство о таком-то памятнике, вот «архистратиг» с пылающим мечом — и можно чуть не забыть про «целое» картины, про сатану, которого он поражает, чуть не обойти его кругом с его архангельскими крыльями.

Человек в мире... Какой это был мир? Кровью, заговорами и казнями кончаются религиозные распри «арминиан» и «гомаристов». Борьба за власть, алчба богатства, ярость и гнев спорят о божественном предопределении, о благодати и толкуют книгу, написанную тысячелетия назад. «Наместник провинции», принц Нассау-Оранский, хочет оружием отстоять свое первенство против патрициев генеральных штатов. Амстердам и народ его — карта в большой игре. А в дне пути, во Фландрии и южном Брабанте, все еще стоят испанские солдаты...

В тревожном, зыбком, грозном мире художник возвещает тысячами своих рисунков, офортов, картин: есть беспредельная ценность. Человек. *Ты.* Жизнь человека.

И жизнь — это диво. Всегда диво. Самое дивное изо всех див. У нищих — как у принцев. У красавиц и у... Вот женщина лежит на громадной, пышной кровати. Ни пропорций Венеры, ни прелести Мадонны, ни смазливости хорошенькой горожанки. Обнаженный, даже с зеленоватыми тенями живот немолодой, рожавшей, матери. При чем здесь Даная, юная девица, запертая в башню аргосским царем, хотя и названо полотно ее именем? Но как написано это тело, эта женская плоть,— чем дольше смотришь, тем безответнее попадаешь в плен ее обаяния! Может быть, вообще больше не существует второго такого изображения, и после него звякнут фарфором знаменитейшие «ню»? И с абсолютной ясностью видишь, что на этой картине написано еще то, чего как будто совсем нельзя написать: право женщины, и *этой* женщины, на золотой дождь, на встречу с богом Зевсом — написана Даная без всяких атрибутов ее!

Франц Гальс — неистощимый рассказчик. Вереницы его портретов — это тома арабесок, новелл, грустных, смешных, необычайных. Сюжеты Рембрандта ветхи. Притча о виноградарях. Царевич, расстающийся с другом. Молоденькая, похожая на куколку жена, которая находит в себе силу и смелость разоблачить всесильного зло-

дея,— ему безгранично доверял ее ослепленный властью хмурый муж, в ней, в жене, видевший, верно, до того только игрушку. Блудный сын. Мифы. Библия. Но Аман ли это, осужденный Ассуром, или, как думают теперь, Урия, посланный на гибель Давидом,— это человек, уходящий на смерть.

Говорят, Рембрандт до времени состарился, одряхлел, полуослеп,— не знаю, творчество его представляет феноменальный пример восходящей до последнего часа линии. Печатью ни с чем не сравнимой, хочется сказать — толстовской простоты, изобразительной силы, *мудрости жизненного итога* отмечены последние, изумительные портреты. Ни гримас, ни аффектов; кажется, нет и эмоций. В сущности, неподвижные лица. Ни крика, ни шепота. Безмолвие. Он не рассказывает ничего. Он рассказывает все. Это люди, отдающие себе отчет в целой жизни. Что же кругом меня? И что я? Что значило выпавшее мне?

Старики, вынесшие недобрую тяжесть мира. Каменная тяжесть и громадность прямо к нам обращенных в дерзком и страшном ракурсе кулаков и ступней трупа на сохранившихся остатках обгоревшей гениальной «второй анатомии» («Анатомии доктора Деймана»).

Но и здесь не скажешь: «Вот жалкая руина человека». Люди Рембрандта — великаны. Великаны духа. Они могут быть потрясены, умерщвлены, но не сломлены. Сила его поздних полотен — героическая сила.

...Мне чудится — я слышу настойчивую, беззвучную речь. И я все равно знал бы говорящего (будто пожил и его жизнью вместе с ним — со спутником, с товарищем), как редко кого мы знаем из людей минувшего, если бы даже он ничего прямо не рассказал о себе.

Но он рассказал. С беспощадной правдивостью он раскрывал и показывал себя. Он показывал себя светящимся радостью, с искрометным вином в высоко поднятом бокале и любимой женщиной на коленях. И как постепенно врезались морщины и щеки становились одутловатыми. И мужиковатость, пусть иногда курносость, какую-то простецкость лица, почернелого, точно обожженного (кажется, под самый конец он начал выпивать). Глаза — точно рана, подчас в них хмурая, непреклонная жесткость и неугасимая тревога. Он не льстит и тут: небольшие, круглые, он даже иногда придает им птичью сближенность... Когда-то он родился на мельнице, давно

пришлось скинуть заемный маскарад мишурной роскоши...

Он изведал взлеты и падения, владел сокровищами, а оставил после смерти 4 октября 1669 года залатанную фуфайку и рабочие инструменты, он испил из кубка быстролетной славы и был оскорблен горчайшим для живого сердца позором и унижением, через жизнь его прошла любовь безоблачная и прошла любовь преданная, деятельная, он пережил самых близких и встретил леденящее одиночество — художник и гражданин своей страны, тот, кого четвертое столетие зовут просто именем, без фамилии, в отличие от других собратьев,— Рембрандт, Человек.

1957

На горах — свобода!

РОМАН ОДНОЙ ЖИЗНИ

Из всех человеческих интересов выше всех стояли для него научные интересы... Остальные были им подчинены, материальные играли для него наименьшую роль.

А. Гумбольдт о себе

Шестьсот тридцать шесть книг — исследований, трактатов, увесистых томов по нескольку сот страниц.

Книги по геологии, географии, горному делу, метеорологии, астрономии, физике, химии, физиологии, зоологии, сравнительной анатомии, археологии, этнографии, истории, политической экономии. Книги о Вселенной, о соляных источниках и о флоре лишайников на скалах.

Весь круг знаний о земле, о мире. Целая библиотека.

Сколько ученых создавало ее? Странный вопрос! Кто пишет библиотеки? Десять... двадцать авторов...

У этих книг *один автор.*

Это почти беспримерный памятник человеческого труда.

Биографы писали об этом человеке:

«Остается изумительным и непонятным, как он мог вместить такую массу знаний и не быть ими раздавленным».

«Это один из тех гигантов, которых иногда посылает провидение, чтобы дать могучий толчок человечеству...»

Судьба Александра Гумбольдта необычайна. Необычайны и превращения этой судьбы.

Он достиг славы, какая вряд ли при жизни выпадала на долю еще кому-либо из ученых. В честь его выбивали медали. В прозаических и стихотворных одах высказывалась уверенность, что солнце Гумбольдта будет вечно сиять на небе науки и человеческой культуры. Имя его носят горы в трех частях света, озеро и река в Америке, ледник в Гренландии, холодное течение у берегов Перу, несколько видов растений, минерал и кратер на Луне.

Над его трехтомным жизнеописанием, «первой попыткой» обзора того, что он сделал, трудились одиннадцать крупнейших специалистов, потому что, как огово-

рено в предисловии, никакому отдельному человеку не под силу обнять деятельность универсального гения.

Он умер. Отзвучали торжества, которыми было отмечено столетие со дня его рождения. И, почти следом, ничего не осталось от всей этой гремящей славы.

Книги Гумбольдта пылились в хранилищах; их брали в руки лишь сочинители весьма ученых научно-исторических трудов. Трехтомное жизнеописание оказалось единственным; в последующие полвека о Гумбольдте рассказывали «для юношества» только несколько тощих компиляций.

И это внезапное, полное забвение не менее удивительно, чем прижизненные фанфары. Точно наука, для которой работал Гумбольдт и где, как полагали, след его не сотрут века, отталкивала память о нем, о его работе и обо всех его открытиях. Гумбольдт? Ах, да: наивные времена естествознания... Так, с усилием вспоминали про того, кто недавно именовался «вторым Колумбом» и — еще пышнее — «Аристотелем девятнадцатого столетия».

Один из наиболее кичливых представителей этой позднейшей науки однажды, рассуждая о Дарвине, о замечательнейших натуралистах девятнадцатого века из дарвиновской плеяды, об их мыслях, выводах, их понимании цели знания, отрубил сплеча: «Хлам, которому место в окне старьевщика!» Еще заносчивее он повторил бы свою издевку по поводу науки Гумбольдта, если бы она не была для него вообще пустым звуком.

Прошли годы. Пустым звуком стало имя надменного судьи, вынесшего этот глумливый приговор.

Поднялась новая наука, наука небывалого могущества и неведомой еще смелости. Наука наших дней. Она оглянулась на все лучшее, что добыто до нее человеческим гением, и приняла это как наследница.

Бережно принимает она и дело Гумбольдта. Уже в далеком, более чем столетнем отдалении видится нам его образ. Сложен путь Гумбольдта. Дивились празднику его жизни — долго оставались слепы к трагедии ее. Немало было у него слабостей — и чисто человеческих, и в его работе ученого. Но обладал он вместе с тем силой исполина.

Приезжающий в Берлин, столицу Германской Демократической Республики, обязательно слышит имя Гум-

больдта: «Гумбольдт-университет» на Унтер-ден-Линден. И узнает о двойной звезде Гумбольдтов — о двух великих немцах, братьях Вильгельме и Александре.

Это имя — гордость его родины.

К столетию со дня смерти Александра на многих языках стали снова выходить (после векового перерыва!) книги его, биографии, переписка, исследования — взвешивалось наследство, оставленное им человечеству. Новая «гумбольдтиана», можно думать,— окончательный рубеж в посмертной его судьбе.

ТРИ ПРИНЦА И ГЕРЦОГ

Младенец лежал в колыбели. В белых с голубым оборочках и дорогих кружевах он должен был походить на ангелочка; впрочем, родители избегали сентиментальных сравнений.

Роскошь дома вообще мало соответствовала скромной фамилии обитателей. Она не вызывала в памяти ни гордых замков, ни славного ряда предков — просто кто-то из этих предков звался, должно быть, Гумберт.

Гумбольдты вели свой бюргерский, потом чиновничий род из Нижней Померании. Дедушки и прадедушки, насколько сохранились о них известия, предпочитали, однако, устраиваться при дворах — все равно каких. И занимали по большей части довольно незавидные должности мелких советников, но зато придворных советников, советников при «особах» — все равно каких: маркграфах, властителях крошечных герцогств, в случае особенной удачи — при прусском короле.

Гумбольдт-отец сперва служил в драгунах у генерала Платена. Он служил отлично, на нем молодецки сидел мундир, и у него все-таки был уже дворянский герб — дерево, три серебряные звезды и рыцарь с поднятым мечом, осененный орлиными крыльями. По крайней мере, одна из этих серебряных звезд, несомненно, оказалась счастливой: он, вполне в традициях рода, попал в адъютанты к герцогу Брауншвейгскому.

Шла Семилетняя война. Адъютант скакал из ставки герцога в ставку Фридриха II. Ширококостные прусские крестьяне, согнанные из обезлюдевших деревень, делали артикулы в три темпа и, с рубцами от шпицрутенов на спине, маршировали, не сгибая колен, выпучив глаза и

потряхивая косичками, под дула пушек. Это было время, когда «великий король» носил в кармане склянку с ядом и признавался начальнику штаба, что самое удивительное — это их, короля и генералов, безопасность посреди собственного войска.

Победы Фридриха над саксонцами и австрийцами сменились страшными разгромами во встречах с русскими. За Гросс-Егерсдорфом и Кунерсдорфом (где из 48-тысячного Фридрихова войска осталось едва три тысячи) последовал Берлин: русская армия вступила в прусскую столицу.

Смерть Елизаветы и воцарение в Петербурге голштинца Петра III выручили Фридриха.

Александр Георг Гумбольдт скинул свой мундир, который не принес ему ни славы, ни титула, и вышел в отставку со скромным чином майора.

Но его серебряная звезда не угасла. В 1766 году отставной майор сделал наиболее удачный шаг в своей жизни. Он был весел, остроумен, блестящ, теперь даже с придворным лоском, в сущности мягкий и добрый человек, в 46 лет еще красивый и по-военному статный,— его выделила из толпы претендентов на ее руку вдова сановника фон Гольведе. Вдова происходила из знатного рода фон Коломбов. У нее был сын — мальчик с титулом барона фон Гольведе. А дом в Берлине входил именно в ее приданое, так же как поместье Рингенвальде и замок Тегель.

Женитьба сразу изменила положение майора. Он получил теперь возможность собирать у себя, в Тегеле, избранное общество, а в промежутках перестраивать этот замок со вкусом, об утрате которого, как утверждала потом в некрологе «Фоссише Цейтунг», не перестанет скорбеть человечество.

В 1769 году фрау Гумбольдт, родившая уже майору два года назад сына Вильгельма, разрешилась от бремени вторым мальчиком. Это произошло 14 сентября, в берлинском доме, Егерштрассе, 22. Новорожденного назвали Фридрихом Вильгельмом Генрихом Александром. Его крестил придворный проповедник Зак, и в книге расписались как восприемники наследный принц прусский Фридрих Вильгельм, герцог Фердинанд Брауншвейгский, еще два принца, три министра, два генерал-лейтенанта и пять дам высшего света, графинь и жен министров.

Как обычно, во время семейной трапезы восприемники стали предсказывать судьбу младенца, подобно феям в сказке о «Спящей царевне».

— Он покажет врагам, что такое пруссак. За это я поднимаю бокал! — провозгласил наследный принц королевства.

— Он укрепит трон и, не сомневаюсь, умножит богатства своих родителей,— добавил просто принц, почтительно склоняя голову в сторону будущего короля.

— Он будет фельдмаршал! — предсказал герцог Брауншвейгский и окинул снисходительным взглядом майора-отца.

— Он будет похож на вас, майор,— утешительно шепнула придворная дама, немного захмелев.— Я так и вижу его в зале прекрасного замка, в вихре танца, с бантом в косичке и алмазными пряжками на туфлях. Он будет счастлив: он женится на княгине.

ЗАМОК ТЕГЕЛЬ

Замок Тегель отделяют от Берлина два часа езды в коляске по сосновому лесу. Река Гавель тут расширяется, она лениво сочится в камышах среди бесчисленных островков, над которыми носятся весной и осенью тучи уток. На дальнем берегу — городок Шпандау и крепость.

В Тегеле никогда не переводятся гости. Даже наследный принц время от времени наезжает сюда. Майору Гумбольдту есть перед кем погордиться своей новинкой — шелководством или архитектурными предприятиями, новой трубкой и неиссякаемым запасом старых походных историй. Он человек живой, общительный, очень деятельный, многие вещи в мире могли бы заинтересовать его. Но... этот придворный воздух, аромат лести, мужских духов, благосклонное «ты» из принцевых уст, бряцание шпор... Нет, все-таки он, наследник полудюжины поколений гофратов, не может без этого...

А хозяйка замка суха и подтянута. Очень решительна, с твердой и властной рукой. Майор побаивался шелеста строгих, закрытых платьев своей супруги. Ее представление о долге сходилось с тем, которое развивал тайный советник Кант с кафедры университета в Кёнигсберге. И когда она высказывалась на эту тему, ее супругу казалось, что перед ним цитируют строевой устав.

«Долгом» было и воспитание детей. Конечно, оно должно быть практичным и целесообразным. Следовало привить детям понимание того места в жизни, которое предназначено им по рождению и придворным связям. Танцы, фехтование, искусство легкой болтовни — то, что стали обозначать французским словом «козери». И, конечно, обучение всему необходимому, чтобы человек высокого положения в обществе никогда не ударил в грязь лицом.

Если это «долг», то — надо отдать справедливость суровой жене майора — долг этот она выполнит лучшим образом. У детей будут отличные учителя, сколько бы они ни стоили, педагоги, которые разберутся в том, что соответствует «духу века».

Только что же именно ему соответствует, этому «духу»?

Не так легко уловить его сущность. Нечто странное творилось с ним.

Добрый король, любивший игру на флейте, французскую кухню и беседы о верховных правах разума за ужином в своем загородном замке Сан-Суси, требовал в указах, чтобы юношество воспитывалось по-христиански, в духе истинного страха божия. Король Фридрих, говоря по правде, весьма подозрительно поглядывал на немецкие университеты, мудрствовавшие о вещах, бесполезных для управления Пруссией и выправки ее солдат. Французского же вольнодумного вольтерьянства не выносил; недаром он выгнал вон самого Вольтера, которого неосторожно пригласил было к себе, как истинно просвещенный монарх.

Но «дух века», очевидно, вышел из подчинения шестидесятилетнему королю.

Пруссия была мала, вокруг раскинулся широкий мир.

Там, за Пиренеями, дым костров инквизиции еще поднимался к небу Севильи. А во Франции уже явно колебался древний трон Бурбонов, на который успели взойти шестнадцать Людовиков. И свободомыслие носилось в клубах кнастера на немецких студенческих пирушках, проникало даже в берлинские салоны...

Салонные краснобаи подтрунивали над уютной Вольфовой метафизикой, «согласно которой кошки были созданы для того, чтобы пожирать мышей, мыши, чтобы быть пожираемыми кошками, а вся природа, чтобы доказывать

мудрость творца»[1]. Молодежь восхищалась «Гамбургской драматургией» Лессинга, уничтожавшей надутую торжественность псевдоклассического искусства, и гениальными дерзостями молодого Гете. Повсюду ссылались на Руссо. Все заговорили о «естественном воспитании».

Базедов, внезапно ставший знаменитым, основал в Дессау целый «Филантропин» — «школу любви к человечеству», где пансионерам прививалась мудрость «Эмиля»[2], помноженная на правила поведения немецкого бюргера.

В Потсдаме остановился полк принца прусского. Молодой священник произносил во время церковных служб красноречивые проповеди. Глаза его горели. Он говорил об обязанностях не только воина, но и человека. С ним искали знакомства. Потсдамская знать вступала с ним в беседы. Его представили майору Гумбольдту.

— Как вы смотрите на филантропические идеи воспитания юношества? — спросил майор.

— О, Базедов! — восторженно сказал проповедник.— Бессмертная душа человека склонна к добру и все же подобна воску или чистой доске. Учитель пишет на ней. От него зависит образовать умы, готовые к великим делам. От него зависит уничтожить зло и жестокость, отягощающие мир!

Так проповедник полка принца прусского Иоахим Генрих Кампе стал воспитателем в Тегеле. Он сажал деревья и, прогуливаясь по аллеям сада, подобно древним философам-перипатетикам, рассказывал троим своим питомцам — юноше фон Гольведе и двум Гумбольдтам, из которых одному было три с половиной года, а другому полтора,— про семь чудес света и про бесстрашных путешественников. Вечерами у коптящей свечи в своей одинокой комнате учитель писал о Робинзоне — более чувствительном и сладкоречивом, чем у Дефо, близком к прекрасной природе и нашедшем потерянный рай.

Он писал и думал, что с момента, как будет отпечатана его книга, тщетны станут усилия деспотизма подавить разум. Глаза его пылали. В чужом доме при свете чужой свечи он проповедовал мир между волками и ов-

---

[1] Ф. Энгельс. Диалектика природы.— К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 350.

[2] В «Эмиле, или О воспитании» Руссо высказал свои идеи о естественном воспитании.

цами, твердо уверенный, что слова его приведут в движение все сердца — в том числе и сердца хозяев Тегеля.

Его уволили из замка раньше чем через шесть месяцев.

Кунт был очень бедный и очень молодой человек. И университет он бросил из-за бедности. Но зато он отличался примерным трудолюбием и благонравием. И это украшало его: всем было очевидно, что он подает надежды.

Кунт понравился в Тегеле больше других воспитателей.

Вскоре он стал не только воспитателем.

Когда залы Тегеля наполняли гости, аккуратный Кунт с папкой под мышкой докладывал генералам и графам результаты своих статистических изысканий о народном богатстве, таможнях и ремеслах. Все поражались ясностью воззрений щуплого и прилежного молодого человека. Он сторонник снижения тарифов и свободной торговли. Кроме того, он также поклонник Руссо.

— Аптекарь! — благосклонно шутит общество в Тегеле. Так оно называет ученых.

Вбегает голубоглазый мальчик, его руки полны цветов, камней и раковин.

— А вот и маленький аптекарь!

Это, конечно, шутка. Но мать замечает чуть ироническое сочувствие к себе в тоне, каким произносят эту кличку, приставшую к Александру. Замечает и мальчик.

— Я не буду аптекарем, я хочу в солдаты,— говорит он и бросает раковины.

Но после незаметно он снова соберет все эти пестрые скорлупки и тщательно разложит их по ящикам с этикетками.

Откуда это у него? Мальчик ничего не сумел бы ответить. Кунт только с почтительным протестом поднял бы свои редкие рыжеватые брови: ради бога, при чем тут он?! Знатные господа в расшитых мундирах и плотно обтягивающих ляжки лосинах могли лишь улыбаться с благосклонной и снисходительной иронией.

А между тем это был тоже он, «дух века». «Дух века» неисповедимыми для родителей маленького Александра путями коснулся мальчика.

Украшенные короной папки аккуратного Кунта вовсе не содержали сведений об очень важных вещах —

например, о том, что купцам и фабрикантам все теснее становилось в старой Европе. Мануфактуры, ситцевые и суконные фабрики, мастерские кружев, шляп и платьев, бумажные мельницы на реках, заведения, где выдували стекла, громадные печи, где уголь обжигался в кокс и где выплавлялся чугун, а также новые заводы, где строились и собирались недавно придуманные машины — ткацкая, прядильная, паровая,— все эти предприятия множились от года к году. Рабочие жили рядом в казармах, похожих на тюрьмы. Вместе с мужчинами по пятнадцати часов в сутки работали женщины, им платили половину. Детей приучали к станку с шести лет. Считалось, что только так они научатся к четырнадцати работать как следует. Детей сгоняли в детские работные дома, «киндерхаузы»; там они спали впятером на одной кровати. Добрый король Фридрих хотел даже продать купцам города Гиршберга тысячу детей и очень огорчился, что не удалось сойтись в цене.

Детскими ручонками и каторжным трудом родителей создавались груды товаров. Нужны были рынки, нужны были новые земли, обильные дешевым сырьем. Ничьи земли оставались еще в тропиках. Они богаты щедрыми дарами роскошной природы — копрой, пряностями; там мог расти хлопок и сахарный тростник, иногда находили золотые россыпи; беззащитные туземцы были даровой рабской силой.

Отважные капитаны в поисках ничьих земель бороздили моря на судах, охотно снаряжаемых правительствами и торговыми компаниями. Капитаны привозили раковины южного океана, трюмы, набитые кокосами и плодами хлебного дерева, грубо вырубленные фигурки богов и романтику дальних тропических путешествий.

Почти повторяя времена Колумба, стремительно раздвигались горизонты мира. Шла молва о сказочных плаваниях Кука. Поселенцы в Северной Америке двигались на Запад, в страну прерий, бизонов и индийских вигвамов. Доносились неясные слухи о поднявшихся до неба снежных абиссинских горах, где скрыты таинственные истоки Нила, оттуда спускаются, звеня ожерельями, черные курчавые и воинственные люди, молящиеся Христу в храмах, похожих на кумирни.

И география становилась царицей наук.

Так обстояло дело в те времена, когда голубоглазый мальчишка Александр бегал по залам замка.

Тегель со своими старинными обомшелыми башнями, «холмы в виноградниках, которые казались горами», лесничество с пятьюстами пород деревьев... Природа была близка, она меняла цвета, остро пахла молодой зеленью весной, рдела осенним багрянцем. А фантазия мальчика еще преображала и украшала этот маленький мир.

Он прислушивался к разговорам. Да, даже дворяне, презиравшие «аптекарей», говорили о цейлонском чае. Однажды ему рассказали об испанском завоевателе пятнадцатого столетия Васко Нуньесе Бальбоа, первым увидевшем Тихий океан. Тогда, вспоминает он, сильнейшее «движение души» как бы потрясло его. Мальчик, выросший среди сосен севера, он видел во сне корабли, заоблачные хребты Анд и звезды, сияющие над южными морями.

Со страниц дедовской Библии на него смотрели пальмы с листьями, как веера, и ливанские кедры. Однажды в Берлинском ботаническом саду он долго простоял перед драконовым деревом. Оно напомнило ему другое, гигантское древнее драконово дерево на далеком острове Тенерифе, изображения которого он жадно искал в книгах путешественников.

Дома, в Тегеле, его часто заставали в комнате, увешанной географическими картами. Он рассматривал очертания двух морей, окруженных сушей. Одно наполовину, а другое целиком брошено в пески среднеазиатских пустынь. Два голубых просвета на серо-желтой краске континента, моря среди земли, как озеро в Тегеле! Точно окна, распахнутые в бездонно глубокое, так что кружится голова, прошлое, где рождались и старились материки! Мальчик вслух повторял их имена, прислушиваясь к звукам: Каспий, Арал. Последние осколки великого моря, заливавшего низменности Азии!

Он в самом деле чувствовал некую «близкую связь с самыми отдаленными местностями и вещами». Мир, сказочно сверкающий, опоясал землю его детства, как река Океан землю древних географов.

Вспоминая позднее о своем тогдашнем состоянии, он постоянно характеризует его как «тайное, но непобедимое стремление», как «томление» и еще сильнее — как «требовательную жажду дали» («ein Drang, ein sehnliches Verlangen»). Это было то же, что и стремление в даль, «Sehnsucht» романтиков, то, о чем позднее написал Баратынский:

Даль, невеста за фатою,
Даль, таинственная даль...

В Тегеле, как подобает старинному замку, обитали и духи. В первой части «Фауста» лицо, казнимое Гете под смешной и непристойной кличкой «Проктофантасмист», возмущается: «Мы так умны, а в Тегеле — нечисто... Исчезните!.. Неслыханно!»

Гете тоже бывал в Тегеле. Майским днем 1778 года он, идя пешком в Потсдам, пообедал у Гумбольдтов. Дети сидели у него на коленях.

В 1779 году умер майор Гумбольдт. Без него Тегель потускнел. В замок теперь изредка наезжали лишь дамы не первой молодости. Одна из них (фон Брист) описала жизнь в доме Гумбольдтов. Госпожа Гумбольдт за десять лет не изменила прически. Ее лицо казалось замороженным. Ее привязанности и антипатии были так же непоколебимы, как и спокойствие.

Между тем Кунт устроил в Тегеле и в Берлине, на Егерштрассе, нечто вроде гимназии на дому. Были привлечены не просто учителя, но известные ученые. Гейм, медик, приходил из Шпандау объяснять братьям двадцать четыре класса ботанической системы Линнея. Фишер давал уроки математики, а заодно латинского и греческого.

Александр рос хрупким, болезненным ребенком, чуть не половина его детства прошла в постели. Мать и Кунт считали его тугодумом. Но фрау фон Брист видела в нем «кокетливого мальчишку». «Он напоминает своего отца»; по сравнению с ним брат Вильгельм «при всей своей учености скорее просто педант».

Сам Вильгельм подтверждал: «Вообще люди не знают его, думая, что я превосхожу его талантом и знаниями. Таланта у него гораздо больше, а знаний столько же, только в других областях».

Никто не давал себе особенного труда вникать во вкусы ребенка-«аптекаря». Любовь матери суха и рассудочна — это «долг». Впрочем, и дети не склонны к порывам нежности. Приложившись к ручке женщины с каменным лицом, постепенно высыхавшей в своих закрытых платьях, они торопились скорее убежать в парк.

И все-таки эта черствая женщина по-своему любила их. Позднее, много болея, она не отпускала их далеко от себя. Но они уже воспринимали это как досадную помеху. В 1796 году, извещенный о ее смерти, Александр

писал геологу Фрейеслебену: «Смерть ее не огорчила меня — скорее успокоила. Ты знаешь, что мое сердце не может особенно огорчаться этой потерей: мы всегда были чужды друг другу».

Детей обучали, очень мало считаясь с наклонностями младшего.

К восемнадцати годам его характер сложился. Внешне это был белокурый юноша, очень миловидный. Но люди внимательные замечали одну особенность в его ясных голубых глазах: они скорее отражали мир, чем позволяли заглянуть внутрь.

Его обучали искусству — и он охотно изучал искусство, разбирался в нем так же хорошо и легко, как в анатомии мышц лягушки. Неплохо рисовал: выставил, шестнадцатилетним, в Берлине эскиз «Дружба плачет над пеплом почившего». Только музыку, сходясь с братом, называл «общественным бедствием». Любезная улыбка сглаживала все острые углы житейских отношений.

Шумные и многочисленные гости майора, редкие и говорящие вполголоса гости матери думали одинаково, глядя на Александра: «Какое счастливое детство!»

А что думал он сам? Он был скуп на признания.

«Мою биографию ищите в моих работах»,— повторял он потом всю жизнь. Это не только скромная гордость исследователя, но и нежелание пускать «за кулисы» своей улыбки.

Но кулисы кое-когда и открывались.

Двадцатидвухлетний юноша писал Фрейеслебену: «Холмы в виноградниках... рощи, луга, изумительные виды на живописное озеро... Прибавьте к этому радушие и дух радостной жизни, царившие в замке,— и вы вдвойне поразитесь, когда я вам скажу, какие тоскливые ощущения пробуждает во мне это место каждый раз, как я его посещаю... Здесь, в Тегеле, я провел большую часть этой печальной жизни — среди людей, которые меня любили, желали мне добра и с которыми я не сходился ни в одном впечатлении,— тягостно одинокий, вечно принуждая себя к притворству и жертвам...»

Да в письме к своей берлинской подруге Генриэтте Герц, «прекрасной Генриэтте», зашифрованном еврейским языком, он еще раз решился назвать Тегель замком скуки.

«Печальная жизнь»! Странно, неожиданно...

Бранденбургские ворота в Берлине — два столба, увенчанные коронами. Вымуштрованные часовые, деревянные гиганты с ружьями на плече, сторожили их.

Так было прежде, так оставалось и теперь.

Но сколько перемен, едва проедешь ворота, в столице!

Король Фридрих прожил достаточно долго в своем «беззаботном замке», в своем Сан-Суси (многие в Берлине почти открыто говорили, что король вообще зажился), чтобы перед смертью убедиться в крахе той «системы», которую он насаждал в Пруссии. От «старого Фрица» осталась в назидание потомкам шпага, хранившаяся до тех пор, пока Наполеон не увез ее в Париж.

Братья Гумбольдты, вовсе переселившиеся из Тегеля на Егерштрассе, с изумлением встречали «Под липами» толпы женщин, накрашенных и разряженных, как парижские кокотки. Женщины шли слушать модных проповедников — реформата Зака в соборе, лютеранского пастора Цельнера в Мариинской кирке и особенно французов-католиков — Ансиллона, Эмана, Дюпаке, Реклама, черные сутаны которых собирали весь высший свет в костеле.

Чрезвычайно размножились пивные. Там было шумно. Братьям указывали места сборов «истинно немецких» кружков. Лощеные юнкеры чокались кружками с бюргерами, и налитые пивом животы колыхались, когда луженые глотки хрипло изрыгали: «Хох!»

Неслыханная армия чиновников, студенты, вдохновенные куклы и духовидцы с Унтер-ден-Линден, филантропы, иллюминаты, поклонники Лессинга и Руссо, патриоты плац-парадов...

Где был истинный Берлин? Кунт сказал:

— Кто не видел площади Жандармов и мадам Герц — не видел Берлина.

— Мадам Герц,— объяснил он,— еврейка. Но все блестящее, что есть сейчас в Берлине, собирается у нее.

Каковы бы ни были недостатки воспитания обоих Гумбольдтов, им никогда не прививали расистских взглядов. Через много лет, в старости, подводя итог своему жизненному опыту, Александр напишет человечные и мудрые слова: «На свете нет высших и низших народов», «Нет человеческих племен, более благородных, чем другие». Брат был согласен с ним.

Они охотно пошли к Герцам.

— Мы — рыцари, несущие орифламмы высшей духовной жизни,— торжественно объявил братьям Герц-супруг.

Они встретили здесь изящных философов и литераторов, гордившихся тонкостью стиля. Тут были Мендельсоны — Иосиф и Натан, Давид Фридлендер и Бистер, столп «Берлинского ежемесячника», поставившего себе задачей «искоренение гибельного невежества». Целый цветник девушек украшал комнаты. Генриэтта Мендельсон и ее сестра Доротея, жена критика и писателя-романтика Шлегеля. «Сивилла» Рахиль, «женщина аристотелевского ума», вся жизнь которой оказалась так тесно связанной с судьбами немецкой литературы: это ей, пятидесятилетней, посвятит Гейне «Лирическое интермеццо», и Гюго прославит ее в «Orientales». Наконец сама хозяйка, Генриэтта Герц, «красивейшая женщина Берлина», с сестрой Бренной... Настоящие женщины Ренессанса, знающие решительно все, помощницы и руководительницы мужчин!

Пожилой человек держал речь:

— Немецкий народ переживает великое и грозное время. Рождается эра, которой будут удивляться века. Разум и могучее чувство единения всех сердец озарят ее. Но не критиканские упражнения Николаи и его друзей из «Всеобщей немецкой библиотеки», осмеивающих все на свете, подготовляют эту эру! Их философия суха, как песчаная почва, на которой растут сосны Тиргартена. Мы должны поклоняться святыням. Прав был господин фон Мильвиц, когда бросил в огонь дорогой экземпляр Гольбаховой «Системы природы», принадлежащий его другу, и поставил взамен на полку «Естественную религию» Реймаруса!

Пожилой человек был Энгель — «глубокомыслием подобный Платону, а красноречием — Цицерону». Кружок Герцев был либерален, но в меру. Тут приходили в ужас от сочинений французских материалистов и мечтали о «естественной религии». Тут ожесточенно воевали также с «Всеобщей немецкой библиотекой», которую издавал Николаи, выходец из низов. Его писания против духовидцев находили дерзкими. А когда Николаи пародировал сентиментальность гетевского «Вертера», смеялись над отсутствием у него вкуса... Николаи не уступал ни в чем; всю

жизнь он оставался бедняком. И Гете собственной рукой казнил его: это его он вывел под кличкой «Проктофантасмист», вложивши ему в уста комическую угрозу «укротить чертей и поэтов».

Давид Фридлендер встал и добавил:

— Бюрократия торжествует в Берлине. Меня не беспокоит, когда камердамы во дворце говорят «гутен морген» вместо «бонжур», как они говорили при покойном короле. Но указы о двойном величии религии и цензуры нельзя признать образцом справедливости. И я не могу аплодировать Зильбершлагу, проповеднику церкви Святой Троицы, когда он всходит на трибуну Академии наук, чтобы объяснить, что солнце и есть то адское пламя, на котором дьявол поджаривает безбожников, естествоиспытателей и деистов.

— Друзья, Энгель, и ты, Давид! — сказала прекрасная Генриэтта.— Оставьте Николаи соперничать с мумиями, найденными у египетских пирамид, а Зильбершлага предаваться приятным воспоминаниям о костре, где сгорел Джордано Бруно и от которого едва ушел Галилей. Мы молоды. Молода Германия. Что значит Берлин против всей страны? Заря занялась в Кёнигсберге, где учит Кант, и в Иене и Веймаре, где раздаются голоса Шиллера и Гете!..

И общество хором продекламировало монолог Позы из «Дон Карлоса».

Затем пошли в кабинет смотреть физические опыты. Вечер был посвящен лекции о громоотводе, установленном в Тегеле.

У Герцев царил культ чувствительности. Изъяснялись языком восторженным и высокопарным. Отсутствующие слали бесконечные письма на многих языках, следя, чтобы обязательное «Ты» было написано с прописной буквы.

Оба брата проделали весь установленный ритуал влюбленности, разумеется, прежде всего избрав дамой сердца хозяйку. После горячих споров и декламаций танцевали. Интимные излияния переполненных сердец продолжались в уединенных беседах часами.

Вильгельм в особенности чувствовал себя как рыба в воде в этой женской атмосфере жеманного красноречия. Александр уже тогда был таким, каким запомнила его несколько лет спустя фрау Ильген: «красивым малым, танцором, натуралистом, дипломатом, острым на язык,

постоянно, однако, занятым электрическими машинами и гальваническими столбами».

Он подтрунивал над братом. Тот сердито заявлял: «Мы слишком различны по характеру...»

СТУДЕНТ

А для Александра это были годы напряженной учебы.

Дома он учился до восемнадцати лет.

Осенью 1787 года Александра и Вильгельма отправили во Франкфурт-на-Одере. Кунт сопровождал их. В своем долгополом мундире он казался богиней скуки.

Александр стал студентом камерального факультета.

Камеральными науками называлась окрошка знаний, касавшихся имуществ, хозяйства, промышленности. Окрошкой питали будущих чиновников. Никто не мог изложить толково, чему именно их обучали. И в просторечии о том, кто только числился в университете и не «штудировал» ничего, говорили: «Он штудирует камеральные».

Во Франкфурте студентам показывали высушенный горох, лук, редьку и репу. Им объясняли, как делают сыр, как работает крупорушка, и советовали смазывать деревья известью для защиты от вредителей. При университете не было ни анатомического театра, ни естественного кабинета, ни обсерватории, ни ботанических собраний, ни даже путной библиотеки.

Гумбольдт отметил необычайное количество докторов, наряженных в парики и мантии, устраивавших латинские диспуты, и необычайный наплыв диссертантов, прослышавших о легкости, с какой можно было здесь увенчать себя академическими лаврами.

Того, что мог дать юноше Франкфурт, хватило меньше чем на год. Затем мы снова находим его в Берлине. Лето, осень, зиму он опять свободен. Свободен? Пожалуй, никогда у него не было так мало досуга, как теперь. Он посещает фабрики. Всерьез, словно собравшись стать инженером, изучает механику, технологию, машины, производственные процессы, гидравлику. Но если мы взглянем на его тетради, которые он заполняет после экскурсии по цехам твердо и кругло выписанными греческими вокабулами, то трудно удержаться от вывода, что этот молодой человек решился стать лингвистом.

У него находится еще время копировать Рембрандта и гравировать головы апостолов Микеланджело. Есть у него и четвертое дело: это беседы, прогулки, иногда многодневные экскурсии со своим учителем, который стал товарищем, молодым ботаником Вильденовым (между ними всего несколько лет разницы). И снова — тщательнейшие записи, конспекты тем же круглым, красивым почерком. Только, пожалуй, конспекты эти объемистее других...

Но что же заставляет его брать на себя весь этот труд? Что гонит, торопит, подталкивает его? Мечта о чиновничьей карьере? Но она открыта хоть сейчас, можно сказать — широко распахнута! Честолюбие? Жажда светского успеха? Голыми руками мог бы взять этот успех молодой аристократ, блестящий, образованный (даже слишком), не урод, о, отнюдь нет, не бука, прекрасный танцор (только времени у него все меньше и меньше для танцев!).

«Мой брат суетен и любит блистать. А причина в том, что он никогда не испытал сильного сердечного чувства». Впрочем, Вильгельм, когда писал это, был раздосадован на брата за недостаточно благоговейное отношение к его, Вильгельмовым, эпистолярным упражнениям на тему о неземном единении душ...

Александра гнала необычайная жажда знания. В многообразии интересов двадцатилетнего юноши не сразу можно уловить основу, двигательный нерв...

«...И особенное предпочтение отдавал изучению тайнобрачных»,— кратко замечает Гумбольдт в своей автобиографии. Почему привлекали его эти невидные, тайные, излюбленные поверьями растения, обломки молчаливых лесов каменноугольной эпохи? С чем связывало их его воображение? Через много десятилетий он записывает, что день, когда он впервые увидел под тропиками рощи древовидных папоротников, родню нашим травянистым, лесным хвощам, плаунам, мхам, последний остаток гигантских древних тайнобрачных,— этот день стал эпохой в его жизни...

Февраль 1789 года. «Я вернулся из Тиргартена, где собирал мхи, лишайники и грибы. Как грустны одинокие прогулки! Но есть и привлекательность в этом уединенном общении с природой. Наслаждение чистой, самой невинной радостью от созерцания тысяч существ, окружающих тебя и, в свою очередь, радующихся

(о, блаженная лейбницевская философия!) твоему существованию... Сердце тянется к тому, кто, как говорит Петрарка...» (И Петрарка цитируется, конечно, по-итальянски.)

Опять эти слова, эти неожиданные слова в устах того, чью жизнь с детства и до самого конца считали образцом безоблачной, чуть ли не сказочной удачи: грусть, печаль, одиночество. И опять — природа-утешительница. «Мой друг Вильденов — единственный, кто это воспринимает так же, как я».

Нет, брат плохо понимал глубину этой совсем не простой, сосредоточенной в себе, хотя внешне и открытой, натуры!

А между тем при всех различиях было и много сходного у обоих братьев — ведь не случайно ни одна серьезная размолвка не омрачила их многолетней, по-настоящему дружеской связи.

У Вильгельма в эту пору их юности было гораздо больше «прекраснодушия», поверхностной чувствительности, поэтому Александр казался суше. Но суетности он был чужд. Он знал власть сильного и чистого чувства, всепоглощающего, только не похожего на то, каким хотел наделить его брат. И удивительная черта: чувство это не отделялось от работы разума, не противопоставлялось ей (как у романтиков, как у «жрецов» культа чувствительности), но составляло самую прочную опору для нее!

Вот как поражающе заканчивает он это письмо к франкфуртскому приятелю, которое начал с такой лирической грустью:

«Из 145 тысяч, живущих в Берлине, самое большее четверо занимаются ботаникой, да и те — как «гербаризированием» на досуге. Между тем в живой природе бесполезно лежат необозримые ресурсы, разработка которых должна дать пропитание и занятие тысячам людей. Многие продукты, которые ввозятся из колоний, мы попираем ногами в своей стране. От ботаники, которую считают лишь приятным упражнением для ума, общество должно больше всего ждать именно в чисто практическом смысле. Не смешно ли, что из тысяч растений, покрывающих землю, только несколько оказались пригодны для культуры человека! И люди считают еще, что все известно и пора великих открытий миновала!»

Двадцатилетний юноша в феодальной Пруссии хочет создать исследовательский труд о «силах растительного мира» (труд, в полной мере не выполненный и по сию пору!), и меньше всего его при этом интересует лекарственное значение растений — единственное, чем сколько-нибудь занималась официальная наука его времени...

Той весной 1789 года Гумбольдт опять покинул Берлин, на этот раз для Геттингена. Вильгельм уже там. Пути братьев пока не расходятся.

Он ехал не спеша. Общительный, «весь в отца», Гумбольдт легко сближался с самыми разными людьми. Просто и быстро переходил на «ты», охотно писал потом бесчисленные длинные остроумные письма. Друзей он насчитывал десятками чуть не во всех городах Германии (позднее — во всех странах мира).

И путешествие в Геттинген, несмотря на дрянные дороги, шло отлично.

Со своим обычным юмором он описывает дорожные приключения.

В Гельмштедте посетил некоего профессора Байрейса. Его дом был завален самым невероятным и самым причудливым хламом, привезенным изо всех экзотических стран мира. Профессор путался в полах своего халата среди ящиков, глиняной посуды, пестрых чучел и черепов, расставленных на креслах, на столах, на полках и прямо на полу, и признавался, что до сих пор не лишен приятного удовольствия делать неожиданные открытия у себя дома.

Он взял книгу, в которой были нарисованы самураи с огромными мечами, и стал читать Гумбольдту с листа.

Затем он сказал:

— Молодой человек, мне удалось установить некое скрытое сходство между языком коптов, речью, звучащей у священного Ганга, и диалектами ротанговых зарослей Явы. Я думал об этом шесть недель, почти не прикасаясь к еде и к питью. Знающему науку йогов нетрудно отрешаться от телесных влечений.

И он достал зерно, похожее на кофейное, и в пять минут вырастил из него небольшое изящное деревцо.

Крики попугаев сопровождали Гумбольдта, когда он покидал жилище Байрейса.

Наконец он прибыл в Геттинген.

Здесь учил Блюменбах. Его студенты должны были знать наизусть невообразимую груду анатомических пре-

паратов, целую мясную лавку, воздвигнутую их учителем на подступах к диплому врача. В промежутках между рассечениями трупов Блюменбах написал книгу «О созидающей силе». В ней доказывалось, что сущность жизни — непостижимое и неуловимое «стремление к форме», бесследно исчезающее, когда грубые руки анатома кладут труп животного на секционный стол.

В большом библиотечном зале, уставленном антиками, читал археологию и древние литературы профессор элоквенции (красноречия) Гейне, знавший наизусть всю «Илиаду».

Среди студентов числились два английских принца и сорок графов.

Перед занятиями был праздник «по случаю выздоровления короля». Все студенты, в том числе и английские принцы, носили плакаты с надписью: «Да будет здоров король!» «О, глупость!!» — замечает Гумбольдт (в письме).

Он уходит с головой в занятия. Он штудирует Плавта и Петрония на семинарах, заканчивающихся около полуночи.

Как всегда, он не устает, не утрачивает ни свежести мысли, ни юмора. А пищи для юмора тут сколько угодно.

Разве не смешно, когда правовед Шпитлер сравнивает прусский королевский дом со старым дубом, в тени которого наслаждается жизнью свободолюбивый немец? Разве не уморителен дряхлый математик Кестнер, который был бы прекрасным и даже остроумным лектором, если бы имел хоть несколько зубов и бросил привычку самому смеяться над своими шамкающими остротами? Или Лесс, разрешающий в курсе морали проблему, может ли христианин играть в лото,— над чем он и заставляет усердно потеть обоих английских принцев...

В доме профессора Гейне Александр познакомился с тем, кто оказал на него, быть может, самое большое влияние за всю его жизнь. Это был Георг Форстер, муж дочери Гейне — Терезы. Александр уже слышал о нем от Вильгельма.

Георг Форстер был человеком необыкновенным, таких Гумбольдт еще не встречал. Блестящая одаренность его сразу бросалась в глаза. Но он оказался лишним в то переломное время, жестокое, безжалостное, жадное к наживе, любившее сентиментальные стихи.

Он испытал горечь и унижение бедности.

А семнадцати лет уже плавал с Куком, вернувшись же — описал свое плавание.

О чем он писал? Не о колониальных богатствах южных морей и не о том, что бедные туземцы созданы господом богом на грани между человеком и обезьяной, чтобы доставлять даровую силу для сбора кокосов и пряностей. Он писал о бесконечно сменяющихся картинах мира. О прекрасных, озаренных жгучим солнцем странах, о людских поселениях, так не похожих на города и села старой Европы и еще счастливых в своей первобытности. Злее ли там голод? Лишения? Нищета? Притеснения слабых сильными? Больше ли горестей выпадает на долю человеческого рода? — спрашивал Форстер. И отвечал: нет!

Тюрьмы и казармы множились в горах Германии. Рабы-рабочие изнывали в работных домах, рабы-крестьяне — на полях помещиков.

Феодальные немецкие князьки и герцоги муштровали солдат. Как бы отбрасывая от себя этот жестокий мир с его безжалостными властителями, Форстер переводил «Шакунталу», индийскую поэму, где рассказывалось о молодой девушке, кормившей птиц, и о единении природы с человеком.

Но когда зарево вспыхнуло над стенами Бастилии, его глаза засияли отсветом этого далекого пламени.

— Я не понимаю вас,— сказал ему Александр Гумбольдт со своей обычной, чуть заметной любезной иронией.— Почему вы делаете различие между событиями в этих равно вам чуждых цивилизованных странах? Вы называли себя «гражданином мира»...

— Гражданин мира сегодня — это французский гражданин! — ответил Форстер.

Его сравнивали с Шиллером. И в самом деле, их роднило многое. Суровое детство у обоих, «плебейство» и борьба со страшной тяжестью давившего их общества... Оно и раздавило Шиллера — из этой борьбы он вышел с чахоткой, сведшей его в раннюю могилу.

А Форстер умер еще раньше, в бедности; он был смелее и прямолинейнее Шиллера...

Когда в Майнц вступили войска Франции, Форстер, депутат майнцского республиканского конвента, отправился в Париж. Возврата на родину не было. Он умер в революционном Париже, в Доме голландских патриотов

на улице Мулен, оторванный от семьи, ошельмованный в Пруссии, но с тем же огнем энтузиазма в глазах, который ничто не в силах было потушить [1].

Оба брата прошли через самую настоящую влюбленность в Форстера.

Март 1790 года. Александр Гумбольдт и Форстер едут вместе. Разве мог Форстер устоять против просьб молодого друга, в котором, как ему кажется, он узнает самого себя, каким он, Форстер, был двадцать лет назад? Они едут. Куда? О нет, не на Борнео. Из Майнца, где в то время еще жил Форстер, они едут вниз по Рейну. Ранняя весна, бессолнечное небо, блеклые краски хмурой природы. Но как расцвечивают их рассказы старшего товарища о Таити, об Архипелаге, о пальмах, качающихся на коралловых атоллах!

Никогда наука о земле (Гумбольдт видит впервые, что значит и чем может быть эта наука — землеведение, настоящая география, рождающаяся в летучих образах тут, на палубе судна, скользящего по стеклянным водам Рейна), никогда никакая наука не популяризировалась так. Впоследствии он сравнит рассказы Форстера с знаменитым дневником, который Дарвин вел на «Бигле». До самой смерти он будет отзываться об этом путешествии с Форстером как о счастье и не устанет повторять искренне, горячо, страстно, сколь многим он обязан старшему спутнику.

Гумбольдт почти отказался от самого себя. Он следовал за учителем, ловил каждое его слово, учился у него видеть мир.

Они посещали города, порты, музеи, обсерватории, фабрики, муниципалитеты, народные собрания, осматривали памятники архитектуры.

Через Голландию проехали в Англию. В парламенте слушали речи Питта и Шеридана. Осмотрели в Стратфорде шекспировские реликвии. Знакомились в Оксфорде

---

[1] Распространенная, вошедшая во многие авторитетные книги и справочники версия о гильотинировании Форстера в Париже в 1794 г. легендарна. Он долго и мучительно болел. «Я вовсе обессилел и превратился в скелет (skelettiert)» — письмо 27 декабря 1793 г. «Не могу держать пера в руках» — 29 декабря. Последние строки Форстера — 4 января 1794 г. Удар, паралич — он скончался 10 января в 5 часов вечера на руках двух санитаров и эмигранта из Майнца — «Я закрыл ему глаза». Есть и муниципальное свидетельство о его смерти в возрасте тридцати девяти лет.

с бытом студентов и с аудиториями, где читали доктора в средневековых шапочках.

В Лондоне жила еще вдова Кука. Сэр Джозеф Банкс, баронет, спутник Кука по первому путешествию, сказал несколько ласковых слов юноше немцу и потряс ему руку. В доме губернатора Ост-Индии Уоррена Гастингса Гумбольдт увидел картину Годжеса, изображающую берег Ганга. И это посредственное произведение наполнило его сердце сладкой тоской.

Возвращались через Париж. На Марсовом поле строили гигантский амфитеатр, где должно было собраться все население в день праздника Федерации. Со всех концов страны прибывали в Париж делегации от национальной гвардии, от армии, моряков, местных федераций. На площади, колышущейся морем голов и трехцветных кокард, они приветствовали друг друга словами: «Свобода, равенство, братство!» — и будто единое, мощное дыхание прокатывалось по площади...

МИР, ВСПЛЫВШИЙ ИЗ ВОДЫ, И МИР, РОЖДЕННЫЙ ОГНЕМ

В Геттинген Александр уже не вернулся. Он отправился в следующий свой университет — Торговую академию. Он хотел подготовиться к той стороне своей «камеральной» деятельности в горной промышленности, которой вовсе не знал,— к управлению предприятиями. Но, может быть, для него важнее было, что академия находилась в Гамбурге — в первом немецком морском порту.

Он жил в комнате с каким-то петербургским богачом Бетлингом, получавшим из России по сорок тысяч рублей в год. Тщательно штудировал бухгалтерию и по колоколу ходил обедать и ужинать. Отсюда Гумбольдт написал (одному из своих очередных друзей — Зёммерингу) самое смелое письмо, какое только выходило из-под его пера: «Я бываю во всех кругах, дворянских и бюргерских, которые по похвальной индийской методе отделены друг от друга, как касты... Здесь все играют в карты... Много говорят о дворянской заносчивости на Рейне, но здешняя ее далеко превосходит. Здравый смысл наших западных соседей переживет это столетие, а Германия будет еще долго удивляться, примеряться, готовиться и пропустит решительное мгновение».

Зимой он собирал мхи, изучал датский и шведский языки и как-то, в бурю, совершил морскую экскурсию на Гельголанд.

Поездка с Форстером окончательно определила его планы больших путешествий. Но они, эти планы, так говорит он сам, могли быть «исполнены только по смерти матери» (страшные слова, свидетельствующие о бездне отчуждения между матерью и сыном!).

Весной 1791 года он отправился в прусскую столицу. Он увидел Берлин, заклинающий духов, ханжествующий в церквах, толпу розенкрейцеров, вовсю использовавших слабоумие Фридриха Вильгельма II. «Берлинский ежемесячник» почти задушила цензура, прохвост Вельнер сделался министром (вместо более либерального Цедлица) и ревностно принялся душить остатки «просвещения».

Из Франции приходили оглушающие сообщения. Граф Мирабо, надежда роялистов, умер; в Национальном собрании смолк его рык. Революция грозно нарастала с каждым часом. Говорили о предстоящем бегстве короля.

В Берлине был Вильгельм. Работая референдарием при верховном суде, он пытался кое-как противостоять потоку духовидческой и эпикурействующей реакции. Одновременно он искал в Канте и Платоне защиты от французских вестей и от новой французской конституции. Как всегда, он был красноречив и сентиментален. Впрочем, берлинский кружок Генриэтты решил, что пора пристроить эту его сентиментальность, и женил его, к июлю 1791 года, на Каролине фон Дахередеи, подруге Шарлотты фон Ленгефельд, невесты Шиллера.

Александр же перешел в четвертый и последний свой университет — в Горную академию во Фрейберге.

Во Фрейберге инспекторствовал Абрагам Готлоб Вернер. Это была одна из колоритнейших фигур тогдашней науки. Он пользовался почти беспримерной славой. «Вернер!» — говорили почтительным шепотом, и из Швеции, Дании, Италии, Англии, Франции, Испании, даже из Америки стекались минералоги, геогносты и штейгеры, садились за ученические парты, чтобы от слова до слова записать в тетрадки быструю речь сорокалетнего человека на кафедре.

А Вернер издал в своей жизни лишь несколько книжек и брошюр и побывал с геологическим молотком в единственном месте — на Саксонских рудных горах!

Из модной тогда любви к параллелям и уподоблениям его называли Линнеем минералогии. Он в самом деле сходился с Линнеем страстью к классификации. Он разбил по классам двести минералов, которые знал; все их он советовал определять по непосредственному впечатлению, ибо «в каком же кабинете позволят минералогу возиться с гидростатическими весами».

Но его минералогические описания признавались несравненными. Меткие, яркие, до избытка богатые острыми и неожиданными определениями, смелой сжатостью напоминающие о народных изречениях и присловьях, иногда почти загадочные, они поражали своеобразной поэтической силой.

Вот одно из них: «Он ярко-белого цвета, плотный, шероховатый, снаружи едва мерцает, изнутри сильно блестит; состоит из больших плоских листов; распадается на ромбовидные куски; прозрачен, очень мягок; в тонких пластинках слегка упруго-гибок; немного звучит, тощ; несколько холоден на ощупь; не особенно тяжел».

Это кристаллический гипс.

Вернер считал, что Саксонские рудные горы дали ему исчерпывающее представление о мире. Вся земная кора, кроме разве гранита и гнейса, осела из воды. Он быстро старел, этот земной шар, далеко не такой большой, как о нем думали горячие головы. Он терял воду, и уровень Мирового океана падал. Стекая с материков, вода размыла их, как продолжают размывать реки и потоки,—возникали низины, высоты. Мягкие глины и черные базальты, утесы которых похожи на замки и крепости, все они — осевшая и слежавшаяся муть, некогда принесенная водой. И вполне вероятно, что сплошной панцирь базальта покрывал когда-то всю землю вместе с другими слоистыми покровами, оставленными морем и реками. Но это было давно, и базальтовый панцирь разрушен. Те скалы, которые нас удивляют и восхищают сейчас,— жалкие остатки его.

А вулканы, эти забавные огнедышащие горы, выбрасывающие камни и лаву на страх индейцам и добрым католикам?! Дымоходы кухонного очага, скрытого под землей разве только затем, чтобы согревать императора Фридриха Барбароссу, неподвижно сидящего, если верить преданиям, вот уж шестьсот лет внутри горы Киффгейзер, дважды обвив своей бородой каменный стол! Не проще ли предположить, что вулканы — новое и случай-

ное явление, почти не заслуживающее внимания серьезного геолога, происшедшее, например, от воспламенений угольных пластов, как то бывает иногда в шахтах?

Геология Вернера называлась нептунической, потому что она производила мир из воды, богом которой древние считали Нептуна. Нам трудно представить себе обаяние вернеровского нептунизма для современников — настолько он противоречит всему, что мы знаем о природе. Но до каких же нелепых вещей договаривались и тогдашние противники Вернера, плутонисты, объяснявшие историю Земли действием подземного огня (божеством которого в древнем мире был Плутон)!

Витте, мекленбургский гофрат и профессор в Ростоке, доказывал в специальном трактате, что египетские пирамиды — продукт вулканического извержения, а иероглифы, над смыслом которых совершенно напрасно ломали голову ученые, не что иное, как игра кристаллических сил, трещины и шрамы выветривания.

Так же следовало судить о развалинах в Персеполисе, в Баальбеке, в Пальмире, о храме Юпитера в Джирдженти и перуанских дворцах инков, представляющих собой не более чем базальтовые группы. Природа склонна к причудам. И лава часто застывает в виде людских фигур и саркофагов.

Вулканисты наполняли историю мира грохотом чудовищных катастроф, похожих на гнев библейского Иеговы. Некоторые воображали, что даже близость к вулканам — кузницам мира — преображает всю человеческую природу. «Жители базальтовых местностей,— писал аббат Жиро-Сулави,— трудно поддаются управлению, склонны к мятежам и не боятся бога». Базальты — вот истинная, так долго и тщетно разыскиваемая причина быстрого распространения реформации!

Что же мудреного в том, что многие выдающиеся люди, как, например, Гете, предпочитали другую крайность — нептунизм?

Спор между плутонистами и нептунистами вертелся вокруг базальта. Базальт в глазах тогдашней геологии был не просто одной из горных пород. Он имел символическое значение.

Когда Гумбольдт приехал во Фрейберг, о нем там уже знали как об авторе «Минералогических наблюдений над некоторыми рейнскими базальтами» — нептуниче-

ской брошюры, написанной года за два до того. Сам Гумбольдт несколько раз с величайшей почтительностью писал Вернеру. Но тот принял юношу сухо и заносчиво. К Гумбольдту был приставлен в качестве наставника Фрейеслебен, с которым юноша и погрузился на другой день после приезда в глубину минералогической и горнозаводской премудрости.

В те времена в организации немецкого высшего образования еще оставалось много средневекового. Ученики группировались вокруг учителя. Строго определенных курсов не было, скорее велся ряд семинаров. Как в прежних ремесленных цехах, «мастер» в докторской шапочке передавал свое искусство «подмастерьям».

Гумбольдт поступал к Вернеру на полгода.

Он занимался горным делом, минералогией, геогнозией, чугуноплавильным производством (все это читал Вернер), машиноведением, чистой и прикладной математикой (которые вели Шарпантье и его ученик Лемпе), горным правом (читал Келер), пробирным делом (читал Клоцш) и маркшейдерским искусством (руководил Фрейеслебен). Он исходил с Фрейеслебеном Богемские горы с их лабиринтом рудников.

Личное, домашнее общение студента (привилегированного, конечно) с профессором входило важным элементом в систему обучения.

Такая система могла не дать ничего, но от нее можно было взять и многое. Гумбольдт брал. «Я почти каждое утро от 7 до 12 часов провожу в шахтах, после полудня занимаюсь, вечером охочусь за мхами, как это называет Форстер».

И в другом письме:

«Я сделал 150 миль пешком и в карете через Богемию, Тюрингию, Мансфельд и т. д., ежедневно, в 6 утра, по глубокому снегу иду в рудники, а после полудня должен еще успеть поработать в 5—6 коллегиях... Никогда еще не был я так занят, как теперь. Здоровье мое подалось. Но в целом я чувствую себя очень хорошо. Я занимаюсь делом, которое, если любить его, нельзя не делать страстно, я бесконечно расширил свои знания и никогда не работал с такой легкостью, как теперь».

За зиму он написал не меньше семи научных работ, в том числе латинскую монографию о «Подземной флоре Фрейберга», о тех растениях, мхах, изумрудный цвет которых поразил его в рудничном мраке...

Фрейбергскую академию он оставил 26 февраля 1792 года. Товарищи — и среди них новый друг, молодой Фрейеслебен, сын профессора,— устроили ему торжественные проводы. Были прочитаны два стихотворения — латинское, сочиненное Фишером, немецким буршем, который вряд ли предвидел, что ему суждено умереть российским статским советником и вице-президентом Московского общества испытателей природы, и немецкое, подписанное четырнадцатью авторами. Среди них один— Леопольд фон Бух — стал знаменитым геологом и, так же как Гумбольдт, изменив учителю, сделался главой плутонистов. Остальные вышли горняками и советниками, за исключением Зекендорфа, умершего в Америке мимическим актером под именем Патрика Пиля...

ГОРДИЕВ УЗЕЛ

Дорога извивается, она отпрыгивает в сторону, чтобы снова упрямо вползти по ту сторону скалы из крошащегося камня. Еще не темно. Теплый летний вечер. Но время от времени легкое дуновение воздуха обдает пронизывающей сыростью. И белые клочья тумана цепляются за неровности горных склонов, рыже-бурых от дикого камня, от нарытой земли. Ржавые поросли соснового леса обломаны и словно обуглены. Эти горы с широкими и округленными вершинами похожи на сутулые старческие плечи.

Молодой человек смотрит на них. Окно открыто, и пламя рано зажженной свечи колеблется. Молодой человек смотрит вниз, где в долине, бездонной, будто пропасть, свинцовой туманной мутью клубится ночь.

Он смотрит вдаль: там, высоко, зубцы каменного гребня и отхлынувшая от каменной крутизны волна соснового леса, а над далекой вершиной еще догорает заря...

Долго глядит туда молодой человек. Затем садится к столу. Окно узко, как бойница, и у стола темно. Он придвигает свечу и пишет:

«Все мои желания, Мой Лучший, исполнились...»

А за окном ползет и густеет, все заволакивает туман.

Да, быстро это вышло! И года нет с тех пор, как он, странствующий студент, надел мундир прусского чиновника.

Счастье его, что он недолго отсидел на чиновничьем стуле в Берлине! Его перевели на шахты, в горы: «выслуживаться» — так это поняли в берлинских канцеляриях, к живому делу — так это расценил сам Гумбольдт.

И вот он живет в селении Штебен, вблизи Байрейта, в этих старых горах, где человек начал рыться с 1421 года. Двадцатитрехлетний обер-бергмейстер...

Он инспектирует рудники в трех горных округах — Найла, Вунзидель, Гольдкронах. Он посылает в Берлин статистико-экономические сводки. Он исследует месторождения полезных ископаемых. На нем лежит и чугунолитейное производство. Короче — он отвечает за все, что касается природных богатств, машин в шахтах и в цехах заводов, печей для выплавки чугуна и администрации всего горного дела.

Он занят еще солеварнями в Геробронне, фарфоровыми заводами в Брукберге, купоросным, квасцовым производством и серными фабриками в Грефентале.

Конечно, он изучает также историю своих гор, роется в огромных, тяжелых фолиантах, словно вынутых из библиотеки Фауста. На страницах испещренных готической вязью, рябящей в глазах от жирных завитушек, он выискивает упоминания о давным-давно, чуть не со времени Тридцатилетней войны, заброшенных шахтах. «Это была ошибка моих предшественников — не пользоваться таким источником...»

Сколько же длится его рабочий день? Он не считает. Вероятно, уже в это время он твердо усваивает привычку — спать не более пяти часов в сутки.

«Тут думают, что у меня восемь ног и четыре руки»,— пишет он.

Он хотел бы, чтобы так работали другие. Но что сказать о них, о его коллегах? Да, это служаки. И они предпочитают... выслуживаться. Самое важное для них — почта из Берлина с известием о повышениях и наградных. «Нужно бросить бомбу среди этих людей, чтобы заставить их работать!»

Во всяком случае, обер-бергмейстер Гумбольдт добился многого. Есть свидетельства, что при Гумбольдте рудники стали приносить за один год столько, сколько они давали раньше за четырнадцать. Правда, это характеризует, помимо энергии Гумбольдта, также и ужасающее состояние горного дела в Пруссии.

«Все мои желания исполнились...»

Все ли?

Обер-бергмейстер отрывается от письма. Он снова смотрит в окно. Еле видна дорога — дорога, по которой вот уже триста пятьдесят лет возят руду из гор... И туман совсем закрыл горы. Наверху со всех сторон, на невидимых теперь склонах, огоньки: домишки горняков, людей, которых незачем заставлять работать — они и так выбиваются из сил. Огоньки их жалких лачуг словно парят в воздухе. Какая тишина! И в тишине — сырость земли, клейкий запах листьев и крик — птичий крик, пустынный, первобытный. Как будто стерты туманом триста пятьдесят лет, в течение которых покорял человек эти горы...

И странная тоска сладко сжимает сердце обер-бергмейстера. Он не знает, почему у него вдруг защипало в горле. И на глазах слезы.

«Штебен оказал такое влияние на весь строй моих мыслей, я создавал там такие большие планы, так прислушивался к голосу моих чувств, что я боюсь впечатления, которое он произведет на меня, если я его опять увижу. Я жил там, особенно зимой 1794 и осенью 1793 годов, в таком состоянии напряжения, что по вечерам не мог без слез смотреть на кое-где освещенные домики рудокопов на высотах, закутанные в туман. Такого места я больше никогда не найду по эту сторону моря!»

Так он вспомнил много лет спустя о ночах обер-бергмейстера.

Нет, желания исполнились еще не все...

Веймар и Иена недалеко. Там Гете, брат Вильгельм и Шиллер с их женами-подругами. Само собой вышло так, что Вильгельм больше сошелся с Шиллером, а Александр с Гете.

Гете с жаром говорил о межчелюстной кости, найденной им у человека и в точности напоминающей межчелюстную кость животных; он читал свои «Метаморфозы растений»; сообщал, как движутся его занятия по оптике,— да, учению самоуверенного Ньютона, который пытался уничтожить свет Солнца, белый свет дня, разложить его на семь цветов, скоро будет нанесен смертельный удар!

Вулканистов и Ньютона Гете ненавидел со страстностью, какой вовсе не вносил в литературные споры. «В эстетике,— так объяснял он это,— каждый может верить и чувствовать, как он хочет, но в науке фальшь и абсурд невыносимы».

Он высмеивал вулканистов в «Ксениях»:

Горе, колонны базальта! Должны вы огню покоряться,
Хоть никто не видал, как породил вас огонь!
...Вот наконец опустили их снова в старую воду,
И потушила она этот пылающий спор...

Воззрения человека такого масштаба, как Гете, не могли быть *только* неверными, неверными до конца; в них была своя последовательность. Оптика его тоже заключала глубокие и остроумные мысли; ошибочность ее проистекала от смешения физики с физиологией и психологией. Нептунизм Гете был следствием основного, притом, бесспорно, замечательного пункта его натурфилософии, выраженной словами Фауста:

И чтоб росли, цвели природы чада,
Переворотов глупых ей не надо.

Сам Гете говорил Леонгардту: «Я убежден, что при истолковании различных образований земли только тогда можно призывать на помощь перевороты, когда оказывается недостаточным объяснение посредством спокойных действий, наиболее свойственных природе».

Что он хотел сказать? Что природу следует объяснять из нее самой, а не вносить в нее насильственный, чудесный элемент. Чутье Гете не обманывало. Крайности вулканизма подготовили нелепейшую теорию именно переворотов, «катастроф» (будто бы в прошлом постигавших земной шар, сметая живое население земли),— с помощью этой теории француз Кювье, а после д'Орбиньи и швейцаро-американец Агассиз «сокрушали» в девятнадцатом веке эволюционное учение; была превзойдена даже Библия с ее единственным переворотом — всемирным потопом!

«Пусть знает потомство, что в нашем веке жил хоть один человек, который видел насквозь все нелепости плутонистов!»

Гете видел их. Но перед нелепостями нептунистов он зажмуривал глаза. И не одна любовь к истине, но и опасливая боязнь революции — даже в природе (а ведь без скачков, без революций, без перерывов спокойной постепенности нет развития в природе!) — побуждала Гете, министра великого герцога веймарского Карла-Августа, восторгаться младенческим лепетом Вернера; Гете не желал замечать, что геология, неотвратимо идущая вперед, оставила позади фрейбергского пророка.

Когда Александр зимой 1794 года приезжал в Иену, Гете отправлялся с ним ранним утром в анатомическую аудиторию университета слушать Лодера, читавшего свой курс связок и суставов. Универсальный во всем, Гете был универсален и в естествознании.

Часто к ним присоединялся Вильгельм, иногда и Шиллер, вспоминавший о своей профессии медика.

Вечерами неутомимый Гете диктовал «схему сравнительного учения о костях».

Шиллер пригласил Гумбольдта участвовать в своем журнале, названном по имени богинь времени, охранительниц врат Олимпа, «Орами». Александр написал «Родосского гения». Это была аллегория, действие которой развертывалось в воображаемой Древней Греции, а смысл заключался в популярном изложении Блюменбахова учения о жизненной силе, господствующей, пока она не отлетела от тела, над всеми физико-химическими силами организма.

Аллегория была напечатана и очень понравилась — она оказалась вполне во вкусе времени и в конце концов нисколько не хуже других произведений, наполнявших журналы.

Но размолвка с Шиллером надвигалась неминуемо. Слишком различны были пути фельдшерского сына, романтика-идеалиста, страстного поэта-проповедника, и уравновешенного натуралиста, чье детство прошло в Тегельском замке. Размолвка наступила через немногие годы — тогда, когда Гумбольдт больше не подписал бы ни одной строки своего «Родосского гения».

Эти годы стали важнейшими для молодого Гумбольдта. Кем он был до сих пор? Лучшие люди Германии разговаривали с ним почти как с равным, но разве в личных его заслугах тут дело! Правда, саксонский курфюрст прислал золотую медаль за «Подземную флору», а может быть, за «Афоризмы и доктрины», приложенные к ней; «доктрины» трактовали все о той же Блюменбаховой «жизненной силе». Да нашелся шведский ботаник Валь, который присвоил имя Гумбольдта одному индийскому лавровому деревцу...

Но лучше других сам он, Гумбольдт, понимал, как немного все это стоит.

Он работал.

В это время начали отчетливо сказываться три характерные черты его способа работать, которым предстояло в поражающей форме проявиться уже скоро.

Первая черта — неистовая жадность к труду, к «деланию». Нет, здесь вовсе не было аристократа, не было белоручки. Был чернорабочий, три четверти суток не вылезавший из «упряжки». Он не «схватывал» походя, на лету, силой «чистой интуиции», как похвалялись натурфилософы,— он добывал сам, своими руками, как шахтер добывает руду, почти невообразимые груды фактов. Мы знаем: исполинской мерой приходится мерить то, что *успел сделать* Гумбольдт.

И это — вторая черта — при совершенно исключительной способности к обобщению и — черта третья — при широчайшей разносторонности, подлинной «всеобщности» его интересов!

Вот он отослал в Берлин свой очередной чиновничий доклад — на ста пятидесяти листах! И засел за карту, «показывающую связь всех соляных источников Германии». Это карта подземного мира, соляных потоков, текущих с юго-запада на северо-восток в гипсовых пластах под немецкой землей. Он прослеживает эти невидимые потоки, указывает, где бурить, где закладывать солеварни.

И собирается взяться еще за «толстый труд — геогностическую картину Германии».

Великое счастье — «раздвигать границы нашего познания»!

А повсюду, куда он ни едет по долгу службы горного чиновника,— в горных округах Пруссии, в Баварии, во франконских княжествах — видит он страшные условия работы горняков. И следом за фразой о «великом счастье» из-под пера его выливается: «Но гораздо человечнее радость изобрести что-либо, что могло бы облегчить труд рабочим людям...»

Чем же может облегчить подземный труд он, недавно увидевший эти шахты, сырые, темные, с дурной вентиляцией, где люди гибли от обвалов, от взрывов, задыхались от газа, умирали сотнями от болезней? Он, молодой обер-бергмейстер, делает, что может, предпринимает первые попытки хоть как-нибудь обезопасить этот каторжный труд. Он изобретает лампу, с которой можно работать в газовых шахтах, дыхательный аппарат и прибор антракометр, чтобы быстро определять, сколько углекислоты в воздухе шахт. До лампы англичанина Гемфри Дэви лампа Гумбольдта была лучшей. Пробуя ее, он свалился без чувств в пустом отдаленном квершлаге серного рудника.

Его случайно нашли и вытащили полумертвого. Открыв глаза, он сразу посмотрел на лампу:

— Горит! Все еще горит!

Именно тогда, в это время громадного внешнего и внутреннего напряжения, время быстрого роста душевных сил, прояснилось Гумбольдту во всем необычайном смысле и само понятие «наука».

«Главным моим побуждением всегда было стремление обнять явления внешнего мира в их общей связи, природу, как целое». Это написано позднее. Но не зря стоит тут «всегда».

А в 1794 году он посылает Шиллеру замечательное письмо: «Естествознание, в частности, наука о растениях, в том виде, как ее трактовали до настоящего времени, когда ограничивались установлением различий между формами, не могло служить объектом размышления для созерцающего ума... Но вы чувствуете вместе со мной, что есть нечто высшее, что надо еще искать и найти... Аристотеля и Плиния побудило описывать природу присущее человеку эстетическое чувство... Эти древние авторы имели, несомненно, более широкие взгляды, чем наши убогие регистраторы природы...»

Письмо это еще не заставило насторожиться Шиллера. Страстные романтики и «философы природы» в их поисках скрытых связей и тайных уподоблений также стремились «обнять Вселенную». Живая природа — та часть Вселенной, где и проявлялся «дух» в собственном смысле, куда, следовательно, принадлежали и проявления «мыслящего духа» самих философов,— весьма занимала их. Эстетическое чувство... но ведь не кто иной, как именно Шиллер, построил целую философию его!

Шиллер не разглядел в этом письме вехи на пути к такому пониманию природы и способов изучения ее, которое глубоко отличалось от его, шиллеровского.

А между тем в решающий для него штебенский период Гумбольдт стремительно двигался по этому пути.

Наука в конце концов едина — будет ли то исследование связи соляных источников или сути органической жизни,— потому что у науки один объект — *мир.* «Связи наук так тесны, что всем им, даже тем, которые считаются менее важными, следует быть прикрепленными к другим, как полип к скале...»

Вот тут новый смысл понятия «наука», который все яснее и яснее — почти до *зримости* — становился внятен

Гумбольдту, «потому что невозможно правильно понять в целом всю природу, если мы сначала не изучим ее по частям».

Тут уже никакая натурфилософия была ни при чем. Начиналось совсем другое. И для Блюменбаховой жизненной силы скоро тут вовсе не останется места.

«Размышления и новые исследования по физиологии и химии сильно поколебали мое прежнее верование в особые жизненные силы».

Новые физиологические и химические исследования, о которых говорит Гумбольдт,— это, конечно, исследования по животному электричеству и, главное, работы французских химиков Лавуазье, Бертолле, Фуркруа и других. С каким восторгом принял их Гумбольдт одним из первых в Германии! Вот откуда повеяло на него! Вот где смело берет он новые кирпичи для своего научного мировоззрения.

Раз он занимается биологией, он сразу же — и это характернее всего для Гумбольдта! — ставит основной вопрос, вопрос о *сути целого.*

«Что такое жизнь?»

Поразительные строки пишет он в 1796 году: «Я надеюсь скоро распутать гордиев узел жизненных процессов».

В «досуги» штебенского периода он предпринимает грандиозное исследование раздражимости мускульных и нервных волокон. *Четыре тысячи* опытов сделал тогда Гумбольдт.

Раздражимость, способность отвечать на внешние воздействия, раздражения,— одно из основных свойств жизни. Камень не отвечает на раздражения. Он крошится от ударов, едкие кислоты растворяют его. Он *мертв.* Что же такое раздражимость живых существ — это отдергивание ушибленной лапки, сужение зрачка на сильном свету? Что правит работой нервов, мускулов, осуществляющих акт ответа организма на принятое раздражение?

Отыскивая концы гордиева узла, Гумбольдт испытывал множество веществ, усиливающих или тормозящих жизненный процесс, работу организма.

Одним из главных «усилителей» считали тогда кислород. И Гумбольдт изучает действие на живые существа всего, в чем только ни есть кислород. От животных переходит к растениям. Обмывает хлорной водой прорастающие семена. В те времена думали, что хлор — это

соединение некоего элемента, таинственного «муриума», с кислородом. До сих пор в аптеках соляная кислота (HCl) называется acidum muriaticum.

Гумбольдт нашел, что семена, обработанные хлорной водой, прорастают гораздо скорее. Быстрее росли также горох и бобы в растворе металлических солей. Растения могут развиваться на различных субстанциях, о которых утверждают, что они «бесплодны». Вывод важный, вывод, нужный сельскому хозяйству. Только применять все эти находки Гумбольдта было негде и некому...

В 1791 году итальянец Гальвани опубликовал свои долголетние наблюдения над животным электричеством. Все заговорили о лягушечьих ножках, дергающихся на медном крюке во время грозы и посылающих ток, когда их касался металлический циркуль.

Уверенность, что «кислород и есть принцип действия жизненной силы» (письмо Гиртанеру), Гумбольдт дополнил убеждением, что животное электричество дает в руки еще один конец гордиева узла. Поэтому он на стороне Гальвани. В это время разгорелся жестокий спор между Гальвани и другим итальянцем, физиком Вольтой. Вольта считал, что электричество было не в мускулах лягушки, а возникло от соприкосновения разнородных металлов, из которых оказались случайно сделаны ножки циркуля Гальвани. И тело лягушки сыграло только роль влажной, слегка подкисленной среды — чувствительного показателя электричества, электроскопа.

Гумбольдт не может примириться с этой «плоской теорией» соприкосновения. Нет, именно в живом организме образуется и действует электрический ток!

Гумбольдту мало лягушек. Он ложится на живот, доктор Шаллерн наносит ему две раны на спине и прикладывает серебро и цинк. Гумбольдт лежит каждый раз по часу, стоически рассказывает доктору о жжении, уколах, режущей боли, спрашивает про цвет вытекающей сукровицы и о том, как судорожно сокращаются посиневшие мускулы. На его спину кладут мертвых лягушек; они прыгают, их мертвые мускулы тоже сокращаются от электрического тока.

Если гордиев узел не был распутан этими опытами, самоотверженно проведенными более полутора веков назад молодым человеком, почти юношей, то в главном выводе он больше не колебался и никогда не станет колебаться. «В 1797 году в конце своего сочинения «О раз-

драженных мускулах и нервах и о химическом процессе жизни в животном и растительном мире» я объявил, что вовсе не считаю доказанным существование жизненных сил. С того времени я не осмеливаюсь называть особыми силами то, что, может быть, происходит от совместного действия веществ, давно уже известных порознь».

В пору младенчества биологии Гумбольдт говорил о таком пути объяснения органических явлений, на котором и в наши дни ученые рассчитывают найти разгадку жизни! Оглянемся на эпоху Гумбольдта, на среду, окружавшую его,— и еще удивительнее покажется этот факт. Аристократ, современник «века немецкого идеализма», лично связанный со столпами его, «человек с любезной улыбкой», еще меньше любивший «дразнить гусей», чем Дарвин через шестьдесят лет, совершенно спокойно, как о вполне очевидной вещи, говорит, что нет ничего недоступного для исследования в живой природе, которую идеалисты в философии и в науке считали во все времена своей нерушимой опорой и вотчиной. И ничуть не колеблется в том — едва сложилось его научное мировоззрение,— в чем во всю свою жизнь не решится признаться бунтарь в науке Дарвин...

Шиллер не мог простить этой измены «Родосскому гению». Страстно и грозно обрушился он на отступника: Гумбольдт «никогда не создаст в науке ничего крупного...», «ни искры чистого объективного интереса...», «анализирующий рассудок, который пытается измерить природу, неизмеримую и недоступную, и с непонятной дерзостью думает вместить ее в рамки своих формул...».

Не разум, а только «рассудок»! На языке тогдашней немецкой идеалистической философии это было жестоко оскорбительное обвинение. Шиллер еще усилил его: «Голый рассудок-мясник, который бесстыдно хочет рассечь и измерить природу — без силы воображения, без сладостного биения сердца, без участия чувства...»

Гумбольдт не любил и старался избегать полемики. Но на этот раз не остался в долгу. Он остроумно осмеивал «кисельные чувства» и утверждал, будто Шиллер «облекает занятые у других мысли в несносную напыщенность».

Ведь кто-кто, а уж Шиллер-то должен был знать о несправедливости своих обвинений. И силой воображения, и сладостным биением сердца, и самым сильным чувством была богата та единственная в своем роде наука, которую создавал Гумбольдт. Она не разрушала ни пре-

лести, ни очарования природы. Ничего не отнимала ни от романтики, ни от радости познания прекрасного, величественного мира, единого в своем бесконечном многообразии.

Потому что была еще четвертая характерная черта во всей работе натуралиста Гумбольдта: это эстетическое чувство, включенное в закон исследований, это ощущение красоты как важной стороны истины о мире!

Именно так шел Гумбольдт к самым высшим своим научным достижениям.

То замечательное письмо Шиллеру, письмо 1794 года, он закончил целой программой небывалой науки, настоящим обвалом идей:

«Всеобщая гармония форм, проблема — одна ли исходная форма растений представлена в тысяче переходов; распределение этих форм по земному шару; различные влияния — радости или меланхолии, вызываемые в чувствующем человеке растительным миром; контраст между мертвой, неподвижной массой скал, между кажущимися почти неорганическими стволами деревьев и оживленным растительным покровом, одевающим нежной плотью даже скелеты животных; история и география растений, или историческое изображение общего распределения растений по земному шару — этот еще не разработанный раздел истории мироздания, нахождение древнейшей растительности в местах ее погребения (окаменелости, каменный уголь, торф и др.); постепенность заселения земного шара; передвижения растений, изолированно и общественно живущих, и их пути; карты распространения тех растений, которые следовали за некоторыми народами; всеобщая история земледелия; сравнение культурных растений с домашними животными, происхождение тех и других; изменчивость растений... одичание одомашненных растений (в Америке, Персии); общая запутанность, вносимая в географию растений колонизациями,— вот, мне кажется, предметы, достойные размышления и почти никем не затронутые. Я занимаюсь ими непрерывно...»

Это поражающий документ. Не образ ли науки будущего пророчески начертал Гумбольдт? В самом деле, высшее человеческое знание о мире — не должно ли оно быть добыто исследованием, впитавшим в себя, усвоившим и те черты, которые считал обязательными Гумбольдт? Черты, упущенные, забытые «регистраторами

природы», какими бы отличными специалистами в своих областях они ни были...

Вот тот самый Фуркруа, из плеяды новых французских химиков-экспериментаторов, энтузиаст и пропагандист методов их работы, Фуркруа, которым восхищался Гумбольдт, находил, что Гумбольдт «слишком поддается чувствам. Он витает в сфере эмоции...».

Какое противоречие с отзывами Шиллера!

Фуркруа только пожал бы плечами, если бы его спросили, какое отношение к красоте имеет кислородная теория горения, яблочная кислота или новонайденный металл молибден...

«РЕСПУБЛИКА ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬ ГИГАНТСКИЕ ПЛАНЫ»

В немецких городах, у западной границы,— барабанный бой, маршируют войска, слышна перестрелка. Вот ряд фургонов загородил улицу. В фургонах пестрая рухлядь, дети, дедовские сундуки и узлы.

В невообразимую толчею врезается золоченая карета, запряженная цугом. Верховые в мундирах, надрывая голосовые связки, расчищают ей путь.

— Герцог вюртембергский! — шепчут жители, притиснутые к стенам своих домов.

Герцог вюртембергский и его двор бежали с наивозможной поспешностью. Войска Французской республики под командованием генерала Моро вступили в Вюртемберг.

В маленьком местечке Ингельфингене — странный кортеж. Гусарский офицер, два карабинера и трубач эскортируют молодого человека в жабо и туфлях с пряжками.

— Чем не посол китайского богдыхана? — говорит молодой человек, не обращаясь ни к кому.— Погоди, трубач, не труби. Мне кажется, что именно от таких труб пали стены древнего Иерихона!

Молодой человек с длинными белокурыми волосами — Александр Гумбольдт. Прусский двор воззвал к дипломатическим талантам ученого-аристократа. Дело идет о владениях Гогенлоэ. Надо уговорить Моро, ссылаясь на миролюбивое сердце короля, не трогать земель вассального Пруссии князя.

Гумбольдт здесь, на месте, находит, что это не так просто. Он уже вдоволь насмотрелся на растерянность штаба, на нелепые демарши, на приказы, даваемые и тут же отменяемые. «Единственное, что они хотят противопоставить французским армиям,— это моя болтовня!»

Он едет в расположение французских войск. Жадно приглядывается к солдатам революции и их вождям. Кто они, эти исполнители и воплотители воли Парижа, непостижимого города, овеянного страшной и влекущей славой цареубийства, почти сказочных побед и великих слов «Свобода, Равенство, Братство»?

Любопытно, что его внимание привлекает не главнокомандующий Моро. Несмотря на свою славу необыкновенного полководца, он показался Гумбольдту «просто» генералом. Скрытный, осторожный, угрюмый, Моро в самом деле мало напоминал пламенного республиканца. Гумбольдта поразил генерал Дезе, будущий герой Маренго. Он похож на Кромвеля, но без кромвелевского ханжеского пуританства. Он кажется «диким», но Гумбольдт находит у него «нежность и меланхолию» (два качества, которыми век Вертера желал измерять достоинство людей).

Гумбольдт ищет встреч с Дезе. Они беседуют... о новой химии! Дезе неплохо знает работы Лавуазье, Бертолле и Фуркруа.

Над генералом и дипломатом пролетают аэростаты, с которых французы ведут воздушную разведку. Дипломат развертывает чертеж изобретенной им рудничной лампы. Дезе живо заинтересован. Он обещает даже устроить сообщение о лампе в Национальном институте.

Однажды прусский королевский дипломат разговорился с часовым из приставленного к нему почетного конвоя. Приноравливаясь к интересам рядового бойца, дипломат спросил, хорошо ли дрались войска австрийского императора.

— Это звери,— ответил часовой.— Они убивают пленных!

— Но признайтесь, что все-таки они хорошие солдаты.

— Солдаты! — воскликнул француз.— Нет, гражданин, нельзя быть солдатом, не будучи человеком. Эти люди не знают о человечности!

То был молодой парень, лет двадцати.

Проходя по лагерям рейнской армии, Гумбольдт слышал шумные крики радости. Долетели вести о победах итальянской армии, которую вел генерал Бонапарт.

— Это общее дело,— объяснил Гумбольдту какой-то солдат.— Республика должна выполнять гигантские планы!

Неслыханные слова, неслыханный язык!

В Штутгарте Гумбольдт присутствовал при подъеме аэростата. Французский генерал предложил лететь с ним. Но дипломат торопился и не мог заставить ждать свой гусарский эскорт. Впоследствии он горько сожалел, что упустил «такое счастье».

Дипломатическая миссия была тем временем выполнена удачно. Князь Гогенлоэ мог пока спокойно спать в своем дворце.

Гумбольдт вернулся домой с камнем на сердце. Он не показывал виду, но острее, чем когда-либо, осознал, что проходила, да уж и прошла юность. Что ждет его?

«Человек — странствующее творение»,— обмолвился он однажды. Но его ждали не странствия, а исправная, блестящая на обычную мерку, служебная карьера. Советник горного департамента в Берлине, а потом директорство в Вестфалии или Ротенбурге с окладом в две-три тысячи талеров. Или перевод в Силезию в чине оберберграта...

Поездил — только по старой Европе. Правда, побывал и в Альпах, и под итальянским небом. Еще непреодолимей стала «жажда дали»...

В ставке Моро он снова, как тогда, во время поездки с Форстером, прикоснулся на короткое время к неведомому миру. Королевский дипломат, он опять ощутил то огромное, что открыла перед человечеством революция. Вряд ли Гумбольдт сумел бы ясно ответить, что же такое это огромное? Разве вот так: на Западе внезапно разверзлась страшная (так говорили вокруг Гумбольдта в Прусском королевстве), но сверкающая брешь в будущее!

А в Пруссии не менялось ничего. Чиновничья скука, свист шпицрутенов и завывания кликуш...

Еще весной, до поездки к Моро, Гумбольдта срочно вызвали в Берлин. Мать, иссохшая и восковая, лежала в постели. В доме, казалось, целые годы не открывали окон. Пахло могилой. Страх и тоска сжали ему сердце. Затхлый воздух сдавил горло.

И теперь, по мере того как он ехал на восток, те же страх и тоска охватывали его.

Что ждет его в берлинском доме, порог которого не переступает радость и улыбка, и спущены шторы на окнах, не растворяемых никогда, и пахнет могилой?

На полдороге он получил письмо. Брат извещал его, что их мать, вдова фон Гольведе и фон Гумбольдт, властная женщина, которая всегда казалась сыновьям бесконечно далекой, надменной и неприступной, от которой не слышали они ласкового слова и которая сделала для сыновей так много, как никогда не сделал бы для них благодушный отец, умерла 19 ноября 1796 года.

ГУМБОЛЬДТ ПОКИДАЕТ ОТЕЧЕСТВО

Тегель получил Вильгельм (замок не был собственностью, но — в наследственной аренде). Александру досталось Рингенвальде.

Он не стал колебаться, что делать с этим старым дворянским гнездом. Кунт, управляющий всеми делами братьев, устроил продажу Рингенвальде поэту Клейсту.

Общая сумма наследства, которое получил Александр, составила восемьдесят пять тысяч талеров. Теперь он богат.

Он больше не чиновник. Весну 1797 года провел в Иене. Еще раз собрался старый кружок — Вильгельм и Шиллер с семьями, Гете. Их жизнь походила на студенческую. Гете занимался анатомическими схемами и метаморфозом насекомых, дописывая в то же время «Германа и Доротею», Шиллер работал над «Валленштейном», а Вильгельм переводил хоры Эсхила. Александр шесть часов в день просиживал на лекциях анатома Лодера.

Вечерами обсуждали дневной итог. Александр красноречиво развивал свои проекты. Казалось, он жил в завтрашнем дне. «Он прислал мне письмо,— вспоминает один из многочисленных его корреспондентов, Шукман,— полное новостей, известий, планов. Это какая-то газета».

Страстью путешествовать он заразил и брата. Было решено: братья едут в Италию. Оттуда Александр через Египет отправляется в Азию.

Но Италия была полем сражения. Южнее Вены братьям не удалось пробраться.

В Вене Александр Гумбольдт посетил клинику старого Франка. Как на местную знаменитость, ему указали на профессора Порта.

Порт жил возле ботанического сада. Лабораторией ему служила единственная комната, уставленная чучелами птиц, витринами и статуями. Все это покрывал толстый слой пыли. Гумбольдт осторожно расчистил пыль в одном месте. Под стеклом он увидел анатомические препараты, дивно сделанные, точно живые; ему показалось даже — более живые, чем в живом теле. Просвечивала каждая жилка, каждый волосной сосуд, который, казалось, нельзя было и увидеть иначе, как в микроскоп!

Профессор загудел по-французски:

— Я больше не думаю об этих безделушках, не волнуйтесь из-за них, они не заслуживают никакого внимания.

Гумбольдт собрался с духом:

— Профессор извинит меня, если я попрошу хоть что-нибудь, хоть один препарат уступить мне. Определите любую цену.

Старик захохотал:

— Мой милый, у меня триста тысяч флоринов!

И он повернулся к реторте, откуда бил бурый дым — прямо в нос бесценной античной статуе, изображавшей сына Ниобеи, и в стоявший возле нее инкубатор, где выводились цыплята.

Профессор проводил Гумбольдта до ворот сада. Тут только гость заметил странный наряд старика. Какой-то род жилета, но с рукавами, прямо переходил в штаны и чулки. Профессор походил на плохо набитое чучело. На голове его была шляпа с множеством складок. Старик посмотрел на небо, закрытое тучами, затем дернул шнур, шляпа распустилась в дождевой зонт.

Вильгельм из Вены уехал в Париж. На равнинах Италии продолжалась война. И перезимовывать войну Александр отправился вместе с другом по Фрейбергской академии геологом Леопольдом фон Бухом в Зальцбург. В этом тихом городке его утешили близость Альп и обширная библиотека барона Молля.

Здесь в ноябре он встретил человека, который чуть было не определил его судьбу. То был вояжировавший англичанин лорд Бристоль, епископ Дерби. Епископский сан ничуть не усложнял лорду жизненного пути. Он любил свет, женщин, изящные искусства и безукоризнен-

ный гардероб. Он уже объехал Грецию, Иллирийское побережье и Папскую область, посвящая свой досуг археологическим раскопкам. Лорд путешествовал по старому земному шару так, будто весь он имел честь состоять колонией британской короны. Сейчас лорд проектировал поездку в Египет.

— Хотите поехать со мной?— предложил он Гумбольдту.— Я имею в виду, что вам это ничего не будет стоить. С шестьюдесятью тысячами фунтов в год можно позволить себе снарядить небольшую кавалькаду для осмотра нильских пирамид, не так ли? С нами едут Гирт, берлинский гофрат, Савари — он незаменим: восемь лет прожил в Египте,— и, я надеюсь, две дамы: графиня Деннис и графиня Лихтенау.

— Если бы мне удалось вернуться через Сирию...— решился вставить Гумбольдт.

— Какие пустяки! — перебил милорд.— Любым путем. Возвращайтесь любым путем. Мы поедем с полным комфортом. Собственное судно, разумеется, вооруженный конвой, хороший погреб и достаточно умелый повар. Иначе путешествия теряют смысл. Кроме того, я полагаю, необходимо взять двух или трех живописцев для зарисовки костюмов и монументов. Вы согласны со мной? Итак, до свидания в Неаполе!

И лорд-епископ удалился, играя тростью.

Весной 1798 года Александр Гумбольдт также уехал в Париж к Вильгельму, чтобы купить инструменты для экспедиции в Египет. Он ждал письма с назначением дня отъезда. Вскоре он узнал, что в Египет отправилась другая экспедиция, усаженная в крайней тайне на множество кораблей в Тулоне,— экспедиция Бонапарта.

Потом пришло и письмо. Оно извещало, что игривый лорд арестован в Милане по довольно основательному подозрению в том, что он затевает английскую интригу на нильских берегах.

ФРЕГАТ «ПИЗАРРО»

То не был Париж Марата и Робеспьера — революция пошла на спад,— то был Париж термидорианской Директории. Но все еще революционный Париж, столица рес-

публики. И научная жизнь кипела в нем. Какой контраст с Берлином!

Комиссия, возглавляемая астрономом Деламбром, заканчивала измерение градуса меридиана, знаменитое измерение, из которого родилась новая единица длины — метр.

В полдень 15 прериаля VI года — 3 июня 1798 года — сомкнулись отрезки измеренной дуги между Мелуном и Льерсеном.

Гумбольдт стоял рядом с математиком Лаландом и прославленным мореплавателем Бугенвиллем. Бугенвиллю было семьдесят лет, но он держался молодцевато и мечтал о втором кругосветном путешествии.

— На этот раз,— сказал он Гумбольдту,— я направляюсь к Южному полюсу. Считайте этот разговор за предложение сопутствовать мне.

В Париже в то время работали во всех областях науки десятки людей замечательной одаренности, словно выплеснутые революционной волной.

Гумбольдт встречал этих людей в музеях, в институтах, у брата. Он сравнивал своих новых знакомых с гельмштедтским Байрейсом, будто выскочившим из времен Парацельса, и с венской окаменелостью, Портом.

Лаланд говорил:

— Прогрессу математики и астрономии в Париже нечего удивляться. У нас интегрируют генералы. Какая математическая голова у Бонапарта! Когда он в столице, он не пропускает ни одного заседания института.

И добавил, усмехаясь:

— Он зовет меня дедушкой. Это потому, что он учился у Дажеле, моего ученика.

Тем временем Директория приняла решение послать вокруг света вместо Бугенвилля, у которого все-таки осталось больше энтузиазма, чем физических сил, капитана Бодена. Начались сборы экспедиции, которая должна была отплыть на трех корветах. Гумбольдту уже отвели место на корвете «Вулкан».

Пятилетнее путешествие! Он ходил сам не свой! Первый год — Парагвай и Патагония, второй — Чили, Перу, Мексика, Калифорния, третий — Южный океан, четвертый — Мадагаскар и пятый — берега Гвинеи!

А Бугенвилль привел к нему пятнадцатилетнего сына.

— Я поручаю его тебе. Пусть он привыкает к тягостям морской жизни.

И старик заплакал.

Несколько раз, уходя из дому и сдавая ключ консьержке, Гумбольдт встречался с молодым человеком, тоже отдававшим свой ключ. Они отвешивали друг другу церемонные поклоны. Наконец они познакомились.

— Меня зовут Эме Бонплан,— сказал молодой человек. Он указал на ботаническую сумку: — Я ботаник.

Он был на четыре года моложе Гумбольдта. О себе он рассказал охотно. Он врач и плавал в Атлантике на фрегате республики, готовый применить свое искусство хирурга, как только заставят это сделать английские ядра. Затем он слушал Дезо, великого Биша и Корвизара. Стоит ли говорить, что каждый из этих троих — светило медицины. Однако Бонплану все-таки надоело пускать кровь и ставить клистиры,— увы, такова профессия врача! Но и отбивание породы от ископаемых костей, похожих на обломки окаменевшей палицы Геркулеса, как и потрошение морских ежей, также оказалось не тем, о чем он мечтал.

Больше всего он любит природу, живую и благоухающую. И вот сейчас он собирает цветы и травы.

Гумбольдт пришел в восторг, узнав, что и Бонплан едет с Боденом.

На корветах ставили мачты. Вечерами, оставаясь один, Гумбольдт читал «Эпохи природы» Бюффона и Бернардена де Сен-Пьера, который жеманным слогом рассказывал об острове, похожем на рай, где роскошные цветы и птицы ярче алмазов были свидетелями любви Поля и Виржини.

«Человек должен желать доброго и великого,— записал Гумбольдт.— Остальное зависит от судьбы...»

Розовый туман внезапно рассеялся. Директория, готовясь к войне, отменила дорогостоящую экспедицию.

Но нет, он все-таки поедет. Теперь он непременно поедет!

Перебраться в Африку, пересечь пустыню с попутным караваном, присоединиться к египетской армии... Швед-

ский консул Скьелдебрандт обещал устроить переезд через Средиземное море на фрегате «Ярамас», который вез подарки алжирскому бею.

Гумбольдт простился с Вильгельмом (брат заплакал) и с парижскими друзьями, причем капитан Боден назвал его отъезд «расторжением брака» и шумно расхохотался. В Марсель Гумбольдт отправился с Бонпланом, самым недавним и уже самым близким другом.

Шведского фрегата не было. В ожидании путешественники собирали раковины и крабов на берегу, возле которого волны колыхали бурые лохмотья водорослей-фукусов.

Съездили в Тулон. На рейде стоял фрегат «Капризная» — фрегат Бугенвилля, обошедший вокруг света! Гумбольдт спустился в каюту. Он сел у окна и десять минут смотрел на сверкающее море.

Прошло два месяца. Ежедневно друзья взбирались на гору, откуда видны приближающиеся корабли. Наконец они узнали, что «Ярамас» разбился у берегов Португалии и экипаж его погиб.

Тогда Гумбольдт подрядил в марсельской гавани барк, который должен был перебросить их на африканский берег. Но восемь дней свирепствовал шторм. Затем им отказали в паспортах. Только долгое время спустя выяснилось, что и за это им следовало благодарить судьбу. В Тунисе были перебиты все пассажиры-французы и вообще все приехавшие из Франции.

Открытой осталась одна дорога — в Испанию. В самом конце 1798 года Гумбольдт и Бонплан отправились туда.

В деревнях, укрывшихся среди фисташковых рощ, жили нищие. В харчевнях не было хлеба. Но Гумбольдт жадно смотрел на пальмы и розы, и ему казалось, что никогда до этого момента он не видел деревьев и цветов.

Четвертого марта 1799 года путешественники уже стояли на террасе дворца Инфантадо в Мадриде.

Саксонский посланник Форель представил немца и француза дону Уркихо. Этот кичливый человек был либералом; он переводил Вольтера. Вчера ему грозила инквизиция. Завтра его ждет камера в памплонской крепости. Но сегодня он первый министр — кратковременная политическая комбинация властителей Испании и громадная удача для двух молодых гостей пиренейской столицы.

Уркихо ввел их к королю, в его весеннюю резиденцию — Аранхуэц, окруженный парками и лесом, зеленый остров посреди пустынных равнин и нагорий.

В те времена значительная часть Америки принадлежала Испании. Испанскими были Калифорния, Флорида, Луизиана, Техас, Мексика, Центральная Америка с вест-индскими островами и вся Южная Америка, за исключением Бразилии, Патагонии и Огненной Земли.

Красно-желтый флаг развевался над огромной территорией — от 38 градуса северной до 42 градуса южной широты. Там господствовали нравы, мало изменившиеся со времен конкистадоров. Но метрополия, знавшая лишь «хозяйство» меча и иезуитского креста, выжимала до смешного ничтожные доходы из своих чудовищных по размерам колоний.

Мадрид чувствовал, что он ведет на нитке великана. И в Мадриде следовали политике всех бессильных и трусливых деспотий. Закрыть заокеанские владения от постороннего глаза, от всего мира! Пусть никто не переступает их границ. За торговлю с иноземцем полагалась виселица, а в лучшем случае конфискация имущества. Бессрочная тюрьма ждала того, кто попытался бы собрать статистические данные или сведения об управлении в испанской Америке. За три столетия в испанскую Америку было допущено только шесть научных экспедиций. Путешественники снимали карту побережья, смотрели в трубу на звезды и присылали в европейские музеи немного сухой травы и птичьих чучел.

Мало кто решался углубляться в страну по большим рекам. Так, Солана поплыл в 1754 году по верхнему Ориноко и привел назад из трехсот двадцати пяти спутников всего тринадцать.

Что же сказал Гумбольдт королю? Несомненно, он призвал на помощь все свои дипломатические таланты. Он завел речь о колоссальных, еще не известных богатствах Америки, о золотом потоке, который польется в тощую испанскую казну в результате путешествия человека компетентного и самоотверженного. Он польстил Карлосу IV Бурбону, уверив его, что так произойдет именно в его царствование. Гумбольдт обращался при этом и к сидящему перед ним громоздкому простаку-атлету, и к истинной повелительнице Испании, королеве-итальянке

Марии Луизе, рыхлой, черной, унизанной драгоценностями, сластолюбивой, недоверчивой, гротескной, с лицом, похожим на раскрашенную маску.

Каких чувствительных струнок коснулся Гумбольдт в этих сумрачных душах? Случилось невероятное: он победил. Он увез из Аранхуэца письмо, в котором дон Уркихо удостоверял, что король предоставил его предъявителю право ездить, куда ему вздумается, по всей Америке, возить с собой инструменты, смотреть, что придет в голову, упаковывать в ящики кого и что угодно, и прочие, столь же неслыханные для чужестранца, отправляющегося в испанские владения, права. Силу письма друзья испытали уже в Корунье, над улицами которой торчали мачты судов, стоявших в гавани после рейса в Новый Свет. Комендант порта Клавихо прочел письмо и сказал:

— Фрегат «Пизарро» к вашим услугам, сеньоры.

Это походило на сказку. Гумбольдт почувствовал себя странствующим принцем. Но он решил воспользоваться до конца плодами своей дипломатической победы, самой блестящей из всех, какие ему приходилось одерживать. Он сказал, что хотел бы задержаться на острове Тенериф, чтобы осмотреть Оротаву и знаменитый пик Тейде.

Клавихо поклонился:

— Капитан «Пизарро» будет счастлив следовать указаниям сеньора.

Однако прошло еще десять дней. Дул западный бриз. Ходили слухи об английских судах, блокировавших побережье.

Четвертого июня густой туман застлал горизонт. Это был предвестник попутного ветра. 5 июня Гумбольдт послал письма Фрейеслебену, Моллю и Вильденову — короткие записки с нервными разорванными фразами: «У меня кружится голова от радости...»

В два часа дня «Пизарро» под парусами развернулся в узком и длинном выходе из гавани Коруньи к морю. Волны с шумом бились о скалы гранита и серого песчаника. С палубы был виден замок святого Антония. Там в цепях умирал отважный Маласпина. Его бросили в каземат без суда, по доносу, когда он вернулся из плавания, в котором пытался найти северо-западный проход вдоль берегов Америки.

Затем «Пизарро» прошел под башней Геркулеса, или Железной башней, возносившей на тридцать метров над

скалой свои стены, осыпанные птичьим пометом, сложенные — толщиной в человеческий рост — еще римлянами. Город вдали делался похож на кучу белых раковин на рыже-бурой, сожженной пылающим закатом земле.

Солнце село. Тусклый свет из рыбачьей хижины на мысе близ Сизарги стал меркнуть. Фрегат качало.

ОСТРОВ ДРАКОНОВА ДЕРЕВА

Они плыли по легендарному океану древних географов, океану, который фантазия прибрежных народов населяла некогда сказочными образами. В нем гасли ветры над липкой водой, похожей на асфальт, и солнце уходило за острова блаженных, в вечерние сады, где геспериды собирали золотые яблоки.

Они плыли по торной дороге смельчаков, раздвигавших мир великими открытиями.

Две с половиной тысячи лет назад тут прошли суда финикийцев в поход вокруг Африки. В конце пятнадцатого столетия Васко да Гама и Колумб провели здесь свои каравеллы,— оба отправились искать Индию: один — на востоке, другой — на западе. Это море хранило следы легендарной и героической истории человечества, как хранят их тысячелетние караванные тропы в Азии.

Седьмого июня «Пизарро» пересек параллель невысокого гранитного, похожего на несколько сломанных зубов мыса Финистерре, что значит «конец земли».

Дули слабые ветры, сменяемые штилями, океан охватывал корабль кругом глубокой синевы.

В одном месте опущенный термометр показал на два градуса выше, чем незадолго до того. Поперек океана шла теплая струя. Каждый раз, опуская термометр, Гумбольдт находил ее. Она тянулась на сотни миль, четко отделенная от окружающих гигантских масс воды, как горячая артерия.

То было экваториальное течение.

Восьмого июня, когда садилось солнце, на юго-востоке показались мачты английского судна. На «Пизарро» потушили все огни.

Одиннадцатого июня фрегат окружила стая медуз. Тысячи медуз плыли на юг, сокращая свои колоколообразные тела, отливавшие на солнце розоватым блеском. Все море рябило ими. Выловленная медуза расплывалась на

блюде студнем. Но ночью стоило слабо ударить по краю блюда, как студень заливало бледным сиянием.

На марс села ласточка; обессиленная, она далась в руки.

— Родина посылает нам последний привет,— говорили моряки.

Гумбольдт и Бонплан проводили ночи на палубе. В одну из ночей луна осветила контуры горы.

Гора была вулканом острова Ланцарота.

Днем увидели на скалистом берегу черный форт. Ему салютовали испанским флагом. Форт безмолвствовал. Тогда спустили шлюпку. Черный форт оказался базальтовой скалой крошечного островка Ля-Грациоза.

Здесь Гумбольдт впервые высадился на неевропейскую почву. Им овладело чувство, которое, по его словам, «ничто не может выразить». Берег, травы, тропинки — все вокруг казалось ему чудесным. Он не узнавал даже предметов, которые ничем не отличались от европейских или были хорошо знакомы ему по зоологическим и ботаническим садам. Рыбака, пустившегося бежать при виде пушками вооруженного фрегата, он готов был принять за представителя тех первобытных народов, о которых грезил Руссо и которые описывал Форстер.

Задолго до того, как фрегат причалил в гавани Санта-Крус, путешественники увидели пик острова Тенериф.

Кокосовые и финиковые пальмы кидали тени на плиты набережной. Белые дома прятались в померанцевых деревьях, миртах и кипарисах.

В городе Оротаве Гумбольдт и Бонплан остановились в доме английского купца Колегана, где до них жили Кук и Банкс. Пирамида пика, казалось, висела над домиком, окутанным плющом и диким виноградом.

Фрегату «Пизарро» нельзя было задерживаться на Тенерифе больше четырех-пяти дней: англичане могли появиться в любую минуту.

Взяв проводников, друзья пошли в сторону пика.

Сейчас она молчала, эта громадина перед ними. Но какая чудесная сила вознесла ее выше туч? Таинственная сила, воздвигавшая горы, не была ли она в то же время производящей силой земли, о которой говорил Бюффон в «Эпохах природы», силой, порождавшей и жизнь на земле? «Что подняло горы, выровняло равнины, ограничило

море берегами? — настойчиво задает себе вопросы Гумбольдт.— Сила воды или огня? Что такое вообще вулканы? Как они происходят и как действуют?»

Каменистая дорога пересекала каштановую рощу. Начались кустарники, жестколистные лавры, древовидные верески. Потом папоротники.

Стало приметно холодней. И вот путешественников встретили европейские ели и можжевельники...

Радостное возбуждение, обостряющее все душевные силы и способности, не покидало Гумбольдта. Словно какую-то особенную зоркость приобрели его глаза. Разве он первый поднимался на горы? Он знал — нет, конечно. Так как же до него не разглядели то, что теперь он так ясно видел?

Внизу были тропики. Субтропики наслаивались над ними. Выше — леса умеренного пояса. А еще выше, вот за этими кустами ретама, которые ощипывают дикие козы с рыжей шерстью, крутизна, ржавая от последних лишайников, белый иней — полярная тундра.

Поднимаясь на пик, он и его спутники будто прошли всю землю, пояс за поясом, от экватора до Арктики.

...Знание, с которым мы вырастаем, очевидное для нас знание, так что трудно даже вспомнить, в какой книге мы прочли впервые о том, что на горах есть климатические пояса и растительность распределяется зонами, а зоны эти подобны реальным широтным зонам и поясам на земле,— это знание в главной своей части было добыто, как открытие, тогда, в 1799 году, на склонах Тенерифского пика. Историки науки выискивают догадки, какие высказывались раньше,— шутку француза Турнефора, взбиравшегося на Арарат в 1700 году, замечания, кинутые Альбрехтом фон Галлером, самоуверенным законодателем биологии восемнадцатого века, намеки (о влиянии климата) у Вильденова, учителя Гумбольдта; смутность их не идет ни в какое сравнение с безоговорочной твердостью суждений Гумбольдта...

...Стемнело, путники ненадолго заснули. Спал ли Гумбольдт? Мысли непрерывной чередой возникали в его мозгу. И то же непроходящее чувство радости окрашивало их.

Тропики! Очутившись в них, замечаешь это сразу, по тысяче признаков, точно попал на иную планету. Но *чем именно* вызвано это ощущение? Что это за тысяча признаков?

То растительный и животный мир. Гумбольдт так поражен всем уже виденным — хотя это еще лишь острова, настоящие тропики впереди,— что он не ждет, он торопится с выводом. Да, *только* животный и растительный мир! Смахни его — и в узких проливах среди Канарских островов, глядя на темные береговые обрывы и ущелья, прислушиваясь к плеску воды у бортов, вообразишь себя на Рейне, где-нибудь вблизи Бонна.

Даже так представляется его нетерпеливому, его слишком переполненному впервые увиденными образами сверкающей жизни тропиков воображению!

И — редкий для него случай! — тут он все-таки невольно обедняет тот мир, о необычайном, о ярком богатстве которого неотступно думает...

Не те скалы, не та почва, не то лицо земли — даже без жизни на ней! Но должно было пройти еще восемьдесят лет, чтобы другими учеными, в другой стране, России, был ясно понят и этот факт.

Путники тронулись снова в три часа ночи и еще до рассвета пришли к пещере, заваленной снегом и льдом.

Выше горной пещеры не взбирался никто. Проводники ворчали. Но Гумбольдт шел, цепляясь по-кошачьи, карабкаясь на четвереньках. По сторонам вершины зияли отдушины, «ноздри» пика. В восемь часов утра по окаменевшему лавовому потоку друзья взобрались на вершину. Затем спустились в жерло кратера.

Сернистые пары прожгли им платье. Руки окоченели от холода. А по земле было мучительно ступать: на ней шипела, вскипая, вода.

Круг моря казался неизмеримым. А внизу, в гавани, виднелись даже снасти на кораблях — так был прозрачен воздух. И теперь весь этот остров, огромный, желтый, мертвый, представился Гумбольдту уже не райским садом, а только кучей пепла, чуть тронутой по краю узкой каймой людских поселений и виноградников.

В Оротаве, в саду некоего Франки, они осмотрели драконово дерево — то самое, о котором мечтал мальчик Александр в Тегельском замке. Ствол дерева был вздут, как бочка. Огромное дупло показывало, что он пуст. Путешественники измерили его: на высоте человеческого роста он имел сорок пять футов в окружности, у корня же — семьдесят четыре фута.

С верхней части дерева отходили короткие ветки с

жесткими розетками на конце, похожие на щупальца. Дерево напоминало гигантский полипняк.

Когда Жан де Бетанкур, нормандский рыцарь, впервые высадился в 1402 году на Тенерифе, это дерево было таким же толстым и пустым. Оно существовало, по-видимому, около четырех тысяч лет.

Но до нашего времени оно не дожило.

Ураган в 1819 году сломал его вершину. Другой ураган, 2 января 1868 года, уничтожил его совсем.

ОКЕАН

Ночами море светилось. Мириады бледных, холодных огней вспыхивали в плещущей пене за кормой. Дельфины оставляли борозды сияния.

За тропиком Рака появились летучие рыбы. Они выпрыгивали почти на шесть метров из воды и, как стрелы, рассекали воздух. Гумбольдт вскрыл несколько рыб, шлепнувшихся на палубу. Две трети их тела занимал плавательный пузырь.

Ветер изменился на западный. На востоке небо странно померкло. Как бы гигантский тусклый купол встал там, почти доставая солнце в зените.

Сахара, невидимая, втягивала воздух с океана.

Иногда, все облепленные морскими уточками, седые от соли, колыхались в воде куски дерева,— Гумбольдт вспомнил о бамбуке, выдолбленных стволах сосны и трупах людей с широкими лицами, которые выкидывал прибой на Азорские острова во времена Колумба. Новый Свет через океан подавал руку Старому.

Ничто в этом мире не существовало само по себе, вне общих связей.

Однажды корабль закачался на отлогих, широких волнах. Они пришли вал за валом откуда-то из пустынного пространства, их бока тускло просвечивали зеленью. Дул слабый бриз, нигде, по всему кругу горизонта, не видно ни пенных гребней, ни тучки,— никаких следов шквала. То была мертвая зыбь. Тогда особенно ясно почувствовали путешественники огромность океана.

Ртуть термометра, который Гумбольдт неутомимо опускал за борт, застывала в одни и те же часы на той же

черте. Температура медленно колебалась в течение суток — точно дышала гигантская грудь. Море в среднем было теплее воздуха. Казалось, оно жило отдельной жизнью, и общая работа связывала его.

Гумбольдт прилежно отыскивал эти связи. День его, как всегда, был полон до краев. Тому, что он делал на фрегате «Пизарро», еще не скоро дадут имя: в то время еще не знали науки океанографии.

Он установил, что термометр иногда мог служить лотом. Глубина и донный рельеф отражались на температуре. Приближение мели давало о себе знать более холодной водой.

Стрелка компаса указывала на северную оконечность Америки, где лежал магнитный полюс. Изредка стрелка компаса начинала плясать: проносилась невидимая и неслышная магнитная буря. В это время на Солнце наступал максимум пятен. Общая работа связывала мир.

Ночами Гумбольдт направлял трубу на бархатно-черное небо, все засыпанное почти пылающими звездами. Он следил, как меняется картина созвездий. Местами на небе зияли проедины — глухие беззвездные пятна. Им уже удивлялся астроном Гершель. «Угольными мешками» метко называли их. Гумбольдт не астроном, но мир един, прекрасный и постижимый. Никогда Гумбольдт не был тверже уверен в этом, чем в те дни и ночи радостной ясности мыслей, когда ему представлялось, что природа сама рассказывает себя. И в какую-то из ночей на «Пизарро» он видит простейшее объяснение тайны небесных проедин — не придумывает, а именно *видит*, доверяя непредвзятости своего зрения: звезды там заслонены темными, непрозрачными массами материи, холодной космической пылью.

Это то — проще простого — объяснение мрачных зияний на небе, которое и было принято наукой.

От северной оконечности островов Зеленого Мыса «Пизарро» повернул на запад. На запад поворачивало и течение. Гумбольдт исследовал во всех подробностях эту мощную широкую струю теплой воды с тех пор, как корабль вступил в нее. Он сличал свои наблюдения с рассказами моряков, с описаниями старых путешествий. Производил сложные расчеты. И по расчетам выходило, что струя воды обходит в этой части Атлантики в течение двух лет и десяти месяцев круг в семнадцать тысяч километров. О скалы африканского мыса Лопец разбился английский корабль. Через несколько лет океан вернул его груз —

бочки с пальмовым маслом — отправителю. Их понесло к Южной Америке, а оттуда к берегам Шотландии.

Ночью 4 июля над водой всплыли четыре блестящие звезды и ряд мелких, образующих две пересекающиеся линии. Это был Южный Крест.

На корабле начался тиф. С колосниками на ногах опустили в океан умершего девятнадцатилетнего астурийца, ехавшего в Новый Свет за счастьем. Капитан решил вести корабль в ближайшую южноамериканскую гавань.

Тринадцатого июля показались крутые берега островов Табаго и Тринидад.

Шестнадцатого они увидели город, похожий на Тулон; над ним высились горы, до самых макушек покрытые лесом.

То была Кумана.

ЖИЗНЬ ВСЕОЖИВЛЯЮЩАЯ

За двадцать пиастров в месяц Гумбольдт и Бонплан сняли домик. Им прислуживали две негритянки.

Друзья почти не бывали дома. Они гуляли по улицам, где изгороди из кактусов огораживали дворы. В крепостном рву жили крокодилы. Часть города была в развалинах — память о землетрясении 1797 года.

Друзья видели кокосовые пальмы, пизанги, поинцианы с букетами ярко-красных цветов и целую толпу растений, которых не было ни в одном ботаническом справочнике. «Какие деревья! — восклицает Гумбольдт.— Какие цвета птиц, рыб, даже крабов — небесно-голубых и желтых! Страна настолько неизвестна, что только два года назад описали новый ботанический род. А это огромное дерево — мы его нашли сразу после приезда — шестьдесят футов высоты, с тычинками длиной в дюйм...»

Растительная жизнь вырывалась изо всех пор этой вулканической земли. Камень, положенный вчера, сегодня исчезал в зеленой пене безыменных трав.

«Мы бегаем, как дураки. Первые три дня ни за что не могли взяться. Бонплан уверяет, что сойдет с ума, если чудеса не прекратятся...»

Вечерами зажигались огромные тропические звезды. Венера казалась радужным кружком. Она светила, как

маленькая луна, и при ее свете Гумбольдт разбирал деление на своем секстанте. Он записал:

«Я чувствую, что здесь буду очень счастлив».

Четвертого сентября Гумбольдт с Бонпланом выехали в область каймасских индейцев.

Из почвы били ключи. В морщинах стволов гнездились орхидеи. Временами яростные, хриплые крики потрясали лес. Путешественники осторожно двинулись на крики. Кричала птичка величиной с дрозда. Ее гнездо, напоминавшее бутылку, висело на самом густом и высоком дереве.

Быть может, здесь Гумбольдту впервые и пришла в голову мысль о «всеоживленности» поверхности земли.

Жизнь! Что значат рядом с нею тощие схемы Линнея, пыльные тома Гесснера, даже грядки с «естественными отрядами» растений, устроенные в Парижском ботаническом саду Жюссье, садовником республики?

«Куда ни обратит свой взор естествоиспытатель, везде встречает он жизнь или зародыш, способный произвести ее».

Однако леса, где думал Гумбольдт о всеоживляющей жизни, не были девственными лесами. Деревья расступались, открывая хижины среди сахарного тростника, пизангов и кукурузы. Индейцы, голые или с повязкой на чреслах, трудились в поте лица на плантациях. По воскресеньям они крестили лбы, как выучили их добрые отцы, которым, впрочем, и принадлежал урожай земных плодов, выращенных краснокожими чадами.

Монастырь Карипе был административным центром местности. Католические падре играли большую роль в системе испанского управления колониями.

Старый приор удивлялся, как можно совершить столь далекий путь ради раскалывания камней и натыкания бабочек на булавки. Крепкокостый и меднощекий, он дал понять, что ничуть не верит, будто гости пересекли океан, чтобы размахивать сачками и отыскивать окаменелости.

Гумбольдт обезоружил его своей любезностью. Дело закончилось сытной трапезой.

— Камешки, бабочки, булавки,— бормотал приор. Медные щеки его пылали; он походил на седобородого бронзового Вакха.— Мы живем в местах, где наши поучения охотнее повторяют попугаи, чем индейцы. Но что такое

скука, мы не знаем. Я скажу вам, вы сейчас молоды, но потом вы поймете. Хорошо изжаренный кусок свинины — большая радость. В этом видна благость господня. Ибо по его неизреченной милости мы никогда не лишены этого наслаждения, простого и — не надо кривить душой — прекрасного.

В долине Карипе зияла пещера Гуахаро. В индейских поселениях о ней рассказывали легенды. Проникнуть до конца пещеры не решался никто.

Гумбольдт и Бонплан вошли в пещеру. Они спугнули тысячи ночных птиц. Хлопанье их крыльев и крики под низкими черными сводами казались оглушительными. Помет сыпался дождем.

В воздухе Куманы появился красноватый пар. Густой туман окутал город и порт. Ночью удушливый воздух издавал, как показалось Гумбольдту, слабый серный запах.

Раздался подземный удар. Стены заколебались. Гумбольдт был в числе немногих, не поддавшихся панике. Он следил за стрелками компаса и электроскопа, за поведением животных — на них все виднее, чем на людях,— и, наконец, за самим собой. Впоследствии он записал: «С детства мы привыкли, что подвижна вода, земля — неподвижна. Во время землетрясения чувствуешь нечто вроде пробуждения. Одно мгновение уничтожает иллюзию целой жизни. Впервые видишь перед собой неизвестную силу. Впервые не доверяешь той почве, по которой так долго ходил. Землетрясение кажется чем-то вездесущим, беспредельным. От потока лавы можно уйти. При землетрясении же, куда ни беги, все оказываешься над самым очагом гибели».

Через восемь дней Гумбольдт и Бонплан стали свидетелями другого поразительного явления. Это был, ставший знаменитым после Гумбольдтова рассказа, дождь падающих звезд 12 ноября 1799 года. Гумбольдт впервые научно описал встречу Земли с гигантским метеорным роем. В течение трех часов небо бороздили пылающие полосы. Метеоры сверкали белым светом, рассыпая зеленоватые хвосты.

Гумбольдт предсказал, что огненные дожди должны периодически повторяться, ибо орбита Земли пересекается с орбитами метеорных роев, и моменты встреч могут быть вычислены.

Эта мысль вошла в азбуку астрономии. А в сотни учебников и хрестоматий вошла картинка, изображающая

Гумбольдта и Бонплана на фоне неба в огнистой штриховке.

Но объяснение, данное Гумбольдтом, ставши азбучным, сделалось почти безличным. Нужно отвлечься от нашего современного уровня знаний, чтобы представить себе все значение сделанного Гумбольдтом. И в этом случае и во множестве других.

Между тем приближалось время дождей. Воздух терял прозрачность. Ночами звезды светили тускло.

Оставляя Куману, Гумбольдт испытал тоску разлуки.

Каракас [1], закрытый вечерним туманом, напомнил ему о пейзажах в горах Гарца.

В Каракасе он провел два с половиной месяца. Поднимался на гору Силла, не слишком высокую, но на ней, как уверяли Гумбольдта, никто до него не бывал.

На лугах, у вершины, среди ежевики и желтых цветов, напоминавших лилии, Гумбольдт тщетно искал альпийские розы. Их не было во всей Южной Америке. И только потом, на плоскогорьях Мексики, он нашел розу Монтесумы.

Местностью «проклятой», по выражению испанских поселенцев, путешественники отправились на запад. Они видели поля, дававшие урожаи сам-двадцать, и озеро Валенсию, вокруг которого хищнически вырубали роскошные леса. «Природа,— записал Гумбольдт,— раскрывает свои тайны и свою красоту только перед тем, кто способен понимать их».

Около фермы Барбула Гумбольдт, первый из натуралистов, увидел и описал коровье дерево. Оно росло на скале, листья его были сухи и жестки и казались мертвыми. На восходе солнца к дереву сходились индейцы. Они просверливали кору. И белый, густой, сладковатый сок лился в тазы и сосуды из тыквы. Одни пили молоко тут же, другие уносили его в хижины для своих детей.

В Порто-Кабелло остановились на несколько дней.

Отсюда предстояло двинуться в глубь страны, почти неведомой. Поселенцы в Порто-Кабелло, как раньше в Каракасе и в Кумане, отговаривали обоих путешественников. Их пугали и желтой лихорадкой, и ягуарами, и дикарями. Поселенцы жались к морским берегам. О внутренних областях они не знали почти ничего.

[1] Нынешняя столица Венесуэлы.

Степи были как море. Волны ветра пробегали по злакам, крошечным мимозам и «сонным травам», сжимавшим листья, когда их касался человек или животное.

Крапчатые олени, похожие на козлов, поднимали из травы морды и нюхали воздух. Кое-где группами и в одиночку росли пальмы. Литые шары деревьев какао бросали черную тень; издали в воздухе, струящемся от зноя, их можно было принять за черные шатры стойбища кочевников, мимо которого проносятся призрачные стада.

Сухой треск цикад сыпался из высоких трав. Жизнь, кишевшая в них, давала о себе знать шорохом, писком, свистом птицы. Иногда выкатывалась, словно выброшенная расступившейся водой, тупорылая морская свинка и в беспомощном испуге топталась на месте. У ручьев находили широкие, как блюдечки, следы ягуара. Лента, выдавленная на рыхлой земле, указывала, что тут проползла змея.

На юге громоздились облака, белые и крутые, как меловые горы.

В этих необозримых степях — льяносах — жили скотоводы. Их тростниковые хижины, покрытые воловьей шкурой, были отделены друг от друга двадцатью четырьмя часами пути. Льяносы стлались от Каракаса до горного кряжа на юго-западе, который конкистадоры, залитые кровью, некогда назвали «Прекрасным местом Вечного мира».

Днем небо было голубым, почти синим. Ночью, когда зажигались звезды, Гумбольдт видел недалеко от Южного Креста тусклое сияние Магеллановых облаков.

Магеллановы облака! Поверье о них сложилось давно, еще тогда, когда первых испанских завоевателей поразило это сияющее скопление звездной пыли, невидимое в Европе. Как, в чьей голове родилась нерушимая уверенность, что это отблеск Эльдорадо — скалы серебра и золота, скрытой в горах Париме, на южной границе льяносов?

Люди шли за обманчивым огоньком легенды об Эльдорадо.

Шли авантюристы и конкистадоры в шлемах и панцирях, с мушкетами, мечами и лопатами, глядя на золотые Магеллановы облака на южном небе.

Они не могли дойти до Эльдорадо, как не могли дойти и до звездных облаков. Люди гибли. Тропические ливни

омывали их кости. Миновало два столетия — и охотники за золотом, смелые, алчные, жестокие, углублялись попрежнему в льяносы, навстречу звездным облакам. Вместо шлемов они несли с собой географические карты отцов-иезуитов. Там была обозначена золотая скала среди Паримского озера, обширного, глубокого как море, и золотой город Маноа на ней. И даже мадридским министрам снился плеск волн и нестерпимое сверкание золота... О, если бы осенило оно нищую и дряхлую кастильскую корону! В 1775 году кабинет принял решение покончить наконец со всеми тяготами и неприятностями, так обильно выпадавшими на долю пиренейской монархии. Найти Эльдорадо! Снова сотни солдат тяжелым шагом двинулись через льяносы. Они не пришли обратно. И мечта трех столетий — золотая птица Эльдорадо — так и осталась непойманной...

Это случилось всего двадцать пять лет назад. Гумбольдт шел к Сьерра-Париме по пути испанских солдат. Но не сказка об Эльдорадо интересовала его. Он смотрел и считал, определяя по цианографу степень синевы темно-бирюзового неба. Земля горьких трав и серебристых злаков, безлесная земля льяносов делала небо сухим и прозрачным, как протертая линза. Дальше к югу оно мутнело. Туда долетало влажное дыхание великого леса, еще невидимого.

Земля и небо — это опять отчетливо увидел Гумбольдт — были связаны.

Восприятие мира у Гумбольдта было по преимуществу зрительным. Ни звуки, ни запахи для него не характеризовали природы, музыки он никогда не любил. Его картина мира и в этом отношении резко отличалась от картины мира поэтов-романтиков. «Лучшее описание мира,— говорил он,— есть то, при котором ухо обращается в глаз».

Огромные косяки диких мустангов пересекали дорогу каравану. Они срывались в галоп, ломая низкие заросли пальмы маврициии. Из сердцевины этой пальмы индейское племя гуаранов делало круглые хлебы. Сок гуараны сбраживали в вино. В дорогу брали плоды. Из лиственных жилок плели ткани. Из стволов строили хижины. Одна эта пальма могла прокормить, одеть и защитить от непогоды человека. Какое богатство природных возможностей — и какая пустыня, какая нищета редкого бродячего населения, таящегося, как звери!

Он смотрел и считал.

В гербарий должны были войти, насколько это удастся, все образцы растительного мира. Но надо не просто привезти в Европу диковинку, а отыскать и указать связь между организмом и местом его обитания,— для Гумбольдта такая задача казалась сама собой очевидной. Она вытекала из той картины мира как целого, которую он *видел* и которая повелительно требовала искать, изучать всеобщие связи.

До Гумбольдта так не делал никто. Да и долго после него с такой точностью делали немногие. Гумбольдт помог научной географии растений выйти из младенческих пеленок.

Бонплан оказался идеальным спутником. Он был весел, в нем горел энтузиазм коллекционера. Он мог целыми днями собирать листья, ветви и цветы, весело балагуря, в то время как Гумбольдт с помощью барометра определял высоту того места, где найдено растение, отправляемое в гербарий.

Бонплан преклонялся перед Гумбольдтом, перед его неистовой работоспособностью, его умением видеть связь всех вещей.

Но зато Бонплан чувствовал себя как дома среди цветов, стеблей, крон неведомых деревьев, похожих на шатры, и среди ножниц, клея, бумажных листов и деревянных ящиков для ботанического гербария.

Друзья дополняли друг друга. Дополняли и в том, что Бонплан был беден, Гумбольдт богат; путешествовали на средства Гумбольдта.

Общей у них была живость характера и потребность друг в друге; и ясными вечерами оба они одинаково не жалели о том, что Магеллановы облака, более далекие, чем самые дальние звезды, никак не могут отражать блеска золотой страны — Эльдорадо.

КАСИКЬЯРЕ — ВОДЯНОЙ МОСТ

Город Калабосо состоял из двух десятков тростниковых хижин и нескольких деревянных домов. В нем жило пестрое население — индейцы, креолы, испанцы. Половина жителей приезжала из степей и уезжала снова в степи.

Город-деревня казался случайным и колеблющимся сгущением льяносов.

Вблизи Калабосо Гумбольдт остановился посмотреть охоту на электрических угрей. Еще со времени своих «гальванических» опытов он придавал громадное значение животному электричеству. И давно мечтал понаблюдать этих странных пресноводных рыб, носящих в своем теле настоящую лейденскую банку — самое поразительное орудие нападения и защиты. Здесь, под Калабосо, огромные, почти двухметровые, желто-пятнистые угри сделали непроходимыми переправы через речки.

Индейцы кнутами и палками загоняли в воду лошадей и мулов. Рыба, извиваясь, прикладывалась к брюху лошади. Электрическим ударом она поражала одновременно сердце, внутренности, брюшные нервы. Сильная лошадь делала чудовищный прыжок и падала. Другие с диким ржанием бросались на берег. Их встречали бамбуковыми палками.

Но мало-помалу электрические разряды становились слабее. Сила угрей истощалась. Рыбы больше не нападали,— извиваясь, как огромные черви, они почти выбрасывались на берег, спасаясь от лошадиных копыт. Тут их били гарпунами и затем волочили в степь.

Гумбольдт делал опыты над пойманными угрями. Он исследовал анатомию их электрического органа.

Гумбольдтово описание ловли электрических угрей, как и многие другие описания, сделанные во время путешествия, стало классическим и на целый век вошло в зоологические хрестоматии.

Тридцатого марта 1800 года Гумбольдт и Бонплан отплыли из города Апуре по реке Апуре в пироге с пятью индейцами. Так вот он наконец, девственный, *первоначальный* лес!

Он был стар, как хребты Анд, и обширен, как материк. Река, по которой они плыли, была единственной дорогой в нем. Тучи москитов облепляли тело, набивались в нос, лезли в глаза.

Пирога прошла мимо острова Диаманта, где цамбо, полуиндейцы-полунегры, возделывали сахарный тростник. Стаи фламинго поднимались с реки и пурпурным облаком колыхались над деревьями. Река сузилась. Лодка скользила словно по ущелью с отвесными берегами и текучим серебристым дном.

Дважды в день, на восходе и на закате, лес как бы высылал к реке вестников своего неведомого населения. В просветах непроницаемой стены кустов молочая пока-

зывались тапиры или · стадо диких небольших свиней — пекари. Мелькали хохолки и гребни пестрых птиц. Однажды с пироги заметили дымчатый очковый рисунок желтых и черных пятен на гибком теле гигантской кошки.

Ночью на каком-нибудь песчаном мыске путешественники чувствовали себя как на тесном карнизе скалы. Жилистые ветви, полные сока, едко чадили: костер было трудно разжечь.

Всходила луна. Небесное пустынное сияние сливалось с безмерной пустынностью земли.

Плеск воды и вздох. Еще и еще. Серые бугры всплывали у берега. На огонь собирались крокодилы.

И сразу, точно прорвав незримую плотину тишины, поток звуков вырывался из черного недвижного леса. Рев, оглушительный скрежет, хрипенье, уханье, словно тяжелые шаги кого-то, кто идет, сотрясая деревья. Тонкий и пронзительный, держался с минуту крик на высокой ноте, затем исчезал. Потом возникали звуки, похожие на флейту; они перекидывались на другой берег реки и рассыпались по всему залитому лунным светом миру.

— Звери празднуют полнолуние, сеньоры,— говорил индеец.

«Мне же показалось это явление,— записывает Гумбольдт,— следствием яростной борьбы между животными, захватившей весь лес, разбудившей даже спящих. Стоит сравнить это явление ночного шума, так часто повторявшееся для нас, с необычайной тишиной, царствующей между тропиками в полуденный час жаркого дня.

Изредка пирога встречала людей, жителей великого леса. Они называли себя ярурами и ахагуассами, а в миссиях их называли дикими. Они не умели крестить лбы под звуки воскресного колокола; в остальном они знали все, что знали индейцы миссии, и еще многое, что те забыли.

Их дети играли семенами вьющейся лозы, похожими на бобы. Они терли их друг о друга, пока бобы не начинали притягивать белый, как вата, пух. Так в детские игры ушел древний человеческий опыт с электричеством — взрослые в этом лесу (да ведь и не только в этом лесу!) не знали, что делать с ним.

Пирога становилась странствующим зверинцем. В клетках сидели обезьяны, попугаи, толстоносые туканы, стояли друг на друге ящики с гербариями Бонплана.

Когда встречали индейцев, Гумбольдт нередко кричал

им, чтобы они поймали животное или достали цветок. Иногда речь шла о каких-нибудь широких листьях, пучком торчавших в семидесяти футах над головой. В этом лесу всюду, на каждом дереве, виднелось множество разных листьев и цветочных гирлянд. Каждое дерево было как бы ботаническим садом. И нельзя было определить, принадлежат ли широкие листья с сетью смарагдовых жилок, с зубчатым краем этому дереву, или паразитам и эпифитам, выросшим на нем, или растениям-удавам — лианам, или, наконец, соседним гигантам, крепко обнявшим друг друга.

Индеец крался по ветви, высоко протянутой над водой. Маленький серый комочек был виден на конце ветви — быть может, опоссум, сумчатая крыса. Зачем она ему? Корысти в ней никакой — просто так, игра. А он крался с неистощимым терпением, рискуя свалиться с громадной высоты. Чтобы достать листья для Гумбольдта, надо было только перейти на соседнее дерево по прочному живому мосту ветвей.

— Он получит плату за полдня работы на маисовой плантации, объясните ему! — велел Гумбольдт своим индейцам.

Они объясняли наперебой, гортанными криками. Но ловец опоссума с крысой в руках спокойно слез с дерева.

— Что он говорит? — спросил Гумбольдт.

— Он говорит, что у вас, сеньор, нет такой вещи, какая могла бы понадобиться ему.

Этот случай, незначительный, но Гумбольдту показавшийся необычайным, поразил его. Индеец, не имевший ничего, считал себя богаче всех богачей земли!

Уже на Апуре Гумбольдт убедился, что не так вьется река и не таковы равнины и возвышенности на протяжении сотен километров их пути, как это обстоятельно обозначено на разноцветном куске бумаги, усеянном испанскими названиями,— на ландкарте Ла Крус Ольмедильи.

Впрочем, места, куда теперь вступали путешественники, даже Ольмедилья изображал беглыми мазками.

Огромная, мутная, движущаяся водяная равнина открылась впереди. Ветер срывал пену с косых гребней. То была река Ориноко. Деревья на том берегу казались игрушечными. Они сливались в лиловатую полоску.

Волны захлестнули тяжело груженную пирогу. Они смыли несколько книг и часть провизии.

Двинулись вверх по реке. На заднем конце пироги стояла маленькая беседка, где можно было лежать или сидеть согнувшись. На переднем конце попарно гребли нагие индейцы. Они пели тягуче и заунывно. Они не знали слова «Ориноко». Имена даются предметам, которых много и которые можно спутать. Ориноко — одна, и ее не с чем спутать. Ориноко была для всех индейцев безыменной рекой.

Великая река все еще расширялась; она стала как степь. Мир расступился, окаймленный двумя синевато-золотистыми полосками далекого леса. На середине реки попадались изредка птицы да серые бугры крокодилов.

Лес вошел в воду, он вступал в нее суставчатыми корнями, которые на высоте нескольких метров отделялись от стволов, как руки. Многорукий лес ощупывал почву и дно реки. В трещинах коры светились гнилушки и голубые мхи. Кора отставала толстыми слоями, точно кожа гигантских ящеров. Пестрая лента беззвучно скользила вниз по лиане: удав поджидал жертву.

Начиналась область мелких речек-протоков, которые местные жители называли Туамини, Теми, Атабапо. Их вода была черна — пирога плыла, словно в чернилах. Обезьяны по мосту из лиан перебирались над головами людей. И вода отражала их, как черное зеркало.

Пирога проплывала местность с обнаженными обломанными стволами. Жесткие узлы растений-веревок опутывали их, падали вниз, как плети, или стягивали через реку дерево с деревом. Веревки были голыми, без одного листка. Они напоминали корабельные снасти. Бурый лес был обуглен пожаром.

Пальмы завиднелись на берегах. Их было множество. Путешественники уже видели втрое больше разных пальм, чем отличили ботаники всего света.

На одной из них, на вершине стофутовой колонны, висели гроздья. Каждая гроздь походила на виноградную, увеличенную стократно, в ней было семьдесят — восемьдесят плодов, румяных, как огромные персики. Гумбольдт назвал пальму, увешанную гроздьями, персиковой пальмой.

Местность стала выше, суше, ряды холмов и горок прорезали леса. Попадались сотни змей. Это был водораздел между системами Ориноко и Амазонки.

Нанятые индейцы подняли пирогу. Так шли три дня, все к югу. Об этих местах никто ничего не знал; они были

дики и пустынны. «Во внутренних странах Америки,— пишет Гумбольдт,— привыкаешь смотреть на человека как на создание, не составляющее существенной принадлежности ландшафта. Земля переполнена растениями, развитию которых ничто не мешает. Неизмеримая полоса чернозема свидетельствует о непрерывной деятельности органических сил...» Отметим и эту вскользь кинутую мысль Гумбольдта. Нужны были десятки лет, вся работа Докучаева и Костычева, чтобы теория органического происхождения чернозема стала очевидной истиной.

Но послушаем дальше Гумбольдта:

«Крокодилы и боа владычествуют над потоками. Ягуары, тапиры, обезьяны без страха обходят леса, свое исконное владение. Вид этой буйной жизни, в которой человек не имеет никакого значения, представляет собой что-то чуждое и грустное. На океане и в песчаных степях Африки с трудом привыкаешь к безлюдью. Но там хоть ничто не напоминает наши поля, леса и реки. А здесь, в плодородной, украшенной вечной зеленью стране, напрасно ищешь следов человеческой деятельности и, не находя их, воображаешь себя переселенным в другой мир. И чем дальше длятся такие впечатления, тем они сильнее».

Через три дня снова вышли к берегам большой реки. Это была Риу-Негру, самый крупный приток Амазонки. Пирога закачалась на волнах. Еще три дня плыли дальше к югу.

На берегу среди срубленных деревьев показались жалкие хижины миссии Сан-Карлос. Тут проходила граница Бразилии, португальского владения. Знак, что надо поворачивать к северу.

Назад решили вернуться, не покидая воды.

От Риу-Негру, несколькими днями пути выше, отходила странная река Касикьяре. Она шла в глубь лесной чащи, чудовищного сплетения растений, еще более непроходимого, чем где-либо раньше. Лили тропические ливни. Ночью не разгорался огонь и не было сухого места, чтобы лечь. Тело вспухло, яд мириад москитов наливал его тупой болью. Иногда на ночь зарывались по горло в сырой, пахнущий прелью песок и заматывали голову.

В ящиках с растениями, пересыпанными камфарой, плотно обитых, подвешиваемых на веревке, все равно находили полчища насекомых, грызущих листья. Гербарий погибал.

Ели рис, маниок, пизанги; запасы сгнили; добавляли мясо морских свинок. Но оно воняло мускусом, ему предпочитали обезьян, когда их удавалось достать.

Одежда прилипала к коже; гнойные раны не заживали.

Но в черных недрах этих лесов все-таки обитали люди. Их было мало, они появлялись редко.

Иногда ночью над гнилыми болотами, высоко в ветвях, показывались огни. Они двигались, перебегали, останавливались. Словно огненное поселение повисло в воздухе.

Индейские деревни носили имена могучих диких зверей. Лесные люди ели муравьев, синеватую скользкую глину; в одной покинутой хижине Гумбольдт нашел остатки трапезы людоедов.

Он записал: тут существует мир, отдаленный от европейской культуры на тысячу миль и десять тысяч лет обратного хода времени.

Двадцатого мая послышался глухой шум. Вода шумела по гальке, плескались волны — река-великан подавала голос через стену леса и скал.

Их вынесло в Ориноко! Они увидели легендарное разветвление реки, в которое не хотели верить европейские географы. Часть вод уходила по Касикьяре, которым проплыла пирога. Больше нельзя сомневаться в существовании этого удивительного водяного моста, переброшенного с Ориноко к Амазонке.

Ориноко у Касикьяре течет на запад, будто она собирается вылить свои воды в Тихий океан. Но дальше она круто берет на север, чтобы затем повернуть прямо назад, на восток, к устью своему,— в Атлантический океан. Гигантская река похожа на змею, стремящуюся укусить свой хвост.

Из Касикьяре поплыли не вниз, а вверх по Ориноко и на другой день доплыли до миссии Эсмеральда. Река пробивала себе дорогу через горную страну. Вершину Иконнамари, или Дуиду, окутывали облака. Вечером в сыром воздухе приторно пахли ананасы. Тяжело свисали листья пальм, никогда не колеблемые ветром. Дикие какаовые деревья раскидывали у подножия Дуиды черные пятна своей листвы, такой плотной, что под ней не хватало воздуха для дыхания.

Здесь бродили оттомаки. Они добывали из лианы страшный яд кураре, им смазывали стрелы и ногти боль-

ших пальцев. А из стеблей гигантских злаков делали духовые ружья.

Миссионеры рассказывали, что выше по реке находятся Гвахарибские водопады, река там узка, индейцы перекинули через нее мост из вьющихся растений. Дальше идти нельзя: в скалах и на ветвях живет низкорослое белокожее племя гвайко́в, вооруженных отравленными стрелами.

В этих лесах, между Касикьяре и Атабапо, путешественники то и дело встречали скалы с изображениями. На граните были высечены какие-то символы, колоссальные крокодилы, ящеры, оружие и утварь, многовесельные корабли, похожие на испанские галеоты, и лучистые круги восходящего солнца.

Гумбольдт тщательно срисовывал загадочные знаки.

Кто оставил их в недоступной чаще? Часто они высоко вознесены над землей — на самую вершину отвесного гранитного обрыва, на который не взберется и кошка. Видны огромные человеческие фигуры в головных уборах, похожих на венцы византийских святых.

Неведомые племена запечатлели на твердом камне свой мир и навсегда исчезли.

В белом дыму брызг и водяной пыли устремлялась река, как по лестнице, по длинному ряду порогов Майпуреса и Атуреса. Теперь, на обратном пути, плывущие в пироге видели их во второй раз. Черные башни скал торчали из водоворотов пены. Густая сочная зелень покрывала острова, над которыми носился вечный туман.

Подходил вечер, вдали пылала коническая гора. «Она походила на красный язык пламени»,— записывает Гумбольдт. Ни один человек не подходил близко к этой огненной горе, и никто не знает, какие кристаллические породы на ее склонах багряно преломляют и отражают вечерние лучи.

Цветные радуги, множество маленьких разноцветных перекрещивающихся арок, висят над водоворотами. Ветер колеблет их. Шум растет. Ночью он становится втрое сильнее.

Втрое сильнее? Что это — акустический обман? Нет, шум усиливается в самом деле. Гумбольдт исследует это явление. Вода и лес делают воздух влажным. Но в течение суток меняются воздушные течения и нагрев почвы. Они меняют влажность воздуха, и это отражается на силе звука. На земле связано все, ничто не существует само

по себе. Даже законы звука нельзя понять без понимания всеобщих связей, и, чтобы завершить простое исследование шума водопада, надо построить географию района.

Путешественники решились пройти, не разгружая пироги, последнюю часть порогов Атурес. В реве и свисте водоворотов Гумбольдт и Бонплан высадились на остров. Ползком добрались до обширной пещеры. Текло и капало, все зеленело от водорослей-нитчаток; мерцали фосфорические точки светящихся организмов. Река гремела над головой. В этом подводном каземате они вздохнули впервые за долгий срок полной грудью: воздух был чист, не звенели и не липли к телу москиты.

А на берегу острова, у водоворота, кустарник скрывал глубокую расщелину. В ней стояли истлевшие ряды корзин с человеческими костями — кладбище исчезнувшего племени. От него не осталось ничего, кроме скелетов, выкрашенных в красную краску или перевязанных банановыми листьями, и глиняных ваз — хранилищ обожженных костей целых семейств. Гумбольдт насчитал 600 неповрежденных скелетов.

Когда-то, рассказывают индейцы, племя атуров было многочисленно, но постепенно оно уменьшалось. Остатки храбрых атуров покинули родину, спасаясь от людоедов-караибов, и поселились в скалах гремящей воды. Вот уже около века, как умер последний атур. Но в Майпуресе живет старый попугай. Его перья вылезли, но он говорит до сих пор. И никто его не понимает: он говорит на языке атуров, на языке, которого больше нет.

Ленивая широкая река вливалась в Ориноко. Это была Апуре. Солнце садилось. С горы внезапно открылась степь — пустое, безмерное, золотисто-бурое пространство льяносов. Они охватывали полнеба гигантским полукругом — как океан.

В Ангостуре, главном городе провинции Гвианы, силы изменили обоим — Гумбольдту и Бонплану. Их свалила горячка. Может быть, это была реакция после страшного напряжения, возможно также, что это был тиф. Несколько дней они боролись со смертью. Прошло три недели, пока путешественники смогли покинуть Ангостуру. Они торопились доставить к морю свои бесценные коллекции. В Новой Барселоне этот груз взялся отвезти в Европу миссионер. И только через несколько лет Гумбольдт узнал, что Европа никогда не получила его: корабль, люди и все, что было на нем, погибли у африканских берегов.

Маленькое судно приняло к себе на борт путешественников. И вот 27 августа 1800 года они увидели белые домики над морем среди кактусовых заборов и горы с туманными вершинами, поднявшиеся амфитеатром: Куману.

СНЕГ И ОГОНЬ

На север, все на север!

Вскоре они исходили вдоль и поперек остров Кубу с его табачными плантациями и полями сахарного тростника, где работали черные рабы, подгоняемые кнутами надсмотрщиков. Вот чем была тогда Куба!

Гумбольдт интересовался экономикой, администрацией, жизненным уровнем населения, торговлей этого рабовладельческого общества; он изучал жизнь гаванского порта. Так родился его «Политический опыт об острове Кубе», интереснейшая и поучительная работа — особенно когда мы читаем ее сегодняшними глазами. Там мы найдем и негодующие строки по адресу писателей, «которые стараются прикрыть двусмысленными словами варварство отношений рабства, изобретая термины негров-крестьян, ленной зависимости черных и патриархального покровительства».

Благородные строки! Думал ли Гумбольдт, когда писал их, и о зверской эксплуатации людей-рабов, крепостных крестьян, принадлежавших прусским баронам и помещикам?

На Кубе до Гумбольдта дошел слух, что капитан Боден все-таки отплыл из Франции и, обогнув мыс Горн, пройдет вдоль берегов Перу и Чили.

Тогда Гумбольдт покинул Кубу, чтобы снова пересечь северо-западный угол Южноамериканского материка и встретиться с Боденом на берегу Тихого океана.

Но позднее, уже в Перу, выяснилось, что капитан отправился вокруг мыса Доброй Надежды.

Снова, как год назад, Гумбольдта и его французского товарища ждала лодка и узкая дорожка воды среди удушливой лесной пустыни, для которой не существовало карт.

Они привыкли к этой дикой, тяжелой, доверху наполненной трудом жизни робинзонов, отрезанных от мира. Ходили почти голыми. Солнце сделало их неотличимыми от индейцев.

Как-то наткнулись на брошенную индейскую хижину. В ней не было окон и дверей, вела в нее нора, по которой надо было вползать на брюхе. Распластываясь на земле, они скрывались в этом убежище от москитов. Там вдвоем часами упорно, упрямо работали, задыхаясь от едкого дыма факела.

Только в городах они надевали платья и принимали вид европейцев. Так было в Санта-Фе-де-Богота, куда в середине 1801 года они приехали на мулах.

Гумбольдт был здоров; Бонплана била лихорадка.

В горной стране, совсем не похожей на лесистые низменности, путешественники провели почти полтора года.

Узкими тропами, в два фута шириной, перешли перевал Киндин. Обувь разорвалась, ее бросили; шли босые, с кровоточащими ногами.

Им предлагали воспользоваться, по обычаю этих мест, индейцами-носильщиками, которых называли кабаллитос — людьми-лошадьми. «Было горько слушать,— пишет Гумбольдт,— когда о людях говорили, как о лошадях и мулах». Он отказался.

В Попаяне осмотрели базальтовые горы Юлусуито. Из расщелины Пураче с гулом извергалась вода, пропитанная сероводородом.

В декабре 1801 года по черным, узеньким дорогам, где валялись кости животных, и болотам, в которых мулы увязали по брюхо, вышли к горному городку Пасто. Над ним вздымался вулкан. Жители городка почти никогда не ходили вниз. Они питались клубнями-пататами. А когда их не хватало, шли в горы за корой дерева ахупаллы, медвежьей пищей.

Тут, близ индейского селения Войзако, на высоте двух с половиной километров над морем, Гумбольдт нашел жилки и крапинки минерала серпентина, точь-в-точь такого, как в горах Фихтель, вблизи Штебена.

Два месяца лили дожди. Во время землетрясения поток хлынул на дорогу и едва не смыл путешественников вместе с вьючными животными. Впервые они перешли экватор и 6 января 1802 года прибыли в Кито. Тут не прекращались подземные толчки. Трава покрывала развалины, под которыми пять лет назад погибло сорок тысяч человек.

Часто попадались группы скал, напоминавшие исполинские водопады, мгновенно остановленные и окаменевшие. Гумбольдт поднял с дороги камень, покрытый бурой

окалиной. Он счистил этот пепел серного огня, сжигавшего землю, быть может, миллионы лет назад. Камень был обломком застывшей катастрофы.

Вся эта каменистая, колеблющаяся местность показалась Гумбольдту сводом гигантского вулкана, для которого три вершины — Котопахи, Пичинча и Тунгурагуа — служили только тремя предохранительными клапанами.

Из Кито Гумбольдт сделал несколько попыток взойти на Пичинчу. Обморок заставил его прекратить подъем в первый раз. Но он счел «позорным покинуть плоскогорье Кито, не взглянув собственными глазами на кратер Пичинчи».

Он всходит снова с индейцем и креолом. Черная отвесная стена встала на пути к вершине. Вверху реяли кондоры. Крылья их были так велики, что, распластанные, могли бы закрыть комнату. Десятки стервятников копошились у трупа павшего мула. Далеко внизу дорогой вдоль утесов ехал всадник. Гумбольдт прикинул: до всадника было двадцать четыре километра. А можно было отчетливо разглядеть даже белый плащ-пончо на нем!

Несколько раз приходилось спускаться, отступать вниз, отыскивая проход к вершине. Склон состоял из голых камней, скользких, с узкими расщелинами, иззубренных. В углублениях стал попадаться снег. Сверху сползал дым, лишенный запаха.

На этот раз вершину взяли. В полночь вернулись в Кито. А через сутки Гумбольдт снова стоял на каменном карнизе над кратером с барометром и электроскопом в руках. Карниз зашатался от подземных ударов. Гумбольдт вынул часы. Он насчитал пятнадцать ударов в тридцать шесть минут.

Месяц спустя, 23 июня 1802 года, Гумбольдт уже восходил на гору Чимборасо, которую считали тогда высочайшей вершиной мира. Шли по гребню, иногда сужившемуся до восьми дюймов. Слева был ледяной скат. Справа — обрыв в тысячу футов глубиной. Инстинктивно они отклонялись направо: ледяной скат казался страшнее.

На Чимборасо достигли высоты 18 096 парижских футов — 5881 метр. Гумбольдт был первым человеком, поднявшимся на такую высоту. Над вечным снегом летали желтоватые бабочки; в солнечных лучах роились мелкие крылатые насекомые. Тень кондора, похожая на быстрое облако, прыгала по утесам. Жизнь, переполнявшая низины, не прекращалась и на вершинах гор.

До конца жизни Гумбольдт гордился своим восхождением на Чимборасо. Десятилетия спустя были открыты новые высочайшие вершины и в Андах и еще выше — в Гималаях. Через тридцать лет Буссенго взошел на Чимборасо на двести метров выше Гумбольдта. Он смотрел на это без зависти.

«Мои восхождения,— писал Гумбольдт,— дали первый импульс, это они заставили обратить на снежные горы внимание большее, чем то, которое уделяли им в течение полутора столетий до меня».

Эти месяцы Гумбольдт и Бонплан жили в Кито «со всеми удобствами, на какие можно претендовать в европейской столице». Сила письма дона Уркихо была увеличена славой путешествий в неведомые глубины материка, которым владели и которого все еще не знали и боялись испанцы.

Епископ посылал свою карету за Гумбольдтом и Бонпланом, вице-король приглашал их к обеду.

В Кито для них были всегда открыты двери виллы маркиза Сальвалегре и богачей Агирре-и-Монтуфар.

В середине прошлого столетия младшая Монтуфар показывала известному зоологу Морицу Вагнеру поясной портрет Александра Гумбольдта. Он изображен в темно-синем мундире, белом жилете, с длинными каштановыми волосами и похож на прусского придворного восемнадцатого века. Правой рукой он опирается на свою книгу «Афоризмы из химической физиологии растений».

ПОДЗЕМНЫЕ САДЫ АТАХУАЛЬПЫ

В долинах Лохи росли хинные леса. Ветер шевелил гибкие ветви высоких деревьев, и они казались красноватыми.

На седьмом году их срубали. Драгоценная кора была главным сокровищем перуанских Кордильер. Голландским купцам только полсотни лет спустя удалось выкрасть несколько хинных деревьев из Перу и посадить их на Яве.

В то время чудесная кора была в монопольном владении испанцев, и они думали, что лечиться ею достоин только король. Гумбольдт поразился, узнав, что в год их

приезда собрали всего сто десять центнеров коры и всю отправили из гавани Паита в адрес мадридского двора.

В этой местности, где солнце проходило северной стороной неба, где в горной долине узким потоком начиналась величайшая река Южной Америки — Амазонка, Гумбольдт и Бонплан вступили в страну древней культуры инков.

Высоко в горах они перешли дорогу, выложенную плитами порфира. Дорога, прямая, гладкая, несокрушимая, походила на шоссе древних римлян. Гумбольдт посмотрел на барометр. Они стояли на высоте четырех километров над уровнем моря, на несколько сот метров выше Тенерифского пика.

Перед ними, не тронутая временем, прорезала горы дорога инков.

В Тискане Гумбольдт посетил серные разработки. Пять лет назад восставшие индейцы пытались поджечь их. Они надеялись, что вспыхнет вся гора и сожжет страну, опозоренную ненавистным владычеством белых пришельцев.

Вершины Анд походили на башни из трахита и порфира. Они возносились над скалами известняка. В этом белом крошащемся камне виднелись гигантские раковины аммонитов, круглые, как колеса, остатки устриц и морских ежей. Морское дно, окаменевшее миллионы лет назад, поставленное дыбом, поднятое на много тысяч метров в высоту!

Однажды исследователи вошли в теснину. В сухом застоявшемся воздухе носился неуловимый сладковатый запах. Исполинские кости покрывали дно. Они лежали, как в общей могиле, и обращались в прах от прикосновения. Валялись прямые бивни втрое больше слоновьих. В иссохшей, гробоподобной теснине, спрятанной в желтых горах, сохранилось кладбище мастодонтов.

Миновав страну пустошей и серебряных рудников, Гумбольдт и Бонплан подошли к древнему городу инков — Кахамарке. Среди полей люцерны еще стоял полуразрушенный дворец Атахуальпы. Показывали стену, где схваченный испанцами, обреченный смерти инка провел черту, обещая до этой черты наполнить комнату слитками — золотым выкупом за себя. Впрочем, все по-разному определяли высоту черты. В часовне хранилась тоненькая плита с тремя или четырьмя пятнами кровавого цвета.

— Это кровь Атахуальпы,— объяснил проводник.

Гумбольдт установил, что «кровавые пятна» произошли вследствие выделения роговой обманки, или пироксена, из массы горной породы. Он знал, что несчастный верховный инка, крещением избежавший костра, был задушен «без пролития крови», труп его торжественно отпет в присутствии обоих Пизарро, его палачей, а затем перевезен в Кито. Это было в 1533 году — двести шестьдесят девять лет назад.

Некий Цапля, мирный индейский вождь, живущий в Ликане, обладал множеством рукописей шестнадцатого столетия.

Гумбольдт уже легко читал по-испански. Он зарылся в них.

И перед ним встала история этой погибшей культуры, не похожей на другие, суровой, изощренной и примитивной в одно и то же время.

Манко Капак, появившись таинственным образом, как утверждали рукописи, начал династию инков. Всего сменилось четырнадцать властителей. Они завоевывали окрестные племена, строили водопроводы и дороги, связав каменной сетью, общим протяжением в двести пятьдесят географических миль, все провинции своего государства, воздвигали храмы, где золотой круг обозначал солнце, светило-бога.

Впрочем, могучий Вайна Капак, потомок Манко и покоритель Кито, сомневался, чтобы это светило, отсутствующее ночью, могло управлять миром. В пятнадцатом веке он рассуждал почти так же, как философы эпохи французского Просвещения.

— Утверждают,— говорит Вайна Капак,— что солнце живет и что оно создатель всего. Но кто хочет окончить начатое дело, должен сам оставаться при нем: солнце не сделает дело за человека. И как оно может быть живым, раз оно никогда не утомляется? А если бы оно было к тому же и свободно, то оно не избегало бы появляться и в таких частях неба, где мы его теперь не видим. Следовательно, солнце подобно животному, ходящему на привязи.

Умирая, Вайна Капак разделил свое царство между сыновьями: Васкаром, чье имя означало привязь, веревку, и Атахуальпой, что значит курица или петух.

Атахуальпа умертвил Васкара. Семь лет он был верховным инкой и, как полагалось по придворному церемониалу, никогда не плевал на землю, но в руку одной из знатных женщин своей свиты.

В июле или августе 1533 года испанцы позволили ему выйти из комнаты, где он был заключен, и посмотреть на звезды. Он увидел комету, «зелено-черную, толщиной с человека». Он узнал в ней ту самую комету, которая явилась перед смертью его отца, Вайны Капака, и понял, что скоро умрет.

Вот что прочел Гумбольдт в старинных рукописях Цапли.

В Кахамарке жила семья индейского касика Асторпилько, потомка Атахуальпы по женской линии.

Семнадцатилетний сын Асторпилько водил Гумбольдта по развалинам. Взбираясь на кучи щебня, он рассказывал о сокровищах, скрытых под ними. Однажды его дед или прадед, завязав глаза жене, привел ее в подземный сад. Золотые павлины сидели на золотых деревьях, покрытых золотой листвой. А под деревьями стояли золотые носилки Атахуальпы, чье имя правильнее произносить Ата-вальпа.

Женщина не смогла молчать о виденном. Но она не знала дороги туда.

— Мы стоим среди груды черепков, поросших сорной травой,— сказал юноша Гумбольдту.— А под нами, немного вправо, цветущий дурман, сделанный из золотой проволоки и золотых пластин, осеняет гробницу инки-правителя.

Гумбольдт с изумлением смотрел на своего спутника, нищего в лохмотьях, равнодушно говорившего о мифических сокровищах инков, за которыми, как он был уверен, ему стоило только протянуть руку.

— Но если так,— спросил Гумбольдт,— разве вам не хочется взять хоть что-нибудь из этих подземных богатств? Ведь вы бедны. И вы ни разу даже не убедились своими глазами в существовании вещей, которые могли бы сделать вас богаче испанского короля!

— На что они нам? — был ответ.— Белые возненавидели бы нас. А сейчас у нас есть маленькое поле и хорошая пшеница...

Дни, недели и месяцы в горах. Уступы скал восходили ввысь ступенями лестницы, вырубленной титанами. Под ногами осыпались куски кварца; они увлекали камни и обломки скал на крутых склонах, и грохот обвала пушечной канонадой подхватывало эхо. Затем неизмери-

мая тишина поглощала его и смыкалась снова. Выси были туманны. Вечные снега реяли, как облачная гряда. Промозглая сырость липким слоем оседала на одежде, на теле; глубоко внизу серебристой молнией рассекала Анды река Магдалена.

Гумбольдт был непрерывно занят измерениями, вычислением высот, нанесением на карту пути. Наиболее замечательные облики местностей он срисовывал. Но все это еще не помогало разобраться в запутанном лабиринте этой горной страны. А между тем он не сомневался, что тут была, тут должна быть закономерность,— ее нужно понять, отыскать способ в нее проникнуть, в природе невозможен хаос.

Он изобретает новый способ — чертеж пройденных перевалов, хребтов, долин. Линии чертежа соединяли измеренные высоты. Анды представали как бы в разрезе.

И сотни разрезов помогли разгадать лабиринт. Открывалась гармония в расположении дугообразных складок, цепей вулканов у самого края материка.

И тогда, с этих высот, яснее представилась Гумбольдту вся Южная Америка, напоминающая Африку по своим очертаниям и так не похожая на нее по своему внутреннему устройству.

На западе материк вздымался гигантскими волнами Кордильер. Последние всплески этих гор, пройдя по берегу Венесуэлы мимо Каракаса, затухали на Атлантическом побережье вблизи устьев Ориноко. И, словно их отзвук, начинаясь еле заметными холмами в степях, вставали горы Гвианы, а южнее, пропустив долину Амазонки, поднималось широкое Бразильское плато. В этом чередовании поднятий и низменностей, затиший и бурь, некогда вздыбивших землю, чудилось ритмическое дыхание материка.

...Вечерами погонщики мулов рассказывали горные истории. Мир, простертый внизу, сгорал в дыму и пламени. Он скоро остывал под сизым пеплом сумерек. И только один огонь оставался в этом звонком, волнистом пространстве — их костер на высоте. Тогда струящийся плащ загорался на небе и медлил на западе, поднявшись к зениту.

То был зодиакальный свет.

На высоте Гуангамарки юго-западный ветер ударил в лицо и разогнал туман. Западный склон открылся сра-

зу — весь в острых зубцах, словно в черной ряби, низвергавшейся в бездну. Широкое и спокойное сверкание заливало глубину и уходило к небу в бесконечном отдалении.

Великий океан, обнимая полмира, уходил к небу.

ДОМОЙ

Пятого декабря 1802 года корвет унес путешественников из гавани Кальяо, вблизи Лимы, опять на север. Они поплыли вдоль побережья в Мексику. И повезли с собой множество ящиков, доверху наполненных коллекциями, картами, тетрадями с записями измерений, дневниками.

Со всех пунктов путешествия, где только была возможность, ящики отсылались в Европу. Они шли в Мадрид, в Париж, в Берлин, Джозефу Банксу в Лондон.

Гумбольдт исследовал холодное течение, струившее с юга на север воду оловянного цвета.

Это течение позднее назвали Гумбольдтовым.

Плавание до мексиканской гавани Акапулько продолжалось три с половиной месяца — больше чем на месяц застряли в Гваякиле, надо было искать другой корабль, перуанский корвет дальше не шел.

Март был на исходе, когда путешественники высадились в Акапулько. О Новом Свете знали тогда так мало, что лучшие карты ошибались на несколько градусов в положении даже этой крупной гавани, а тем самым и всех других пунктов западного побережья, потому что их отсчитывали от нее.

Дать первую точную карту выпало на долю Гумбольдта.

Он провел год среди сильных и смелых людей, земледельцев и скотоводов, суровых, как исполинские вулканы и плоскогорья их страны, поросшие агавами и кактусами, усеянные развалинами трех культур — майя, толтеков и ацтеков.

Директор мексиканской горной школы был учеником Вернера. Долгими вечерами они вспоминали Фрейберг.

Гумбольдт осмотрел серебряные рудники и залежи платины. Разработки велись лениво, половина металла оставалась в породе. Но в горах, даже далеко от рудников, то и дело находили большие самородки. Под деревнями, жители которых питались ячменными лепешками, лежали сокровища, не имевшие цены.

Гумбольдт не преминул определить высоту вулканов Попокатепетль и Ицкакихуатль, а также и знаменитого памятника старой мексиканской культуры — Холульской пирамиды, сложенной из кирпичей во времена толтеков.

В 1759 году неожиданно, в одну ночь, среди плантаций сахарного тростника возник вулкан. Огненные реки и ядовитый дым опалили далеко вокруг окрестность. Гора вздулась, как пузырь на теле невидимого, подземного огненного мира.

Об этом событии ходили противоречивые слухи. Гумбольдт сам поднялся на этот вулкан. Почти две тысячи дымящихся отверстий окружали кратер. Гумбольдт спустился на его дно, на двести пятьдесят футов ниже края. Там он взял пробы воздуха, удушливого от углекислоты, обжигавшего легкие. И Гумбольдту снова, как тогда, в Кито, показалось, что он стоит на шатком гигантском своде, на котором люди разводят свой сахарный тростник и строят города, так легко обращающиеся в пыль.

В Санта-Мария-дель-Туле, в Оахаке, Гумбольдт осмотрел дерево, может быть, самое старое в мире. Это был болотный кипарис, или иначе двурядный таксодий. Его мягкая хвоя сидела двойным рядом на веточках. Окрестное население считало это дерево священным. Мексиканцы в широкополых войлочных шляпах скакали вокруг него на горячих лошадях; языческие приношения увешивали ветви таксодия, растущего в монастырской ограде.

Гумбольдт измерил толщину ствола: его поперечник был тридцать восемь парижских футов (около двенадцати метров). Он стоял здесь еще тогда, когда последние стада мастодонтов топтали американскую землю. И Гумбольдт вырезал свое имя на чешуйчатой коре утесоподобного дерева.

В конце 1935 года таксодий в Оахаке посетил доктор Шренк из Миссурийского ботанического сада. Он увидел полузаросшую надпись: «Александр Гумбольдт 1803». И так же как Гумбольдту, Шренку не позволили сверлить священный ствол, чтобы исследовать годичные слои. Он только примерно определил его возраст в пять-шесть тысяч лет. Сто тридцать два года, протекшие между посещениями двух ученых, значили не больше мгновения в чудовищно долгой жизни этого организма, такого древнего, как вся человеческая история.

В мае 1804 года Гумбольдт, Бонплан и Карлос Монтуфар, сын богачей Агирре-и-Монтуфар, сопровождавший путешественников из Кито, прибыли в Соединенные Штаты.

То был последний этап путешествия.

Два месяца друзья осматривали страну, прославленную тогда во всем мире как «страна свободы». Они увидели пустынные прерии, быстро разраставшиеся города, людей, разбогатевших на торговле свиным мясом, и голых негров-рабов, которых на плантациях подгоняли бичами, так же как в испанских колониях.

В Вашингтоне президент Джефферсон, откинувшись на спинку жесткого стула, говорил гостям о будущем Америки. Надо сломить владычество Испании и Англии. Вся американская земля — от Аляски до мыса Горн — должна быть разделена между тремя республиками, и каждая из них должна управляться, как Соединенные Штаты.

Старый, шестидесятилетний человек, сидевший на жестком стуле в бедно убранной комнате, казался бесконечно усталым. Так ли уж он был убежден в осуществимости этого проекта с тремя республиками и — еще больше — даже в том, что Соединенные Штаты управляются идеально?

Он был главным автором — почти тридцать лет назад — Акта о независимости. Когда он ездил в Европу, революционная Франция прислушивалась к его голосу, провозглашая Декларацию прав человека и гражданина. Сколько борьбы, зачастую мелочной, оскорбительной, и рубцов на совести — об этом президент не говорил гостям. Здесь, в Америке, его голосу не всегда желают внимать, то, за что он боролся, чему отдавал все свои силы, равнодушно отбрасывается...

...В каждой из трех республик будут отважные трапперы-пионеры, будут свиноводы и свиные короли, будет хлопок и сахарный тростник...

«И негры-невольники»,— досказал про себя Гумбольдт.

Девятого июля 1804 года Гумбольдт и Бонплан сели на корабль, и 3 августа корабль бросил якорь на рейде в Бордо. К этому времени «Всеобщие географические эфемериды» объявили, что Гумбольдт убит индейцами, а «Гамбургский корреспондент» — что он умер от желтой лихорадки.

Гумбольдт написал Кунту и Фрейеслебену. Последнего он просил кланяться Вернеру, которого он «все больше уважает с каждым годом и систему которого только подтвердило путешествие в южное полушарие». И это тем удивительнее, что именно из Америки вернулся отнюдь не примерный ученик Вернера, а законченный плутонист, вовсе забывший о своем былом нептунизме. Несомненно, письмо это не образец творчества Гумбольдта-ученого, но пример искусства Гумбольдта-дипломата. Впрочем, он спрашивает о «новых вернеровских идеях». Он не знает еще, что Вернеру больше не суждено иметь каких бы то ни было новых идей...

ГУМБОЛЬДТ РАЗБИРАЕТ ЧЕМОДАНЫ

Ему только тридцать пять лет. Он прожил едва треть с небольшим той жизни, которую ему предстояло прожить. Его слава еще возрастет — почти несравненно. Но то, что он станет делать в продолжение десятков лет своей последующей жизни, будет в значительной мере прямой разработкой и развитием добытого в Новом Свете.

Через много лет, извиняясь перед русским министром за свой изменившийся, дурной почерк, он скажет, что рука плохо повинуется ему потому, что ему месяцами приходилось спать на сырых листьях на берегах Ориноко. Стариком он напишет, что никогда не забудет ночного свечения моря, дельфинов, расстилающих огненный след, как кометы, Южного Креста, встающего из воды, «первоначальных» лесов Касикьяре и «Южного моря», Великого океана, в котором он увидел солнечную дорогу с высоты Анд, как некогда Васко Нуньес Бальбоа.

Из всех эпитетов, которыми щедро наделяли его академии, он охотнее всего избирал «великий путешественник».

Какую же жатву собрал Александр Гумбольдт за эти пять лет, за этот период высшего подъема, «кульминации» своей жизни?

Эту жатву называли «вторым открытием Америки». Пусть тут преувеличение, но ведь именно беспримерная громадность результатов экспедиции Гумбольдта дала для этого повод.

Целый атлас карт обширных пространств, которые были до того сплошными белыми пятнами.

Открытие в девственной глубине материка поразительнейшего географического факта — существования Касикьяре.

Сотни точных астрономических определений различных пунктов (до того лишь один пункт в Южной Америке был определен — Кито; на всех картах неверно помещены были даже Акапулько, Веракрус, Мехико и Лима!).

Семьсот гипсометрических измерений, измерений высот. Тысяча пятьсот промеров в Андах — с неуклонной методичностью Гумбольдт создавал *метод профилей,* вычерчивая чертежи «разрезов» великой горной цепи, распутывая узлы ее хребтов; этот метод войдет затем в обиход каждого геолога, каждого геодезиста.

В течение всей экспедиции у Гумбольдта был только один помощник и никакой материальной поддержки ниоткуда. Но трудно указать хоть сколько-нибудь значительный факт географии Нового Света, который не попал бы в поле зрения Гумбольдта.

Он смело и точно набросал первую геотектоническую карту всей Южной Америки, картину строения целого материка.

Из его сообщений в Европе впервые составили ясное представление о естественных богатствах Америки, об истинных запасах полезных ископаемых в Перу и Мексике.

Он изучал языки индейских племен и экономику испанских колоний (так родились «Политические опыты» о Кубе и Мексике).

Наблюдения Гумбольдта дали материал для целых глав метеорологии.

Он соединил на карте местности с одинаковой годовой, одинаковой летней и одинаковой зимней температурами, впервые проведя ныне всем знакомые линии изотерм, изотер и изохимен.

На Теперифе он увидел поясное распределение горной растительности — в Америке он уже ищет точного выражения для *законов* этих живых поясов. И показывает, что высота снежной линии на горах связана не только с климатом вообще, но и с конкретными особенностями, конкретной географической характеристикой местности.

Поистине гигантской оказалась и биологическая «жатва» Гумбольдта. Специально зоологических целей он не преследовал. Но классическими стали его исследования не-

обычайных приспособлений у американских животных — электрического органа угря-гимнота, горла обезьян-ревунов, самых «громогласных» среди всех живых существ, глотки кайманов, кусками пожирающих свою добычу.

А гербарии Гумбольдта содержали шесть тысяч видов растений, из них больше *трех тысяч* видов новых,— вклад в науку *небывалый*. Стоит вспомнить, что величайший систематик восемнадцатого века Карл Линней знал вообще всего восемь тысяч высших растений!

Тут не просто — знали мало видов, узнали больше. Тут резкий сдвиг в понимании самого смысла, «объема», как говорят логики, понятия «жизни», значения, места живого мира на земле, неисчерпаемости его форм. «Какой клад растений нашел я в удивительной, покрытой непроходимыми лесами, населенной столькими новыми видами обезьян области между Ориноко и Амазонкой, в которой я прошел 1400 географических миль. Я собрал едва десятую часть того, что мы видели. Я теперь вполне убежден в том, чему еще не верил в Англии, хотя уже и предчувствовал, просматривая гербарии Руица, Павона, Несса и Генкена...»

Он был не только сам убежден, но и неопровержимо доказал *всем* чрезвычайную узость тех «систем» растений, какие были тогда в ходу,— и линнеевской «искусственной» и «естественной» системы Жюссье. «Какие удивительные плоды!.. Какое зрелище представляет мир пальм в лесах Риу-Негру!»

Нет, жизнь не случайное явление, накипь или плесень. Жизнь — колоссального значения фактор, деятель на земле; вся поверхность планеты проникнута жизнью.

Он говорит о жизни на высочайших вершинах, о населении ледяных пространств, горячих источников, обитателях вечной темноты и подпочвенных пластов, о мириадах спор и цист, носящихся в воздухе,— *о всеоживленности земли*. Он дает сводку явлений скрытой жизни, анабиоза.

Кажется, у Гумбольдта все готово для создания учения о биосфере, о глубокой, органической взаимосвязи между жизнью и планетой, где она возникла и развилась,— того учения, которое, как мы знаем, было разработано век спустя плеядой замечательных русских ученых.

Он ставит обязательным условием изучение жизни именно в ее связи, в ее отношениях со средой и дает блестящие образцы этого.

Он уже знает о закономерной смене растительных формаций при заселении пустых пространств — от пионеров-лишайников до леса. Объяснения некоторых своих смелых сближений он ждет от будущего. Сходна флора мхов глубоких шахт и обледенелых утесов на горах — «так сближаются противоположные пределы растительности»; «физиология этого нам еще совершенно незнакома».

В своих маршрутных картах он тщательно вычерчивает пограничную линию степи и леса (сведения о котором, о первобытном лесе со всем живым населением его, он так необычайно обогатил). Он вычерчивает эту пограничную линию так, как вычерчивают берега морей с их заливами и мысами. Он убежден: несомненно, будут открыты законы, объясняющие изгибы этой линии; он изучает взаимное влияние степи и леса.

«Одна из задач всеобщего землеведения состоит в сравнении природных свойств отдаленных областей и в сопоставлении результатов...» Потом, в Европе, он займется тщательным сравнительным изучением американских льяносов, степей Азии и пустынь Африки. Он настаивает: всякий ландшафт надо сличить со всеми родственными и изучить во всех его видоизменениях на земном шаре. Под его руками рождается могучий эволюционно-географический метод. Науку же о ландшафтах, важное звено географического вйдения и исследования земли, надо считать созданной им.

Конечно, он объехал сравнительно небольшую часть Америки. Но то, что он узнал об этой части, дало очень много и для познания материка в его целостности. Это случилось потому, что он впервые в такой полной мере показал, что такое настоящее географическое исследование. И еще потому, что общая «картина мира», или, как он говорил, «физика мира», или, что то же, поиски «всеобщих связей», всегда для него оказывалась центром и сутью научной работы. Точка зрения универсального ученого неизменно руководила им. Дисциплин много, но наука — так хочет сказать, так подтверждает свою старую мысль всей своей деятельностью Гумбольдт — *едина;* ведь один объект у нее — мир!

«Заниматься всем? Это значит не заниматься ничем!» — морщилась, от времен Гумбольдта и до наших дней, та близорукая мелюзга, которой суждено было скоро переполнить буржуазные университеты и институ-

ты. «Наука — это мы»,— вещала мелюзга, на свой лад приспособив похвальбу Людовика XIV. Великая наука должна перестать существовать, разъятая, растерзанная на тысячу частей; ученому нет дела ни до общественной жизни, ни до природы, ни до красоты, ни до открытий, сделанных на соседней кафедре. Что же? «Специалисты, подобные флюсу» (по словам Козьмы Пруткова), уткнутся каждый в свою лабораторную посудинку...

Гумбольдт же привез решения и попытки решений таких общих задач, в которых почти стирались границы отдельных дисциплин,— например, задачи о взаимном влиянии океанов и материков (в распределении осадков, ветров, течений, температур и т. д.), задачи о большей холодности и влажности климата Нового Света по сравнению со Старым (и крайне любопытен Гумбольдтов анализ причин этого).

Да и задачи о связи земли и неба...

«КАРТИНЫ ПРИРОДЫ»

Его встретили как триумфатора.

«Вряд ли когда-либо,— пишет Каролина Гумбольдт, жена Вильгельма (она была в Париже),— появление частного лица возбуждало такое внимание и такой общий интерес».

Он написал королю, что прошел девять тысяч миль за пять лет и привез много ценного для берлинских музеев. Но он не торопится в Пруссию.

В салонах нашли, что он возмужал, стал шире в плечах, остроумнее, чем когда-либо, и ему очень идет индейский загар.

Он же, не оставшись нечувствительным к парижскому триумфу, но почти не разрешив себе отдыха, снова берется за дело. Разборку коллекций прерывает, чтобы исследовать воздух вместе с знаменитым физиком Гей-Люссаком, и читает, читает запоем. «Я так отстал за пять лет!»

Друзья и поклонники вводят его в Тюильри. Но властелин Франции удостоил его лишь нескольких отрывистых слов, проходя мимо.

— Вы занимаетесь ботаникой? Моя жена тоже! — только и сказал Наполеон своим зычным голосом.

Гумбольдт хочет, чтобы лучшие ученые приняли участие в описании привезенных им сокровищ. Многотомный труд должен появиться сразу на шести языках. Издание будет роскошным. Роскошные издания, стоящие сотни и тысячи франков, вошли тогда в моду.

«Описание Египта», изданное на средства французского правительства, стоило около шести тысяч франков за экземпляр.

Бонплану, естественно, пришлось заняться ботанической частью. Но в Париже Гумбольдт не узнавал своего спутника и товарища. Он был бесподобен в утлом каноэ, на лошади и на муле, он мог часами балансировать на качающихся древесных стволах, сносимых Ориноко, и собирать с них лишаи, цветы и насекомых; но, увы, за препаровальным столом в столице молодому человеку не сиделось, он копался, небрежничал, делал ошибки. Ему казалось, вероятно, что пять лет тяжкого труда дают ему право немного развеяться и забыть о травах и козявках. К тому же, по протекции Корвизара, своего бывшего учителя, ставшего лейб-медиком, он получил прекрасное место в садах Мальмезона, близ императрицы Жозефины, в самом деле любившей ботанику.

Гумбольдт работал за двоих. Только в 1805 году он сумел выбраться из Парижа к брату, жившему в Италии. Он привез ему свои материалы по языкам американских племен. Вильгельм уже приобрел мировое имя как лингвист. В одном из лучших своих трудов — о яванском языке кави (как и вообще в своих лингвистических выводах) — он широко использовал материалы, собранные Александром.

Летом с Гей-Люссаком и Леопольдом Бухом Александр поднялся на Везувий. Он брал пробы воздуха, делал электрические и магнитные наблюдения. Гора дымилась. 12 августа 1805 года на их глазах произошло извержение.

Наконец после восьмилетнего отсутствия Гумбольдт снова увидел Берлин. Это было время, когда экзальтированная королева Луиза провожала прусские армии декламациями о традициях Фридриха Великого,— и прусские армии уходили под Иену и Ауэрштедт, навстречу двойному разгрому. Кавалерия Наполеона бесцеремонно топтала улицы прусской столицы.

Что думал обо всем этом Гумбольдт? В то время он писал «Картины природы». Однажды он несколько ночей

не ложился спать. Над «Картинами природы» он работал со страстью. Он писал, он связывал вместе свои путевые записи, сделанные «при виде великих картин природы на океане, в лесах, покрывающих берега Ориноко, в степях Венесуэлы, в пустынных горах перуанских и мексиканских». «Мне оставалось только собрать их в одно целое».

Под пером его рождалась необычайная книга — книга географической лирики.

И вот эту, как будто идиллическую, книгу он снабдил неожиданным предисловием: «Мрачным душам по преимуществу предназначены эти страницы. Кто желает укрыться от бури жизни, тот охотно последует за мной в чащу лесов, через необозримые степи и на высокие вершины цепи Анд. К нему относятся следующие стихи...» Правда, он немедленно оговаривается: «...заключающие в себе всеобщее мнение». Но такая оговорка стоит нового признания — так странно, так неожиданно, так многозначительно избранное им (шиллеровское) четверостишие. Вот оно в подстрочном, нерифмованном переводе:

На горах — свобода! Дыхание могил
Не подымается сюда в чистый воздух;
Мир совершенен везде,
Куда не приходит человек со своей мукой.

Он писал в свои бессонные ночи, его спокойно-прозрачные на людях глаза вспыхивали, и, может быть, строки делались кривыми и туманными сквозь слезы, как тогда, в Штебене.

...На горах — свобода!

Как бы плотно закрывая за собой дверь, он уходил в это убежище своего подспудного мира, который он так тщательно скрывал и оберегал.

Один из очерков, написанных в это время, он посвятил Гете. Он сделал это в знак общности их мировосприятия — пусть никогда автор «Фауста» не пересекал экватора,— в знак одинакового понимания природы и, возможно, еще потому, что ему захотелось назвать имя величайшего немца, когда бонапартовские гвардейские егеря в зеленых мундирах чувствовали себя хозяевами на Унтер-ден-Линден.

Уже несколько лет, как умер Шиллер. Но и с Гете-натуралистом у Гумбольдта больше не было единства мнений. Нового «плутонического» Гумбольдта Гете не при-

нял. Началась и два десятилетия длилась их размолвка. Гете был поэт. Даже когда он изображал природу, он писал о человеке. Искусство не знает безлюдного мира. В «Картинах природы» Гумбольдта единственный зритель созерцал сверкающую пустыню, холодноватую и под тропиками: он сам. Создав шедевры географического видения мира, поэтом он все же не стал. Подошел близко, осталась решающая грань — ее он не переступил.

В Берлине Гумбольдт был окружен почестями. Ему дали придворное звание камергера. Он читал свои сообщения в Академии наук. Потом он их обрабатывал и также включал в «Картины природы».

Но все, чему он был свидетель в столице королевства Пруссии, удручало его. Этим воздухом ему стало еще тяжелее дышать, чем восемь лет назад. «Я живу чужой и изолированный в ставшей мне чуждой стране...»

...На горах — свобода!

Одна из лекций в академии послужила основой для очерка в «Картинах», названного «Идеи к физиономике растений». Это замечательная попытка приложения общих взглядов Гумбольдта, его ви́дения мира как целого, к исследованию конкретных научных проблем.

Тропический лес обрушивается на ботаника водоворотом форм и образов. Как разобраться в нем? Определить по Линнею все деревья, все кусты, все лианы, все эпифиты, сделавшие своим жилищем кору и ветви, всех чужеядцев-паразитов, все цветы, все плоды? Даже не по Линнею: никто не знал лучше Гумбольдта, какой немощной оказывается «система растений» упрямого и самоуверенного шведского классификатора рядом с действительным изобилием творящей природы. Но пусть будет в наших руках самая полная, самая совершенная «система». Что даст она? Каталог. Самый полный каталог. И ровно ничем не поможет разобраться в водовороте форм, обликов растений, ничего не расскажет, каковы пределы многообразия их. Или эта многоликость, как и кажется наблюдателю, смятенному, потерянному в зеленом океане вокруг него, беспредельна? Можно ли все-таки свести ее к каким-то типам, исчислить их, а потом найти законы их появления, их распределения среди разных групп растений?

Очевидно, это вовсе не те вопросы, которыми заняты

каталоги-определители и системы классификации. Это *другие* вопросы. Но они исключительно важны.

Это вопросы о закономерностях, определяющих лицо растительного мира. Решение их укажет и реальные пути развития растений.

Итак, перед нами должны быть наиболее общие облики растений, обобщенные внешние типы и формы их, классификация образов, «составные части» ботанических ландшафтов.

Каковы же они?

В «Идеях о географии растений» (1807, именно этот очерк посвящен Гете) Гумбольдт указывает их более четко, чем в очерке о «физиономике» (напечатанном годом раньше).

Это формы: 1) бананов, 2) пальм, 3) похожих на них древовидных папоротников, 4) алоэ, 5) ароидных, 6) игролистных, 7) орхидей, 8) мимозовых, 9) мальвовых (баобабообразные деревья с толстыми стволами), 10) виноградной лозы, 11) лилий, 12) кактусов, 13) казуарин (куда входят и хвощи), 14) злаков и осок, 15) мхов, 16) листовидных лишайников, 17) шляпочных грибов.

Итак, еще раз: это отнюдь не систематические группы — это именно *облики*. Так, к форме алоэобразных относятся агавы из семейства нарциссовых, древовидные молочайные, юкка и драконово дерево (из лилейных), ананас (семейство бромелиевых), пандановые, некоторые зонтичные и пальмы. Игролистные — это, конечно, хвойные, но и некоторые верески и австралийские мимозы.

То, о чем говорил Гумбольдт, можно назвать ботанической «стереометрией» рядом с плоской «планиметрией» Линнеевой системы.

Растительные «формы» — как «доро́ги» развития растительного мира. Свой общий облик у пустынной флоры, у альпийской, у растительности влажных пойм, солончаков,— не кто иной, как Гумбольдт, с силой подчеркнул эту идею *отпечатка*, который накладывает среда на живой мир.

Но разве не только шаг отсюда до мысли о превращении организмов под влиянием и в соответствии с требованиями среды? В эпоху, когда Дарвин, по его словам, «ощупывал мнения многих натуралистов и не встретил ни одного, который сомневался бы в постоянстве видов» (да так и обстояло дело, за очень редкими исключениями), Гумбольд был эволюционистом. Этот факт поража-

ет. Но он несомненен для всякого, кто читал Гумбольдта. Самое поразительное, что он не приводил в защиту своих эволюционных взглядов сложной аргументации, не излагал их с пафосом потрясателя основ или хотя бы просто полемически,— нет, он касался их мимоходом, чуть ли не в придаточных предложениях, в каком-нибудь из множества примечаний, которыми он так любил оснащать свои книги.

Может быть, тут сыграла роль обычная его осторожность. Но может быть и так, что Гумбольдту, вовсе свободному от каких бы то ни было влияний традиционно-церковной идеологии (более свободному, чем был даже Дарвин!), мысль об изменениях живого мира в соответствии с изменениями среды казалась чем-то само собой очевидным. Недаром в числе его коротких знакомых были Ламарк и Жоффруа Сент-Илер, а второй родиной стал Париж, где идея биологической эволюции была завещана материалистами-просветителями восемнадцатого столетия.

Вот мы прочтем у него: «По ограниченности нашего знания о становлении (Werden) вещей, мы называем в переносном смысле, скрывающем под своими образами эту ограниченность, *новыми* творениями — исторические события, изменявшие организмы и обитаемость первобытных вод, а также поднявшейся суши». Спокойная фраза, характерная для Гумбольдта, звучащая так, будто самого вопроса, возможна или нет эволюция, для него не существовало и эволюционная разгадка извечной тайны («тайны из тайн», как выразился Дарвин) происхождения и развития жизни казалась ему единственно мыслимой и вполне очевидной.

И вот как, например, он высказывается о последних причинах органических явлений:

«Мифы о невесомых веществах и жизненных силах затуманили облик природы. И только подобному мифотворчеству должно приписать то, что тяжелое бремя наших эмпирических познаний, увеличивающихся с каждым днем, превратилось в массу бездейственную... Физическое описание мира должно напоминать, что вещества, образующие тело животных и растений, находятся также и в неорганической земной коре. Оно должно показать, что в животных и растениях, как и в земной коре, господствуют те же силы; эти силы, в органических тканях, соединяют и разлагают вещества, формируют и разрушают.

Только эти силы действуют здесь в условиях, мало еще исследованных». Ибо «подвести удовлетворительным образом под физические и химические законы явления в организме почти так же трудно, как предсказать метеорологические изменения, совершающиеся в воздушном океане. Эта трудность происходит от сложности явлений, многочисленности сил, одновременно действующих, и от условий их действия».

Он уже знал и отметил факт некоего сходства между живущими и вымершими животными в Южной Америке и в Австралии, факт, который послужил для Дарвина одним из основных доказательств эволюционной теории.

Он знал также, что «настоящее и прошедшее проникают друг друга». Оставалось досказать, что сложность живой природы есть результат ее развития, перенеся на живые организмы слова самого Гумбольдта (о скалах), что «их форма есть их история».

Он был великим ученым той молодой поры науки, когда она видела перед собой исполинские перспективы и смело шла навстречу им.

Явятся потом замечательные геологи, фаунисты, флористы; явится блестящая плеяда физиков и химиков второй половины девятнадцатого века. Ими будут открыты законы, каких не мог бы открыть Гумбольдт; но точное и более *дробное* знание, которое они созидали, уже утратит понимание того знания, какое создавал Гумбольдт.

У Гумбольдта есть страницы (каких мы, конечно, и должны ожидать от него), где он предпринимает расчет общего числа видов растений, едва десятую часть которых знала тогдашняя ботаника. Он вычисляет их с помощью интереснейших соображений, почерпнутых из географии растений и связанных, как он сам пишет, с «метеорологией и физикой Земли», то есть продиктованных именно его концепцией «всеобщих связей мира». Но они доведены тут до подлинной конкретности научных законов, облеченных почти в математическую форму (он сам считал это «ботанической арифметикой»).

Страницы эти фактически остались не прочитанными теми, кого наш Тимирязев гневно называл «истами» и «логами».

Биологические идеи Гумбольдта, ставящие организмы с реальными законами их развития в тесную связь с землей, со средой, где они живут и развиваются, нашли отклик в наше время, были развиты и несравненно углуб-

лены наукой, которая указала человеку путь к власти над живой природой. Ученые, исследующие сущность живого, взвешивающие место органического мира, его «удельный вес» и роль в общей цепи явлений на земном шаре, смогли по достоинству взвесить и мысли Гумбольдта о всеоживленности земной поверхности, о связях внутри живого мира, о сообществах и постепенной смене, развитии этих живых сообществ.

И теперь мы можем по-настоящему оценить все значение Гумбольдтова способа видеть и познавать мир в его величественном и прекрасном единстве — не упуская целого ради частностей, не пренебрегая частностями из-за целого.

Страницы, написанные более полутора веков назад, говорят с нами почти на нашем языке.

«ОЗАРЯЮЩИЙ ВЕСЬ МИР СВЕРКАЮЩИМИ ЛУЧАМИ»

В июле 1808 года принц Вильгельм Прусский, младший брат короля, отправился в Париж выпросить снисхождение для Пруссии, поставленной на колени. Принц предложил Гумбольдту ехать с ним. И Гумбольдт с жаром ухватился за приглашение принца: в Пруссии он так и не прижился.

Короли и герцоги толкались в передних Тюильри, Сен-Клу и Фонтенбло. Они робко ожидали аудиенции хотя бы с каким-нибудь министром императора.

Гумбольдт не вернулся с принцем — напрасно письмо за письмом слал из Берлина брат. «Даровитые люди,— раздражительно отвечал Гумбольдт зовущим его назад в Пруссию,— быстро находят оценку в столице мира, тогда как в туманной атмосфере Берлина, где все и каждый выкроены по шаблону, об этом не может быть и речи».

Его прельщал не блеск и барабанный бой наполеоновской столицы, а французская наука.

Жил вместе с Гей-Люссаком. Вставал в семь, отправлялся завтракать к Араго, затем — в лабораторию, в Политехническую школу. Обед в семь часов вечера отмечал конец первой части рабочего дня. Вечер был отведен салонам и друзьям. Около полуночи он возвращался домой и снова работал до двух-трех часов ночи. «Сон становится устарелым предрассудком»,— шутил он.

Скоро он стал как бы общепризнанным центром научной жизни Парижа.

Никому не ведомый молодой человек прочел Гумбольдту свою научную работу. Гумбольдт поддержал его. И, как вспоминает химик Либих (тоже многим обязанный Гумбольдту), перед молодым человеком открылись «все двери, все лаборатории, все институты».

Установилось такое обыкновение, что талантливая молодежь — ученые, путешественники, литераторы — стремились прежде всего попасть к Гумбольдту. Большинство уходило от него с рекомендательными письмами или даже с деньгами.

«Кто из приехавших в Париж,— пишет один мемуарист, Голтей,— имея черный фрак, белый галстук и пару перчаток,— кто не являлся к Гумбольдту? Но — и это может показаться невероятным, хотя это истина,— кто из оставивших свою карточку у этого благороднейшего, либеральнейшего, благодушнейшего из всех великих людей не получил дружеского ответного визита? Кто не пользовался предупредительной добротой, советом, помощью этого неутомимого благодетеля?»

В свое время, едва высадившись в Бордо, Гумбольдт объявил, что ближайшая цель его — путешествие в Азию.

Этой мысли он не оставлял.

В пространном и очень характерном письме, написанном 7 января 1812 года в обсерватории на улице Сен-Жак и посланном в Петербург, он целью путешествия называет Гималаи. «Я желал бы видеть и Тибет... Вероятно, я отправлюсь вокруг мыса Доброй Надежды...»

«Я чрезвычайно рад участию, которое так давно питают ко мне в Петербурге,— пишет он дальше.— Имена господ Сперанского и Уварова небезызвестны тем, кто следит за успехами науки на севере. Министр торговли, граф Румянцев, во время своего пребывания в Париже сделал мне честь обратиться ко мне с предложениями, на которые я ответил отнюдь не уклончиво... Правда, мне трудно оставить надежду увидать берега Ганга с бананами и пальмами...

Мне теперь 42 года, и я желал бы предпринять экспедицию, которая длилась бы 7—8 лет. Но для того, чтобы пожертвовать азиатскими странами равноденствия, необходимо, чтобы план, который мне будет предначертан, был бы пространен и широк. Кавказ привлекает меня менее, чем Байкальское озеро и вулканы Камчатки. Мож-

но ли проникнуть в Самарканд, Кабул и Кашмир? Есть ли надежда измерить Мустаг и плато Шамо? Есть ли в Русской империи человек, который бы посетил Лхассу, миновав обыкновенную дорогу через Тегеран, Казвин и Герат или Калькутту?..

Геогнозия, география растений, метеорология, наблюдения над маятником, теория магнетизма сделают значительный шаг вперед при этой экспедиции, вследствие обширности пространства исследования. Должны быть изучены народы, языки (составляющие самый долговечный памятник прежней цивилизации), явится надежда открыть промышленные пути на юг.

Я бы желал начать с того, чтобы пересечь всю Азию между 58—60 градусами широты, через Екатеринбург, Тобольск, Енисейск и Якутск до вулканов Камчатки и берегов океана.

...Я не понимаю ни слова по-русски, но я сделаюсь русским, как стал испанцем. Ибо все, что я предпринимаю, я делаю с увлечением.

...Я предпринял бы путешествие из Тобольска к Коморинскому мысу, если бы даже знал, что из девяти человек доедет только один».

Письмо он заканчивает вопросами:

«Не можете ли вы дать мне точные сведения о том, под какой широтой лежит самое северное и обитаемое зимой селение в Сибири? Под селением я разумею всякое соединение 2—3 домов. Было бы очень интересно узнать также часовые колебания магнитной стрелки и силу магнетизма во время северного сияния среди полярной ночи».

Какой обширный план — многолетняя экспедиция с участием множества ученых («Я бы желал, чтобы большая часть сопровождающих меня ученых были русские: они смелее и терпеливее переносят тяготы путешествия и не будут так сильно желать скорого возвращения...») и особые, точнейшие приборы, которые надо изготовлять «более года» по специальному заказу в Париже, в Лондоне и в Мюнхене! Куда обширнее и куда размашистее, чем все американское путешествие!..

Адресатом письма был Ренненкампф, немец на русской службе, посредник между Гумбольдтом и петербургским правительством.

Но шел 1812 год. Конечно, это достаточное объяснение, почему задуманная экспедиция так и осталась в проекте.

Однако гремели войны в 1798 году, и судьба разрушала проект за проектом, и гибли нанятые барки, а Гумбольдт все-таки уехал.

А теперь он терпелив, он ждет, ссылается на занятость обработкой американских коллекций и никого не торопит...

В том же 1812 году, когда наполеоновская армия уже готовилась двинуться к Висле и Неману, Гумбольдт узнает, что страшное землетрясение разрушило Каракас. Огромные массы скал низвергнуты с Силлы, на которую он некогда поднимался. «Так, значит, наших друзей нет больше в живых, дом, в котором мы жили,— только груда мусора, города, который я описал, не существует!»

Вот оно, новое грозное проявление подземного мира!

С тех пор как Гумбольдт сам испытал землетрясение в Кумане, с тех пор как он видел Анды и стоял в Кито на «крышке» (как ему представилось) чудовищного вулкана с тремя отдушинами -- Котопахи, Пичинчей и Тунгурагуа,— с тех самых пор подземный мир завладевает все большим местом в его «картине природы». Строгий, требовательный, точный наблюдатель в своей географии, в метеорологии, в своей ботанике, в изучении ландшафтов на суше и морских течений, один из наиболее трезвых мыслителей в биологии, человек, поставивший условием всякого обобщения в науке о Земле безошибочную математику тысяч промеров и определений,— Гумбольдт снисходительнее во всем, что относится к извержениям, потокам лавы, судорогам земной коры. Он верит в кратеры поднятия. Горные цепи вздуваются, как пузыри, над кипящим подземным огненным морем. Землетрясения — одной природы с вулканическими явлениями.

В глазах ученого мира Гумбольдт сейчас был, вместе со своим товарищем студенческих лет Леопольдом Бухом, главой «вулканистов».

Человек, внешне сдержанный во всем, постоянно как бы закованный в холодноватую броню рационализма и светскости, с любезной, как многие полагали, дипломатической улыбкой, он тут словно выпускает на простор свое воображение, ослабляет узду жесткой дисциплины, всегда подчиняющей его.

Он сопоставляет, он нетерпеливо комбинирует известия.

За год с небольшим до катастрофы, 30 января 1811 года, внезапно появился остров Сабрина в группе Азор-

ских. Затем сотрясение почвы прокатилось по Антильским островам и дошло даже до равнин Огайо и Миссисипи. А через месяц вулкан острова Святого Винцента, давно заглохший, вдруг изверг потоки лавы. В это время туземцы Южной Америки — от побережья Гвианы до лесов Апуре и Ориноко — слышали удар более сильный, чем пушечный выстрел.

Подземная сила... Она была тут — и в то же мгновение за сотни миль. Ее не удерживал океан. Что знают обо всем этом толпы близоруких учеников Вернера? Они судят по своему, европейскому Везувию. Холмик у Неаполитанского залива служит прообразом чудовищных вулканов Мексики и Южноамериканских Анд! «Рассуждения ученых заставляют вспомнить о Вергилиевом пастухе, который свою лачугу считал моделью Рима»,— язвительно записывает Гумбольдт.

Они не знают, как в немногих тысячах метров под Парижем, под Берлином, под Европой клокочет сила, которая связывает весь земной шар единым огненным узлом. Только тонкая внешняя оболочка скрывает ее. Но некогда она бушевала и на поверхности. Горы лавы вспухали, подернутые корочкой окалины. Миллионы вулканических жерл просверливали шаткую сушу. Тогда рождались материки и снега не было на высочайших горах. «Какое сильное влияние имела бы и ныне на климат Германии ресселина, разверстая на 1000 туазов глубины на всем протяжении от Адриатического до Северного моря!»

Оболочка, кажущаяся нерушимой, потому что мы наблюдаем за ней лишь какие-нибудь секунды в пересчете на космическое время, эта оболочка трепещет и морщится, и через нее воздушный и огненный океаны подают друг другу руки. Толпы растений, стаи животных, племена людей движутся от моря к морю, огибая горы, поднимаясь по рекам; горячие ветры из пылающего котла Сахары кочуют к ледяным пустыням Арктики. Все части Земли связаны друг с другом.

Странная, причудливая картина — вновь и вновь она возникает перед умственным взором Гумбольдта.

...А там, за мертвым поясом азиатских пустынь, более непроходимых, чем бразильские леса и воды Тихого океана, там, откуда явились гунны, авары, хозары и полчища Чингиса, вздымаются хребты, горные узлы, целые горные страны, выше которых нет на Земле, поднятые, вы-

пяченные к небу той же чудовищной силой... Азия! Нет, ему не миновать ее...

Но в огненном мифе о Земле, который властно захватил Гумбольдта, вымысел все плотнее, все неотделимее сливается с истиной.

А время идет.

Сколько усилий стоит Гумбольдту выпуск его исполинского отчета об американском путешествии! Сначала издатели предлагают некоторый гонорар. Но он не может составить даже определенного плана издания. Тома разрастаются под рукой. Каждая мелочь кажется ему важной.

Он бесконечно исправляет чуть не каждую страницу. Заставляет разобрать уже печатавшийся четвертый том «Дневника путешествия». Издатель взыскивает с него девять тысяч пятьсот франков неустойки. А четвертый том дневника так и не появился.

Араго, которому он посвятил том по истории географии Нового Света, заметил ему: «Ты пишешь, не заботясь о конце. Это совсем не книга — это портрет без рамы». А Гумбольдт сам признал, что это «очень скучный, но очень ученый труд».

От одновременного издания на шести европейских языках сразу же пришлось отказаться (только немногие тома вышли, в сокращении и плохих переводах, по-немецки, по-английски и по-испански).

Все издание даже не было закончено. Вышло в конце концов тридцать томов: двадцать томов in folio, десять — in quarto, на французском языке; некоторые тома дублированы по-латыни.

В трех томах — дневник путешествия (незавершенный). Пятнадцать томов — ботанические итоги, два — зоологические, еще два тома — данные измерений. Два тома — «Виды Кордильер и памятники туземных народов», том — географический и физический атлас, том — история географии Нового Света, еще том — опыт географии растений, два тома — «Политический очерк королевства Новой Испании».

Последний том — недомерок: одни карты. Вышел он через много лет — в 1834 году. Общественный интерес к этому непомерно затянувшемуся изданию постепенно ослабевал. Не только широкая публика, но и специалисты в 1834 году не считали, конечно, путешествие, совершенное тридцать лет назад, самой свежей новостью.

Да тут еще нелепая, несообразная, все рекорды бьющая цена. Экземпляр стоил целое состояние: 2553 талера, или 9574 франка,— намного дороже даже «Описания Египта», изданного на средства французского правительства.

«Увы! увы! — жалуется Гумбольдт в письме к инженер-географу Берггаузу.— Мои книги не приносят мне выгоды, на которую я рассчитывал... Кроме экземпляра, который я оставил у себя, в Берлине есть еще только два. Один — полный, в королевской библиотеке, другой — в домашней библиотеке короля, но неполный — и для короля сочинение оказалось слишком дорогим!»

И при всем том тридцатитомное «Путешествие» — это единственный в своем роде памятник работы географа. Исследователь и в наше время открывает его как сокровищницу подавляющей массы ценнейшего, часто неповторимого материала, как энциклопедию Америки, какой она была под испанским владычеством скоро два столетия тому назад, как свидетельство натуралиста с самым зорким взором и смелой, всеобъемлющей мыслью о том, что он видел. Гумбольдту удалось действительно привлечь крупнейших ученых Франции и частично Германии к работе над томами (назовем хотя бы Кювье, Гей-Люссака, известного ботаника Кунта — племянника тегельского воспитателя), создать своеобразный научный институт: тем ценнее результаты работы.

Но когда вышел последний том, от состояния Гумбольдта не осталось ничего.

Впрочем, это случится еще через два десятилетия. Пока же... вот в 1816 году Гульбольдту пришлось навсегда расстаться со своим спутником по американскому путешествию.

Эме Бонплан сделался доверенным лицом императрицы Жозефины. Потом говорили, что это именно он советовал поверженному императору перебраться в Мексику, чтобы из этого «центрального пункта земли» выжидать развития событий в обоих полушариях. После реставрации Бурбонов Бонплан счел, что ему нечего делать в Европе, сел на корабль и уехал в Буэнос-Айрес.

Наполеоновское вторжение в Испанию окончательно расшатало цепи, связывавшие пиренейскую монархию с ее колониями. В Мексике и во всей Южной Америке вспыхнули победоносные восстания. Независимые рес-

публики возникли там, где Бонплан и Гумбольдт странствовали с письмом дона Уркихо.

Бонплана торжественно встретили в Буэнос-Айресе и предложили кафедру естественной истории.

Долгое время от него не было вестей. Затем дошли сведения, что кафедру, обещавшую больше почета, чем средств к существованию, он оставил, перебрался в глубь страны, в Санта-Анну, где, окруженный индейцами, завел плантацию мате — парагвайского чая. Но Парагвай считал культуру мате своей монополией. Плантаторы-рабовладельцы, католические князья церкви, эмиссары колониальных держав засылали в страну агентов, вдохновляли заговоры. Страна закрыла свои границы. Глава Парагвая полуиндеец доктор Франсиа подозрительно следил за ботаническими экскурсиями Бонплана и за опытами его с мате в Санта-Анне.

И вот в 1821 году по приказу Франсиа Бонплан был схвачен, как утверждали, на бразильской территории и отправлен в Парагвай, в местечко Санта-Мария.

О Бонплане хлопотали французское и английское правительства; Гумбольдт переслал доктору Франсиа тома «Путешествия», где Бонплан описывал растения. Но Франсиа был неумолим.

Только в 1829 году он выпустил своего пленника.

Тысяча восемьсот двадцать второй год. Путешествуя по Италии с королем Фридрихом-Вильгельмом III, Гумбольдт снова поднимается на Везувий. На обратном пути он ненадолго заезжает в Берлин. Но брат и на этот раз тщетно уговаривает его остаться. Письма Александра из Парижа полны насмешек над «берлинизмом», внушавшим ему отвращение; там «ненавидят все, что мешает спать», и «становятся тем одностороннее, чем шире делаются воззрения в других странах».

Самая подлая реакция душила в эти годы прусский народ. Фридрих-Вильгельм III осуществлял все принципы «Священного союза», заключенного монархами Европы для истребления повсюду «революционного духа» (Николай I ставил впоследствии этого короля в пример его сыну — Фридриху-Вильгельму IV, безвольному и склонному к сентиментальной декламации).

Начавшиеся было робкие разговоры о конституции король сурово пресек. В прусских буржуазных кругах

шло глухое брожение; его подавляли беспощадными репрессиями. Когда кинжал студента Занда покончил с Коцебу, бездарным писакой и мракобесом, началось усмирение университетов. Небывалое по жестокости, оно велось в общенемецком масштабе, под руководством «центральной следственной комиссии», заседавшей в Майнце. Вильгельм Гумбольдт был в числе немногих, протестовавших против передачи дел о студентах — прусских подданных — майнцскому трибуналу. Вильгельм в свое время был прусским депутатом на Венском конгрессе, делившем Европу после низвержения Наполеона, Но теперь и Вильгельм оказался не ко двору в Берлине...

Александру в Париже дышалось свободнее.

Географ Риттер описывает в письме вечер у Араго в сентябре 1824 года, на другой день после смерти Людовика XVIII. «Около 11 часов явился, наконец, и Александр Гумбольдт, и все обрадовались его рассказам и новостям. Никто не знает столько, сколько он. Он все видел. Он уже с 8 часов утра на ногах, тотчас получил известие о смерти короля, говорил со всеми врачами, присутствовал при выставлении тела, видел все, что происходило во дворце, знает все, что произошло в министерских кружках, в семействе короля. Побывал в Сен-Жермене, в Пасси, у разных высокопоставленных лиц и является теперь с полными карманами анекдотов».

В этих строках — весь «светский» Гумбольдт.

Из своих же разнообразных научных работ упорнее всего Гумбольдт занимался магнитными наблюдениями. С годами он был склонен придавать им все большее, совсем особое значение. Сила, обнимающая всю Землю, имеющая свои магнитные полюсы и магнитный экватор, знаменательно не совпадающие с полюсами и экватором Земли, представлялась Гумбольдту как-то связанной и с вулканами, с землетрясениями.

Но чем больше росла слава Гумбольдта, тем ревнивее относился Фридрих-Вильгельм к тому, что «солнце науки» сияет не в его Берлине. В 1826 году король перестал удовлетворяться намеками, которые Гумбольдт неизменно «не понимал», и официально предложил ему переселиться в прусскую столицу. Можно было оставаться глухим к просьбам брата, но брат не был королем. Гумбольдт вспомнил о пожалованных ему орденах, звании камергера, подумал, наконец, о пенсии в пять тысяч талеров и титуле Excellenz (превосходительство) в пер-

спективе и ранней весной 1827 года через Лондон отправился в Берлин.

В том же году он начал (3 ноября) в университете свой знаменитый курс публичных лекций.

О чем читал Гумбольдт? От имени какой дисциплины выступал? Обо всем — и от имени всех дисциплин. Он читал о космосе.

Слушать его съезжались даже из других городов. Зал бывал переполнен.

Он прочел шестьдесят одну лекцию; последнюю — 26 апреля 1828 года.

Уже первые лекции произвели необычайный эффект. Тогда возникла мысль провести одновременно второй, популярный цикл для самой широкой, «народной» аудитории. Небывалая новость! Энциклопедия научного мировоззрения, преподносимая народу,— нет, об этом не слыхивали в Прусском королевстве...

В Певческой академии Гумбольдт прочел шестнадцать лекций.

О «бреши в недоступных стенах академической науки», о «живом общении величайшего ученого с народом», о том, что Гумбольдта слушали «король и каменщик», тогда говорили восторженно. Лекции посетило около тысячи человек. Король бывал действительно; трудно определить, сколько бывало «каменщиков». Но приходило много студентов, и литераторов, и учителей, и нечиновных чиновников; много женщин. То был выход науки если и не в народ, то все-таки в довольно широкие слои интеллигенции,— в первый раз не только в Пруссии, но и в Европе.

Он читал о своей «физике мира», говорил о небе и о Земле, смело давал сводку, итоги знаний по геологии, метеорологии, живой природе, рассказывал о человеке и человечестве.

Его слушали жадно, провожали овациями, хотя он читал без ораторских эффектов, не гонясь за занимательностью, как бы не уверенный еще в своей немецкой речи, от которой успел отвыкнуть, и не решаясь прибегнуть перед немецкой аудиторией к остроумию, галльской «соли», обычной для его парижских докладов.

Когда он закончил оба цикла лекций, специальный комитет поднес ему медаль. На ней изображалось солнце, латинская надпись гласила: «Озаряющий весь мир сверкающими лучами».

Гумбольдту шел шестидесятый год. Он стал главой немецкой науки, признанной крупнейшей фигурой во всей европейской науке. Это походило на апофеоз.

У короля в Потсдаме он бывал запросто; это он использовал для того, чтобы помочь объединению немецких ученых, разобщенных границами множества «герцогств», «княжеств» и «королевств».

И ему удалось добиться, чтобы в Берлине в 1828 году собрался общенемецкий съезд естествоиспытателей и врачей.

Не первый съезд. Но имя Гумбольдта привлекло на этот раз шестьсот ученых со всех концов Германии.

Его единодушно выбрали президентом съезда. Он произнес благородные слова: «Сама нация, разделенная как в своих верованиях, так и политически, поднимается во всей силе своих интеллектуальных способностей».

Гумбольдт выглядел очень моложаво; дух его почти не старел.

Но что же с его планами, с его путешествием, четверть века назад объявленным «ближайшей целью»? Ведь, «не видев Азии, нельзя считать, что знаешь земной шар...».

Не спеша он все это время вел переговоры с русским правительством. Наконец они закончены.

Азиатское путешествие становилось реальностью. Увы! В этой реальности осталось мало сходства с программой, намеченной в 1812 году...

Двенадцатого апреля 1829 года Гумбольдт выехал из Берлина в Петербург. С ним двое: Христиан Готфрид Эренберг, прежде теолог, теперь медик и естествоиспытатель, и Густав Розе, горняк и минералог. Оба вдвое моложе его. Третий — преданный камердинер Зейферт.

«С ЮНЫХ ЛЕТ МЕЧТАЛ ОБ ИРТЫШЕ И ТОБОЛЬСКЕ»

Из окон прусского посольства на Гагаринской Нева, покрытая бурым льдом с редкими разводьями, казалась необъятной, берег за ней окутывала мгла. Гумбольдта почти тотчас же пригласили во дворец. Несколько дней он обедал там, вечера проводил у императрицы, а одиннадцатилетний наследник (будущий Александр II) устроил в честь его особый обед, «чтобы потом помнить об этом».

Его постоянно именовали бароном. Четверть века назад он не поправил президента Джефферсона, который тоже так назвал его. Постепенно баронский титул закрепился за Гумбольдтом, к некоторому недоумению специалистов по геральдике. Он привык к этому и сам несколько раз подписался так.

Он не был тщеславен. Но, вечный дипломат, не спорил с условностями и привычками общества, где ему приходилось вращаться, не отказывался от того, что ему приписывалось общим мнением или предоставлялось щедротами сильных мира сего. «Придворный с 1827 года» (по собственным словам), он принимал все это: камергер, «эксцелленц». Но внутренне многое тяготило его. И в этом до мелочей регламентированном путешествии с непременным эскортом, раутами, встречами, щелканьем каблуков, речами. И дома, в королевской Пруссии. Легче и свободнее всего ему дышалось — одному перед лицом могучей природы, равному среди равных в Париже.

Лишь в конце жизни он, кто в истинной глубине своего существа выше всего ставил научные интересы, ради них и жил, дал себе волю. В письме 1852 года тому же инженер-географу Берггаузу мы прочтем наконец: «Нет необходимости особо напоминать... что к моему имени не следует добавлять: ваше превосходительство, камергер, барон и тому подобных громоздких немецких титулов».

Так или иначе, в Петербурге Гумбольдту не оставалось времени для осмотра города. Он отметил то, что встречал по пути из посольства во дворец или Академию наук,— единственную в мире набережную с чудо-линией громадных сказочных дворцов, плашкоутный мост на Васильевский остров, музеи, ледяные горы, качели, бородатых людей в синих кафтанах и меховых шапках, крики сбитенщиков и балаганы со зрелищами на площадях...

Заседание Акадимии наук состоялось 29 апреля старого стиля. Гумбольдт сидел рядом с вице-президентом Шторхом, председательствовавшим вместо Уварова. Шторх передал гостю вместе с «Трудами» Академии за 1826—1827 годы серебряную и бронзовую медали и диплом почетного члена — на пергаменте, в серебряном позолоченном футляре. Гумбольдт отвечал со скромной признательностью, вручил работу немецкого эллиниста Бека

и письмо его с просьбой сообщить древние надписи, найденные на юге России и на пути вступивших в Турцию русских войск. А закончил речью о магнитных наблюдениях, исследовании магнитного поля Земли, нарисовав грандиозную картину сотрудничества новых и старых геофизических обсерваторий, отдельных от обсерваторий «небесных», в Париже, Берлине, Петербурге, Казани, Пекине — зоркой и бдительной сторожевой цепи вдоль всего величайшего в мире евразийского массива суши.

Правда, о своем намерении «стать русским, как стал испанцем», он пока не вспоминает. Даже в фамилии приветствовавших его вельмож не всегда внимательно вслушивается. Брату он пишет: «Военный министр Чрейтцев прислал мне из генерального штаба собрание гравированных карт». «Чрейтцев» — это Чернышев.

8(20) мая двинулись в Москву. Экспедицию Гумбольдта сопровождал прикомандированный к ней горный чиновник Меньшенин, именовавшийся, совсем как в Пруссии, «обер-гиттенфервальтер». Курьер скакал впереди и, приводя в трепет смотрителей, молниеносно устраивал смену троек на станциях. Ехали в трех экипажах, на этот раз специально изготовленных знаменитым каретником Иохимом.

В Москве Гумбольдта встретили старые знакомые: Фишер, с которым когда-то вместе учились во Фрейберге у Вернера,— теперь Фишер был превосходительством, ездил четверкой и назывался «фон Вальдгейм»; Лодер, маленький юркий старичок со звездой, точно так же читавший лекции по-латыни, распространяя вокруг себя запах карболки и сулемы, как и некогда в Иене, где Гумбольдт и Гете рассекали под его руководством трупы в анатомическом театре.

Прием состоялся в зале торжественных актов Московского университета. Отныне Гумбольдт — почетный член старейшего университета России. Осмотр кабинетов, обход аудиторий; три часа посвящены работе с Фишером в «музеуме». Профессор Перевощиков засыпан вопросами о климате, о показаниях барометра и термометра и как выводить из них высоту местности в московских условиях. (Позднее Перевощиков напечатал «Ответы на вопросы Гумбольдта».)

Московский профессор сам сверил барометр гостя с университетским.

Отправились в Кремль. Гумбольдт с жадным вниманием приглядывается к живой истории, каменному кружеву башен, темной живописи в соборах, к бесценным сокровищам Оружейной палаты и сумрачным сводам Грановитой, где пировал Иван Грозный, где Петр справлял Полтавскую победу...

Наконец — обед в Благородном собрании. Как сообщили «Московские ведомости», «сей необыкновенный из ученых муж», «королевско-прусской службы действительный тайный советник, камергер и кавалер, барон Александр Гумбольдт», который «покушался возвыситься до недоступной вершины Бороаса (или Чимбароас)», прибыл в зал к трем часам дня. «Хр. И. Лодер приветствовал его на французском языке речью... и присовокупил, что за успех его на хребтах Уральских ручается Чимбароас». Гумбольдт отвечал: он считает «счастливым предвещанием, что прежний его наставник, столь удачно его отпустивший на первый подвиг, и ныне обнадеживает его таковым же успехом». Потом, после того как выпили за русского императора, прусского короля и за гостя, он сказал еще, по-французски же, что в Российской империи он везде усматривает быстрые успехи наук, художеств и промышленности, свидетельствующие, что дух великого преобразователя сей страны непрестанно над нею бодрствует...

Но он вовсе еще не видел России. Лишь наспех переговорил с несколькими русскими учеными. Русскую музыку он слышал только в исполнении шарманщиков; на балах его угощали гимном «Боже, спаси царя», который играли на мотив английского «God save the king», да отрывками из итальянских арий. И люди во фраках и манишках, имевшие самое непонятное отношение к науке, восклицали: «Виват, Гумбольдт, виват!»

«С уст его не сходит никогда улыбка; он обладает всеми приятными приемами светского человека»,— сообщает о Гумбольдте корреспондент «Галатеи». Но из Москвы сам он жаловался Вильгельму на «полицейских чиновников, казаков», почетную стражу. «Нельзя ни на один момент остаться одному; нельзя шагу ступить без того, чтобы вас не поддерживали под мышки, как больного. Желал бы я поглядеть на Леопольда фон Буха в этом положении»,— шутливо добавляет он.

Путь лежал через Богородск, Ковров, Владимир, Муром. В этом городе, где магнитная стрелка не имела

склонения, то есть указывала прямо на полюс, они целый день переправлялись через Оку. В Нижнем три экипажа поставили на большую барку, посередине которой под натянутой парусиной устроили стол с двумя скамьями, а на корме сложили печку. Восемь гребцов гребли сменами по четверо. Снег еще кое-где лежал на берегах рядом с яркой зеленью.

В Казань прибыли через шестьдесят три часа. В доме Благородного собрания их встретил эконом, немец Герберт.

На Арском поле Гумбольдт делал астрономические и магнитные наблюдения вместе с гениальным Лобачевским (три года назад уже доложившим университету свое открытие неэвклидовой геометрии) и астрономом Симоновым. Он знал Симонова и раньше. То был также путешественник. Он останавливался в Париже, возвращаясь из кругосветной экспедиции Беллинсгаузена, увидевшей мысы, заливы, обледенелые горы гигантской неведомой суши в южном полярном море.

Военный баркас отвез Гумбольдта к развалинам Болгара Великого, столицы волжских болгар, разрушенной в пятнадцатом веке. Недалеко от впадения Камы в Волгу широкое место было усыпано битым камнем. Кое-где смутно рисовались линии улиц, стояли еще отдельные здания, темная невысокая мечеть, мавзолеи, «Белая» и «Красная» палаты...

1 (13) июня за Пермью, у Бисертской слободы, показался Урал. Через два дня путешественники вышли из экипажей в Екатеринбурге.

Все в этом городе, небольшом в то время, было связано с заводами, заимками, шахтами, приисками — с горнорудным Уралом. Повсюду мундиры горных чиновников, инженеров. Улицы пестрят вывесками контор. На дрожках, по-купецки — в сапогах бутылками, нетерпеливо понукая кучеров в синих армяках, торопятся промышленники.

Вечером в нескольких избранных домах города собирается «горное общество».

Но, отдав неизбежную дань торжествам, приемам, тостам, оттанцевав даже где-то кадриль, Гумбольдт все остальное время с рассвета до ночной темноты проводит в горах, в штольнях, в цехах.

Средний, Северный Урал. Путешественник неустанно определяет высоты, следит за магнитной стрелкой, соби-

рает образцы пород. Эренберг ворчит, что флора горы Благодать мало отличается от флоры Тиргартена. Порою этого неистового гербаризатора, спутника Гумбольдта, приходится довольно сложным путем извлекать из болота, где он неловко увяз, охотясь за каким-нибудь красным мхом.

Дороги не везде, надо продираться сквозь заросли, через завалы гнилых стволов.

Сам Гумбольдт предпочитает верховым поездкам далекие прогулки пешком: он никогда не садился на лошадь.

Горы покаты, их вершины закруглены, сточены временем. И безмерная ясность долгого северного дня льется над величественной пустынностью земли.

Одни охотники за медведями и росомахами попадаются навстречу.

Но вот пеньки, лесные кладбища, лес сведен, обнажен бок горы. Все громче неумолчный постук, гул и шум бессонной работы. Еще завод, требующий осмотра.

Вечером, часов в девять-десять, когда сгущаются сумерки и наверху дела на сегодня закончены, Гумбольдт спускается под землю. Худой рыжий Розе в рыжих панталонах садится в вихляющуюся бадью. Гумбольдт медленными, осторожными, ровными шажками, слегка наклонив вперед голову, сходит по лестницам на девяностосаженную глубину...

Четыре недели такой жизни — настоящий калейдоскоп впечатлений. И все же грандиозная, пестрая, противоречивая картина промышленного Урала в главных своих чертах сложилась перед Гумбольдтом. И поразила его.

Тут все — завтрашний день. «Процветание уральских рудников и упадок американских» — такими словами определял он то, что поражало его.

На Урале не могло быть речи об оскудении. Молодая, нерасчетливая, опутанная тяжелыми путами, так что росла она подчас вкривь и вкось, все же набирала сил уральская промышленная жизнь.

Это была именно своя, уральская жизнь. Не департаменты петербургских министерств правили ею. Оттуда, из столицы, наоборот, глушили многое, не слышали, не желали слышать ничего — ни о беспокойных предложениях, ни об изобретениях, придумках, которые сыпались с этого горного кряжа, от этих неуемных уральцев, даже

вовсе не чиновных, а каких-то мелких служак, простых инженеров, а то и вовсе мужиков-крепостных.

Гумбольдту трудно было, конечно, разобраться во всем этом. В четырехнедельном калейдоскопе ничего в подробностях и не рассмотришь. Но острый глаз, особенно пробуждавшаяся в нем во время путешествий жадность к познанию окружающего, соединенная с искусством исследователя и беспримерным упорством в труде, помогали угадывать основное. На иные резкие факты жизнь наталкивала сама, как ни отгораживали Гумбольдта от них эскорты, парады, приемы с иноязычной немецко-французской речью. В сущности, он постоянно окружен соотечественниками, которых, кстати, и сам невольно искал. Поиски эти трудностей не представляли, соотечественники встречались повсюду: министры, чиновники, аптекари, ученые, управители, врачи, выписанные рабочие-немцы; даже в Тобольске Розе отмечал: «Далеко от родины мы почти забывали, что находимся в Сибири».

Впрочем, Гумбольдт встречает и превосходных русских горных инженеров. Они принимают его, сопровождают в поездках по Уралу. Он высоко оценивает их познания, энергию. «Выдающиеся люди»,— пишет он о них.

Да, со всегдашним своим доброжелательством Гумбольдт как бы представлял вниманию петербургского начальства (в письмах, которые он регулярно отправлял в русскую столицу) видных людей горной промышленности. И эти Гумбольдтовы упоминания сыграли свою роль: в Петербурге, где с угрюмым недоверием встречали все «свое», к именитому гостю прислушивались.

Путешественники посещали на Урале предприятия по тому времени образцовые: Кушвинский казенный завод, «порядок и чистоту работы на котором нельзя достаточно похвалить», яковлевские заводы, в первую голову Верхисетский. Качество изделий, технология производства, механизмы для раздувания печей, больница и аптека в рабочем поселке, самая архитектура зданий, с колоннами и куполами,— все восхищало Гумбольдта и его спутников. Кто же поднял так яковлевские заводы? — допытывались они. И услышали ответ: Григорий Зотов, крепостной, он был управителем заводов...

Встречали они и «диких бар», не желавших признавать никакого усовершенствования, никакой механизации, никакого облегчения работ. Зачем? Рабы дешевле

всего! Гумбольдт очень осторожно, очень дипломатично касался в своих письмах-отчетах страшной язвы крепостничества. Он обсуждает вопрос преимущественно экономически. «Плохое распределение и применение человеческих сил», особые «условия пользования крепостными и мастеровыми на частных заводах», неразделение работ — «один человек и чугун отливает, и деревья валит, и золото промывает». В итоге тысячи людей там, где достаточно сотен.

Он своими глазами видел тех, кто трудился в мрачных, похожих на казематы цехах Богословского завода или в Туринских медных рудниках. «Надо было иметь большое терпение и любопытство, подстрекаемое любовью к науке, чтобы обойти эту водоотводную штольню, грязную, кривую и низкую»,— сообщает Меньшенин об одной из экскурсий Гумбольдта. «Великолепные малахиты, но что за безбожные разработки!» — вырвалось у самого Гумбольдта о турчаниновских владениях в «Гумёшках».

Он видел и леса, выжигаемые на топливо,— что жалеть «дикому барину»?! Табуны лошадей, впряженных в ворот,— «двигатель» для сиплых пасосов, откачивающих воду...

Верно, так охотнее всего правила бы своими вотчинами-заводами и династия Демидовых. В 1829 году Анатолий Демидов еще не женился на племяннице Наполеона (которую он будет поколачивать вполне в духе ветхого Домостроя) и не купил еще себе княжества Сан-Донато, но были Демидовы уже среди богатейших людей России. Шестая, а временами и четвертая часть всего чугуна, производимого в России, выплавлялась на заводах Демидовых. А заводов этих, им принадлежащих, на Урале было несколько десятков. Гумбольдт посетил демидовский Нижний Тагил, осмотрел литейные и рудники, плотины и россыпи. Хозяев не было, они почти никогда не жаловали своим присутствием уральские заводы, откуда рекой лилось к ним золото. Да и в Петербурге, на Мойке, темными оставались зеркальные стекла пышного дворца: Демидовы предпочитали жить за границей. Лишь бы там, на Урале, все было как встарь, как сотню лет назад, когда впервые неслыханно, непомерно разбогател Акинфий Демидов, и, как встарь, как сотню лет назад, безропотны были крепостные рабы, «крещеная собственность» потомков сметливого тульского кузнеца Демида Антуфеева и сына его, петровского оружейника Никиты Демидовича.

Но на заводах Нижнего Тагила многое оказалось не как встарь. Гумбольдт увидел важные технические новшества. Хозяева, в своем далеке, мало были повинны в них. Новшества заводили заводские инженеры, работники — из тех, о которых говорили: «Уральцы коренные, до седьмого колена». И прежде других — замечательная семья крепостных Черепановых.

В наши дни историки пишут, что «механическое заведение» Черепановых на Выйском заводе стало центром передовой техники для всего Урала. Мы можем только догадываться, что сделали бы, чего добились бы эти люди необыкновенной технической одаренности, дерзновенно смелой мысли, железного напора, неутомимого трудолюбия в другое время, при иных условиях.

В 1829 году полный размах дела Черепановых был еще впереди. Но уже работали первые черепановские паровые машины. Уже задумывалась «паровая телега», «сухопутный пароход» — первый русский паровоз. Все трое Черепановых — старший Ефим Алексеевич, сын его двадцатишестилетний Мирон и подросток племянник Амос — готовились строить его. Первая в России железная дорога скоро откроется не в столице, а именно здесь, на Урале,— Пароходная улица в Нижнем Тагиле до сих пор напоминает об этом.

Нижнетагильские заводы произвели очень большое впечатление на Гумбольдта. Розе в своем двухтомном «Путешествии на Урал, Алтай и Каспийское море» много пишет о них.

Но встречались ли путешественники во время краткого своего пребывания в Нижнем Тагиле с самими Черепановыми, мы не знаем. Недавно А. А. Остромецкий опубликовал архивный документ, в котором говорится: «Столь отличные по своему устройству и пользам паровые машины, как единственные на всем Урале, заслужили внимание и одобрение многих путешественников, в том числе знаменитого Гумбольдта...»

С каждым днем все нарастало у Гумбольдта ощущение неизмеримости богатства этой земли сокровищ. Руды, металлы, бериллы, топазы — он видел все это воочию. Полупудовый кусок самородной платины сам нашел в Нижнем Тагиле. Во время неизбежного обеда на Сысертском заводе, где инженеры сидели в синих мундирах с золотым шитьем и черными бархатными воротниками,

Гумбольдт взялся за салфетку — под ней лежал плоский тяжелый кусок самородного золота.

Однажды в Богословске в знойный полдень путешественник стоял возле колодца, который споро рыли заступами несколько рабочих. Едва пробили верхний слой почвы, открылась смерзшаяся земля, глыбы обледенелой глины, вечная мерзлота.

Какой необыкновенный край — и как же мало дней отведено даже не на осмотр, а только чтобы успеть бегом обежать его!

Промчались дни — пора ехать дальше.

Путь ведет через Камышлов и Тюмень.

Одиннадцатого июля Гумбольдт смотрел с высокого берега на сизо-бурое непомерное пространство движущейся воды. Кое-где виднелись клочья сбитой пены. Это походило на равнину, на осеннюю степь. И Гумбольдт сказал тобольскому генералу-губернатору Вельяминову:

— Я с юных лет мечтал об Иртыше и Тобольске.

Удивительная встреча поджидала путешественников в Тобольске: с работавшим здесь, лечившим «остяков и самоедов» доктором Альбертом, родным племянником Шарлотты Буфф. Той, кого страстно, безнадежно любил двадцатитрехлетний Гете, кого, сохранив имя — Лотта, обессмертил в «Страданиях молодого Вертера», одной из самых знаменитых книг на свете! Поистине можно было бы сказать — до чего мал мир, если бы эта расхожая мещанская мыслишка не была прямо противоположна тому, как всегда думал о мире и как ощущал его Гумбольдт!..

Поездка совершалась еще скорее, чем предполагалось. Гумбольдт решил, что остается время посмотреть и Алтай. Вельяминов отрядил с путешественниками своего адъютанта Ермолова (он приходился племянником «покорителю Кавказа»).

Потянулся открытый простор, изредка прерываемый березовыми колками. Зонтичные травы с горьким запахом поднимали выше человеческого роста желтоватые соцветия.

Начались болота. Экипажи запрыгали на кочках. В густом тростнике крякали утки. На закате вся плоская, неоглядная гладь наполнялась тонким ноющим звуком. В свете фонаря крутились мириады мошкары. Лица замотали платками.

Ехали Барабинской степью.

Ночью в Каинске узнали, что дальше по пути свирепствует сибирская язва. Одни говорили, что ее вызывает укус мухи. Другие были уверены, что дело в испарениях огромных болот. Почти все советовали возвращаться. Гумбольдт двинулся дальше. С собой взяли запас провизии и бочонок с водой.

Три дня пересекали зараженную местность. Через вздувшуюся, почерневшую, бушующую Обь не было переезда. Сутки ждали на берегу, стараясь согреться и обсушиться у дымных, потрескивающих костров из сырого хвороста.

ВЛАСТИТЕЛЬ ВОДЫ. ТАЙНА БУЛАТА

Каменные дома, тенистые деревья, тишина и пустота на чистых, широких улицах. Вот посередке одной из них бульвар, на листьях — матовая роса, тускло отсвечивает необычная мостовая — из шлака, остающегося от плавки серебра.

Так на рассвете 21 июля въезжали в Барнаул, алтайский центр.

Горный округ назывался Колывано-Воскресенским. Начальствовал в нем П. К. Фролов. «Деятельный ум и вкус г. Фролова встречаешь на каждом шагу в Барнауле»,— отметил Ермолов в описании своей поездки с Гумбольдтом.

Двадцать лет назад Фролов проложил здесь, на Алтае, между рудником и заводом конно-железную дорогу. Она вошла во все книги по истории техники как важный этап в развитии железнодорожного транспорта. Паровоза еще не было, но рельс и колесо доведены до такой степени совершенства, что одна лошадь легко везла груз, который по грунтовой дороге потянули бы едва двадцать пять лошадей.

Фролов строил суда, расчищал реки, украшал город, перестраивал горное и заводское дело, в несколько раз увеличивши производство в некоторых отраслях. Администратор и инженер, человек высокой культуры, энергичный, взыскательный, стремительный (о его внезапных наездах в какой-нибудь медвежий угол те, у кого рыльце в пушку, сложили присловье: «Не боюсь ни огня, ни меча, а Петра Кузьмича»), он был одним из тех русских людей, которые и в самые мрачные времена растили силу и богатство своей родины.

Шоссе проходило по широкой плотине, Фролов показывал машинное здание (машину двигала вода), корпус сереброплавильного завода, цветники и фонтаны около него, обнесенные чугунной решеткой — такой же, как у Михайловского замка в Петербурге.

Осмотрели городские музеи — зоологические коллекции, модели рудников и машин, оружие, утварь, одежды народов Алтая и Сибири.

Дома у Фролова была комната, обитая китайскими материями, устланная китайскими коврами; в шкафах расставлены фигурки людей с косыми бровями, разложены карты Небесной империи, рукописи на маньчжурском и монгольском языках. И Гумбольдт ощутил, как близки от этого вполне европейского города, от этого дома китайские рубежи, сердце Азии.

В Петербург он написал: «Господин фон Фролов образованный человек и с талантом».

Гранитные груды громоздились друг на друга. Причудливый мир казался еще более фантастическим в предрассветном полумраке. Первые красноватые лучи ударили в глаза. Внезапно с крутой возвышенности открылось Колыван-озеро. Оно лежало в громадной мглистой низине, как в крутой чаше.

В Змеиногорск приехали к десяти утра. На Алтае кругом, а здесь особенно, оставались живые следы работы другого Фролова, Козьмы Дмитриевича, горняцкого сына, гидротехника. То был отец нынешнего гостеприимного алтайского хозяина Гумбольдта. Козьма Фролов с детских лет был дружен с таким же, как он, сыном горного солдата Иваном Ползуновым, творцом «огневой машины». И судьбы их шли как бы рядышком — оба уральцы, оба попали на Алтай, где проработали все зрелые годы, обоих по таланту сравнивали даже в официальных петербургских документах.

Только Фролов на сорок лет пережил Ползунова, сраженного чахоткой молодым в 1766 году. И вовсе различно было то главное, что они делали.

Целью одного было покорение пара.

А другой стал замечательнейшим в истории властителем воды.

Гумбольдт и спутники его могли видеть в недрах Змеиной горы ходы для подземных рек, проведенные Фроловым; еще стояли исполинские семисаженные колеса. Вода у Козьмы Фролова двигала машины, мехи, молоты,

насосы, поднимала руду, везла ее в вагонетках; то была удивительная подземная, почти нацело механизированная силой воды «кузница Плутона», или, лучше сказать, Плутона, подружившегося с Нептуном,— переворот во всей прежней технике горных работ. Мощная, покорная, бесконечно многообразная сила, фроловское чудо, как говорили о ней,— вот во что была тут превращена человеческим гением вода в канун века пара!

Пустынные гранитные и порфировые горы прорезаны ущельями. Каменные колоссы нависали над узкой дорогой. Мрачная, дикая, величественная «дорога гигантов» ведет к Колыванской фабрике, знаменитой фабрике, чьи яшмы и порфиры Гумбольдт видел в парижском Тюильри, во дворце прусского короля, а недавно и в Петербурге, в Зимнем. Он ходит среди рабочих, он стоит подле — нет, он стоит под яшмовыми вазами-колоссами, одна четыре, другая семь аршин в поперечнике...

Риддерский рудник. Алтайские белки́, в снеговых шапках, глядели прямо в слюдяные оконца избы, отведенной путешественникам. Еще не тронутый лес строевой сосны, пихты, берез и тополей подступал к селению. Медведи и горные козы спускались к грохочущей речке Громотухе.

Мысль о китайских рубежах не выходила из головы Гумбольдта.

В Усть-Каменогорской крепости, где шел торг с монгольскими караванами, Ермолов подарил Гумбольдту китайский компас.

Второго августа горами на дрогах-долгушах двинулись в Бухтарминск. Над пещерой на скале была высечена вязь неведомой надписи. Ни Меньшенин, ни томский военный губернатор Литвинов, сопровождавший Гумбольдта, не знали, что это такое; русских же ученых в экспедиции Гумбольдта не было.

У форпоста Красные Ярки переехали границу Российской империи. Иртыш, клокоча, прорубал себе дорогу в острых скалах. Впереди было каменное сердце Азии.

И все же Гумбольдт не добрался до него. Он остановился у первого китайского поста.

Назад из Бухтарминска в Усть-Каменогорск спустились на двух плотах по Иртышу: по три лодки были связаны вместе, перестланы досками, и сверху поставлена войлочная юрта.

Пятнадцатого августа были уже в Омске. Тут губер-

наторствовал Сен-Лоран (Десентлоран), генерал, известный главным образом тем, что когда он колебался принять губернаторство, ссылаясь на отсутствие административного опыта, Николай сказал ему: «Поверь, наша военная часть мудрее всякой другой». Генерал в самом деле плохо усвоил премудрость администрирования в николаевской России. Он дал Гумбольдту в провожатые сосланного декабриста Степана Михайловича Семенова. Вернувшись в Петербург, Гумбольдт, верный осторожно, но твердо принятой на себя благородной миссии добровольного ходатая за встреченных им выдающихся людей в несчастье, рассказал императору, какого необыкновенно образованного человека назначил ему в спутники омский губернатор. Это поразило также и Николая, который нарядил строжайшее расследование и, узнав, кто это был, жестоко отчитал Сен-Лорана. Семенова перевели в Тобольск.

Началось путешествие по укрепленной линии. Коменданты маленьких крепостей встречали Гумбольдта в полной форме, навытяжку и рапортовали, взяв под козырек, о состоянии вверенных войск. Люди сбегались смотреть на странный поезд неведомой особы. Кто-то догадался, что везут сумасшедшего датского принца Гумплота.

Так или иначе, сделав почти круг, потешественники очутились на Южном, рудном, Урале.

В Миассе, или, как его называли тогда, Мияске, из дома горного инженера Порозова, где остановился Гумбольдт, были видны Ильменские горы. Обетованная земля геологов, единственный в мире естественный музей, где природа собрала вместе десятки, сотни минералов. Нигде нет больше ничего подобного. И среди них — удивительные и редчайшие «цветы земли», существующие только в этом «саду минералов», в этом заповедном краю.

Кругом — золотые россыпи. В тридцати пяти верстах — Златоуст, знаменитый Златоуст-оружейник, кующий на всю армию холодное оружие.

И 2 (14) сентября, явившись в порозовский дом рано поутру, чтобы поздравить почетного гостя с шестидесятилетием, горные офицеры поднесут ему саблю.

В жизнеописаниях Гумбольдта, начиная с самых первых, можно найти только пренебрежительно-иронические упоминания об этом даре: саблю мирному путешественнику! Какие нравы в этой российской глуши! Смущала подаренная сабля, хотя по другим причинам, и русских

историографов Гумбольдтова путешествия, в их числе — крупного передового ученого, академика Д. Н. Анучина: она напоминала о комендантах, встречавших навытяжку экипажи Иохима, о николаевской муштре.

Очевидно, в условиях царской России быстро забылось, что сабля была не простой.

В то время помощником директора Златоустовской оружейной фабрики работал тот, кто стал новатором металлургии,— Павел Петрович Аносов. Тогда тщетно разгадывали тысячелетнюю тайну булата, или дамасской стали. О прочности и остроте этих синевато-темных клинков с узором, в котором видели сходство с виноградной гроздью, с зыбью, с прядями волос, ходили легенды. Будто некий восточный властелин, поспорив с европейским королем, у кого сабля лучше, подбросил в воздух тончайший шелковый платок и как бритвой разрезал его на лету. Не зная секрета булата, европейские, в частности немецкие, оружейники травили «дамасские» узоры на обыкновенной стали: подделки именовали «дамаскированными».

Николаевское правительство готово было уплатить громадную сумму даже некоему Кахраману Елиазарову, которого кавказский наместник Паскевич отыскал в толчее тифлисского базара, но скоро выяснилось, что никакой «тайны булата» у Елиазарова не было.

А в это время Аносов в Златоусте уже твердо шел к разгадке ее. И вопрос для него был не в одном булатном оружии, он видел тут еще никем не тронутую проблему высококачественных сталей — металлургию будущего. Через двенадцать лет в классической работе «О булатах» он напишет: «...скоро наши воины вооружатся булатными мечами, наши земледельцы будут обрабатывать землю булатными орудиями, наши ремесленники выделывать свои изделия булатными инструментами».

В Златоуст путешественники отправились 26 августа, ранним утром. Не торопились, их привлекало все в этой местности изумительной красоты, не сходной ни с чем, что они видели раньше на Среднем и Северном Урале. Мягкие, круглые, кудрявые горы, круто западающие лощины, яркая гладь раскиданных озер — «глазастая земля»! Заехали на Князе-Александровскую россыпь. Полдня ушло, пока показался Златоуст.

Множество немецких мастеровых. Ковачи из Золингена, шлифовщики из Клингенталя. Лет пятнадцать, как

потянулись они сюда: им обещали в России такое жалованье, о каком и мечтать нельзя было на родине, в Германии,— две с половиной тысячи в год, сверхинженерный оклад.

Было в Златоусте к тому времени немало и русских превосходных оружейников, на долю которых приходилась лишь ничтожная частица этих щедрот. Розе не заметил их, городок показался ему совершенно немецким. «Совершенно немецкий фабричный городок, в котором мы повсюду слышали родную речь и видели родные порядки и нравы».

Старик Агте, директор завода, в сопровождении Аносова и еще одного инженера, повел приезжих к домнам, горнам, по мастерским. Розе непрерывно записывал. Говорили с немецкими мастерами, смотрели, как они работают. Звенели под молотами стальные полосы. Быстро, от мастера к мастеру, от одного чистого, опрятного домика к другому, полетело: «Друзья! Gesellen! Бал в честь Гумбольдта! Чтоб были все! Hoch!»

Городок лежал между горами Большой Таганай, Юрма — в самых именах слышался отзвук древней кочевой Азии, все еще полной неведомого для европейской науки. Гумбольдт еле дождался утра. Начинался дождь. Подождать? Упустить сутки? День 27 августа проведен на Большом Таганае.

Двадцать восьмого передышка. Все были истомлены. Это значит — с утра до вечера осматривали частные коллекции в Златоусте. Они были интересны, обильны. Культурнейшие люди, инженеры, жили и работали в маленьком городе стальных клинков. Аносов — прекрасный геолог. С ним можно обсудить и свои удачи во всех многочисленных минералогических экскурсиях и вчерашний день, когда, к сожалению, было больше неудач. Розе старательно записал разговор о геогностических особенностях местности; Аносов передал Гумбольдту карту Златоустовского горного округа.

А Гумбольдт также нашел время написать большое письмо жене министра финансов Канкрина в Петербург — остроумное и непринужденное, как вообще писал он письма, особенно женщинам. Он рассказал про бал немецких мастеровых, про барометр, разбитый на горе Таганай, и про двух молодых людей, двух юных геологов, Гофмана и Гельмерсена, которые съехались с ним в Миассе,— им было разрешено по его просьбе некоторое

время сопровождать его и дальше. «Во имя науки приносим благодарность превосходному министру, что он доставил *таким людям* (подчеркнуто Гумбольдтом) возможность исследовать геогностически важный отдел русских гор...»

Двадцать девятого поутру Гумбольдт покинул Златоуст.

Письмо было не последним с Южного Урала. Он сообщал в Петербург о своих геологических наблюдениях: о строении гор, горных породах, камнях, рудах, минералах,— видно, что тут его главная страсть, он убежден, что и адресат, кем бы он ни был, пусть хоть министром Николая I, не может не разделить ее.

Он высказывает смелые, глубокие мысли о не тронутых еще сокровищах Урала, гордится тем, что его путешествие поставило вне сомнения существование на Урале и олова. Обсуждает зорко подмеченные недочеты горного дела. Полстраницы посвящает раздумьям человека на другой день после шестидесятилетия, когда пройден «поворотный пункт» жизни. И снова о Гельмерсене и Гофмане.

Только одна фраза, единственная фраза, написанная со всей светской ловкостью, касается подарка к дню рождения — сабли: «Благодарность за подарок красивой сабли с дамаскированным клинком должен я, верно, направить вашему высокопревосходительству», то есть министру Канкрину! (Из Миасса, 3 (15) сентября.) [1].

Надо думать, что Гумбольдту сказали, что этот клинок аносовской стали. Но понял ли он, что сталь, вот эта, которую он держит в руках, единственная в мире?

Нигде ни строкой он не показал этого — ни он сам, ни подробно писавшие о русском путешествии еще при

---

[1] «Den Dank für das Geschenk eines schönen Säbels mit damascirter Klinge muss ich wohl an Ew. Excellenz richten!»

Привожу эту фразу в подлиннике, потому что в нашей литературе появились утверждения, будто именно Гумбольдт чуть ли даже не «открыл» великого русского металлурга, сообщив в Петербурге о «первоклассной сабле с дамасским клинком» или, как значится в книге другого автора, написав «из Златоуста», что он «неожиданно получил чрезвычайно ценный подарок: меч, выкованный из булата. Булат этот выплавлен по способу инженера Аносова. На клинке явственно видны красивые желтоватые узоры, что является несомненным свидетельством, что это настоящий булат».

У Гумбольдта столько действительных заслуг, что нет никакой надобности награждать его мнимыми.

его жизни и, конечно, выверявшие написанное с ним Розе и Клетке. Слишком стремителен был пробег по городам и весям России, и, мы видим, иные всепоглощающие интересы владели Гумбольдтом...

Клинок был из стали восемнадцатого опыта — уже с узорами; но еще сотня плавок потребуется, пока сам Аносов признает свою сталь — года через четыре — настоящим булатом. Тем легче стало в строку привычное слово «дамаскированным».

Имя Аносова Гумбольдтом упомянуто лишь один раз в конце письма, в числе лиц, которым он благодарен за внимание: Агте, Порозов, Аносов...

А в меньшенинском отчете нет ни звука о самом замечательном человеке Златоустовского завода.

В Миасс пришло к Гумбольдту нетерпеливо, давно ожидаемое им известие, что у Бисертской слободы, через несколько дней после его отъезда, на золотых россыпях графини Полье, найдены три алмаза. Гумбольдт просил повторить это несколько раз. Он сказал окружающим, что сегодня у него день большой радости. Теперь, как и раньше, самой большой радостью для него была бескорыстная радость открытий. Он предсказывал, что на Урале найдут алмазы. Министру Канкрину он написал: «Урал — настоящее Дорадо, и я твердо стою на том (все аналогии с Бразилией позволяют мне уже два года это утверждать), что еще в ваше министерство в золотых и платиновых россыпях Урала будут открыты алмазы... Если мои друзья и я, мы сами не сделаем этого открытия, то наше путешествие будет служить к тому, чтобы побуждать других».

Меньшенин хмурился. Очутившись волею судеб в роли провожатого при Гумбольдте, он не одобрял ни такого способа путешествовать, ни самого Гумбольдта.

Гумбольдтов фельдъегерский «пролет» его коробил, да и утомлял. С Уралом Меньшенин знакомился не со стороны: тут начал он практикантом, обходил прииски на севере и на юге, был смотрителем Екатеринбургской золотопромывальной фабрики. Его влекла наука, книга: он начальствовал в типографии, директорствовал в библиотеке, заведовал минералогическим кабинетом. Его ум, свободный от романтических взлетов, «охлажденный» (недавно прочли это слово в первой главе «Евгения Онегина»), содержал в отличном порядке обширный запас практических и теоретических знаний. Он читал лекции

в горном корпусе; он писал. Екатеринбургскую фабрику описал тщательнейше. Теперь в типографиях печатались, в библиотеках хранились его статьи и заметки по разным вопросам горнозаводского производства и горной истории. А «Путешествие» рисует нам Меньшенина не чуждым также изящной словесности: по вполне деловому отчету щедрой рукой рассыпаны «живописные и пиитические» (сказано об озере Колыван) красоты природы и риторические, во вкусе эпохи, восклицания. («Но какая сила подняла сии ужасные громады... и поставила их перпендикулярно?» Об утесах на Иртыше.)

Карьера его быстро шла в гору: служба при губернаторе, казенная палата — и вот он в Петербурге. Ему нет еще сорока, а уж три года он занимает видный пост — у самого кормила горной науки.

В простоту чрезвычайных открытий он не верил; внезапные обобщения кажутся ему легкомысленными. И во время всей поездки длится безмолвный упорный поединок двух различных типов мышления, двух мировоззрений, двух людей, почти полярно противоположных друг другу. То молчанием, то кратким ответом, то взглядом — из тех, что в столице входило в моду называть «байроническими»,— Меньшенин давал понять Гумбольдту, что «сопровождающим» в этой экспедиции должен быть уж, во всяком случае, не он, не Меньшенин.

Но Гумбольдт, утомленный рапортами, раутами, приемами, занятый разъездами, осмотрами, промерами, сборами, восхождениями, понял только то, что вот хотя бы обер-гиттенфервальтер не донимает его своей навязчивой любезностью, и остался вполне доволен своим спутником.

В поединке победа оказалась на стороне Гумбольдта. Он заглянул дальше, вперед, в грядущее. Время неопровержимо доказало это.

Но видел ли, понимал ли он, в каких нечеловеческих условиях жили те, чей безыменный гений, чье изумительное искусство заставляли эти горы раскрывать свои тайны,— рудознатцы, горщики, «каменных дел» мастера?

В одно из немецких писем к Георгу Канкрину, российскому министру, он включил некоторые намеки. Но тут же успокоил министра: «Само собой разумеется, что мы ограничиваемся наблюдениями над мертвой природой и избегаем всего, что касается человеческих учреждений и условий жизни низших классов народа. То, что иностранец, незнакомый с языком, может об этом вынести

в свет, всегда рискованно, неверно и, ввиду такого сложного механизма, какой представляют собой отношения и приобретенные некогда права высших сословий и обязанности низших, способно только раздражать без какой-либо пользы».

Министр философски отвечал на это: «Я вполне согласен с вами, когда вы заявляете о желании заниматься возможно менее политическими условиями уральского населения, и не столько вследствие трудности исследовать право или бесправие таких древних исторических порядков, сколько вследствие плачевного хода человеческих дел вообще, когда масса слушается только силы, хитрости или денег...»

Некогда в «Политическом опыте о Кубе» Гумбольдт писал: «Обязанность путешественника, видевшего ближе то, что терзает и унижает человеческую природу,— довести жалобы несчастного до сведения тех, чей долг их облегчить. Этой части моего сочинения я придаю гораздо большую важность, чем кропотливым трудам по астрономическому определению положения мест, магнитному склонению и сопоставлению статистических данных».

НЕВЕРОЯТНЕЕ ЛЮБОГО РОМАНА

Перед прибытием Гумбольдта в Оренбург разыгралась курьезная сцена. Он послал письмо генерал-лейтенанту Эссену с просьбой распорядиться добыть некоторых редких животных Оренбургского края. Почерк Гумбольдта был теперь лишь немногим разборчивее египетских иероглифов. Письмо пошло по рукам офицеров. Наконец один инженер-поручик расшифровал его. Эссен рассвирепел:

— Я не понимаю, как мог прусский король дать такой высокий чин человеку, занимающемуся подобными пустяками!

Эссен вскочил в коляску и поскакал в Уфу, чтобы только не встретиться с гостем.

Но после на тракте они все же нечаянно встретились. Оба вышли из экипажей, церемонно раскланялись и разъехались в разные стороны...

Оренбург — центр караванной торговли со Средней Азией. В двух верстах от города — Меновой двор, квадрат сто саженей длиной и шириной, огороженный каменными стенами. Туда вели двое ворот — для европейских и азиатских торговцев.

В этом городе, вблизи которого оставались еще следы лагеря Пугачева, жил Григорий Силыч Карелин, капитан в отставке и путешественник. Он был внезапно сослан сюда за шутку об Аракчееве. Его квартиру заполняли минералы и чучела птиц. У него подолгу сиживал Иван Иванович Корин («Иван, Иванов сын»,— русскими словами записал Гумбольдт), казачий урядник, самоучка ботаник. Они склонялись над гербарием, а мимо по немощеной улице с серыми колючками и глиняным забором гуськом, позванивая колокольцами, проходили верблюды, и рыжее облачко пыли вставало за ними.

— Простой казак, определяющий степные растения и насекомых по Кювье, Персону и Латрейлю! — восхищенно отозвался Гумбольдт.

И мы ошибемся, если сочтем это за дешевую дань восторгов, которой платят иной раз хозяевам торопливые проезжие.

Да, еще в Берлине Гумбольдта предупредили, что не следует особенно вникать во внутренние обстоятельства николаевской империи. И все, что было царедворческого в Гумбольдте, приняло это к сведению. Кортеж из трех экипажей Иохима, каждый ценой 1200 талеров — огромная сумма (о чем не упустил Гумбольдт сообщить брату в Тегель), обгонял вереницы ссыльных, которых гнали на восток привязанными к одной веревке и под конвоем башкиров с копьями и луками; из-за этих луков башкирские стрелки, вступившие в 1814 году в Париж в составе русских войск, получили от французских остряков прозвище «амуров». В штольнях, похожих на каторжные норы, копошились в удушливой тьме живые скелеты — по двенадцать, по четырнадцать часов, не видя дневного света; редко кто доживал до сорока лет. Гумбольдт проходил, протискивался мимо них; он молчал: он соблюдал уговор.

Но были встречи, где он считал себя свободным от всяких уговоров. То была его и ничья больше область: область разума, область науки; тут он никого не знал над собой. И, ничего не обобщая, в этих частных случаях он вмешивался. Был настойчив, находчив, отыскивал го-

рячие, проникновенные слова, ни в чем, однако, не погрешая против светской «гладкописи» в письмах, против отлично усвоенных, издавна обкатанных салонных формул — в устных просьбах. Не останавливался и перед тем, чтобы, если надо, подкрепить доверительным: «это мой друг». И тяжкая участь изменялась как бы по мановению волшебной палочки: ее держал великий ученый, немецкий путешественник, вихрем промчавшийся.

Нельзя забывать и об этих *человеческих* результатах русского путешествия Гумбольдта, судя о нем!

Вот и в том большом, интереснейшем немецком письме графу Канкрину в Петербург из Миасса Гумбольдт не ограничился благодарностью за саблю, похвалой Гофману и Гельмерсену, упоминанием «верхушки» — Агте, Порозова, Аносова, «работающего по рафинированию стали». Он написал еще: «Я повторяю также, что молодежь Вашего горного корпуса должна Вас радовать. Я охотно назову тех, кто отличается своими познаниями и деятельным исследованием гор, например,— Лысенко». И подчеркивает: «Из Малороссии».

Гумбольдт не догадывался, что ничего и не могло выйти из заступничества за декабриста Семенова. Николай Павлович питал всю жизнь непримиримую ненависть, подавляя ею скрытый страх, к тем, кто имел хоть какое-нибудь отношение к грозным событиям на Сенатской площади в день его воцарения. К тем, кого он с издевкой называл «Mes amis de Quatorze» — «мои друзья по Четырнадцатому»: восстание произошло 14 декабря 1825 года, в 1829 году то была свежая память.

Но в других случаях иным оказывался и исход ходатайств. Если просил сам Гумбольдт, и не только Канкрина, но и прямо царя. Сказочно повернулась судьба молодого урядника «Ивана, Иванова сына» Корина. Вот интереснейшие подробности, какие находим в «Деле», хранящемся в Центральном государственном историческом архиве в Ленинграде (ф. 733, оп. 22, д. 62). Министр двора в письме министру просвещения прямо ссылается на Гумбольдта, заметившего, что унтер-офицер Оренбургского казачьего войска «одарен редкими способностями и имеет особую наклонность к наукам». В Петербург он был вытребован уже 8 декабря 1829 года. Причислен к Ботаническому саду. Слушал лекции на физико-математическом факультете Петербургского университета. Испытания в 1832 году показали отличные

успехи: 24 декабря 1833 года пресловутый Уваров, министр и президент Академии, дает согласие на присвоение Корину степени кандидата. И кандидат Корин едет в Дерпт (Тарту), в тамошний университет — пишется бумага об оказании покровительства. Командировка в Берлин...[1]

К сожалению, тут обрывается «Дело» — обрывается то, что узнаем о простом, о замечательном русском человеке, ставшем ученым в недоброе, косное время. Редкая, счастливая удача, удивительное следствие случайной встречи «нижнего чина» на далекой окраине империи с Александром Гумбольдтом!

Но чем кончилось все? Вот этого мы не знаем. Не оборвалось ли не только департаментское «Дело», но и самое дело жизни Корина — не свелось ли снова к нулю? Нет сомнения, что и можно и должно это установить историкам науки — человек не иголка. Не сделано же это до такой степени, что даже имя Корина встречаем лишь в жизнеописаниях Гумбольдта, причем, видимо, с постоянной ошибкой: Карин. Надо думать — без вины Гумбольдта: например, в собрании двадцати восьми его писем Канкрину (рукописный отдел Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина: письма скопированы) на листе 75 ясно читается: Корин. Не ввел ли в заблуждение первых (немецких) публикаторов переписки почерк Гумбольдта?

В Миассе его ждал горный инженер Ф. И. Швецов, которого путешественник особо отметил еще во время поездки по Среднему Уралу, а слышал о нем, знал его еще до своего путешествия.

Именно Швецова он просил составить карту уральских платиновых месторождений. Готовая карта ждала Гумбольдта. Но автор ее, блестяще образованный, свой в любом обществе, в любом интеллигентском и ученом кругу, был крепостным! Крепостной инженер нижнетагильских заводов Демидовых. Крещеная собственность. Раб! Это не укладывалось в голове Гумбольдта. Бессмыслица, оскорбляющий разум нонсенс. Он хлопочет, добивается, разъясняет. И наконец сам, первым шлет Фотию Ильичу Швецову радостную весть: Демидовы выпускают его на свободу!

---

[1] Сведениями этими я обязан ленинградскому историку В. П. Грицкевичу.

В полуторавековом отдалении многое выглядит упрощеннее, чем было. Препятствия — легче преодолимыми, мрачное и чудовищное склонно зачастую обернуться гротеском: куда как прост победный бой с давно умершими властелинами — он был бесконечно труднее во времена их владычества.

Фигуры живших и действовавших тогда как бы оплывают; образы их смыты, становятся словно двухмерными; мы чуть ли не готовы мысленно распределить их по нескольким нехитрым схемам.

Замечательно об этом у Пушкина, в «Полтаве» — если не пробегать по строкам глазом, а вдуматься в них:

Прошло сто лет — и что ж осталось
От сильных, гордых сих мужей,
Столь полных волею страстей?
Их поколенье миновалось...

Не было схем. Никакой двухмерности. Жили *люди*, часто — с ярчайшими индивидуальностями. Страстные в борьбе за право называться людьми. С изумительными, причудливыми судьбами. Страшный, свинцовый гнет висел над ними...

Там и сям точно распахнется перед нами окно. Серенькая, приблизительная картина оживет. Воскреснет происходившее в подлинной живой сути.

Историк-ленинградец В. П. Грицкевич, исследуя вольнолюбивые движения в Белоруссии и Литве начала прошлого века, проследил жизненные пути нескольких необычных людей,— выяснилось, что Гумбольдт соприкоснулся с ними на Оренбургской военной линии.

Линия эта шла вдоль реки Урал до Каспия, по границе, как тогда говорили, «киргизских степей» — конечно, казахских, и кочевали там «киргиз-кайсаки», то есть казахи. Форпосты, редуты, крепостцы — «фортеции» — вроде описанной Пушкиным в «Капитанской дочке». Вышки-«маяки» — бревенчатые пирамиды с крутой лестницей к наблюдательной площадке.

Главная крепость Верхне-Уральского отрезка — Орск, у впадения Ори в Урал. Издалека в выжженной бурой степи-пустыне белеет церковь на Преображенской горе. Голое, в те времена безотрадное место,— не случайно сюда через восемнадцать лет то же николаевское правительство сошлет Тараса Шевченко.

Но в семи верстах ломали яшму: туда доходят отроги Южного Урала; невдалеке воды реки Урал прорываются сквозь Губерлинские горы: могла ли миновать это экспедиция Гумбольдта?

В Орске, у коменданта Исаева он увидел свою французскую книгу «Политический опыт о королевстве Новой Испании». Сердце его забилось:

— Ваша?

— Нет. Тут солдат Ян Виткевич из Литвы, ссыльный. Он учит по ней моих детей французскому: его книга.

Виткевич? Солдат? Гумбольдт осмотрел яшмовые ломки, заспешил в дорогу. Все же в Орске успел его догнать другой ссыльный, Алоизий Песляк из Верхне-Уральска — разговор о гербариях, собирании камней, насекомых и опять о Виткевиче, друге-товарище, перед которым он преклонялся.

Розе задержался, один, без Гумбольдта поехал верхом по правому берегу Урала за двадцать шесть верст к поселку Хаберному, с ним скакала охрана — боялись степняков,— и в ней резко выделялся юноша атлетического сложения, в солдатской шинели, говоривший с берлинским профессором как европеец, с казахами — как казах. Виткевич!

В Оренбурге Гумбольдт пробыл шесть дней, досадуя на дурную погоду, до краев занятый наблюдениями, захватившим его изучением карт председателя азиатской пограничной комиссии генерала Генса, подобных которым нигде не видел. И, разумеется,— торжественными обедами, казахским праздником за Меновым двором — с борьбой, скачками, танцами, песнями, музыкой. Но и здесь он нашел досуг беседовать не только с Кориным, но и с Томашем Заном, старшим среди литовских ссыльных.

И летопись шести оренбургских дней была бы неполна без дневника Зана.

Женя, или Женни, дочь генерала Жемчужникова, представила его Гумбольдту, верно — сказала, что даже в оренбургской тюрьме он читал и перечитывал «Картины природы»,— эта книга, вместе с «Политическим опытом», и сейчас, на свободе, оставалась его настольной.

Зан стоял перед человеком безукоризненно вежливым и, очевидно, счастливым, навсегда запомнились Зану его высокий лоб, небольшие голубые *светящиеся* глаза.

Вечерами собирались у Гумбольдта, если не было обеда у какого-нибудь сановника. Гельмерсен пел. Хозяин легко, умело, без признаков утомления, без тени педантизма правил беседой,— казалось, он знает все, но ничуть не кичится своими знаниями, меньше всего подавляет ими других, скорее даже подтрунивает над собой.

За стремительным, каким-то крылатым полетом мысли трудно было уследить.

Вот остроумнейшее рассуждение о том, что природа никогда не поступает очертя голову; допущенная видимая крайность тотчас возмещается противоположной; и мудрая система компенсации обеспечивает уверенное и прочное течение естественных процессов в подлунной — в отличие (с любезнейшей улыбкой) от человеческих дел. Кто-то из присутствующих настойчиво интересуется метеоритами, ведь как раз недавно опять сообщалось в печати — ярчайше прочертил небо и с грохотом, подобным грому, видимо, где-то упал один из них... А в ответ спрашивающий слышит увлекательное, немного ироническое изложение целых трех теорий образования «небесных камней».

— Кстати,— вдруг говорит Гумбольдт, причем слушатели тщетно силятся сообразить, каким образом разговор, все время поразительно интересный, достиг этого «кстати», — известно ли вам, кстати, что вина меняют цвет при перевозке из Америки в Европу?

Затем Гумбольдт поворачивается к Зану:

— После карты Пуша ни один серьезный геолог не имеет права игнорировать удивительных особенностей строения польской земли! (Зан говорил и писал по-польски.)

Еще кто-то почтительно упоминает очень ученую «Физику Земли» Паррота — собрались культурные люди, то не был вовсе глухой угол в духе гоголевского, тогда еще, впрочем, не написанного «Ревизора». Но две-три шутливых фразы — и становится ясно, что не так уж глубок этот кладезь премудрости, Паррот.

Конечно, разговор касается и алмазов, уральских алмазов. Подземные жилы... Закаменевшая магма. След внутреннего огня... Гумбольдт серьезен. Никаких шуток. Это то, о чем он неотступно думает.

От Зана мы узнаем, что тут же, в Оренбурге, до всяких своих ходатайств, Гумбольдт, далеко не богач, щедро

помог Ивану Корину. Зан называет пятьсот рублей,— конечно, ассигнациями, то есть около ста сорока рублей серебром.

Именно Зан будет потом готовить Корина к университету. Но в искрометных застольных беседах Гумбольдта он чувствовал себя почти невеждой,— он, кого в Вильно, в просветительном обществе «променистых» («лучистых») называли «архипроменистым»!

Однако тут-то и была область его превосходства, и, судя по дальнейшему, о чем-то в эти дни он поведал Гумбольдту, дополнив рассказанное, возможно, Песляком и русскими собеседниками...

Мощный духовный подъем, словно всплеск общественного самосознания, захватил после войны 1812—1814 годов широкие слои населения западного края России, где культурным центром стал Виленский университет. Возникали тайные общества-кружки филоматов, филаретов, променистых — с просветительно-пропагандистскими задачами, с целью добиться облегчения положения народа, уничтожить крепостную неволю. Мицкевич, как и Зан — выпускник университета, был участником их. Повальные обыски и аресты начались в 1823 году, всевластный Новосильцев разгромил университет.

Тогда в шестом классе «гимназиальной школы» в крошечных Крожах, в которой еще недавно верховодили сначала иезуиты, затем босоногие кармелиты, а зимами в нетопленых классах ученики сидели в кожушках, учился пятнадцатилетний Ян Виткевич, сын уездного «вице-маршалка» (незначительный судебный чин) Викторина Виткевича. Их было шестеро, назвавших себя «черными братьями», когда схватили и увезли их молодого учителя физики филомата Яна Соболевского. Отвергнув религиозную присягу, они просто дали друг другу честное слово поддержать старших, брошенных в тюрьмы, угнанных в ссылку. Было это по-детски наивно, письмо, разосланное в школы с призывом присоединиться, сразу же перехватили. Жандармы повели закованных в цепи мальчишек. Это звучит невероятно: дети! Но о цепях свидетельствуют очевидцы, пишет Мицкевич в «Дзядах». Приговор был скор: четверых в «киргизские степи», рядовыми без выслуги, а двоих в Бобруйскую крепость.

Все это случилось еще при «кротком» Александре I — «ангеле».

Яна Виткевича — в 5-й линейный батальон Орской крепости; Виктора Ивашкевича — в Троицк; Алоизия Песляка — в Верхне-Уральск; Николая Сухотского — в Звериноголовск на Тоболе.

Последнему уже ничто не могло помочь: в невыносимых условиях он покончил с собой; Песляк близок к этому.

И вот за троих, воротясь в Петербург, Гумбольдт, очевидно, о многом наслышанный, решительно вступился перед самим императором!

Совершилось как будто невозможное. Именным повелением двое произведены в унтер-офицеры, Виткевич назначен переводчиком оренбургской пограничной комиссии.

И вдруг хлынул, словно прорвав плотину, неистовый поток событий в этом одном из самых фантасмагорических существований того времени.

Портупей-прапорщик... Дерзкие рейды, когда с тридцатью — сорока казаками рассеяны в степях двухтысячные скопища — за ними стоял хивинский хан. Прозвание «Батыр» — богатырь — полетело от кочевья к кочевью.

Он не стал покорным, в 1833 году за подготовку «мятежа и побега» — снова в тюрьме, вместе с Заном и еще одним филоматом — Сузиным.

Как раз тогда (перед самым арестом троих) в Оренбург дня на два приезжал Пушкин. Сперва прямо к военному губернатору Перовскому — с ним был на «ты». Затем перешел к Далю, знакомцу,— у Перовского же обедали. С Далем и ездил за семь верст в слободу или станицу Бёрду, где за шестьдесят лет до того стоял Пугачев,— старуха казачка еще помнила его, пела Пушкину пугачевские песни. Вряд ли нашлось бы у Пушкина время и возможность встретиться с кем-либо из троих во главе с Виткевичем «возмутителей спокойствия»,— жаль...

Впрочем, арест на этот раз не оказался длительным — то ли не стоило дело выеденного яйца, то ли посмотрели сквозь пальцы на что-то, касающееся сорвиголовы, оказывающего такие услуги пограничному начальству.

И Виткевич на свободе, даже едет в отпуск — наконец домой, в Литву. С ним слуга, невиданно оде-

тый, изумляющий обитателей литовских местечек чудесами джигитовки; пожалуй, тургеневский Муций из «Песни торжествующей любви» произвел на сограждан сходное впечатление, вернувшись с таинственным малайцем.

Отпуск недолог — снова под палящим солнцем конь уносит Виткевича в Оренбургские степи.

В степном становье «султана» Жусупа Нуралиева он давно дорогой гость. Друг.

Внезапно он бесследно исчезает; так же нежданно появляется. Теперь он разыскивает Даля, «пушкинского» Даля, врача, собирателя десятков тысяч слов для затеянного им — в одиночку! — знаменитого словаря, плодовитого писателя (как хватало времени, сил? Через полтора века дивишься таким людям!) — в эти годы Даль служит в Оренбурге при В. А. Перовском,— разыскивает и диктует ему отчет о поездке во все еще недоступную Бухару!

О Виткевиче знают в столице; 2 июля 1836 года он в Петербурге. На улицах оглядываются на казахское платье Батыра; по-казахски он одевает и великих князей для маскарадов. Предстоящее ему, уже поручику, непомерно трудно: в Кабуле пересилить английское влияние.

В пустыне Хорасана он обводит вокруг пальца Роулинсона — археолога, дипломата, разведчика (специфически английский сплав!).

И вот — кабульское единоборство Виткевича с опытнейшим лондонским эмиссаром Александром Бернсом: 26 апреля 1838 года Бернс упаковал свой багаж — эмир Дост-Мухаммед склоняется к союзу с Ираном против Ост-Индской компании, гарантом выступит Россия! Текст договора подписан.

Но нечто сместилось в политической «стратосфере». Пальмерстон бряцает оружием, английские войска вот-вот вторгнутся в Афганистан, чтобы свергнуть Дост-Мухаммеда. Осложнилась дипломатическая игра вокруг Турции и непокорного султану (и европейским советчикам) Мухаммеда-Али египетского — было важно, как ляжет английская карта.

И Николай отступает. Он перечеркивает достигнутое в Кабуле.

В Петербурге Виткевич рассказывает:

— Я был на коне и под конем, на верблюде и под верблюдом...

Он сильно хромал.

Томаш Зан проводил Батыра в гостиницу, выпил у него чаю, выкурил сигару и ушел, оставив в оживленной беседе с двумя персами: персидский — один из девятнадцати (по Зану) языков, какими он владел.

Восьмого мая 1839 года Ян, или, как звали его в Петербурге, Иван Викторович Виткевич, был найден мертвым у себя, в шестом номере гостиницы «Париж» на Малой Морской.

Кажется, в день его смерти был изготовлен приказ о переводе в гвардию, ордене, денежной награде: пилюлю хотели подсластить.

Загадочная гибель до сих пор тревожит воображение романистов, историков; по-видимому, он покончил с собой, а перед тем сжег бумаги об афганской поездке, все плоды которой уничтожили в петербургских канцеляриях. Возможно, словно при яркой вспышке, он увидел, горько ощутил, как на его кратком пути многое сложилось иначе, чем грезилось подростку в холодных классах-склепах «гимназиальной школы». А то, как сложилось, пошло прахом...

Так, на тридцать первом году оборвалась жизнь невероятнее любого романа, у решающего поворота которой также на миг скрестились пути двоих — всемирно прославленного седого ученого с юношеским взглядом пристальных глаз и двадцатилетнего юноши в солдатской шинели.

ПРОЩАНИЕ С РОССИЕЙ

В Оренбурге на Гумбольдта громадное впечатление произвели карты и редчайшие рукописи генерала Генса. Они внятно говорили о том, что больше всего занимало, влекло Гумбольдта. Об исполинской силе, громоздящей горы. Подземном огне.

Генс дополнял их, пересказывая, что̀ доводилось ему слышать в этом главном русском пункте караванной торговли с глубинной Азией:

— К северо-востоку от озера Балхаш стоит высокая гора. Раньше она извергала огонь. И теперь еще пугает купеческие верблюжьи караваны свирепыми бурями,

которые будто бы без всякой причины зарождаются на ней. И нет такого караванбаши, что забыл бы принести в жертву этой горе овцу...

Из Оренбурга Гумбольдт написал: «Я не могу умереть, не повидав Каспийского моря». Через полвека он вспомнил о мальчике, стоявшем перед географическими картами в классной комнате замка Тегель...

В Астрахань ехали кружным путем — через Уральск, Бузулук, Самару и Сызрань.

Из Дубовки свернули к озеру Эльтон. Оно лежало среди красных коленчатых растений. Хрупкая корка соли покрывала землю. Миллионы мертвых насекомых плавали в мелкой тусклой воде.

Наконец увидели частокол мачт и колокольню над ними. Это была Астрахань.

Губернатор представил именитому гостю городского голову Астрахани. Купцы поднесли торт, убранный виноградом и персиками. Явились депутаты армянских, бухарских, узбекских, персидских, индийских, туркменских и калмыцких торговцев, объяснивших, по приглашению губернатора, каждый на своем языке, что они с умилением следят за славой барона Гумбольдта.

У купца Евреинова было три парохода. На одном из них Гумбольдт спустился к морю. Сзади пароход тащил баржу с дровами для топки. Утром высадились у Бирючьей косы. Сушились сети, пахло тиной; на грязном песке валялись известняковые камни — балласт, сброшенный судами, пришедшими из Баку. Шныряли ящерицы с растопыренными ногами; проползли две змеи; ушел в нору черный тарантул. Чайки низко летали над сбитой у берега пеной в желтой воде.

Пыхтящий казенный пароход отвез Гумбольдта дальше в море. Плоский берег казался чертой, проведенной по линейке. Тянулись низкие острова в камыше. Маяк на острове Четыре Бугра, белевший далеко, обозначал конец земли. Море замкнуло круг. На юге синело. Вода под кораблем была густой и бурой. Лот показывал шесть с четвертью — шесть с половиной футов.

В три часа ночи капитан заявил, что поворачивает обратно,— кончались дрова. Зачерпнули воды в бутылки; ее можно было пить.

Возвращались на север быстро. Гумбольдт спешил. Была середина октября. В Москве, однако, пришлось задержаться. Фишер фон Вальдгейм никак не хотел скоро

отпустить Гумбольдта. Был снова устроен прием в университете.

В Петербурге на этот раз Гумбольдт пробыл больше месяца — с 13 ноября по 15 декабря нового стиля. Меньшенин подсчитывал для своего отчета: «В 23 недели путешественники объехали 14 500 верст, в том числе 690 верст водою, и, кроме того, около 100 верст по Каспийскому морю; они были на 518 станциях и привели в движение 12 244 лошади; они имели 53 переправы через разные реки, в том числе 10 через Волгу, 2 через Каму, 8 через Иртыш и 2 через Обь». Обер-гиттенфервальтер обладал юмором...

Николай, приняв Гумбольдта, сказал по-французски:

— Ваш приезд в Россию вызвал громадные успехи в моей стране; вы распространяете жизнь повсюду, где вы проходите.

И подарил соболью шубу и вазу высотой в семь футов с пьедесталом.

С Гумбольдтом виделся Пушкин.

— Не правда ли,— отозвался он о немецком госте,— Гумбольдт похож на тех мраморных львов, что бывают на фонтанах? Увлекательные речи так и бьют у него изо рта.

Пушкин сказал о Гумбольдте примерно то же, что и Гете («Он подобен источнику со многими трубами — все мы должны только подставлять сосуды, и неисчерпаемые струи наполнят их»), только проще, без глубокомыслия, которое иной раз на собеседников Гете производило такое впечатление, будто великий поэт с благоговейным изумлением прислушивается к собственным речам.

16 (28) ноября состоялось экстраординарное заседание Академии наук «в честь барона А. ф. Гумбольдта». Оно было собрано не столько для того, чтобы Гумбольдт рассказал русским ученым о своем путешествии по России, обсудил с ними выводы, посоветовался,— пожалуй, даже меньше всего это имел в виду президент академии Уваров, автор пресловутой формулы-трехвостки «православие, самодержавие, народность», человек, которого Пушкин скоро выведет в сатире «На выздоровление Лукулла»,— там Уваров, между прочим, обещает: «И воровать уже забуду казенные дрова».

Экстраординарное заседание Академии наук было собрано главным образом для того, чтобы этот Уваров сказал выспреннюю речь о Гумбольдте — «Прометее» (как

именовался он в одном сочиненном в то время на французском языке стихотворении) и о беспримерном развитии всех начал гражданской жизни под просвещеннейшей эгидой государя императора Николая Павловича.

Граф Хвостов, относительно которого Пушкин жалел, что он не может удержать «ни урины, ни стихов», соорудил особые вирши «Сергею Семеновичу Уварову на чрезвычайное собрание Имп. Академии наук, ноября 16 дня 1829 года»:

Наперсник мудрости, наук краса —
Гумбольдт зрел полюсы (!), зрел небеса;
В любви к изящному не зная меры (!!),
Он видел Тенериф и Кордильеры;
Природы тайны вновь с Урала он
Пред русского царя приносит трон.
Недавно в Севере, жезлом волшебным
Ударя по гребню алмазных гор,
Сломя стрегущий их досель затвор,
Он там сокровищам открыл несметным
В Россию славную свободный ход.
С Петрова времени сторичный плод
При Николае зрим, узрят и наши внуки
Сияние ума и луч науки.

Гумбольдт на прощанье рекомендовал особому попечению академии три предмета: 1) магнитные наблюдения, 2) метеорологические наблюдения, 3) точное изучение обширной Каспийской депрессии, лежащей ниже уровня Черного и Балтийского морей. Как всегда, он точно и ясно определил значение, цели и наметил план этих трех исследований. Он говорил о том, что действительно должно было стать важной задачей русской науки. Он снова и снова говорил о всемирной организации магнитной и метеорологической служб. Но, упомянув о Куре и Арарате, очень искусно перешел к недавней войне с Турцией и закончил так: «Но не в этой мирной ограде следует мне говорить о славе оружия. Августейший монарх, милостиво призвавший меня в свою страну и относящийся с одобрительной улыбкой к моим работам, представляется мне гением-умиротворителем. Ему, кто дает своим примером жизнь всему тому, что истинно, велико и великодушно, угодно было, с самой зари своего царствования, оказать покровительство изучению наук, питающих и укрепляющих разум, а равно литературе и искусствам, украшающим жизнь народов».

Этот пассаж Гумбольдт сам прокомментировал в письме к немецкому писателю Варнгагену. Он называет свое славословие Николаю I «cri de Pétersbourg» (то есть криком петербургской моды), «пародией перед двором, усиленным трудом двух ночей... желанием сказать то, что *должно* было бы быть».

Гумбольдт переборщил. Его слушали русские ученые, а не одни сановники и царедворцы.

3 (15) декабря 1829 года Гумбольдт покинул Петербург.

ОГНЕДЫШАЩАЯ ГОРА БЕЙ-ШАНЬ

В Париже грянула Июльская революция. Орлеаны сменили Бурбонов.

Фридрих-Вильгельм отправил Гумбольдта улаживать дела с Людовиком-Филиппом, которого Гумбольдт знал лично. Он воспользовался этим новым дипломатическим поручением, чтобы прожить в Париже с малым перерывом почти два года — с 1830-го по 1832-й.

Помимо всего прочего, это нужно было ему и для надзора все за тем же нескончаемым изданием его американского путешествия.

Гумбольдт всегда вел обширную корреспонденцию со всем миром. Теперь письма и запросы он отправлял и в Россию. Несколько раз писал Меньшенину — ответа не было. Наконец Гумбольдт послал ему подарок — теодолит. Меньшенин не отозвался. «Откуда такая злоба?» — с искренним изумлением спрашивает Гумбольдт (в письме к Гельмерсену).

Отношения с Гете мало-помалу наладились. Еще в 1816 году Гумбольдт прислал ему «Идеи к физиономике растений». Гете тяжело переживал смерть жены, он ответил стихотворением: «...Будь мужествен, чтоб радостно свершать...»

До отъезда Гумбольдта в Россию они виделись. Гете сказал своей верной «тени», Эккерману:

— Что это за человек! Никто из живых не может сравниться с ним знаниями. И всесторонность, какая мне еще не встречалась. Он останется здесь несколько дней, и я уже чувствую, что для меня это будет — как будто я переживу годы.

Для Гумбольдта он находит параллель только в «удивительных людях XVI и XVII столетий», которые «сами представляли собою академии». (Точно так же, в предуведомлении к первому русскому переводу «Картин природы», изданному в 1835 году, отмечалось: «Читая творения его, думаешь, что это соединенные труды целого ученого общества...»)

Пятого октября 1831 года Гете пишет Цельтеру: «Какой необычайный талант у этого необычайного человека — заговорить слушателя, заставить его поверить, что он убежден... Воображаешь, что ты понял невозможное. То, что Гималаи поднялись на 25 000 футов и гордо, как ни в чем не бывало, смотрят в небо, этого моя голова не вмещает...»

Признал ли Гете Гималаи (которые на самом деле даже еще выше) или только отдал дань красноречию Гумбольдта? Во всяком случае, наконец поколебался непреклонный гетевский нептунизм...

Двадцать второго марта 1832 года Гете умер.

Суживался круг людей, среди которых Гумбольдт прожил жизнь.

Годом позже умерла Рахиль, та самая Рахиль-Сивилла, подруга Генриэтты Герц, женщина с «аристотелевским», «расщепляющим волосы» (haarspaltende) умом, жизнь которой была живой историей немецкой литературы целой эпохи.

В эти годы Гумбольдт все ближе сходился с человеком, с которым Рахиль, старея, связала свою судьбу. Варнгаген фон Энзе был на шестнадцать лет моложе Гумбольдта и на четырнадцать лет моложе своей блестящей жены. Он был ранен под Ваграмом и в 1814 году, адъютантом генерала Теттенборна, прискакал в Париж. С поэтом Шамиссо он издавал «Альманах муз». Варнгаген бойко писал обо всем на свете — от философских проблем до светских скандалов. Его литературный салон посещали охотно, но посещали все еще ради хозяйки, а не ради хозяина.

Брат Вильгельм одряхлел. Кто бы мог сказать, что этот человек, сгорбленный, неразборчиво шамкающий бескровными губами, только на два года старше Александра? Александр не узнавал брата, с которым, что бы там ни было, он прожил долгие годы так, как не всегда это бывает между братьями,— вместе учась, часто вместе работая и вместе думая.

Вильгельм умер 8 апреля 1835 года. Александр отложил свои дела, чтобы подготовить трехтомное издание сочинений Вильгельма.

К исследованиям о языке кави он написал предисловие.

Обработка материалов азиатского путешествия шла очень мешкотно. Официально Гумбольдт не нес никаких служебных обязанностей. Но фактически король чуть не ежедневно требовал его к себе в Потсдам. Нет, король Пруссии платил ему пенсию недаром! Короля мало беспокоило, что он отрывает Гумбольдта от научных занятий. Он знал, что этот обходительнейший царедворец, этот человек, увешанный орденами, которому он, король, дал титул «эксцелленц», прославлен во всем мире. Потому-то он и выписал его в Берлин и теперь хотел в полной мере использовать эту диковинку. Впрочем, слушать про магнитную стрелку или про эти бесконечные азиатские степи и горы, горы и степи — скучно. И, пожалуй, от этого может в конце концов закружиться голова — будто заглядываешь в пропасть. Пусть лучше почитает вслух какие-нибудь книжки, лучше — роман. Чтица мужского пола, притом академик!.. Под Гумбольдтово чтение королю так сладко дремлется... «Вечное качанье, подобно маятнику, между Берлином и Потсдамом...» — жалуется Гумбольдт в письмах.

Не один король — и королевская родня считала себя обладающей правом собственности на него. Так было при нынешнем короле, так останется и при следующем. Принцы, принцессы, пестрая многолюдная толпа,— все они привыкли видеть в Гумбольдте непременную принадлежность салонов, что-нибудь вроде лепных амурчиков на стенах. Это внушало приятную уверенность, что всегда есть возможность, на царственных досугах, почерпнуть прямо из первоисточника немного сведений о том, как идут дела у философии и науки.

Во что это выливалось, колоритно вспоминает Отто фон Бисмарк. Отпрыск юнкерской прусско-померанской семьи крупных землевладельцев с придворными связями, будущий «железный» канцлер» был тогда молод. Ему сопутствовала слава отчаянного бурша: двадцать семь дуэлей только за три университетских семестра! Позднее, когда феодальным князьком он зажил в родовом Шёнгаузене, к ней прибавилась еще кличка «бешеного Бисмарка»,— задолго до того, как, едва вступив в председатель-

ский министерский кабинет, он произнесет свое: «Не речами и не постановлениями большинства решаются великие вопросы времени, а железом и кровью».

Тем любопытнее впечатление такого свидетеля о научных вечерах Гумбольдта в королевских покоях.

Близоруко поднеся к лампе книгу, Гумбольдт что-то вычитывал из нее в подтверждение и развитие своих слов. Король с хрустом перевертывал раскрашенные листы подвернувшегося под руку альбома. Королева вышивала. А кучки золотой молодежи вместе с юными сочленами царствующего дома без стеснения переговаривались по углам зала; внезапно взрыв хохота вовсе заглушал чтеца: как можно было терпеть бубнящий голос, никому не интересные рассусоливания насчет каких-то опытов и открытий, притом еще по большей части не немецких, а французских! Как можно донимать избранное общество ничтожными подробностями жизни и быта парижских лабораторных кропателей, кого и на пушечный выстрел не подпустили бы к Потсдаму!

Немыслимо себе представить, чтобы Гумбольдт, один из умнейших людей времени, не понимал, не чувствовал унизительной цены монаршего благоволения...

В конце тридцатых годов у Фридриха-Вильгельма III появились признаки старческого маразма. Ржавый руль прусского государственного механизма постепенно выпадал из его дряхлых рук. «Машина продолжает работать, но чисто автоматически»,— писал в Петербург русский посол в октябре 1839 года.

Наконец в июне 1840 года умер этот не в меру засидевшийся на прусском троне король, один из столпов «Священного союза», превративший Пруссию в военное поселение.

Новый король, Фридрих-Вильгельм IV, который и сам начинал уже стариться, дожидаясь очереди царствовать, мечтал о Барбароссе и Львином Сердце, о цехах, турнирах и миннезингерах. Он видел себя сидящим на возвышении в кругу своих вассалов, как отец среди детей. «Никакой власти в мире,— говорил король,— не удастся принудить меня превратить естественное отношение короля к народу в договорное. Я никогда не допущу, чтобы между господом богом и этой страною втерся писаный лист в качестве второго провидения».

И «добрый отец» расстреливал и сажал в тюрьмы своих «детей», когда они заводили речь об обещанной давным-давно конституции. Вместо нее он забавлялся игрой в ландтаги и церемониями присяги чинов, одетых в средневековые камзолы.

Король ненавидел «политиков» и «просветителей». Он произносил обличающие речи против жалкого человеческого рассудка. Рассудок короля в самом деле не отличался ни силой, ни ясностью. Слабовольный «отец подданных» постоянно колебался. Он то писал в Петербург «своему дорогому Никсу»: «Верьте мне, что у вас на свете нет друга вернее командира вашего авангарда (!) — старого Фрица»,— то, перепуганный баррикадами 1848 года, присягал всему, чего от него требовали, чтобы затем втихомолку уничтожить все обещанное. «Дорогой Никс» не переваривал этого болтливого короля-декламатора, никогда не говорящего ни да, ни нет, не умеющего, по мнению Николая, взять Пруссию в ежовые рукавицы. «Подлость, трусость и глупость,— писал он Паскевичу,— имеют в Берлине своего постоянного представителя в лице короля, к которому презрение, и заслуженное, не знает уже меры».

И этот король почти не расставался с Гумбольдтом. Он требовал его ежедневно к себе в берлинский дворец, в Потсдам, в Сан-Суси, возил с собой на Рейн в 1841 году и в следующем году в Лондон — крестить принца Уэльского.

В это время безоблачное небо славы и всеобщих восхвалений Гумбольдта уже омрачили тени, первые тени.

Едва вернувшись из России, Гумбольдт прочитал в английском «Курьере» статью с резкими обвинениями: он безответственно преувеличил производительность рудников Мексики, ему поверили простодушные дельцы, и предприятия, организованные для эксплуатации фантастических богатств, лопнули.

Французский «Монитер» перепечатал статью.

Гумбольдт принял ее близко к сердцу. «Это нечто бесчеловечное — нападать так на человека, который никогда не давал доказательств своекорыстия, и притом в такой момент, когда он только что вернулся из обширного научного путешествия! Разве моя вина, что собранные мною 25 лет назад сведения о богатстве мексиканских рудников (в справедливости этих сведений не сомневался еще никто из живших в Мексике) соблазнили Джона

Булля доверить самым глупым образом миллионы невежественным людям! Я с самого начала заявил, что не желаю иметь никакого дела с этим бесчинством в головокружительном далеке. Я отклонил от себя звание генерал-директора и консультанта в Европе с даровыми акциями (на которых я мог нажить тогда 20 000 фунтов стерлингов); я отказался и от большой золотой табакерки, которую подносили мне в знак благодарности».

Но почти следом, еще до напечатания официального, меньшенинского отчета о путешествии, такая же статья появилась и в петербургском «Горном журнале». На ней обозначено: «Из английской газеты «Курьер», Лондон, 15 января 1830 года». Но это статья о русских делах,— словно писал ее тот, кто сталкивался с Гумбольдтом и ничего ему не простил.

Тут было все: издевка над молодым пылом старика («в отношении к почтенному барону прошедшие лета, кажется, нисколько не умерили порывов его юности»); известия, им привезенные, о золоте, алмазах, платине, рудных богатствах именованы высокопарными уверениями и, вовсе без церемоний, разглагольствованиями («как будто вещества сии могут быть отысканы и собраны без малейшего труда пришлыми в ту страну»); обо всей речи на академическом собрании сказано, что «речь сия несет на себе в высокой степени печать льстивой вежливости и преувеличений».

Одним из редакторов «Горного журнала» был Меньшенин...

Но не он один — в России многие остались недовольны путешествием Гумбольдта. Кого промчали в коляске среди скачущих казаков с шашками наголо? Барона, тайного советника, друга прусского короля, а не исследователя! Его пригласил двор; по дворцовой указке ему воскурялся фимиам.

— Гумбольдтово путешествие — чистейшее шарлатанство! — сердито крикнул академик Гамель историку Погодину.

И все это больно задевало Гумбольдта. Тысячеголосый хор восхвалений не мог заглушить для него этих голосов. С точки зрения нового поколения, он не был уже *пролагателем путей, идущим впереди*,— вот что он слышал в них.

И в тридцатых годах только обозначилось, а потом заговорило все громче то мучительное беспокойство —

«quälende Unruhe», по выражению его биографа Дове, которое окрасило всю его последующую жизнь.

И все же поездка в экипажах Иохима с казачьим эскортом не только не была шарлатанством, но дала больше, гораздо больше, чем можно было ожидать при такой организации путешествия. Сказались изумительная эрудиция Гумбольдта, выработанные им в себе, отточенные еще в Новом Свете навыки путешествовать и настоящее мастерство географического исследования.

Спустя тринадцать лет (во время которых он публиковал предварительные итоги) был наконец готов большой трехтомный его труд «Центральная Азия». Он отвечал этими тремя томами своим обвинителям и, вероятно, самому себе, своему беспокойству. И в этой грандиозной тысячестраничной монографии, подавляющей собранным в ней материалом, данным концентрированно, без воды, сжатым иногда в сухие перечни, заключены необычайные по широте и смелости обобщения (трудно поверить, что они выросли из полугодовой прогулки!).

Гумбольдт пишет о той Центральной Азии, которой он, в сущности, не видел (и тут различие с американским путешествием!). Он широко пользуется на этот раз сведениями русской науки. Собственные наблюдения у края каменного сердца Азии он обогащает данными редчайших источников, сообщениями путешественников, придирчивым сличением чуть не всех существовавших карт.

Он кончает раз навсегда с географическим мифом о плоскогорье Татарии, об этом гладком подоблачном столе, поставленном в центре мира. На месте Татарии он видит целую систему хребтов.

Он дает метод для вычисления средней высоты материков и сам вычисляет ее (для всех материков). Правда, он многого не знает. Материки у него получаются, с нашей сегодняшней точки зрения, заниженными. Высота Азии Гумбольдтом преуменьшена почти в три раза (351 метр вместо 920—970 метров). Он, так отстаивавший гигантский размах деятельности горообразующих сил, все-таки не представляет себе истинной огромной высоты «крыши мира» — Памира и Тибета.

Он обнаруживает как бы костяк исполинского Азиатского материка, геометрическую прямоугольную решетку хребтов, вытянутых по параллелям и меридианам.

По параллелям тянутся Алтай, Тянь-Шань, Куэнь-Лунь, Гиндукуш. По меридианам — Урал, Кузнецкий

Ала-Тау, Большой Хинган, Солимановы горы в Индии.

Куэнь-Лунь Гумбольдт продолжил через Гиндукуш до Малой Азии. В нем воскресал Тавр древних. Тянь-Шань через Гоби доходил китайскими горами Ин-Шань до самой Китайской стены и южной границы Монголии.

В глинистых и каменистых пустынях Усть-Урта, на севере Каракумов, терялся Урал.

Все четыре параллельных хребта пересекал, связывая их в остов материка Азии, самый мощный из меридиональных (мы еще не назвали его) — Болор. Наши карты не знают такого названия. Откуда взял его Гумбольдт? Это «Белоро» Марко Поло, горная страна «Полюля» китайских географов, находившаяся, однако, совсем не там, куда поместил ее Гумбольдт.

Болор Гумбольдта шел между Аралом и озером Балхаш, он начинался горами Ала-Тау и Кара-Тау, восточнее города Туркестана, и уходил на юг, мимо Ташкента, Намангана и Коканда, прямой, словно проведенный по линейке, слегка уклоняясь к востоку от меридиана,— до 32 градуса широты. Но Гумбольдт был склонен связывать с Болором и индусские Гаты на юге, и Урал на севере.

Так воскресал древний Имаус, поперечная горная стена через весь Азиатский материк — от мыса Коморин в Индии до берегов Ледовитого океана. И там, где эта стена встречалась с хребтами, идущими по параллелям, получался особенно высокий взлет двух столкнувшихся волн, «горные узлы», которые Ватений, географ семнадцатого века, называл пупами Земли.

Пусть в прямолинейной геометрии этой схемы сохранялись отзвуки старых воззрений восемнадцатого века о горах — скелете Земли, о решетке гор, на которой держатся материки. Сам Гумбольдт помнил, конечно, со времен своего студенчества, геттингенского профессора Гаттерера, учившего, что есть горный экватор, горные параллели и меридианы...

Но вот что пишет о гумбольдтовском объяснении строения Азии И. В. Мушкетов, наш знаменитый геолог: «Гумбольдт разобрал и критически оценил громадный и далеко не полный материал, сумел построить из него ясную орографическую картину; он впервые указал границы Средней Азии и тем самым выяснил значение этого географического термина...», «Низменной степи между Алтаем, Уралом и Тянь-Шанем он впервые придал весь-

ма удачное название Арало-Каспийской, или Туранской, низменности...», «Кроме того, он ввел новый и вполне научный метод определения высоты хребтов, высоты континентов. Словом, издав «Asie Centrale», Гумбольдт действительно дал основу, метод и направление исследователям Средней Азии». (Словами «Средняя Азия» И. В. Мушкетов обозначает то, что мы сейчас, как и Гумбольдт, называем Центральной Азией.)

Эта книга, смелая, глубокая и фантастическая в одно и то же время, знаменовала важнейший этап на пути действительного изучения Азии.

Во время своей быстрой и короткой поездки Гумбольдт сумел разглядеть то, чего не замечали не только в петербургских канцеляриях, но и чинуши на местах: необычайные естественные богатства Урала, может быть, единственные на земле в своей совокупности выходы редчайших и ценнейших минералов, неисчерпаемость рудных залежей, сокровища золотых россыпей, платины, алмазов — гигантское будущее этого края! Как он отстаивает потом против всех спорящих эти свои уральские алмазы! И насколько более прав он, по существу, в этих спорах, старый человек с непритупившейся зоркостью взора, с неутраченным лучшим человеческим даром — радоваться открытому людям «цветению» земли и верить в него,— насколько более прав он, чем скептики, его опровергавшие!

В «Центральной Азии» Гумбольдт пишет о вулканах на Тянь-Шане. «Новое объяснение китайских текстов» привело его к открытию извергающей пламя горы Бей-Шань, сольфатары Урумчи, вулкана Хо-Чжоу между Турфаном и Пичаном и горы Савры в Тарбагатае, выбрасывающей огонь, нашатырь, серу и селитру, которыми пользуются кочевые племена для приготовления пороха.

Эти вулканы пылали за тысячи километров от морских берегов. Они *должны* были пылать для Гумбольдта, ибо мог ли он представить себе могучую горную страну без всесильного огненного подземного мира?

По выражению замечательного геолога Г. Е. Щуровского (как раз в то время, когда выходила «Центральная Азия», тоже путешествовавшего по Уралу и Алтаю), Гумбольдт верил в эти азиатские вулканы так же крепко, как Колумб в свою Америку. Но что, помимо его теорий, привело его к этому географическому мифу? Тут

было все: оренбургские беседы Генса, свидетельства торопливых и недалеких купцов, видевших, вероятно, лесные пожары и зарева горящих выходов угля; тут были и старинные китайские летописи, изученные, истолкованные Гумбольдтом.

Как же далеко остался позади Фрейберг и «незабвенный учитель» Вернер, чистивший водичкой уютные, домашние ребрышки старой Земли!

Земля, вздувшаяся в одном месте, оседала гигантскими впадинами в соседних. Арало-Каспийская низменность была для Гумбольдта лишним подтверждением «системы компенсации» в природе. «Невольно хочется верить, что образование этой впадины, этой обширной депрессии земной поверхности, находится в тесной связи с поднятием Кавказа, Гиндукуша и Персидского плоскогорья, ограничивающих с юга Каспийское море и Мавераннахр, а может быть, также и с поднятием большого массива, неопределенно и неправильно называемого Центральной Азией».

И, проезжая по этой бескрайней низменности, лежащей ниже уровня океана, Гумбольдт вообразил себя на дне «страны-кратера» — такого же, как круглые лунные цирки и загадочные огромные кратеры, которым астрономы дали имена Клавиуса, Шикара, Буссенго и Птолемея [1].

ЗЕМЛЯ ГОГА И МАГОГА

Седой человек сидит среди студентов в университетской аудитории. Он очень важен; грудь его в торжественные дни увешана звездами и орденами. Но, совсем забыв о своей важности, он сгибается над тетрадкой и, немного прищурив глаза тщательно конспектирует лекцию. Он пишет быстро, прыгающими строками, невероятным почерком,— петли и крючки, которые он выводит, похожи на стенограмму.

---

[1] Напомним, что по современному учению о строении Азиатского материка, развитому в трудах академика В. А. Обручева и других советских ученых, нет, конечно, никакой геометрической крестовины хребтов; щиты и платформы, как древние «ядра» материка, обширные складчатые области, мощные пояса нагорий с центрами и узлами дугообразных горных цепей входят в гораздо более сложную, чем думал Гумбольдт, хотя в то же время ясную геологически и закономерную картину структуры Азии.

Седого и важного человека знают все. Когда он входит, ему почтительно освобождают место — целую скамью. Ведь это его превосходительство Александр фон Гумбольдт, друг короля и член академий всего мира.

Еще раз он, перед которым на студенческих скамьях сидел весь ученый мир его времени, решил сам стать студентом.

Он слушает лекции Бека по истории греческой литературы, Митчерлиха — по химии и своего друга Карла Риттера. Карл Риттер читает курс науки, название которой придумал сам: землеведение (Erdkunde). Сидя в своем кабинете в уютном кожаном кресле, он сочинял том за томом аккуратное географическое описание земли. На его столе лежала Библия. Он описывал земной шар как дом, учрежденный божественным провидением для воспитания человечества. На кафедре он кажется пастором, поучающим паству возвышенными примерами величия и падения царств на вечной сцене мудрой и неизменной природы.

Гумбольдта несколько страшила методичность Риттера. Он знал, что ему, Гумбольдту, не хватает ее. Вот зачем он слушал Риттера.

Наука шла вперед, она то двигалась незаметно, крадучись, то неслась головокружительными скачками. И он бегом скорохода, работой без отдыха — днем и в бессонные ночи — еле поспевал за ней.

Когда его спрашивали, чего ищет он на университетских скамьях, среди розовощеких буршей, он отвечал:

— Хочу наверстать то, что упустил в юности.

Он говорил это шутливо, но это не было шуткой.

Мучительное беспокойство, в котором он боялся признаться самому себе, теперь постоянно жило в нем.

В эти годы он работал над «Космосом».

В нем он должен был, наконец, *собрать* самого себя; всю свою жизнь. Тут должно было быть рассказано все основное, что узнали люди о мире за все пять или шесть тысяч лет своей истории. Подавляющие размеры этой задачи не раз заставляли его колебаться. Он был уверен, что, единственный из живых, только он может взяться за нее. И «Космос» станет оправданием и венцом всей его жизни.

«Дело моей жизни» — эти слова он написал (в письме к Варнгагену) в 1834 году. «Я имею безумное намерение изобразить весь материальный мир, все, что мы знаем

о явлениях в небесных пространствах и на земном шаре, от туманных звезд до мхов на гранитных скалах,— изобразить все это в одной книге, написанной притом живым, действующим на чувство языком. Тут должна быть отмечена каждая великая и важная идея наряду с фактами. Книга должна показать эпохи в развитии человечества, в познании им природы. Я хотел сначала назвать ее «Книга природы», как назвал свое сочинение Альберт Великий. Потом я выбрал «Космос». Пусть в этом слове есть эффектация, но зато оно разом обозначает небо и землю».

Это должна была быть та Физика мира, о которой он мечтал еще до своего американского путешествия.

Удивительная, единственная в научной литературе книга, необычная уже по тому углу зрения, под которым трактуется в ней наука!

Здесь нет бойкого пера восторженного свидетеля-популяризатора, хотя основная цель «Космоса» — популяризация науки и синтез знаний. (Гумбольдт сам говорил, что он считает литературную задачу в «Космосе» равноправной с чисто научной.) Пишет не посторонний, не начетчик, не хранитель музея «Успехи науки», а хозяин науки.

Целый раздел посвящен вопросу о том, что побуждает человека изучать природу. С тех пор, за полтора почти века, было много — и гораздо глубже, чем у Гумбольдта,— сказано о материальных причинах, которые привели к возникновению естественных наук, и о методологии научного творчества. Но никто, кроме Гумбольдта, не дал истории наслаждения природой и философии чувства природы («Naturgefühl»).

Страницы, посвященные этому во втором томе «Космоса», множество замечаний, рассыпанных по остальным томам,— это, пожалуй, наиболее лирически-интимное, что написано Гумбольдтом. Это ключ и объяснение ко всей его долгой жизни и ко всему его естественнонаучному универсализму. И достаточно прочесть этот раздел «О средствах, побуждающих к изучению природы», снабженный подзаголовком «Отражение внешнего мира на воображении», чтобы понять, что это и есть композиционная скрепа всех томов «Космоса», стержень, на котором он держится и благодаря которому стало возможно самое создание его.

Это исповедь Гумбольдта-исследователя.

Гумбольдт следит за возникновением и развитием чувства природы в течение всей истории человечества. Он дает историю и теорию описательной поэзии, пейзажа в литературе, ландшафтной живописи. Он пророчествует: живописи «предстоит подняться до нового, никогда не виданного великолепия, когда высокоодаренные художники станут чаще покидать тесные пределы Средиземного моря и получат возможность со всей первоначальной свежестью чистого молодого чувства схватывать многообразную природу влажных горных долин тропического мира».

«Средства, побуждающие к изучению природы»... С академической старательностью Гумбольдт разбирает и классифицирует их. Помимо средств искусства, это экзотические растения в оранжереях; Гумбольдт посвящает им строки поэтически вдохновенные. Он говорит о размещении растений, о пейзажах под стеклянной крышей. Он мечтает о новом искусстве — живописного (не по-садовничьи) разведения садов, о повторении чужих ландшафтов у нас. Никто (и уж конечно никакой ботаник) не писал так об оранжерейном деле и не подходил так к нему.

Он говорит с восхищением о только что появившейся фотографии (дагерротипах), о панорамах и диорамах. «Движущиеся фигуры» ирландца Паркера «почти заменяют путешествия». «Зритель, как бы заключенный в волшебный круг, воображает себя окруженным чуждой природой. Эти картины оставляют воспоминания, которые, после многих лет, чудно и обманчиво перемешиваются в душе с действительно виденными сценами природы. До сих пор эти панорамы употреблялись для представления городских видов. Но какое впечатление произвели бы картины крутых склонов Гималаев и Кордильер или индийских и южноамериканских речных стран...»

Так он пишет. Ведь там, «на горах — свобода!». Снова он мог бы, он хотел бы повторить эти давно вылившиеся слова...

Он заключает: «Понимание и чувство величавой красоты мироздания были бы значительно умножены, если бы в больших городах построено было несколько круглых зданий, также для всех доступных, в которых сменялись бы ландшафты стран, лежащих под различными

географическими широтами на разных высотах над уровнем моря».

Что бы он сказал о кино?!

Одно перечисление неведомых северянину названий доставляет Гумбольдту радость:

«В странах пальм и нежно-перистых древовидных папоротников ковшанки и ароматная ваниль делают словно одушевленными стволы анакардии и гигантских смоковниц. На яркой зелени драконников и глубоко вырезанных листьев арумов резко выделяются пестрые цветы орхидей. Цепкие баугинии, пассифлоры и желтоцветные банистерии, далеко и высоко поднимаясь в воздухе, обвивают стволы деревьев первобытного леса...»

Он пишет почти языком поэмы:

«Каждый уголок земли — отблеск целого. Органические образы повторяются в беспрестанно новых соединениях. И ледяной север наслаждается в продолжение нескольких месяцев зелеными травами, альпийскими растениями с большими цветами и кроткой небесной синевой...»

Так о чем же он пишет? Может быть, о мальчике, который давным-давно, бесконечно давно смотрел на обомшелые башни Тегеля и замирал перед драконовым деревом в берлинской оранжерее,— сладкая тоска, жгучая «жажда дали» перехватывали ему дыхание... И, конечно, о зрелом, полном сил, счастливом человеке, который слушал, как звери празднуют полнолуние, и видел с высот Гуангамарки широкое и спокойное сверкание, дорогу солнца, уходившую к небу по необъятному простору океана...

В глубокой старости он утверждает: «Мгновения, когда впервые увидишь созвездие Южного Креста, Магеллановы облака, снега Чимборасо, столбы дыма над вулканами Кито и Тихий океан,— это эпохи в нашей жизни».

Необычайной силой своего воображения он видел их снова и снова.

Он достиг какой-то небывалой широты созерцания мира. Для него как будто больше не обязательно жить на узком лезвии настоящего момента. Настоящее входит в единый поток — от завершенного к наступающему. «Космос» проникнут чувством почти осязаемости истории.

«Под $52^1/_2°$ северной широты Южный Крест перестал быть видимым за 2900 лет до нашего летосчисления. Когда он исчез с горизонта прибалтийских стран, в Египте уже половину тысячелетия простояла большая пирамида Хеопса. Пастушеский народ гиксосов вторгся в Египет на 700 лет позже. Древность как бы подступает к нам ближе, когда мы берем для нее меркой памятные события».

И даже само время как бы теперь теряет свою роковую необратимость!

Тома «Космоса» выходили медленно. Первый, об издании которого было объявлено еще в 1843 году, появился только в 1845, второй — в 1847, третий — в 1850, четвертый — в 1858 году. Работу над пятым, заключительным, оборвала смерть, отрывок его издал в 1862 году профессор Бушман.

«Космос» остался незавершенным, как и основное дело Гумбольдта — описание американского путешествия.

Гумбольдт колебался, переделывая по многу раз написанное, не доверяя своим силам. Ведь в «Космосе» он должен был подытожить не только самого себя, но и «почти устрашающее», как он выразился однажды, «расширение знаний» в девятнадцатом веке. Речь шла не только о расширении фактического познания. Изменялись *основы* объяснения мира. На место прежней шла другая наука.

Что они знают, что они узнали такого, чего не знает и не может понять он, Гумбольдт?

Вот, например, этот принцип сохранения энергии. О нем заговорили все. Заговорили в той науке, которую еще так недавно он считал *своей*,— и с беспокойством и досадой он пишет об «обманчивой надежде» подчинить строгой мере изменения в природе. Взаимные превращения тепла и работы кажутся ему хотя не невозможными, но все же окутанными плотным туманом «произвольных допущений».

Он не знает, что делать и с атомной теорией, которая ему представляется «образным выражением» и — еще резче — мифом.

Шестого ноября 1857 года он жалуется Дове на «беспокоящую» его «механическую теорию тепла».

В середине девятнадцатого столетия он продолжает по-прежнему измерять расстояния старофранцузскими туазами.

Новые тома «Космоса» он снабжает предисловиями, где неуверенно, с непривычной для него робостью защищается... От кого? Никто не нападает на него...

Иногда он утешает себя: все дело в возрасте. «Я другого поколения — старики не понимают молодежи». Он даже подтрунивает над своей старостью (юмор не покидает его). 26 октября 1851 года он пишет: «Это безмерная неосторожность в моем преадамическом возрасте говорить о новом томе». В 1857 году советует Дове: «Остерегайтесь так неправдопобно состариться».

И разъясняет: «Берегитесь прожить так долго. Слава растет вместе с ослаблением сил, и роль «дорогого юноши-старика», достойного старейшины всех живущих ученых, Vecchio della montagna,— несносная роль».

Про себя он все-таки оценивает свой «Космос» очень высоко. Когда Н. Г. Фролов, энтузиаст и поклонник Гумбольдта (благодаря Фролову «Космос» и стал доступен русскому читателю), снабдил свой перевод первых томов иллюстрациями и очень грамотными примечаниями, действительно облегчающими чтение этой довольно трудной и тяжеловесной книги, Гумбольдт раздраженно написал Варнгагену: «Я советовал г. Фролову не вставлять, якобы для облегчения понимания, массы объяснений и рисунков; но это было напрасным. Он хотел невозможного и, кажется, мало вникал в композицию книги; обо всем этом я, впрочем, ничего не скажу ему. Ублюдкам никогда не везет в литературе».

Но, не решаясь высказать этого, он, несомненно, догадывается, что дело не только в возрасте. Почему не критикуют его? Может быть, только потому, что в нем щадят «величайшую славу века»?

Он *должен* получить ответ на этот вопрос!

И вот, как некогда при издании «Путешествия», он хочет привлечь ученый мир к участию в работе над «Космосом» и к оценке ее.

Он обращается к лингвистам, историкам литературы, химикам, астрономам. Математики должны проделывать еще раз все вычисления его — «допотопного, плохо считающего человека». Он редко удовлетворяется отзывом одного специалиста; главы идут иногда к двум, трем, четырем редакторам. Часто, получив рукопись с замечаниями, он находит, что они сделаны недостаточно тщательно, и глубокой ночью отсылает листы назад для вторичного просмотра, повторяя злым присловьем своеволь-

но переиначенный стих из старой, времен своего детства, баллады Бюргера «Ленора»: «Мертвецы и старики ездят быстро».

Он налегает на свой старый дипломатический талант. В письме к религиозному профессору вставляет несколько слов о боге и церкви. «Есть три великих поэта,— пишет он Тику,— и ваше место — между Гете и Шиллером».

Но вряд ли он принял бы сколько-нибудь серьезные поправки к тому, что в его сознании и воображении уже отлилось в нерушимую форму.

На закате жизни в четвертом томе «Космоса» он упрямой рукой записывает:

«Когда же, наконец, ученые путешественники отправятся для изучения вулканического хребта Тянь-Шань и для решения вопроса, нет ли связи между извержениями Бей-Шаня и Турфана и баснословной землей Гога и Магога, где на дне реки Эль-Махер горят вечные огни?»

Так он сам сказал это слово. Его азиатские вулканы были в сказочной стране Гога и Магога.

В феврале 1857 года, после дворцового бала, Гумбольдт упал без сознания. Это был удар. Врач Шенлейн сказал королю, навестившему больного, что Гумбольдт вряд ли будет свободно владеть левой половиной тела.

Однако он поправился.

Десятого октября умер последний друг Гумбольдта — Варнгаген фон Энзе. «Какой день потрясений, скорби и бедствия!.. Он умер раньше, чем я, девяностолетний старик».

Постоянно он повторял слова, сказанные им впервые шестнадцать лет назад, о смутном, тяжелом закате жизни, посланном ему небом.

Счастье!.. Он был богат, приближен к королям, осыпан почестями, возвеличен такой славой, памяти о которой, как твердили все окружающие его, не сотрут века. Жизнь его была долгим, непрерывным исполнением желаний; он словно родился в той рубашке, которую тщетно искали герои сказок. И мог бы сказать, что ему, как некогда Поликрату, рыбы торопятся возвратить брошенный в море перстень.

Странное, жестокое древнее сказание — теперь оно не раз приходит на ум Гумбольдту. Поликрат Самосский сам испугался своего чудесного счастья, своей вечной удачи. Чтобы «откупиться» у судьбы, он кинул в волны

драгоценный перстень. Но его нашли в желудке рыбы, принесенной рыбаком во дворец. Судьба не приняла выкупа. Правитель Самоса погиб страшной, мучительной смертью. И это была расплата.

Так в чем же оно, счастье? Гумбольдт вспомнил о старом меднолицем приоре из монастыря в Карипе, нашедшем в куске мяса свое блаженство, плотоядное, убогое и недостойное зависти; об индейце, нищета которого была так богата, что всех сокровищ мира не хватило бы, чтобы помешать ему карабкаться — ради простой игры — за опоссумом; о сыне касика Асторпилько, равнодушно идущем в лохмотьях на смуглом и стройном теле мимо подземного золота Атахуальпы; и о белом городе с заборами из кактусов, с быстрой речкой и зелеными горами, городе, похожем на детский рисунок, где молодой человек, так схожий и так не схожий с ним, теперешним Гумбольдтом, записал еще твердым, круглым красивым почерком: «Я чувствую, что здесь буду счастлив...»

Снова и снова он перечитывает четверостишие брата Вильгельма, два элегических дистиха, где говорится, что тот глубже и полнее всех почерпнул из источника жизни, кто увидел, сравнил, открытым умом и пылающей грудью воспринял больше всего образов земли.

Его ум был открыт, сердце билось сильно. Но вокруг него зияла пустота.

Он прошел по земле один, не зная семьи, любви, детей и внуков. Его «система жить» — вот когда она отомстила за себя! Кому из тех людей, с кем он сам связал себя, было дело до него, до того, что он думал, что видел, что нашел в своей науке? Королю, для которого он был щекочущей самолюбие забавой, остроумнейшим среди царедворцев? Аристократам, до сих пор ненавидевшим в нем «трехцветный лоскут»? Быть может, профессорам, доцентам, берлинским королевским академикам? Но ведь они сами, в своих долгополых мундирах, загнаны в норы — одинокие, трудолюбивые кроты, каждый за себя.

В эти годы он часто думал об Эме Бонплане, друге и спутнике по американскому путешествию, смело вернувшемся в те места, памятью о которых Гумбольдт жил вот уже пятьдесят лет.

Изредка Бонплан писал. И вот до Гумбольдта дошло известие о конце Бонплана.

В апреле 1858 года профессор Аве-Лаллеман, приготовившийся стать биографом Гумбольдта, посетил Бонпла-

на в Санта-Анне. Ему указали ранчо «дона Амадо». Трава росла на стенах полуразрушенных амбаров. Бонплан вышел в деревянных сандалиях на босу ногу. Грудь, плохо прикрытая грязным тряпьем, заросла седыми космами. Из дому визгливым голосом что-то ему крикнула рослая дочь, похожая на мулатку.

С хмурым недоброжелательством Бонплан смотрел на гостя. Когда было произнесено имя Гумбольдта, Бонплан, мешая испанские и французские слова, проговорил, что этот человек присвоил его открытия. Все же он передал привет Гумбольдту.

Бонплан попробовал подписать свое имя по просьбе Аве-Лаллемана и проткнул пером бумагу. Он повторил попытку. На бумаге остались нацарапанные каракули.

Бонплан умер 11 мая 1858 года.

Последние семнадцать лет Гумбольдт жил в доме № 67 по Ораниенбургской улице, принадлежавшем банкиру Мендельсону. Он не расставался с камердинером Зейфертом. Король, по просьбе Гумбольдта, пожаловал Зейферту звание кастеллана. Через комнату, где стояли чучела птиц, рыб, банки с заспиртованными морскими животными, физические инструменты и висели картины — тропические ландшафты, Зейферт вводил допущенных им посетителей в библиотеку, а оттуда в приемную.

Американский журналист-путешественник Байард Тейлор, посетивший Гумбольдта, подробно описал 25 ноября 1856 года в «Нью-Йорк трибюн» свой визит: «Я приехал в Берлин не ради музеев и галерей, улицы Под липами, театров и пестрой суеты салонов, но чтобы увидеть величайшего ныне живущего человека».

По городской почте Гумбольдт назначил ему прийти в час дня. Дом на Ораниенбургштрассе был выкрашен в мясной цвет. На наружной двери висела дощечка с именем только Зейферта. И, лишь позвонив и поднявшись по лестнице, он прочел: «Александр Гумбольдт». Зейферт провел его в приемную. Гумбольдт вошел. Он спросил, должны ли они говорить по-английски или по-немецки.

— Ваше письмо — письмо совершенного немца, но я достаточно привык и к английскому.

Он казался много моложе своих восьмидесяти семи лет. Волосы его были серебристо-белые, но очень густые. Он усадил гостя на софу, а сам сел на стул.

Но он не мог усидеть больше десяти минут. Он вскакивал, ходил по комнате, открывал книги, показывал картины.

Заговорили о последних работах Гумбольдта. «Я сплю четыре часа из двадцати четырех»,— улыбаясь, сказал он. И добавил: «Лучший рецепт долголетия — это путешествия. Ничто так не укрепляет здоровья, как лишения долгого трудного пути».

Потом он сказал:

— А все-таки я думаю, что Чимборасо — самая прекрасная и наиболее замечательная гора на свете.

Хамелеон, живший в клетке, открыл круглый глаз и посмотрел на собеседников.

— У этого зверя,— заметил Гумбольдт,— изумительное свойство. Он может в одно и то же время смотреть в разные стороны: одним глазом на небо, другим на землю. Впрочем, есть многие служители церкви, которые могут то же.

«Он думает, как и говорит,— записывает Тейлор,— без труда и утомления».

Но вошел Зейферт и провозгласил:

— Уже время!

Гумбольдт встал.

— Вы странствовали по свету,— сказал он,— и видели немало руин. Вот перед вами еще одна...

— Не руина, а пирамида! — ответил Байард Тейлор.

«Я пожал руку, которая жала руки Фридриха Великого, Форстера, Клопштока, Шиллера, Питта, Наполеона, Жозефины, маршалов империи, Джефферсона, Гамильтона, Виланда, Гердера, Гете, Кювье, Лапласа, Гей-Люссака, Бетховена и Вальтера Скотта...»

Маленькая рука этого старика как бы связывала два века.

В 1858 году Генрих Кениг посвятил Гумбольдту свою биографию Георга Форстера. Он жадно читает ее: образ гражданина французской революции, умершего давным-давно, опять встает перед Гумбольдтом на его одиноком закате. И в длинном письме Кенигу (от 28 июля 1858 года) он проводит прихотливые параллели между собой и Форстером.

«Как благодарен я вам! Ваша книга о моем ушедшем в вечность друге заняла у меня две ночи,— в две ночи я прочел ее, страница за страницей. Вот уже 30 лет я знаю только ночные досуги. Эти две ночи я был счаст-

лив и тосковал. Образы и воспоминания, теперь все быстрее исчезающие во мне, ожили снова. Я думал о странных сходствах и контрастах жизни моей и Форстера. Одинаковое направление наших политических мыслей (так, спустя семьдесят лет, хотелось думать Гумбольдту)... Рассказы о Южном море, которое видели мы оба... Наше совместное пребывание в Лондоне, где тогда жила еще вдова Кука и сэр Джозеф Банкс обласкал меня, 21-летнего юношу. Я посетил тот же берег у Самары, откуда старик Форстер послал Линнею в Упсалу колосья так странно одичавшей пшеницы,— я — в 1829 году, Рейнгольд Форстер с Георгом, ребенком,— в 1765, за 4 года до того, как я родился. Император Александр приглашал меня во внутреннюю Азию — точно так же, как Екатерина приглашала Георга Форстера в кругосветное плавание,— и обе экспедиции не состоялись из-за войны — одна с французами, другая с турками...»

Гумбольдта посетила русская поэтесса Каролина Павлова, которую он пригласил к себе, будучи в России.

— Видите, не очень скоро, но я все-таки приехала к вам,— сказала она.

— Я дождался вас,— галантно ответил Гумбольдт.— Вы должны оценить мою любезность. Другой бы на моем месте давно умер.

Наступил 1859 год.

На письменном столе у Карла Маркса лежала законченная рукопись «К критике политической экономии».

Линнеевское общество уже заслушало сообщение Дарвина о законе эволюции живых существ.

Экспрессы на железных дорогах мчались со скоростью семидесяти километров в час. Телеграф в несколько мгновений переносил известия из конца в конец земли.

Совсем близко, в Гейдельберге, собрался кружок передовой русской молодежи. Магистр химии Менделеев встретился там с другом — Иваном Михайловичем Сеченовым.

В Петербурге шестнадцатилетний юноша Климент Тимирязев уже своим трудом пробивал дорогу в жизни; он знал, что и науку ему тоже предстоит «брать с бою». Но одну руководительницу он признавал и всегда будет признавать до конца дней — «безграничную любовь к истине и кипучую ненависть ко всякой, особенно общественной, неправде».

Учился, был вожаком всех «городошников» и с неистовой жадностью читал первые книги рязанский мальчишка

Павлов; пройдут быстрые годы — и весь мир будет знать его по имени-отчеству — так, как зовут его на родине, на русской земле: Иван Петрович.

А в доме на Ораниенбургштрассе, где давно уже не менялось ничего и все было наполнено прошлым, по-прежнему толпились посетители. Почта за прошлый год доставила две тысячи писем. Иные начинались так: «О благородный юноша-старик!» Или: «Каролина и я счастливы: наша судьба в ваших руках».

Просили денег, рекомендации, автографа, предлагали услуги секретаря, компаньона, чтеца, присылали проекты воздухоплавательных машин. Некие дамы обличали его вольнодумство и увещевали обратиться к Христу. Однажды пришел роман «Сын Александра Гумбольдта, или Индеец из Майпуреса». Автор развязно просил одобрения!

Второго марта 1959 года Гумбольдт напечатал в берлинских газетах просьбу не обращать его дом в адресную контору и подумать о том, что девяностолетний старик не в силах отвечать на потоки надежд, излияний, просьб, проектов и восторгов.

В конце апреля он простудился и заболел. Он почти не страдал. Сознание оставалось ясным. Только нарастала слабость, дыхание становилось короче и прерывистее; все более овладевала им дремота. О его болезни печатались бюллетени. Берлинский почтамт принимал сотни телеграмм с запросами о Гумбольдте.

В 2 часа 30 минут дня 6 мая 1859 года он заснул, чтобы больше не просыпаться.

На его столе нашли трижды повторенную запись на клочках бумаги: «Так были завершены небо и земля со всеми их сонмами».

Гроб стоял на возвышении в его рабочем кабинете, среди пальм и тропических растений, таких же, как изображенные на картинах, висевших по стенам.

Похоронили Гумбольдта с королевскими почестями.

Свою огромную библиотеку, мебель и картины он завещал Зейферту; денег же не осталось.

1936—1973

Рассказы

ПРИТЧА О ДЕКАНДОЛЕ

Альфонс Декандоль, женевский ботаник, был сыном, отцом и дедом ботаников. Это была ботаническая династия, растянувшаяся почти на целых полтора века. Альфонс Декандоль дополнил тринадцатью томами семь томов о растительном царстве, изданных его отцом. То был очень дотошный обзор растительного мира, путеводитель по Зеленой стране, о котором не смел и мечтать «отец систематики» Карл Линней. Да, далеко было знаменитой «Системе растений», созданной в XVIII веке тучным, флегматичным и усидчивым шведом, педантически классифицировавшим все на свете — растения, животных, минералы и, для полноты, самих естествоиспытателей,— далеко было линнеевской «Системе растений» до того, что выполнил Декандоль, до новой «Системы» Декандоля!

Никто в отдельности и не мог бы совершить такой геркулесов труд. Декандоль передавал части его многим ученым разных стран, но зачинателем, распорядителем, всем правящим и в то же время ревностнейшим чернорабочим дела оставался он сам. И если бы в растительном царстве был трон, как полагается в заправских царствах, Декандоль счел бы только естественным и справедливым, чтобы этот трон оказался наследственным достоянием его рода.

Но на всех устах в то время уже было имя: Чарльз Дарвин.

Альфонс Декандоль ни с кем не собирался разделять престол. Разве он за четыре года до выхода Дарвинова «Происхождения видов» не написал «Объясненной географии растений» — книги, где в итоге обширнейших и скрупулезных исследований были установлены принципы и законы распространения растительных видов по Земле?

Ему было 77 лет, когда в 1883 году он издал свое «Происхождение культурных растений». Дарвин умер уже. Декандоль пережил его, но, конечно, он отвечал даунскому отшельнику. Старческой рукой, торжествуя, он метнул вслед ушедшему тяжелый, долго и тщательно подготовляемый снаряд. Он метил прямо в дарвиновское «Изменение домашних животных и культурных растений». То был последний удар в четвертьвековом поединке!

Не всегда, правда, в эти годы Декандоль называл имя своего противника. Но он думал, непрестанно думал о нем. Упорным, глухим, молчаливым становилось тогда единоборство. Эта теория, объясняющая, как силой естественных, равнодушных и притом в основе нехитрых законов могла возникнуть вся окружающая нас, бесконечно многообразная живая природа; теория, утверждающая, что человек, пользуясь этими законами, сам создавал новые формы жизни,— теория эволюции звучала почти личной обидой швейцарскому профессору. Она была вмешательством, грубым вторжением в ему принадлежащий, им описанный растительный мир.

Его растительный мир! Вот он — в папках гигантского гербария. Отец, Огюстен-Пирам, положил начало этому гербарию. Сын, Альфонс, умножил его сокровища. Теперь он ширится заботами внука, Казимира. Династия Декандолей! И правнук, четырнадцатилетний мальчуган, готовит свою школьную ботанику среди полок и шкафов, вызывающих изумление и зависть всех академий.

Но когда резвый, непоседливый мальчуган с книгой под мышкой выбежит оттуда, там, в комнатах гербария, воцаряется тишина. Изредка шелестнет бумагой хранитель. Вот он тоже уходит. И тогда, тихий, неслышный, один остается там глубокий старик. Потом он поднимается, он идет. Он идет давать битву Дарвину на том самом поле, где английский натуралист выиграл свое главное сражение.

Что подсказало Дарвину его теорию?

Человеческая практика. Людская деятельность в живом мире, та деятельность и те способы, посредством которых люди выводили новые породы животных, по своему произволу лепили новые растения.

Вот откуда извлек Дарвин свой закон эволюции!

И не отрясать листья, не отрывать стебли, но вырвать самый корень Дарвинова учения решил Альфонс Декандоль.

Итак, от тоже занят историей сельского хозяйства. Его необъятная память почти не ослабела с годами, только стала суше и строже. Она безотказно подает нужные ряды фактов из незримых коллекций, собранных чудовищной эрудицией. И старческая рука не дрожит, занося их на бумагу. Нет, нет, кто столько десятилетий видел на его челе золотой венец главы ботанической науки, могут не стыдиться своего короля!

Впрочем... ботаническая наука, ботаника? Да, так было когда-то. Некогда она замыкала весь его мир. Ботаника — его ремесло. Но теперь она тесна для него. Когда подводишь итог всей жизни, нельзя вставить ее только в ботанику, как фотографию в рамочку. Жизнь больше, чем «métier», как называют это французы,— больше, чем ремесло...

Он почти кокетничает, начиняя свою книгу фактами из области палеонтологии, археологии, лингвистики, истории государств и народов, монархий и республик, войн и законов, мифов и нравов.

Книга его полна кропотливейших изысканий, находок никому не ведомого или давно забытого, умных сопоставлений, мелких и значительных открытий. Еще более полна, чем прежние книги, чем «Система» и «Объясненная география». И так же, как там, где он первым сопоставил распространение растительных видов по лицу Земли с прошлым нашей планеты и дал смелый очерк географии, связанный с устройством и работой тела растений, да, сделал это, вызвав к жизни неслыханное словосочетание: физиологическая география,— так же и тут: из его находок, сопоставлений, открытий, рядом с ними возникает величественная картина огромного, как океан, Зеленого мира — в непрестанном изменении, превращении. Как! Неужели это можно прочитать в написанном им? Непрестанное превращение... то есть эволюция? Да, это вытекает из его книг, из его науки!

Но сам он — понимает ли он это? Отдает ли себе отчет, что факты его науки, в сущности, уже протянули руку тому, с кем он борется? И что последующие поколения запомнят о Декандоле совсем не то, что он хочет им внушить, а только то, чем он помог эволюционной теории, которую так страстно желал разрушить?

Нет. Глубокий старик не замечает ничего. Как некогда, во времена «Системы растений» он пытается дирижировать своими тысячеликими фактами, командовать непослушной наукой.

На полках около его письменного стола теснятся справочники сортов и каталоги садоводческих фирм, из окон видны на склонах гор, в мягкой дымке, виноградники и поля, на которых зреет жатва, какой не могло быть на Земле, если бы не существовало человека. Он откидывается в покойном кресле, окидывает рассеянным взглядом эту изумительную вторую природу, людьми созданную, со всех сторон их окружающую. Несколько раз разжимает, сжимает и потирает пальцы, чтобы разогнать по синим жилкам холодеющую кровь, и опять принимается писать.

Он пишет о том, что ничего нет и ничего не было. Нет второй природы. Не было человека — создателя растений. Не бывало новых растений. Как облюбовали люди из дикой природы 44 вида семь-восемь тысяч лет назад, так и оставались у людей все те же 44 вида и в последующие тысячелетия. Не всемогущество, а бессилие. Не победа, а беспомощность разума. Не власть над природой, а милостыня, которую подает природа.

Упрямо Декандоль отыскивает в джунглях и прериях диких собратьев культурных растений — по возможности точные копии для всего, что выращивает человек, чтобы доказать, что он не создал их, а воспользовался готовеньким. Декандоль торжествует, когда ему удается найти то, что он ищет. Но он слишком хороший ботаник, чтобы не понимать, что во многих, чересчур во многих случаях предположенное им родство сомнительно. И вот его охватывает отчаяние: существуют десятки зеленых слуг человека, у которых нет даже намека на дикую родню!

Нет, так просто он не сдастся. Он упрекает географов, историков, археологов. Он запальчиво обвиняет неполноту геологической летописи. Языки с их названиями растений ему кажутся составленными людьми с ленивым и нерадивым воображением.

И он возлагает упования на будущих исследователей. Они заполнят пробелы и, неутомимо перерывая золу тысячелетий, обнаружат в черных кострищах палеолита или в ступенчатых пирамидах Древнего царства Египта горсть драгоценных обугленных семян. И эта горсть свяжет безродную пансионерку поля или сада с какой-нибудь вольной жительницей берегов Замбези.

Упования не факты: это-то он знает. Но ему некогда больше ждать. Жизнь его кончена.

Он стреляет снарядом, который готовил несколько десятков лет, на который возлагал все свои надежды, в который вложил все, что имел,— снарядом ничтожной взрывчатой силы.

Он прожил еще десяток лет, чтобы успеть увидеть, как выстрел его не взорвал, а лишь укрепил то, что должен был уничтожить, и чтобы успеть прочесть в некоторых энциклопедиях: «Декандоль, соратник Дарвина...»

1947

ЗАВТРАК В ЭРФУРТЕ

Когда я приехал в Эрфурт, там отвели речку, русло собирались чистить. Обнажились позеленелые, с резким гнилостным запахом цоколи многовековых зданий, по-венециански мокнувших в воде. Рождалось странное ощущение, будто не вода ушла, а вспороты пласты времени — и вышло наружу погребенное былое этого старого города.

Удивительное это ощущение, раз возникнув, не покидало и на квадратной уютно-«гравюрной» площади. Машины проносились редко, не нарушая ее покоя и пустоты.

И так легко было представить себе другое движение на этой замершей площади — стук высоких колес, отблеск зеркальных стекол, упряжки цугом, цокот копыт, кивера, медвежьи шапки зеленых егерей и красные доломаны гусаров. Уличный поток плотный, медленный, с заторами,— тем больше шуму, грохоту, криков, толкучка, сутолока, барабанный бой. Вымпелы, флаги, орлы и позолоченные пчелы, триумфальные арки. Как только втиснул заглохший после своего ганзейского прошлого городок это блистательное нашествие в улочки тесные, виляющие, еле мощенные, ночами без фонарей!..

Содом и Гоморра! Наверно, мало кто приметил простую карету, которая остановилась вот у этого самого дома на квадратной площади в одиннадцатом часу утра второго октября 1808 года.

По широкой лестнице Гете пробирался среди шитых мундиров, высоких плюмажей, сверкающих эполет. Ну как же: он знал — прибыл русский император, торопятся четыре короля, тридцать четыре герцога — и кто сочтет послов, посланников, графов, принцев, князей церкви, тучи соглядатаев, шпиков, авантюристов? И, разумеется, отовсюду слетевшихся красавиц, непременных при

всех дворах красавиц (что было, пожалуй, не столько ручательством за их внешность, сколько, так сказать, неким кодовым обозначением)... «Всесмешение,— мелькнуло словечко у Гете.— Всесмешение!»

И все — ради одного человека, того, к кому сейчас войдет немецкий поэт!

Он никогда не рассказывал подробно об этом свидании. Молчал на расспросы Карла-Августа, герцога, потом — великого герцога саксен-веймарского и эйзенахского. Лишь пятнадцать с половиной лет спустя продиктовал, отрывистыми фразами, заметку, по словам биографа — «все сглаживающую». Но кое о чем, не удержавшись, проговорился в письмах. Остались записи Талейрана, веймарского канцлера Мюллера, мемуар, изданный во Франции, в Лилле, в половине девятнадцатого века. И мы все-таки можем более или менее восстановить, что было сказано в то осеннее утро — и о чем умолчано.

Воскресное утро. Отдых от работ. Видимо, здесь это не имело ровно никакого значения.

Бой часов: одиннадцать. И тотчас позвали из переполненной приемной, где велел ждать толстый камергер, по виду и по акценту поляк. («Всесмешение!») Очевидно, желали возвести в закон скрупулезную точность! Но у самых дверей перебил дорогу Дарю, озабоченный, с папкой под мышкой, счетчик имуществ, правая рука по контрибуциям и поборам (которому «предстояло причинить столько горя» немцам,— продиктовал Гете в своей заметке),— перед ним распахнулись дверные створки, Гете учтиво отступил в сторону.

Он вошел по вторичному, нетерпеливому зову.

Император завтракал за круглым столом. Кивнул, Гете сделал несколько шагов и склонился — он знал наизусть придворный обиход. И герцогский, и королевский — это само собой. Конечно, и императорский — почему же нет, ничем необычайным не дивил петербургский Александр, танцор, холодный упрямец, плацкомандир, глуховатый херувим, русско-немецкий щеголь с неуловимым взглядом блекло-голубых глаз на рыхло-белом лице; или жердеобразный Франц, австриец, теперь просто австриец, с огорченным выражением, неподвижно застывшим с тех пор, как два года назад мирно скончалась его Священная Римская империя — по воле вот этого, сидящего у круглого стола, третьего императора. Императора Франции? Нет, нет, тут были особенности — «императора

французов», а на монетах все еще чеканилось «Французская республика». «Французская республика — император Наполеон»! И с какой смесью подобострастия, мучительно скрываемой брезгливости и почти животного страха являлись на поклон к нему венценосцы, будто отчаянно кидаясь в клетку к хищнику, в львиный ров,— откуда им знать, что еще ненавистнее ему, чем им, всякое напоминание о республике, что не сегодня завтра будет отдан приказ о переделке чекана монетного двора, и ни о чем, в сущности, он втайне так не мечтает, как о том, чтобы, командуя миром, быть признанным ровней, «собратом» всех их...

И Гете со страстным напряжением вглядывался в сидящего перед ним. Нет, то уже не был Аркольский герой, каким его представил живописец Гро,— юношески гибкий, весь порыв, экстатический взор на худом, решительном, резко, даже угловато очерченном, повернутом к своим солдатам, алебастровом лице. От смерча спутанных волос остался лишь мысок с зачесанным на лоб клоком, черты еще не расплылись, хотя пухлость и залысины лишили их изваянной четкости, не посягнув, однако, на знакомый по медалям античный профиль...

Все внимание Гете поглощено тем, о ком он столько думал. Но каким-то боковым зрением он не выпускал из виду в эти первые мгновения молчания и другого человека. Талейран, справа от императора, стоял поодаль, не так, как Дарю, который, слева, не смел отойти, отклеиться от стола. «Великий камергер» казался бы, вопреки своей репутации, просто уродом — грузный, большеротый, с длинными мучнисто-бледными щеками, в пышном, мелко завитом парике, если бы не глаза, темные, живые, нарочито полуприкрытые тяжелыми веками. И если бы еще не что-то трудно определимое во всей его фигуре. Смесь угодливости со свободой, даже распущенностью, обаятельной любезности с надменностью, почти наглостью? Подчеркнутого самоустранения — «что вы, не мое дело!» — с настороженным, словно из-за засады, выслеживанием малейших подробностей происходящего вокруг? Царедворческая льстивость в опущенных плечах — и усмешка, змеящаяся где-то в уголках рта, презрительно и неровно вскинутые брови... Не в это ли мгновение сложился у Гете поразительный вывод: «Взгляд Талейрана самое непостижимое изо всего, что есть на свете». Не отрешенный, углубленный в себя, как у мыслителя, не

любознательный взгляд человека, открытого всем впечатлениям бытия: глаза Талейрана, на что бы ни смотрели, видели во всем только его самого!

И поэту представилось, что позади князя Беневентского он разглядел на паркете легкую тень Мефистофеля.

Приметливость изумляющая, больше никто в низенькой комнате (а рядом в здании были раскошные высокие палаты) не замечал никаких теней — и много ли достоверного знал в те времена Гете о человеке, в чьем кулаке зажаты нити тайной дипломатии Европы, о хромом сластолюбце, покорителе сердец, а попутно и банковских счетов возлюбленных (его побочный сын, сейчас еще десятилетний мальчишка, станет знаменитым художником Делакруа); о мздоимце, нажившем чудовищное состояние данью чуть не со всех европейских дворов; о «величайшем министре иностранных дел века», остроумце, чьи «мо», циничные и блистательные, повторяли в лощеных салонах от Парижа до Петербурга; о епископе-расстриге, который предал церковь; аристократе, предавшем короля, чтобы следом продать революцию; стать подстрекателем кровавой расправы с молодым, кукольно хорошеньким Энгиенским, а теперь... Нет, ни за что бы не догадаться ни Гете, ни завтракающему за круглым столом повелителю, что именно теперь, здесь, в Эрфурте, затеял «великий камергер»!

Ведь необъятной выглядела мощь империи. И еще расти и расти ей — катящейся лавине. Нужны были вот эти притушенные набрякшими веками глаза, чтобы по глухому сопротивлению «континентальной блокаде», по отнюдь не победе, лишь чудом — не разгрому в бойне с русскими под Эйлау или по разгрому и плену Дюпона в охваченной партизанской герильей Андалузии («Эти проклятые испанские дела!» — бешено крикнул Наполеон, предавая Дюпона суду),— чтобы по первым трещинкам предугадать, что несется лавина в бездну.

И, может быть, не далее как вчера Шарль Морис Талейран-Перигор князь Беневентский отделил себя от судьбы империи и баловня счастья — ее властителя: не состоялась ли уж первая доверительная беседа с русским царем поздним вечером в голубенькой гостиной хлопотливой княгини Турн-и-Таксис? Возможно, это называется изменой: одной больше, одной меньше; кажется, он стал резидентом Александра, чтобы завтра присоединить к царю и австрийца Меттерниха: слова, слова... Да

и этот посетитель, глубокомысленный варварский поэт, в своем фрагменте «Фауст» (торопятся, печатают фрагменты, эскизы, отрывочки — вещь невозможная во Франции без оскорбления чувства изящества и логической завершенности!) — этот Гете что-то забавно срифмовал, конечно, ничего не подозревая в простоте душевной, насчет пустословия: о вздорящих словами, громоздящих словесные мирообъемлющие системы до небес...

Талейран был начитанный человек.

А властелин... Сейчас он занят только одним: в упор, тяжелым взглядом он в свою очередь пронизывает вошедшего.

Но мановением волшебного жезла чело императора прояснилось, преобразилось (а статный гость ответил улыбкой).

— Вот — человек! — вдруг громко раздается в благоговейной тишине. Дарю почтительно наклоняет голову. Шелохнулся извилистый рот Талейрана. Сегодня же стоустое эхо подхватит это евангельское «Ecce homo» — «Се человек», неожиданно отнесенное к немцу Гете! — Сколько вам лет?

— Шестьдесят.

(Ему только пошел шестидесятый — он был почти в точности на двадцать лет старше Наполеона.)

— Хорошо сохранились. Вы писали трагедии?

По другой версии, император сразу же проявил осведомленность: «Я знаю, что вы первый трагический поэт Германии», а Гете со скромным достоинством отвел это: «Ваше величество, вы обижаете нашу страну — мы полагаем, что у нас есть свои великие люди». И назвал Лессинга, Шиллера, старца Виланда. Завязался даже небольшой спор о Шиллере, Гете защищал своего три года назад умершего друга, чья «Тридцатилетняя война» вовсе не понравилась Наполеону (он разумел, понятно, не сухонаукообразную шиллеровскую «Историю», а трилогию о Валленштейне — «бульварный сюжет!»).

Так или иначе, слово взял Дарю, он счел уместным и своевременным дать похвальную справку о госте, который, очевидно, имел счастье понравиться повелителю. Тут, кстати, возникала возможность выставить в выгодном свете и собственную осведомленность: секретарь, интендант и переводчик Горация, Дарю мечтал об авторитете глубокого знатока литературы. Но странным образом во всем, что он говорил, Гете слышались отголоски

благоглупостей берлинских пивных — наших «друзей» берлинцев, иронически (про себя) отметил Гете. Хорошо настороженное ухо — незаменимый предмет для приближенного к источнику могущества, подумал он про Дарю, который между тем закончил свою характеристику гостя так:

— Еще он переводил с французского, например Вольтера «Магомет».

Беспроигрышно! Разве не сам Наполеон требовал, понукал ставить Вольтера и жадно, хмуро ждал, пока движение в зале, все взоры, обратившиеся к императорской ложе, удостоверят, что в стихах о Цезаре и Магомете, которые, по специальному указанию, особенно рокочуще раскатывал знаменитый Тальма, уловлены сближения с лицом более могучим, чем те оба,— аллюзии, мы бы сказали!

И тем не менее Наполеон скривился — он, в сущности, еле терпел Вольтера и притом как раз эту трагедию, которую считали его любимой, где в уста покорителю народов вложена автором-глумцом нелестная, издевательская самооценка. Сейчас, в разговоре «на высшем литературном уровне», а не со своими подручными, любыми Дарю, которых он, называя графами и герцогами, по правде, не слишком отличал от поднаторевших лакеев, император позволил себе быть искренним. «Кто такой этот Вольтеров Магомет? Пророк? Притом араб? Враль, похожий на школяра политехнической школы!»

Когда он говорил, лицо его вовсе не каменело в мраморной застылости, которую желала приписать ему последующая байронически окрашенная легенда: Гете дивился непрерывной живой мимике южанина-итальянца. Он говорил с тем же красноречием, с каким произносил часовые речи при обсуждении «Гражданского кодекса»,— с неудержимым напором, грубой солдатской прямотой, пафосом и звенящей бронзой афоризмов, играя властными модуляциями голоса (он брал уроки у Тальма); так же, как диктовал приказы и бюллетени своей армии.

— Чего хотят от драматического искусства? Трагедия — школа монархов и народов. Напишите «Смерть Цезаря». Не мелко, как Вольтер: раскройте грандиозность темы. Покажите миру, каким счастьем одарил бы его Цезарь, останься он жив! Это высшее, что вы способны создать. И переезжайте в Париж. Мир виден оттуда, а не из этой вашей...

Он сделал жест рукой. Все стояли. Стоял шестидесятилетний создатель «Фауста». Сидел лишь император, который только что походя наградил щелчком по лбу французскую литературу, призвав варяга исцелять ее: пикантная ситуация! Дернулся уголок талейрановского рта — отнюдь не ухмылка, боже упаси, но как бы мгновенная тень сардонической гримасы скользнула оттуда по одной щеке старого фавна.

Наполеон семь раз перечитывал «Вертера» (что знал об этом Дарю?). Брал в Египет, к пирамидам. Конечно, он лестно отозвался о маленькой страстной, бурночувствительной повести, наложившей печать на души чуть не целого поколения людей. Но закончил резким замечанием. Внезапно, тоном выговора. Или, показалось Гете, как обвинитель в суде.

Гете начал довольно запутанное оправдание, но, засмеявшись, поклонился.

— Сир, я до сих пор ни от кого не слыхал подобного справедливого упрека.

Когда после, неоднократно, его настойчиво спрашивали, о чем же шла речь, он загадочно отвечал: «Отгадайте!»

Отгадали. Почему Вертер, стреляясь, думает не только о Лотте, жене другого, но и о том, что он не «свой» в кичливом, оскорбившем его дворянско-феодальном обществе, почти плебей? Затхлый быт — удавкой на шее. Сложность мотивировок, двоящиеся причины человеческих поступков... Жесткость геометрического мышления полководца отвергала зыбкую неопределенность. Необходима простота и ясность. Линия главного удара. Страсть в чистом и отпрепарированном виде. Но и Гете было вольно посмеиваться: тайный советник и друг веймарского герцога, генерала прусской службы, он-то сам, собственной рукой давным-давно истребил смущающее место, прошелся и по всему тексту. Общественные неравенства, социальные соблазны! Все это было гуще, чем надо, намешано когда-то, в первом издании (которое и перевели на французский) — наивные, допотопные времена, слишком много пыла, настоящая «буря и натиск» — до этого Клингера с его пресловутой пьесой,— бог с ними...

А беседа затягивалась. То уже вовсе не обычный прием во время завтрака. Да и какой завтрак! Прибор с круглого стола бесшумно убран — император насыщался наскоро (походная привычка!), часто в том порядке, в каком под руку попадали тарелки — десерт перед рыбой,

ничего от Лукулла, от гастрономических пиршеств. И собеседники на этот раз явно импонировали друг другу. Оказывается, можно и прекословить — кой по каким вопросам, ясное дело — не по всем, далеко не по всем. Например, по вопросу, нужно ли на скорую руку, оперативно воспеть Эрфурт и посвятить... «Александру!» — подсказывает император. Никаких посвящений! Гете почтительно тверд: «Тут понадобилась бы римская проза».— «Тацита?!» — «О, Тацит!» — воскликнул Гете. «Ничего подобного! — парирует Наполеон.— Я еще докажу — вам и Виланду». А суть в том, что всякий император у этого красноречивейшего летописца древности выглядит весьма сомнительно, чтобы не сказать сукиным сыном,— и это владыки Рима! (Та же история, что с Вольтером!..)

В конце концов снова вернулись к трагедии — излюбленному литературному жанру Наполеона. Но любил он патетическую строгость классической трагедии, зашнурованной корсетом суровых правил. Пренебрежительно отвращался от романтической бесформенности (хотя именно под пером романтиков расцветет наполеоновская легенда!).

— Мне говорят: книга. Что такое книга? Берегитесь: вы выданы читателю с головой. Почем вы знаете, что вас не станут слушать с пятого на десятое? Не оборвут на полуслове? Не перебьют? Дома, растянувшись на кушетке, любая каналья, и-де-о-лог, пожмет плечами и вдребезги высмеет вас! Вы бессильны — вас пинают ногой. Но в театре!..

В театре зритель лишь частица массы, толпы, зрительного зала. Своеволие подавлено. Индивидуальность стерта. Одному противостоять всем? Практически невозможно! Наоборот, каждого с удесятеренной силой захватит общая воля. Тем неодолимей, чем многолюднее и спаяннее масса. Вот что такое взаимное заражение! Душу же толпы — ее и должно создать, вдунуть в зал трагическое действие на сцене. (Если бы Наполеон знал наше слово «отчуждение»!)

Доверительный цинизм отточенных фраз, бесспорный литературный талант, дар образной импровизации, подхлестываемой неистовым воображением. И точный психологический расчет! Гете слушал будто завороженный, *не переводя дыхания* — как отметил он сам о себе. А император хрипловато, ошибаясь в нескольких словах, продекламировал из «Цинны» Корнеля. «Живи Корнель, я сделал бы его князем».

— Что скажете, мсье Гёт?

Что он скажет?! Сама нечеловеческая власть откинула перед ним краешек глухого покрова со своей тайны, обнажив рычаги, механизм страшного своего гипноза!

Нужно глотнуть воздуху. Необходима разрядка. Гете свернул на сравнительно безобидную почву античности (которой, впрочем, после Тацита тоже следовало остерегаться), упомянул о трагедиях Рока — им внимали некогда не в зрительных залах, а на известняковых и мраморных скамьях открытых амфитеатров.

— Рок, судьба! — перебил с издевкой завоеватель «фронтовым», как удар кулака, голосом.— Политика — вот судьба!

И повернулся к Дарю, чтобы распорядиться о контрибуциях, безжалостно наложенных на немцев.

Что бы ни ощутил Гете, он снова склонился в глубоком поклоне.

В кабинете произошли перемены. Незаметно исчез Талейран,— конечно, его ждут особенные дела, не терпящие отлагательства. Показался Бертье, начальник штаба, «тень» императора — «пока у меня Бертье, мне не о чем беспокоиться». Строевым шагом, неся вперед выпяченную грудь, высокий, с грубо вырубленными чертами лица, буйно волосатый промаршировал к столу Сульт. Бывший рядовой, герцог Далматский. По коротким фразам можно понять: инциденты в Польше, герцогстве Варшавском, которому от роду год. Но повелитель милостив и благодушен. Он шутит. Он не замечает никаких трещинок в исполинском здании.

Польша. Испания. Колосс России... Меловые горы Альбиона. Солдаты в неприкосновенном папском Риме. Рухнувшая Священная Римская империя. Балканы, Турция наводивших ужас султанов — как простые фишки в игре. Узкое лезвие французской сабли уже протянуто к радужному миражу Индии. «Бог и баядера», одиннадцать лет назад написанная баллада о стране, далекой, как сказка... Сверкающая душная туча висит над миром, с этим голосом в сердцевине то огненно и вкрадчиво убеждающим, то рыкающим, подобно грому, с этими шуточками полубога, литературно-драматургическими разговорами... И под ней спирает дыхание. И тянет ледяным холодом — до гусиной кожи. Чем грянет завтрашний день? Об этом нет и не было разговоров. Об этом молчок...

И ты, схваченный, восхи́щенный к недоступному средоточию вихря, невиданно и неслыханно безустанного, поднятый вровень с ним, ослепленный, оглушенный, взысканный, ты смотри же: ты тоже — молчок!..

Он отошел к выступу эркера, того самого эркера, который так запомнился мне в Эрфурте.

Теперь он разглядел стены. Стены были не те. Он рассматривал их, сутулясь. В комнате, издавна ему знакомой, лишь темные пятна на обоях обозначали места, где висели портреты герцогини Амалии с полумаской в руке и штатгальтеров с чадами и домочадцами.

Гете сразу выпрямился. Наполеон стоял рядом. Он стоял, чуть подрагивая упругими икрами, как бы разминаясь после непривычно долгого сидения, и его полнеющее тело с начинающими круглиться животом и плечами широкой своей спиной отгородило поэта ото всех, кто был в кабинете, входил и выходил. «Вот мы и наедине — я и вы».

Стоя, они оказались совершенно одинакового роста, два невысоких, малорослых человека в выступе эркера.

— Вы женаты? Сколько у вас детей? Вы счастливы? А ваш народ?

Ничего официального, сердечная беседа, но, боже мой, как она тоже походит на пункты анкеты, на прямой допрос!

— Переезжайте в Париж! Я требую!

Император утвердительно кивал, отрицательно качал головой, лицо его было в непрерывном движении, он то хмурился, то даже игриво шевельнул красиво изогнутой бровью:

— Вы знаете князя-примаса? Нет? Да?

Гете превосходно знал Дальберга, очень светского владетельного архиепископа, сблизился с ним, почитая, как старшего, мало того —живал когда-то у него, в этом самом доме — ведь это же его дом!

Император выдержал рассчитанную паузу.

— Ну так приходите вечером в театр — вы увидите, как он спит на плече короля вюртембергского!

«Ты да я»... И «мсье Гёт» в постоянных переспросах императора стало звучать для слуха поэта, подготовленного вступительным «Се человек!»,— как «Готт», на что он позднее многозначительно намекал: «Что скажете, господин Бог?» Он ошибался — Наполеон не затруднял себя точным произношением фамилии гостя, трудной, непо-

нятной самим немцам, служившей мишенью для каламбуров и в годы его славы. Фамилии,— скажем мы уже от себя,— давно угасшей...

Гете давал еще понять, что впечатление, произведенное им, властелином духа, на властелина империи, способствовало тому, что Веймар оказался пощажен — изъят из неумолимых папок Дарю, веймарцы спасены от поборов, веймарские владения не тронуты. «Господин Бог» обладал некоторой склонностью к самообольщению. Действительность грубее и проще. Карлу-Августу удалось то, что вскоре не удастся самому Наполеону: породниться с Романовыми; он женил первенца на сестре Александра. А все затеянное в Эрфурте имело ведь главной целью обольстить русского царя.

...Политика — вот судьба!

Из Эрфурта мне нужно было в Дрезден. По нашим русским масштабам — совсем близко: каких-нибудь два часа по автостраде; к европейским меркам дальности не сразу привыкаешь. Была весна. Старые громадные каштаны, которые точно светились от унизавших их белых свечек, скрывали отель «Асторию» — в редком городе нет своей «Астории», должно быть — отзвука остерии, придорожной таверны. Но, вторгаясь и в парковую часть, через весь Дрезден протягивались зияющие пустыни. Подобного не приходилось видеть с 1945 года. Они тянулись тогда безмерно — километры и километры мертвых развалин. Пустые, решетчатые, со следами обугленности коробки, сбритые кварталы. Одного этого ужасного зрелища испепеленного города — в давно уже мирное время! — было бы достаточно, чтобы возненавидеть чудовище войны и навсегда проклясть его.

Передавали предсмертные слова Гергарта Гауптмана: «Тот, у кого нет больше слез, снова заплачет, видя гибель Дрездена».

Но город жил. Говорили о приливе населения, о спешном строительстве, о кропотливой отстройке Цвингера. И бродя по залам Дрезденской галереи, я невольно отмечал, как несуетливо, со спокойной обдуманностью развешаны знакомые полотна — никакой, к сожалению, тоже хорошо знакомой, многоэтажной тесноты и мельтешенья, стой, ничем не отвлекаясь, перед Сикстинской мадонной

в ее отдельной келье, как стаивали тут же Белинский и и Достоевский.

Новые дома возникали блоками, целыми улицами. Газеты оповещали о гребных соревнованиях на Эльбе. Несколько раз в течение суток в районы у заводов электромоторов, трансформаторов, рентгеновской аппаратуры выплескивались рабочие смены. Дети становились юношами и девушками — мне показывали круто восходящую кривую бракосочетаний. Собиралось общество аквариумистов. И молодой художник в этом городе искусств бурно обличал посреди пустошей и пепелищ язву урбанизма с грядущими «агломерациями» на десятки миллионов жителей каждая, внушая мне свою теорию города оптимальных размеров: отлично было Бетховену, заложив руки за спину, отправляться на послеобеденную прогулку из тогдашней Вены ins Grüne — на природу.

А надо всем витал тот каменноугольный, смолисто-битумный, чем-то похожий на вокзальный запах, происходящий, кажется, от топки брикетами, который сопровождает повсюду в немецких городах, слышишь его и в Праге,— серьезный, деловитый запах, в моем представлении сросшийся с деловитым же сокращением «Митропа» — Средняя Европа.

Но здесь вплетался в него еще и иной — сильный и свежий, влажный, с горчинкой, как от вишневой косточки. Гигантские травы вымахивали между рухнувшими камнями. Из окон барочного фасада или ротонды рококо с затейливой лепкой и сплющенной спиральной лестницей внутри выпирали ветви высоко разросшихся деревьев, приводя на память прихотливые руины в старинных садах, доставлявшие нашим предкам меланхолическое и чуточку извращенное удовольствие.

Странно и противоречиво устроен человек! Я сказал: пахну́ло сорок пятым. Там была моя молодость. Такая радость и надежда, каких не забыть тебе. Тебе и всем, кто пережил тот год. С неслыханной яркостью виделось тогда все вокруг. Что пелось — лучше тех песен не споешь. Кого любил — большей любовью не полюбить... И что ни напишешь, ни расскажешь о годе Победы, все будет бесконечно меньше того, что должен рассказать и написать.

И вот в чужом, разрушенном городе, может быть, приумолкшее в тебе, слегка, может быть, подернутое пеплом,— потому что такова жизнь,— снова очнулось, нахлынуло с пронзительной, щемящей силой. Воскресли

отзвучавшие голоса. Настойчиво подступили отжившие образы близких, а после отошедших — или ты отошел от них: теперь-то ты знаешь, что никого не встретил на жизненном пути дороже их...

Такой выдался вечерок в «Астории», гостинице за каштанами, убранными белыми свечками, в городе, о чьей грозной участи ты слышишь теперь столько рассказов.

...Город спал. Война решена, он практически беззащитен. Не крепость, не стратегический пункт. Американские самолеты вместе с английскими с воющим гудением заходили последовательными волнами. Они выжигали планомерно сектор за сектором, квадрат за квадратом, расчертив их на карте,— все, кроме разорванного кольца окраин. Зачем? Войска Первого Украинского фронта уже вступили в Силезию, уже двигались по Германии!.. *Так зачем же?!*

Люди, не убитые во сне, не сожженные заживо, не задохнувшиеся в дыму, кинулись, обезумев, полураздетые,— а была мозглая, черная февральская тьма,— в пустынные дрезденские парки: там нечего бомбить. Самолеты опустились до верхушек деревьев — расстреляли из пулеметов, накрыли бомбовыми залпами. Никто не сочтет жертв: сто тысяч? Или, утверждали, больше, гораздо больше? Сто тысяч мертвецов, трупов, скелетов — сколькие, возможно, оставались лежать, когда я был в Дрездене, под неразобранными еще тогда живописными развалинами.

...Отошла зима — последняя военная! — наступила, расцвела вот такая же весна, когда перед нашей армией-освободительницей показался на горизонте Дрезден. Сотни рук, как по команде, потянулись к биноклям — поскорее разглядеть его зубчатый силуэт. Дохнул теплый ветерок — и что это? Оттуда, от горизонта обдал людей трупный смрад.

Это рассказал мне Борис Николаевич Полевой, шедший с передовыми частями.

И я подумал, что к Хиросиме и Нагасаки следовало бы прибавить Дрезден.

Имя и судьбу города, одного из прекраснейших в Европе, «немецкой Флоренции», растерзанного не по военной нужде, а по расчету бесчеловечной политики.

1969

ПО ЗЕМНОМУ ПРОСТОРУ

Рассказы о дальних путях

ЗАГАДКА САЛАМАНДРЫ

Свои владенья отец измерял сягами. Эта щедрая крестьянская мера заключала в себе три и шесть десятых квадратного метра. Два дня в неделю были чужие. Полагалось работать на униатского попа. Обычай этот невредимо дожил с тех самых времен, когда некий папа предал анафеме мышей, а королевская дочь, уколовшись веретеном, уснула на сто лет. Церковная повинность называлась «коблина». Ее отменили чехи в 1920 году.

Детей было шестеро. Андрей — старший. Поэтому он пошел учиться. В иных крестьянских семьях придерживались своеобразного «майората» грамотности: хоть одного сына да попытаться отдать в школу. Еще больше семей не были в состоянии сделать и такой попытки.

Знойный ветер колебал пыльные марева над полями кукурузы. Ее иссохшие листья звенели, как жестяные венки на пригородном кладбище. Мать долго стояла у выкрашенной масляной краской калитки соседа. За калиткой собака рвалась и громыхала цепью. Сосед принял мать, заложив оттопыренные большие пальцы обеих рук за помочи. Взамен того мешка зерна, что мать унесла с его двора к себе домой, следовало потом отдать два.

Отец собрался в далекий путь. Он старался казаться веселым.

— Ось подождите, грошей привезу! Я вже черес [1] из скрыни достал, бо в кошель не влезут. Ты, Андрей, вырос — смотри, чтоб мать не журилась.

Черес был старый, дедовский, пустой внутри.

Письма от отца приходили редко. Из них можно было лишь понять, что черес отцу все еще не понадобился, а в шахтах тяжело и отец заболел грудью — так, пустяк:

---

[1] Черес — кожаный пояс.

пишет он из хорошей, чистой больницы, но скоро выпишется, и тогда станет кругом хорошо. Он написал незнакомые американские, очевидно веселые, слова: будет все «о'кэй».

Потом письма совсем перестали приходить.

Андрей учился. Другие деревенские дети отставали с третьего-четвертого класса. Он сам бы, пожалуй, не мог сказать, что привлекало его к книге, к школе, но знал, что без этого больше нет для него жизни. Он шел первым. Учитель спросил его:

— Ты хочешь учиться дальше?

И объяснил:

— Я помогу тебе — в русскую гимназию в Хусте или в Берегове. Голодать будешь, я знаю. Все равно — ты должен. Каждый наш юноша, кто в силах, должен учиться: помни, тьма невежества душит народ. Учителем станешь.

Помолчал и прибавил:

— Я ведь тоже из деревни...

Андрей голодал. По субботам, пройдя двадцать пять километров пешком, поздним вечером он возвращался в деревню. Мать, худая, постаревшая, с жидким узлом волос на затылке, причитала над ним. Она указывала на черные, скосившиеся углы хаты и требовала, чтобы он бросил ученье. Затем она собирала ему в торбу хлеба — на неделю.

Учитель природоведения, чех, являлся в класс с ветками, цветами под мышкой и с баночкой, где лягушки метали икру. И стены раздвигались. Солнечный свет простых и величественных законов жизни, законов зеленого простора полей и высей гор, вдруг озарял измазанный чернилами сосновый стол. Андрея приходилось насилу отрывать от микроскопа — от чудесного круглого окошка, куда надо было заглядывать, зажмурив один глаз, и где в клетке традесканции медленно и неустанно струился живой зернистый изумруд протоплазмы. Разве не был он сродни и тому невидимому, тому таинственному, что в добрый год наполняло початки кукурузы, пшеничные колосья тучным зерном и щедро кормило людей, а в худой год оставляло колосья пустыми, грозя голодом городам и деревням?

Чех улыбался. Он побывал в плену в России. И вдруг он переходил на русский язык и начинал, словно забыв об уроке природоведения, рассказывать о русских, о России,

о той новой России, рождение которой он видел сам, своими глазами тогда, в октябре 1917 года.

Он вглядывался в загоревшиеся, внимательные, устремленные к нему отроческие глаза — и ронял с добродушной стариковской ворчливостью:

— Я бы остался там. Но у меня была жена и дети были — такие же, как вы. И вот мы с вами проходим лист и стебель. Вы все еще не перечислили мне, Ковтап, типы стеблей.

Однажды преподаватель-латинист сказал своим блеющим голосом:

— Мы будем отдыхать сегодня.

И, выждав эффектную паузу, пока гомон стал открыто радостным, он насмешливо скривил углы губ.

— Мы посвятим наш отдых разбору буллы святого отца.

Класс глухо зароптал. Андрей поднял руку.

— Вы говорили, у нас в программе золотая латынь. Разве это золотая латынь?

— Quis dubitat [1], дитя мое? — сладко пропел латинист, закатив глаза и торчком выставив бородку.— Я сейчас попрошу именно вас убедиться в этом.

Булла сыпала высокопарными проклятиями социализму и призывала верующих к новому крестовому походу — против СССР. Латинист смаковал фразы, сочиненные священной канцелярией Пия Одиннадцатого на кухонной латыни схоластиков. Андрей смотрел на учителя и повторял:

— Не розумию.

— У вас скудный запас слов,— ехидно сказал латинист.— Вы варвар, бедное дитя.

— Я скиф,— подтвердил мальчик, глядя учителю в глаза.

— Но вы знаете по крайней мере, что значит «азинус»? — прошипел латинист.— Так называли современники Юлия, великого полководца, одно домашнее, чрезвычайно строптивое животное. Вы увидите его в зеркало.

На следующем уроке Андрей сообщил так же зло и спокойно:

— Пане профессоре, я смотрел в зеркало — и осла не бачив. Подывитесь вы — может, он покажется.

---

[1] Кто сомневается? *(лат.)*

Латинист срезал его на экзамене. Задание для переэкзаменовки было диким: выучить наизусть несколько глав «Галльской войны» и всего школьного Горация и Овидия.

— Вы не будете больше учиться в гимназии. Я вам выправлю волчий билет,— с мстительным торжеством напутствовал экзаменатор Андрея.

«Пирьяники» Хорти — жандармы в шляпах с перьями — уже разгуливали по улицам. Учитель-чех исчез. Старую полную даму в черной пелеринке, которая приходила к директору, не пустили в кабинет. Она повторяла на пороге:

— Ночью... как разбойника... И не сказали, куда увезли его! Он же больной человек. За что?..

И кружевным платочком вытирала глаза.

Андрей вызубрил главы «Галльской войны» и Овидия с Горацием. Он сделал это упрямо, с холодной злобой, которой сам не понимал до конца,— она не дала ему свалиться с ног: часто у него теперь не бывало и хлеба.

Ему стала особенно дорога книга, подарок чеха: он берег и перечитывал ее. То был «Тихий Дон» Шолохова.

Рука в веснушках с длинными пальцами в рыжем волосе легла гимназисту на плечо.

— Так вот вы чем занимаетесь. Как неосторожна молодость!

Сзади бульварной лавочки, где он сидел со своей книгой, стоял латинист.

Андрея на допросах били. Перед тем как начать истязать, ему завязывали глаза. Несколько раз его подвешивали на вывернутых руках, с гирями, привязанными к ногам. Потом бросали в переполненную зловонную камеру. Знаки истязаний остались на его теле навсегда.

Когда его, наконец, выпустили, он побрел в деревню. Семьи он не нашел. Лохмотья чужой нищеты хоронились за тусклыми оконцами материнской хаты. Соседи ему объяснили:

— Твоя сестра и брат умерли. Нотарь сказал, что ты изменник короне, а другой твой брат партизан.

Куда ушла мать с маленькими, он не допытался.

Надо было есть. Работы сыскать он не мог. Была пора, когда в каждой деревне достаточно своих собственных рук. В канцеляриях же говорили, что он худо знает по-мадьярски. Наконец ему удалось поступить писцом в

сельский уряд — нечто вроде волостного правления — в дальнем селе. В жалованье ему отказали:

— Тебя учат занятию!

Кормили из милости, в долг. Потом назначили пятьдесят пенго в месяц. Этого едва хватало на пропитание, с каждым днем все дорожало. Вскоре его снова арестовали.

Судил военный трибунал. И как во время даровой работы в сельском уряде, Андрей снова услыхал, что он должен быть благодарен.

— Ты достоин каторжной тюрьмы. Но тебе оказана милость. Тебя отправят на фронт, дабы ты смог искупить свои преступления.

Председатель трибунала, коротышка, румяный, жизнерадостный, еще распространялся на эту тему. Он трещал, как кузнечик, ему плохо давалось устрашающее величие судьи. Андрей, который во многом разобрался после встречи с латинистом на бульваре, отлично понимал, что все это можно изложить короче: армия Хорти, так же как и полчища Гитлера, истекает кровью — ей нужны солдаты, солдаты, солдаты...

Во время своих скитаний за куском хлеба юноша познакомился с необычным офицером. С виду он ничем не отличался от других офицеров, которыми тогда кишели города Закарпатья. Он повелительно окликнул бродягу и велел следовать за собой. Но после двух-трех фраз оказалось, что он умеет говорить без обычной надменности тыловых вояк Правителя. На проселке, неся в фольварк офицерский вещевой мешок, юноша рассказал свою историю. Офицер неожиданно перешел на украинский.

— Середь народа живешь, а смотреть не вмиешь. Кто шукает правды, а кто — ни. Ты подывись на тех, кто шукает...

Расставаясь, он объяснил, как можно отыскать его. Теперь Андрей пошел его искать.

Офицер выслушал продолжение истории юноши.

— Ну что ж, твоя школа окончена — выучился. Пора начинать и жить... Трошки долго тебя учили, а? — улыбнулся офицер.

Он дал Андрею адрес, где его приютят на несколько дней. То была семья мелких лавочников — старичок и низенькая, розовенькая, в добрых морщинах старушка. Не было ничего удивительного, что в дверь к этим хорошим старичкам стучались люди, заходил дорожный техник, приезжала учительница, двое каких-то молодых с

Верховины, молчаливый работник с виноградника. Разговоры велись самые обыкновенные, но Андрей ясно понимал, что есть между всеми этими людьми еще иная связь, и, помимо своих, очень различных дел, все они заняты одним общим делом. И хоть о деле этом как будто меньше всего говорят, оно — самое важное.

Он убедился, что людей с таким единым, всепоглощающим грозным и радостным делом много. И оно прямо касается той правды, без которой погиб его отец, погибли братья, где-то с нищенской сумой на своих старых, больных, в синих узлах вен ногах бродит мать, страшно искалечена его собственная короткая жизнь, кровью залит весь родной край. А ведь он ходил, тоскуя о правде, среди этих людей, как слепой, и не узнавал их!

И вот он узнал их, но ему грозила нацистская казарма.

— Фронт близко,— сказал он офицеру.— Я знаю, вы можете помочь мне перейти фронт. Я прошу вас. Там братья...

Это случилось на четвертый день новой жизни Андрея. Офицер пришел в штатском и вовсе не казался офицером. Лицо его было серьезным и суровым.

— А не подумали вы,— сказал он Андрею, говоря резко и на «вы», отчего щеки юноши залились краской,— что еще лучше *отсюда* помочь братьям скорее прийти?

С хлопцем из Верховины Андрей отправился в горы. Он выглядел заправским лесорубом. Они шли к партизанам.

В октябре 1944 года Закарпатье освободили войска Четвертого Украинского фронта. В феврале 1945 года Андрей стал комсомольцем. Затем он поступил в только что созданный университет в первой же группе юношей, принятых на биофак.

Все это он рассказывал мне после общеуниверситетского собрания — мы вышли из зала, где в электрическом свете было шумно, тесно и жарко. Пустынная и тихая вишневая полоса догорала вдали. Мы прошли мимо отведенного под филармонию здания бывшей синагоги. Под крутым склоном отдыхали вагончики и паровоз детской железной дороги, устроенной год назад. Маленькие рельсы бежали вдоль слегка курившейся реки туда, где те-

перь пустел купальный и спортивный бассейн и полотно настоящей железной дороги (давно уже не с узкой, а с обычной в Советском Союзе колеей) мостом шагало через реку.

Потом луна, почти нестерпимо яркая, одна овладела улицами. Стылый круг ширился около нее. Крыши казались стоячими озерами мерцающего блеска. Резкие тени лежали у подножья белых стен.

В ту зиму жестоких не по-закарпатски холодов днем на солнце все-таки подтаивало и веяло весной, а ночью забирал мороз. Ужгород, весь в пушисто разубранных нешелохнувшихся деревьях, становился кружевным и серебряным.

Но спутник мой, как и многие жители этого «города молодости», отказывался подчиниться своеволию стихии, не признавал головного убора. Я думаю, более всего зябко глядеть было ему именно на мою зимнюю шапку и поднятый воротник.

— Это просто история одного студента,— сказал он, как бы извиняясь за долгий рассказ.— И не история — доистория: так этот студент дошел только до порога своего дела. И дело это...— он закончил твердо,— дело мое — наука.

Я спросил:

— Чем заняты ваши университетские научные общества?

Мой спутник был членом совета общества студентов-биологов. Он объяснил:

— Тем, чего ждет наша область, что нужно колхозам. Мы, студенты, ведь «на пороге». Завтра уже не учебная, а подлинная работа.

Студент Иван Бубряк, мукачевский крестьянин, специализируется по низшим растениям, он изучает Plasmopara helianthi — грибок, поражающий подсолнечник, и фитофтору — «рак картофеля». Другие готовятся принять участие в преобразовании природы Верховины. Деды их, отцы и сами они с колыбели не в теории выучили, а на себе, на жизни своей испытали каменную суровость к облакам взнесенных высей земли-мачехи,— как же им не стремиться всеми силами помочь превращению ее в землю-мать? Третьи...

Мы ужинали в ресторане «Верховина», потом опять бродили. У моего спутника была неиссякаемая жажда

знания, жадность узнавать, схватывать, впитывать в себя все, что делалось в родном его краю людьми, неутомимо ищущими путей к увеличению власти человека над природой.

Я услышал о Великой Бакте под Береговом, где в бывшем имении мадьярского магната разбит парк со всеми древесными породами Закарпатья и создан опорный пункт сельскохозяйственной науки; о мукачевском плодопитомнике, где выращиваются 180 тысяч грушевых и яблоневых саженцев, где выведена груша «вильямс», улучшены старые сорта яблок «ботуль» и «соливорское», удалось заметно поднять сахаристость винограда. Там работает Михаил Михайлович Мазур. Был панский сад и в нем чернорабочий Мазур. Но чернорабочий учился. Он избрал себе не простого учителя и с гордостью назвал себя мичуринцем. Какие вести долетели до него через все кордоны из Мичуринска?! Но, страстно вдумываясь во все, что долетало оттуда, доставая какие можно было книжки о Мичурине, он стал творцом новых растений. Только вряд ли когда-нибудь он мечтал о таких возможностях для своей работы, как сейчас, в мукачевском плодопитомнике. Сбылось то, чего он и не чаял,— и теперь он, немолодой человек, начал по-настоящему мечтать. Смелы его мечты: одеть садами карпатские выси. Он уверен, что это под силу той науке, какая родилась в русском городе Мичуринске,— науке его учителя, которого он никогда не видел и который научил его всему, что он, Мазур, умеет.

Особенно обстоятельно Андрей мне рассказывает о том, что делается на университетских кафедрах.

— Кстати,— неожиданно спрашивает он,— вам знакома «загадка саламандры»?

— Это вы о старых опытах Каммерера?

— Он работал в Вене, вы помните? Австрийский ученый с мировым именем. На опытах с саламандрами он доказывал, что приобретенное организмом на жизненном пути не рассыпается прахом, а передается потомству. И его затравили за то, что он выступил против войны, что решил переехать работать в СССР, в Москву.

— Почему вы вспомнили об этом?

— Я, собственно, не об этом. А о том, что нашлась у саламандры и новая загадка.

И я услышал вот что:

Саламандру, маленькую пугливую тварь с огненными пятнами, раскиданными по черному бархату, редко кто видел живую. («Ее и в биокабинетах нигде нет — разве что в банках, заспиртованная»,— сказал Андрей.) В СССР она только и встречается в Закарпатье. Да и тут — в потайных местах, ползает ночью по мху, по сырому палому листу. Согласно легенде она в огне не горит. Истина скромнее. Жабья слизь саламандры огня не тушит, но может убить мышь, маленькую птичку. Это сила бессильного, защита беззащитного.

Кафедра зоологии Ужгородского университета открыла новые свойства яда саламандры. Мясо, опущенное в воду, куда добавлена капелька беловатой слизи, не портилось целые месяцы.

— Если так с мясом... Я сейчас буду немного фантазировать, вы простите. Но представим себе, что разгадана химическая природа действующего агента слизи. Синтетический «саламандрин», выпущенный заводами... Препарат, запрещающий распад белков, жиров, уничтожающий полчища бактерий. Молоко, мясо, сыр... готовая пища, отправляемая, если надо, за сотни километров. И слово «порча» забыто пищевиками даже в летний зной! Я понимаю, что это пока фантазия, но все-таки...

Он говорит долго, увлеченно, провожая меня до моего общежития. Я слушаю внимательно, слежу за его мыслями, и почему-то мне трудно сдержать улыбку, хоть нет ничего смешного ни в мыслях его, ни в словах. Право же, моего ночного спутника всерьез ничуть не удивляла возможность вот такой, им изображаемой, головокружительной карьеры для выводов из скромной, очень частной зоологической работы! Так настойчиво в нем ощущение некой общности, связанности того, что происходит в бугристом тельце боящейся света саламандры, падчерицы земли, с нагулом жира и мяса у скота на фермах, с наливом зерна под знойным солнцем на кукурузных полях и с тем дивным изумрудом протоплазмы в длинных прозрачных клетках традесканции, который он увидел некогда в круглом поле школьного микроскопа!

Великая природа в цепи ее проявлений, законы, правящие огромным и малым,— радостное, тревожное, непобедимое, чему имя Жизнь...

1949

ЗАКЛИНАНИЕ ГИЕН

В начале XX века по этим самым местам с караваном мулов и верблюдов проезжал наш соотечественник, русский, которого друг, издавший его записки, называет «вечным странником». Он был отважен, достаточно обеспечен, чтобы предпринимать путешествие за путешествием, в том числе и это — в «полусказочную страну», такое путешествие, которое им самим с легким кокетством именовалось «бесцельным». Никаких невзгод он не боялся. Очень наблюдателен. Писал же он превосходно — ясным и твердым языком, с юмором умного, честного, крепко стоящего на ногах человека. Так писали многие русские путешественники, инженеры, натуралисты. На этом стиле, этой манере есть какой-то общий, мужественный отблеск эпохи Миклухи-Маклая, Чехова.

Он стремился все увидеть, все испытать. Хладнокровно торговался о выкупе с разбойниками. Общался с самыми разными людьми и пользовался их гостеприимством. Был на пиру у Менелика II. Собрался на львиную охоту.

Последнюю фразу он написал накануне: «Итак, завтра мы выступаем в пустыню...» Лев-победитель поставил точку в записках того, о ком я почти ничего не знаю, кроме фамилии на титульном листе: В. Радич.

В Эфиопию он вступил через Харар. И, подъезжая к Харару, я читаю описание этого города в записках Радича: «Выросла городская стена. До ворот было недалеко, но там была такая давка... Городские ворота в шесть часов вечера запираются...». «Мусульманское население...» «Узкие, кривые улицы Харара переполнены народом... Кого здесь больше — торговцев или прохожих, решить мудрено». «Зеленые, тучные пастбища, разбросанные всюду купы гигантов-деревьев, отбрасывающих на дальние пространства теневые полосы, манящие путника к отдыху, роскошные плантации... В конце концов богатство этой природы подавляет человека... Здесь, по соседству с каменистой пустыней, силы солнца и земли принимают титанические размеры...»

И я вспоминаю длинные, покрывающие целые рощи мелкой поросли полосы теней, которые я видел с самолета,— по этим теням сверху, с воздуха, можно судить о размерах отбрасывающих их великанов.

В городе оказываешься внезапно. Круговое шоссе

подводит к концу широкого проспекта. По сторонам пышные строения, отель, виллы, к некоторым подойдет и словечко «дворец». Посередке бульвар. Деревья усыпаны лиловыми без запаха цветами с белыми точками внутри. На длинной улице все гуще лавки.

Покойник, выносимый из церкви, отправляется в последний путь под черно-желто-красным зонтиком. Толпа на площади уделяет мало внимания процессии смерти: слишком близко базар, дело живых!

Что же я скажу о харарском базаре, если даже вздумаю перечислять товары: индийские подносы, украшенные затейливым красно-голубым узором, связки бус, величиной с грецкий орех каждая бусина, тяжелые, как вериги, и яркие, как павлинье перо,— ими многократно обвивают шею, свободно выпуская на грудь. И бисер — оторочки, вставки, браслетки, очелья. Тонкие гнутые кольца, чтобы ворохами нанизывать на руку, как делают и наши модницы. Старые монеты, к которым приращено ушко и серебристая бахрома,— носи как медальон. И притирания. Опахала и бунчуки. Наконечники копий для суровых охотников. И круглые, как подножные коврики, меха длинношерстной, с грубым волосом, очевидно зябкой, обезьяны. Леопардовые шкуры.

Как рассказать мне о пестроте и сумятице голосов и красок, о мельничках или крупорушках, которые тут же перемалывают содержимое кульков терпеливо ожидающих женщин? О кузнецах-Вулканах, дробно постукивающих молоточками в темной глубине своих пахнущих землей и железом нор-мастерских?

Стоит мальчик. Некая чародейка (а может, всего только старшая сестра) священнодействует над его волосами, аккуратно, рядок за рядком смазывая их маслом. В самую гущу ныряют две пестрые, точно птицы, девушки-подружки, на голове у одной кувшин, на голове другой — бутылка, девушки щебечут и смеются, руки свободны, а бутылка не шелохнется, как приросшая.

Над этой гущей выдается голова гиганта. Череп наголо обрит, торчит лишь узкий густейший, мелко и пышно вьющийся пучок. Что-то сумрачно-монашеское в его недвижном лице аскета-фанатика или разбойника. Голова эта появляется то тут, то там. Гигант вспарывает толчею, как плуг краснозем. Чего ищет? Чем торгует? Что торгует?

В пыли, с криками и веселым щелканьем бичей гонят стадо горбатых зебу. Две девушки пытаются спастись в сторонке, закрывают лица — лишнее веселье молодым погонщикам.

Постойте, это те самые девушки, что мелькали в базарной толчее, яркие, как птицы. У одной в оперении преобладает желтое, у другой — белое. Поклажи больше нет. Ни кувшина, ни бутылки. Две «наши знакомые девушки» — так мы теперь думаем о них. У одной из наших спутниц киноаппарат, она спрашивает мимикой и улыбкой: можно? Желтенькая смеется и отрицательно помахивает пальцем: «нет», которое легко может означать «да». Белая только серьезно вскидывает глаза. Так начинается настоящее знакомство. Желтенькая пальцем-то помахала, но советский киноаппарат — ведь это очень интересно. Она берет его в руки, сама смотрит в глазок, передает подруге — посмотри, посмотри же! Та вежливо и благосклонно кидает взор, только кидает взор в глазок — и все; у них вовсе разные характеры!

Обе хорошенькие, кокетливые, с изысканной и хитрой прической, в носу золотая запонка-булавка. Они видят, что наши спутницы любуются ими, и желтенькой это тоже очень нравится. Вдруг — без единого слова — завязывается непостижимо оживленный, чисто женский разговор, из которого мужская половина человеческого рода начисто исключена. Разговор — без слов! — касается всего на свете. Одежды, роста, загара, цвета и мягкости волос (у них самих волосы удивительно мягки); искусно поправляется и даже удачно меняет место одна прядь у москвички. Это уже делает беленькая... «Так лучше? Правда? Вот видите!»

Женщины идут все вместе, мы остались сзади, мы насвистываем, мы всячески стремимся обратить на себя внимание, кто-то из нас готов в два прыжка вскочить на каменную груду городской стены или один на один встретить целое стадо зебу, чтобы доказать свою мужскую доблесть; тщетно! О чем там теперь говорят? О семьях, замужем или нет, и что было в кувшине и в бутылке, что любят, где и как живут. А где и как наши? Кто бы мог подумать, что можно столько сказать и поделиться всем на свете, не понимая ни словечка друг у друга!

Женщины так сошлись, что речь уже шла о приглашении домой. Да, да, в гости всей нашей компанией,

включая мужчин,— мы амнистированы. Мы в это время проходим мимо зарослей, плантаций, лесов кофе, на кофейных деревьях — зеленые грозди плодов; здесь ведь родина всемирно прославленного растения, это зреет кофе, едва ли не самый первый по качеству на земле. Девушки указывают на грозди. Это понятнее понятного: на чашку кофе к ним!

Я оглянулся назад. Сотни хищных птиц носились над старым городом. Низко и высоко. В отдалении их стаи казались слабым дымом. Ближе можно было следить за спиралями и восьмерками, за погоней и бегством, мгновенным взмыванием ввысь и стремительным падением с выходом из пике.

Это напоминало воздушный бой неисчислимых армад.

У себя «дома», в номере, я лег навзничь на кровать. Только небо было видно в распахнутое окно. Одно небо. Неправдоподобная, немыслимой густоты и вязкости синева заливала комнату.

Прилежно глядя, можно было разгадать потоки, прохладные, плотные, почти зернистые, движущиеся друг относительно друга, озаряя все этим сказочным синим светом, уходя, один над другим, в бесконечную глубь.

Вечер наступил стремительно. Тусклые полосы огней в саду подчеркивали черноту ночи за жестяной листвой. На смотровой площадке, устроенной на крыше, вдруг обнимало, охватывало со всех сторон небо в звездной пыли.

— Вон Кассиопея. И Орион. Пояс Ориона.

— Что-то непохоже. А Полярная где?

— Ни одного знакомого рисунка. Ничегошеньки.

— Но отчего не виден Южный Крест? Мы в нескольких градусах от экватора.

— Постоим, послушаем.

Оттуда, где сады и стояли невидимые деревья в лиловых без запаха цветах с белыми точками внутри, подымался слабый, тонкий, слитный звук, и отчего-то особенно поздним казался час глухой ночи, особенно глубоким сон земли, особенно медленным время.

Два световых столба пересчитали столбы балюстрады. Раздались голоса.

За нами!

Мы тесно набились в машину. Город пуст. Едем очень быстро. Поворот за поворотом. Справа потянулась темная масса: городская стена. Деревья, вдруг выбежав из тьмы, становились на дороге. Мелькнули тени. Кто это? Почудилось. Никого.

Машина поворачивает в пролом. Заросли остались за порогом. Точно замерши на бегу, деревья или кусты вскинулись на цыпочки и заглядывают внутрь, готовые опять ринуться, бросая вперед, на двор-пустырь, гигантские тени.

Видны остатки построек, какие-то развалины. К заборчику — каменному навалу — прислонена круглая хижина, жидкий свет сочится сквозь щели ее редкого, нищего плетения.

Вышел человек, невысокий, тощий, глаза и щеки его казались еще более впалыми, лицо маленьким из-за шапки волос над широким морщинистым лбом. Он был стар. В черной шапке волос и в усах — ни сединки.

«Летучую мышь» он поставил на низкую скамеечку и неожиданно мощным, гортанным голосом крикнул:

— Фур! Афур!

По развалинам метнулась тень. Громадная, больше дома.

На границе колеблющегося сумрака, в двух шагах от скамеечки, стояла гиена. Две пятнистые гиены. В двух шагах от нас.

Человек издал повелительный вопль:

— Карр!

Первая гиена осторожно выдвинулась вперед.

Из хижины вынесла полное блюдо розово-белых мослаков женщина, жена.

Человек коротким взмахом руки бросил мослак себе под ноги. Рывком его схватила гиена и исчезла во тьме. Но уже три, четыре, шесть теней выступили оттуда.

И он грозно и пронзительно называл их по именам:

— Менона!

— Зикирья́!

— Бурале́!

И названная послушно подходила и брала кость.

Окрик пригвождал к месту незваных, сунувшихся не в очередь.

— Фур! Афур!

Человек управлял чудовищным стадом призраков, возникавших из кофейных лесов, из зарослей за проломом, чтобы снова кануть во мрак.

— Карр!

Из мрака раздавался хруст костей.

Дочь принесла новое блюдо.

Теперь до десятка пятнистых гиен по-собачьи терпеливо ждали выкрика, пятясь во тьму, когда падало на них тусклое пятно света из растворявшейся двери хижины.

Сколько прошло их всех за эти невероятные часы? Не знаю. Полсотни. Тьма кишела ими. И одно за другим человек выкрикивал имена. Слушая мощный голос, исторгавшийся из тощего, еле прикрытого тела, глядя на шапку витых волос, мерцавшую при «летучей мыши», нельзя было отогнать мысль, что этому человеку наперечет известны все хищники, кроющиеся, бесшумно рыскающие по необозримой равнине, что называет он их не выдуманными, а их собственными именами.

Есть животные, вызывающие отвращение почти у каждого. Пауки. Многоножки. Гюрза с ее мордой курносой смерти. Стервятники. Гиены. Содрогание, не справляющееся с логикой: не очень-то иные из них страшны, не так уж опасны.

Но в часы, сместившие все привычные понятия, сидя на жестком мешке поверх камня рядом со скамейкой, где тускло светила «летучая мышь», я не находил и следа этого безотчетного чувства по отношению к выходцам из дебрей, осколкам ночи, рабски покорным человеку и не смеющим заглянуть ему в глаза.

Со звяканьем оружия вошел во двор патруль. Солдаты постояли, посмотрели. Ушли мерным шагом.

Кажется, никто из нас на обратном пути к машине не проронил ни слова. Удивительными показались городские улицы, освещенные трубками дневного света. Чему-нибудь одному из двух следовало оказаться сном — или улицам, или тому, чему мы только что были свидетелями.

Сквер и площадь перед аптекой перебежала, как дворняжка, пятнистая гиена.

Это существовало *вместе!*

Без особенных надежд я отправился днем на розыски ночного двора заклинаний. Разве возможен при сол-

нечном свете Повелитель зверей, дом, где он просто, по будничному живет?

Но вот он, двор, хижинка с просевшей крышей возле ограды — каменного навала; калитка вела отсюда, должно быть, в обыкновенные городские дворы. Повелитель вышел в чистой, верно, парадной куртке, на ней бряцали медали. Павиан гукал и цокотал под деревом, вдруг, оскорбленный невниманием, как клоун, становился на четвереньки, вскидывая на людей голый красный зад.

А мальчишки со всей улицы, с белыми смеющимися зубами на счастливых рожицах, обступили человека, знающего тайны леса и зверей, доверчиво прижались к нему.

Он стоял неподвижно, как-то смиренно понурив голову, прямо опустив руки, лицо его, без всякой мимики, в редком с рыжинкой ореоле-шапке и черных усах, выглядело сморщенным, очень старым.

1960

СКРИПКА

Сменилось многое в том краю, в который тогда забросила меня судьба.

Умер отец арабской революции Гамаль Абдель Насер.

Явились, в частности, и такие, кого некий британский капитан с выпирающим кадыком и журавлиными ногами взял за одну скобку: «кто придет *после*».

Почему же и посейчас я возвращаюсь мыслью к одному событию, происшедшему... да, уже не один десяток лет назад? Быстро летит время!

И хочется мне рассказать о развязке того события и о начале его.

Странно пришлось мне встретить новый 1960 год. За тридевять земель, в громадном чужом городе, «самом немыслимом на свете», как отозвался о нем один из моих попутчиков, у реки, тоже громадной, мутноватой, разбившейся на два рукава.

Всем нам взгрустнулось, неотступно шло в голову: «А как там дома? что в Москве?» Невольно пытаешься представить, что делают близкие тебе люди, следить в

воображении за каждым шагом их в этот знаменательный вечер.

Было еще рано, я вышел пройтись. На улице Сулейман-паши, в центре Каира, была толчея, мчался невероятный, нескончаемый поток машин, некоторые разубраны лентами. С освещенных разноцветными огнями афиш кинотеатра глядит большое, широкое, мужественное лицо и ребенок, мальчик, не сводящий радостно-робких глаз с этого полного суровой нежности лица. «Судьба человека» — читаю я название фильма. Да, шолоховская «Судьба человека»!

Рестораны сегодня переполнены. Оттуда вырываются волны, вихри музыки. Вдруг выплеснулась Венгерская рапсодия Листа. Это было так неожиданно посреди легкодумной россыпи звуков, которые слышишь и не слышишь, что я остановился. Широко распахнута дверь в небольшое кафе по ту сторону неистового потока машин. Но тщетно моргает запретительный глазок светофора. Переход улицы — это упражнение в эквилибристике.

Окна в домах открыты. На подоконниках цветущие тюльпаны. Время от времени моросит, как ранней ненастной осенью в Москве. Фараоны, конечно, мерзли в своих дворцах...

Вот в этот вечер — когда вырвалась на улицу и погасла Венгерская рапсодия — я и встретил пару, которая показалась мне необычной.

И диковинное дело, пара эта и Венгерская рапсодия вместе с особенной силой напомнили мне недавно услышанный рассказ.

За столиком, возле распахнутой двери кафе, сидели мужчина и женщина. Почему в новогодний вечер оказались они тут и молча сидели друг против друга у пустого столика? Конечно, времени до двенадцати оставалось еще сколько угодно, они вполне могли успеть к себе домой...

Во всяком случае, то были свои люди, давным-давно знакомые. Муж и жена? Англичане, она явно из «очень хорошей семьи», стареющая, с кожей, чуть (но уже приметно) обвисшей под глазами, и с улыбкой ангела, каких я ни у кого не видал, кроме очень молодых девушек из очень хороших английских семей. Улыбка эта трепетала на ее лице, то робко на несколько мгновений как бы вспархивая прочь, то снова начиная трепетать.

А у него вытянутое, худое, решительное лицо с длинным костяным выступом подбородка.

Отрывистая фраза — единственное, что произнесено за столиком. Он встал резким движением. Высокий, юношески худощавый, с выпуклой грудью, немного узкоплечий; штатский костюм сидел на нем как военный мундир. И вышел, шагая прямыми, длинными ногами.

Она осталась одна со своей улыбкой. Потом подняла голову, заказала кофе — его тут же принесли. Над чашечкой витала слабеющая струйка пара. Женщина не прикоснулась к кофе; когда она перестала улыбаться, вырезались мелкие морщинки. Сидела неподвижно, почти в мужской позе, заложив точеную ногу на ногу.

Он вернулся. Засияв, помолодев, она глянула на выпирающий кадык, на длинное, до наглости, до красивости уверенное в себе лицо. И тотчас потянулась за кофе. Он положил руку на ее кисть.

— Только кофе? — спросил он, открыто торжествуя.— Виски «Странник Джонни»! — крикнул он официанту.

Что ж, так всегда она и ждет, стоит ему отлучиться, ждет, цепенея, вернется ли он?!

И в течение этой сцены я все яснее и яснее вспоминал то, что услышал от случайного встречного, молодого англичанина. Мы обменялись какими-то незначащими словами в музее, у комнаты мумий. Молодой человек свободно говорил по-французски и по-немецки. Очень интересовался, даже с восторженностью, искусством, египетскими древностями и, что менее часто у подобных ему туристов, здешней новью, тем Египтом, Египтом Насера, что смело начинал тогда, при поддержке всего народа, жизнь, никогда прежде неведомую на нильских берегах.

В аэропорту мы улыбнулись друг другу как знакомые. Оказалось, ждем одного и того же самолета. А когда под крылом легла пустыня, он закончил свой рассказ.

Но мне легче сейчас передать его не словами рассказчика, а так, как в ту каирскую ночь я отчетливо вообразил себе.

Заныла скрипка. Четыре человека в военной форме отнеслись к этому по-разному. Молоденький, совсем мальчик, старался представить себе, в чьих она руках,

кто старательно пробуждал в ней смычком эти звуки. Почему это так его заинтересовало? Он незаметно бросал внимательно-любопытные взоры между цепких зеленых плетей, увивавших террасу; звуки раздавались совсем недалеко.

— Как будто дышишь сыпучим песком,— сказал капитан.— Я думал, что в такой сезон... И ни дуновения! Эти плети шевелятся сами собой. Во имя дьявола.

— Восходящие токи воздуха от нагретой почвы,— рассудительно объяснил третий офицер, старше всех.

— Сассапариль. Плети сассапарили. Я однажды раскровенил руку об ее шипы.

— Сарсапарилла — название испанское. Ваша рука пострадала где-нибудь в Гвиане. Египет неповинен,— сказал четвертый, доктор.

— Когда служишь империи по всему миру...— Капитан пожал узкими плечами.— Но тут... Хороша почва! Камни, искрошенные в песок и ржавую щебенку.

— Вы новичок. У процесса акклиматизации свои издержки.

— Я нигде не новичок. Мне не разрешалось этой роскоши, я полагаю, вы понимаете. Но я скажу — знаменитая здешняя пустыня... Вам не приходит в голову, что она смахивает на подстерегающего мохнатого паука?

Он вовсе не слушал скрипки.

— Нервы. Пока что *это вы* себе разрешаете,— заметил старший.

— Когда я дома. Я сейчас дома. *Так* я разрешаю себе думать.

— Нервы и нервы. Думайте о завтрашнем утре,— сказал старший.

Однако и он невзначай поглядел туда, где словно дымный провал разверзался в небе, над горизонтом. Пустынные зори прозрачны. Но сейчас там, казалось, сгустилось дыхание всего долгого накаленного дня. И в красной мгле, преображенные, увеличенные, точно под исполинской лупой, синели утесы — мускулы обнаженной земли.

Солнце висело над ними. То был край пустыни. Штабные картографы знали наизусть ее тропы, оазисы с кучками мазанок, постоянные и временно действующие колодцы с засыпанной прахом и пометом солоноватой жижей, сухие долины — вади.

А теперь то был край Неведомого.

— Впрочем...— поправился старший.— Что думают о завтрашнем утре хозяева вот этого...

— ... великолепного дворца...

— ...где мы имеем честь находиться?

«Великолепный дворец», на террасе которого сидели офицеры, был обыкновенным домом, двухэтажным, беленым. Его построили без всяких нынешних затей, верно, еще в прошлом столетии — на нем лежал наивный и провинциальный отпечаток патриархальных времен колониализма. Совсем небогатая усадьба предместья. Хозяева выехали. Окрестные дома европейцев тоже почти все стояли пустые. В нескольких из них расквартировалась воинская часть, поместился штаб.

Капитан переспросил:

— Хозяева «дворца»? Они убеждены, что вернутся сюда через неделю. Много — через две. Небольшая прогулка. Вот как они думают.

— А вы? — спросил старший.

— Я?.. Как я думаю? Я стараюсь понять, во имя какого дьявола не уехали, остались жить *вон там.*

И капитан костяным выступом подбородка указал туда, откуда доносились звуки. Так он впервые обнаружил, что слышит скрипку. Расположился он в самом деле слишком по-домашнему, во всей повадке нарочито нараспашку. Ворот расстегнут, виднелась гладкая кожа безволосой груди, матово-белой в последнем озарении заката.

— Очень просто,— отозвался доктор из своего плетеного кресла у перил.— Все связано *вон там* с Суэцким каналом. Египтяне прихлопнули это.— Он сделал жест, будто поймал муху.— Другого нет — куда же отступать? Превосходный колониальный тип носителя культуры! Наша гордость. Английский дог. Он не отойдет от места, где нарушили его интересы — отняли кость. Биологический закон. Совершенно справедливые интересы, нет сомнения.

— И он уповает на победоносное оружие, которое благословили боги справедливости. Очень просто,— подхватил старший.— Было бы бесчеловечно завтра обмануть такое доверие.

— На что уповает его дочь? — буркнул капитан.

Голые расплющенные ящерицы-гекко прошуршали по стене. Мышиный шорох и слабый писк. Точно попискивало сухое дерево террасы. И ныла скрипка — жалобные, низкие, высокие, настойчиво плясовые звуки.

— Венгерская рапсодия,— восторженно угадал молоденький, почти мальчик.

— Ученическая игра. Слишком старается,— заметил старший.

— Я не люблю этого.— Капитан сердито засопел.— Я не выношу двух вещей — воя собаки и воя скрипки.

Молоденький закурил и принял независимую позу.

— А дочь... Верхом она скачет отлично. Я в этом смыслю. Прискакала домой с час назад.

— Смыслите? Вы кто такой: сын судьи, кажется? И этот... кузен вместе с ней?

— Нет. Я не видел. Я вообще не видел его. Откуда он взялся?

— Из Александрии. Из Каира. Из Гонолулу. Отовсюду сразу! Оксфордский выкормыш.

Молоденький почувствовал, как заполыхали его щеки,— уж не принял ли он на свой счет последние слова? Но капитан, по правде, не обращал на него никакого внимания. Капитан оперся локтями о стол и говорил вовсе не ему:

— Все равно. Жеребчик из своего стойла. Фуги и сонаты... для нее. Сомневаюсь, чтоб он когда-нибудь гарцевал на коне. Суть в том, что он приехал помочь пристроить миллионы папаши. Пристроить их себе, оставивши тем самым в семье: он *уже* кузен, завтра, если помогут фуги, то и супруг ее.

— Миллионы! — усмехнулся старший.— Сегодня они больше... прекрасные упования. И бросьте думать об этом.

— Плевать мне на миллионы! — крикнул капитан.— И на сокровища Голконды! И на подвалы Английского банка!

— Сколько ей лет? — спросил молоденький, пересиливая предательскую краску.— Мне кажется... Что, разве она не была уже замужем?

Старший не дал капитану ответить.

— Бросьте думать об этом,— повторил он, обращаясь опять к нему.— Не вышло. Поняли? О ней бросьте думать. Промахи так же необходимы, как попадания. Это великая истина. Она облегчает жизнь. Усвойте ее.

— И на великую истину плевать, чересчур мудрый непрошеный советчик.

— Все скоро кончится,— примирительно вступился молоденький.— У полковника на крышке портсигара портрет генерала Гордона.— Он попытался улыбнуться.—

А может, и вовсе не начнется, вы не допускаете такой мысли? Я даже надеюсь, что...

— Вы надеетесь? Хотите смыслить и в этом... вы, судьёныш? Портрет выбран плохо. Гордон сломал хребет тайпинам — «небесному царству» рикш и кули. Это он сделал в Китае. В Судане, в Дарфуре он прошелся по трупам — трупов он не сторонился. И тогда он счел, что слава и страх расчистят перед ним, строителем империи, любую дорогу: несколько топорный ход мысли — надо бы гибче, тоньше, грубый просчет, он стоил Хартума и головы. Я предпочел бы табачницу с Томми Лоуренсом. Вездесущим, неуловимым, ближе к нашим дням. Свободным от сантиментов в своей второй, главной, тайной жизни.

— Но ведь то, что тогда поднял в Судане Махди, мессия... Это смешно даже сравнивать с нынешним.

— Вы так уверены, Джоржи? — ласково спросил старший.

— Почти семьдесят два года прошло со дня падения Хартума. Восстание началось семьдесят пять лет назад, когда Мухаммед-Ахмед провозгласил себя Махди, Спасителем. Его отец, нищий плотник, строгал рыбачьи лодки. Я просто хочу сопоставить факты,— задумчиво ответил юноша.— Ведь если сравнить...

— Сосчитайте лучше, сколько утекло воды с тех пор, как праотец Ной отплыл на своем ковчеге. В арифметике вы смыслите больше, чем в политике,— грубо перебил капитан.

— Ну что вы! Я же не претендую... семьдесят лет! Срок, за который... Я понимаю: мир в то время и мир теперь! Совсем другой мир! И все же убежден: скоро кончится.— И, запнувшись, юноша неожиданно прибавил чуть внятно:— Но как?

Капитан презрительно передернул плечами.

— Сведите концы с концами, прежде чем подавать голос! — Вдруг он взвился. Очевидно, концы с концами не сходились и у него. Он сильно выпил.— Другой мир?! Гордон, отдаю справедливость, не торговался. Он все оплатил вперед настоящей платой: смертью. На этот раз аванс за мной.

— Что?! — Шезлонг под мощной фигурой старшего офицера так пронзительно и жалобно заскрипел, что сам он рисковал очутиться на плитчатом полу.— Вздор. Ничего вам не будет. Вы сами знаете.

— За мной. Лично я,— упрямо продолжал капитан, смотря ему в глаза,— я внесу плату. За все. И без сожаления. Я говорю так первый раз в жизни. За голых мышей, ползающих по стенам. За этот чужой мир. За суэцких скакунов папаши дога. За империю.

— Вы неистребимы. Вы лучше всех это знаете. Я солдат. Если надо, умрет каждый. Я и Джоржи. Бросьте, я сказал. Бросьте думать. Не вышло. Слышите?

Тогда капитан сказал с холодным бешенством:

— Так это вы сомневаетесь в исходе игры?

Ответа он не дождался и хохотнул.

— Изумительнейший со дней Рима опыт взнуздывания народов! Континенты, впряженные в одно дышло. «Правь, Британия!» — с молоком матери. И — подумать только! — спектакль однодневного своеволия горлопанов в долгополых галабеях, вкусивших «свободы»... Как ваша хирургия, доктор? Как инструменты, а? Готовы к завтрашнему?

— Ответьте ему, доктор, что не стоит самое серьезное на свете сводить к игре. Чемпион игры проигрывает. Он проигрывает непременно. В каждой игре он проигрывает тем верней, чем он опытней. Чем дольше он чемпион — ответьте ему, доктор!

Доктор завозился на своем кресле, голубоватое облачко табачного дыма колыхнулось над ним.

— Кто такой Насер? — спросил он.— Гамаль Абдель Насер?

— Не знаете? — Капитан резко повернулся к нему.— В первый раз слышите? Или упражняетесь в риторике?

— Знаю. Все знаю. Оттого и спрашиваю.

— Поздненько заинтересовались красавцем! Штука в том, что не тот бульдог *вон там*, как вы его расписали, типичный англичанин наших дней, а вы. Именно вы, доктор. И за это мы все расплачиваемся. Кто такой Насер! Следовало задать вопрос не теперь, а шесть лет назад. Восемь лет! Десять! Когда он только готовился в заговорщики, со своими «свободными офицерами». Проглядели! Прохлопали! А сейчас поздно. Вы понимаете, что такое поздно? И не на королька же этого, жалкого Фарука было полагаться! Мы в ответе! Вернее, сходные с вами, доктор. С вашей психологией. Хоть поставлены были на службу, где всяческие психологии положено отправлять в тартарары. *Там, где нельзя перекупить, надо обезвредить.* Ясно. Или угодно еще яснее? Дважды два.

Перчатки с Бондстрита боялись испачкать. А проще — дух вышел, вон как если проткнуть резиновый шар. С Томми Лоуренсом, будь он жив, никогда бы не случилось ничего подобного! И вот итог... Скажете, Насер не вечен? Англия умеет ждать, кто придет *после*? К черту! Усвойте себе: к черту! По крайней мере, мое время истекло.— Он опять хохотнул.— Да, мое!

Никто не отозвался. Словно этот одинокий сгусток ярости погрузил каждого в собственные мысли. Острым холодом погреба пахнул белый, как пролитое молоко, туман. Воздух по-прежнему оставался горячим; холод не смешивался с жаром. Доктор высморкался и плотнее запахнулся. Капитан наклонился к его креслу.

— Выпейте, а? — Он хлопнул в ладоши.— Чего вам налить?

— Я не пью.

— Только кофе? — с издевкой осведомился капитан.— В этом воздухе человек может прожить без жидкости всего девятнадцать часов. Самый тренированный. Кровь обезвоживается и густеет. Раны не кровоточат. Человек заживо ссыхается в мумию. Верно, доктор? По вашей части?

— Чепуха,— сказал доктор.— Я не пью. Ровно ничего. Совершенно ничего. Дурная беллетристика. Абсолютно ничего.

Его пенсне, тускло отсвечивая, скрывало черные, небольшие, живые глаза.

— День погас,— произнес он, точно подвел черту, и встал.

Кровяная даль угасла. У дороги чернел одинокий столб, гранитный обелиск. На востоке реяла ночь. Там блеснуло несколько звезд. Они сильно переливались, будто свет их дробили тяжелые слои воздуха. И в пустыню неба подымался голос скрипки — долгий жалобный вой бездомной голодной собаки.

Капитан был пьян.

— Я не могу вынести двух вещей,— сказал он еще раз, ни к кому не обращаясь,— воя собаки и воя скрипки.

— Он так и остался жив? — задал я ненужный вопрос рассказчику.

— Цел и невредим! Он черт знает что позволял себе, когда считал, что он «дома». Сматывал себя «с колков» — его выражение. Тут и цинизм, и вызов, и, я ду-

маю, еще и желание оскорбить. Впрочем, он и в самом деле страдал. Уж не скажу, впервые ли в жизни...

— Та самая... дочь. Что же, она была хороша?

Показалось ли мне, что сквозь смуглый загар кровь прилила к его щекам?

— И кончилось... ничем? — поспешно спросил я, чтобы сгладить неловкость.

— Чем кончилась «игра» в Египте тогда, в 1956 году, осведомлен весь мир. Я все-таки был порядочно наивен в те недели. Чего вы хотите? Мальчик, прямо из Оксфорда. И традиции семьи. Но что-то уже начинал — не думать — подозревать. Это было... да ведь, в сущности, только вчера. А с тех пор для меня минули десятилетия. Сколько вы мне дадите лет?

Застигнутый врасплох, я ответил что-то приличное обстоятельствам.

— Там навсегда кончилась зеленая юность, не одна моя — многих,— сказал он.

И замолк. Я счел неуместным задавать ему вопросы. Почему и как он после Оксфорда надел мундир, а потом снял? Я попытался и не сумел представить его в военном. Но живо и наглядно встал передо мной изображенный им один из эпизодов эпилога. Сумерки «старой Англии». Крушение Империи незакатного солнца. Крах «изумительнейшего со дней Рима опыта взнуздывания народов»...

Должно быть, воцарившееся безмолвие тяготило молодого англичанина. Он заговорил снова:

— А к чему пришла личная игра капитана... Свидетелем я не был. Могу только предполагать. О, добиваться он умел! И подчинять себе — еще как! «Особые задания, которые...» Служба «по всему миру». И портрет кумира всех разведчиков и шпионов, покойного полковника Лоуренса — если не на его табачнице, то в воображении. Я меньше всего удивился бы, узнав, что теперь он и сам полковник.— Молодой человек замялся — всего на несколько мгновений.— Так вот насчет заинтересовавшей его наездницы... Как она третировала его тогда! С каким великолепным аристократическим пренебрежением. Чуть явился кузен. Едва ли не брезгливо. Нет, не то слово. Да и вообще, вижу теперь, все это было... Кузен сам догадывался, что он выводит смычком слишком сложные фуги. И тем больше он их выводил. А миллионы... Если и существовали,— в чем сомневаюсь, это сильно раздуто,—

так обратились в щепотку пепла... вместе с «большой игрой». Но вот тут-то я ему верю: денег он не искал. В отличие от кузена.

— Он женился на ней? — решил спросить я.

— Ну это...

И мой собеседник повел рукой, отвернулся к иллюминатору. Разговор угас.

Отчего мне кажется, что именно я знаю конец этой истории?

1960

ВОЛЧОНОК

Мы шли Кильским каналом.

Рядом с капитаном сидит пожилой, в потертой одежде немец-лоцман, взобравшийся к нам по веревочной лестнице; в зубах его потухшая трубка. Он перегоняет ее языком к углу рта, чтобы коротко сказать командную фразу в отверстие переговорной трубы. В знак всего этого развевается лоцманский флаг.

Вверху, над головой, почти задевая мачты нашего корабля, в полной, неправдоподобной тишине перекатываются через канал по подвесной дороге толстобрюхие вагонетки — это похоже на странную, суетливо-муравьиную жизнь самодвижущихся кулей.

И опять дивная свежесть лугов.

Где-нибудь на пригорке дом, непременно гастхауз — гостиница для любителей живописных видов; из них хозяин особенно выделяет, рекомендуя гостям, вид на отдаленное грузное строение — «замок», Schloss.

Пристань.

Около дверей одного из аккуратных домиков висит газета. Читаю заголовок поверх всей полосы громадными буквами: «Сестры сознаются в убийстве матери».

Ровным шагом гуляет с женой и девочкой человек средних лет. Он суховат, невысок, его необыкновенно прямая осанка со слегка выставленной грудью не изменяется ни на градус — при движении он сохраняет строгую параллельность самому себе, и коричневый костюм не надет — хранится на его плечах, точно на вешалке в магазине.

Он движется по дебаркадеру, заходит на короткий отросток пристани и тем же ровным шагом, не теряя скорости на поворотах, удаляется описывать гиперболическую кривую вокруг портовых сооружений с выходом на аллейку молодых подстриженных лип.

Я полагаю, это чиновник, «беамте», а прогулка — послеобеденный моцион, поскольку спать после обеда людям за сорок вредно и способствует ожирению. Прогулка же предпринята в интереснейшей и красивейшей части городка или местечка — в сущности, тут мировой порт, видишь все флаги.

Но «с него довольно сего сознанья», он не смотрит решительно ни на что, фрау, очень миловидная, держится рядом с ним, а девочка частенько семенит — шаг отца скор.

Однако тут много других людей, ведущих себя совершенно иначе. У нашего корабля толпа. Уже знакомый обмен репликами, сигаретами, шутками: «Это не вы привезли холод? Как в Москве?» — «В Москве жара».— «О! Значит, *холод* идет с другой части света!» И несколько человек смеются; реплика понята — в стоящей внизу толпе ее не оспаривает никто.

Полицейские в зеленых плащах держатся поодаль.

— Русь!

Выкрикнувшего это услышали не сразу, и он повторяет:

— Русь!

Тонкий, высокий, очень интеллигентный. Ловит мой взгляд. И вдруг машет рукой, кидая два слова:

— Война — глупость!

Именно эти два слова!

Но русские слова — откуда?

Он что-то говорит окружающим, перед ним расступаются, пропускают ближе, и он объясняет нам, наверх: он знает Россию, жил (так он говорит) там в плену. Урал знает,— уральцев тут нет? Репатриирован на родину.

Я всматриваюсь в его лицо, в улыбку, отвечающую улыбке кого-нибудь из наших, всматриваюсь придирчиво и не нахожу ни тени неприязни к землякам тех, кто взял его в плен. Наоборот, даже как бы желание повстречать знакомцев, поговорить на служившем ему «там» их языке: иначе ведь — чего проще! — не пришел бы, рта бы не раскрыл.

Высокий, стройный, с близорукими голубыми глаза-

ми за стеклами очков, с некоторой щеголеватостью в одежде, намечается лысинка, хотя он молод,— «господин учитель» или химик заводской лаборатории.

Я представляю себе: он был мальчишкой, собирался в университет, скажем все-таки — изучать классическую филологию. Возможно, бред величия «избранной расы» отравил на некоторое время и его мозг. Вой пикирующих бомбардировщиков над Варшавой, высадка в Осло, Дюнкерк, «реванш» в Компьенском лесу распаляли воображение. Он привыкал видеть в себе волчонка, которому предстоит загрызать врагов тысячелетнего рейха,— язык гитлеровцев был полон зоологических образов тотемов и символов смерти.

Марш на Москву начался без него.

Его взяли в конце 1942 года, когда ползли глухие и грозные слухи о сталинградском котле.

Войну он увидел как отступление.

Выжил в бойне на Курской дуге, где в несколько дней были перемолоты три танковые армии.

Приезжавший из Берлина офицер в форме СС говорил солдатам: «Радуйтесь войне, потому что мир будет страшным»; он пояснил, что это слова доктора Геббельса. «Победа или Сибирь!» — крикнул офицер.

Исполинская опухоль войны заполнила теперь в сознании юноши весь мир; ничего не осталось, кроме нее.

Он пробуждался точно толчком; что-то в нем еще сквозь сон слушало и, затаившись, старалось понять и проследить, как ложатся бомбы налетевших русских самолетов, и когда взрывы, треск зениток и грохот счетверенных пулеметов удалялись, тошный комок отваливался от горла, и он пробуждался.

Вокруг их части сжимались невидимые клещи; отступление сменялось бегством. Вспыхивал панический страх перед сжигающим огнем «катюш».

Поздней осенью тело солдата покрылось паразитами. Вскоре он перестал замечать их.

Он вырос в доме, где опрятность и чистота доходили до педантизма.

После Курской битвы он часто вскрикивал по ночам; друг и как бы старший брат, солдат Фриц Штюкке будил его. Он долго лежал, моргая близорукими голубыми глазами в рыжеватых ресницах; он был совсем мальчиком.

Потом ночные крики прекратились. Он привык: это была жизнь, доставшаяся ему. Раны памяти рубцуются,

как и телесные. Ведь он был мальчик, жизненные силы его, по извечному закону, еще росли.

Он шутил, смеялся, играл на губной гармонике. Конечно, он родился в рубашке. Война бережно держала его в кровавых ладонях, не причинив ни царапины. Фриц Штюкке погиб под Оршей.

Когда он оставался один во тьме, подлый ночной страх, страх перед тьмой, перед именем ее — «партизаны»,— струйкой просачивался в сердце, и он крепче сжимал рукой ложе висящего на груди автомата, мучительно вслушиваясь в шаги другого часового там, на мосту, и зная, что тот так же слушает его шаги и так же сжимает автомат.

Но был он храбрым, исполнительным, обстрелянным солдатом; его ставили в пример; он услышал о себе: «истинно немецкий дух». Для него же то был долг, Pflicht; даже до порога сознания не допустил бы он мысли о возможности изменить дисциплине.

Бои шли непрерывно. Часть пробивалась на запад. Ненависть жителей расстрелянных деревень провожала ее. Оглянувшись, солдаты видели взметнувшийся к небу султан дыма — работа «команды поджигателей», шакалов: сзади должна расстилаться выжженная земля.

Горело и впереди; они метались в котле — в удушливой гари и трупном смраде.

А он так и не узнал, выбились ли его товарищи из окружения. «Тот» или «то», что берегло его, очевидно, изнемогло под непосильным бременем.

Разрыв с мгновенным багровым блеском, беззвучный, ощущение как бы урагана или вихря с тупым ударом сразу по всему телу слились для него воедино.

Он очнулся, как ему показалось, тотчас. Он лежал навзничь, голова повернута несколько вбок. В мире продолжалось совершенное беззвучие. Перед лицом его качался пушистый шарик клевера. Опустилась пчела... или шмель? С внезапно вспыхнувшим напряженным вниманием разглядывал он металлический отлив волосков синеватого брюшка на расстоянии пальца от своих глаз, приминаемые перебирающими членистыми лапками пушинки клевера, быстро выпускаемый в каких-то хлопотливых поисках хоботок. Нашел... Нет, опять... Нашел! Ну, найди же! Пусть он найдет!

Он, несомненно, знал, что это очень важно, найдет или не найдет, и мучительно следил — будто это касалось

его самого — за удачами и невзгодами копошащейся пчелы.

Так длилось всего несколько секунд — что он точно стал участником дела и заботы насекомого.

Вдруг он спохватился. Его пронизала жуть. Один! Так бывает во сне. Или в детских сказках. Секунду назад перекликался, аукался с другими — и вдруг нет ответа на голос, заблудился в лесу. Но как, куда могло схлынуть, исчезнуть все? Все заполнявшее вселенную. Даже грохот, звуки. Беззвучие мира. В расщелине коры застывала капелька позднего сока, темноватая вершинка капельки преломляет солнце, как хрусталик,— там светлеет влипшее крылышко.

Значит, так еще может быть, еще *возможно?* Дела и заботы этого мира, его счастье и беды! Он физически ощутил коснувшуюся лица тень — не от самолета, от неторопливой птицы. И с усилием перевел глаза выше.

Светло-голубыми облаками оторочена сахарная громада. Их летучий ряд сплелся, соединился, чтобы выполнить вот это: поднять ее, как махровый снежный цветок, в вязкую мутно-голубую высь. И там прекращались меры, масштабы. Несказанный цветок в безмерной выси. Вселенная. Как же он думал, что она...

Мысли его неслись скачками. И все хотели вернуться к чему-то, что он боялся потерять, что надо было вытянуть, как ниточку. Мальчик в лесу. Детские сказки. Детс... Вот они, слова из глубин: «Menschlichkeit, schöne gefühlvolle Seelen» [1] — они стояли в книгах, тех первых его книгах, их читала ему мать, потом читал он сам, а затем он смеялся над ними и забыл их.

Чего у него не было теперь — это чувства юмора. Ни намека на юмор. Все существовало в прямом, буквальном, абсолютном значении. Мальчик и облака, более голубые, чем небо. Он вслушивался в найденные слова.

— Какое безумие, какое преступление, какая *глупость*! — закричал он (или хотел закричать? — он ничего не услышал).

Насекомое, впервые признав факт его бытия, взвилось. «Свобода! — подумал он без ясной связи и логики, но следя за этой новой мыслью с таким напряжением, будто в ней и заключался ответ.— Вот она. Войти через распахну-

---

[1] «Человечность, прекрасные чувствительные души» *(нем.)*.

тую калитку. *Остаться.* Раз это, все это есть, существует, не уничтожено и *не может быть уничтожено».*

Из глаз его хлынули слезы. «Die süssen Tränen» [1],— успел он назвать и их словами из тех же детских книг, стихов, когда-то написанных классиками.

Он сидел. Неимоверным напряжением заставил себя приподняться. На окрик не ответил. Грубая рука тряхнула его.

— Мокрый,— сказал боец Второго Белорусского фронта, вытирая руку.— В соплях, что ли?

— Вояка! Сосунками воюют,— сказал второй. Проходили танки с открытыми башнями.

— Раненый? — спросил первый второго.

— Да нет, контужен.

— Он не слышит.

— Пройдет. Эх ты! И варшавский салют услышишь и берлинский. *Ферштейст*? Берлинский!..

Я не знаю, кто он сейчас, этот пришедший нас встречать на одну из пристаней Кильского канала. Отыскал ли он дорогу к той подлинной, могучей силе и совести народной, которая одна даст миллионам настоящую свободу? Или остался «прекраснодушным» интеллигентом? Но кто бы он ни был, я знаю, что он и многие другие, которые стояли рядом с ним,— я видел их — друзья нам в борьбе с чудовищем войны.

На кирпичном столбе орел. Густо дымит завод газовый, коксохимический. Лоцман поковылял в портовое здание, сутулый, немолодой, потертый человек с обветренными щеками и белесыми, выгоревшими волосами, под мышкой портфель.

Я не сразу обратил внимание на юношу, стоящего отдельно от других, позади толпы. Когда он подошел и стал, я не видел. Мне вдруг бросились в глаза руки, сунутые в карманы, неподвижность будто окаменевшего очень красивого лица. Он рассматривал наш корабль в упор. Последняя остановка у шлюза продолжительна — он простоял ее почти всю, руки в карманы, не дрогнув даже бровью, не переступив с ноги на ногу. Словно желая за-

[1] «Сладостные слезы» *(нем.).*

помнить, втиснуть в свой мозг то, что видел... Для чего? Невозможно было обмануться в значении этого водянисто-светлого, ненавидящего взгляда исподлобья.

Так же, не вынимая рук из карманов, он круто повернулся и, ни с кем не обменявшись ни словом, ни кивком головы,— как и пришел,— чуждый десяткам сгрудившихся на пристани, около нашего корабля людей, зашагал прочь.

Что роилось в его голове, о чем, о каком новом преступном безумии, возможно, мечтает этот волчонок, этот юнец, *ничего не видевший*?

...В день моего приезда в Берлин мне надо было побывать на Александерплац. Лучший способ почувствовать город — это отправиться по нему пешком.

Но улицы то и дело раздваивались. Я заколебался и, выбрав наиболее солидного, пожилого прохожего, обратился к нему.

— Алекс? — сказал он.— Я как раз оттуда иду: я там работаю. Но,— он покачал головой,— вам придется очень много спрашивать.— Еще раз посмотрел на меня, добродушно улыбнулся и принял решение: — Я немножко провожу вас.

— Но вы же идете домой с работы!

— Это ничего. Я немножко провожу.

Говорить нашлось о чем. Меня все интересовало о Берлине; он же, узнавши, что я из Москвы, расспрашивал о нашей русской, советской жизни. Это был старый человек. Работал он много лет на «Алексе» в универмаге.

Мы проходили мимо руин. В Берлине, столице ГДР, уже тогда строилось очень много, были выстроены кварталы, великолепные магистрали, каких не знал и старый, целый, Берлин. Но к тому времени, когда я там побывал впервые, еще не удалось затянуть все зияющие раны, оставшиеся от последнего, страшного боя с уже обреченной, уже издыхающей в своем логове фашистской гадиной, стремившейся (это не назовешь иначе) обречь на уничтожение в бессмысленной ярости вместе с собой столицу.

— В первое лето от этих развалин шло зловоние,— сказал мой спутник.— Кто знает точное число жертв? Кто знает, сколько еще костей, может быть, лежит там? И как вспомнишь... как вспомнишь...

Он не мог закончить фразы, даже воспоминание заставляло его содрогаться.

— От нас всех,— сказал я,— зависит, чтобы никогда больше это не повторилось.

— Um Gottes willen — niemals! [1]

Мне не забыть ни слов этих, ни голоса, каким он не сказал — крикнул их.

Кто он, тот юнец, *ничего не видевший* волчонок на выходе из Кильского канала? В Федеративной Республике был он не одинок...

Я бы хотел, чтобы он прочел это.

1957

ПТИЦЫ

В салоне теплохода несколько пар склонились над шахматами. Девушка с юношей (в дальнем углу — им не нужны зрители), член-корреспондент с профессором сельскохозяйственного института, две пожилые дамы. Ученые поочередно погружались в размышления,— скульптор не мог бы пожелать в эти минуты лучшей модели для изваяния Мысли. Затем с изысканной вежливостью большая мягкая рука переносила фигуру на поле, где ее — увы! — неотвратимо, но совершенно неожиданно для играющего настигал гибельный рок.

Пожилые дамы за соседним столиком щегольски пристукивали конями и слонами, сопровождая это тем набором словечек и прибауток, по которому разрядные шахматисты всей страны, даже вовсе не склонные к острословию в обыденной жизни, безошибочно узнают друг друга.

А рядом — мой знакомец инженер. Он оказался весьма редким типом идеального зрителя. Он не стремился превзойти партнеров в их «звоне», не выхватывал фигур, чтобы показать упущенные комбинации, не сообщал вслух окружающим или, по крайности, потолку мнения о дальнейшем течении партии, подчеркивая попутно неспособность обоих играющих правильно руководить своими деревянными ратями,— словом, не делал ничего того, что испокон веков отличает шахматных зрителей от всех других зрителей вселенной.

---

[1] Ради самого бога — никогда *(нем.)*.

Нет, в совершенном молчании инженер следил за прихотливыми событиями на доске, не изменив сосредоточенного выражения и тогда, когда одна из дам, вымолвив: «Как жаль, я не в форме», уступила место черноволосому коренастому молодому человеку.

Тот сел и, не раскрыв рта, только устремил на партнершу влажные и сумрачные глаза, в которых темная радужная оболочка сливалась со зрачком. У него было одно из тех лиц, немного угловатых, с чуть выдающимися скулами и неправильными чертами, на какие мужчины никогда не догадываются поглядеть пристальнее, хотя женщины часто находят именно такие лица красивыми.

Оперев голову на левую руку, правой он делал свой ход вкрадчивым, скользящим движением, одновременно роняя несколько слов тихим, высоким голосом. Он вел себя как человек, абсолютно уверенный, что неудача, проигрыш для него исключены. И партнерша настолько поверила ему, что когда он раз за разом обрушил две жертвы на прикрытие короля, она изумилась, что не все еще потеряно и кончено, что вот видит она спасение.

А он удивительно владел собой, лишь точечно-красноватые пятна выступали на смуглых щеках.

— Мне следовало двинуть на клетку дальше,— грубовато сказал он.

Она кивнула головой.

Мне не раз приходилось наблюдать, как выводит из равновесия самых почтенных и выдержанных людей такая в конце концов иллюзорная незадача.

Бесстрастное лицо (что и подобает пустяку, игре, забаве), но боги и святители, что с этими ушами, предательски кумачовыми, рдеющими, как два флажка! Старец с осанкой взысканного жизнью патриарха, не шелохнется ни одна будто в камень врубленная черта — и вдруг тоненько заныла пепельница от дроби, которую выбили его колени под столом.

Ничего похожего не происходило с черноволосым молодым человеком. Он только все еще, даже когда ушла партнерша, одной деревянной башенкой с зубчиками побивал другую. И по-прежнему на своем месте инженер. Они вдвоем у столика. Впервые инженер говорит:

— Что вы смотрите? Вам бы ничего не помогло. К чему тут ваша жертва? «Дэ четыре» с двойным ударом — вы меня понимаете, конечно? И тогда *он* спокойно берет вашу ладью!

«Он» в шахматах, как и в сражениях, описанных классиками,— противник.

И молодой человек потерянным жестом сгреб фигуры, смоляной завиток на его смуглом лбу показался мне теперь очень трогательным и жалким. Я не узнавал инженера.

— Вы обидели его,— сказал я ему, когда он встал.— У вас испортился характер, Борис Леонтьевич!

— Истина выше всего,— надменно откинул он голову.

— К тому же я не подозревал за вами способностей Бронштейна.

Утонув в кресле, на ветерке, он окутался дымом.

— И курящим я вас никогда не видал.

— Хотите, расскажу историю? — предложил он из недр облака, помолчав.— Она тоже касается... истины и характера. В Риге есть учреждение, трест, крупная организация. По масштабу и почет. Ордена к годовщинам, вызовы в Москву, портреты в органах печати... Ну и вот. Вот. Центральным Комитетом назначена комиссия, по давнишним сигналам, она вскрыла серию злоупотреблений. Раскрашивали, так сказать, фасад. Чтобы пышнее подымался пирог, прибегали к дрожжам. Подтасовки в отчетах, шедших в центр. Методичные до тонкости. До восхитительности — так, без тени сомнений, колебаний. Без какой бы то ни было оглядки на существование школьных прописей, заповедей морали, которым детей учат: лгать — нехорошо, присваивать непринадлежащее — значит красть. Да что! Там шли с гордо поднятым забралом, шагали с видом причастности к высшим тайнам: *«Так надо»*.

Он издал некое мычание, которое можно было счесть за утверждение сказанного, за неопределенный вопрос или вызов на дискуссию. Я терпеливо дождался, пока он вновь вынырнет из своего облака.

— Теперь мало, что все раскрыто, раскассировано, руководителей, проносившихся в восьмицилиндровых, в помине нет, работа выправляется — с настоящими требованиями к продукции, к оборудованию. Нет, мало того: в многотиражке, где прежде одни акафисты, портреты и эти... очерки, по партийному решению помещаются один за другим материалы, в чем и какая была ложь, фальшь, очковтирательство, подтасовка цифр, подмена стандартов и нормативов качества. И вот ко мне подходит помощник главного инженера. Двадцать лет его знаю, хороший, от-

личный товарищ, напрямую рубящий, честный — так я полагал всегда. Подходит и говорит с огорчением, с этой самой обидой — ваше слово, вы только что так выразились. «Зачем все это? — спрашивает, мучительно силясь осмыслить происходящее.— А? Скажите! Нельзя понять. Ну, убрать *тех* — так их уже убрали. А как же марка, ре-но-ме? Ордена, грамоты, которые висят под стеклом в директорской комнате? А если дойдет до заграницы?! Продукция наша известна в пятнадцати странах. Как же можно всего этого касаться! Зачем? Нет,— кончил он, покоряясь судьбе,— очевидно, тут скрыт тонкий и глубокий умысел, какого я не в силах разгадать».— «Вы упустили еще одно объяснение,— возразил я ему,— и оно значительно проще других: напечатано обо всем этом потому, что это — правда». Человек, которого, мне казалось, я знал двадцать лет, тонко улыбнулся — улыбкой взрослого, вдруг сообразившего, что перед ним ребенок.

Сам ли он или ветер докурил его папиросу, только инженер встал, отряхнул пепел и, повернувшись вполоборота, в позе человека, которому некогда, решил подвести итог беседе:

— А шахматы, вы интересовались? Предпочитаю наблюдать. Зеркало, в котором подглядишь любопытнейшие вещи! Борьбу страстей. Накал самолюбий. Отвагу и трусость, хладнокровие и панику, уверенную правоту и нахрап. Зеленую наивность, свежесть души против прожженной черствости...

— И вы действительно видите все это?

— Ого, иной раз такой орешек расколется — всем ядрышком наружу! Конечно, нужен наметанный глаз,— признался он скромно.

Поколебавшись, он утвердился прочнее, ухватив руками плетеную спинку кресла. Однако не сел.

— У нас некоторое время назад,— вы читали, конечно — первое место на турнире занял мальчишка, вчерашний школьник, потеснив пропасть мастеров с именитыми ре-но-ме.— Он опять проскандировал это слово, очевидно, почти столь же неприятное ему, как и слово «очерк». Я замечал у многих людей совершенно неожиданные счеты со словами.— Троих мастеров я просил тогда разъяснить: как же так? Один сказал: «Через год и фамилию его забудут. Мыльный пузырь!» — «Радужный?» — подсказал я ему в тон. Но он отошел. Другой сказал: «Вы думаете, мы не видим всех его ходов? Но *делать* их, ре-

шая головоломки? К чему? Погодите, новая метла — обломается». Я не стал допытываться у этого чересчур, по-моему, благополучно устроенного человека, кто это «мы». Будь он *мастером* у меня в цеху, я выгнал бы его с работы... А третий ответил: «Смена — вот она! А как же! Вы следили? Только первый шаг — какие же будут третий, четвертый! Но — он похлопал себя по карману на груди — здесь есть еще порох. Посмотрим!.. Такая встряска ох как полезна!» И я пожал ему руку. Полезнее даже ошибиться, веря в лучшее, чем каменеть в мудрой позе вещуна, со ртом, набитым кислыми прорицаниями.

Его собственная поза никак не подходила для долгой речи; он резко оторвался от кресла и зашагал с откинутой головой по галерее, по палубе, мимо урчащих, гудящих, поющих на разные лады трубопроводов, металлических сочленений, кожухов с отверстой пастью. Подобно тому, как в пульсирующей жилке запястья у человека отражается биение сердца, так и во всех этих до блеска вычищенных сооружениях, похожих на висящих или свернутых белых змей, обнаруживалась несокрушимая сила корабля; без них она оставалась настолько невидимой и неслышной, что мы о ней забывали.

Но инженер останавливается еще раз и, полуобернувшись, кричит мне через плечо:

— Хотите — назову новичка, потеснившего мастеров на турнире? Его фамилия — Таль.

Пасмурно, серенькое море неприютно отливает рыбьей чешуей. За кормой, отлого загибаясь вдали, стелется широкий след с кипенью и глухой чернотой — точно вывернутыми винтом наружу глубинными пластами воды.

Там, у кормы, на юте, почему-то оживление. Десятка два людей толпятся и смотрят вовсе не на этот шумящий след, а вверх. Что такое случилось в открытом небе над открытым морем?

Оттуда бежит Алла.

Ее фигура в строго и тесно облегающем платье кажется свободной и легкой. Но как представить ее над чертежной доской, за кропотливыми архитектурными проектами?

Конечно, я ничего не знаю о ней.

Алла вбежала в салон. Как легко и свободно движется она, как сродни быстрое движение ее телу! Она робко коснулась плеча молодого человека. Что-то быстро сказала. Он подымает глаза, только медленно подымает на

нее свои тяжелые глаза. Должно быть, ответил,— шевельнулись его яркие, по-детски припухлые губы. Верно, он неласково обошелся с нею: она стоит, склонясь, плечо натягивает платье, выше открывая стройные, сильные ноги, тонкие ноздри ее дрогнули, краска прилила к щекам. Потом выходит, не замечая меня.

А я ее окликаю.

— Что там, на корме?

— Птички,— кидает она.

Птички?! Но я упорен, возможно, даже бестактен. Кто этот молодой человек?

Теперь она приостанавливается.

— Попутчиков надо знать,— говорит она поучительно.

Не приходилось ли мне слышать о... ? Да, новатор, скажем, с завода «Эн». Зачем мне подробнее, в центральной печати были статьи, заметки,— впрочем, попадаются, как видно, невнимательные читатели газет!

— Димитрий! — кричит она в окно салона, и меня сразу осеняет, что она и остановилась ради того, чтобы еще раз позвать его.

Ну, разумеется, молодой человек наконец со стуком ссыпает фигуры в коробку.

Он встает, идет к дверям на палубу.

— Постойте! — останавливает его девушка.— Вы спрашивали про Акрополь. Так вот, если угодно...

Они возвращаются к столику, Алла достает лист бумаги. Не садясь, наклонившись, набрасывает что-то быстрыми штрихами.

Я знаю, что утром мы будем в Пирее.

Алла говорит:

— Это очень просто. Смотрите. И неисчерпаемо.

— Слова вы соединяете... сложненько.

— Сложность в простоте. Самое трудное. А для глаза самое легкое. Легче никто не придумал. Тяжести словно вовсе нет. Вы понимаете, Димитрий?

Черноволосый молодой человек, производственник-новатор и шахматист, внимательно смотрит на нее своими сумрачными глазами.

А она растолковывает, терпеливо растолковывает вечную красоту античной архитектуры.

— Вот. Каннелюры колонн, то есть бороздки на колоннах. Смотрите: свет, полоска тени, свет... Фриз над архитравом. И резкая черта тени карниза, прочерчивающая все. Представляете? Солнце такое, что тень синяя...

— Вы-то сами *видите* это?

— Да. Никакой запутанности. Как ясная музыка.

Он добросовестно старался разобраться. Повторял вслух: триглиф, метопа, архитрав... Она вдруг залилась краской.

— Это я так, простите. Термины... У вас ведь тоже есть свои. Вам ничего этого не нужно, вы просто глядите — и всё.

— Термины и формулы бывают ой как нужны! По моей части, по крайней мере.

— Как бы я хотела, Димитрий, понять эту вашу часть...

— О чем вы думаете, Алла, оставаясь одна? Вы никогда не скучаете?

— Скучаю?

— Нет? Ведь вы сама театр для себя.

Она переспросила изумленно:

— Театр, Димитрий?

— Вы и одна такая, как с людьми... со мной? Вот что я хочу спросить.

— Как с вами? Мне трудно, очень трудно ответить вам.

— Так о чем вы думаете? О красоте?

— Я некрасивая,— говорит она.

— Чудесная ты.

Алла засмеялась — это так неожиданно. Она мнет, комкает свой листок бумаги — Дмитрий вырывает его. И с листком в руке смотрит вслед девушке, которая, все смеясь, быстрой, легкой своей походкой почти выбегает на палубу. Вон она спускается по крутому трапу, очевидно торопясь на корму.

Повернувшись, я замечаю, что рядом со мной стоит инженер. Он также все видел. Мы молчим. Потом он говорит:

— Я счастлив. Вы понимаете? Счастливый человек. Благополучный по всем статьям. Только что был в радиорубке, вручили радиограмму. Дочь сдала последний экзамен и закончила с отличием, с медалью. Это большая радость. Абсолютно нечего желать — если держаться нормы. Птичьего молока? Смешно! Отчего же тогда...— Он затрудняется.

Молчание.

— Знаете, что чувствуешь,— вдруг снова говорит инженер,— когда вот так... наткнешься на молодость? Отеческое благорастворение души с мудрой и доброй улыбкой? Это все, мол, и у нас было, ну-ну, детки, те-

перь вы! Или пуританское негодование — так тоже пишут? Я скажу вам — есть еще третье: зависть.

Странная у него, уже знакомая мне неприязнь к тому, как «пишут», к «очеркам».

— Вы решили утвердиться на стезе *беспощадных признаний*, Борис Леонтьевич?

Он сразу угас. И глухо, неприязненно отозвался:

— Что? Хм... Цитата? Из этого... очерка? Я слишком стар, чтобы читать книги, которых я не читал, и знакомиться с людьми, с которыми я не был знаком.

Откинув голову своим надменным движением, не кивнув, он уходит.

...А над кормой, на натянутом тросике, в самом деле сидели две маленькие птички. Изредка они перепархивали над головами людей. Отстали даже чайки, а тут эти пернатые пассажирки!.. Сухопутные птички, желтенькие с рыжинкой, чуть нахохленные. Откуда ж они? Куда едут? Залетели где-то и поплыли.

Женщины принимают особенно горячее участие в их судьбе. Что им кушать? Одна крошит хлеба. Пожилая что-то говорит молодой; обе неразлучны, молодая приносит ей то книгу, то кофточку, то вышивание,— конечно, это ее дочь.

— Галя! Галя! — зовет птичек молодая.

— Но им нужно мошек! — настаивает Алла.

— Какие очаровательные!

— Бедненькие...

А что же Борис Леонтьевич? Вон его маленькая фигурка в наполеоновской позе, с заложенными назад руками (известно, что завоеватель гораздо чаще любил стоять, заложив руки за спину, а не скрестив их на груди). Слышен резкий голос инженера:

— Они двух совсем разных пород!

Не парочка? А птички с виду совсем одинаковые. Но они слушаются, они перепархивают, все ближе — по тросикам, по брусьям. «Галю-ю! Люсик!» — радостно выпевает молодая.

И вдруг — кто б мог ожидать этого? — одна птичка кидается на другую. Она налетела на нее, она долбит ей темя! На мгновение онемели все.

— Женя! — разрывает немоту пронзительный вопль пожилой женщины, нежданно-беспомощное воззвание к молодой, к дочери.

— Вспугните ее! Кидайте чем-нибудь!

— Кровь! Капелька... Почему она не вырывается?
— Ведь она не меньше, не слабее...
Алла отчаянно, как будто это ее, а не птицу (а что ей в этой птице?) постигла страшная опасность:
— Не давайте!.. Убьет!.. Ради бога!
Голос инженера:
— Это сорокопут.
Летят платки, карандаши, чей-то берет, у кого-то (это Дмитрий!) сетка. Испуганная хищница взвилась, держа в коготках комочек жертвы, и ветер движения сразу откинул ее за корму. Косо падая, с разинутым клювиком, она стремилась сесть на лаг, чтобы проглотить еще горячий бело-розовый мозг, мясо с душной кровью, чьими испарениями она дышала; что дальше — она не думала. Крики преследовали ее. И в миг, когда взвихренная вода почти коснулась ее серенького оперения, она разжала коготки. Затем с усилием, неровно, невысоко взлетела трепещущей точкой и пропала в сереньком деньке над бесконечным морем.

1956

АВТОГРАФ НА МРАМОРЕ

Афины давно слились со своей гаванью Пиреем. Туда ведет единственная короткая линия метро. Гавань укрыта в глубоком вырезе Саронического залива. И, постепенно истончаясь, отросток суши тянется от Пирея и Афин к югу — палец, указывающий на море.

Вся эта вырезная, фестончатая земля похожа на раскрытую многопалую ладонь, будто она размыта волнами, растрепана бурями, с летящими по ветру закраинами и рассыпанными вокруг клочками, осколками — островами, островочками, островками.

Крайняя южная оконечность Аттики — прославленный в веках мыс Сунион (Суний). Огибая его на пути домой, древние корабельщики приносили уже благодарственные жертвы за счастливое избавление от ярости пучины, от свирепости пиратов. У кого острее зрение, скоро увидит между горами отблеск на бронзовом уборе Афины-Воительницы, поднявшей копье на Акрополе в защиту родного города. Плавание кончено, дома!

Отсюда до Афин напрямик полсотни километров, по дорогам — семьдесят. Идут непрерывной чередой ку-

рортные поселки с отелями всех категорий, с характерной для Греции архитектурой: широкие балконы, уступчики-террасы, и на каждой зелень, цветник, садик; так и на самых шумных афинских улицах — маленькие оазисы в грохоте и смоге столицы. В разгаре предвыборных страстей стены домов облепляли ряды, ленты плакатов — сейчас ветер шевелит их обрывками. Вот мельтешит, точно отраженное в десятках зеркал, какое-нибудь лицо кандидата от правившей тогда партии «новая демократия». И если, допустим, данное лицо торгует автомобилями, то уже и в таком втором, коммерческом качестве та же фамилия пестрит — опять лентами! — на крышах автобусов и троллейбусов. («Скажите, как бы вы поступили? — спросил меня спутник, греческий поэт.— Не возникло бы у вас желания как раз наоборот: ни за что не голосовать за человека, чьи изображения так назойливо не дают вам проходу?») «Капелузос, Капелузос, Капелузос... Капелузос, Капелузос!..»

А в уличной сутолоке снуют грузовички, пикапчики с броскими надписями: «Метафора!» Ловишь себя на мысли: вот лафа поэтам! Метафоры доставляются прямо грузовичками! Однако вспомнишь, что, как объяснено в учебниках, метафоры — это *переносные* значения. И сообразишь, что пикапчики и грузовички меньше всего адресуются к служителям муз: просто транспортные конторы рекламируют перевозку вещей и товаров.

...Вот проплывает как бы за проливчиком остров Патрокла, и вспоминаешь знакомое с детства:

Нет великого Патрокла,
Жив презрительный Терсит.

Автострада ниспадает к кромке воды, тут очередной отель, отельный пляж; несмотря на позднюю осень по календарю, все одеты по-летнему, тепла и вода — неужели не захватили купальников?

А впереди, крутым горбом, гора, виражи подъема. Там, не доезжая до верха, надо оставить машины, последний отрезок пройти пешком.

Далеко видные с суши и с моря современным лайнерам так же, как и аттическим триерам, высятся на каменном цоколе колонны храма Посейдона. Святилище, основавшееся тут в седой глуби времен, сметено персидским нашествием. Храм отстроен при Перикле, в эпоху высокой классики.

Он стоит на юру; сразу прохватывает ветер, для которого нет преград. И с трех сторон, шумя и возясь под обрывами, вздымаясь к зыбкому горизонту, угрюмо темнеет фиолетовое (по слову древних) море. Красный шар солнца, падая в дымную мглу, слабо кропит его тусклыми отсветами. Крылья ветра гонят чешуйчатые пятна ряби по его неприютной равнине — словно древний бог все еще повелевает стихиями.

Где-то неподалеку таилась последняя засада пиратов.

И чудится — тут вовсе иной мир, чем тот, откуда прибыла вся эта разношерстная толпа туристов.

Во внезапном холоде натягивают свитера, кофточки. Двое златовласых молодцов из ФРГ, со свалявшимися космами ниже плеч, очевидно, причисляющие себя к сильно поредевшему племени хиппи, плотно запахивают искусные подобия рваных звериных шкур халдейских пастухов. Снует длинноногая, очень юная девица, американочка, в подвернутых изысканно вытертых джинсах и распашонке, подвязанной так, что выглядывает наружу полоска узенького нагого живота с крошечным пупочком. Это тоже дозволено нынешним туристским глобтроттерским обиходом. Но, пропуская ее, ежатся: бр-р! Зябко смотреть! А она протискивается к гиду. На что же он показывает с такой живой жестикуляцией? Неужели здесь это возможно?!

Надписи исчерчивают Периклов мрамор! Расписался некий шкипер из Амстердама, выставил год: 1908. Еще некто, жаждущий славы: 1902. Гид торопливо, брезгливо взмахивает рукой, спеша к следующей колонне. Опять росписи, росчерки. Двадцатые, тридцатые годы прошлого века. И даже: тысяча семьсот...

Мимо, мимо. Гид спешит. Вдруг он горделиво замирает, подзывая всех. Безупречно четко врезано в мрамор: Byron.

Создается впечатление, что врезал имя рослый человек — если это он сделал сам. Впрочем, именно так он, в дневнике, и записал свой рост — кому бы знать лучше? «5 футов $8^1/_2$ дюймов», то есть 174 сантиметра — тогда это должно было казаться выше, чем в наши времена акселерации. Однако знаменитый Андре Моруа в книге, переведенной во всем мире, упорно изображает, подчеркивая «увечье», «маленького, хромого, меланхолического человека», даже «маленькое существо с почти детским телом»: чрезмерный, с перехлестом, нажим явно продик-

тован стремлением поразить. Но и в лондонском роскошном барском особняке на Мэрилебон-Род — галерее «Мадам Тюссо», где, что бы ни думать о ней, главное — внешнее сходство и подобие, возле стройной невысокой фигуры Диккенса видим стоящего Байрона — вровень с ним.

...В свой первый приезд он жил в Афинах, тогда — турецких, в доме вдовы английского вице-консула, с рождества 1809 по март 1810 года. Работал над первыми песнями «Чайльд Гарольда»: они еще не напечатаны, еще он не «проснулся знаменитым». Однажды верхом, по тропам прискакал на пустынный Суний и спешился, бросив поводья слуге-сулиоту, у храма Посейдона, — хромой красавец с атлетической мускулатурой, быть может, в причудливом греко-албанском наряде, в феске с длинной золотой кистью (как он изображен в афинском музее Бенаки): в своих экзотических странствиях он любил экзотические переодевания.

И странная метаморфоза постигла пять букв, на которые легла патина протекшего стосемидесятилетия: они сами превратились в деталь храма, в достопримечательность, к которой торжественно и гордо ведут туристов.

И впрямь: у какого имени больше прав быть связанным с бесценными памятниками Эллады?

Когда лорд Эльджин, посол надменного Альбиона, попросил у Высокой Порты разрешения «взять некоторые камни с надписями или фигурами», а следом триста, четыреста рабочих стали выламывать фронтонные статуи, фризы Парфенона, круша двухтысячелетние камни, подменив на фальшивую одну из кариатид Эрехтейона,— Байрон заклеймил Эльджина написанным здесь же, в Афинах, «Проклятием Минервы» — от имени оскорбленной богини, так обращающейся к поэту:

Ведь меньшие мне причинили раны
Пожары, войны, варвары, тираны,—
Грабителей турецких, готских злей
Пришел грабитель из земли твоей!

Каждый стих Байрона, каждое слово отдавались тогда во всем мире. Он призывал к низвержению всех и всяческих поработителей, к борьбе за свободу. Настала пора — от слов перешел к делу. Из Италии, где свой дом он превратил в арсенал оружия для карбонариев, на бриге «Геркулес» он отплыл в Грецию. «Я прибыл

сюда помочь не одной какой-нибудь клике, а целому народу». Точно сегодня, нашим языком произнесены эти слова! Он сплачивал разрозненные отряды. Продал имущество в Англии, чтобы вооружить новые. Поэт гремящей, до того беспримерной славы становился во главе вооруженных сил восставшей Греции. «Тираны давят мир — я ль уступлю?» Он умер как солдат, испытав на себе все тяготы боевых будней в осажденных Миссолунгах. И всегреческим национальным трауром отмечена смерть, увенчавшая бурную, короткую, 36-летнюю жизнь!

Вот что значит врезанное в мрамор имя. И думаешь, что байроновский призыв к свободе по-прежнему внятен (и еще не раз будет внятен!) на греческой земле. Мимо памятника Байрону снова шли восставшие, чтобы сбросить гнет «черных полковников», напомнивших о кровавом правлении древних тридцати тиранов в тех же Афинах...

Жизнь и смерть великого друга Эллады стоят за памяткой на храме Посейдона. Кому удавалось в ту пору добраться сюда? О каких туристах было слыхано? Так что же сказать о нынешних любителях сорить «автографами» в жажде порадовать века своей закорючкой (а имя им, увы, легион)? Разве то, что ими избран самый надежный способ выставить себя на вечный позор.

Позор осквернителей прекрасного и невозобновимого.

Вот еще «малая мораль» нашего рассказа.

1977

У КОЛОНН ПАРФЕНОНА

1

Голый, похожий на острый обломок, случайный и чуждый в городе, затерянный в пестром разливе его домов и тем не менее господствуя над ним,— отовсюду в Афинах виден Акрополь. Приземистая, сквозная, какая-то решетчатая бело-желтая развалина ютится на плоской вершине утеса.

Величайшая в мире слава осеняет его. Чтобы только своими глазами увидеть *вот это,* люди добираются до Афин со всех концов земли.

Не знаю, можно ли исчислить книги об Акрополе, исследования, благоговейные свидетельства крупнейших мастеров искусства, ученые суждения специалистов, про-

зу и стихи, трактаты эстетов и философов, восторженные отклики путешественников-паломников, миллионы и миллионы роскошных и общедоступных репродукций...

Самые неисправимые скептики замолкали, ступив на священную почву.

Говорят об ансамбле, совершеннее которого не бывало на нашей планете.

Величие, величественность... Это то, что видел каждый,— как видим теперь и мы, на долю которых осталась, может быть, сотая часть того, чем он был.

Еще далеко до Афин — двести пятьдесят олимпийских стадий, полсотни наших километров,— корабль огибает мыс Суний, крайнюю оконечность Аттики, а уже искали, ловили корабельщики золотую молнию блеска на шлеме и копье акропольского «колосса» — Афины Промахос. А от входа в пирейскую бухту, от могилы Фемистокла на высоте над морем [1] открывалась в своем сверкании вся она — Воительница, Предводительница в битвах. Хозяйка города.

Но *как* достигалась эта колоссальность впечатления?

Только девять метров вся статуя с пьедесталом. Чуть выше (10,43 м) колонны Парфенона. Мал и сам утес,— он вымерен стократно: с востока на запад — 270 метров, наибольшая ширина — 156 метров.

Но то, что построено наверху его, так слилось с телом скалы в точно найденное и единственное сочетание, что вся скала становилась основанием храма, подножием статуи. А холм Акрополя, паря над городом, вырастал в мощный противовес высящемуся вдали серо-фиолетовому конусу Ликабета,— человеческие руки сделали этот холм братом гор!

Итак, величие через соразмерность. Ничего колоссального, чересчур грандиозного, циклопического (исполины-циклопы — уроды). Чрезмерное «не угодно богам». «Ничего лишнего» — «меден аган»,— знаменитые слова сказаны еще Солоном, правоустроителем Афин, философом и поэтом. Как нелегко следовать в искусстве этому закону и сейчас, спустя две с половиной тысячи лет!

Крутые склоны по верхам взяты в камень,— отвесная кладка неприступна с трех сторон. Лишь с запада зигза-

[1] Она на скале, «похожей на алтарь». Уже древние сомневались, действительно ли там погребен Фемистокл, умерший в Магнесии, в Малой Азии. С «гробницы Афинянина» («Когда будет снова жить такой герой?») начинает Байрон своего «Гяура».

гами дороги (лестницы не было в «классическое» время) подымались в Акрополь. Тут и восходило на рассвете, в разгаре лета, в месяце гекатомбеоне, торжественное шествие Панафиней: правители города, процессия старцев, колесницы и всадники, юноши, избранные девушки, афиняне и посланцы союзников, колоний, жертвенные овцы и коровы.

А раз в четыре года, в великие Панафинеи, на мачте триеры (символ морского могущества Афин!) впереди всего шествовал пеплос. Две девочки лет по десяти — их звали эргастинами — ткали целый год из шерсти эту одежду, фиолетово-желтую, расшитую изображениями битвы богов с гигантами, именами афинян, отличившихся с прошлых великих Панафиней: шитая четырехлетняя хроника города.

Пеплос назначался для чудесной «упавшей с неба», очень древней деревянной статуи Афины Полиады (Покровительницы города), скрытой в храме Эрехтейоне.

Но Афина принимала дар не в Эрехтейоне, а в своем парадном доме — в Парфеноне,— греческий храм, в отличие от египетских и вавилонских, от мусульманских и христианских, не был местом собраний толп верующих, но считался как бы интимным жилищем бога, соразмерным со скульптурным образом его. Внутри Парфенона высился самый большой скульптурный образ Афины Девы — на три метра выше статуи Промахос.

Искусствоведы обещают: дайте нам диаметр колонны греческого храма — и мы в главном восстановим его. Так неукоснителен, почти геометричен этот закон соразмерности, пропорций, железной дисциплины: все ради целого — в искусстве, как и в жизни.

Чем был Парфенон, замечательнейшее из зданий античности, как не мраморной оболочкой живущей в нем величественнейшей из статуй? Он словно весь исходил из этого средоточия, во всех своих объемах и соотношениях. Отсюда и необычная, восьмиколонная ширина передней и задней его сторон, бросающаяся в глаза «широколобость» Парфенона.

С подобной же неуклонной последовательностью развертывался и весь ансамбль Акрополя перед вступающими в него.

У последнего подъема к Пропилеям, где сейчас руины выстроенных в римское время приземистых ворот Бёлэ, оставляли и лошадей и колесницы. Пешее шествие поды-

малось к колоннаде Пропилей, пятипролетной, крытой. Легкое южное крыло Пропилей заканчивалось белым храмиком Бескрылой Победы, Афины Ники (все на Акрополе связано с Афиной), игрушечным за витой балюстрадой,— «птичкой, прилетевшей и севшей на выступ скалы в голубизне неба». Никакой симметрии в пристройках с севера и с юга, никакого зеркального повторения (чем думали подражатели восемнадцатого столетия воссоздать древность), но вместо этого уравновешение масс, осей зрения, по свободному и точному закону; исследователи Акрополя доказывают это чертежами.

Бронзовая Промахос одна царила на площади за Пропилеями. Дальние строения, которым рано показываться в деталях, отсюда даже заслонены ею. Шествие минует статую, и со священной дороги, с северо-западного своего угла, открывается весь Парфенон — вдруг, поражающе, снизу он казался малым, потом, у Пропилей, вовсе исчез. Он открывается с изумительными тонкостями, «хитростями» архитектуры. Сразу видны отсюда короткая и длинная стороны,— на короткой восемь, на длинной семнадцать колонн, n и 2n + 1 — замечательная формула гармонического соотношения, которую не догадался применить, например, строитель подражающей античности парижской церкви Мадлен. Ничтожно мало, всего на несколько сантиметров, наклонены громадные колонны с обеих сторон к центру фасада. Но если бы этого не было, они показались бы нашему взгляду разваливающимися в стороны! Пол «паперти» и ступени чуть выгнуты,— именно этот еле заметный выгиб парадоксально придает твердую горизонтальность линии, иначе середка пола выглядела бы проваленной. При этом — вещь поражающая! — выпуклость пола и лестницы совмещаются *только* при взгляде с угла, с дороги, то есть оттуда, где двигалось шествие!

Но вот оно обогнуло Парфенон — вход в храм всегда с востока, двери десятиметровой вышины, почти пять метров в пролете, распахнуты, столб лучей восходящего солнца ударяет в золото и слоновую кость, в мрамор стен и внутренних колонн, в висящие щиты, оружие, бронзовую роспись потолка. Искрящимся блистанием до краев полно высокое помещение.

Праздник утра, мощный безмолвный возглас привета рождающемуся дню!

Как мал Эрехтейон рядом с Парфеноном, *нарочно* мал, чтобы исключить мысль о соперничестве. Южный портик храмика несут шесть фигур девушек — кор («дочерей»), кариатид. Не сгибаются под бременем, но идут спокойным шагом, как женщины с корзинами плодов на головах. И тут тайная «хитрость», игра с нашим глазом: фигуры кор утончаются, убывают с запада на восток, строитель торопит перспективу, портик словно убегает вдаль.

Вся эта строго взвешенная гармония, ясная простота геометрического чертежа создана в V веке до нашей эры, в «Периклово время».

Она воссоздана в наши дни знатоками античности.

И я думаю, что здесь два человеческих подвига. Один — совершенный две с половиной тысячи лет назад и другой — подвиг людей, отдавших свою жизнь изучению античности. Это они сумели поднять из праха развалин дивное мастерство ее художников, сложить из тысяч далеко рассыпанных, погребенных в земле осколков мраморную дверь в Пропилеях и скульптуры фронтонов, отгадать по стертым монетам, по безымянным статуям, откопанным за многие сотни километров, черты того, чего не существует более,— бронзовой Воительницы, сверкающей Девы Парфенона.

Но, кропотливо подымаемая из праха бережными руками, эта, казалось, исчезнувшая, уничтоженная древность воскресает для новой, бессмертной жизни, уже несколько иной, чем она была в том, первом, истинном своем существовании. То, что видят в ней благоговейные взоры,— это правда, но правда неуловимо преображенная. В ней сквозит бестелесность, она приобрела облик отвлеченный, универсальный, вневременный. И нелегко переступить от него к людям из плоти и крови, которые двадцать пять веков назад обтесывали мрамор, втаскивали глыбы в гору, вымеряли пропорции копьями и веревками.

Тесен, узок промежуток времени, когда выстроилось все это. Пятый век,— нет, не век, просвет между персидскими опустошениями и пелопоннесской изнурительной усобицей да, по инерции, еще четверть века — перед разгромом Афин. Еще точнее: в 447 году заложен вот этот Парфенон, в 406-м завершено уже скомканное строительство Эрехтейона. Видимо, не выполнен и план Пропилей.

Не впервые приходили строители на этот утес, он не был пуст, Акрополь.

Стены «циклопической» кладки возвели еще пеласги, которые и грекам представлялись почти столь же таинственными, как одноглазые сказочные великаны — циклопы. То были племена из широкого круга древнейших «народов моря», может быть, родня филистимлянам, давшим свое имя Палестине.

И процессии Панафиней не одно столетие до Перикла уже подымались в городскую твердыню, посвященную Афине. Несколько раз перестраивался большой ее храм. Почти до нашествия Ксеркса стоял Гекатомпедос — храм «стофутовый». Персы уничтожили одетый лесами еще один Парфенон — длиннее и у́же нынешнего; память о нем сохранена «говорящей почвой» Акрополя. Огонь и ярость завоевателей дважды (в 480-м и 479 годах) истребляли все. «Персидский мусор» не вывезли. Обломки зданий, круглые барабаны колонн, десятки поверженных статуй — все пошло на выравнивание поверхности утеса. Муравьиный труд снова и снова начинался над прадедовскими фундаментами,— вот она, строительная площадка зодчих Перикла! Семь карнизов, извлеченных археологами, свидетельствуют о семи некогда бывших тут святилищах. В сумрачном дворце неведомых греческим летописцам времен еще жил со своими двумя сыновьями тиран Писистрат — храбрец, властолюбец, остряк с бархатным голосом,— его владычество простиралось до Геллеспонта; по каменным желобам, которые он велел проложить, вода бежала с Гиметских гор, среди масличных садов, к Девятиструйному фонтану на афинской рыночной площади — агоре; а тысячелетиям Писистрат оставил первые записи «Илиады» и «Одиссеи».

Строили из необожженных кирпичей, из грубого пирейского ракушечника, в дело шло и дерево. Долго ваяли из пороса — мягкого известняка. Все это забеливалось, ярчайше раскрашивалось — краски клали рядом друг с другом, без полутонов. Так продолжали расцвечивать и мрамор — сперва синеватый гиметский. Должно быть, резкой показалась бы нам эта пестрота — до варварской причудливости...

Сменявшие один другого храмы Эрехтея воздвигались над главными святынями Афин. Посейдон в споре с Афиной ударил трезубцем — и под скалой открылось «Эрехтеево море», при южном ветре слышали его гул. Но Афина ударила копьем — и выросла тут маслина, дар народу Аттики. Была здесь и могила царя Кекропа —

полузмея; живого змея, гения-покровителя города, кормили жрецы в подземной пещере, и мраморный змей клубился под щитом у статуи Афины. Боги-олимпийцы влекли за собой тени чудовищных бесформенных образов — своих предков... Эрехтей был также мифический царь, Эрехтея убил Посейдон, и убитый слился с убийцей как одно из имен его — Посейдон-Эрехтей.

Из гнезд-нор в скале, из пещер и ниш для приношений и треножников вылетали ласточки — птицы богов, верно, каждая и сама божок.

Показывали камень, на котором спал Силен, когда в страну вошел Дионис.

Перикл был человек с громадной, уродливой головой. Он даже не решался снимать головной убор. А комедиографы, понося его, осыпая кличками: тиран величайший, близнец Писистрата, владыка сатиров, сын Смуты и Кроноса, сравнивали его голову с луковицей, с остроконечной крышей Одеона — музыкального зала. Перикл также совершал, по обычаю, жертвоприношения и вопрошал оракулов. Но его учителем был Анаксагор, которого прозвали Разумом. В доме Перикла и у подруги его, блестящей милетянки Аспазии, ради которой он развелся с женой, философы Зенон Элеат и Протагор встречались с Геродотом — «отцом истории» — и крепким, как дуб (он проживет девяносто лет), красавцем Софоклом. Все они были люди одного поколения. Немного моложе Сократ, также гость этого дома.

Перикл был оратором и воином: никто не свободен от обязанности самому, своими руками и грудью, защищать отечество. Эсхил, умерший в 456 году, в эпитафии самому себе ни словом не упомянул о своих девяноста драмах, быть может величайшем трагедийном наследии человечества, а написал только свое имя, имя отца, город и то, что свидетели храбрости его — Марафонский лес и враг, «длиннокосмый перс»: он бился солдатом и матросом в двух великих сражениях — при Марафоне, при Саламине — и еще в одном, морском бою с персидским флотом — у мыса Артемисии на Эвбее.

Перикл, осторожный, далеко не воинственный, во всем трезво умеренный, также сражался во многих походах.

Во главе флота он поплыл через Геллеспонт, Пропонтиду и Босфор в Понт — сделать греческий мир причер-

номорских колоний афинским миром. Он высадился в Пантикапее, то есть в нашей Керчи, среди афинских судов, которые грузились там зерном: скифские степи кормили Элладу, и на афинской агоре за Акрополем в благодарность ставили статуи киммерийским правителям.

Древние пишут о необычайном влиянии Перикла в народном собрании: «Он носит на языке ужасный перун Зевса». Нам нелегко представить, что́ завоевывалось словом с трибуны среди этого говорливого народа спорщиков и неистовых крикунов. Позднее о другом греке, фиванском герое-вожде, было замечено, что страсть говорить его *сжигала.*

То был недолгий срок афинской свободы и высшего могущества.

Двести городов слали форос — взносы в казну Афинского союза. Перикл перенес эту казну в Парфенон.

Был мир, пятидесятилетний мир.

Но не было года, чтобы не оплачивались кровью эта свобода и могущество. Сохранилась надпись, обнаруженная в семнадцатом веке на плите в полу церкви в Афинах с торжественным поминовением воинов лишь одной филы, павших в мирный 459 год «на Кипре, в Египте, в Финикии, у Галиэй, у Эгины, Мегары».

Свобода — это значило: родине — твоя работа, твои силы. И на богачей накладывались литургии — повинности материальные, часто нелегкие, а также должностные. Родине — твоя жизнь,

Если кровь, вся наша кровь,
нужна *ее* свободе...

(Еврипид)

Ты ничто без родины.

Но что такое родина?

Кому она мать?

Тут Эллада запутывалась в безысходных противоречиях.

Покинув свой город, в любом другом таком же греческом городе грек становится бесправным метеком — чужеземцем.

Ограбить чужой корабль на море, поработить плывущих — не преступление: пиратство — это удаль.

Перикл еще сузил круг граждан: гражданин — тот, у кого и мать и отец оба свободные афиняне. Ни с кем не желали делиться хозяева прав и свобод!

В городе, очень большом по тем временам, жило за сто тысяч человек. Из них не более тридцати тысяч граждане. А остальные? Почти семьдесят тысяч рабов. У рабов не дети — приплод. На суде рабы отвечали лишь под пыткой. На лбу у многих клейма. Потребует господин — и раб в кандалах или брошен в темницу, короткий гроб, где ни лечь, ни встать, ни сесть.

А в Спарте юноши «общины равных» отмечали свою возмужалость охотой на рабов-илотов: засады в пещерах, ночные вылазки и резня на дорогах, внезапные атаки селений с криками: «Эйя! Эйя!..» Пусть благородные юноши приучаются к воинской страде, к короткому мечу и пусть страх никогда не покидает души илота!

Охоты-расправы над рабами-дичью назывались криптии.

Вот в какие годы началось великое строительство на афинской скале.

«Мы любим красоту, которая проста, и мы любим мудрость, которая не изнеживает»,— так передает Фукидид удивительные слова Перикла (в надгробной речи воинам, павшим в начале Пелопоннесской войны).

Дошли имена зодчих Акрополя: Иктин (Парфенон); помощник его — Калликрат, строивший также третью стену меж двух, шедших к Пирею и Фалеру (их звали Длинными ногами), а может быть, и храм Ники; Мнесикл — создатель Пропилей; Гипподам — знаменитый градостроитель. Он по своему плану перестроил Пирей: прямые улицы, в середине обязательная, «гипподамова» площадь, от военной гавани отделена торговая с обширными складами, пятью огромными хлебными хранилищами, доками, верфями, арсеналами. Он плавал и в Южную Италию, в Великую Грецию: сибариты, жители разрушенного кротонцами Сибариса, звали помочь восстановить свой город. Перикловы Афины подхватили этот призыв, надеясь господствовать и в новой «общегреческой» колонии.

А надо всеми строителями Акрополя стоял Фидий — друг Перикла, архитектор, литейщик, декоратор, скульптор, «величайший среди великих».

Это он изваял Воительницу, Деву и третью акропольскую Афину — «прекрасную лемниянку»; статуя была подношением афинских поселенцев на острове Лемнос.

Знакомый нам облик Зевса Громовержца — мощный,

обрамленный волосами, пышнобородый, пышноусый — не создан Фидием; такой Зевс моложе на сто лет. Но очень вероятно, что благостное лицо сидящего Фидиева колосса из храма в Олимпии пережило античность: не оно ли подсказало канонический образ Христа, доныне глядящий со всех икон?

Мы можем даже судить о внешности несравненного универсального мастера. Лысый, худой старик на щите Девы, около страшной головы Горгоны, кинувшийся защищать отечество с тем, что у скульптора под рукой,— мраморной глыбой, топориком,— это, верно, он сам, Фидий, им самим изображенный! В нашем распоряжении две неточные маленькие копии, «реплики» этого щита.

Изобразить самого себя, «смертного», на щите богини — это святотатство. Страшное обвинение добавилось к прежним — в утайке золота и нубийской слоновой кости; обвинители поразили следом за Анаксагором-«Разумом» и Фидия. И человек, чье имя тысячелетия спустя будет заучивать каждый школьник на земном шаре, в 431 году умер в тюрьме.

Зыбка, лукава судьба...

Разразилась жестокая война со Спартой. Войско с юга опустошило Аттику. Сотни тысяч людей сбились под покров городских стен. Жили в храмах, в башнях стен; валялись на камнях улиц. У городских фонтанов давка. Начался мор. Трупы разлагались в святилищах. Жестокая смерть поражала стариков, когда-то ребятами избежавших гибели при нашествии Ксеркса.

Перикл похоронил сестру и двух сыновей, прежде чем чума унесла его самого. А последнего его сына, от любимой Аспазии, названного тоже Периклом, казнили через двадцать три года, в 406 году, вместе с пятью другими стратегами. Разбив спартанский флот при Аргинусских островах, возле Лесбоса (последняя афинская победа!), они из-за бури не сняли с обломков судов гибнущих, не подобрали трупов: стратегов обвинили в победе, горшей, чем поражение, по потерям, в непогребении мертвых, в преступлении перед религией.

Как заглянуть в души людей далекого, бесконечно далекого прошлого?

Я перечитываю Эсхила, «Орестею». Почему прежде я не ощущал так ясно беспримерную в мировой литературе силу изображения нарастающего, *нагнетаемого* ужа-

са, беззащитности, открытости человека перед неумолимыми силами?

Особенно в первой трагедии — «Агамемноне».

Разве лишь «Царя Эдипа» Софокла поставишь вровень...

> А весь свой век
> Кто счастлив? Кто удачлив? Только бог один.
> Кто из провидцев людям добро вещал?
> Кто не зло?
>
> Кровь легка.

И легкий труд — соблазнить людей на кровь.

> Немощью
> Сковано племя их
> Недолговечное,
> Грезам подобное...
>
> Бедный простой человек
> Дружбы не должен искать
> Ни богачей, ни вельмож.

Это тоже знает Эсхил, аристократ («Прометей прикованный»).

А дружба богов?

«Пучина слез, отчаянья и бед» — вот судьба девушки Ио, которую полюбил Зевс. Всевидящий сторож, стоглазый Аргус (само небо!), приставлен к ней — не уйти, не скрыться.

> На что мне жизнь? Зачем я в пропасть
> Не кинулась?

Пропасти — рядом. Как узки, тесны греческие дороги!

На такой дороге Эдип не разминулся со своим отцом, стариком царем Лаем, и освободил себе путь, убив его.

Отчетливо, почти зримо ощущаешь бездну, разверзшуюся между тем, дальним берегом истории — с наготой человека перед природой и судьбой — и нашим веком.

Но как было *жить* тогда людям?

Ценность мировоззрения, искусства измеряется именно *ответом* на этот вопрос, силой и характером *утверждения*.

Немногого бы стоили древние греки, забылся бы их вклад в культуру, если бы они писали трагедии бессилия, безысходной обреченности — в духе Метерлинка.

«Драма судьбы» — это не монолог Рока перед пассивным восприемником его ударов.

Это именно *драма,* действие между двумя сторонами, и важнейшая из них, центр всего, вторая сторона — Человек.

Я представляю себе эллинский театр, каменные ряды-ступени друг над другом; сюда ходили тысячи, то, что происходит на сцене, обращено ко всем, все — а не только ряд «почетных», чьи имена вырезались на мраморе их постоянных сидений,— участвовали в решении, кто первый поэт, трагик, комедиограф этого года.

И для любого сердца звучал в «Прометее прикованном» гимн человеческому духу, не сломленному неимоверными страданиями.

Эсхил ввел второго актера — так пишут (и соображаешь: что за скука — всего два актера!); действие у него «только намечается», «зачаточно», еще очень много времени и места занимает декламирующий и комментирующий хор; характеры схематичны («идеальны»,— хвалят другие): каким песком пустых слов засыпали неслыханную мощь этого гимна, эту вырубленную исполинским резцом чудесную, живую и так похожую на меня, человека, на то, что должно быть во мне, на лучшее во мне, душу титана Прометея! Ничего равного этой древней трагедии по гордой, могучей силе я не нахожу в последующие два тысячелетия — до титанической музыки Бетховена, до Байрона, до огненной и певучей, непреклонной, мелькнувшей, как вспышка молнии на небосводе мировой литературы, поэзии юноши Лермонтова!

Титан, подаривший людям огонь и обреченный владыкой мира за то на вечные безмерные мучения, отвечает Ио:

А как бы ты мои терпела муки?
Мне даже Рок и в смерти отказал.

Он побеждает муки. Значит, предел им *есть.* Но кладет его не жалость мучителя — необоримость духа страдальца.

— Мне страшно? Нет!
— Но казнь твою ведь Зевс удвоить может.
— Пускай удвоит. Я на все готов.

Так будьте же рабами. А для меня
Зевс ничто.

Казнь мою и цепи
Не променял бы я на твой позор:
Почетней быть прикованным к граниту,
Чем вестником проворным у царей служить.

Я вслушиваюсь в этот ответ Титана богу Гермесу, и в ушах моих начинают звучать с детства родные строки:

Тебе, я знаю, не понять
Мою тоску, мою печаль;
И если б мог,— мне было б жаль...

...Унесть в могилу за собой
Тоску по родине святой,
Надежд обманутых укор
И вашей жалости позор!..

«О, я не пал еще так низко!» — с уничтожающим презрением восклицает Титан. Да, *такой* человеческий голос никогда до того не грозил еще небесам!

Вы думаете, новые цари,
Не может скорбь проникнуть к вам в чертоги?
Но видел я паденье двух владык
Сильнее вас...

Нестерпимость страданий исторгает у него стон. «Вот крик, Зевсу неведомый!» — торжествует Гермес. «Пусть поживет — научится всему!» — отзывается Титан-Человек.

Человечность торжествует — сквозь ужас, сквозь смерть. Да здравствует жизнь! Вопреки безжалостному Року! Вот смысл греческой трагедии с центральным понятием ее, так долго казавшимся загадочным, так трудно поддававшимся приспособлениям к новоевропейской драме,— катарсисом, «очищением» души зрителя.

2

От ступеней Парфенона, за тем пустым, слоисто-каменистым местом в редкой, суховатой, с белыми крыловидными цветами траве, где находились когда-то святилища Афины Эрганы (Работницы!) и Артемиды Бравронской, я вижу верхи оголенной руины храма Ники. Точно остатки каменной беседки. Существовал миф: храм выстроен на выступе скалы, откуда бросился Эгей, когда показался черный парус корабля сына его Тезея. Те-

зей обещал поднять белые паруса, если одолеет чудовище Минотавра. Но он отплыл от Крита с Ариадной. Он забыл.

Обращено ли внимание на жестокость древнегреческих сказаний? Мучительная гибель подстерегает их героев на каждом шагу. Природа порождает свирепых и отвратительных страшилищ. Содрана кожа, за волосы проволочена отрубленная голова. Коварные обманы, прелюбодеяния, клятвопреступления. Огню и мечу предан побежденный город. Жалости не ведают и боги. Нелегко дался благонамеренному немецкому педагогу прошлого века Петискусу пересказ «для юношества» в его «Олимпе» хотя бы истории аргонавтов!

Но бессмертны жар живого сердца, горе, страсть, ликование и красота подвига в этих сказаниях, во втором мире, как бы приподнятом воображением давно жившего народа над миром обычным.

Древнеегипетские сказки — замечательные, вполне реальные повествования, лишь расцвеченные сверхъестественным. Перед читателем открывается с неожиданно простой, до удивления понятной и человеческой стороны умолкнувшая тысячелетия назад и, казалось, окутанная вечной тайной жизнь государства пирамид.

Но тут не то. Это именно второй мир, вселенная. В нем моря, страны и острова, реки, пустыни, звезды. И почти бессчетное множество людей, племен, существ, привычных нам и чудесных. Они родятся и враждуют, любят, работают, путешествуют. У них течет *свое* время, в его потоке сменяются поколения (так что мы можем строить длинные родословные героев), подымаются и падают царства, гремят битвы, совершает торжественный ход *своя* история.

По неисчерпаемости и в то же время «связности», ясной упорядоченности своего построения мифическая вселенная греков принадлежит к поразительнейшим произведениям всечеловеческой фантазии.

Она так громадна, что уже в античное время какие-то области ее уходили в туман забвения,— так опадает старая листва, уступая место новой. В наши дни ученые нашей страны восстанавливают целые пласты древних мифов (сказания о титанах), стершиеся еще до рождения Перикла.

Греки не знали небес, отдельных от земли. Смерть ничего не «начинает», она только отнимает. Как сумрач-

ны поля блаженных с их мертвенными асфоделями! Загробное существование — лишь тень прежнего. В Дельфах, на стене лесхи — здания для отдыха странников, собраний и бесед,— находилась знаменитая картина Полигнота «Подземный мир» — расположенные ярусами, как бы по скату горы, раскрашенные фигуры. Демон ужаса, черно-синий, цвета мясной мухи, скалит зубы, сидя на коршуне. Красавец Парис хлопает в ладоши, подманивая и здесь к себе женщину. Сатир Марсий учит юношу играть на флейте — он забыл страшную казнь за свою страсть к флейте. Эрифила сунула руку под хитон — там ожерелье, добытое постыдной ценой: за него она продала мужа. Печален прекрасный Мелеагр, спаситель своего города, один из любимейших героев греков, сраженный стрелой Аполлона. Воздаянье? Какое воздаянье?

Поглядите на изумительные барельефы, которыми украшены гробы — саркофаги. Сколько искусства, труда для ничьих глаз, для тлена гробницы, чтобы сопутствовали мертвецу образы того, что он оставил!

Лучше хотел бы я в поле, как жалкий наемник, работать,
Чем над бездушной толпою исчезнувших царствовать мертвым,—

говорит Ахилл у Гомера.

Такова жизнь. В ней надо жить. Блюди добродетели — «заповеди Хирона», мудрого кентавра: почитай богов, исполняй закон гостеприимства, чти родителей. Вывешивай над дверью бедного, с глинобитным полом дома иресиону — масличную ветвь, увитую белой шерстью.

Вот он, катарсис греческой жизни!

Знакомо ли тебе,
Что Аполлон сказал Адмету:
Кто смерти обречен, тот должен жить,
Как будто каждый день
Последний для него
И вместе с тем —
Как будто впереди еще полвека.

Завет вот самый лучший: бойся неба
И жизнь люби!

(Вакхилид,
последний из «девяти лириков».
V век до нашей эры)

— Это так прекрасно, что однажды увидевший уже не может стать несчастным до конца.

Какая мысль! Она больше, чем даже утверждение: красота — счастье.

По-видимому — и тем поразительнее! — то было широкое народное убеждение.

Поэтому искусство греков — всегда *народное* искусство. Всенародность — главный критерий его. Вне этого оно не имело смысла, просто не могло существовать.

Таков основной факт, без которого не понять греческого искусства.

Таким воздвигали Акрополь.

Дошли надписи-отчеты, показывающие громадность затрат на него: за десятилетие — с 447-го по 438 год — на постройки издержали три тысячи талантов. А до начала Пелопоннесской войны, до 431 года, еще четыре тысячи.

Деньги в Древней Греции измеряли весовыми единицами. Талант весил в те времена в Афинах двадцать шесть килограммов с лишним. Двадцать шесть килограммов серебра — это, считают, две тысячи четыреста золотых рублей. Деньги были, кроме того, чрезвычайно дороги: за полтораста лет до Перикла, по таксе Солона, бык продавался за пять драхм. В таланте шесть тысяч драхм.

Акропольский гид, маленький, с быстрой речью и такими стремительными жестами, что худоба его беспокойного тела кажется совершенно естественной, объясняет, перескакивая с греческого на английский: одежда Девы заключала сорок талантов золота.

Целая тонна золота!

Но на туловище Девы оно распределялось пленкой в миллиметр толщиной. И одежда снималась. Каждые четыре года ее взвешивали: цела? Она покрывала деревянный остов с тонкими пластинками слоновой кости. Статуя Девы обошлась еще в полтора раза дороже, чем весь Парфенон!

Так объясняет гид на том самом месте, где стояла Дева в Парфеноне.

— Акусити! — говорю я. Мне хочется отозваться словом, своим для этого места. К сожалению, что́ я знаю, кроме вот такого восклицания удивления: «Вы только послушайте!»

— Следовательно,— вдруг дополняет гид,— эта съемная одежда не была чистым расходом, но запасным золотым фондом Афин.

Все строилось как бы для вечности. Летели столетия. Во втором веке нашей эры, то есть через шестьсот лет, молодой человек, Павсаний, должно быть лидиец, из Сипила или Магнесии, а возможно, выученик палестинско-кесарийских риторов, обходил Грецию. Не восторг путешественника руководил им. Павсаний задумал составить «Описание Эллады» — путеводитель и каталог достопримечательностей. Писать раньше он не пробовал; но ведь даже и славнейшие с чего-нибудь начинали. Ничуть не смущала его и необъятность темы. Если все разбить на маршруты...

Щуря наивные, невозмутимые глаза, он вглядывался в плиты, исчерченные замысловатыми письменами староаттического алфавита, треножники и колонны. И все трудолюбиво заносил на памятные таблички. Так он учился своему ремеслу. Вторая книга получилась глаже первой. Десятая выйдет еще лучше. Не боги обжигают горшки. Павсаний полон здравого смысла. Он отнюдь не доверяет россказням. Конечно, боги дают ему указания во сне,— этого следовало ожидать, принимая во внимание важность для самих богов предпринятого им дела. Но верить, например, что оборотнями кишат дороги даже в Фессалии, где полно колдуний,— какой вздор!..

И все-таки сама живая плоть Эллады стала видимой нам именно благодаря простоватому, неутомимому Павсанию.

Он подымался в Акрополь; с Афин он, конечно, начал. И рассказал нам о толпе мраморных, бронзовых (медных) статуй между храмами. Статуи ставила общинная знать, их воздвигали как подношение. У Пропилей, за конными фигурами Диоскуров, посетителя приветствовали хариты (их приписывали резцу юноши Сократа). Священную дорогу обступали боги, герои. Диитрефа пронзали стрелы. Персей держал голову Медузы. Геракл попирал извивы дракона.

Мифические женщины несчастной судьбы — Каллисто, Ио — и медный троянский конь виднелись посреди монументов знаменитых граждан, военачальников, законодателей и поэтов. Тут был не только Перикл, но и отец его, Ксантипп. Высились сюжетные группы: Афина и Марсий, Тезей и Минотавр. Фрикс, сжигающий на жертвеннике чудесного барана, перенесшего его в Колхиду. Перечень растянулся у Павсания на пять глав. Тесно, должно быть, сделалось на узкой скале!

Но истекали сроки великого языческого мира.

С 394 года нашей эры больше не устраивалось Олимпийских игр — оборвалось летосчисление, охватившее 1170 лет, со времени первой Олимпиады.

В 426 году на римскую провинцию Ахайю, некогда Элладу, уже ограбленную Суллой, истерзанную нашествием вестготов, обрушился жестокий удар. Эдиктом Феодосия Второго повелевалось истребить все языческие капища. Была сожжена и разрушена Олимпия — неприкосновенная общегреческая святыня с ее изумительными храмами, сокровищницами городов и тремя тысячами статуй. И место, где она стояла, занесла илом и песком река Алфей.

Афину Деву из золота и слоновой кости с деревянной сердцевиной, простоявшую в Парфеноне больше восьмисот лет, увезли в Константинополь; там ее потом уничтожат крестоносцы.

Парфенон — церковь, сперва святой Софии (Премудрости божьей), потом Пресвятой богородицы. Колонны соединены стенками. Центр скульптурной группы восточного фронтона варварски пробит окном. Венецианец Морозини снял четырех бронзовых коней Посейдона, чтобы поставить на соборе Святого Марка.

Тысяча четыреста пятьдесят восьмой год. В Афины входят турки. И через два года Парфенон — уже мечеть.

Он все еще цел. Таким он оставался и три столетия назад в 1674 году, когда художник в свите посла Людовика XIV при турецком дворе зарисовал его.

Он простоял больше двадцати одного века, пока не наступил черный день 26 сентября 1687 года (то есть уже во время молодого Петра у нас в России). Еще одна война и осада. Турки хранят в Парфеноне порох, и венецианская бомба взрывает всю середину здания.

Отныне это руина. Но как еще сказочно богата она! Предводитель венецианцев Морозини хочет, по примеру своего предка, тоже увезти коней. Он избирает колесницу Афины. Под ударами молотов рушатся фигуры западного фронтона, разбиваясь вдребезги.

Чего дивиться? Через сорок лет не воинственный, славный своей родословной дож, а ученый аббат Фурмон, роясь на средства Парижской академии надписей в древностях Спарты, подделывает и перевирает надписи, затем он истребляет памятники. Так спокойней: потомки не уличат. «Я приказывал не только ломать, но и раз-

рушать. От этого великого города нет камня на камне...» К счастью, это все-таки хвастовство — непостижимо циничное!

Помните, в «Майской ночи» Левко указывает ведьму, скрывшуюся между девушками-русалками? Сейчас здесь, на Акрополе, мы в положении Левка. Между шестью корами Эрехтейона одна — ведьма. Подмененная и украденная Эльджином.

Порта не посмела отказать лорду, толковавшему о Фидии и Фемистокле, в просьбе «взять некоторые камни» — и нанятые им толпы принялись целый год выламывать фронтонные статуи, метопы, плиты, фризы. Лорд раздел руину так, как этого не смогли сделать варвары, христиане, турки и венецианская бомба.

Доносится дружный стук молотков. Около храма Ники работают мраморщики, каменотесы, все время идут реставрационные работы. Нас приветствуют, подымая руки.

— О! Друзья! Знаем: вы — друзья!

Что они могут подарить нам на память, рабочие люди?

Подарок их бесконечно ценен — весь в сахарных блестках пентеликонский мрамор, мрамор Акрополя!

Сейчас, когда я пишу это, три белых кусочка лежат передо мной на столе,— они отвечают тусклому дню «сиротской зимы» солнечными искорками, как и тому залитому жгучим блеском дню их родины... Я навсегда сохраню их — пусть это «молодой» мрамор и в нем еще нет «патины» проступивших от времени железных солей, которая сообщает неуловимо медовый оттенок колоннам Парфенона.

...Вытянутый, гигантский четырехгранник стен замкнул меня в своем внутреннем просторе. Просторе и особенной тишине. Как будто ничего не долетает снаружи. Свой, особенный мир очерчен этими стенами с провалами, проломами, выщербинами. Не мертвый, не безмолвный мир. Ветерок чуть шуршит суховатой травой, едва звучит в щербине. Шаги раздаются по камню. Бабочки, желтые, как бы вырезанные из одного куска, с двумя хвостиками сзади, деловито, бойко и высоко летают, но странно — кажется, ни одна не вылетает наружу, и там нет таких, это здешние бабочки.

Я прохожу меж колонн наружу, сажусь на ступень; она широка, как стол, нижняя обломана, сидишь именно как на столе — ноги свисают свободно.

Впереди серый Пникс, где раз в десять дней собиралась экклезия — народное собрание. Загородным крестьянам приходить далеко, да и не с руки, занятым, кто победнее, тоже не бросить своего дела — вот и сходились тысячи две-три из тридцати тысяч свободных и из ста или полутораста тысяч всех живущих в городе, сходились, считались «народом» и решали все дела.

Неподалеку и желтый утес ареопага — там была опора власти знатных, аристократии, и высший суд. На камень непримиримости становился обвинитель, на камень обиды — обвиняемый.

А кругом, насколько хватает глаз, раскинулся серо-желтый, словно выжженный солнцем город, вставленный в выжженную землю, тот, что назывался некогда «фиалками венчанным». Где, если глядеть отсюда, шумливая пестрота его, яркость оперения?

3

Все домики с плоскими крышами. Бело-желтые кубики. Но возятся у дороги полуголые дети. Доносится нищий запах кухни. И, владычествуя над дорогой, беря в плен зрение, высятся и тянутся каждая на десяток метров надписи отнюдь не греческими буквами, точно громовые восклицания: «Шелл!! Дженкинс!!!»

Утром я был в Национальном музее. Мне кажется, до того я плохо представлял себе истинный характер верховного искусства Древней Греции — античной скульптуры.

Но тут, на дороге из Афин к древнему и славному Элевсинскому заливу, впечатление это куда-то отступило. Возникли и борются с ним другие. И настойчиво возвращают мою мысль к беглому, неожиданному разговору с акропольским гидом.

Официальный осмотр закончен — он все показывал и объяснял с гордостью, ясно сквозившей в его быстрых жестах. Потом он потер друг о дружку маленькие, сухие руки, как рабочий, остановивший станок, как врач после операции. Мы шли по открытому месту между Парфеноном и Эрехтейоном к Пропилеям. Белые раскиданные камни усеивали все. Тут и произошел этот разговор. Я упомянул о фестивале драмы и Эпидавре. Софокл («Антигона», «Эдип»), Еврипид, Аристофан в подлинном древнегреческом театре!

И вдруг гид поразил нас.

— Школы,— сказал он,— переобременены грамматикой Гомера и Драконта. Шелухой.

— Это же *ваш* язык!

— Нет. Слишком много умершего языка. Я бы срезал все эти обязательные уроки. Пусть наши мальчики... Я бы учил их жизни.

Мне показалось это бунтом против своей профессии. Позднее, в Париже, мы слушали юную экскурсоводку, которая с воинственностью весьма зеленого возраста так аттестовала какой-нибудь монумент:

— Рухлядь, которая сегодня никого не может обмануть.

В тот момент на Акрополе я понял, что слишком славное прошлое, громоздящееся над настоящим,— это гордость и это бремя.

А сейчас, на дороге в Элевсин, я отчетливо чувствую связь между словами гида и нищим запахом, голыми детьми у дороги, оглушительными чужими вывесками поперек желтой, обожженной земли.

Той земли, из которой далекими предками ее нынешних жителей высечена, как искра из камня, дивящая до сих пор мир и многими признаваемая высшей красота!

Она была чудом своего времени, не о чем спорить.

Но, спрашиваю я теперь: *что* же она в наши дни, на какое место претендует, сколько весит вот сегодня, здесь, в кипучем нашем мире?

Я вспоминаю некоторых своих друзей, людей чрезвычайно ученых и — да простится мне — простодушных: они попросту не поняли бы такого вопроса, отвергли бы его законность. «Необходимо мыслить исторически»,— снисходительно посоветовали бы они.

А с другой стороны, сотни разноязычных книг (в том числе и русских, по большей части из тех, что печатались еще с ятями и твердыми знаками) настойчиво сыпали словами: «Недосягаемые образцы». Я всегда спотыкался на этих словах, как на ухабе...

А ты, спрашивал я себя, вот ты сам, скажи честно, чувствовал бы ты себя достаточно уютно посреди двускатных кровель даже Периклова Акрополя? Твой глаз и сердце — разве не затосковали бы они и по суровым плоским звонницам Новгорода, и по парчовым шатрам Василия Блаженного, и по ратуше в стрельчатом Таллине, единственной в мире дуге Главного штаба перед Зим-

ним, и, прежде всего, первее всего, по словно парящей над великим городом ровной гигантской площади с ее архитектурой садов, цветников и дорог, за которой к самому небу поднялся Университет, справа — исполинский уступ Юго-Запада, а впереди, внизу, река, за рекой стадион имени Ленина и неохватная, до всех краев кругозора, дымка Москвы!

Всемирно знаменито мерило древних для человека: «Калос к'агатос»,— что лучше пересказать тремя словами: прекрасный, здоровый, доблестный. Но вспомни, говорю я себе, как добивались вот этого в Спарте, умерщвлявшей младенцев, не подходящих «по кондициям»!

Смерть, легкая кровь, казнь, нередко, по игривому наименованию правоведов, «квалифицированная»,— как часто входила она грозным коррективом в тот мир! Торквемада, усмирители крестьянского восстания Томаса Мюнцера с их кипящими котлами, кровавыми подземельями и раскаленными тронами превзошли древних в дьявольском искусстве истязания. Однако, мне думается, даже организаторы Варфоломеевской ночи сохраняли в какой-то извилине мозга сознание, что ими преступается некая норма. Иван Грозный писал синодики и бил поклоны во власянице.

Тридцать тиранов в Афинах предали во власть произвола все население, весь народ, кроме трех выделенных тысяч, и за восьмимесячное свое господство попросту уничтожили полторы тысячи одних «свободных» — кто считал рабов! А глава тридцати Критий был каким-никаким, но учеником Сократа.

«Вечные идеалы чистой красоты, завещанные греками...» Так начинали учить с третьего или четвертого класса гимназии.

Не потому ли, продолжал я допрашивать сам себя, спотыкался ты тут, как на ухабе, что видел перст, умиленно указующий в непроглядную глубь минувшего, и затылок, каменно обращенный к сегодняшнему дню и к будущему? Нелегко поверить в такие попятные законы жизни красоты!

А в самом этом превозношении великого, но мертвого и, значит, уже безобидного разве не слышалось — положа руку на сердце — поток чрезмерности, все нараставших при многовековом, традиционном повторении?

Иногда это видно очень ясно. Ну, скажем, кто сейчас безоговорочно присоединится ко всему, что написали

Винкельман и Лессинг о группе Лаокоона? Обнаженный отец, уравновесивший закинутую голову выдвинутой грудью и коленом, два уменьшенных человечка, симметрично удушаемых змеями по сторонам,— слишком они все трое заботятся об округлой пластике жестов и «сопоставлении масс» за несколько мгновений до гибели!

«Не хватит современников и потомков, чтобы правильно истолковать такое чудо искусства»... Как трудно связать эту фразу старого Гёте с реальной помпейской мозаикой, изображающей сражение Александра Македонского с Дарием,— я знал ее с детства по учебникам и книгам, проедина, оторвавшая половину туловища Александру, рисовалась мне многоруким чудовищем, ворвавшимся в битву.

Гёте еще был жив, когда Стендаль прогуливался со своими воображаемыми спутницами по Ватикану. Он остановился перед Аполлоном Бельведерским, одной из знаменитейших статуй мира, может быть, лебединой песней греческой независимости. Стендалю вспомнилось Винкельманово описание статуи. «Это немецкая высокопарность,— вынес он приговор.— Зачем вменять себе в обязанность восхищаться Аполлоном? Почему бы не признаться в том, что «Персей» Кановы доставляет гораздо больше удовольствия?»

Стендаль больше всего опасался плена чужих мыслей. Он упорно шел всю жизнь в стороне от торных литературных дорог времени. Он нашел в самом деле поражающую свободу от предвзятости и новый плен — плен тесного круга собственных неподвижных представлений. Они касались пружин общества и истории, кодекса чести, шкалы национальных характеров, «геройства» и «лакейства», сладости жеманной музыки восемнадцатого века и чистенькой живописи непременно в рафаэлевском духе, всеоправдывающей страсти, тщеты изощренного стиля в книге, а также гения императора Наполеона — воспоминания молодости Анри Бейля.

Так или иначе, пластические позы античных статуй мне казались подчас однообразными — нельзя ли составить их набор? Головы отклонены влево, на лицах смех, боль, а чаще нерушимое, мраморное спокойствие,— это или любующееся собой тело, или маска страсти, обобщенной и отвлеченной, но что она говорит мне о переживании именно вот этого человека, которого хотел

изобразить скульптор? Интуиция тела очевидна — я не улавливал интуиции духа.

Я был готов предпочесть мрамору терракотовые статуэтки — те грошовые изделия из обожженной раскрашенной глины, игрушки, что изображали кокетливых девушек, придерживающих подол одежды, в шляпках, до удивления похожих на модные у нас несколько лет назад, цирюльника с его клиентом, хлопотливую хозяйку или уличных сорванцов. И какое изящество во всем! Просто, непринужденно, *прекрасно,* безо всякой излишней связанности, без чрезмерной озабоченности композицией, поисками центра тяжести.

Я простаивал перед стеклянными шкафами в Эрмитаже. Там на крошечную прямоугольную плитку присел чудесный фанагорийский сфинкс с лицом красавицы, крылатый и пестрый, как птица. Куколка Афродита выходила из двустворчатой раковины. Темнела статуэтка юноши, вольно вдохновленная Праксителем. Находки в городах и степях нашего юга...

И вот я побывал в Национальном музее. Он не показался мне особенно изобильным по сравнению с анфиладой залов в Эрмитаже.

Но за окнами белый огонь аттического солнца, и ты, далекий гость, должно быть, сам иначе смотришь на то, что создано для этого солнца и для земли, где ты очутился.

Музеи мира в основном заполнены римскими копиями; греческие подлинники, можно сказать, впервые передо мной.

И какие подлинники! Их еще недавно никто не знал на свете.

В течение веков погребенные сокровища искали в земле. Совершилось нежданное: разверзлось море. На рубеже столетия мир облетело: «Находки возле острова Антикитиры». Внезапно резко расширилось самое представление наше о древнем искусстве.

Грецию обирали; воровски уходили корабли с награбленным. Диктатор Сулла торопился украсить свои виллы. Но бог морей Посейдон не раз вступался за страну, о которой он спорил с Афиной: пучина эллинских морей поглощала драгоценный груз, не давая его вывезти.

Ловец губок вынырнул,— он крикнул, задыхаясь, что в глубине торчит из ила черная, скрюченная рука.

Простые моряки, жители прибрежных городков и деревень, для которых волны — второй дом, добровольцами приняли участие в спасении тысячелетия назад утонувших сокровищ. Их покрывала громадная толща воды — люди расплачивались здоровьем, даже жизнью. Правительство награждало энтузиастов грамотами. На поверхность подымали медь, бронзу, разъеденную солью, покрытую слизью, обломки в ржавых бородах водорослей.

Так стой же. Гляди. Пред тобой Посейдон, в 1928 году восставший из вечной, казалось, могилы,— статуя, полная мощи, но не скованная броней тяжеловесного величия. Человек словно мгновенно схвачен в смелом шаге; никакого трезубца; великан, главарь не медлит, не позирует,— ловко утвержденный на двух точках, он грубо, непобедимо, с выставленными локтями, устремлен вперед. Куда он торопится? К друзьям-воинам, ждущим у костра? Капитаном — на шаткую палубу триеры? Устрашить врагов? Всколебать море?

Свобода и этот удивительный шаг!

Море возвратило Гермеса,— ни крылатых сандалий, ни каменной бороды придорожных герм, ни хрупкой стройности мальчишеского тела. Он хочет произнести речь! И вспоминаешь, что бог-вестник, бог-торгаш, бог-вор, бог-шатун — он же ведь еще и бог красноречия!

Персея сочли сначала за Париса или тоже за Гермеса; некоторые находили — он прекраснее Праксителева.

Портретность — удел римской скульптуры, греки «возвышали» и «обобщали»: почти общее место! А здесь юноша, который никак не «вообще юноша». Я не поручусь, что он со своими мелкими чертами небольшого лица соперник Антиноя. Но как настойчиво впечатление, что он обязательно хочет что-то сказать и я (даже сегодня, когда пишу это) узнáю его на улице.

А это кто? Какой неприятный, ядовитый старик с колючими буравчиками почти пылающих глазок,— они недобро следят за тобой на черном лице из-под спутанных, диких волос. Греческая и французская надписи поясняют: философ. Чему же учил он?

Два человека, два бойца. Лицо одного поднято кверху, он смотрит на врага, он ранен в ногу и ждет смертельного удара. Ужас, мольба на этом лице? Нет. Мольба тщетна. Пощады не будет. Победи он сам — он так же

добил бы поверженного. Улыбка, жалкая, но все же улыбка. Ты знал — жизнь такова, вот и случилось с тобой...

Глубь тысячелетий. Древность для всех этих древностей. Взявший приз на Олимпийских играх, очевидно на одной из первой полусотни олимпиад. Еще не мрамор. Но на песчано-теплом, с блестинками, почти геометризированном теле уже живут бедра, икры, живот, руки, трапеция груди.

Фигурки-уродцы: горб выпер в небо, рот разинут ложкой, непостижимо преувеличены члены... Да ведь это Аристофан, его зычная комедия, остроты, способные сшибить с ног быка, взлетавший от подножия Акрополя, из театра Диониса, гогот, от которого покрывались румянцем костяные щеки Девы в ее высоком храме. Это аристофановская неистощимая изобретательность в излюбленном приеме «материализованной метафоры»: соглядатай в его комедиях выведен в виде гигантского глаза, договоры разливаются на пробу по бутылкам, герой ищет ложку, чтоб снять пену с клокочущего демагога!

Не там ли, где видны полукруги скамей театра Диониса, не там ли, если верить Элиану, выпрямился во весь рост и так до конца простоял Сократ, чтобы гогочущая толпа видела, кого осыпают грубыми насмешками, чьи речи издевательски коверкают и передергивают актеры в масках, играющие «Облака» Аристофана?

Пестро-крикливая, пристрастная, горькая и сладостная жизнь, и нет на ней мертвых оков, она живая, как была!

Греки завещали последующему миру нагую скульптуру. Но когда скульпторы новых веков населяли мраморными голыми людьми музеи и парки (иногда в стыдливом недоумении снабжая их все же фиговым листком), они ошибались, полагая, что поступают в точности так же, как античные учителя.

Древние статуи не имели в виду поразить смелым контрастом разодетую толпу, отделить правду искусства от правды жизни, тем более кого-либо эпатировать и показать то, что скрыто. Нагота гораздо естественнее входила в обиход, чем теперь. Примерно с 700 года до нашей эры ввели полную обнаженность во время всех спортивных состязаний [1]. Итак, это просто реализм.

---

[1] Натирались оливковым маслом, после состязаний соскребали его скребком, как делает Апоксиомен Лисиппа.

Верность действительности (в прямом смысле слова) — вот и открытие, и верховный закон греческого искусства. Увы, этого никак не оспорить сторонникам переплавки мира в кубистических мозговых тиглях! Знаменит рассказ о соревнованиях Зевксиса с Паррасием: виноград, нарисованный Зевксисом, будто бы клевали воробьи (так он похож — вот, пусть наивный, смысл рассказа), а сам Зевксис попросил своего соперника откинуть полотно, открыть картину, но нарисованное полотно и было картиной.

И при всем том никому не придет в голову говорить о натурализме греков. «Эти тела кажутся простым слепком с натуры, но кто видал такую натуру?!» (Даннекер). Какая точная характеристика эллинского искусства!

Главным для греческого искусства был Человек. Пусть телесный человек: оно открыло божественность тела. Следовательно, божественность и этой, нашей, земной жизни.

Человек греческого искусства менее всего одиночка. Люди (и боги) живут, действуют, воюют сообща. Так поет «Илиада». Скульпторы высекают ленты фризов. Но те, кто изображен там, как правило, герои. Вольное сообщество героев. У каждого свое имя. О каждом может быть спета песнь «Илиады».

...Переходя из залы в залу замечательного музея в Каире, с особенной отчетливостью видишь, понимаешь тот как бы двойной след, который оставил в искусстве древний Египет. Оцепенелая застылость, подчиненная сложным, безотменным правилам, колоссы, давящие каменной мощью. И рядом — изумляющая, беспощадная точность в изображении быта, повседневности, «выхваченность из жизни». Эти фигурки, вырезанные с какой-то почти предельной тонкостью и правдой, вовсе не манекены. У каждой свое, живое лицо. Тут даже не портретность, а фотографическая достоверность. Удостоверение факта: кого ты видишь, в самом деле жил. Жил-был и прошел, как дым... Имя? Сохраняется иной раз и имя. Но большой важности в нем нет. Тоже прошло, как дым. Только факт. Не герой. Не перевернул никакой новой страницы. И убеждаешься, что справка «был» парадоксальным образом не увековечивает то в Человеке, что звучит гордо. Бесценное и бессмертное значение его неповторимо индивидуальной жизни...

В золотую пору эллинского искусства существовал ваятель, видимо неплохой, старший современник Фидия — Каллимах. Его резец грыз камень с неутомимым тщанием.

Он еще больше украсил кудрявую коринфскую капитель. Вычеканил золотой светильник. Александрийские века упадка дивились нечеловеческой тонкости его безошибочной работы. Но современники, люди «золотого века», непочтительно наименовали Каллимаха «Какизотехнос», и именно это — *дурной художник* — донесли до нас вместе с именем Каллимаха столетия.

Многозначительный факт! Разве подымались и к вершинам литературы все выгладившие, все выверившие в своих писаниях, на радость академиям и редакторам: «Вот это еще уберем — видите? — чтобы читатель не споткнулся!» Нет, свой след врезали люди зачастую грубой, шершавой, во многом неправильной в школьном, но тем более прекрасной и верной в высшем смысле речи, не рабы, не первые ученики, а хозяева языка.

Однажды смех Пушкина поразил графа и светского писателя Соллогуба. Соллогуб рассказал, как это случилось. Одоевский на Невском допытывался у Пушкина мнения о своих «Пестрых сказках».

— Писать такие сказки чрезвычайно трудно,— добавил он со скромной и ученой важностью.

Разошлись. И Пушкин расхохотался «звонким, можно сказать, зубастым смехом, так как он выказывал тогда два ряда белых арабских зубов».

— Да если ему так трудно, зачем же он писал!

Смех Пушкина смутил многих. Один пушкинист добросовестно порекомендовал мне:

— Да вы попробуйте изучите его собственные черновики. Я не знаю, это же надо понимать, конечно, совсем в другом смысле...

Именно в другом. И нам не мешает почаще вспоминать об этом пушкинском смысле — он же античный смысл.

Не чертеж, не выверка, не симметрия, пусть золотое сечение, но не по логарифмической линейке взятое (о чем забывают), а свободная асимметрия, игра частей и членений, легкие отступления, почти невидимые, но спасающие от оцепенелости, математической точности,— вот в чем сила, естественность и свобода классики.

Свое она сказала. Другое скажет последующее искусство. Наше искусство. Прогресс в искусстве редко касается технических улучшений уже созданного. Он совершается за счет включения новых, неведомых прошлому (даже гениям его) пластов человеческого опыта, расширения мира. Былое искусство, на какой бы высоте оно ни стояло, ничего не может исчерпать.

Сменялись века — зажегся взор в незрячих до того глазницах статуй; жизнью с юдолью ее дрогнет мраморная пустота божественных щек.

Чего все-таки нет и в Гермесе Праксителя (возможно, изумительнейшем воплощении цветения юного тела), в нежном лице лемниянки, в лице побежденного бойца, смотрящего в глаза смерти,— это мечты и порыва, страстной сосредоточенности Родена. И не найти там тем более «интуиции духа» человека новой, нашей эпохи, когда видны такие бездны вселенной и решаются такие судьбы земли, о каких никогда прежде не грезилось человечеству. Тут немо любое прежнее искусство. Ждите ответа, требуйте его от искусства своего.

4

Мы едем священной дорогой Эллады.

Толпы собирались за Дипилонскими воротами в Афинах, возле слободы гончаров — ее звали Керамик,— на древнем кладбище (которому и в эпоху Перикла было восемьсот лет), во дворе громадного здания. Осеннее шествие великих элевсиний двигалось медленно, несли изображение Иакха — «подземного» сына Зевса,— останавливаясь на памятных местах скорбного пути Деметры, искавшей дочь, похищенную черным загробным Аидом. Переправлялись через полупересохший Кефис, где Тезей убил Прокруста.

Чем были эти прославленные, тайной окутанные мистерии?

С возлияниями и торжественными жертвоприношениями, ритуальными плясками, священными трапезами, венчавшими голодный пост, в багровых бегающих отблесках факелов, с глухими ударами инструментов и внезапным светом посреди давящего мрака — рассказывалось в них о вечном обновлении природы, о пробуждении от смертного сна, о древних земледельческих божествах.

Покрывало, накинутое на посвящаемого; жрец со взятыми сзади в узел волосами, в вакхических одеждах; череда устрашающих испытаний: пусть душа, потрясенная ужасом, экстазом и надеждой, приуготовится к тому, чего нельзя знать и видеть простому смертному,— к мистическому зрелищу посмертного мира.

И в поисках этой надежды тысячи людей припадали к элевсинским таинствам.

Иерархию жрецов из поколения в поколение возглавлял Эвмолпид. Начало рода Эвмолпидов уходило в мифический туман. Это право принадлежало, в частности, и Гераклиту-философу, тот уступил его брату. Осколок давно исчезнувшей родовой патриархальности свято хранился в Элевсине.

А посвящения могли добиваться все. В эти осенние дни во всей Элладе устанавливался недолгий «божий мир», стихал лязг оружия, по священной дороге шли граждане и метеки, мужчины и женщины, свободные и вместе с ними — единственный случай в Греции — рабы. Если «чисты от крови»: словно общеэллинская отдушина!

Вот Элевсин.

Ложбина под горой усеяна плитами, цоколями, поверженными ребристыми, распавшимися на круги-барабаны стволами колонн, стоячими камнями с вертикальными желобками — точно мраморными костями. Плоская, узкая кровелька нахлобучена на низенькие воротца. Торс рвется из объятий вертикального каменного кольца.

Здесь родился Эсхил.

На горке башня с часами, какие-то современные здания, церковь,— кажется, монастырь.

Я присаживаюсь у самого склона, сбоку от меня пещерка с глинистыми краями. Я слышу объяснения, что именно сюда, в эту дыру, землянную яму, исчез Аид, схватив Кору-Персефону.

Иссушающий жар и в тени, все точно облечено тусклым пламенем. Мою руку, которой я коснулся подсохшей травы, сорный кактус осыпал сотней колючек.

Спереди, из выложенного кладкой прямоугольного углубления, может быть храмового подземелья, где совершалась самая грозная часть мистерий, доносится бас

рослой женщины. Она говорит уверенно и смело, не так, как обычно гиды,— у нее свои слова, свои мнения об этих костях мертвого города.

Резкая, басовитая речь, некрасивое, грузное, породистое лицо с отвислыми старческими брылями вдруг напоминают мне толстовскую Марью Дмитриевну Ахросимову, которая обещала Наташе морковного мороженого.

Старуха прерывает себя:

— Так цело... цело все? И Зимний дворец... Эрмитаж? И Василий Блаженный? Господи, что же говорили... писали?!

Я не поверил бы тому, что и сейчас в европейской стране люди могут говорить о «разрушении большевиками» дворцов, музеев, замечательных храмов Москвы, Ленинграда, не поверил бы даже и газетной статье, что возможна такая дезинформация, такой — все эти годы — «железный занавес», если бы не слышал сам, собственными ушами.

— Я оставила на родине молодость, сердце и Медного Всадника,— произносит она — и сразу чувствует неестественную манерность фразы, беспомощно умолкает.

Я ищу и снова нахожу старуху, когда на обратном пути мы остановились у византийского, с черепитчатым куполом храма Дафни. Почти тысячелетняя жизнь еще теплится в тяжеловатом, скалоподобном здании, совершаются службы, но внутри — гулкость, нежилой запах. Одиноки и никак не связаны с этой пустотой неожиданно яркие, все в золоте, праздничные мозаики, они способны вовсе разрушить представление о сумрачности византийской иконописи.

— Взгляните,— втолковывает старуха, в одном из притворов рокочет ее грудной бас.— Это еще не богоматерь: та же Афина. Ей нет дела до ребенка. Она сама по себе: богиня. А на руках у нее не младенец: они не изображали детей, просто уменьшали взрослых. Вот смотрите — введение во храм. Идет девочка — сколько ей было? Восемь-девять лет? У вас свои дети: это же просто крохотная женщина! Я читала, и вы читали: к нам в религии все пришло из Греции, из Византии. Неправда! Наши иконописцы сами создали это тепло: мать и дитя. Русские.

Что такого она сказала, что вспомнила, отчего на глазах ее старческие слезы? *Наши. Русские.*

Кто-то помогает ей:

— Хлопочите, можно вернуться.

— Поздно, дружок! Мне поздно. Я стара, очень больна. Я уж во сне вижу... сказка. Никому не говорите. Простите.

И, махнув толстой рукой, она повертывается к стене, мнет платочек у лица.

1956—1957

АРИОН

Он сбежал, почти скатился по крутизне к морю. Дышал шумно, взахлеб, силы сразу иссякли — его свалил бы и скрутил ребенок. Кактусы ожгли тысячей жал руки и ноги. Вдруг, как в первый раз в жизни, он увидел морскую воду. Она была здесь будто налита в сосуд с песчаными стенками, прозрачно-выпуклая, с голубиным голосом, по его звуку вспархивала и начинала сновать на дне сияющая стая крылатых рыбок.

Он вбежал в море, в пляску их, и, охваченный свежестью, тер и скреб себя, пока не сошли кровавые пятна; пригоршнями морского песку оттер скинутую одежду.

И рухнул на берег.

Мало-помалу сила его очнулась в нем.

Он поднял голову и прислушался. Голубиный голос говорил сам для себя и для сияющих, колеблющихся крылатых стай на дне. И странное дело, этот воркующий, что-то твердящий с ровными замираниями голос отделял незримой завесой свой морской дом ото всего, что наверху. Словно внятно очерчивал круг. И человек вдруг почувствовал, что то́, верхнее, наконец отошло от него.

Он сел и, нагишом, стал обирать мельчайшие, бессчетные иглы, от которых горело тело. Рана же сочилась слабо.

Огляделся. Неясно вдалеке вырезался черно-фиолетовый мыс. Но за оконечностью его блистало второе море. А за тем морем, на синем, как небо, серпе земли, в гнезде между гор белел город.

Город, где уже сегодня или завтра утром должны встретиться с ним, отыскать его.

Подземный крот, прежде он никогда не добирался до мест, где показывался этот город. Он смотрел на него,

прищурив глаза от яркого света. Видел башни и стены, потопленные в серебряной пыли. Вон он, город. Таким ли воображал он его в своей мечте?

Но разве и полоска, то клейко-густая, то кипящая посреди скалистых зазубрин,— та далекая полоска, которую иногда он видывал, походила на это вот море с голубиным голосом, с властно очерченным кру́гом своей, особой жизни?

Он промыл еще раз живой водой неглубокую рану, кривясь от боли. Поправил перстень на безымянном пальце левой руки, старательно замотал шею, покрыл голову и, надевши высохшую одежду, обувшись, зашагал по берегу.

Фиолетовый мыс менял цвета. Исполинская, уткнутая в море морда позеленела. Шлем на ней отлил желтизной. Зубчатый хребет сделался чешуйчато-ржавым. Уже ясно различался облик чудовища. Одного из тех, про которых говорят, что, пораженные стрелами бога, они застыли окаменелыми остовами.

Песок под ногами исчез. Приходилось перескакивать с глыбы на глыбу. В осыпях слоистых, угольных обрывов вязли ступни. Подушки водорослей гнили в желтоватых пузырях пены. Острый запах разложения щекотал ноздри. Под мысом не шелохнулось умершее море.

Человек остановился. Голод, про который он забыл, высверливал своим буравчиком желудок, кишки. Жажда опаляла зев.

Отвесная стена, вступив в мертвую воду, преграждала путь.

Тогда, решившись, он стал карабкаться наверх, цепко ухватываясь руками за слоистые, сыпучие выступы, то и дело сползая назад. «Во что обратится это одеяние!» — подумал он.

Перекинул тело на узкий карниз дороги. Вырубленная в горе, она повторяла ее изгибы.

Донесся топот копыт, стук, тарахтенье... Как тесно! Встречным не разминуться. Он вжался в горную стену. Мимо, чуть не по ногам, с гиканьем и щелканьем бича, стоя на двуколке, пролетел человек со схваченными шнурком волосами, с мелко завитой бородой.

Странник подумал, что это царь.

«Что ждет в том городе?» — спросил он себя.

Сразу ли встретят его? Найдет ли он вообще, кого ищет? А если не найдет... Кто он в городе, враждующем с его городом?

Безродный чужеземец... Пленник без выкупа. Раб!

Он невольно коснулся шеи.

А если сорвут то, чем он прикрыт?..

Вражда между городами отступит перед общей враждой к нему. К такому, как он. С кровью, что на нем. И с какой кровью!

Он захохотал, громко и грубо. Бредни! Знак дан. Встретят! И никаких городских дел он не коснется — гость ненадолго... Кивком он словно наперед поблагодарил за гостеприимство.

Тем более что и путь остался один, узкий, как эта дорога. С него уже не сойти.

Вот и сегодня, вот только что легли на него еще три трупа. Друг-товарищ, который до конца оставался рядом. И двое последних преследователей, самых упорных: сейчас они лежат головами в разные стороны и промолчат о том, что видели, и пища их — дорожная пыль...

Пища... А голод отложил свой буравчик — теперь он припал тощими губами, чтобы сосать под сердцем, высосать внутренности, кишку за кишкой; человек стал пустотелым. Пустое тело испепеляющим огнем с неба сжигала жажда.

А он все шел в сухом треске цикад.

2

Две накатанные колеи ответвились вниз.

Стояла фигура шершавого камня, чуть искрошенная, в полинялой раскраске. Бродили козы.

Но он услышал только журчанье воды.

На собачий лай поспешно вышел человек с мелко завитой бородой.

— Честь тебе, путник,— сказал он.— Я ждал тебя.

— Пить... Дай мне пить.

— Все, что у меня в доме, твое. Кто ты?

Вода стекала в выложенный камнями бассейн. Не отвечая, гость нагнулся, лег, упал на край его. Хозяин, слушая звучные глотки, швырнул в собак комком глины.

— Войди в мой дом. Поешь. Кто ты? — повторил он, когда гость отер лицо.

— Рассказ долог. День короток.

Но хозяин, суетясь, уже вел незнакомца к дому.

— Грозны боги,— бормотал он.— Вижу: дивная одежда в пыли, изодрана. И проступила кровь... Извини, не остановил лошадь. Не смел, ты не подал знака. Поджидал тебя здесь.

— А ты кто? — перебил гость. Он бросил думать про царя.

— Живу... У меня козы. Филот, сын Флегонта. Маслины, полсотни лоз. Все, что в моем доме, твое...

Дом, сложенный из неровных осколков ракушечника, мал, невысок, над входом прибита увядшая масличная ветвь — иресиона, знак мира. В дверь протискивались, горбатясь, и сразу с земляного порога шагали вниз — точно в утробу земли.

3

Козьи шкуры кинуты на земляной пол, на них сидели Филот, обок с ним сосед-рыбак по имени Афанасий, что значит Бессмертный,— он один сбрызнул на пол несколько капель вина, возлияние богу. Был еще человек из города, с оружием у пояса. Лишь пришельца усадили на скамейку. Свет столбом падал через дверь. В углу тусклым красным глазом дотлевала яма очага. Хозяин и рыбак сидели босые в горьком, сытном чаду поджаренной на угольях козлятины, обутыми оставались путник и воин из города. Гость ел жадно, отрывая громадные куски, дробя зубами кости,— долго же не ел, а то и вовсе не видывал — диковинно сказать — столько мяса!

Наконец бросил недоеденный кусок обратно в оловянное блюдо, черный сок капал с перстня на безымянном пальце.

Филот, перешепнувшись с рыбаком и городским, отважился:

— Открой же, что кинуло тебя на берег нашего Козьего моря и, высокородного, привело к простым людям?

И так как тот, хмурясь, молчал, городской человек добавил:

— Мы не слепы...

Гость нехотя отозвался:

— Ты сам сказал: я высокого роду.

Своего происхождения он не знал. Родителей не помнил. Шла война, все они стали добычей. Отец, мать... убиты, умерли, угнаны? Он помнил только себя с сестренкой.

Был ли он из побежденного, разоренного гнезда, где справили торжество победители? С островов в море? Может быть, магнет или перреб — их племена, осколки древних пелазгов, полуистребленные, оттесненные, вымирающие, безропотно ютились еще по окраинам Фессалии. Или из-за морей, из стран ласки и гнева Феба — Сияющего? Темный цвет его кожи — не оттуда ли? Ничего он не знал...

Когда он рос, те, что были вместе с ним,— такие же, как он,— говорили: «Я сын стратега», «Я дочь царя». Хотя, если верить всем, подлунной не хватило бы, чтобы разместить столько царей и стратегов.

Но он знал, что душой он не ниже любого.

И каждый из них стал *дмоос*, что значило, добытый победой, схваченный воинами, завоеванный, а стало просто означать — раб.

— У тебя торс героя,— сказала Напа, хозяйская дочь.

Это она, обмыв рану, наложила на нее чесночную мазь. Гость сбросил плащ, быстроглазая рабыня Еликонида выколотила его, подшила толстой ниткой; откинул хитон — таких не было ни у отца, ни у кого, но Напа не посмотрела на хитон, скользнула глазом и по перстню на левом безымянном. Она смотрела на треугольное сочащееся отверстие раны среди жгутов мышц. Охваченная болью и жалостью, кончиками пальцев коснулась этого тела, чтобы нанести массу с пронзительно-едким врачующим запахом. Твердила: «Терпи, потерпи». И видела над собой лицо, голову. Словно вырезанную из драгоценного дерева. Что же шея замотана? И шапка эта, белый убор, так не похожий на круглый колпак из собачьей шкуры, кюнэ, который надевали козопасы, рыбаки, виноградари... «Волосы-то почему не покажет, красоту человека? Не видела таких людей. Никто таких не видел. Кто он?» Но ничего не спросила, а, кончив дело, прощебетала: «Завтра будешь здоров». И засмеялась, засматривая ему в глаза, проворная, тоненькая. Соединенными пальцами рук он мог бы обхватить ее...

А теперь, внеся вино в облепленном землей сосуде, она сказала: «У тебя торс героя».

Он протянул неровно обожженный, неглубокий глиняный килик. Еликонида в тот же миг подала воды. Но он отстранил, в два глотка выпил вино и так же, как у бассейна, вытер губы.

— Я вел корабль героев,— сказал он хрипло.

— Где они? — спросил городской.

Он внимательно посмотрел на спросившего.

— Вы думаете — видите меня в несчастье? Мы, кто плыл на корабле, здесь. Все мы здесь! Соберемся там, куда я иду. Сокровища наши несчетны. Так судили боги. Боги с нами. Достаточно сказал, клянусь Кроносом!

Глаза городского, напоминающие твердые ореховые шарики, готовы выкатиться из орбит. Но Кронос, низверженный, рабий бог,— что за клятва!..

— Клянусь Кронионом, твои слова удивительны!

Он побожился сыном-победителем Кроноса — Зевсом, как и подобало.

— Нигде по нашим местам не слыхано о кораблекрушении,— пробормотал себе под нос рыбак Бессмертный.

4

Грузно затоптались у двери, в мгновенной темноте ярче засветил красный глаз в угловой яме, боком, сутулясь, протиснулись двое в косматых шкурах и сели в круг — рабы, пастухи. Еликонида подала лепешек, подвинула оловянное блюдо. Пахну́ло по́том и овчиной.

— Счастье твое в несчастье,— льстиво сказал городской,— ведет тебя в Гераклею.

— Гераклей несколько: наша — самая знаменитая,— пояснил Филот.

— Это над нами властвует благочестивый тиран Евпраксий. Я называю того, чья слава достигла земных пределов.

Подогретые разбавленным вином, они заговорили наперебой.

Филот:

— Он построил шестиструйный фонтан на агоре, проведя воду прямо с горных высот. Он воздвиг статуи не из камня, а из мрамора. И раскрасил их чистыми, яркими красками, не смешивая, не мутя их.

Городской:

— Он создал войско фаланг и колесниц. Оно непобедимо, потому что сердце его — воины щедрые и бесстрашные, отдающие Евпраксию не только кровь и крепость мускулов, как простые горожане, бьющиеся в пешем строю, но также своих коней и слуг. За это воины-*всадники* высоко поставлены в городе, в делах его и богатствах. Свято имя Евпраксия! Я всадник.

Филот:

— Он добыл рабов поселянам. Теперь есть кому пасти моих коз, возделывать сад и гряды. Настали лучшие времена. Да продлятся дни Евпраксия!

Но, говоря так, он смотрел не на рабов-пастухов, а на молодую рабыню Еликониду. Уж не сравнивал ли ее с дочерью, с Напой?

И рыбак себе под нос:

— Правда, отец твой, Флегонт, сроду не завивал бороды. Не знал, что это такое, ходил, как я. А ты...

Рыбак был старший и помнил больше всех.

И снова всадник, напыжась:

— На ступенях дворца тебе скажут «добро пожаловать». Тебе, пришелец неведомо откуда, и твоим спутникам, несущим сокровища. Твой рассказ выбьют на медных досках. Это обещаю тебе я — тот, кто сам введет тебя в Гераклею!

— В храме написано, что в Гераклею вернется Геракл,— вставила Напа. Она входила и выходила.

«Тем лучше,— подумал пришелец.— Лучше ли, хуже — так повернулось. Не ютясь в щели, встречу тех, кто должен отыскать меня. И пошлю их... за сокровищами. Огненными стрелами полетят мои посланцы!»

А всадник продолжал:

— Погоди. Вот подъедут за мной люди. Сегодня же увидишь Евпраксия!

Но, верно, именно тут он сообразил, что хватил лишку и не ему, самому малому во всадничьем клане, править Правителем.

Всей кожей рук ощущая, как уже липнут к ним загадочные сокровища, он все же осекся с разбегу. И открыл своему красноречию другой шлюз:

— Хвала Козьему морю, что не ошиблось и вынесло тебя к нам, а не пронесло мимо...

— К соседушкам,— сказал Филот.

— В город за горкой...

— В Сатирополь!

— В тот город, на чей загривок взобралось тридцать мартышек. И втридцатером правят. И рвут из него тридцать кусков — по куску на пасть. И гадят в тридцать ж... Так им внушили философы: каждая мартышка обучена философии.

«Двадцать девять их теперь, только двадцать девять,— подумал гость.— Толкутся у трупа тридцатого, главного. Обвывают вчерашний день — не ведают о завтрашнем: как вспыхнет затаившийся пожар, со всех концов охватит проклятый город! И эти, гераклейцы, ничего не ведают, ни о чем не прослышали. Только бы не упустить время!»

— Всех философов топить с жерновами на шее! — сказал Филот.

— Передушат соседушки наши друг дружку, помяните,— внезапно сообщил рыбак, прищурив налитые старческой голубоватой водой веселые глаза.— Мой Харитон утром прибежал с той стороны. Ветер спит — на веслах прибежал с сельдяными сетями от Хамелеона-мыса. Слышал: что-то шумно в городишке. Пламя языком вскинулось.

Но бурноговорливый всадник отмахнулся. С него было достаточно собственных речей:

— Евпраксий велит бичами согнать прочь мартышек! Возьмет выкуп хлебом! Серебром и рабами! И включит в свою благословенную тиранию этот...

— Сатирополь!

— Копрополь!

Так изощрялись они друг перед другом в уничижении соседей: «Город сатиров», «Г... град».

Но что такое? Широкие, на выпуклых дугах, редкие, точно спаленные брови гостя сдвинулись. Лицо его сделалось страшным, звериным.

Они умолкли. Всадник так и не закрыл рта.

«Рабами... Вон оно. Право победителя. Право поработителя. Годы,— скованным, в рудничной тьме,— вон чего захотели — чтобы вам в рабы?!»

Годы в рудничной тьме... А наверху шла война, ее сменял мир, новая война,— и тот, кто заковал в цепи, бросил в рудничную тьму, стал главным господином над городом, над жизнью и смертью всех. Не один: с ним двадцать девять друзей. Тридцать богов. Вместе все они с юности обучались у мудрецов, кричащих на площадях. И верно по их заветам выставили теперь тысячи голов

на этих площадях. Тысячу кольев с тысячей голов на них. Вдогонку же каждой полетели головы чад, домочадцев и рабов — так, чтобы некому стало роптать, и наступила тишина: в тишине внятней уроки мудрости.

Но один урок упустили: люди тем меньше хотят идти навстречу судьбе, чем больше открыто ее лицо.

...Настала пора заговорить немым, испытать силу бессильным: настала пора рабов.

От десятка к десятку, от старых к новеньким, от здешних к пригнанным издалека, у громадных скрипучих колес, в зевах шахт неслось: «Ждите слова!»

Повсюду были *ждущие Слова*, скованные, сплоченные вместе искуснейшими кузнецами — угрозой, опасностью, смертью.

Как было лучше? Сложить воли всех, сложить силы всех. Единым ударом молота расплющить чертог Тридцати богов.

Так было лучше? Но сделалось иначе. Он, он сам сделал иначе!

Африканец, телохранитель главного из Тридцати, Господина, по Слову, которое ему шепнули, сошел с земных небес, из дворца, во тьму. А вместо него во дворец поднялся раб, подмененный.

Что ж, выше сил человеческих было все это.

Да. Но *он сделал*. Кипарисовые двери, запоры, стража, стража. Он прошел насквозь: то был *его*, личный его, ничей больше, расчет с Властелином. В руднике остался африканец. А в дорожной пыли лежит бездыханное тело другого — помощника, нового друга, провожатого по дворцу, преданного до конца... Он был управитель постельных покоев — без него тоже не вышло бы ничего. И тоже *ждал Слова*. А заплатил по чужому счету. По *моему* счету.

Вот сейчас на очереди — счет общий! Лишь бы не мешкать. Пока не улеглась сумятица. Не пришли в себя двадцать девять, ошеломленные молнией, поразившей тридцатого.

От него одного зависит это: у него Слово. Все сошлось к нему, бегущему во враждебный город (ничего не осталось другого), чтобы, переведя дыхание, оттуда пустить огненную птицу.

Верные знают: сойдутся с ним.

Он стиснул кулак. И сказал:

— Я владыка Эритреи, Красной земли.

5

Так он начал рассказывать.

— Явились в Красную землю посланцы от аримаспов — молить о помощи. С царским почетом мы приняли их. На царские места усадили.

— Аримаспов?

— Не слыхивали про подземных?

Ответил всадник:

— Рапсоды, помнящие много стихов, поют и о муравьиных людях, об их борьбе с грифами. Но где они? Никому не известно это.

— Нет богаче их: роясь в утробе земли, они добывают скрытое; поэтому зовут их муравьями. Ни крупицы не достается им — все склевывают Железные Клювы, владеющие ими. Нет беднее их!

Афанасий:

— Волна многое открывает рыбакам. Но что́ значит — послушать бывалого гостя!

— В месяце гекатомбеоне я отправился на помощь аримаспам. Но мидяне преградили путь: срыли Афон, чтобы засыпать море.

О таком деле говорили на агоре, в домах — о мидянах и о персах и о том, что они задумали сровнять с землей гору Афон. Долетело, значит, и в рабьи норы с их вечным страшным запахом, в эргастерии! Но почему он вспомнил об этом сейчас? Что и кого разумел?

Рыбак цокнул языком:

— Геракл! Море и горы от века стоят свободными. Срыть гору: гордыня...

Филот:

— Мужи не ссорят стихий: своей неустрашимостью сами смиряют их ярость.

— Трусы с душой женщины нечестиво оскорбляют природу. Что нам до них! Мидяне, персы... Их мечу не пробить щита, который я ношу на этой руке,— горделиво красовался всадник.— Греческого щита! Никогда не поставить им паруса против бури. И море пожрет их раньше, чем они ступят на греческий берег, снявшись с земли, которую засидели, как мухи. Не о них наша забота, а о...

— Соседушках! — подсказал Филот.

Так переговаривались они, пока гость, кинув глыбу-фразу, примерялся к следующей глыбе:

— Я показал бешеным псам, преградившим мне путь, мощь своей руки!

Они затихли, как немеют кузнечики от грузной поступи человека с тяжелой поклажей за спиной.

— Свободно море! В неизвестное плавание двинулись мы — дальше, дальше. В неведомых областях замер корабль. «Достать воды!» — приказал я кормщику. Вода столбиком стояла на его ладони.

И снова умолк. Потом поднял лицо.

— Он умер, мой кормщик, мой провожатый.

Всадник ввернул:

— Мореплаватели согласно сообщают о затвердении воды в областях Борея между месяцами боэдромион и антестерион.

Покойная Филотова жена была того же дема и фратрии, что и всадник,— прежде, правда, он и знать не знал ее и не кивнул бы ей при встрече. Зато он счел, что брак ее дает ему неотъемлемое право на содержимое кувшинов и чанов козопаса. И на всю стряпню Еликониды. Потому что, в сущности, знатность и богатство всадника существовали больше в его кичливом и праздном воображении. И было далеко не лишним позаимствоваться коечем из достояния нового деревенского родича, который трудился не покладая рук. Зато он щедро отплачивал своей беседой. Всадник привык, что всем словам его внимают с восторженной и льстивой благодарностью.

Но этот гость не оценил уместной вескости замечания.

— Сейчас другой месяц,— оборвал он,— забыл счет времени? Водой, воздухом, ветром заперт доступ к стране подземных. Всплыла навстречу нам гора. Черно-лиловая. Обернулась мордой — и позеленела морда, шлем на ней — медь, зубчатый хребет налился ржавой кровью...

Рыбак завозился на своем месте. Что-то знакомое почудилось ему — постой, постой... Он даже привскочил. Не может быть! Поросль бороды он пропустил через руку, напряженно соображая...

Шевелились выпуклые дуги бровей гостя.

— Когда идешь — прямо иди. Мне жить или ему? Я правлю прямо. Два героя, два друга копьями расперли

проклятую пасть — копье вниз, копье вверх. Я прыгнул. Смрад — не дохнешь. Дохнешь — в пепел сгоришь. Мне или ему! Меч мой в руке, и через огненную серу — в глотку!

Он рубанул рукой; меча, правда, в ней не было. Упал и в черепки разбился порожний кувшин. Рабы обменялись гортанными возгласами.

— Бог дал мне прорубить дорогу к смрадному сердцу!

Люди в хижине не сводили глаз с перстня на смуглой руке, с грубо залатанных краев роскошного плаща — какими битвами опалены они!

— Меч мой — стрела бога! Боги умерщвляли чудовищ — пожирателей людей, бременивших землю. Кого упустили, умертвил я. Я сам сделал дело бога!

— Господин, открой же имя свое! — в который раз попросил Филот.

Имя? Ребенка прозвали Калиоп — Прекраснолицый. Так рос. Когда однажды, в стаде с другими, пригнали к новому господину.— «Повернись! — велел тот.— Вот твое истинное лицо. Оно мерзко.— И больно шлепнул по заду.— Имя тебе — Мегапиг, Макропиг». Хохоча, придумывал клички, потому что подросток был невиданно сильным и рослым, а господин молод, смешлив и брал уроки у риторов, учивших упражнять словесную находчивость. «Какопиг!» — нашел он наконец то, что хотел: вывороченное не только имя — Калиоп, но вывороченное и прозвание Афродиты — Калипига («Прекраснозадая»). И отбросил мальчишку от себя тумаком, каким тоже обучали в палестрах. С такой кличкой — Скверная задница — он и прожил.

— Арион мое имя,— ответил гость.

— Арион,— с робким удивлением повторила Напа. Божественный певец, принесенный на берег морским чудовищем! Арион, собравший в отдаленных краях несметные богатства, чтобы сложить их к трону Афиной возлюбленного владыки... Коринфа. Так пели и рассказывали, так гадала сказка. Нет, вовсе не Коринфа, а Гераклеи, здесь он, Арион!

Коринф, Гераклея: словно скрестились концы света! Впрочем, люди в хижине — даже и всадник — сбивчиво и смутно представляли себе протяженность земных пространств.

«Сокровища!» — опять подумал всадник.

А рабы обменялись своими восклицаниями.

— Дивны дела! — сказал рыбак, и прищелкнул языком, и покрутил головой. Он знал, что знал. В живой плавучей горе-пожирательнице он разглядел-таки свой, меняющий цвета, Хамелеон-мыс!

А тяжелый взор гостя неотрывно следил за девушкой, подбиравшей черепки.

И никто из них не мог бы догадаться, что минуют годы и века, давно умрут не только они, а и все роды живущих при них на земле, но не умрет рассказанное в тот день. Дойдет до аэдов, певцов. И они облекут в стихи, похожие на мерный, голубиный голос моря, новый миф, созданный тогда, у потухшего очага, на глазах ничтожнейшего из колесничих Евпраксиева войска, и козопаса Филота — вдовца, его дочки Напы, рабыни — молодой и хозяйственной Еликониды, сиво-седого, веселого рыбака, прозванного Бессмертным, который не был способен к длинным речам, и рабов-пастухов.

А песни, сложенные аэдами, переймут рапсоды, сказители. Они будут петь, время от времени в такт стиху ударяя по струнам, о корабле героев, о битве со страшной горой-стражем посреди застылой воды, где Железные Клювы поработили подземный народ, и о мече, направленном не самим человеком, а богом, потому что бог, златокудрый и завистливо взирающий на дела человеческие, никогда не предоставит такой победы человеку самому по себе.

Некоторые из рапсодов соединят эти песни со сказаниями о титанах, о древней гигантомахии, истреблении олимпийцами злобных непомерных чудищ-полузмеев; а другие свяжут с неслыханными приключениями Одиссея, хитрейшего из людей.

Так будут делать они до тех пор, пока, через много-много лет (но все-таки прежде, чем персы опустошат Акрополь), тиран Писистрат, рачительный хозяин, властолюбец, острослов с бархатным голосом, живший на Акрополе в угрюмо-расписном дворце неведомых афинским летописцам времен, не велит отобрать изо всего, что пелось о гневе Ахилла и о странствиях на возвратном пути в Итаку, то, что он сочтет самым правильным, чтобы для всех веков и тысячелетий записать «Илиаду» и «Одиссею».

Так с песнями вечных поэм смешаются, преображенные, почти неузнаваемые, последние отзвуки рассказа в безвестной хижине за мысом, переменчивым, как хамелеон, вблизи Гераклеи, о которой молчат историки...

6

Стало тесно; душно. Снаружи — взвизг бронзовой оси на крутом повороте, скрежет колеса о камень или о другое колесо; лошадиное ржание. Вошли еще люди, один за другим, сутулясь, некоторые опоясаны мечами, приткнулись, где пришлось, наполовину заслонив дверь.

Арион же досадливо повел глазами мимо них, отыскивая за их спинами кого-то или что-то, что он потерял и больше не видел.

Залпом опять выпил буроватого вина. И тотчас потянулся — еще. Никто не ждал, чтобы Еликонида вырвала, почти выбила глиняный килик у него из рук.

— Меру свою знай. Укротись! Не конем тебе править — спать уложу...

А он помотал головой и сел, вместе с другими, на шкуры, отпихнув скамейку.

И опять про свое:

— Одного убить — мало. Смрад издыхающего откинул нас сюда... Не верите? Тут я — пощупайте. Ни о чем не слышали? Еще услышите и увидите! Теперь свободен путь. Только слова моего ждут герои. Кем владели Железные Клювы — те овладеют ими. Пусть нажрутся земли, долбя ее, рабы рабов своих!..

Он говорил — и тишина каменела вокруг. Смолк. Всё озирался беспокойно, кого-то отыскивая. Но что же мешкает всадник — провожатый в Гераклею? Пора! Не так уж торопится, что ли, на им самим придуманное свидание с Евпраксием?

— Господин в рабы рабу?! — вдруг выговорил всадник.

— Пока земля стоит...— точно спотыкаясь, начал и оборвал Филот, шевеля потухший очаг.

— Эй-эй,— не то сказал, не то шумно вздохнул и рыбак Афанасий — Бессмертный.

У него была хлопотунья жена, куча сопливых внучат — малышей, сыновья — помощники дома и на мо-

ре, их жены — дружная, всегда полуголодная, весело гомозящаяся куча!

Вспомнив про них, рыбак засмеялся, обеими руками распутывая свою бороду.

Никаких рабов у него не было.

— Бражники, горе! — быстро заговорила Еликонида.— Не понимаете — обезумел человек. Непривычен есть-пить — кого слушаете! Твое вино, а ты что смотрел, Филот? Стыд! — прикрикнула она на хозяина.— Половины кувшинов, еды как не бывало — что завтра скажешь? Вот кто задаром на чужое, тому не жалко.— Она бешено повернулась к всаднику, прямо испепелила огненным взором громадных, опушенных длинными ресницами глаз.— Тому, кто и конюхов еще привел — мало своей глотки,— спасибо — хоть кони остались па дворе! И пусть бы обол за все кинул. Ни обола!

— Подожди. Утихни, угомонись. Ну что ты? — Филот в смятении тронул ее за плечо, прикоснулся к блестяще-черным волосам.

7

Калиоп-Какопиг-Арион снова обшарил хижину расширенными до сумрачного блеска зрачками. Он как бы ничего не замечал. Встал, будто почувствовав нужду, переступая через сидящих, полулежащих. Не пригнись он, теменем прошиб бы крышу.

На дворе он услышал плеск воды. Беспокойно прислушался. И вдруг прыжками понесся в гору, к бассейну.

Она, кого он искал, была там. Оцепенелыми, горящими, бессильными глазами Напа впилась в него. Забилась в угол водоема, сквозь прозрачную воду тело резко выделялось на стесанных камнях, которыми вымощен бассейн,— тщетно она прикрывалась руками, бронзовой гущей поплывших в воде волос. Он видел бутоны нерасцветших грудей, узкий, втянутый как бы от смертельного холода живот, крутые, круглые, розовые бедра. У такой тоненькой, с тростинку, даже не угадать их было под одеждой.

Он надвигался грудью, наклонясь вперед.

Она рыбой вильнула к другому краю, засмеялась:

может быть, это игра. Пусть это будет игрой,— пусть только игрой...

Свободная, не рабыня. Вот она.

...«Какопиг — тебе имя!» И тумак отшвырнул мальчишку. С ним была сестра, лишь немногим старше, они неразлучны — единственное, что осталось у них обоих. Вот и она поставлена пред господином — тот молод, проказлив, с прибаутками сорвал платье с сестры. С шуточками, бесстыдно оглядывал, ощупывал, сгибал, вывертывал на потеху друзьям, как куклу. Взвизгнула, заколотилась девчонка, и, не помня себя, он, мальчишка, кинулся, сшиб, не по-детски тяжелым кулаком вбил обратно в глотку масляно-сдобный голос; и как же засучил, корчась на плитках пола, господин, господинчик голыми тощими выпростанными ножками — каблуком придавленное насекомое!

А сестра? Не видел, не слышал больше. Тогда — в последний... И как сам выжил? Как только выжил? Что за крепость была в жилах?

Очнулся в руднике. Жизнь — смерть... Не знал любви, семьи. Таких, подземных, случали. И тотчас отгоняли женщину, которая понесла. Женщины, каких он знал, распаляясь, пахли по-звериному. Где теперь они все? Как звали их — имена, прозвища?

Зверообразны были и сами. Некоторые со спутанными, никогда не подсекаемыми лохмами на голове. Другие — по особому приказу господина (тот ничего не забывал!) — с выскобленной, в ссадинах и струпьях от тупого ножа макушкой. Что ж, он таки узнал его, господин, мальчишку Какопига, в свой последний час, когда, мелко трясясь, собственной рукой снял и отдал ему свой наряд, свой пурпур, перстень и плащ, надеясь откупиться, отделаться этим, а сам облачился в одежду телохранителя,— жаль, что не в рабьи лохмотья!

В ней и остался лежать его труп...

Свободная, не рабыня, вот она. Свободная!.. За нее — ужасная, верная казнь посягнувшему рабу. За такую вот дочку тех, кто даже и в домишке, вросшем в землю, цепными псами стерегут смертный запрет для рабов... Сколько сложить белых лепешек, кругов козьего сыра, кусков козьего мяса, чтобы вышли эти крутые, круглые, розовые бедра как лира?

Движением плеч он сбросил одежды. Раб господин над господином!

Глаза ее — одни безумные зрачки. Она не смела отвести их от складок шейной повязки, окрылием падавших на плечи. Нет, это не игра.

Ноги оленя, таз гончей. И — *прекрасен как пальма.*

— Пощади...

Он, схватив одной рукой, другой перехватив под коленями, вырвал ее из воды.

Истошный, закатывающийся крик Напы.

Он не слышал ни собачьего лая, ни беготни. Не почувствовал полетевших камней.

Его били пастушьими палицами, шестами для сбора маслин, булыжниками.

Он пытался подняться и падал. Кровь из раскроенного черепа залила лицо.

Тогда, перекатившись на спину, он повернулся лицом навстречу ударам. Четыре меча, упершись остриями, пригвоздили его к месту. Он все еще был страшен им. Сквозь горячую пелену он разглядел толпящихся, воинов, рабов, всклокоченную бороду добродушного рыбака и кол в его руках, каких-то подростков с камнями,— верно, его сыновей. И облупленно-пестрого каменного истукана над ними. Больше не боролся.

Силы своей души он сосредоточил на том одном, что встало перед ним, заслоняя все. Тысячерукое туловище — одна голова. Его голова. Нити ко всему сам зажал — вот тут. (Он слабо попытался свести пальцы в кулак.) И все оборвано — сразу.

Тот африканец, телохранитель, подменивший его,— не зная его, но веря, как в божество,— навечно останется в подземной норе...

Словно пронеслись перед взором годы и годы, годы годов — темное грядущее, глухой неведомый полет времени, призрачная чреда поколений. Сколько человеческих сроков будут теперь ждать они, те, подземные. Ждать Слова... Чьего же слова — теперь? Из-за чего? Подумать, из-за чего! Из-за вот этого? Из-за малой малости?

В непереносимой тоске он застонал.

Рядом лежала девушка, покрытая кровью. Его кровью. Его и своей? Ладонью он провел по ее щеке, рту, отирая кровь. Почудилось? Ее губы прильнули к шершавой ладони. Он задержал руку. Только пальцы его ответили ей — успели ответить. Тень детской улыбки мелькнула на его искаженном лице.

И тотчас чудовищный стержень боли пронзил, ослепил мозг.

Зашедший сзади содрал убор, шейную повязку, будто железом вздернул, отогнул, запрокинул голову — на черной круговой полосе от рабского ошейника, похожей на борозду удавленника, трудно двигался выпяченный кадык.

Всадник показал всем голову, иссиня-черную, скобленую, в струпьях:

— Это — раб!

1963

ЮЖНЫЕ РАССКАЗЫ

ЖЕНИТЬБА СТАВРО

Нет, Ставро не стал дожидаться и рассвета,— куда только торопится, в такую ночь. Одно слово: бешеный!

И пятерым оставалось, умолкнув, попрощаться — рука к сердцу, рука ко лбу. Не их дело, в конце концов.

Смяло, рвануло парус — он загудел, как струна. И тотчас — будто и не было — канул в ревущей тьме.

Они стояли и всё смотрели с откоса в хаос, в пустоту, почтительно сложив руки на животе.

А Ставро правил против шторма, напролом. Белые гребни вскипали над кормой и бортами, глотавшими черную злую воду. Она обжигала холодом.

Так он пересек море. Срезая путь, на крутом повороте поставил свое суденышко поперек ветра — мачта с долгим стоном легла на волну. И одичалой ночью, захлебнувшейся в пене грохочущих бурунов, влетел в узкую горловину между косой и крепостью — сторожевые посты пропустили сумасшедшую скорлупу. Игра была пан или пропал. Этот рейс — выигрыш. Шелка, турецкие и греческие пряности из Трапезунда, розовое масло, кипы знаменитого листового табаку — все доставлено прямо к причалам. Еще маслины, громоздкая дешевка, но ничего не поделаешь — лиловатые, со сливу, в горьком рассоле: его любимые.

Город отстраивался. Уже взбежала на полугору лестница, ослепительно белая, с плавными маршами, широкими ступенями, украшенная по углам просторных, назначенных для отдыха площадок вазами и каменными грифонами, зверем геральдическим. Другую, поплоше и покороче, сооружал собственным иждивением первой гильдии купеческий сын Алексей Константинов — она подымалась от уровня главной улицы, которой присвоено имя светлейшего князя Воронцова, главноустроителя всего Новороссийского края, до той, какую так и назвали Кон-

стантиновской: о заслугах строителя лестницы по-русски и по-гречески оповестила мраморная доска.

«Российское» и «Русское» общества заводили первые пароходы, вербовали служащих — чиновников для агентства, где уже стояли в цвету молодые акации в квадратных палисадниках у новеньких домиков. На белые улицы Керчи съезжались промышленники, аптекаря и торговцы, прельщенные спрятанными в древнем «кресле Митридата» ключами от входа в одно и выхода из другого моря. И город вытянул узкий мол, поднял кресты колоколен, камни кладбища и окна банка у синего и смирного пролива, отгородившись буграми от широкой земли, посоленной волнами, осыпанной тюльпанами, с осени до весны захлестывающей дороги просторами вязкой глины...

Градоначальник присутствовал на молебне, освятившем керченскую Александровскую гимназию, и гимназисты в фуражках с широчайшим околышем заспешили к ней, прочной как бастион, серой и двухэтажной, по улице, которую тот же градоначальник, вице-адмирал, неусыпно обсаживал стрижеными софорами. Возможно, лишь одно обстоятельство омрачало его деятельную душу, когда, думая о неизбежном грядущем конце своего земного поприща, он взирал на вершину горы. Место там было занято. Красовалась часовня, воздвигнутая над прахом одного из предыдущих градоправителей, человека низшего по чину, всего только полковника. Не рассчитывая на догадливость или благодарность подопечных, тот сам присвоил это место, прямо завещав похоронить себя в непосредственном соседстве с «креслом» Митридата Великого (ржавой от лишайника грудой камней), чтобы отныне бессрочно в одиночестве любоваться подковой простертого у ног города с прибрежными водами и верблюжьими пустошами... Кто вознаградит нас по достоинству, если мы сами не позаботимся об этом?

Что делать — судьба полковника вообще стала предметом неутолимой зависти для всей длинной вереницы последующих городских командиров. Он составлял примечания к географии Страбона и публиковал мысли относительно изыскания древностей: сама парижская Академия надписей провозгласила его своим сочленом — в воздаяние личных научных заслуг и в уважение к могуществу императора Николая Павловича.

Но что знал обо всем этом Ставро, бесстрашный капитан Ставро? Ровным счетом ничего. Он ошвартовал

фелюгу, названную в веселый час «Апирья» — просто «Груша» на уличном греческом,— у пристани, в вонючем ряду баркасов, против рыбного базара. И отправился в кофейню. Здесь, за одним из столиков, где, подобно гороху, кастаньетам или костям грешников на сковородах сатаны, пересыпалось домино, где курили контрабандный табак и ругались, обалдев от черного кофе, на десятке восточных языков,— Ставро купил винный погреб у еврея и пахнущего овчиной турка. Купил дешево и выгодно — компаньоны не поладили и торопились сбыть дело: турок решил заняться ловом лобана рогожей, а еврей принимался за скупку пшеницы. Затем на радостях Ставро проиграл все, что принес в карманах константинопольского зеленого костюма, этим двоим и молодому Месаксуди, который держал табачную лавочку, а после стал миллионером.

В той же кофейне Ставро появлялся еще несколько вечеров подряд — после дней, проведенных среди пестрой рухляди базара и в пассаже, захваченном обувщиками. На фелюге он вывел русскую надпись «Три святителя». А затем, торгуясь, с криком и руганью, продал фелюгу, потому что больше не собирался выходить в море. Он был скуп.

Его будущий сосед, клиент и конкурент Евстафий, праздновал переход в новое помещение своей шашлычной с подачей вина. Дела многих шли хорошо в этом подымавшемся городе, еще раз обновившем, после севастопольской войны, свою эллинистическую, славянскую и генуэзскую древность. Франческо, полуитальянец-полукараим, украсил бульвар домом с зелеными жалюзи, который не посрамил бы и какую-нибудь via во Флоренции.

Ставро привел к Евстафию рыбаков-контрабандистов, своих товарищей и помощников во время рейсов. Головорезы, жестокие, льстивые, ловкие, все они мечтали о пристани, куда могли бы причалить, о домашнем крове и уюте, где сделались бы ручными. Удивительно и живописно выглядели они в засаленных, потертых одеяниях, куда впутывались куски бархата, серебряная и золотая нитка.

Черные — торчком — нафабренные усы Евстафия встречали их в горнице, похожей на канареечную клетку, с низкими диванами, рушниками, картиной «Падение Константинополя» и образом в углу. На диванах было уже полно родственников со всей Греческой улицы.

Сразу начали пить. Наливали из бутылок, из глиняной посуды, хозяин принес бурдюк. Был сверкающий день. Хозяйка, маленькая женщина в темном платке, уставила стол переперченными, уснащенными каперцами и маслинами кушаньями, сочившимися кисло и солоно, пирожками, ломкими и жирными, наводнившими канареечную комнату сладким масляным чадом. Китайская роза, стоявшая в кадке на полу, свешивала над головами лубочную розовость своих цветов.

У женщин по рукам пошли стопки приторного вина. Разговор мужчин становился громче по мере того, как тяжелели желудки и пьяный тяжеловатый чад опалял глаза. Девушки-родственницы, которые помогали хозяйке прислуживать за столом, краснели и со смешком выбегали из комнаты.

Стол и цветок сдвинули в угол, оттащили стулья. Ставро хлопнул в ладоши, и Христи выскочил на середку. Выбрасывая ноги с ловкостью почти сверхъестественной, он затанцевал на тесном месте, выкрикивая пронзительно и тонко песню в ритме плясовой, но с тягучим, однотонно скулящим припевом. Хозяйка, маленькая женщина, улыбалась ему. Евстафий сидел один в углу, голову на руки, локти на стол,— он вдруг сгреб вбок пунцовые от вина рыбьи кости и поддержал песню басом. Христи подхватил девушку и завертел ее,— чудилось, у него не пара, а множество ног; низкий, узкий, жилистый, он походил на трудолюбивого муравья. А у девушки звенели мониста, монеты на руках и на шее.

И следом один, другой, третий сорвались с места, забили ногами дробь, сталкиваясь друг с другом.

Тогда растворили створки дверей во двор. Выскочили наружу. Евстафий поплелся позади. Женщины вынесли несколько стульев. На дворе была врыта скамья.

Голопузые сорванцы широко открытыми глазами смотрели на пляшущих из конур-квартир, вросших в землю под галереей и на шатавшейся галерее.

Весь двор врастал в гору. Мимо него, по плитняку косого, крутого переулка, громыхали двухколесные бочки водовозов-дангалаков. Щелкал кнут, раздавались выкрики, понукания. И шаркали ноги женщин, несущих ведра солоноватой воды с фонтана: словечко залетело с далеких квадратных piazza Средиземноморья, освободившись

по дороге от представлений о водомете с кристальными струями.

Там, по переулку, среди женщин шла, медленно ступая, стройная пятнадцатилетняя девочка в чувяках на босу ногу. Густая масса ее непокорных волос, забранная в узел назад, выбивалась завитками над узким плечом. Она шла, слегка сгибаясь, но откинув голову с этим бугром, словно оберегая что-то в себе, что-то боясь расплескать между слепых стен, до которых доставали концы ее коромысла.

Так показалась она над верхней невысокой оградой двора, и Ставро резко повернул туда голову.

— Дочку свою прячешь, Евстафий? Нехорошо. Ай, нехорошо!

Он укоризненно качнул головой и вторично за сегодняшний день обнял и поцеловал хозяйку, маленькую улыбающуюся женщину с неутомимыми руками.

Евстафий сердито выставил накрахмаленные усы; но, поколебавшись, окликнул Киру. Она уже стукнула калиткой и вошла в «сад» — четвероугольник немного шире гроба, где росли настурции, веники, роза-дичок. Девочка поспешно сбежала по щербатым ступенькам, отводя в стороны колючие, в лиловеньких цветочках плети дерезы, и юркнула, плеснув водой, за одну из дверей.

Ставро ждал. Веселье остановилось. Кира вышла в черной шелковой шали, в расшитых туфлях. Отец кивнул. Она протанцевала робко и неумело. Восторженный топот и гогот не дали ей передохнуть. К ней подскочил Христи; его сменил один, другой. Ей же не было отдыха.

Наконец, бурно дыша, со слабой улыбкой, она оперлась о стену. Румянец не показался на ее орехово-смуглых щеках; только глаза сияли испуганно и радостно под крыльями бровей.

И когда она подняла руку и взялась за деревянный переплет, увитый виноградом, впаянным каждой веточкой, усиком и лопастным листочком в золотую канитель зари, гребенка с пустяковыми камешками вдруг ярко блеснула над ее гладким лбом.

Медленно убирая лучи, солнце садилось за курган.

— Хороша дочь,— сказал Ставро.— Как танцует! — Он вовсе не умел танцевать.— Женюсь на ней.

Мешкотно, тяжеловесно встал со скамьи, огромный, перегнулся пополам, неуклюже, в пояс поклонился Ев-

стафию, обнажив клетчатую коричневую шею в складках бычьих мускулов под космами рыжих волос на затылке.

— А что, чем не невеста? — пьяно и горделиво приосанился, как бы подзадоривая, отец: ему понравилась шутка; заколыхавшись в хохоте, он пришлепнул Ставро по шее.— Заметил — скажи ты, ишь ты, *пенте ста мутрасу*! [1] Красавица! Подрастет год — мою дочь, за кого хочу, за того выдам.

Но Ставро нетвердой походкой подошел к Кире — она отшатнулась от выкаченных глаз, кирпично-сизых щек. И тотчас задохнулась в щекотной, колкой бороде, в липких, властных, яростно-удушливых губах, вобравших, всосавших в себя, показалось ей, не только рот ее, а все лицо.

Она взвизгнула, вырвалась, закрывшись руками, отбежала к матери, защитнице. И мать, лаская, целуя ее, заслоняя своим телом, вступилась:

— Нет, уж вы не обижайте нашей... Не такую растим — она смирная, славная, не привыкла.

Очнулся и отец:

— Ты не дури, Ставро, гей! Пятнадцатилетнего ребенка, втрое меньше себя!..

Но хмель опять сморил его. Забыв, где он, с кем, шашлычник оскалил прокуренные зубы:

— Хочешь белую, русскую? Какую хочешь! Сколько хочешь! — И поцеловал сложенные щепотью пальцы: — Одна есть: святая душа, *апельсин-мясце!..*

Ставро плюнул и растер плевок.

— Дочь сватаю — что предлагаешь? При жене, при ней? Отец! Стыд потерял! Кому предлагаешь? Я тебе кто? — Он грубо выругался.— Кого звал к себе в дом,— тебя спрашиваю, отвечай!

Христи, самый близкий, в тревоге подскочил, удержал за руку.

— Капитани... Пойдем домой, капитани. Даже наша снасть не выдерживает вина твоего, хозяин.

Ставро стряхнул товарища. Расставил ноги, двужильный, как в бурю.

— *Акусити!* — насмешливо проговорил он: «Вы только послушайте!» — Что, может, не хочешь отдать? Плохой для тебя? Хорошего ищешь? Я сказал — женюсь завтра: не знаешь еще, что такое мое слово? Ну? Киру сватаю, слушай, у отца прошу!

---

[1] Грубоватая шутка-присловье — букв.: «пятерней по (твоей) роже».

Евстафий осел перед протянутой ему ручищей. Сегодня Ставро был богат — все знали это.

Девочка зарыдала, захлебываясь, с детским отчаянным ревом. Мать, обняв, потащила ее из комнаты.

— Живо, Мария,— крикнул Евстафий.— Икону!

Жена затряслась мелкой дрожью. Всхлипывая, она стала читать молитву над острыми плечиками Киры. Евстафий стиснул локоть маленькой женщины. Та захлопотала:

— Ты не плачь, Кирочка. Видишь, и нашей дуре не в дурах вековать. Не смей плакать — тебе бог смеется.

И, покорно осушив свои легкие слезы, как выучила ее жизнь, поправила платок на голове и шаль на девочке.

А Евстафий, в доме уже, с большой торжественностью произнес:

— Пусть вас бог любит, как вы любите друг друга.

Руку Киры вложили в ладонь Ставро — он согнул свою осторожной лопаткой, остерегаясь раздавить тонкие, хрупкие, ледяные пальцы девочки. Нет, какая же она была красавица — с подчеркнутой жгучестью в чертах лица, неправильного, как будто сломанного непомерными глазами... Особенно сейчас. Голова ее походила на сухой цветок, качающийся на стебельке шеи. Дряхлый Трандофилакис в полосатом жилете, прозванный «хризостом» — «златоуст», пробурчал с дивана:

— Видишь Греческую, Ставро,— смотри, чтоб Греческая видела тебя.

Глаза его закрывали бельма. Он не видел почти ничего.

Зажгли свечи. Молодых осыпали рисом и лепестками китайской розы.

Было мрачно на этом неожиданном обручении. Женщины скоро разошлись.

Хозяин, кряхтя, приволок четверть мутного винца. Ставро оттолкнул стакан.

— *Охи, охи!* — грохнул он кулаком.— Убери. *Ракú!* [1]

И водочные полуштофы появились на столе рядом с недоеденной снедью, кожурой лимонов, косточками маслин в размазанной подливке. Танцы кончились. Пьяные люди горланили в канареечной клетке. Опустевшую

---

[1] Охи — нет. Раки! — Водки! *(греч.)*

винную посуду заталкивали под стол. Ставро орал песни, хриплые, заунывные, горькие, щипля струны гитары. И подле него сидела не смевшая шевельнуться Кира.

Христи и еще двое увели его около полуночи.

Но рано поутру он постучался к невесте.

Его не ждали. Маленькая женщина, легкая женщина — на что надеялась? Что молитва перед иконой спасет любимую дочку? А муж? Хмурые мысли не были сродны ему. Он ушел чем свет. День, солнце — мало что ни случилось вчера за вином, за шашлыком, о чем и не вспомнишь сегодня? Сгинь, рассыпься!..

Ставро стукнул и шагнул за порог. Кира вскрикнула. Мать, лежавшая с завязанной головой, вскочила.

Захлопали двери. Забегали соседи. Девочку принялись наспех обшивать.

Венчали через три дня в греческой церкви Иоанна Предтечи, которая стоит больше тысячи лет — на ее колонне есть погребальная надпись Кириака, Георгиева сына, умершего в 757 году.

От этого брака родилась дочь и трое сыновей.

Дочь прожила неприметную жизнь, осталась на Греческой с овдовевшей матерью, очень поздно, чуть не старой девой, вышла замуж, детей своих любила исступленной, истерической, смешанной с вечным страхом любовью, для них и жила — что сказать о ней?

Из сыновей же средний стал судовым механиком и молодым мальчиком сгорел при взрыве котла и пожаре на судне. Старший — человек с громовым голосом, радикал и либерал,— так судили о нем после той студенческой истории, которая завершилась невольной, но не слишком обременительной, краткой поездкой его под Вологду. Он вернулся, получил диплом, в Харькове женился на купчихе, взял какой-то связанный с армией подряд в Сибири, и не успели оглянуться, как у него оказались два дома — один на Воронцовской, главной керченской улице, а магазин Лесмана принял на комиссию книжку его на собственный счет напечатанных рассказов. Я читал их,— там повествовалось умиленно о серой скотинке с нательными крестами под рубахой, бессловесно погибавшей на маньчжурских полях, негодующе и грозно —

о бесчестных денщиках, лукавых немогузнайкам — нижних чинах, о железных сердцах чалдонов и звероподобии ссыльнопоселенцев. И все пронизывал ужас перед чернью, «грядущим хамом», смертью. Я смутно вспоминаю высокого старика с громадной пегой головой, бредущего, опираясь на толстую, с грубо срезанными отростками палку, устремив вперед никого не замечающий тяжелый взгляд выпуклых глаз...

А младшего я знал — то был часовой мастер, у которого революция отняла пять тысяч, отложенные за двадцать лет добровольной голодовки, чтобы открыть собственный магазин.

1930; 1965

ВОТ ИДЕТ УЧИТЕЛЬ

Говорят: с возрастом иссякает способность удивляться. Не знаю, многому ли дивятся дети. Скорее они берут мир как есть, со всеми черточками, деталями, диковинками, травами, тварями, живи динозавры — и с динозаврами, с волшебством, телевизорами, космическими кораблями. Всё на месте, именно таково, выходит, и есть оно — это самое окружающее!

Имена и облики неимовернейшие принимаются за должное: а какими же им еще быть?

Только потом, годы спустя, вдруг спохватишься: эта медная, концом загнутая вперед борода, борода вовсе не человека, а козлоногого фавна или Генриха Такого-то из учебника средневековой истории, это удивительное имя с удвоением — Юлий Юльевич (двойной Цезарь) или даже нет: Авель Авелевич (дважды прародитель Авель, брат в квадрате свирепого Каина!) и фамилия, как ни у кого, притом — вразрез с именем: вроде — французская, хотя ожидалась бы... ну что тут вообще могло ожидаться?!. Господи боже, да ведь никогда же больше с тех детских пор ничего подобного не встречал!

А для гимназистов то был обыкновенный учитель древних языков, то есть одного языка — латинского, потому что о греческом и тогда уже никто не вспоминал.

Вид у него озабоченный, даже — торопливый, когда в вицмундире, с журналом в руке (не под мышкой, как большинство других учителей, а в руке) он скорым шагом входит в класс, хмуря белесые брови, под которыми пря-

чутся светло-голубые глаза. Словно звонок к уроку оторвал его от какого-то другого, более важного дела. Какого — никто не знал да и не стремился разгадывать, самый предмет, латынь,— сухая и педантическая материя, никак нельзя сказать, что это любимый предмет и любимый учитель.

И страху ученикам он не внушал — как, например, «немец», в самом деле — немец, который прожил всю жизнь в России, но так и не научился говорить по-русски; прямо, как столб стоял немец-старик в гимназической церкви у гроба семиклассника, покончившего с собой после второй единицы по-немецкому на переходных испытаниях...

Нет, латиниста не боялись, но, странно, никакой клички-прозвища не прилипало к нему, одному-единственному среди учителей. И даже отчаянных сорвиголов не осеняла идея сделать его жертвой беспощадно-злой гимназической травли, рассчитанной пытки, какой сживали со свету, например, «историка», которого звали как Чичикова — Павел Иванович: тщетно закатывался тот криком до визга, до слез в уголках почернелых глазниц, до истерических конвульсий, грохал журналом об пол, барабанил кулачками — верная мишень для жеваных шариков и бумажных стрел, а за партами хрюкало, подвывало и куковало кукушкой...

Когда на латинском уроке вызванный к доске путался в «ут финале» и «ут консекутивум», в «орацио ректа» и «орацио обликва», преподаватель не повышал голоса. Два-три раза обращался к классу — класс молчал или отвечал невпопад, абсолютная серьезность учителя мгновенно погашала чей-то смешок.

— Финогенов! — негромко называл учитель.

И Финогенов, любимый ученик, распутывал дело. Он упоенно запоминал формы неправильных глаголов и наизусть повторял перечень предлогов, требующих винительного падежа, напечатанный в учебнике четырехстопным хореем,— учитель, не меняясь в лице, только двадцать восемь раз легонько постукивал ребром ладони.

Латинист затеял конкурс по мифологии с призом-книгой — картинка на обложке изображала Одиссея в пещере у циклопа. Не было сомнений, что книгу получит Финогенов.

А газеты в это время приходили все в белых пятнах. От речей думских витий оставались сиротливо повисшие

рожки — одна-две фразы вверху — да ножки — столько же в конце колонки. Вдруг газеты перестали приходить вовсе.

За наглухо закрытыми дверями в некотором смятении собрался педагогический совет. Математик «Мантисса» ехидно заметил, что уравнение со многими неизвестными решается лишь неопределенно. Совет решился на жест неслыханного либерализма: дозволить самодеятельный литературный кружок учащихся, о котором давно ходатайствовали юные таланты, и учредить его тут же: в нынешние смутные времена это так или иначе зачтется. «Ну, благословясь...» — произнес директор с ощущением, будто одной ногой он пробует ледяную воду. Впрочем, преподаватель русского языка — «Фита» — вызвался личным присутствием на кружке вдохнуть благородные помыслы в сердца будущих сочленов.

Все свершилось в курьерском порядке. Белокуть, поэт, с расчесанным до волоска пробором на голове, которую он вдумчиво держал несколько навкось, ломким голосом прочитал стишок, отвлеченный от событий:

И о юге мечтает дитя
Средь пустынного хмурого края...

Осталось неясным, что он имел в виду — нечто умозрительное с нежным призрачным смыслом.

Почетный гость, Фита, сидевший, проглотив аршин и каменно сомкнув челюсти, дважды хлопнул не столько сложенными лодочкой ладонями, сколько жилистыми длинными пальцами.

Слабо пахло весной. За городом, на пустыре, в голых сырых глинах тарелкой стоял пруд, тоже голый, с мертвым серебряным блеском от полуденного солнца. Горлом булькнула, верно, жерлянка, но, захлебнувшись в одиночестве, только тронула пустую гладь беглой морщинкой слабого круга.

На латинском уроке, глядя куда-то поверх голов глубоко спрятанными светло-голубыми глазами, меднобородый учитель оповестил о плане предстоящих экскурсий (второе решение педагогического совета!): раскопки, склеп Персефоны, курганы. Он так и объявил от совета, как бы озабоченный, по обыкновению, чем-то посторонним. Выслушали вежливо, без эмоций: директорский план, сухая и педантическая материя, вот только тот плюс, что значит, тогда не будет занятий — в дни уже ослепительно горячие, с мягкими лапами тысячелистника

в заброшенных рвах, пыльно-кисловатым травяным запахом надо всем городом от тамарисков, софор, уксусных деревьев, курчавого коврика ромашек. Свободны и в такой день, когда точно сдует людей с улиц, потому что в четырех верстах — скачки, состязания бегунов, силачей, вкопаны намыленные столбы с привязанной наверху наградой для самых ловких!.. А уж после того еще немного — и ко всему примешается тонкий дух спелой клубники...

— Государя́,— вдруг сказал учитель.— Как говорите: государя́? Ну да, южнорусизм. Царь — царя, псарь — псаря, ларь — ларя, пономарь — пономаря... Фонарь — фонаря. Звонарь — звонаря. Тем не менее следует — госуда́ря. Нелогичность языка. Теперь она устраняется. Исключение — вычеркиваем!

Стало смертельно тихо.

— Вы что там читали, Белокуть,— стихи?

И Кока Белокуть не встал — подскочил на пружинках, победительно, с упоением, простирая пятерню к маячившей совсем близко пятерке, в хорошо скопированной позе с картины «А. С. Пушкин на акте в лицее» прочастил:

И о юге мечает...

— М-м...— Учитель пожевал красногубым ртом, сильной, узловатой правой рукой погладил, загнул вперед красно-рыжую бороду.

— Ну-с, так. Перейдем к Овидию, великому поэту.

Он поднялся, прохаживаясь, начал скандировать, ударяя на первые слоги дактилей, растягивая спондеи:

— Йндепер им-мен зу́мкроце о-ве ля́туса ми́кту...

И сам шагал в такт, по шагу на каждую стопу стиха.

— Те́рнаме ду-зе и-вин ци-рем гу́ттура мо́нстри! Чтобы связать три шеи Медузы-чудовища... Сверну тройную глотку! Финогенов, вы уловили? Теперь попробуйте прочитать так, чтобы мы услышали гекзаметр.

Потом сел, расставив колени, надавив широкой грудью кафедру — исчерканный стол с замытыми чернильными пятнами.

— Овидий, ссылка в Томы — когда что было! Было, умерло, как не было. Но рассудим: так ли? Вчера двадцать повозок с тяжелой, рогожами укрытой кладью сбились, забили всю улицу, сцепились оглоблями, колесами — пробка. Впереди две лошади упали, выбились из

сил, возчики хлопочут, подымают. Городовые, откормленные, румянорожие — им не голодно, придерживая ножны, чтоб не колотили по ногам, подбегают к дрогалям, рабочим людям, и без человеческого слова, с гнусной позорной руганью — а на улице женщины, дети — кулачищем в лицо. По усвоенной нынешней манере выражаться о *человеке* — в морду. Закон военного времени! Всевластие охранителей! Вот она — городовая стража Августа. И уж совсем рядом с нами, многим знакомы — Томы. Спрошу: где две тысячи лет? Нынче утром иду — мальчишки с Константиновской, отцы их на германском фронте, сами теперь целыми днями на мостовой, узнали меня, кричат: «На, э́рхете о да́скалос!» — *«Вот идет учитель»*. Это уже не при Августе даже, а где-нибудь около гимнасия в греческом полисе. Даскалос вместо дидаскалос — за двадцать семь веков убыл только слог живого слова Гомера! Сплетение времен. Я хочу сказать — жили не примеры из учебника, а люди. Надо научиться слышать их. *Наши* слова у них. Крик Овидия, заживо замурованного в Томах,— мы еще прочтем «Тристии». Тогда вернее выберешь и свою дорогу. Я хочу, чтобы вы запомнили это.

Вот, собственно, и вся история. О том, что шли с учителем не первый год (латынь начиналась с третьего класса), а показался он лишь в тот день. *Удивительно* показался — это-то понял тогда же, сразу, целый класс. Все тридцать или сорок подростков. Педагогичнее, конечно, если б с первого дня...

Какими глыбами времени завалено это! В какой непроглядной глуби погребено!

Вместе с фамилиями и с кличками-прозвищами учителей-страшилищ, учителей страдальцев, учителей — усердных работяг на ниве просвещения.

Новая школа не переняла латыни. Но прежнее здание в том городе продолжает исправно служить совсем иным поколениям учеников и учителей. Недаром оно воздвигнуто с основательностью, с какой строили башни, казармы, казематы, дворцы. И школа — нынешняя хозяйка его — продолжает счет лет, некогда начатый в тех же стенах, откуда и прежде вышло немало примечательных людей.

Недавно был справлен там столетний школьный юбилей.

Латынь отошла в плюсквамперфектум, однако случилось так, что древняя, равнодушно все поглощающая Лета именно с преподавателем древних языков обошлась милостивее, чем с его собратьями.

Знакомое имя мелькнуло в печати в связи с переводом трудной, сильно поврежденной посвятительной надписи. Затем оно показалось в нескольких сборниках эпиграфики: расшифрован с десяток горловых амфорных клейм, обнаружен и истолкован поразительный текст клятвы воинов, стоявших насмерть.

Сообщения множились: возглавил раскопки, прочел доклад на конференции; большая группа ленинградских студентов выехала на практику туда, под его начало.

Очевидно, отставной учитель владел своим предметом в объеме, далеко превышающем нужды провинциальной окраинной гимназии.

Впрочем, и это все «дела минувших дней». Такова необъятность протекшего времени!

Как произошло, что, собираясь что ни год («Надо! обязательно надо! Теперь уж безо всяких!»), я попал в этот город лишь десятилетия спустя? «Никуда не уйдет...» Не потому ли, бывает, все собираемся в соседний музей или посмотреть какой-нибудь памятник, экспериментальный квартал, знаменитое сооружение, новую трассу, мост — все то, что в три дня облетит приезжий? Никуда не уйдет! И еще подкидывает внутренний шепелявый голосок расчетец: поспеется! Богомолец-то вон сколько каждому жить обещал — по полтораста лет! А статистика в «Известиях»...

Город — в стороне от всех моих путей; ни родни, ни друзей после войны (он оказался прямо на страшных дорогах войны) в нем не осталось. Все это — слабые оправдания. И поехал я, в конце концов, тоже не сам по себе, а с Финогеновым, Финогенов и подтолкнул...

Низенький толстячок, с голосом, как из бочки, и с морковной по-прежнему оторочкой вокруг гуменца на темени, похожего на тонзуру, Финогенов заработал себе громкое имя хирурга. Страждущие со всех концов и областей стремились попасть в далекую от столиц клинику, надеясь, как на чудо, на его исцеляющий нож.

С ним мы тоже не встречались вечность.

В вагоне он вспоминал четверные формы неправильных глаголов и 28 предлогов, требующих винительного падежа. И сосед по купе, безукоризненно выбритый, в

безукоризненном костюме маренго и с туго набитым портфелем — судя по всему, главный инженер в командировке,— время от времени внушительно подымал на него глаза от ежегодника фантастики, который читал в суровом молчании.

Город, отстроенный наново, разросшийся, был неузнаваем. Старого дома учителя не существовало. Мы справились на экспозиции древностей. Нет, давно не работает. Да, жив еще. Где-то тут живет. Что поделывает? А что ж ему поделывать? Тон был глубоко безразличен, небрежен. Отвечал молодой человек, чрезвычайно интеллигентный, в распашной импортной рубашке-тенниске. Откуда он сам? Снисходительный смешок: нет, не местный. Приглашен сюда директором, учеником академика...— разумеется, слышали, нельзя не слышать: сегодняшнее направление в изучении позднего эллинизма! Да, что-то вроде происходило тут и прежде — ковырялись, кустарщина, доморощенность с туманными общими идеями. Что же именно? — Широкий недоуменно-отстраняющий жест: — Странно, да какая же надобность и откуда время вникать? Доморощенность, кустарщина — муть...

Другие сотрудники, коллеги, так же почти все молоды, оживленны, остроумны — одной ногой здесь, другой, по миновании естественного переходного этапа, необходимой практики,— там, в центре, в институте, а alma mater.

Они шумно, весело, перекидываясь именами скифских правителей словно мячами в некоей дружной игре, сгрудились возле стола, где лежали обломки краснолаковой расписной гидрии и какие-то предметы еще со следами земли.

— Скилур? Ну, не спросив у Александра Минаича...

— Нет же ни малейших сомнений!

— Однако Александр Минаич полагает...

— Обыкновенный Палак! В лучшем случае.

— Или просто Инисмей.

— А вы сравните с единицей хранения ЕФ 218.

— Прямо так? На память?

— А что: фонд Миропольского!

— Уж не там ли зарегистрирована некая камея из «Ойкумены»? Имею в виду «На краю Ойкумены» — веселенький романчик.

— «Как все мрачные души, он любил шутовской юмор». Завидная щедрость натуры: почерпать темы по-

шлых хохм из непроходимой дилетантщины! К вашему сведению: я предпочитаю Бредбери.

— Скилур! Ничего себе! Конечно, «безумству храбрых», но я, кроме шуток, не взялся бы столь ответственно решать без Александра Минаича. У него в таких случаях прорезывается куда менее плоская манера острить.

— Жало мудрого змия.

— Кстати и вы, товарищи!.. Александр Минаич сейчас подъедет. Он согласовывает кредиты с местными инстанциями. Непременно дождитесь — познакомитесь с ним.

Но, не знаю почему, у меня не возникло желания знакомиться с этим, несомненно, очень компетентным и, возможно, выдающимся работником.

— Впрочем,— крикнул нам в спину наш первый собеседник,— он тоже захаживает сюда, с чем-то возится, записывает. Тот, кем вы интересовались. Когда он бывает, Радик?

— Он? Частенько. Не слежу. Кажется, частенько.— Радик обаятельно улыбнулся.— «Я разве сторож брату моему?»

Мы прошли двором, где у стены стояли прислоненные надгробные стелы.

К калитке по улице медленно брел человек в снежной седине.

Мы сразу узнали его. Услышав свое имя-отчество, он остановился.

— Финогенов,— сказал Финогенов.

— Финогенов? — Он не узнавал.— Как же!..

— Тот самый знаменитый Финогенов.— Я попробовал себя в роли конферансье.

— Вы работали со мной на раскопке у Янышей? Погребение во время осады в опустелой крепостной зерновой яме?

— Ваш ученик. Ваш старый ученик.

— Любимый ученик,— пояснил конферансье.

— Финогенов? — Он пристально всматривался.— Позвольте... Ну да! Не поверили, значит, в мою смерть?

— В вашу смерть?

— Что же тут такого, чересчур стар. Недавно пишу в Ленинград, приносят ответ: «Ваш некролог три года назад занесен в картотеку». Извиняюсь: «Сознаю — пора. Упустил за недосугом. Вот кончу книгу — виноват...»

Финогенов крутнул шаром головы без шеи на полных плечах. Он и я — оба мы ждали совсем другого, никак не того, чтобы глубокий старик со снежной, точно накладной бородой равнодушно скользнул по своему ожившему прошлому, не умилившись, даже почти не обернувшись на него.

— Вспомнили,— сказал старик глуховатым, озабоченным голосом.— И другие вспоминают... иной раз. Я рад. Спасибо. Вот пишу книгу. Копать самому поздно, но разрешают пользоваться всеми запасниками, хорошо, спасибо...

Мы встретились глазами с Финогеновым — нам стало неловко, и у обоих защемило от этого вторичного «спасибо».

— Хочу не описывать поодиночке, а свести в один временной пласт городки, поселения, материнскую цитадель, дочерние. В их связи с землей, с водой — виноградники, рыба, скот, хлеб... Не эллины — «верх» и варвары — «низ», а *люди жили*,— сказал он с совершенно той же интонацией, с какой некогда объяснял классу очередной урок. Посторонние, возможно, и не расслышали бы ее, но мы-то помнили! — Одинаковый мир вокруг, одинаковые дела на земле, роднились и встречались — никакой пропасти! Подходили корабли, триеры из метрополии, издалека всматривались в *обетованную страну*. Обетованная — вон как славилась эта земля! Я нашел остов, засосало в толще ила солоноватого озера — тогда еще было не озеро, а бухта, гавань. Описали после находку в журнале как римскую трирему, а я переопределяю: грузовой финикиец! Всемирный перекресток! И датировка иная: шире время.

Как на уроке, он поднял руку и указал пальцем.

— Люди жили,— повторил он гордо.— Один мир!

И выпрямился — в люстриновом пиджачке, парусиновых туфлях со стоптанными каблуками, невысокий, сухонький, легонький...

— Если увидеть частицу этого мира, как была... Восстановить облик... Горки-сопки, поля, лески — тогда тут кругом леса, лески. Береговую линию. Нельзя брать, как застаем теперь,— две тысячи лет прошло! Я по крупицам собирал, восстанавливал. Историю каждого камня... Вся жизнь нужна! Тогда увидишь землю в связности, в цельности. Вот пишу такую книгу,— сказал он и старчески потупился.

Но, будто спохватившись, торопясь закивал головой:

— *Они* знают отлично, блестяще, сам понимаю: мне дело уже так не вести. Только многое у них порознь, враздробь... Да и как же-с? Вся моя жизнь здесь!.. Спрошу еще: отошел пласт времени,— значит, отсечен, погребен? Нет. Поверхностно судим. Даже погибшие культуры остаются жить в человечестве. Как? Именами, речениями. Образным строем. Скифо-сарматский мотив конских голов с копьями на коньке украинской хаты. Непрерывность жизни! Через тысячелетия доходят отзвуки мыслей, даже слова — вплоть до наших сегодняшних дней. Надо расслышать, рассудить — а как же? Ну, заговорился...

Мы оглянулись — он еще стоял и смотрел вперед, на то, что предстояло ему там, впереди, смотрел вдоль улицы, в просвете которой открывалась степь и блекло в августовской дымке лиловели склоны зубчатых горок с белым витком дороги между ними,— открывалось то самое, что и прежде, когда не было новых кварталов, кварталов за кварталами, а город обрывался пустырем у ям и печек для гашения и обжига извести...

1959

ТРИ ЧЕТВЕРТИ СУТОК

АМФИБИЯ

Чем ближе подходил корабль, тем все больше людей, только что мимолетно кидавших равнодушные взгляды, останавливались и смотрели на него. У парапета уже сгрудились. Сбегали вниз, к волнам.

Корабль надвигался прямо на людей. Он достиг зоны, где обычно резво плавали и плескались самые дрянные пловцы. Вот сейчас чирканет по дну! Вдруг все ощутили шаткость столбов пляжного навеса. Петюша Чудин даже попробовал их рукой на прочность и сострил о неведомом десанте. «Выдумщик, гадкий, как не надоест!» И брюнетка в шортиках зажала ему рот ладошкой. Он, гибкий, жердястый, раскинув руки как ветви, приобнял обеих — брюнетку и блондинку. «Ну, Горин, скажите ему!» — блондинка все засматривалась на Горина. Но тот лишь слабо улыбнулся, он стоял и смотрел молча, к его малой контактности, или некоммуникабельности, как обозначала это Елена Евсеевна, жена писателя Лесняка, привык-

ли; может, так и заведено у них, у молодых художников? Но забавно: тем сильнее интересовал он блондинку, будя задорное желание расшевелить его.

Огромная, в несколько человеческих ростов, трехзначная цифра на серо-стальном корпусе завораживала людей.

Внезапно что-то произошло. Корабль расселся. Та часть, которою, разрезая воду, он надвигался на берег — и все глаза неотрывно следили за нею,— расселась. Распахнулась, как ворота. И точно на большой ладони, открылась низкая, широкая, многоколесная машина. Готовая тронуться, сорваться с ладони, битком полная моряками, один из них стоял: командир. Озабоченные, серьезные лица — никакого дела до всей этой ребячливой полуголой толпы у пляжного навеса. И притом — точно лица взрослых, пускающих в ход только что купленную дорогую игрушку и вовсе позабывших в этот момент о жадно, робко, нетерпеливо ждущих детях! (Блажная мысль, которая только и могла забрести в глубоко штатскую голову юного Горина.)

Машина сорвалась с трапа-настила, взметнув облако брызг, сзади у нее вырос, закрутился взбитый в тугую пену толстый водяной столб. И с басовым жужжаньем, описывая дугу, пошла вспарывать залив!..

— Этакую игрушечку да нам бы тогда на Северном флоте, а, Матвей Матвеич?

— Скажем, поддержать десант бригады Крылова в Малой Волоховой? Во время удара 14-й армии на Луотсари — Петсамо — это вы имели в виду, Спиридон Никитич?

Матвей Лесняк сед, невысок, никаких шортов, светлосерые брюки, лимонно-золотистая рубаха-сетка; строен и складен, так что начисто скрадывается малорослость, прямо миниатюрность; удивительно молодой взгляд, на мгновение оторвавшись от корабля и машины, скользнул по собеседнику с дружелюбным вниманием.

А тот, Спиридон Кривошейко, осанист, грузен, с шумным дыханием, голова редькой вниз покоится на мощной красно-коричневой шее — он походил бы одновременно на Ивана Никифоровича и Тараса Бульбу, будь еще усы да оселедец вместо густого рыжеватого бобрика на темени.

— Погодите, погодите. Было ведь так. Октябрь месяц, чернильная тьма, голодный вой, черт его, свист и рев пучины. Крен до пятидесяти градусов. Люди исхлестаны вдрызг... Сколько с тех пор прошло — потомство выросло,

вся молодежь! — Лесняк коротко махнул, обвел рукой.— А помню будто вчера. Вон бежит, вон она бежит, глядите! — перебил он себя, любуясь машиной.— Темпы развития техники — закономерно!..

И он назвал даже год, когда появился такой тип амфибии.

— А в Волоховой губе я тогда и не был, Матвей Матвеевич,— виновато отозвался Кривошейко.— Уже не был...

Оба служили на Северном. Спиридон Никитич на охотнике КМ, «катере малом» — нелегко представить, глядя на него сейчас, каким он был тогда, молодым офицером. Понял ли он, услышал, увидел, возможно ли для разума, чувств человека осознать миг, когда ворвалось *это* в мир, и мир мигнул веком всей тьмы от вспышки, непереносимой живой душе, и провалилось под ногами, прошив длинными иглами,— и тотчас погасло все? Черные воронки всосали две скорлупы, то, что осталось от катера, расколотого торпедой: этого он не видел. Выловили чудом из ледяной воды. Так оборвались для Спиридона Кривошейко флот, война. Когда через много месяцев стал опять человеком, началась вторая, сугубо сухопутная жизнь, заслоняя ту, первую. Даже почти не вспоминал, кроме особых случаев, годовщин. Только ходил хромой уточкой, сильно припадая.

А вот тут, на «пятачке» — встреча с Матвеем Матвеевичем Лесняком, и корабль этот — словно помолодел, скинул долой три десятка лет! И оказалось, что ничто не заслонено, все нетленно сохранилось — пятидесятиградусный крен, хлещущие потоки по обледенелой палубе, утробный рев взводней при взрывах глубинных бомб, смертельные схватки с подводным, страшным, незримым врагом, когда до последнего мгновенья неясно, где охотник, а где дичь, рейды по злой, у́гольной воде к ощеренным в полярной ночи, снегом притрушенным скалам...

Встреча с Лесняком — при молчаливо установленном превосходстве Лесняка. Странная вещь! Никакого отношения к нынешним профессиям обоих это не имело. Старая, оказывается, живая закваска и дрожжи, неужели все еще те самые погоны на плечах с той же самой разницей в звездочках и просветах?! И послушать только, как он, Лесняк, как уверенно и осведомленно рассказывает он о переломивших ход войны там, на Севере, операциях мор-

ских, сухопутных, воздушных — с именами военачальников, техникой дела, географией и топографией!

Пришлось ради мужей сойтись и женщинам — маленькой, изящно курящей, строго держащей себя в «тренинге» Елене Евсеевне, уж чуть ли не актрисе в прошлом — глубокий, струнный, поставленный голос, абсолютное знание всего, что относилось к театрам, режиссерам, кинорежиссерам, Феллини и Антониони и чем американская «Война и мир» с героиней из «Римских каникул» лучше четырехсерийной; вторая же, Оксана, тоже под стать своему мужу, крупна, грубовато-красива, с венком косы и заметно южным выговором («Конечно, мещанка, чего доброго — провинциальная львица,— несомненно, думалось Елене Евсеевне.— И что касается уровня суждений, оценок — лучше оставим это! Но если так нужно Матюше...»).

Со скрежетом шарниров съехались ворота корабля — и шва не осталось; выбрана якорная цепь. А машина-многоножка круто свернула к берегу, в лоб взяла кручу, мокро-оливково-блестящая, отряхивая море с жужжащих колес, внушив молчаливому Горину опять-таки блажное сравнение с выскочившим из воды и отряхивающимся добрым псом. И была такова! Петюша Чудин свистнул и восхищенно зашамкал своим двум девицам: «Я проштудился и жаболел», изображая на сей раз некоего, очень смешного, преклонных лет профессора. Трехзначная цифра на корабле таяла на глазах. Вот она неразличима. Лишь маленький шлейф дымка, развеялся и он...

— Значит, назначено рандеву. В определенной точке побережья. Опробуют сложный рельеф,— отрывистыми фразами объяснял Кривошейко.

Быстро таяла и кучка людей.

— Пошли? — предложил Лесняк.

— Минуточку,— Елена Евсеевна повернулась к Горину.— О чем думаете, что видите сейчас вы, художник? Хотела бы я иметь ваши глаза!

Но если и хотела, объяснений Горина выслушать ей не пришлось: отвлекли по меньшей мере два происшествия.

Сильно и по-мужски шагая ногами в кедах, со срезанной палкой орешника в руке появилась Наталья Александровна. Пыль дальних дорог покрывала ее волосы, брови и худую грудь.

— Крокусы! — певуче сказала она, ни к кому в осо-

бенности не обращаясь.— Поля лиловых крокусов! Я встретила восход солнца на самой вершине.

— Я бы выселил отсюда всех, кроме вас,— галантно склонился Лесняк.— Для себя исключения не делаю. Единственная вы достойна всего этого...— Но на этот раз не махнул и не обвел, а лишь шевельнул рукой, подыскивая точное слово; не найдя, улыбнулся, ограничившись общепонятным: — Всей этой красоты.

Как мало порой нужно человеку! Только для Матвея Матвеевича, глядя в его внимательные глаза, она стала рассказывать о тропах и осыпях, о переливчатой гамме цветов алеющего востока — это звучало как песня, почти так, как описывают космонавты вид планеты из космоса. Крокусы...

— «Ландыши, ландыши»,— пропела Елена Евсеевна. Боже мой! Она пела, бывало, и тогда, когда Матвей Матвеевич излагал кому-либо свои мысли, и ни капельки не было тут неуважения, ничуть, скорее радушное: «говорите, говорите, я не мешаю». И ведь тотчас же сама Елена Евсеевна спохватилась, заменила романсик о «ландышах» отрывком арии из «Порги и Бесс».

И, конечно, не обошлось без Чудина.

— Достойны ль мы своих наследий? — прокричал он дурашливо, по-петушиному.

Оксана сказала серьезно:

— Как вам не страшно одной! Я бы ни за что — мало ли! Тут и молодой взбираться на такие кручи, а вы... Молодец!

— Я? — Наталья Александровна осеклась с разбегу. Сколько ей было лет? Аккуратная прическа на прямой ряд то ли седеющих, то ли просто соломенных волос, краешком видная из-под выгоревшего платочка, широкие, кирпично обветренные скулы...— Мне страшно? Почему?

Елене Евсеевне пришлось прервать этот неловкий разговор.

— Вы шли через поселок? Мимо базара? Вы видели?

— Что видела?

— Машина-амфибия, говорит Матвей Матвеевич...

Наталья Александровна повела плечом. Недоумение, снисходительность, превосходство — все было в этом коротком движении. Она резко повернулась, пошла, не ответив — ее описывающая гигантские дуги орешниковая палка казалась копьем крестоносца, который отправился отвоевывать гроб господень.

Разошлись люди, осталась в отдалении лишь группка женщин, тесно сбившихся махровым цветком вокруг кого-то или чего-то в центре.

Это и было то второе, что отвлекло Елену Евсеевну.

ПРОДАВЕЦ КАМНЕЙ

Мужчины шли медленно.

— Я теперь буду читать тебя, Матвей Матвеич. Не подаришь, не пришлешь — найду. Книги ваши,— поправился Кривошейко,— понимаю, в торгах на полках не залягут. Ничего, достану. Я хоть у себя не царь и бог, да все ж таки... А в этой маете нашей, сами судите,— «Правду» прочтешь, кое-что в журналах, и если уж особенно говорят. Да по специальности, по технике... Ксанка смеется: «Цифирь твоя! Высохнешь, как вобла».— Он похлопал себя, еще раз убеждаясь, что это ему не грозит.

— А как не понравится, Спиридон Никитич?

— Какое может быть не понравится! И ты вот что, ты к нам давай, от сердца говорю; с супругой, как выберется возможность: встретим на уровне!

— Это спасибо, посмотрим. А насчет не понравится я вам хочу случай. Писатель один, ну, скажем так: страдал женолюбием. И была у него — ничего, жены ушли вперед, не слышат, подруга. Год, другой, третий. На курорт вместе — пожалуйста. Но жениться... Та подождала, огляделась — и перекантовалась. Чуть на стену не полез. Ни спать ни есть. Приятели глаз не спускали — не вздумал бы чего. Ромео наших дней. Вернись, я все прощу. И вдруг узнает, что бывшая Джульетта ославила его бездарностью, творения уподобила средству от бессонницы, а язык их булыжной мостовой. И с него как рукой сняло. Измена — это куда ни шло. Но простить критику!

— Ишь ты! Вон оно... Отчего же, Ксанка посмеется. И что ж ты... описали вы это, Матвей Матвеевич?

— Не-ет! Тут совсем другая опера. Обобщать анекдот — наивнейшая штука! Но я слышу Лялин призывный голос. Необходима мужская помощь. Ускорим шаг.

Так, непринужденно он поставил точку.

В сердцевине цветка прелестных женщин скрючившись сидел парень, самый обыкновенный, желтоволосый, с выцветшими от солнца до белизны бровями — почти безбровый.

— Сколько окончательно? Вы послушайте, я беру. Слушайте, сколь... Нет, я первая, я беру. Пятерка в расчет?

— Десятка.

— Это не агат. Какой же агат? Простой халцедон.

— А вы понимаете, что такое агат, халцедон? Или за другими повторяете? И ничего вы не возьмете — я вам не дам. Десятка.

И высеченная прелестная женщина на миг потупила очи долу, но, скорехонько зализав ссадинки, подобралась с другой стороны.

— Ну зачем вы так? Я к тому, что и работы вашей тут... Рубашку снять — и все. Как же вы столько спрашиваете?

— Вы не берете? Я возьму. Она не хочет. Вот я взяла. Восемь,— перебила очаровательная соседка, перехватывая бело-черную висюльку.

— И вы тоже не хватайте, гражданка, положите. Десятка. Рубашку снять — смотри какая! Ручки-то у самой наманикюрены. Это ж кулон!

— Если тебе нравится, заплати ему десятку, без базара,— положил конец Матвей Матвеевич.

— Донюшка, и мне бы...— попросила Оксана.— Вот эту брошь.

— То ж сотню по-старому выложить, Ксанка, сообрази. Я не Пирпойнт Морган,— буркнул Спиридон-«Донюшка», уже укрощаемый этим воркующим звуком домашней флейты.

— Видишь, и Елена Евсеевна покупает.

Всё расхватали мигом. Живой цветок облетел лепесток за лепестком. Пустяк осталось, совсем на донышке, чепуховые колечки, парень сгреб их.

— Смотрю я и чего-то не понимаю,— вдруг стал выкладывать свои медленные мысли Горин.— Ты подожди, ты вот послушай, Петруша. Выручку сочти: сколько он унес? И ведь не сам ищет камушки, да и работа чужая, подручных. Компания, компашка. Брашка-компашка. Рука руку... Сам ошивается, околачивается... юлит, реализует. Даже и на гору, спрашивается, лазил ли когда? А дом себе строит, ты знаешь? Дом грохает чуть ли не двухэтажный. Он, вот этот, в голубеньких индийских штанах!

— Ну и что? — сказал Чудин.— Чего ж ты не понимаешь?

Горин как будто затруднился.

— Лесняка ты читал? — спросил он.
— А мне зачем?
— Ты же с ним... И с Еленой Евсеевной... Вот и тебя я не пойму.
— А меня чего понимать?
— Нет, ты послушай. Прочтешь, представишь жизнь по Лесняку...
— Как в песенке из кинофильма: «Станьте, дети, станьте в круг»?
— Примерно. Сам видишь! Прочтешь Лесняка — и не только что дома отгроханного двухэтажного, но и улицы, где он стоит, будто нет и не бывало... Ты понимаешь? Гладкое место! Ни этого в голубеньких, ни дома.
— Гляжу я на тебя, Горин,— вроде художник, живописец, человек передовой, а рассуждаешь... какой-то малохольный ты парень.
— Нет, ты брось, раз в жизни покажись, как ты есть. Ответь, я спрашиваю тебя: что, это тоже анекдот, который пóшло обобщать? Скажи, а? Разве тот, в голубых штанах, один такой? Я бы вот — бухгалтерски учел, сколько моих и твоих рубликов, а там и государственных всасывается в трубу, прорву эту... компанию-компашку... экономику налево.
— Ты, Горин, о моих рубликах не тревожься. И не печаль бровей: я у него не покупал — чист. Да и о своих собственных напрасно ты: я приглядывал за тобой, как ты жался, копейки не выложил. Так что... А насчет бухгалтерии остерегаю: из докторов выходит художник; из мореходов — сам встречал; из таксистов; из космонавтов; из кого хочешь. Из бухгалтеров — нет!
— Чудя! Чудик! — Два нетерпеливых девичьих голоса.— Где же вы?
— Готово, иду! — То, что он мастерил — свистулька-свирелька была уже готова, он красиво оплел ее цветочками.— Так что держи хвост морковкой. И мотай на ус: у одного был запор, доктор прописал ему... какао. Понял? И еще:

Проходят, год за годом, годы —
Не созревают корнеплоды,
Хоть ты что!

Ухватываешь? Девчонкам перескажу. (Удачные номера он любил бисировать.) Будь счастлив. Мотай на ус. Ух ты, вот ветер взялся!

И с ветром долетело:

— Чтоб ты знал, Горюнчик: Марианка на тебя глаз кладет. Творчеством твоим интересуется: первый признак. Не теряйся, художник, держи свой помазок морковкой! Девчонкам перескажу!

Видно было, как, вручая свистульку, изогнувшись, он что-то проговорил, очевидно, повторял. Они прыснули, застеснявшись.

— Ну уж вы!

— Ох, ветер! Забирайте все, Петя, вьючьтесь. Скорей! Нужна мужская сила. Ой... рабочая мужская сила!

Смех.

— Пропали бы мы без тебя, Чудя. Привет, Горин, счастливо!..

Навьюченный Чудин шел, закинув голову гордым конем, высоко вскидывая коленки, «дядя-достань-воробушка», дурашливый фальцет, анекдоты, каламбуры, стихоплетство, и никак не поймешь, свое ли это, чужое. Про него сказала Елена Евсеевна: «Чудной, смешной. Всем помочь, удружить. Душа нараспашку. Надо попросить его достать яхточку. Для нас четверых, да?» — А Матвей Матвеевич хмыкнул: «Год за годом, годы — корнеплоды: не затаскано, есть игра. Но... созрела — морковь?! Впрочем, пустяки. Рубаха-парень. Обтекаем, как голыш».

ПАНАСЮК

Ветер то спадал, то креп, почти осязаемо напрягая горячие мускулы. И то на басовой струне, то по-осиному тонко зудел и свистал в деревьях.

А деревья, выстеганные им, уже не распрямлялись, так и стояли согнутые в дугу, заголенные, сыпля листьями, стаями крутящихся листьев.

Но гребней на море почти не было. Зеленое гнутое стекло, толкотня и всплески острых частых языков, а глубже — мгновенный, резкой чертой, провал в синь.

Ровная пустота бесцветного от зноя неба, только дымный клубящийся столб над каменной грудой горы, корзина дыма и хаоса, вываленная над крутизнами вершины,— что-то случилось, не сейчас ли, именно в этот день и миг очнулся миллионы лет молчавший древний вулкан?

Безлюдная пора дня, первая прожелть далекого еще вечера в слепящем свете, глухо, на улицах ни души, будто

выметено. Горин-«Горюнчик» привычно прочитал полукружную надпись на железных воротах: «Не скисать» — и вдруг понял, что ничего подобного никогда не было там написано, там просто стояло дужкой: «Детский сад», иных букв не хватало, некоторые скривились; но разве обе надписи, воображаемая и реальная, подумал он, по блажной своей манере, не значат, в сущности, одно и то же?

Улица с усилием тащилась вверх, потом сразу прядала к обрыву. Море кипело внизу, с редкими мазками пены. Та же зелень, празелень, ярь, медь и сажа, кинутые поверху витки золотой канители, нет, раздерганная серебряная соломка, устланная дорожкой, еще проще — пригоршни жестяных обрезков... Пустые металлические сравнения, как выразить, схватить это: тысячеглазый движущийся блеск, сквозящую глубь, ревущий голос этого простора, ветер, наполняющий твое собственное тело? Горин слышал о той комнате в феодосийской галерее, где Айвазовский, знаменитый маринист, писал, затворясь, спиной к морю, чтобы оно не сбивало с толку, если глядеть ему в глаза!

Огромный кругозор распахивался во все стороны с горба обрыва. Бездонность неба сгущалась до черноты у дальнего степного горизонта, словно отстой всей тревоги этого дня тучей давил там землю. И на сгущенной черноте мертвенно, белеными холстами спадали меловые обрывы с конического тела горушки, под странно скошенной, срезанной тупым ножом клювовидной ее верхушкой. Что-то напоминала она Горину, наизусть знакомое, почти немыслимое, то, что долго стояло перед ним таким неотвязным видением, что он хватался за кисти — только бы, повторяя, разгадать фокус.

Гора Виктория Сезанна — вот что это было.

Гора Виктория!

Карниз дороги, усыпанный хрустким гравием, спускался к двум-трем домикам на отшибе.

— Миша, вы!

— Кто? — спросил бас из глубины и хрипло, с натугой прокашлялся.

— Миша Горин,— объяснила женщина, впустившая его.

— Михайло! Ты что ж, Мишка,— к столу не садимся, ждем.

Колыхнулась плахта — весь дверной проем заполнил человек, покачиваясь на чуть согнутых под тяжестью ту-

ловища ногах в толстенных носках, всунутых в стоптанные чувяки-лодки. Рыжие почти без седины волосы раскиданы на непомерном черепе с обширными желтоватыми залысинами, красновато-желты веки колючих глаз, длинный столбик пепла чудом держался на сигарете, зажатой между двумя громадными пальцами.

— Да поздоровкайся! — обернулась к мужу женщина.— Не ворчи, не пили молодого человека, кидаешься как вепрь.

— А что ж молодой человек? Молодому самое нужен порядок: ему жить. К нам идет — у нас дело точное, часы по радио: старики, и то шагаем как положено, под зарядку: ать! два!

— Я больше не буду, Серафим Антонович,— усмехнулся Горин.

— Машина полчаса назад простреκотала — думал, ты уж не на таксях ли торопишься. Не: сосед Ерема до хаты правит.

— И что он тебе за Ерема? Семен Денисович звать его. Штормяга,— сказала женщина,— дверь из рук рвет.

— Лясы точить!..— оборвал муж.— Усаживай молодого человека. Заходь, Мишка,— сам виноват, просрочил. Я в твои года к казану первым — что у батька, что в артели... А то, Анюта, слетай и за Еремой: я ему его таранку одну за одной отдам в собственные руки. Спасибо, уважил, получай со всеми червями. Их-ти-о-лог! А простую таранку провялить, как надо, не умеет... Ерема и есть: что ж, что «Москвича» купил? Да захоти я... «Волгу» куплю! Веди Мишку. Я зараз.

— А ты куды ж?

Он толкнул дверь — и тотчас, гремя, ворвался кто-то плотный, круглый, верткий, скинул с полки кружку, наподдал щепу, улюлюкнул, грохнув настежь откинутой дверью.

— Не кудыкай,— крикнул Серафим Панасюк с порога.— Мало ль куды. Не все говорится. Зараз.

Звякнула клямка. Анна подала Горину мыло, рушник.

На столе рыба домашнего копчения и соленая, сало с чесноком, узкая, с солнечным зайчиком поллитровка столичной и еще графинчик — красный стручок на дне; пахло щами.

— Подался,— сказала Анна.— Море подался смотреть. Места не находит... Курит и курит — прокурил всё.— Она обеими руками отмахнулась от едкого, холод-

ного, пропитавшего чистую комнату табачного духа.— Окна закрыла, стекла вылетят. Вам, мужчинам, что: прокуренные, проспиртованные.

— Я не курю,— сказал Горин.

— И не баловался?

— Ну, как... С ребятами, мальчишкой. А не втянулся.

— И куражится, бахвалится — вы извиняйте. Я-то понимаю, с чего он. Жена чтоб не поняла... «Во-олгу» куплю!»

Она хлопотала у плиты.

— Василь ушел в море,— сказала она.

— Как же выпустили? На Спасательной подняли знак. И по радио объявили. Сейчас вернут. Все суда возвращают.

— Нет.— Анна покачала головой.— Утром, еще перед погодой. Молчком от батьки с матерью. Спасибо Семен Денисович передал: не ожидайте, не беспокойтесь — под Керчь ушел. Встретил Василия, чи как...— Говорила, возясь, быстрым ровным говорком, что про табачное курево, что про это.— И откуда оно, нечистая сила, штормяга этот, страшное дело?..

Не услышали стука двери, лишь как взвыло, грюкнуло за плахтой, заходившей ходуном; Панасюк стоял на пороге.

— Лясы — ото язык без костей!.. Всё! Сели, поехали.

Он бережно взял стопочку двумя громадными пальцами, как тогда сигарету со столбиком пепла, подушечки пальцев шершавы, со въевшейся чернотой и табачными пятнами.

Закусили. Панасюк отер рот. И к жене:

.— «Штормяга»! На пунент переходит.— Всем корпусом переворотился к гостю.— Вот я тебе, Михайло, расскажу. Тоже под осень — самая путина. Духотища в заводе — не продыхнешь, печка кирпичная посередке трещит кизяком, а то камкой, окошко, все шесть мутных стеклышек, от ветра трусится, дзинькает — скрозь и разглядишь одну зеленую муть, подводное царство. Нары кругом по стенам в два настила. Ничего — жили!.. А Панасюк, кто ж он там? Молодой, ни кола ни двора. Галай галаем. Только что баламут да болтун всех больше, ох и болтун! Не пойму теперь, как и слушали? «Зыбу, ласково говорю, развело. Завтра, говорю, хоть лягай, хоть песни спивай, хлопчики». А Шерепа, атаман, как сидел в овчинном кожухе, тихонько, да так, что на весь завод слышно: «Ка-

кой это там... Ваньку ломает? На пунент переходит! Гарбий буде. Чи бунация. Завтра самое сыпем!» Может, словом скоромным меня перекрестивши, и Николу-угодника под конец еще помянул, того не помню. А может и нет — уже лет шесть али семь было Советской власти. Только по его и вышло. С того время зарубил себе: не глупым глазам верь — умной башке.

Солнечный зайчик выбрался из стеклянного плена, из графинчика на столе, прыгнул, разлегся на скатерти ниточкой, оттуда — как изловчится на стену, так что синька явственно проступила на ней сквозь известку, а на потолке живей затолклась светленькая кучка отблесков моря.

Анна еле коснулась своей стопки, отставила, прикрывая рукой.

— Байки твои... Вон как взбуровилось!..

— Глупости,— говорил Панасюк.— Сейнеры, лайнеры... Бе-ме-эр-тэ. Со дна океанского рыбу подымаем. С четвертой, а то с пятой палубы глянешь вниз: чи море там, чи что? А я мальчишкой — байда да дубок, грегатремунтан зудит не шесть дней, так девять, не девять, так все три недели. А мы — поперек его! Против боры бартыжаем. Воротишься мокрый, ничего — целый, живой, тебе, Анка, сгодился тогда, не отворотилась.

— А сколько не верталось? Ни могилки на кладбище... одна могила — море. Дениса Яковлича забыл, друга своего, Семиного отца?

— Карр, карр! Бабий язык... Не, Ерема не в пего. Человек был Денис. А этот кто? Их-ти-о-лог. Да ты, Михаил, меньше слушай, больше зубами работай, пока зубы молодые. Рыбки бери — своя. Не Еремина таранка. Лососинки, правда, нема. И кеты — извиняй. Она, кета, чем плодится? Икрой. Вот икра, значит, сперва кудысь смоталась — поди найди. А следом и сама, с чего ей без икры взяться, дурень поймет. Рыба лещ минуща вещь.— Он хохотнул хрипло, нарочито.— Мы-то по са́лам — по отмелям сыпали,— ушла в глыбь, ее счастье: живи! Вот те салы, в окошко видать... ныне ж на дне океанском спокоя не даем.

— Мели Емеля,— сказала Анна.

— Рефрижераторы, холодильники-морозильники на тысячи тонн. А у нас чего было? Перереза́ стояли для усолки по задам заводов. Винцераду скинул, сапоги забродчицкие до пупа брякнул об пол — шерепина власть кончилась, пей, гуляй, пой!

А ты не покаявся,
Коло мене клався,—
А теперь пытаишься,
Де Гаврило взявся!

— Не выношу,— сказала Анна,— постыдись. Ненавижу... в ушах гудит. Песня, бахвальство...

— Думаешь, девчат не хватало? Раз целый, живой? И Василь — чего там — в меня! Квочкой не кудахтай над ним!

Ветер сотрясал стены, не сразу расслышали еще стук. Кошка вскочила, выгнулась, попросилась наружу, требовательно оглянувшись, мяукнула с порога.

Вошедшая девушка обеими руками придерживала, поправляла растерзанные бурей волосы.

— Тетя Аня, я к вам на минутку, извините. Вы когда дежурите на почте?

— Видишь — дома, значит — завтра. А что, без меня там работа стала?

— Нет, я хотела, когда вы. Послать брату, Женьке, в Находку. Мама говорит...

— Думаешь, как я, так скорее? У всех одинаково. Да ты присядь, раз заскочила, садись, Катерина.

— Выпьешь? — бухнул Панасюк.— Вот налью, еще на донышке осталось.— Он поболтал графинчиком с красным стручком.— Сейчас все девки пьют, не хуже хлопцев — мода у вас такая.

Она залилась краской, вся, мгновенно. Анна, скрипнув стулом, резко отодвинулась от стола.

— Нет, дядя Серафим, что вы... Я на минутку, извините, и гость у вас... Так я маме скажу, что завтра.— Но она стояла, не уходила.— Тетя Нюта, а Василь не дома?

— Нету, уехал.

— В совхоз? Он говорил — за виноградом. Я забегу часа через два, можно?

— Какой виноград! — Панасюк сделал губами так, будто хотел плюнуть.— Иди рви кто хочет, при чем совхоз, всё собрали, посадки открыты, охрана снята. А последыш и есть самый сладкий, чембалос. Давай, Анюта, поставь блюдо, угости чембалосом. Василь и нарвал, отцу с матерью на радость и в уважение. Перед тем как под Керчь податься, морем.

— Под Керчь!

Пригнула голову, будто прикрываясь от чего-то, и солнце, как платок накинуло, лизнуло узенький склонен-

ный темноволосый затылок, открывшуюся шею, плечи в мелькнувшем золотистом пушке. Только колыхнулась плахта за ней...

— Что ж ты, эх! Как ты ей мог? Поняла. Все поняла. Жалко ее...

— Чего жалко! Теперь с этим не считаются, все открыто, свистни — опять прибежит, моду взяли такую.

— И что в той нашел? Сменял... а я, дура, уж надеялась — сладится у них. Не надо мне снохи лучше, чем Катерина. А та деваха — щеки во! Раздельщицей на рефрижераторе — грубая мужичья работа... И замужняя. А он ради нее — хоть в морскую пучину, сын твой. Что нашел? Не пойму, режь — не пойму.

— Паморки не забивай. Мишке слушать тебя ой дюже интересно. «На кого сменял, мне лучше не надо». Тебе! Уж кто ничего не понимает, ни вот столечко, прямо на посмех, это баба в бабе. Скажи ей, Мишка! Баба про бабу — уши затыкай.— Что он болтал, переча самому себе, хмуро, зло, кривя рот, дразня жену! — А вот что до мужа дойдет, так это... У Шерепы, двум сынам его, на Опасной ватага Галушки чуть кишки не выпустила.

И добился — вскочила, выбежала в сенцы, и будто бульканье оттуда, трудное глотанье.

Тогда, скрючившись, осклабясь, шумно выдохнул Панасюк на эти звуки:

— Да не за девок, не бойсь, чего их делить, всем щупать хватит: за порванную посуду!

Могла бы, кажется, знать его — сколько уж вместе, всю жизнь,— а вернулась с красным лицом, смаргивая глазами, он же гаркнул и шлепнул по столу рукой с растопыренными пальцами:

— Стоп! Чтоб ни словечка больше об этом...

И утих.

— С донышка, последняя. Мишка, не бастуй. И долой, долой, убери со стола, матушка, говорить будем.

Скатерть сняла, села в стороне, а Панасюк спросил о том о сем, и Михаил стал отвечать, покорно и доверчиво, что́ с того, что был он как бы третьим лишним весь обед, в комнате, где уже соскользнуло со стен солнце и кончилась толчея зайчиков-отблесков на потолке. И Панасюк сказал про осень и про то, что ветра́ скоро сдуют всю приблудную курортню. А Михаил тряхнул головой: «Ну как же так стричь под одну гребенку? Ведь перекресток какой! Со всей страны слетелись!» — «Как на престоль-

ный на базар».— «И разные же люди... Считаю, позавидуешь вам. В газетах фамилию читаешь, фотографию видишь. А он вот он, руку подает. Я, Серафим Антонович, рассказывал вам про...» — «А ты, чем завидовать... Ну, про это разговор еще особый, на то и зван».

И повторил упрямо свое: сдуют. Останется ветер самдруг с красными, потом желтыми виноградниками. Останутся степь, море, горы, люди-степняки при садах, при фермах, чабаны, моряки, лесники.

— Катька забегала — учительницей будет, уважаю. И скажу тебе — жду не дождусь зимы. Только и увидишь тогда, какая она есть, земля. И вода, и улица... Ты где снимаешь? У Марыськи?

— Точно, у Марины Степановны.

— То-то, что люди разные. Люди людям рознь... До тебя семья там жила, у Марыськи. Двоих детей привезли — пацаненка, девчонку. Скольких годков — не скажу, но школьница. Значит, сужу, уже помощница, хоть помалу, хоть по дому. Жить начинает. А что ж? У Анны как было, ее саму спроси. Или теперь у Катерины. А та мамаша в пляс кругом девчонки. Ребенок. Нещечко. Так и не понял: чи але́ргия, чи энергия у нее — якась панська хвороба. Икорку кушай, растешь, доктора велели — с собой привезла в баночках для нещечка. Та ковыряет: «Мама! А кажная икринка — рыбка? Она живая? Значит, плавала бы, если б я ее не съела?» И ложку у рта задержит, считает: пять, десять... двадцать пять рыбок — «а я их в рот! А я их в рот!» Папенька же, возле причала, объясняет братцу, поменьше ее, пацаненку: «Видишь, краб? В руки возьми, не бойся. Чего плачешь? Ущипнул? Правильно, клешню ему долой за это. Чтоб, значит, не щипался. Такочки. Давай и вторую. А ножки? Чего ножки? Шевелит, оцарапал? Ничего. Чтоб не царапался. Теперь и с другого боку тоже две. Ровненько. Панцирь чище будет». Люди смотрят, женщины: ты что делаешь? — А вы чему учите? — Встал в рост, как перед львиной пещерой... перед пацаненком. «*Мое* чадо. Героем вырастет». Фашиста вырастишь!

Анна отозвалась:

— А при мне и было. Он не видел — я... Он с моих слов. Я говорю: да ведь живое. Кошка вот — где положу, все помнит, что можно, чего нельзя. Дверь заперта — вернется, потянет лапкой, покажет: «Открой». И к крану: «Попить — отверни». Все понимает. Нехорошо, Мурысь-

ка? Киська-Мурыська... Ластится, утешить хочет. Вот, Миша, смотрите, Миша...

— Оставь! — нахмурился Панасюк.

Но Горин нагнулся, посмотрел в щелястые, остроугольные с ярким желтым ободком кошачьи глаза.

— Как человек,— повторила жена.

Только будто накладные глаза, подумалось Горину (и он даже что-то вроде этого сказал, невпопад). Будто спрятаны под ними еще вторые, настоящие, да их-то уж ни за что не покажет!

— Как человек? — вскинулся Панасюк.— Понимает? А издыхать будешь в море, так это ж в кино дельфин наловит тебе рыбки, жди-дожидай! Подняться не можешь, лежишь,— собачка любимая догадается принести тебе попить-поесть? «Человек!» А еще и ты,— не забыл он и Горина,— «не настоящие глаза»... Лишнее, брось, отучись. Много у тебя лишних слов. А сам ты, думаешь, запасной пары глаз себе не завел — святой? Так и живем — то одну пару вздснем, то другую, на пересменку... Оно и выходит — пусть и человек,— закончил он, сразу выдохшись, опять противореча себе.— Пусть хоть иной человек. Приголубит, обласкает, накормит — жди-дожидайся! Сынок любимый. Чембалосом уважит. И остается, что только на кошку надеяться — правильно, Нюрок! Раз кровь от крови твоей считается с тобой, как...— Сложил кулак кукишем.— Вот как считается, поняла?

Фотографии в простенке, в рамочках. Который Василь? Нет, тут не он, три дружка, старая карточка. В домодельной рамке из ракушек. Статный, стройный, в фуфайке, ухарский ус, широкое, блином, лицо, полные ребячьи щеки, ухарские, конечно, огненные колечки из-под круглой кубанки (что делает с человеком время!), напряженно-выкаченные глаза. Другой — худ, с маленьким твердым ртом, в комиссарской кожанке, кожаной фуражке. Третий курнос, белобрыс, — не друг ли Денис, отец Семена Денисовича, «Еремы»? Друзья-товарищи, сниматься не искусники, стоят деревянно, как поставил их тот, давний фотограф со своей неуклюжей треногой и долго выдерживал — куда девать локти, чтобы не пихнуть друг друга, и у всех одинаково упертый перед собой выкаченный взгляд...

А эта карточка поновей. Взглянуть — опять вроде тот же статный молодец, но косая тень от летней соломенной

шляпы срезает половину пухлого лица, ни усов, ни огненных кольчиков, и смеющиеся глаза, а сам, верно, ростом пониже, два бугра мускулов (спортсмен, физкультурник) под открытой рубашкой, два жгута из-под короткого рукава. И коротковаты руки — в одной на отлете, за дужку держит снятые, наверно, дымчато-сиреневые солнечные очки. Василь, вот какой он!

— Улеглась,— услышал Горин.— Уснула твоя шурабура, чтó я говорил?

Острая свежесть хлынула в растворенное окно. И будто всплеск далеких голосов.

— Молчи — гудишь... Помолчи минутку, Сима.

— Низовка,— а что я говорил? Не соскочил еще с панталыку!

Когда он чтó говорил про низовку?!

— Христом-богом — помолчи! Люди у причала.

— Люди — скрозь. Да ты ухом пригнись, приладься. Грицько, крути, крути головою!

И она, по этим словам, отскочила от окна — может, шутил так еще с маленьким Василем, и как же смел сейчас! Схватила платочек.

— Куда? Дома сиди — гость.

Глыба его туловища застила вечереющий свет, в комнате посумрачнело, и казалось — трудное, прокуренное, с клекотом дыхание колеблет, колышет его, заставляя подрагивать на ногах в толстенных носках. Медленно, зло он кидал куда-то наружу тяжелые слова:

— Пошла. Полетела. Крылá на пятках. На свиданку с Еремой. С водяным дядьком. Сама убедится, вернется. Я говорю — ничего нет и быть не может, стихло. Сбились, галдят — чего сбились?

Сплюнул за окно прилипшим к губе окурком, повернувшись, потянулся к коробке сигарет на столе.

— Ты извини, Михаил, немного нескладно, сам понимаю. И ее прости. А побалакать мне с тобой — сиди, сиди, побалакать надо. Ну что ж. Ехать тебе, скажу, отсюда — куда же? Некуда тебе ехать. Вот мой разговор. Сироту стены давят — думаешь, не знаю? Еще как знаю. Здесь своим будешь. И она так смотрит, Аннушка. Ты ее не слушай — хорошо, что детей у тебя не было.

— Был. Мальчик...

— Был? Младенчик? Тем более поймешь. И ее поймешь. Тебе же грубо скажу: к лучшему. Потому что ты кто? Простяк. А жизнь знаешь какая? Правда в тебя,

тихоню, ошиблись — вперли железяку. Какую-никакую, а железяку. Я вижу. Это хорошо. Что ж, сгодишься. С железякой и сгодишься. Не на брюхо работать будешь. И кому другому потачки не дашь. Ни начальнику, ни дружку. Молод, молоко на губах? А что́, что молод? Старик тут был, дедуга, меня чуть моложе, да...

Отмахнул рукой и грузно сел, так что ерзнул, пискнул под ним стул.

— Там ты что? Птичка-невеличка. Где ты работаешь? В Госстрахе? Или сберкассе? А тут у тебя что будет? На балансе не те промысла, что были на косе при атамане Николе-угоднике. Про те забудь. Кто тебе равнял? Плюнь, говорю, разотри и забудь. Мотоботы. Сейнера. Техника! Радиоразведка. Не сегодня-завтра в Индийский океан сберемся. Хорошему бухгалтеру золотая цена! От бухгалтера что зависит? Дело чтоб как смазанное шло.— Он загнул вниз палец.— Люди. Чуешь слово: люди! — Второй палец вниз.

Но что-то ему не показалось, стукнул по столу.

— А не зову! Не сманиваю — ни боже мой! Сам, своей головой... Ты там привык — столицы, областя́, шум, гам, что здания, что начальство — все высокое. А здесь, наперед говорю, не Сочи — и не мечтай! Глушь — полгода. И в главные не попадешь, не дорос. Еще учиться поставлю. Выучишься, работой оправдаешь — в партию подашь; еще посмотрим тогда. Не жил ты — блукал. А не оправдаешь...

Шумно вздохнул, с силой вытолкнул воздух.

— Все слышал? Есть в тебе живая душа — сам почуешь... Да чуять что — и кулик свое чует. Понять должен! А вот понимать... Скажу тебе, меня взять: только теперь и стал по-настоящему смыслить что к чему. Жить бы жить самое время — когда скоро уж и мотню свою из моря вытягать пора... Вот и оно. Детей растишь, а вырастишь — своего ума не вставишь... Она что́, еще моложе тебя была?

— Нет.

— Ровня? Старше?

— Двумя годами.

— Двумя? Это ничего. Двумя годами — ничего. Ну... один у нас не победуешь, не бросим. Да и ты нас... Еще и поробим с тобой, не поспешаю на покой, ноги вот трошки... Катьку видал? — спросил Панасюк вдруг, но рывком повернулся к окну, так что нечего отвечать Горину.

— Бежит, бежит! Вон она! Ага, убедились, спешит! Или... обознался? А ну, твои глаза молодые. Не она? Не Анюта? Не пойму, что ж там, чи там спасательный катер... Ты извиняй нас сегодня, Михайло...

МАРИАННА

Гора заслонила солнце, бескрайней тенью задернув бухту и равнину. Лишь над вершиной сочился в небо неяркий лимонно-желтый отсвет. Да над морем рдела вдали гряда облачков. Она казалась гирляндой пушинок-летучек или парашютных куполов во время группового прыжка, а если угодно, гордо шествующей в линию флотилией судов с распущенными розовыми парусами. И от них пролились, маслено шевелясь на волнах, карминовые капли. Так что мелькнувшее скользкое черное веретено дельфина выделилось резко и бросилось в глаза.

— Ишь... колесом!

— Где, где он?

— Вон... Как же вы! Да вон же!

— Что такое — не могу найти...

— Сейчас... Следите за моим пальцем. Вот он! Вот имеется!..

Он то появлялся, то исчезал. Редкость, событие!

И надо же: позади, вразнобой с первым, перекатилось, зарывшись в грязно-желтых лохматьях пены, еще одно веретено!

Марианна, блондинка, красавица, вскрикнула: она прежде других заметила кувыркающуюся навстречу первой новую пару. Четыре дельфина сразу! Разминулись. Но это только игра: они отлично знали друг о друге. Четверка двинулась вместе, не сбившись в кучу, а блюдя четкие интервалы, как бы следуя некой диспозиции. А парочку в центре и вовсе связали незримые узы — тех, что только что вывертывались вразнобой чуть не в разных концах бухты. Теперь они крутились, черная спина с черной спиной, белое брюшко в лосинах с белым брюшком, длинное рыло щелкунчиком с таким же зубастым ихтиозаврьим рылом — двояшки, два вместе запущенных колеса, враз всплескивая не по-рыбьи плоским раздвоенным хвостом, враз выкатывая крутые, каменно-мертвенные, снизу подрытые ямой лбы.

Так ушли, укатились наискось от берега в угрюмую глубь.

— Чудо! — сказала Марианна.— Вы эту книжку... ну, американца, которую все... простая фамилия, выскочила... читали, конечно?

Засмеялась:

— Вспомнила: Люли. Склероз, скажете: «стареешь, Марианна»...

Но Горин не читал «Человек и дельфин» Лилли и, поняв, что ни за что не сознается в этом перед Марианной, смутился еще больше.

— Помните, они с ним по-английски разговаривали. Или дельфины по-своему, а он по-английски. И понимали. Вполне естественно: удивительный мозг — полушария, извилины. Очень преданны — даже если убить одного, другие подплывают и катают детей: сама читала в газете. На лету схватывают, что нужно человеку. Скоро, передавали, при рыбацких колхозах будут дельфины — загонять рыбу, спасать при авариях.

Не то всерьез, не то вовсе не всерьез, с усмешкой. Но резко изменила тон.

— Темнеет. Как быстро!

— Юг.

— Никого... Пойдемте.

Шли рядом, близко от себя, на уровне своих глаз (она была высока, статна) он видел ее глаза, дымчато-голубые, с их странной особенностью: будто некоторое тайное устройство, тончайшие распялки держали их в одном, широко отверстом положении,— она не жмурилась, не щурилась — и сейчас, казалось Горину, они светились на ее матовом в сумраке лице. Кто была она? Киноактриса с журнальной обложки? Он робел перед ней, ее неправдоподобной, совершенно сделанной красотой, и гордился, и что-то, захватив, точно подымало его над самим собой: она шла рядом!

Кто были все они из круга Петюши Чудина?

— Так непривычно встретить вас одну.

— Я вообще одна.

— А как же?..

— Ах, это! Надо же с кем-то проводить время. Раз уж догадалась приехать под занавес, к разъезду — никогда так поздно не ездила. И он остроумный, забавный. Длинный, простой. С ним легко. Иначе с тоски сдохнешь.

— А кто *она*? Близкая подружка? Или сестра?

— Вы не наблюдательны: вот не ждала. Мы же ни в

чем, ни в чем не похожи. Брюнетка... Вчера встретились, завтра расстались. Впрочем, хорошенькая девочка, правда — носик не вышел. И ляжки. Пустяки: одобряю вкус Чудика. И ваш — так?

Рукой он нашел ее руку. И плечо ее прильнуло к нему.

— Значит, одна...— Он искал слов. И спросил, понимая, что глупо: — А там, откуда вы?.. То есть в Москве — верно?..

Она отрезала:

— Хотите начинать с анкеты?

— Молодые люди, дозвольте, сколько время?

— Сейчас... Марианна, у вас есть?

— Представьте, совпадение: забыла... хорошо, если не на пляже. Да бог с ними. Не знаем, девушки.

— Счастливые часов не наблюдают.— И прыснули. Вслед: — А мальчик ничего!

— «Счастливые часов...» Нафталинные шуточки. А, впрочем, простительно: только вообразить — поздняя осень, зима. Степь-пустыня, гора. Ни одеться, ни пойти. Одичаешь, на луну взвоешь. Я люблю шум, интересных людей, красивые здания, яркий свет улиц...

«Москва»,— подумал он.

— Ох, что это?

— Собаки, не бойтесь.

— Прямо под ноги. Ну, что это? Опять, привязались.

— Пошли, пошли!.. Не обращайте внимания. Играют. Собой заняты, не нами.

— Свернемте куда-нибудь. Я могла бы заблудиться в этом парке. Говорят, насадил помещик, генерал, еще могилы их есть, склеп...

— Навряд ли помещик. Посадки нашего времени. Быстрорастущие деревья. Айланты, акации. Катальпы, маслины...

— Маслины — как раз самые древние. Есть тысячелетние. На Кавказе, в Пицунде...

— Нет, конечно, не маслины. Это я повторяю, как даже здесь говорят. Лох, очень похож. Можно спутать. И еще дрок. Вам не приходило в голову? Будто тропические заросли.

— Вы бывали в тропиках?
— Нет, представляю себе. Колючие ветки, слоями, перистые листья. И звуки... слышите? Будто бьют в било.
— Да. Где это?
— Не поймешь. Мне объяснили — грубыми голосами великанов кричат крошечные древесные лягушки. Вот я и воображаю: деревня, бунгало. Бьют в било. А вокруг — ветер проносится по травам, волнами — до черных, до рыжих обрывов, и вся гора обожжена, с голой, косой вершиной. Как птичий клюв. Гора Виктория.
— Виктория? — Повторила. И вдруг улыбка, беспомощная, просительная, виноватая, скользнула по ее губам.— Такое воображение! А я земная. Да и что я... Вы столичные...
Он засмеялся с облегчением, оба принимали друг друга не за тех, кто есть, оба ошиблись.
— А я вовсе не столичный!
— Да? — Кажется, не придала значения или просто не расслышала, торопилась сказать свое.— Я только и была в Москве проездом, дня два пожила у школьной подруги — замужем за майором, ждет ребенка, долго стеснять неудобно. Как мечтала походить в театры — в Большой, на Таганку, в «Современник». На вернисажи. Поехать на Ленинские горы, подняться по эскалатору, там есть не в метро, а прямо на горе, для всех. Пообедать в Останкино, на телебашне, в ресторане как в самолете. Говорят — ты молода, все впереди...
Удивительная метаморфоза происходила с ней — как же он не понимал ее? Она шла рядом, он ощущал теплоту ее руки, прикосновение бедра, податливую, ищущую тяжесть плеча... Что значили слова? Мало, возможно — ничего. Но он верил каждому слову; всегда он верил словам тех, с кем встречался, почти каждому слову. И та недоступная черта, которую с самого начала прочертили между ними ее глаза, поразившие его робостью, черта эта — совсем зримо! — порвалась, как шнурок, может быть даже, если прислушаться, с шорохом упала к их ногам!

И на шорох как раз кинулся какий-то парень, выхватил что-то из-под самых ног.
— Ежик! — сказала Марианна.
— В кусты хотел. Шалишь! — ухмыльнулся парень.
— Тебе он на что? — спросил Горин.

— На кой мне? А ни на кой.— Свет дальнего фонаря дробно кропил желтый клок волос, мелкие черты лица, каких тысячи, с белесыми бровями, неровно-пятнистым загаром на щеках.— Мне ни на кой. Хочешь — бери. На́!

— Давай.

Взял ежа, он полураскрылся, свиное рыльце уткнулось, фукнуло в ладонь.

— Ну, зачем он нам? — сказала Марианна.

— Выпущу, пусть бегает.

— Выпустишь? Сначала плати четыре рубля: я поймал — мой. Другого лови сам — попробуй, увидишь: ежи здесь редкость. Выпустишь, если дурак: больше ее слушай, твою. А умный — сало вытопишь, продашь за барсучье; беру только четыре, а сколько выручишь?

— Четыре? Вот хорошо — знакомый, знаю тебя. Четыре хочешь? Сразу рассчитаюсь. А ну, пошли!

— Ты что? Чего ты? Рукам воли не давай. Никуда я не пойду. Девушка, чего он ко мне... Пошутить нельзя?

И, как стоял, сгинул.

— Я не поняла тебя...

— Так это же тот самый. Что камнями торговал. Неужели не узнала?

— Да ничего же общего!

— Он самый.

— А если б даже... Вон как ты!

— Что ж, так и пройти?

Она усмехнулась тихим смешком, пальцы ее переплелись с его пальцами, скользнули по каждому быстрым пожатием. Метаморфоза продолжалась, ничто не разделяло их. Господи, он не был избалован, дыхание у него перехватило.

— Рыцарь мой... Есть такие витрины: «Не проходите мимо». Видал, какую брошь отхватила супруга этого писателя, Лесняка: не прошла мимо! Но что нам до них? Я хочу все знать о тебе. Так давно присматривалась — не замечал, не понял? Ни на кого не похож, ни на тех, кого знаю на работе, ни на этих, здесь. Иначе, что думаешь, и шагу бы к тебе не ступила — на что мне, ваше самовлюбленное племя не обходит твою спутницу своим снисходительным вниманием — хоть любую коллекцию собирай!

И тон «всерьез и не всерьез», как тогда, когда рассказывала о дельфинах, снова мелькнул на миг — лишь на миг!

— Ты коллекционерка?

— Брось!.. Рад, что со мной? Спрашивал, не одна ли я *там?* Какое это имеет значение? Для нас с тобой — какое? Жизнь так сложна... Милый, погоди, не торопись. Я же здесь, никуда не денусь. Расскажи о себе. Петя так высоко ставит тебя.

Опять Петя, Петюша...

— Ты ведь говорил ему, рассказывал? Не обижай и меня недоверием. Подожди, ну какой ты, я же прошу. Сделай, как я прошу...— И вдруг вскрикнула: — Ой, откуда?.. Те самые. Прочь, прогони их. Я боюсь. Всю юбку... Может быть, бешеные. Уйдем, уйдем к свету...

Фонарь горел возле павильона. На вынесенных наружу столиках раздавался сухой треск костяшек домино, стук шашек и шахматных фигурок. Все это, в общем-то, не требовало слов, но игроки вовсе не безмолвствовали: как известно, одно из главных удовольствий игры состоит в звоне. Возглас индейского торжества:

— Труба трубическая: я вижу вас в гробу!

И гудящим басом, спокойно парируя:

— А нам — плевать: нас много и все в тельняшках.

Голос Кривошейко:

— Вы загвоздочку... А я вам наперекос, по науке доктора Ласкера.

Лесняк, задумчиво:

— Ласкера? Гм, Ласкера...— Пауза, очевидно — ход.— Математик — никуда, философ — смешно и говорить. Кормился игрой в покер и спекуляцией маслом...

Конечно, весьма едкая и острая ирония, свидетельствующая, что и тут была у него некая своя точка зрения, возможно, и не совпадающая с неуважительными словами!

Но Кривошейко не умел подхватить ловко кинутый иронический конец. Спиридона Никитича легко было поставить в тупик:

— Что-что? Это вы про Ласкера?.. Ох, пишущая братия! Ох, остряки!

— Ошибаетесь, никакая не братия, а свой брат, шахматный мастер, ему и книги в руки. Так прямо и пишет. Я вам дам, сами прочитаете, черным по белому...

И новый победоносно-индейский клик игрока, повергшего-таки наземь басовитого противника:

— Читай книгу «Пижоны и их жены»!

Марианна не утеряла нити вторично прерванного собаками разговора.

— Я понимаю твою осторожность. Мне передавали о случаях пропаж из выставочных залов, прямо из-под охраны. Я бы с ума сошла: это же я, мое.

Что это, откуда взялось? Он силился поспеть за изгибами ее мысли. Ведь какой — совсем иной — была она только что! Ни Петюше Чудину — никому он *так*, как она поняла, не изображал себя, не выдавал себя за... Говорил то, что есть, но лишь краешком, частично, и, может быть, получалось, что *давал понять* что-то сверх — зачем? Казалось лучше, проще — совсем ведь невинно, и кто во всей этой компании не хотел здесь, у моря, *казаться* кем-то другим!

И сейчас, с ней, он опять подчинился повороту разговора, которым командовала она; смолчав о бытовой правде, тем более стремился к искренности во внутреннем смысле — в этом внутреннем смысле он хотел быть предельно искренним перед ней.

— Нет, совсем же не так, зачем ты... Вот коснись до меня...— (Чтобы хоть такой фразой избегнуть лжи!) — Мое взяли, так сужу, значит — позарез кому-то нужно то, что я сделал. Вот тогда оно и станет по-настоящему мое! Я не умею сказать.. Тогда я человек.

— Рыцарь-то рыцарь, а ты еще и христосик: рубашку скинь. Не понимаю, я земная...

— Нет, я не умею объяснить. И не смейся. Не «Джоконда» же, не миллион долларов. Значит, не ради выгоды, денег, если бы кто и взял — мимо всех сторожей, милиции, подумай. Значит, для него самого это! Если б я мог хоть чего-то похожего добиться! Такая награда — большей не придумаешь!

И засмеялся, обращая в шутку.

Но она не улыбнулась.

— А ты совсем не похож на художника с этими своими мыслями. Все-таки кой-кого я знала. И если бы не Чудик Петя...— Да, он, наверно, сейчас зарапортовался, но кто же, кто был ей этот Петя? — Плохо рассуждаешь: один возьмет, у тысяч отнимет. Глупый у нас разговор, глупый, глупый...

Кончиками пальцев дотронулась до его лица, верх был опять ее, вдруг она стала лет на десять старше, взрослее, трасформация ее продолжалась...

Все молчало. Замолк павильон. Пусто. Лишь впереди в жидкой полосе света кто-то стоял. Наклонился к кустам, там что-то пряталось, копошилось. Стало видно, как напряжено его безбровое лицо, сужены глаза, он чмокал толстыми губами, желтый клок волос выбился на неровно, пятнами загорелый лоб. Собачонка выползла из кустов, на брюхе, скуля, он нагнулся ниже, приманивая, цокая и чмокая, пока она, шевеля обрубком хвоста, засматривая ему в лицо, не ткнулась в сапог. Тогда, распрямившись, дернув углом рта, так что щека и пуговка носа разом полезли вверх, он ловко, метко, ногой в голубенькой штанине поддал в розово-белый, вздутый бочоночком живот. Визг, немыслимый для живого существа, пронзительно-верещащий,— и захлебнулась, тело собачонки рухнуло в кустах.

Кинулся, опоздал, рванул его за плечо Горин.

— С-сукин сын, ух, мерзавец...

— А ты кто такой? — Даже не озлился! — Ишь, указывать! А я от исполкома, слышишь? Всех таких истреблять. От поссовета — еще и стрелять буду!

— Лжешь. Про Совет лжешь. Я дважды тебя встречал.

— Да что ты? А я тебя — нет. Выискался! А ну, проходи со своей девкой!

— Теперь не уйдешь, сволочь!

— Отчего ж не уйду?

Вильнул всем телом — и сгинул. Как не было.

— Сам виноват — связываешься. И выдумки, фантазии — причем «два раза встречал»? Вовсе не тот. И совершенно прав — ему поручено. Чем скорей уничтожить, тем лучше. Нашел что жалеть, людей жалей. Зараза, антисанитария. Возможно — бешеные. И как ты можешь сейчас, когда ты со мной, только что?..— Она, скосив глаза, будто глядясь в зеркало, оправила одежду, сказала: — Поздно, одни остались.— И вспомнила:— А ты так-таки ничего и не рассказал о себе... Хоть одно, но такое — на чем стоишь: чтобы я поняла. Что-нибудь заветное, я же просила.— Укор смягчила улыбкой.— Да поздно уже...

— Чего рассказывать, ерунда,— вдруг заговорил Горин.— После детдома жил в интернате. Женщина там была, Ольга Ипатьевна, мне вместо матери. Не она бы — еще кем бы вырос, вопрос. Но я не про то. На картошку раз отправляли — собрала, с собой дала кулек, где-то до-

стала, а годы-то были какие, представляешь? «Кушай, Миша, телятину». Хорошо. Был недавно у ней, поехал, старушка уже, на пенсии, поговорили, среди прочего вспомнил и телятину. А не было этого, говорит. Какая в те времена у нас телятина? Баранину у башкир добыла. Стало быть — кушай, Миша, баранину. Я же отлично помню — телятину. Нет, баранину, говорит, кому же знать, как не мне? Телятина — баранина: выходит, даже и вот чего не разузнаешь точно! А ты говоришь — главное, заветное...

Она не перебивала, только смотрела на него остановившимися глазами.

И постепенно удивление, недоверие, обида в ее широко раскрытых, дымчатых, померкших на матовом лице глазах перешли в испуг. В ужас.

Их стало уже, вместо двух, три пса. Подкатились клубом, самый большой вторгся между ним и девушкой, в диковинных скачках норовя лизнуть руки, щеки, нос собачьего защитника.

Марианна, оттертая, отстранилась, сжалась — он увидел ее вздрагивающие, растерянно втягивающие воздух губы, маленький, с частыми мелкими зубами рот слабой, беспомощной, слепо петляющей по жизни девушки.

— Ничего,— сказал он.— Все это ничего. Так уж, видите — ни отвязаться, ни избежать. Простите меня, Марианна... прости.

НОЧЬ

Он не заснул этой бездомной, черной, бесконечно долгой ночью.

И слушал, как всю ночь из пустого в порожнее, под беззвездным небом, переливало море.

Расплата, думал он. Расплачивайся, не жмись, теперь-то не отвертишься. И не ищи виноватых. Ты сам. Один ты. Кто это сказал вот только: «Сам виноват»? Марианна. Да, Марианна. Ты и перед ней, перед Марианной... Не она, никто: ты. Никто кроме тебя.

Забыл, что за все надо платить? Решительно за все. Большое и малое. Хорошее и... Рано или поздно. Такова жизнь — справедливость ее. И никуда тебе не деться — не вильнешь в сторону, как тот парень, трижды тот па-

рень. Не рассчитывай, как бы ни казалось, что вышло, словчил, удалось.

Что это было, когда ты *дал повод* принять тебя «за», порисовался, а ну-ка, что это было? Не расчет, не корысть, нет. Этого нет. Но слабость. *Угодливость.* Что ж думаешь — лучше это?

А что прямо не лгал, прятал кончики: вроде и правда... полуправда: то есть ложь!

Разберись. Честно, с самим собой. Ты коснулся сегодня чужого горя. Сомнений, беспомощности, смятения, тревоги — скольких людей? Было ли им легче, чем тебе? Но ты слышал одного себя; все, что видел, взвешивал одним — своим весом; и все же тебе протянули руку, а ну-ка спроси себя, чем поступился для них? Коснулся — и пошел прочь...

И за это плати. Раскошеливайся.

Отчаянная, воющая тоска взяла его за горло.

Не сегодня, не вчера — когда же это началось с тобой? — стучало у него в мозгу. Поскользнулся — не подостлал соломки, и случилось то, что нельзя исправить — не с соседом, не с другом-товарищем, не прочитал тонкий психологический разбор и сник, погрустил, посмеялся или покрутил головой: нет, с тобой случилось, с самим тобой. Потому что воображал, будто то, что у тебя есть, дано навсегда и безотменно — неразменный рубль, и само собой разумеется, и что́ тут ценить. Пошучивая, пренебрегал — и упустил: больше всего, дороже всего, каждодневно платить надо именно за счастье — оно не спускается, как паучок на паутинке, предвестник письма — доброй вести.

А началось и пошло, пошло — с чего? Не с того ли, что мальчишка, что смазлив, покрасоваться на веранде для танцев до полночи, что́ дурного, вполне невинно и так ему нравилось — он же решительно все расскажет, вернувшись, ей, которая подождет дома, одна, занятая своими делами, и так легко отпускала покрасоваться, ей это нипочем. Ну, а после, мало-помалу... Все можно. Мне можно, позволено. Я такой. И уже без рассказывания, впрочем, и тут считал: что бы ни сделал, все равно не спросит с него, если и узнает,— чуть не умилится, должна умилиться, *своя* (вот как он о ней думал!).

И когда пришел пьяный, под утро или на другой день — так было потом не раз, не два,— и не умилилась —

прикрикнул, изумленный, она ответила, поднял руку, «пришиб» — чего там, *своя,* никуда не денется!

Но разве может быть, разве мыслимо, чтобы только в этом было дело?! Все дело? Нет, нет, нет! (И вспоминал ведь, как не о себе, как о постороннем — разве такой он сейчас? Да скажи хоть Пете, Петюше — не поверит, присвистнет!) Страшная несоразмерность с тем, что случилось: так, даже сейчас, все казалось ему.

Был какой-то корень всего этого. О чем не догадывался. Или не желал знать. В нем самом. Что-то ложное, тяжелое. Слепое в нем.

А она старше, немножко старше, жена — старшая сестра, нет — мать балованного ребенка. Не он ее нашел, покорил — сейчас нелегко в этом разобраться, вспомнить по порядку; скорее — она его. Выбрала, подобрала. Прощала, оберегала, подталкивала: «Не стой! Еще шаг, дай руку, слышишь?» Его выигрыш в лотерее, его счастливый жребий!..

Бросил было вечернюю школу — заставила, доучился; и спецкурсы; и малеванье его — она верила, каждодневно подталкивала — вплоть до выставки в районном Доме культуры, что-то взяли на общегородскую, и побежал шепоток: только тогда и поверил сам. Собственно, шепоток, и все — серьезных судей не было, ничего всерьез не случилось. Лишь первые шажки... Но она была рядом со своей верой, восторгом, душа и тело ее, вот так, пошучивая, кликну, позову — и где бы ни оказалась, очутится здесь. *Как лист перед травой.*

Как же, в какой миг, когда переломилось — не сберег, не оградил, не подостлал соломки? Шурка-Журка (он звал ее Шурка-Журка), это я! Ты слышишь? Это я!

Молчит. Прислушайся — глухо. И навсегда глухо...

Утро. Рассвет. Избыта эта ночь. Кажется, нет ветра. Спит ветер. Тощий час с ледяными пальцами. Взвесь же, кто ты, что ты, где твоя дорога. «Твое место здесь»... Что помнишь, что знаешь о тех, без кого не было бы тебя в мире?

Мать он помнил. Она умерла в эвакуации, у чужих людей, в битком набитом тогда городке на реке Белой. Отец... от отца не осталось и фотографий. Сапер, он без вести пропал под Вязьмой — большой, представлялось Михаилу, во всякой жизни крепкий, всегда выше и всегда впереди, но странно — и для него будто шло время, будто где-то он — не мать! — был еще, оставался на земле,

жил — неужели же такой: с подернутым пеплом костром волос, своевольно-самовластный, грубо гудящий голосом, и сутулится, стареет — вот как тот, тот старый рыбак?

«Твое место...» Есть ли у тебя талант? Но есть ли, нет — теперь-то понимаешь, понял прежде всего, что не тут самое главное. Твоя жизнь. Твоя работа. Люди вокруг тебя. Вот где. Ищи их, не ошибись — и они найдут тебя: что ты без них?

Пусть же научит и то, что ты не в силах исправить. Врежет, врубит свой урок. На всю остальную твою жизнь. Тебе жить, Горин, и никому за тебя — надо жить, Горин, помни: надо жить!

1968—1969

ЗИМОВЩИКИ

Народу было много, только подвижная масса выглядела непривычно великовозрастной и черно-серой на ярком солнце — из-за пальто, воротников, темных одноцветных шляп. Медлительные женщины были солидны, молчаливы или поглощены своими разговорами. Но большинство — в тонких чулках, чуть не в паутинках — Горбатюку они представлялись на забавно тонких ножках.

Среди них выделялась одна, рослая, с рыжеватым отливом, очевидно, вымытых лондатоном волос на крупной голове, со светлыми прямыми бровями и каким-то пренебрежительным, мимолетно-скользящим по окружающему взглядом явно занятых собой глаз. Она влекла за руку мальчика лет шести, слева шла могучего сложения спутница с пунцовыми, налитыми до лоска щеками.

Горбатюк услышал ее уверенный голос низкого тембра и не отважился подойти — лишь остановился, пропустив их, и, по курортной вольности, долго, хмурясь, смотрел вслед (чего и в голову не пришло бы ему сделать на улице своего города).

В общем, он остался недоволен собой и этим днем. Пали тусклые сумерки. На крутом подъеме он придерживался рукой за густую поросль голых прутьев и тотчас отдернул руку — шипы раскровянили ладонь, он пососал руку, ощутив во рту слабый привкус ржавчины.

Потом он долго стоял на балконе. Далеко, откуда-то справа вырвался луч и широким молочным слоем налег на горизонт — водная кромка под ним, бугрясь, задымилась,

и вдруг вихрь огненных искр взметнулся в дыму. «Что это такое? Что может быть там такое?» — спрашивал себя Горбатюк. Впечатление было, будто молочный луч зажигал воду — она вспыхивала, как солома, мгновенный пожар пожирал горизонт. Но наедине с собой Горбатюк не допускал остроумничанья пустых сравнений, а добросовестно доискивался истины. «Птицы! — догадался он и удовлетворенно кивнул.— Вспугнутые прожектором птичьи стаи...»

Конечно, разминуться здесь негде, и назавтра он встретил ее. По пустой косогорной улочке она шла одна, прямо и строго неся голову, решительно, почти по-военному шагая своими сильными ногами, точно перед ней маячило призывное видение сурового долга или высокой цели. Пунцовощекой подруги не было. Мальчик семенил рядом, но, семеня, поспевал чертить носком по земле, срывать листики и любопытно изгибаться во все стороны. Он довольно лукаво глянул на дяденьку, который заступил дорогу и приподнял шапку.

— Я забыл вчера поздравить вас с Новым годом,— сказал Горбатюк. И обвел рукой вокруг: — Подумать только — и это в январе!

Она приостановилась (могла и пройти). Но отозвалась сухо и скучно, не оценив и не приняв весьма свободной завязки:

— Новый год всегда в январе.

Он смотрел на обидно вздернутые густые светлые брови на большом ее лице и никак не мог перехватить неуловимого взгляда блеклых глаз. Со злостью он спросил:

— У вас часто выдаются такие январи?

Но тем больше ему нравилась женщина.

Она же смотрела на пыжиковую шапку — шапка была отличной, она выделяла Горбатюка среди других мужчин в шляпах; но женщина смотрела потому, что такую же хотела достать для мужа перед своим отъездом, обещали, и ничего не вышло.

— Так случилось,— отрубила она, не поощряя к дальнейшим вопросам. Но, выполнив это, она, очевидно, что-то передумала или сочла, что теперь позволительно быть мягче, брови ее распрямились.— Выходит — зимовщики.— И пояснила уже вовсе словоохотливо: — Из-за него, болел...

А он, мальчик, отбежал к кустам, словно покрытым чехлами кожистых лоснящихся листьев. К зачехленным

коричневым кустам. Город весь, в низине и по склонам, был как летом — от темно-зеленых игл кипарисов, яркой и смуглой листвы, будто замерших в летящем ветре плоских парашютов пиний. В кустах появилась вертлявая птица воробьиного роста, но расписанная от руки акварелью: оливковая манишка, черные дужки поперек белых окологлазничков, нежно-пепельные крылышки с зеркальцами. Знала ли она себе цену? И что воробьям единственно остается — взирать на нее с униженным благоговением? Знала бы — не прыгала скоком следом за воробьями, не чик-чирикала бы побирушкой при них, не подклевывала бы, что те кинут. А их тоже — странное дело! — совсем не угнетала собственная безнадежная серость. И мальчик стал на четвереньки, чтобы страшным диким котом подобраться к птичьему мирку, не сведущему в правилах общежития...

— Алеша! — обернулась мать.— Алексей!.. Ни на секунду отвернуться нельзя,— пожаловалась она Горбатюку,— все двадцать четыре часа пришит хвостиком...

И Горбатюк по этим словам, особенно по словечку «Алексей», сообразил, что мальчик часто остается один и привык к этому.

Пошли вместе.

Он узнал, что зовут ее Людмилой Ивановной.

— Зимовщики! — говорил ей Горбатюк.— Это вы здорово: именно зимовщики. Вот что значит слово к месту. Расскажу случай у нас. Старичок не старичок, хороший специалист, выглаженный, выутюженный, тощеватый, правда, я бы сказал: румяный Дон-Кихот,— возвращается из отпуска. Копался поблизости на дачке. Заходит ко мне — рвется поделиться, как там клубнику собирал или супруга огурчики мариновала. Я гляжу и этак критически: «А вы чего-то похудели». Сразу сбивается, бормочет, лопочет, ничего не разбираю — почудилось, что ли? Переспрашиваю. А он опять — то же самое: «Клоп сожрал». А? — Горбатюк сделал паузу.— Вот так прямо и пришлепнулось к нему. Кто ни посмотрит теперь — будто только одно в нем и видит: клоп сожрал. У Дон-Кихота испарина на лбу, всех хватает за рукав. «Я же ответил: флоксы сажал. Оттого, мол, похудел. На даче флоксы сажал». Да теперь хоть сто раз объясняй. Хоть на пенсию выходи: клоп сожрал! А хороший специалист...

Он был в ударе, рассказывал со вкусом — и смотрел на спутницу, на большое, спокойное, с чуть заостренным

подбородком ее лицо, на розовый локончик у глаза. Под толстым пальто угадывалась высокая грудь. Все больше ему нравилась спутница.

Спросил о вчерашней подруге, она пояснила — знают друг друга с детства, со школы — ужас сколько лет! Но мужа перевели в другой город, видятся только вот так, сговорившись где-нибудь съехаться.

— Самой близкой была. Нас называли: двояшки. А теперь годами врозь, и писать поленишься: дом, семья, своя жизнь. Но помню всегда: крикну — и прибежит, примчится. И она про меня знает то же. Золотая душа у Динки...

Он вдруг почувствовал укол ревности — как будто что-то в этом сообщении и в ласкательно-интимном «Динка» умаляло его и сейчас и на будущее.

— Самой близкой...— повторил он саркастически.— Я вот посетил товарища, тоже со школьных лет, тоже водой не разольешь: судьба разлила. Тоже по разным городам... Приняли по-царски. Обнимались, слезы смахивали. И чего только на столе... Бутылок батарея — смотрю: сладкие, сладчайшие, десертные, ликерные. И еще сахарница с сахаром. Жена Бориса, дружка моего, гордо: «Все уши прожужжал. Саша да Саша. Саша любит, Саша не любит. Сашенькины вкусы все наизусть. Нашему Сашеньке, хи-хи-хи, одной наливочки. Боже сохрани чего другого».

— Сашеньке,— протянула спутница.

— Что думаете — «чего другого» так и не дали! А мне от приторности этой — столовой и словесной — кусок в рот нейдет. Давным-давно забыл, что и время такое было, когда баловался сладеньким. Да и было ли?

Пустая, легкая болтовня.

И Горбатюк так же легко и свободно взял за руку мальчика, рассказал ему про скрученные пробочником стволы глициний, обещал показать ореховое дерево и даже достать с него орехов.

— Новый год, зима,— вернулась к началу разговора Людмила Ивановна, Алешина мама.— По правде, все это мне... Зачем это? Лишь из-за него. Ради него. А сама — закрою глаза и вижу снег, поле. Ровное-ровное. Ни луны, ни звезд. И я в санях, закутанная как кукла...

— В машине, верно? — попытался ввернуть Горбатюк.

— В санях. И дремлю, и покачивает, слушаю — лошади бегут, полозья шорхают, а мне чудится, точно кто острым ножом режет теплую крутую булку... булку за булкой. Впереди, далеко, засветлело. Полоской зеленова-

тенькой. Поселок? Нет — где-то там проглянула луна, облила пустую снежную степь. Думаешь — ни за что не доехать, куда едешь. И все едешь, едешь. А тебя ждут... «Светит месяц, светит ясный...»

— Мама! А это не орех?

— Что? Алексей, мама рассказывает. Едешь, а тебя ждут, ждут...

— Ма-ама! — капризно пропел мальчик.

— Ну вот сейчас тебе дядя найдет орех...

Сколько ей лет? — думал Горбатюк. Не девочка. Но чтобы сама видела все это... Откуда же? Из книг? Из старых рассказов деревенской родни? И кто ее муж? Служит, перевели в другой город,— военный? Вышла, конечно, чуть не школьницей, за младшего лейтенанта или за сержанта, теперь-то он не лейтенант, может быть, украсил грудь академическим значком. А она? Все та же, что была. И удивительно, как это люди хотят жить еще и чужой, выдуманной жизнью, мало своей, мало дома (а что у нее дома?). Как это сидит, коренится в людях!

Он искоса поглядел на нее. И неожиданно понял, что она добра, беспомощна, с сумбурной и безалаберной жизнью. До чего не похожа на ту себя, вчерашнюю, решительно и строго шагавшую. Да и на ту, какой была вот только, при встрече...

Так думал Горбатюк. А она — что она думала о нем? Спросила ли себя, кто ж он такой? Чем дышит? Какими делами заворачивает в своей пыжиковой шапке?

Что бы ни думала, промолчала. Поглядевши на нее искоса, Горбатюк предложил:

— Пообедаем вместе?

И, сам не зная как, прибавил:

— Милая...

Маленький Алексей хвастал сверстнику, хозяйскому Генке:

— Я пойду в ресторан.

— В рестора-ан,— тянул Генка.

Взвизгивал ветер, незримые громадные пальцы рывком раздвигали тучи на горах — открывался изумрудный скат, сияющий сказочно исходящим из него внутренним светом. Он был точно картина в раме — космы, туманные волокна реяли, как дым сражения на батальном полотне.

Солнце вдруг проливалось на землю, и тогда становилось горячо и жарко, и совсем не поражали вяловато цветущие анютины глазки, львиная пасть, маргаритки и мелкие белые, без запаха, соцветия на жестких кустах.

В отвесных шрамах горной стены застряли снежные ленточки, начала у них не было, они выпадали, змеясь, из плотных облачных толщ. А еще выше, подостланная этими толщами, отделенная ото всего и потому, казалось, парящая сама по себе на немыслимой, фантастической высоте, обнажалась плоская сахарная вершина.

Дети играли одни, из растворенной двери пахло кухней, доносился стук ножа, шипенье сковороды, мать Геннадия готовила обед. Алешина же мать ушла. Он не знал, вернется ли она за ним или накормят хозяева, и не страдал, не скучал от этого, возможно, привык. Но, начав игру, поверил в нее, сейчас игра его захватила. Он выкрикнул, придумав новое, вовсе неотразимое по убедительности:

— Пойду в ресторан, наемся мороженки!

Так он крикнул на всю улицу, где должна возвращаться мама и, верно, дядя Саша, который ничего не показал, что обещал, и вовсе не достал орехов. В дальнем конце улицы, замыкая просвет между двумя новыми пятиэтажными домами, вровень с ними, клубилось море. И, если приглядеться, можно уловить вспыхивающие над ним беглые радуги.

1965

АБРИКОСОВЫЙ ЦВЕТ

Около аэродрома шоссе описало отлогую дугу, затем выпрямилось и помчалось прямой стрелой, изредка мягко покачиваясь на увалах,— вверх, вниз, а с обеих сторон пошли сады. Восковые цветы унизывали голые ветки, нет, пожалуй, не восковые — бумажные фестончики. Каждое дерево празднично, пасхально стояло — его любовно смастерили из черных прутьев и прилепленных двойными рядками букетцев. Пучки пятилепестковых венчиков со светло-малиновой середкой.

Девочка подала голосок:

— Дядя! Красное... Что это — красное? Вон красное!

Но такие вещи Сергей Павлович замечал сразу сам.

— Гранат.— И почему-то усмехнулся неловким извиняющимся смешком, взял грубой большой рукой ее ма-

ленькую.— Гранат. Мама покупала? Кожу отодрать, как скорлупу у рака, и — знаешь? — зернышки, зернышки, пожуешь — полон рот сока. Красный, кислый, сладкий.

Кислый или сладкий? Девочка сказала:

— Мама говорит — надо есть апельсины.

Наверно, просто недослушала, красные кусты позади, прильнула к окошку.

— Расстегни воротник, жарко, вспотеешь, Нат...

Слезы на глазах высохли, отлично, ей все уже интересно. Но как зовут, имя? Вот только что спрашивал, и начисто вылетело.

— Все обойдется — понимаешь? Ты смотри, смотри... Наташа. Интересно. Виноградники, видишь?

— Каменные палки! — Девочка засмеялась, все у нее прошло.— А меня — Лена.

И он тоже засмеялся и пояснил:

— Бетонные, не портятся, не гниют, сама сообрази, Лена...

Водитель сказал:

— Сергей Павлович, какой тут виноград — вам известно?

— То есть что — сорт какой?

— Именно сорт. Особенный. На экспорт! Говорят — поди достань такой, купи попробуй.

— Чепуха. Господи, что за вздор! Один взболтнет, а десять... Таинственный сорт,— вы-то зачем повторяете? Страсть любим тайны... Мы с вами должны знать, Николай: что на нашей земле — прежде всего для нас!

Но это не был спор — первый обмен торопливыми фразами, летучими сообщениями, конечно, с некоторым стремлением удивить, заинтриговать. Николай указал на гору Муюксун:

— Вон белеется, вон палатки! Археологи прибыли. Еще раньше нашего. А в город въедем... Двенадцатиэтажный дом при вас начали строить? Троллейбусы пустили. От метро, правда, решено воздержаться — временно...

Николай — вот он, будто и не минуло осени, зимы, вот его спина в той же вытертой до ржавой рыжины кожанке чуть не военных времен, а в круглом зеркальце его смугло-кирпичные скулы; и, видно, тоже рад встрече — как спешил, приехал до рассвета и сколько ждал, пока сядет самолет!

Значит — все хорошо, все в порядке, как и должно.

И все сливалось в одно: счастье приезда.

Разговаривая, что-то объясняя девочке, Сергей Павлович каждое мгновенье словно вбирал в себя, впитывал что́ видел, слышал, улавливал внезапно обострившимся обонянием — сквозь опущенное оконце, сквозь душок бензина. Запах пустынной пыли, земли, серой, сухой, но хранящей где-то в своих порах влагу или отстой быстрым крылом прошумевшего дождя, а может,— еще горных талых вод. Рассветный неистовый птичий кавардак. Мгновенное громыханье встречных грузовиков, и как в стороне трусил один ослик, другой — больше нет, с каждым годом все меньше осликов. И черно-пенную гамму до самых подолов гор, молочно-розовую пену цветения еще голого миндаля, персиковых, абрикосовых садов — с нежными, слабыми жилками зелени, желтыми брызгами дрока, алыми факелами; а надо всем — тонкий, вездесущий, хмельной медовый аромат.

А ведь осенью уезжал отсюда без сожаления, сытый, пресыщенный, как встают из-за чересчур обильного стола,— означало это, вероятно, жестокую усталость. Но с раннего, еще над холодными снегами, сияния весны света, весны роста дней, когда завершался цикл споров, увязок, табачного дыма, зимний камеральный цикл,— словно очнувшись, приливала, накатывала голодная, радостная, срывающая с места тоска, такая, что можно понять перелетных птиц.

— А что, Сергей Павлович, не всякого слушай: это вы верно. Точь-в-точь и наш командир эскадрильи. Приказ, допустим: бомбовый удар по объекту. Полетели. Ребята у нас какие? Макатюк заходит на объект. Или Стемашин. А ты что? Ты разве отвернешь — пусть какой хочешь заградительный огонь, «мессера»? Перед товарищами тебе тогда — хоть не живи на свете! После Сталинграда и Курской дуги мы и в небе совсем иначе себя чувствовали... А командир собрал — и давай при всех: «Я тебя не к Герою, не к ордену, а так, что вовеки веков не забудешь! У кого набрался? Кого слушал? Храбрость выставлять? Самое дурацкое. Цель твоя одна: выполнить задание. Победа. Мертвецы не побеждают. Лучше четверть часа побудь трусом, чем всю жизнь покойником». Вон как! А сам — дважды Герой. И точно: не забуду. И если я живой, сцепление вот выжимаю, через все взгоды и невзгоды...

— Как вы говорите: взгоды и невзгоды? Чем больше я смотрю на вас... Удивительный вы человек, Николай! Если б у меня за плечами то, что у вас... о чем рассказываете! Не жаль, после того, крутить баранку?

Вот так вопрос — отнюдь не руководителя к руководимому!

— Жаль с кашей не едят, Сергей Павлович. Все правильно, все нормально. Еще, скажу, сколько дружков завидуют моей здешней работе, в экспедиции. А в горы — как мы, скоро?

— Да оглядимся несколько. И люди слетятся.

— Геодезия уже вся на месте.

— Коллекторы?

— Из студентов этот, Пашка. А товарищ его...

— Валентинов. Мне все уши прожужжали: талант.

— Таланта как раз пока и нет. Не слетелся. Пашка и то руками разводит.

— Волк, волк!

Что же это, совсем забыли про Лену? Сама с собой мурлыкала, бормотала и вдруг не выдержала — катился, ныряя в сушняке, черный комочек.

— Волк? Ну... Разве что там, куда заберемся, еще остались какие-то волки — помните, Николай, квадрат семнадцать?

— А как же, Серебряное копытце, вы сами и окрестили. Не волк, Леночка, дрофа, большая птица дрофа. Бегает, как страус.

— Копытце-то и вышло вполне серебряное...

— Какая дрофа?

Спросила с гримаской, капризно — и сникла, заскучала. Машину тряхнуло. Скоро город.

— Тебя, что же, мама к отцу послала? — задал в свою очередь вопрос Сергей Павлович. Он обращался с девочкой, как с хрупким предметом.

— Я болела, и мама тогда уже написала папе...

Сергей Павлович хмыкнул.

Въехали на городскую улицу.

Сразу сбросили скорость.

Тесно и шумно, фырканье моторов, стук колес и подков, гомон, крики, полно людей, стройных, подвижных, красивых, с огромными глазами-маслинами!

А солнце ведь еще совсем не высоко, оно глядит прямо на профиль Ленина, выложенный разноцветными камнями на склоне оливковой горы, и зубчатые тени зда-

ний стелились по утоптанной глине незамощенных мест.

И весь городской шум перекрыт громовым грохотом льющейся воды, бешеной реки.

Остренько пахнуло утренним пригорклым дымком...

Квартира отца девочки помещалась на втором этаже нового дома специалистов. Леночку повел Сергей Павлович, а Николай понес чемоданчик с молнией. Недостает, чтобы никто не открыл.

— А не застанем — и ничего страшного,— угадал Николай опасения Сергея Павловича.— Вышли, допустим, на рынок или куда,— дочку же встречают, надо все купить, приготовить,— так ты тогда ко мне, у меня своя есть, только не Леночка — Женечка. Покушаешь, отдохнешь, потом уж обязательно найдем твоего папу.

Но что никакой подобной бестолковщины не грозит, сделалось ясно при первом взгляде на дверь, высокую, двустворчатую, с полированными под светлый орех притолокой и косячками, серьезную, солидную дверь. И правда: не успел дозвонить звонок, она распахнулась, будто ждали за ней. Отец вышел свежевыбритый, кремовый пиджак поверх белоснежного нейлона, хоть час совсем ранний, день выходной.

— Ленка!

А стройная молодая дама с легчайшими, как пух, пышными волосами еще опередила его — кинулась, обняла девочку, хотела было приподнять, но сама нагнулась к ней, целуя.

— Большая, ну какая большая, сколько ты не видел ее, Илюша, два года, три?

— Мы беспокоились,— глубоким басом сказал отец.— Твой маленький братик нездоров, ты еще не знаешь его...

— Увидишь — полюбишь, такой красавчик мужичок...

— Тетя Лёка сама не своя — я не решился оставить ее, простишь, дочка, что не встретил?

— Видишь, все хорошо — вот она! Я же говорила — не в Техасе живем, среди людей, помогут, не бросят. И в аэропорт папа звонил — прилетел, отвечают, вовремя, сел, пассажиры разъехались, все благополучно. Мы так рады тебе, Лена!

— Спасибо вам, товарищи, от меня и от моей жены! Отец приподнял руку, отчего кремовый пиджак еле

уловимо встопорщился, и еле уловимым движением плеч он осадил его.

— Поживет у нас,— улыбнулась дама.— Ее мать пишет — здоровье слабое. Укрепим. И в школу, возможно, доходит здесь до конца года,— Илья Александрович все устроит.

У ней были голубые с искорками в радужине смеющиеся глаза. Она повела за руку Лену, та шла букой, только в дверях обернулась и как бы кивнула, больше, кажется, в сторону Николая, чем Сергея Павловича. Дверь хлопнула.

— Все в порядке,— произнес Сергей Павлович — единственное, что пришлось ему сказать после звонка в ореховую дверь...

«Даже не поинтересовались, кто доставил дочку. «Илья Александрович» — мне-то что!» И совершенно неожиданно для него самого досадливо мелькнуло: «Да и девчонку взять, Лену: все-таки, что ни говори, трудный характер, рта не раскрыла во время всей встречи, как немая...»

На базе были все в сборе. Геодезия, которая всех опередила. Люди из второй партии с начальником. Два местных специалиста, похожих, как братья: спортивно-сухощавые, притушенный поволокой взор, иссиня-черные щеки. Знатоки троп и падей, друзья,— впрочем, в институтах и центрах знали работу лишь одного — о складчатости куэст, о габбро-диоритах и гнейсах, протерозойских свитах, разорванных сбросами. Одинаково крепкие рукопожатия маленькой ладони. Так, сразу не определишь, кто же из них «тот», а кто лишь спутник его. Два Аякса.

Павел Грачихин, студент, в свитере — то ли английской шерсти редкостного оттенка золы, то ли попросту как тряпка, в семи потах измызганная... Однако прошелся длинным, плывущим шагом, покачиваясь на шагу, основательно, без дураков, ступая тяжелыми башмаками, и тоже понятно: будет ломовая лошадь, не новичок, в переделках не подведет!

— Отлично, отлично.

— А за вами, Сергей Павлович, дома соскучиться уже успели.

Начальник партии, Пантелеймон Хабарда (как он сам представлялся), плотный, осанистый, румянолицый, со-

всем беловолосый, подал, не торопясь, бумажную пачечку и, откинув шарообразную, без шеи, голову, хохотнул удивительно тоненько.

Длиннейшая телеграмма со множеством слов, две покороче, еще голубоватый конверт, надписанный знакомым бисерным почерком.

— Так я же чую, что никаких делов нет, ничего с ножом к горлу — Анна Никифоровна тревожится,— сказал Хабарда и опять хохотнул.

Впрочем, было все-таки что-то в этой пачечке, набравшейся за то недолгое время, что ездил в Москву, в министерство, затем, с заданием министерства, в Ленинград,— некая смутная помеха, зубчиком выскочившая.

— Ну, хорошо — после. (Сунул в карман.) Перейдем к делу: как с приемкой оборудования? А с подготовкой местного транспорта?

— «Козлики»-вездеходы, кони, вьюки? Да вы устраивайтесь, устраивайтесь,— порядок, баклушей не били. Николай Анисимович у нас такой главковерх...

Отшутился: какое устройство, что за отдых, когда все равно знаешь, что под дверью будут бродить тигры и барсы на мягких лапах в страстном нетерпении, скоро ли перестанет нежить старые кости и удосужится проинформировать, с чем снизошел *оттуда*! — Сергей Павлович указал в потолок.

Так что лучше прямо начинать с дела.

Конечно, по правде, мог бы и отложить, ощутил усталость — третий выскочивший зубчик. Только тогда сразу пришлось бы, чуть останется один, приниматься за вот это: приводить к знаменателю все сегодняшнее.

Рано, не готов, лучше после...

Хабарда помахал сложенными щепотью толстыми перстами — не переспоришь, сдаюсь!

— Знаю ведь, сделаешь по-своему. Сколько лет одной веревочкой!.. Но мы-то хороши: соловья баснями. Просим, Сергей Павлович, давай умывайся и что там — да и к столу. Позавтракаем, перекусим.

С наслаждением стоял, фыркал, плескался под душем — под горной, чистой, холодной, вкусной, сладкой водой. Побрился. Оделся, как любил,— совсем просто, «по-походному».

Сели за стол.

Зелень, белый свежерассольный сыр, тминно-душистые

травки, влажная краснобокая редиска, холодная, в жирке, баранина — после лиловых винегретов, биточков, серо-бурых кофеев гостиничных буфетов. Молоко, которому пастеризованные бутылки не родственницы и не однофамильцы.

И сразу — развернули схемы, прикнопили структурные карты с убористо вписанными легендами. Итог полевого лета, институтской зимы — и стартовый рубеж.

Два года наз д поисковые группы установили бесспорную перспективность района.

Тем удивительнее, что в прошлом году долгое время все шло бесплодно. Маршруты трудны, высоты отвесны, обвалы срывались в лощины, урочища засыпаны каменными осыпями. Несомненнейшие аналогии разрешались пустышкой: цель ускользала. Руду нашли упакованной в кристаллических сланцах, переслоенных туфами. Обычного, гидротермального происхождения: горячие воды, зарождаясь в магмах, насыщались некогда их веществом, и след их подземного движения восходил жилой по древней расселине, перекрученной, сплющенной, словно раздробленной исполинским молотом за миллионы лет.

Руда была небогатой, требовала обогащения. Жилы не заполняла, рудные столбы, гнезда, разбрызганные вкрапления полностью оконтурить не удалось. Свинец. Немного пироморфита, в основном — галенит с малой примазкой серебра. И при всем том твердая уверенность, что это не конец. Не может быть конец...

Круторогий тур сперва близко не подпускал к себе: две недели он кружил возле человеческого островка. Стар, хром, с большой плешиной между гранеными рогами. Лысый тур. Любопытен. Изваянием со скалы вникал в людскую маету. Никогда не слыхивали ни о чем подобном! Наш домашний тур. Тусклым утром раскатились выстрелы — эхо играло ими в мяч. Кинулись пятеро, с ними начальник, Сергей Павлович. Карабкаясь, опередили браконьеров. Лысый тур, не боящийся людей, лежал, сбитый в хромоногом прыжке, подвернув назад рогатую голову с остекленелыми глазами, так и не поверив, что стреляли в него. На мокром изломе камня, куда стукнули копытца, кровянился пираргирит, редкая, редчайшая руда серебра! Крапинки, зерна тут, пятнышки там — где-то совсем рядом рудное тело.

— Очень серьезно отнеслись! Принимали так, что ваш покорный слуга почувствовал себя балериной. Спраши-

вают, в частных беседах, понятно: «Ведь возможны и спутники: серебряный блеск?..» Конечно! И самородное серебро. Все возможно. Шкура неубитого медведя. Векселей не даю... Но решения, сообщают, уже подписаны. Объем работ, грубо, удваивается. В отряд влиты новые группы специалистов. Щедро разнаряжено оборудование, о таком мы с вами и не мечтали. Разумеется, вертолет,— тут, не сомневаюсь, сработали горячие мольбы Пантелеймона Хабарды. А прошлогодний хомут? Тоже на нашей холке. Картирование, оценка запасов галенита — само собой. Словом, балерина — заманчиво, почетно, недреманное око министра,— но вот как еще спляшем Лебединое-то озеро!..

Ни в письме, ни в телеграммах Анны Никифоровны не содержалось чрезвычайностей, да и откуда? Отсутствовал еще недолго, звонил домой.

Только повторные вопросы, вдогонку, о том самом, о чем говорили, повторные просьбы о подробностях.

И в этом, и в почти хронометрическом, час за часом, письменном отчете, куда ходила, что делала, подчеркивающем незаконность одинокого ее времени, как налетевшего несчастья, и в прервавшем шуточный рассказ тревожном: хорошо ли перенес самолет (словно в первый раз, а не в сотый!),— во всем этом, или за всем этим Сергею Павловичу слышалось продолжение спора. Глухая борьба.

Началось исподволь, шло крещендо до отъезда. Хватит поездок, съедающих половину жизни. Неужели для них запретно то обычное, малое, естественное, что есть у дворничихи Анюты и у шумных и многолюдных соседей Кобеко, у всех, решительно у всех? Семья. Просто — семья. Холостые замашки, так и остался холостяком — разве не правда? Хорошо, был молод, но теперь, когда годы ушли?

И она говорила, углами изломав красивые брови, в упор приблизив расширенные глаза на располневшем лице, сжав горячими сухими руками его руки, что всегда жила одной мечтой — о покое, заслуженном отдыхе — о его старости!

Потом призналась в сердечных перебоях, но по неотступности взгляда было видно, что говорит вовсе не о себе, мучится, боится за него. Наклонилась, согнулась, он увидел в вырезе платья, как собралась красноватая кожа на груди, подумал о пролетевшей жизни бездетной

женщины, и острая жалость кольнула его. Анна же засмеялась, сказала, чтоб он ни о чем не думал, не беспокоился, она ни в чем не хочет ему мешать.

И долго вполголоса пела, с особенной тщательностью собирая его в дорогу.

Пора менять жизнь... Что значит пора? Высок ростом, два Аякса, Кепчаев и Хубиев, приходились чуть выше подмышек, где-то у плеча похохатывал Пантелеймон удивительно тонким голосом. Себе самому Сергей Павлович казался человеком примерно сорока с небольшим. Но что-то переламывалось. Тот же Пантелеймон, шестью годами моложе, еще прошлым летом выглядел старцем, к чьим немощам необходимо снисхождение. И вдруг это кончилось. Совсем иначе зарумянились Пантелеймоновы щеки. Женщины до сорока превратились, как одна, чуть не в девочек. Точно все оставались на месте, он же проскочил мимо.

Шел с заседания, на пустынной улице услышал нагоняющие шаги. Обычное: «Огоньку — можно?» И: «Не куришь? А вот палочку покажи, палочка понравилась». Палочка была кизиловая, любимая, сам вырезал. Согнутые в локтях руки-корни, квадратная грудная клетка — уличный шатун чем-то напоминал штангиста Новака. «А ну давай!» С грязной руганью ухватил палку, и тут Сергей Павлович сшиб его. Силач, ночной чемпион, попятившись, хватая ртом воздух, рухнул в сугроб, конечно, не ждал отпора, удара.

Смешно, но больше никогда не брал палки...

И теперь Сергей Павлович подумал, что где-то подспудная кротовая работа времени выходит наружу, и это видят все, кроме тебя...

Неприятно было, что эти мысли стали в какую-то неясную связь с неприкаянной девчонкой, которую мама, совместно, должно быть, с новым папой, отправляла к папе старому, а тот так и не встретил,— ни он, ни «тетя Лёка» (что такое Лёка? Леокадия?). Испуганную, растерянную, с мятым письмом в кармашке шубки, подхватил на аэродроме, поступил как надо... Так в чем же дело?

У Сергея Павловича был сын от первого брака, он практически его никогда не знал, пошел он по совершенно чужой дороге, в кино, и хотя имя сына и даже фотографии изредка мелькали то там, то сям, но получалось, что детей у Сергея Павловича как бы и не было. И он

никогда не испытывал от этого неудобства, считал, что при его работе так и лучше.

А сегодня с Леночкой... Сделал как надо? Да нет, не сделал, упустил — что? И с ней самой, и с папой, тетей... Сравнить хоть, как говорил, как вел себя Николай. Вон откуда привкус вины не вины — оскомина... Черствость сердца? — внезапно спросил он себя, думая опять о письмах жены. А Николай... Почему, например, в ответ на «Сергей Павлович» зову «Николай»? О том, что «Анисимович», уж не Хабарда ли напомнил?

В дверь постучали. Конечно, Пантелеймон.

— Подъем! Про посиделки не забыл, Сергей? Через полчаса — в «банкетный зал». Наши Ибрагим и Унух таким вином потчуют!

Как же он мог бы забыть! «Посиделки» в вечер приезда — их обычай. И он любил его, любил свои «холостяцкие привычки».

И ясно понял, что никуда ему не деться, худо ли, хорошо, вот он, как есть, и вот тоже его семья, милые люди, праздничная кутерьма, затем пойдут дни, когда некогда вздохнуть,— так тому и быть, нет без этого для него жизни.

Он понял, что именно это и напишет сейчас Анне Никифоровне,— податься некуда, принимай без зла и зависти к другим, еще поживем, повадился кувшин по воду ходить, что с ним попишешь, с кувшином, к тому он сделан, в том и польза его...

Мимо дома специалистов проходил много раз. Видел однажды игривого полуторагодовалого младенца — очевидно, болезнь «братика» не таила в себе смертельной опасности. На вынесенном стуле сидела дама и вязала нечто нежно-розовое.

Лену встретил через два-три дня, ранним утром. Мурлыча по своей манере, она возилась с чем-то у подъезда, перепачкав руки, все-таки она была совсем маленькой девчонкой. Спустился папа, наклонно протянул, проходя, левую руку, она коснулась волос дочери, потом кинул в сторону Сергея Павловича блик эллиптических очков и сделал символическое движение — его можно бы счесть и за кивок, если бы при этом он шевельнул головой, а не наполеоновски толстыми плечами.

— Гуляешь с папой?

— Папа строит большую химию.

— А с тетей?

— А тетя Лёка сказала подождать, сейчас придет.

Присела на приступку, стала болтать ногами.

Тетя появилась торопливо, узнала — «мы так благодарны вам!» Смеющимися глазами скользнула по грязным ручкам девочки, решительно заключила обе эти ручки в свою ладонь. И пошла-побежала с Леной. У моста через гремучую реку попрощалась с Сергеем Павловичем — ему идти дальше вдоль набережной.

А мост был подвесной, пешеходный, в две дощечки, перильца — жердь, под мостом, раскатясь по плоскому ложу, шипела, скрежетала, сыпалась в бездонную бочку, стучала, грохотала, как запущенная во всю мочь, на износ, сотня моторов, река, та, что ниже всем была известна, как степная, медлительная, многоводная. Здесь она сплошь состояла из бугров-желваков, стоячих мутно-вороненых шишек, и, лишь приглядевшись, различишь вздувающий их бешеный ток; тогда опусти веки, оторви взгляд, чтобы унять внезапное головокружение.

Две фигурки, высокая и маленькая, дошли до середины моста, высокая приобняла маленькую, повернула, крутнула раз, другой в туре вальса на шатких дощечках, стрекозином нашесте. Как весело задергался, заплясал он всеми суставчиками над ревом и громом, вверх — гигантскими шагами, с размаху — ух, в долинку между водяными подушками, с которых дымом брызг срывался — обжигал ледяной ветер! И до чего весело полетели по ветру светлые, высветленные до прозрачной невесомости, точно пух волшебного одуванчика, волосы! А девочка, с горловым смешком, поддалась танцу, кружению — и тут, верно, постигло ее головокружение среди шипучих гор, куда кинула ее сумасшедшая этажерочка, она закричала, схватилась за жердь, камнем повисла на взрослой.

— Плакса, трусиха! Стыдно, срам. На, смотри!..

И пружинисто оттолкнулась сильными, стройными, мускулистыми ногами, отчего забила дрожь утлый мосток, потом закачали яростные волны — гляди, вовсе сорвется с места, улетит!

— Качели — гоп-ля!

— Пусти, пусти меня, уведи, не хочу, боюсь!..

— Боишься, позор! Не хочешь быть такая, как тетя? Туристка, альпинистка, по горам, по скалам бродить? Человеком не хочешь быть?

Девчонка ничего не понимает. Не видывала таких рек, таких мостов. Ничем она сейчас не хочет быть. Упрямо, сморщив в кулачок лицо, она закатилась злым, на одной ноте, криком.

У кого хочешь лопнет терпение! И у тети Лёки иссяк интерес... Замарашка, трудный характер — быстро, быстро домой! Девочка жмется, семенит, испуганно косит глазами — может быть, ей стыдно. А тетя молчит, ни слова — спешит, молчит и украдкой подмечает, как на нее украдкой смотрят встречные,— на весь город хороша, что и говорить!

Все это место — пятачок, к вечеру Сергей Павлович встретил ее опять. Не с Ленкой, но и не одну, с ней шел — кто бы подумал? Пашка Грачихин! Бог знает, где был Илья Александрович, какие заботы поглотили у него не только день, а и вечер.

Грачихин с каждым днем нравился Сергею Павловичу все больше. Крупный, с виду даже мешковатый, чуть не увалень, с выгоревшими пшеничными волосами, он неслышно, несуетливо делал свое, мнений не подавал — что ж, зелен! «А этот ваш, Валентинов...» — «Сам удивляюсь, Сергей Павлович, какой-нибудь форсмажор, все объяснится: Генка ведь такой парень...» Геннадий Валентинов — прямо Рудольф Валентино! «Еще посмотрим, какой он парень. Жду три дня ровным счетом, ни минуты дольше!»

И в конце концов естественно, что тетя Лёка нашла Павла. А кого же? Студент, в курсе всех молодежных интересов, магнитофонные песенки, литература с короткими фразами, сленгом героев-юнцов, девушками, у которых веки и уголки глаз подсинены и вычернены по самым модным канонам древнего Вавилона. И, разумеется, он — спортсмен, привалы и костры, медвежья походка — шик и блеск, изысканный свитер, в совершенстве имитирующий портянку. Притом скромный юноша, выбор бесспорно говорит в пользу Лёки.

Ей любопытно, а на него достаточно взглянуть, чтобы понять,— с ним все кончено, в полном и безнадежном плену у этих глаз, голоса, точеного профиля, легкой гибкой фигурки!

Сергей Павлович проходит сторонкой, чтобы не смущать. Вот и она, Ленка. Играет одна, мурлычет под нос,— и вдруг Сергей Павлович видит, что к ней, именно к ней, торопится человек.

Ленка бросает свое занятие.

— Успел, успел? — тревожно спрашивает она.

— Ус пел, а борода плясала,— говорит человек.— Порядок. Идем.

Куда? У новой гостиницы чаша фонтанчика. Налеплена какая-то подводная скала.

— Стой! Велю вам, золотые рыбки!..

Взмахивает руками. Лена смотрит на него.

— А теперь — смотри!

Как счастливо, радостно захохотала Ленка!

— Рыбки, рыбки! Вот они, их же не было, я прибегала днем. Откуда ж они взялись, скажи?

— Я обещал тебе? Велел — исчезли, велю — вот они.

— Днем их камень заслонил, да?

— Слон заслонил, коза заказала, Миша помешал,— бормочет человек, и нелепица эта, ужасная чушь-чепуховина нравится девочке.

— Миша — это ты! — выкрикивает она и подпрыгивает, опираясь на него. — Ты не помешал. Они тебя слушают!

Сергей Павлович проходит — все хорошо, девочка довольна, а у него своих хлопот полон рот.

Но человек обращается к нему:

— Профессор Большинцов...

— Отродясь не бывал профессором.

— Только пять минут...

Сергей Павлович машинально взглядывает на часы, спрашивает:

— Что вы внушали ребенку?

— Так... Сказочные рыбки. Экологический эксперимент. Суточный ритм золотого карасика...

— Вот как? Интересно. Представьте, не замечал. В аквариумах...

— В аквариумах, клетке — какая экология! Лжемодель природы. Это мое твердое убеждение; пожалуйста — вот вам доказательство. Но это так — мелочишка. Леночка, тихо, я сейчас поговорю с дядей.— Он положил руку на обстриженную в кружок с челкой русую голову девочки, и та стояла тихо, степенно ожидая, пока Миша договорит со знакомым ей дядей.— Я накопил наблюдения. Может быть, угадал известные закономерности местной натуры, которые представят и прямой производственный интерес. Выход в колхозные пруды, охотохозяйства. В зверофермы.

— А вы что же — биолог?

— Биолог? — как-то неопределенно-воспросительно протянул человек «Миша» и представился: — Синягин Михаил Иванович.

— Все же не улавливаю, чем я...

— Сейчас... Хоть, боюсь, подумаете — долгая песня... Был на рабфаке: «для рабочей и крестьянской молодежи» — помните? На вечернем: работу за ворота не выкинешь. Потом уж — и не так, чтоб сразу,— биофак... Война пристукнула на четвертом. Город фронтовой, что там думать — учеба — не учеба или семья: ушел в ополчение. Не один такой — половина наших ребят. Сорок пятый год, победа — вернулся, а моя семья уже не моя. Так тоже не со мной одним... Только тогда не философствовал, а сгоряча — хоть к черту в зубы. И вышло — сперва Красноводск, оттуда через море — Баку, нефтепромысла. Доучиваться? Отступало все дальше, другая колея, что-то, видно, за те годы уронил в себе... Острым ножом вся жизнь надвое: до войны и после. Две жизни. У больших миллионов так,— снова как бы воззвал он к пословице,— что на миру красна и смерть.— В общем и думать забыл. А вот здесь, сколько уже спустя — прочней, что ли, заклинился или осмотрелся без спешки,— только проснулось, об чем думать забыл. Не зря, выходит, в оны времена рвался на биофак! Глупо ли, умно, биолог — не биолог... Подожди, Лена. Ну подожди.

— Странно,— качнул головой Сергей Павлович.— Тем меньше понимаю, при чем тут...

— На базу к вам зайти посовестился. А сейчас, раз уж сами вы встретились — прошусь: возьмите в отряд!

— Вас? Н-ну... Будь хоть геоботаника. Или таксация лесов.

— Воевал в противотанковых. И цел. После такой работки какая другая страшна? Я ж не претендую — кем...

— Какая-то у нас с вами беседа... Пожилого человека навьючить...

— Я не старше вас, профессор!

Ну разумеется,— опять та же иллюзия! Даже — куда моложе. Пятьдесят с чем-то от силы. Чумаз, иссечен морщинами, снежно-белые грядки на голове — кофе с кислым молоком.

— Но, черт, зачем вам? С биологическим мышлением, каким, сколько сужу, обладаете...

— Хочу быть честным с собой. Профессиональной прицельностью не обладаю, утерял — вон в чем они, годы

отвычки. Дисциплины, стало быть, ищу — раз. А свои мыслишки кое-какие... рассуждаю так; поеду — увижу живую натуру, как она есть в действительности,— вкупе с прочей натурой. Вроде бы в недра местного края загляну. Это два. Да что пальцы загинать! В общем, что для себя найду — моя печаль. А вам полезен буду. Поишачу никого не хуже. И то, что многое здесь насквозь знаю, тоже прикиньте, профессор...

— Ах, да бросьте вы профессора, русским языком...

Фантастический разговор, плетение словес, диковатая просьба — камня вместо хлеба, хоть подносчиком!.. Дольше живешь, сильнее дивишься, каких только людей нет на свете. И что ты понимаешь в судьбах — значительно меньше, чем самонадеянно думал, когда был молод! И дело еще в том, что ты вовсе и не поставлен командиром над ними, над судьбами, задача твоя куда ограниченнее, вот в чем дело.

— Пойдем! Миша, уже́...— Лена капризно тянет Синягина, ей надоело.

Но в это время раздается:

— Леночка! Домо-ой!

Это возвращается тетя Лёка, ходить ей долго нельзя, у нее дома маленький, а сейчас она идет и почти что поет, и, может, у нее внутри все поет, и так весело она кивает Большинцову, Сергею Павловичу.

— Папа идет домой — ужинать, ужинать!

— Вот что. Возможности у меня ограничены,— говорит Сергей Павлович.— Техником вас — не имею оснований. Бурильщиком? — И тут он зачем-то выдержал паузу.— Вот что. Жду еще коллектора. Если в срок не приедет, посмотрим, что́ могу...

Неужели хотя бы на миг он почувствовал себя римским императором Титом, выполнившим свой урок ежедневного благотворения?

Прибывали люди. Техники, вычислители, геофизики.

Приходили грузы. Синягин смотрел, как вносили спальные мешки, связки синих надувных матрасов, свернутые палатки, разнокалиберные ящики — кубические, плоские, узкие, длинные, испещренные остережениями: «Осторожно!», «Верх», «Низ», «Не бросать», «Не кантовать», с трафаретками английскими, немецкими, финскими. Снимали с машин, вносили рабочие, подхватывали и

все, кто случался на базе. Распоряжался, подхлестывая то грубоватой шуткой, то окриком, рукавом смахивая пот и грязь со скул,— человек, которого Синягин немного знал: местный, Струнин Николай Анисимович. Первым брался за тяжести. И всё — с видимым удовольствием, почти наслаждением.

А вокруг все менялось.

С каждым часом.

Махнуло, налетело крыло дождя, замедлило, отяжелело над городом. Теплый дождь долго бормотал в желобах, шепчущей пеленой задергивал незамощенные пространства. Солнце сверкнуло под еще черным небом. Ослепительный свет на земле, резко отделенный от тяжелой тьмы низко над головой, зажег стекла окон и словно многоцветным огнем налил сияющие водоемы крыш. Невиданно блистал город, сказочно иллюминованный в праздничный канун!

Но, слой за слоем, истончался сумрак. Распались на летучие волокна нижние, порыжелые облака, похожие на глинистые намывы мутных потоков. За ними открывалась ровная толща — она была уже не черной, а сине-голубой.

И на другое же утро все пошло-полетело!

По верблюжьему склону Муюксуна, где две с половиной тысячи лет дожидался заступа археолога мертвый город, кто-то ночью раскидал блекло-зеленые шапки. Зацвел молочай! Травянистые плоские букетики, в каждом цветочке коричневая сердцевинка. Разве поверишь потом, глядя на неживую жилистость стеблей с жестко-сизыми колюче-острыми листьями, в возможность такого чуда!

На кладбище, в уголке, где приютилось несколько могил, как говорили — погибших альпинистов, воздвигала сквозные куполки и зонтики трава с горячим укропным запахом в полдень.

Казалось, положи голову на землю, замри — и ощутишь шепот, шелест, шорох отброшенных песчинок, увидишь мгновенное явление буравящих почву ростков в острых шишаках, и как, раскидывая руки, лопаются почки, распрямляются побеги, лиловые от напирающей силы, крючком, штопором скрученные — будто боксеры в стойке перед боем. Шушуканье, движенье ввысь, вбок, марш и топот победоносных армий!..

Нельзя было уследить, когда именно стала укрывать ветви светло-лакированная, плотно присаженная, пахучая листва, а цвет тонул в ней, спадал, разлетаясь тысячами долек-лепестков...

Валентинов все-таки прилетел.

Ранним утром отыскал Грачихина, и тот сам повел его к Большинцову.

Валентинов извинился за опоздание, хотя, в сущности, к чему он опоздал? Извинялся он, произнося все необходимые слова, смотря в глаза так, что становилось очевидно — просить прощения ему не в чем и поступил он наилучшим образом. Воспользовался консультацией — назвал двух известнейших специалистов, один, кстати, просил передать письмо, вот оно. Поднял материал в книгохранилищах. Поработал в коллекциях музея. Разумеется, несколько раз бывал в министерстве, таких-то (фамилии) работников аппарата коротко знает (по большей части оказались — женщины), они охотно поделились информацией.

— Я люблю так: пусть даже я мельчайшая сошка, но картина должна быть мне ясна. И для себя тогда сумею больше взять, и свой сошкин урок аккуратней выполню. Я не прав?

Отчего же не прав? Вполне скромно, уважительно. Грачихин не отрывал от друга восторженных голубых, как выцветший ситчик, глубоко сидящих (вот и выглядели они обычно хмурыми) глаз. Глаза же друга были очень светлой воды, прозрачно-зеленоватые, смотрел он прямо на собеседника; короткий прямой нос, твердый подбородок; по лицу иногда скользила улыбка. Был он выше Павла, но уже в плечах, никаких замызганных свитеров, гибок в талии, и ничего стиляжного, гладкая волна бронзовых волос.

— Отлично-с. Я ждал вас неделю назад. Вы не потрудились поставить в известность.

— Я искуплю.— И опять лицо Геннадия тронула улыбка.— Уверяю вас, больше не найдется причин для недовольства мною.

— Место занято. Но место занято. Занято!

Сам не до конца понимая, откуда это решение, которого не было еще в начале разговора, ощущая зыбкость поводов, шаткость права, он повторил одно и то же трижды,

ненужно повышая тон, распаляя себя. Рудольф Валентино!

— Не усвоил, Сергей Павлович,— очень мягко ответил Геннадий, ни с чем не споря, без тени возмущения.— Мне обратно?

Большинцов, сразу остыв, помотал головой:

— Не глупите. Приметесь за другое. Мы один коллектив. Начинать надо с того, чтобы ничего не чураться. Наполеон говорил, что в армии нет дела, какого он не сумел бы сделать собственными руками. Читали вы много — прочтите биографию Карпинского. Электроды таскать не заставлю, но... Человек вы молодой — я в ваши годы...

— «В ваши годы»! Знакомая бодяга. Как ногу сунет в разношенную туфлю. Хоть бы раз кто из них выдумал что пооригинальней. Свое бы.

— А дед сегодня с левой ноги и начал, не видишь? Обомнется. Я его освоил. Он и меня было прижал.

Чистейшая выдумка! И Павел отлично понимал отношение к себе начальника отряда. А Геннадий насквозь видел Павла.

— Слушай, друг, давай без перебора. Ты наблюдал когда, как я увлажняю свою тропу слезами? Нет? Так что ж ты...

— Я не про то. Ты молодец, Генка... Структуры и текстуры, интрузии, эффузии... Хадыженские свиты, гидротермальные, метасоматические... Кому хочешь нос утрешь. Цену тебе знаю. Но ты скажи, не из-за одних же библиотек, роскошных напутствий наукообразных и министерских ты там приклеился? А?

— Что тебе известно? Лерка?

— А хотя бы.

— Отстал. Вымерла в плейстоцене. Превратилась в руководящую окаменелость второго семестра. Надо верить в дальнейшие успехи эволюционного процесса.

Грачихин присвистнул.

Он представил красотке со смеющимися глазами своего друга — как скульптор, отложив резец, торжественно сдергивает простыню с изваяния.

Даже отступил горделиво в сторонку, чтобы наиболее выгодно продемонстрировать им друг друга.

И как же прилежно отдалась игре способная его подруга. На щеках заиграл румянец. Геннадий был в уда-

ре, красноречив, настоящий каскад остроумия, бросающий свет на некоторые талантливые произведения молодой прозы. Она смеялась, закинув головку со своим волшебным одуванчиком, реплики ее были отточены как бритва — скрещение молниеносных клинков! И время от времени она кидала на него луч своих удивительных, опушенных, с искорками-смешинками глаз.

Так все славно получилось! Пашка Грачихин, счастливый, вставлял два-три раза и свое слово. Но то ли не угадывал в тон, то ли было у них все — как сцепленные пальцы, и лишний палец некуда всунуть,— только голос его угасал в воздухе, не заметили даже, что он открывал рот...

— Что ж, если ты с лету мухой в липкую бумагу...

— Я? Окстись, прелестный.

— А она синим огнем гор-рит тебе навстречу...

— Тупеем помалу, Пашка?

— Я не слепой. И не глухой.

— Хочешь серьезно? Скучающая бабеха не первой свежести. Из тех, что сама заклещит и волоком протащит два шага. А на третьем споткнется, заскулит, перечислит все свои жертвы, вспомнит про семью и во всем обвинит тебя трагическим грудным контральто. Мне-то на кой? Ну и отмочил! Пижон! Дал тебе наглядный урок, понял? Чтоб привести тебя в чувство.

А на квартире Ильи Александровича жизнь завязала новые узелки.

Сидели за столом. Не пили и не ели — накрытый стол ждал: шел чрезвычайный разговор. Младенец бегал вокруг.

— Целыми днями! — воскликнула тетя Лёка.— С кем! Я не имею на нее влияния: умываю руки.— Но Лена ясно видела, скосив глаза, что она и шагу не ступила в направлении ванной.— Это совершенно невозможно. Если и ты ничего не сможешь, Илюша, я сама напишу ее матери.

— Я говорю: «Поиграй с Витенькой, это твой братик»,— припомнила бабушка.

— С кем ты проводишь время? Кого предпочитаешь своим родным?

Молчание. Собственно, за столом сидел отец, Лена же стояла у стола, потупившись перед сидящим отцом, хотя не имела никакого представления о картине «Петр и Алексей».

— Сегодня понедельник — с четверга пойдешь в школу. Я обо всем договорился,— кивнул Илья Александрович жене.— Таким образом все станет на свое место,— сказал он с явным облегчением, что сцена идет к концу.— А эти дни...

Но тут, дернув головой, растрепав короткие вихры, Лена крикнула:

— Нет! Потому что меня не будет. Нет!

— Что-о?

— Я уеду! Он возьмет меня в икспи... в испидицию. На верх гор, где волки! Он обещал.

— Кто возьмет?

— Миша.

— Какой Миша?

— Тот самый,— сказала тетя Лёка.

— Городской сумасшедший,— пояснила бабушка.

— На жизнь надо смотреть реально,— веско уронил папа.— А про взрослых говорят: дядя Миша.

— А он сказал: Миша!

— Упрямство,— отметила бабушка.

— Да его самого никто не возьмет,— сообщила тетя Лёка.— Приехал там, не знаю, какой-то, я слышала — студент...

— Неправда! Он главный начальник. Главный! И сейчас он брал меня на гору Муюксун, где умерший город. У него вертолет!

— М-м,— пожевал губами папа.— Брал на Муюксун? Ты откуда ее привела?

— Как всегда. От фонтана. Сидит распустехой... Какой Муюксун! Только представить — девчонка! Ни побегать, ни... Мост перейти боится! Уши развесила — побаскам шалопая. Взяла ее за руку: «А ну вставай!» И привела.

— Он что, не работает?

— Работает?!

— Семья?

— Забулдыга. Шпана. Семья!

И на такую язвительную высоту взвилось последнее слово, что неожиданно из уст Лёки взлетел клик встревоженного павлина.

— Если балбесничает, так пусть явится ко мне в СМУ. Работу дам моментально.

— Простите, Илья, я понимаю: сердце отца. Но не понимаю, как вы так легко...— Бабушка подыскивала слова, испытывая некоторую робость перед зятем.— Это же очень опасно! Уж не говорю о лживости. Ты, Лёкинька, проверь вещи, ценности. *Подучит;* больше ничего не скажу. Таких случаев полно. Попомнишь меня: подбирается!

Что такое?! Красновато-черный, с клещами-щипцами, боком перебежал между травинками.

— Ай! — взвизгнула девочка и отпрыгнула.

— Кого ты, чего ты? Паучка с твой ноготок? Никогда не видела?

— Страшный... Убей его!

— Дело недолгое. Вот сейчас. Только — куда же он бежит?

— А куда?

Он подвел ее к карагачу. Листва карагача густа, но еще молода, не так темна, по всем щелям, между зубчиками листьев, проскальзывало солнце. А у самой макушки, куда снизу, сквозь ветки, сквозь листья, глядишь так, будто в опрокинутый колодец, висели радужные круги, круг в круге. В серединке же — нечто сверкающее, неуловимо золотистое, на что долго нельзя смотреть, и трудно оторвать глаза. То, что, шевелясь, и спряло, развесило по вершине дерева эти переливчатые круги.

— Видишь?

— Он?

— Теперь — убить?

— Нет...— шепнула девочка.— Ты не уедешь? — спросила она.

— Не знаю. Ты слышала: студент прилетел.

— Не уезжай, Миша, я тебя так прошу: ты не уезжай!..

Вертолет разбудил раным-рано.

Он висел, стрекозиный, хвост крючком, осыпая город грохотом-громом.

Может быть, конечно, то был совсем другой вертолет.

А мимо дома специалистов дорога одна, другой нет — тянулся караван.

Джипы — «козлики» — вездеходы. Грузовик с высоким бортом, первый, второй...

Высоко, горками, груженные.

Автокараван; да, верно, двинется еще и конно-вьючный...

Люди едут раным-рано, смеются, прощаются с городом.

Самые серьезные, те, что моложе всех, и вовсе не оглядываются.

Не заметно Большинцова, Сергея Павловича,— уж не на вертолете ли он?

А Миша, Михаил Иванович Синягин, проезжая, посмотрел на окна дома.

Ничего не случилось, пустяк, заплакала девочка.

Но у нее глаза вообще на мокром месте.

А сегодня ей надо в школу.

Проехали.

Впереди были горы. Они навалены темными грудами.

Но приглядевшись, различишь пегую, серо-белую вставку.

Узкую вставку-заплатку.

Она казалась ниже, приземистей; еле выглядывала.

Громады черных круч и белая вставка.

То выглянул, из безмерного отдаления, совсем иной мир: вечные снега.

1968

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

ПРИШЕСТВИЕ И ГИБЕЛЬ СОБСТВЕННИКА

1

— Я совершенно не считаю себя ученым,— сказал высокий и юношески стройный человек.— Никакого отношения к науке!

— Кто сомневается в этом? — отозвался другой чрезвычайно серьезно.

— Вы,— живо парировал первый.

Живость и какая-то особенная быстрота были свойственны ему. Живость и быстрота жестов. Живость и молодость взгляда — не приходило в голову спрашивать, как она вяжется с сильной проседью в волнистых волосах, наоборот, именно это придавало его облику то вовсе не стариковское своеобразие, которое невольно заставляло оборачиваться ему вслед. И, кроме того, свое признание (чем только хвастался!) он сделал с явным удовольствием и блеском глаз.

— Вы! — сказал он.— Чего бы ради иначе вы пришли слушать меня?

— Чтобы удержать вас, хотя бы своим присутствием, от крайностей. И потому, что я иногда люблю скачки вашего воображения. Я люблю вас,— добавил второй, оставаясь чрезвычайно серьезным.— Но все эти, вас не знающие... И, во имя любезных вам муз и граций, что побудило вас объявить этот доклад, беседу, проповедь — как хотите — на тему, бесконечно далекую от всего, что вы делали? Вы, для которого только и существовал человек сегодняшнего дня!

— Сердце, душа и правда человека, скажем так. Но ведь это тоже будет о людях. О людях, поправших правду. Так что не «бесконечно далеко». А что толкнуло меня...

— Вот именно, что?

— Посмотрите, сколько собралось «этих, не знающих» меня! Лучше я отвечу всем. Пора начинать.

2

Помещение было полукруглое. Сад охватывал его зеленой дугой и, казалось, вступал внутрь сквозь прозрачный выступ — стену-окно. Можно не сомневаться, что деревья в том саду останутся деревьями — как и в наших садах, на дорожках будут кучки от дождевых червей, и никакой синтетический состав — торжество химии — не заменит почвы, кое-где припудренной пылью в сухой зной, грязной в непогоду, с обрывком колеи и следом чьей-то неловкой ступни там, где поворачивали газонную косилку.

Человек, стоявший в выступе, на возвышении, на фоне сада, видел зыбкую сетку отсветов на стенах и потолке и множество повернутых к нему внимательных лиц. Бессмысленно строить предположения, как будут одеты все эти люди. Но глаза их мы узнали бы сразу, глаза юношей, девушек, подростков — тех, кто начинает жизнь самого дивного существа на земле.

Он поблагодарил пришедших, может быть, прибывших даже из дальних районов континента утренними средствами сообщения. Вот те, к кому он обращался, для кого работал всю жизнь. Юноши, девушки, молодежь. Его читатели, его слушатели, его зрители. Он-то не сомневался, что именно они лучше всех знают его.

И когда он позвал, объявил это необычное сообщение — вот они!..

Он улыбнулся мальчику, смотревшему на него, живого, не «телеэкранного», во все глаза из самого первого ряда.

Образ Рухнувшего Мира! Рухнувшего и погребенного! Да, в самом деле, что заставило его пытаться вообразить свирепую бессмыслицу этого мира накануне его падения? С чего началось? Что послужило первым толчком?

Он рылся однажды в грудах неразобранного, в мусоре веков, который мало интересовал кодификаторов. И там он нашел этот документ, письмо. В нем изображалось общество, еще свободное от кровожадной бессмыслицы. И как бы мгновенная химическая реакция при столкновении этого общества с обществом пушек и фрегатов.

— Я нашел лакмусовую бумажку,— сказал оратор.

Любопытная фигура — автор письма, потрясенный свидетель! Он колеблется между завистью и высокоме-

рием. Поработитель, он клеймит порабощение. Говорит, говорит,— он речист, даже всплескивает руками,— а чуть до дела, трусливо и послушно хватается, не хуже иных, за окровавленный нож. Он заглядывает в будущее и ошибается во всем. Бог и бессмертие души удостоверяют ему нерушимость вкладов в банкирских конторах. Снисходя с некой головокружительной высоты — вот как он судит о чудесной встрече. И не замечает, что во встрече этой обнажилась абсурдность именно его мира!

— Вдруг с потрясающей силой поразил меня смысл слова: *абсурд!* Но конец того мира еще не наступил. Суждено было еще расти его чудовищности. И я в своем воображении как бы следовал за ним по пятам — до конца, до самого края, все время видя *наготу уродства.* Я шел словно с путеводной нитью и уже не выпускал ее.

И голосом, чуть монотонным, со спокойной точностью человека, которому меньше жить, чем он жил, оратор вызвал перед слушателями — точно кидая один уверенный мазок за другим — причудливые образы давно прошедшего, рухнувшего мира. Мира Последнего Часа. Циклопическая техника перепахивала землю, сдобренную трупным гноем. Гигантские заводы выстраивались на сотнях гектаров. Он рассказывал об этом с изумлением, потому что и люди далекого века не отучатся удивляться. Их машины и приборы, автоматические линии, агрегаты станут экономны. В малом объеме они сумеют достигать желаемого. И остовы древних сооружений будут поражать, как пирамиды.

Оратор вызвал из забвения имена, некогда наполнявшие своим звоном воздух того мира. Эхо столетий донесло их до места последнего медленного тления в склепах древлехранилищ. Призрачные мертвецы вступили в аудиторию. Форды — от властного мастеровщины-миллиардера Генри Старшего до внуков и правнуков. Хлипкая, с голоском, как вздох, старушка Тюссо, перевоплощенная потом, вместе с придуманной ею выставкой восковых фигур, в ловкую компанию рыжих молодцов, чуть не двести лет и после ее смерти называвших себя: «Мадам Тюссо». Изобретатель жевательной резинки. Спичечный король Крейгер.

И тут по рядам пробежит шепоток. Поднимется тот самый подросток из первого ряда и спросит (как видите, нравы в этой аудитории будут отличаться свободой):

— Простите. Три миллиона автомобилей! Или пять? И, как вы сказали, династия. Форды. А спички. Это же горы коробков! Если чиркать по одной... И всего один человек — Крейгер. Зачем вы сказали так? Простите.

— Очень просто. Это владельцы. Им принадлежали заводы.

— Такие заводы, как... целый город? И даже много городов, потому что много заводов? В разных странах? По обе стороны океана? Одному владельцу? Он что — камень за камнем выстроил их?

— Нет. Их строили десятки тысяч других людей. Каменщики и крановщики. Монтажники, арматурщики, техники. Архитекторы и, полагаю, конструкторы. Все, кроме владельца, который совсем не строил их.

— Тогда он... Простите: мы пытаемся уловить мысль. Он один работал на них?

— Он никогда не становился к станку. Цех — вы представляете себе? Толпы рабочих. Мастера. Инженеры, руководящие делом. Миллионер у станка! Невообразимо!

— Но... оплата, деньги — вы говорили. Что значит «принадлежали»? Он, обходя всех, платил всем?

— Нет! Многолюдные сидячие команды — бухгалтерии — вели хитрейшие математические расчеты. Кассиры, разложив перед собой таблицы, испещренные именами и числами, вручали из окошек таким тончайшим путем расчисленный заработок. И эти деньги даже не проходили через руки владельца.

— Пожалуй, это слишком для меня... Крейгер... Он все-таки один сжигал все спички? Или Форд-внук — вообразить только: один у руля трех миллионов автомобилей!

— Не пытайтесь воображать. Я ровно ничего не знаю о любви Форда-Младшего к автомобильной езде. И легко допускаю, что любой шофер или гонщик испробовал за свою жизнь намного больше машин, чем...

— Поразительно! — сказал подросток и посмотрел вокруг себя, ища сочувствия. Его все это раззадорило, как игра.— В таком случае владелец подвозил к каждому станку то, что нужно для работы? Нянчил всех детей и забавлял всех жен работающих? Быть может, он пользовался дымом из труб, чтобы иметь возможность на разных параллелях пускать в небо под напором теплого воздуха красивые разноцветные бумажные змеи? Не завещал ли он превратить заводы после своей смерти в танц-

классы? Устраивал в них грибные хозяйства? Бассейны для плавания? Снимал с места и перевозил с собой? Время от времени для развлечения сверлил в них дыры? Разрушал по мере того, как строили? И если он не делал ничего такого...

Оратор, казалось, не дослушал.

— Развлечение! — задумчиво повторил он.— У Ивара Крейгера были квартиры в дюжине столиц. Гардеробы с благоухающим бельем и костюмами любых оттенков. Тикающие часы и ночные туфли. С той же тросточкой он отправлялся в кафе на углу и за тридевять земель. Дюжина смиренных, готовых к услугам жизней... Ивар Крейгер пустил себе пулю в лоб. Я стараюсь передать вам, как мне рисуется феномен частной собственности — непостижимое соглашение, по которому несчетное множество людей, изнурявших себя в пещероподобных цехах, и еще несчетное множество потребляющих изготовленные первыми вещи считали себя обязанными по отношению к одному человеку. Собственнику! И платили ему дань! О, я замечаю ваш укоризненный взгляд, взыскательный друг! Но так мне легче вообразить себе все это. Постепенно происхождение соглашения забылось. И так как его нельзя было объяснить, то его стали считать священным. По крайней мере нам сохранены предания о боговдохновенных документах. Несомненно, что истории так называемых религий имеют в виду обожествление соглашения о собственности.

Но тут — в громадном отдалении — я вижу особенно смутно. Это словно на иной планете. *Начало.*

Он остановился.

— Вот то самое письмо,— сказал он.— Я все время думаю о нем. Письмо о том, что было *до начала* — пусть в исключительном случае. Но это внутренняя кухня моей мысли. В конце концов для вас она...

Он резко оборвал.

— Итак, первые собственники. И первые наследники. Собственность и право наследования. Спаянность одного с другим — вам ясно? И вот почему столько ролей, столько «клеток», обитаемых людьми, стали наследственными в обществе косном и тщеславном! Владения, титулы, звания, профессии — твоя клетка с запретом для тебя и твоих потомков выскочить из нее в другую, повыше...

А Собственник... Собственник провозглашал свою собственность табу для всего человечества. Он окружал ее

рвами, бастионами, колючей изгородью. Да, да, чтоб никто не переступил священной черты. И помогали ему группы людей, не делавших ничего и только носивших с собой нелепые и устрашающие машины для убийства. Такие машины выделывались массами в эпоху религиозной морали и кодексов, запрещавших убийство.

Теперь он приступал к сбору дани. Он брал с тех, кто строил, кто творил, кто работал. Он брал на себя, на детей и жен, на понравившихся ему мальчиков и девочек, банщиков и клоунов, а также для вооруженной банды, помогавшей ему возводить изгородь. Кого могла занимать такая игра? Варварская, абсурдная, бесчеловечная. Но что знаем мы о пристрастиях, легковерии минувших времен!

Тогда, кажется, не видели ни одного предмета как он есть. К каждому примышляли Собственника. Собственники разделили пищу, механизмы, города и земли, мысли, открытия и вдохновения поэтов. Человек, не выезжавший из Лондона, мог считаться владельцем индийских рудников и лебединого шага неоперившейся девочки-балерины в канадском городе Торонто, даже не подозревавшей об этом. Иные никогда не сумели бы исчислить своих имуществ. Вздорность разверстки заставляет всерьез отнестись к мысли о жребии. Собственник, не знающий даже, кто и чем занят на его заводе, мог отдать завод другому Собственнику... или взорвать его! И Собственники действительно периодически уничтожали производство во времена так называемых «кризисов». Они делали так, вероятно, потому же, почему Нерон жег Рим, а Калигула мечтал о единой шее для человечества — чтобы перерубить ее. Не положивший ни одного кирпича, не пустивший в ход ни одного агрегата останавливал работу, производившуюся другими и для других. И эта бессмыслица принималась настолько всерьез, что тысячи работающих и тех, для кого работали, позволяли себя губить ради нее. Безумие, о природе которого я не решаюсь сделать никаких допущений!

— Но, простите еще раз, тогда, возможно, кому-нибудь принадлежало и солнце?

— Я обдумываю это. Вполне вероятно, что именно так и было. Скорее всего им владело общество богачей. Они жили в роскошных отелях, залитых светом с восхода до заката сквозь зеркальные витрины. Они присвоили себе витаглас, чтобы не упустить ультрафиолетовых лучей,

исцеляющих рахит и tbc. Немногие могли позволить себе роскошь обитать в домах, обращенных к солнцу. К большинству оно заглядывало слабым утренним или последним вечерним лучом. Те, кто мучительно подсчитывал, отходя ко сну, расходы, селились за окнами на север. Для бедняков отводили сырые подвалы, где дети никогда не видели дневного света. Их родителям было нечем платить акционерному обществу владельцев солнца.

3

— Кривое зеркало. Потешное зеркало. Вы неисправимы.

— Я ждал вашей критики.

— Подумайте, что вы хотели заронить в умы тех, кто слушал вас?

Но собеседник, опершись кистями рук, неожиданно подбросил свое большое тело в стенную нишу, временно заместив отсутствующий там бюст. Ниша была прорезана высоко, он, устроившись, перекинул по-домашнему свои не достававшие до пола ноги одну на другую.

— Силу смеха. Непримиримость смеха. Любовь и ненависть смеха,— ответил он.

— Непоправимо легкомысленны,— уточнил второй, подняв худое лицо к его буйной пегой шевелюре и отблескам, которые зыбились подле нее по краям ниши, точно две стайки серебристых рыб в аквариуме.— Так трактовать тему исключительной серьезности! Что за письмо вы там откопали?

— Частное, очень литературное письмо... Восемнадцатый век.

— И общество без собственности? «Начало»?! Вы смеетесь.

— Прочтите. Оно здесь. Хранители за него не держатся.

— Литература! — поморщился ученый собеседник.— Фантастика! Существует жизнь, исполинский поток...

— Чертовски чудесный поток.

— И существуют законы этой жизни. Неотвратимые законы развития и преодоления, смены.

— Героического преодоления. Не забудьте: борются и преодолевают люди. Люди, слышите, а не геологические напластования!

— Так вот: дали вы себе труд изложить эти законы?

— Я хотел говорить о людях. О мерзости Собственника. О воинствующем себялюбии крошечного «я». Чтобы не существовало *моего* корыта. И любого зародыша его. Где бы и как бы он ни проклюнулся. Но я в самом деле не рассказал о длительности, тяжести и красоте борьбы, которая привела к подлинному началу *нашей* эры. Когда сперва в одной стране, потом в нескольких, затем во всех люди, вместе взявшись, переломили хребет той, которую находчиво назвал Старой Ведьмой писатель-современник, чье имя, жаль, не сохранилось. Я признаю это. Вы правы.

— Давайте ваш документ.

— Старофранцузский вас не смутит?

Он спрыгнул из ниши. Щелкнул замок. Ученый, сухо усмехаясь (шутку он счел неуместной и неумной), открыл защитную герметическую папку-футляр, где хранилось письмо.

4

«Любезный друг!

Вы удивитесь, без сомнения, вести, которой не ждали. Я отдаю себе отчет в шаткости прав, основанных на кратковременном вашем расположении, давно, может быть, отданном другому...

Но как не воспользоваться счастливой случайностью, позволяющей переслать эти листки — неожиданное, поражающее продолжение наших бесед? Вот мое оправдание! Бог весть когда я вновь увижу вас и увижу ли...

Опасности, которые подстерегают нас здесь, многочисленны и разнообразны. Искусство мореплавания не стоит еще на такой высоте (несмотря на примеры бесстрашных путешественников), чтобы сделать блуждание в Тихом океане увеселительной прогулкой...

В течение пятнадцати месяцев все наше человечество — это офицеры «Маркизы Наннеты» (я могу не упоминать простых моряков). Новости и сплетни рождаются тут, на палубе славной бригантины. И они кочуют вместе с ней, как океаны, народы и короли кочуют вместе с Землей вокруг великого светила.

Я сказал: наше человечество. Ибо своим мы называем тот мир, частью которого сознаем себя, который делает

нас тем, что мы есть. Мы видели также другие миры. На островах, где растут камфара и мускат, мы находили чернокожих. Они соперничали с обезьянами в лазанье по ветвям и с попугаями в гортанных выкриках. Вы прочтете описание всего этого в трех томах, которыми Ле-Кордек, наш командир, готовится затмить знаменитого Бугенвиля. Отлично представляю, как недоуменно и капризно взлетает ваша бровь: Ле-Кордек, морской волк с лицом, иссеченным багровыми шрамами, голосом, гремящим иерихонской трубой над грозными валами океана,— и одинокие бдения у письменного стола, безмолвная, неустанная борьба с неподатливым словом, руки рубаки, нанизывающие ожерелья изящных фраз! Я не выдам никакого секрета, признавшись, что на титуле этого труда (появится ли он вообще?) было бы уместнее найти иное имя, некогда небезразличное вам. Но опыт отучил меня от поисков справедливости в людских делах. Мудрость состоит в покорности неизбежному порядку вещей.

Итак, я упомянул о туземцах. Черные, цвета золы или в пестрой раскраске — да, дорогая, все они также люди, и равно перед ними растворены врата спасения искупительной кровью. Это наши братья, но мы не помним родства с ними. Они нам далеки, как созвездия.

Счастливые или несчастные братья? Вы знаете, что философы до хрипоты спорят об этом и не пришли ни к какому заключению. Я не стану решать за них. Я хочу только рассказать об одном видении другого мира, явившемся мне в знойной Океании, видении, которое будет лучшим из всего, что похоронят со мною в гробу.

Именно так я хочу продолжить наши беседы о золотом веке.

Есть несравнимое очарование, когда за пеной бурунов, в серебряном потопе дня или ночными отсветами дрожащих костров встанет перед вами земля, которой еще не видел никто. Я выражаюсь точно. Никто из людей нашего мира — для нас это и есть: никто. И не будет высокомерием, если мореплаватель откажет туземцам в праве оспаривать у него первенство в открытии их родины.

На волнах ветви и плоды — западный ветер когда-то пригнал такие же с берегов Нового Света навстречу каравеллам Колумба; возглас вахтенного; доносится свист птицы; скрипнули реи, и с пассатом пахнул жар накаленной почвы, ропот и запах земли. Рядом смеются (моряк

не выпускает трубки); в волчьих коричневых морщинах у кого-то слезы — старик плачет, как женщина, под хлопающими парусами, обнажив десны, взрыхленные цингой. Что там, за этим низким прибрежьем в сизом оперении пальм,— в этом странном, опаленном, оплывающем в тусклой дымке очерке неведомой земли?

Вот мгновения, которыми искуплены для морехода беды, труды и опасности длинного пути, бури и штили, более страшные, чем бури!

Сейчас весна. Она размягчает снег на северных полях и человеческое сердце. Она срывает людей с самых насиженных мест и увлекает за собой: я не забыл этого. Мне особенно беспокойно весной. И больнее всего вспоминать о мгновеньях счастья, недоступного больше мне.

Как долго, как жестоко трепал нас шторм! Ореховой скорлупкой была для его неистовства «Маркиза Наппета». Он откинул нас прочь от морских дорог. Где мы очутились? Гладь этих наконец умиротворившихся вод, возможно, никогда не бороздили судовые кили. То было пустынное сердце великого Океана. Где-то в неизмеримых просторах рассеяны острова Дружбы, Мореплавателей и Товарищества. Ничего не оставалось, как взять курс к какому-либо из них, если новый шторм не добьет полумертвый корабль.

И тут вахтенный оповестил о суше. Мы наткнулись на осколок ее — такой плоский, что становилось понятным, почему до сих пор ни один корабль ничего не замечал.

Дождались рассвета. Брешь в коралловом рифе позволила войти в лагуну. Разноцветные рыбы сновали в глубокой и прозрачной воде. Земля была рядом; казалось, достаточно протянуть руку, чтобы сорвать зрелый плод.

Но мы совершенно ошиблись ночью в характере острова. Он вовсе не был ни безжизненно-пустынным, ни даже плоским! Отмели наносила быстрая речонка. Тяжелое плодородие благословляло ее берега. Душный аромат тропиков неподвижно висел над нею. Ветви встречались через реку, лианы свивали их в сплошной зеленый полог. Впрочем, он не оставался зеленым. Драгоценные камни птиц сверкали в нем. Гигантские бабочки колыхались на гигантских цветах, образуя двойное соцветие. Цветущие гирлянды обрамляли их, более прекрасные, чем короны царей. Орхидеи походили на колибри. Сладостные

шишки ананасов соперничали с полновесными громадинами, спеющими на хлебном дереве. Ваниль обнимала теоброму, дающую напиток богов. Флора раскрывала свой рог изобилия, как на полотнах Рубенса. Конусообразный пик дымился вдали.

И еще раз я почувствовал бессилие человека рядом с неиссякаемой, щедрой мощью природы. Как жалки казались здесь попытки прибрать к рукам, занумеровать, назвать, вся эта игра в латинские системы, забавляющая наших Линнеев,— какое безумие думать, что можно втиснуть в закостенелые рамки вечную творящую силу!

Мы берем от природы одну десятитысячную, то, до чего дотянутся наши руки и наш разум, то, что пригодно для наших маленьких целей. Это мы умеем называть, и в этом наша наука. Не довольно ли с нас?..

Так думаю я теперь, оглядываясь на неожиданно подаренное мне и так быстро утраченное... А тогда? Тогда я, как и все мы, горел лишь одним желанием — скорее ступить на берег острова.

И уже первые шаги убедили нас, что действительность превосходит самые пылкие наши ожидания. Остров был сказочно богат. Целые флотилии не смогли бы вывезти всех его сокровищ, и десятки торговых компаний составили бы тут себе капиталы.

Мы непонятным образом ошиблись и в размерах острова. Он оказался гораздо обширнее, чем можно было ожидать. Мы не отваживались, однако, особенно удаляться от судна, хотя прохладный лиственный навес умерял зной, неприметно было ни хищников, ни ядовитых змей, а чистота воздуха ручалась, что нам не грозят лихорадки, порождение болотных миазмов, или москиты, бич тропиков.

Первая ночь в палатках показала, что земля эта обитаема. Люди приближались к кострам, они не боялись нас. То были статные молодцы с шапкой курчавых волос и повязкой на бедрах. Они не походили на других туземцев Океании. Вы знаете, что те, потрясая дротиками, окружают приближающийся корабль на своих долбленых лодках. Назойливо лезут на палубу, за пустяки, которые природа дает им даром, стараются выменять все привезенное вами с собой, затем нализываются алкоголем, которого никогда не пробовали, и огнестрельное оружие в конце концов лучший язык для переговоров с ними.

Туземцы этого острова не досаждали ни враждебностью, ни назойливостью. С молчаливым любопытством они разглядывали нас из отдаления.

Следовало на что-нибудь решиться, если мы хотели остаться здесь столько, сколько потребуется, чтобы привести потрепанную бурей бригантину в состояние, пригодное для дальнейшего плавания, исследовать страну и запастись провиантом. Следовало также позаботиться о сборе и доставке на корабль ценнейших пряностей и копры. Экипаж не сумел бы со всем этим справиться сам: ведь нас окружали неизмеримые богатства. К тому же болезни ослабили людей. Значит, необходимо привлечь туземцев.

Ле-Кордек выслал отряды. Они не обнаружили поселений. У прибрежных скал, куда вышли разведчики, резвились дельфины.

Наконец удалось захватить туземца. Казалось, больше всего он был этим удивлен. Но нашим искусникам ничего не стоило заставить его разжать рот и указать путь в деревню.

Мы двинулись с карабинами, блестящими безделушками в тючках и достаточно емкими вместилищами, наполненными водкой. В кольце черных тел мы прошли к большому шалашу предводителя. Навстречу нам поднялся величественный и нагой патриарх. Мне вспомнились семь бронзовых мудрецов Лисиппа, о которых говорит Диоген. Приведенные нами переводчики, предусмотрительно захваченные Ле-Кордеком на нескольких островах Океании, тщетно пробовали двадцать наречий, похожих на птичий щебет. Наконец старик кивнул. Он помолчал еще несколько минут, опираясь на посох. Затем он заговорил. Нам переводили его слова с пятого на десятое. Но жесты досказали остальное.

Я передам вам его речь так, как она врезалась мне в память.

— Ты хочешь, чтобы я пошел и повел, как ты говоришь, «мой народ» сдирать для тебя кору с живых деревьев и все кокосовые орехи с пальм, хотя это проворнее сделали бы обезьяны. Ты хочешь еще, чтобы мы обшарили леса и поляны, собрав все до одного зерна из тонких стручков: тебе полезнее были бы птицы. Ты хочешь также, чтобы наши юноши, не дыша, доставали с морского дна ракушки, выбирая с маленькими светлыми камешками внутри: попроси об этом рыб! Ты хочешь...

Да, ты хочешь, чтобы мы, как дети, перебирали песчинки в реке, вылавливая желтые крошки, в которых вовсе нет ни проку, ни красоты. И чтобы мы долбили горы. А затем всем народом сложили к твоим ногам тяжкие ноши — дань изуродованных лесов, обобранных вод, обезображенной земли.

Вот чего ты хочешь, ты и приведенные тобой люди, которых во сто раз меньше, чем нас, населяющих эту землю с тех пор, как небо, прильнувшее к океану, крышей выгнулось над ней. Нашего неба, моря, страны и всех сил нашего народа — вот чего ты хочешь. Зачем? Какая тебе польза в горе и бедствиях других людей? Впрочем, это твое дело, а не мое. Но я не могу понять еще, почему ты, не зная нас, думаешь о нас так дурно, что ожидаешь, будто сами мы призовем к себе горе и бедствия для этой твоей, неведомой нам пользы.

Ты говоришь, что дашь нам за это разные вещи, чтобы мы украсили себя, наших женщин и утолили жажду. Я не знаю вещей, которые ты хочешь мне дать, но мне и не надо их знать. Разве тебе не понятно, что не может быть таких вещей, какие нужны мне, а имел бы их ты, а не я? Любой день и любая ночь каждому дают то, что ему нужно. И давая, ничего не просят взамен. Ибо нет дара в том, что отбираешь обратно. Они одаряют только за то, что мы живем: разве ты не понимаешь этого? Такой же человек, как мы,— что ты можешь прибавить к их дарам? Свое тело — единственное, о чем скажешь: мое? Но оно не нужно нам. Оно никому не нужно, кроме тебя. И ты еще беднее нас, ибо тело у тебя не имеет даже цвета, и ты вынужден прикрывать его!

Взгляни, вот я хочу есть, и ветви наклоняют ко мне свои плоды. Большего мне не надо. В плодах и побегах зреет вино для наших юношей, чтобы они были неустрашимы. Что прибавишь ты?

Ты сказал: вот украшения для женщин, чтобы слаще казалась их любовь. Но разве те, что ты принес, прекраснее раковин и цветов? Легких опахал бабочек и огня заката? И разве тобой сделаны главные украшения девушек — их глаза, и узкие ноздри, и горячие груди, и твердые бедра? Оглянись, вот юноши и девушки. Они молоды, и юноша избирает девушку. Он вплетает ей в волосы лепестки. Солнце светит им, и они веселы. Они кружатся, не видя никого, кроме друг друга. И на закате он поведет ее в лес. Они будут любить друг друга,

пока с ними останется счастье. Может быть, так будет всю жизнь. А если нет, он еще найдет себе верную жену, а она мужа. Он поедет на рыбную ловлю, и прибой оближет ноги жены, ожидающей на рифах. Она намаслит ему волосы, напоит соком кокоса и научит детей улыбаться отцу. Что прибавишь ты?

Ты сказал «мой народ». Я не могу понять, что ты думал при этом. Если меня слушают во всех хижинах и шалашах, то это потому, что я лучше знаю, как жить мудро и справедливо. Я учу тому, чему научила меня жизнь. Старость — печальная вещь, но она постигла меня, как постигает всякого, и надо, чтобы не пропала даром та единственная выгода, которую дает она. Меня слушают потому, что, уча других, я говорю о них, а не о себе! Я ничего не прошу, как равно ничего не даю: старик ничего не может дать сильным и молодым. Но я помогаю им взять то, что есть у них самих и чего больше нет у меня. Если бы я не делал этого, моя жизнь слилась бы уже с вечным Ничем. Когда же старость поглощает силы кого-либо из слушающих меня, они перестают нуждаться во мне. Они уже сами как я. Но им нечем гордиться и незачем сожалеть о них, ибо ни гордости, ни жалости не подлежит то, над чем не властен человек. И когда исполнится срок моей жизни, один из них, по согласию всех, заступит мое место...

И если ты все это имел в виду, говоря «мой народ», то как же ты, не имеющий ничего, предлагаешь, чтобы я заставил моих сограждан, богатых всем, бросить тебе свое достояние — свою свободу, свою радость, свою жизнь, то есть совершить поступок бессмысленный и безрассудный? Может быть, я кажусь тебе сумасшедшим; но разве ты думаешь, что один безумец может сделать безумными сотни не потерявших разума?

Уходи же, чужестранец, лишенный цвета! Я сказал все. Уходи и подумай о простых вещах, которых не видит твой затуманенный взор. Мы попросим великое море быть благосклонным к тебе на твоем пути.

Старец умолк. Невозможно выразить, что я почувствовал, услышав под сенью лиан бессмертные принципы «Кодекса природы», начертанные, как рассказывают, золотым пером Дидро,— мне не забыть, пусть слу-

чайного, рукопожатия этого человека под вашим гостеприимным кровом! [1]

Ошеломленные, мы не шелохнулись. Нужно ли добавлять, что многие из нас в душе возблагодарили Создателя, уберегшего счастливых детей блаженного острова от бесчеловечной руки работорговцев-англичан. О, если бы я мог навсегда остаться тут, сбросив оболочку белой кожи и бесполезное бремя культуры! Вашему чувствительному сердцу был бы любезен этот мир, где не отделяют «мое» от «твоего» и где не начиналась еще история, состоявшая, как говорит Гроций, в том, что народы передали себя королям.

Между тем положение становилось запутанным. Сумел ли я внятно объяснить, что повлек бы за собой для нас поворот прочь от Сезама с его уже растворенными вратами? Прочь от славы, богатства, удачи всей жизни! Подумайте: завершены скитания, впереди, *завтра* домашний камелек. Сны о дивном минувшем и сбывшиеся мечты наяву. *Все. Навсегда.* Вы знаете, что это для моряка? «Для меня и моих детей»,— скажет он.

Следовало помнить, наконец, об интересах французской короны, осеняющей пути далеких странствий ради познания неведомого и приращения сокровищ королевства торговлей и мореплаванием.

Ле-Кордек проявил неожиданное терпение. Напрасно прибегали к доводам — не нашлось неотразимых для старца. Оставалось дать слово силе вместо бессильной кротости. Я хотел бы опустить завесу. Пролилась кровь. *Бесполезная кровь* — мы располагали лишь ничтожной силой, ярость шторма не пощадила пороховых чуланов — к клочку суши в морской пустыне прибило искалеченное судно с экипажем, вооруженным хлопушками!

И все же этого было бы довольно, чтобы в Океании вас признали богом... или дьяволом. Но здесь... Страх не согнул позвоночника наконец-то покорившимся усердным работникам. Нет! Черные грибы дыма тщетно выросли над жалкими шалашами деревни. Остров вымер. Туземцы исчезли. *Бесполезная кровь!..*

[1] «Кодекс природы, или истинный дух ее законов, во все времена пренебреженный или не признанный», напечатан в Амстердаме с таким обозначением года, места издания и типографа: «1755.— *Всюду*.— У настоящего мудреца». Мы теперь знаем автора: Морелли, почти ничего не зная об этом замечательном коммунисте-утописте. А долго знаменитую книгу приписывали Дидро. Даже помещали в его сочинениях.

А ночью тьма тучей ладей обступила корабль. Мы больше не решались ночевать на берегу. Отряды не смели углубляться в леса. Умолчу ли о негаданном? Я ошибся, воображая, будто лишь немногие из наших людей, изощренные в диалектике, поняли речь старика. Оборачиваясь, мы ловили косые взгляды. Матросы забывчиво пренебрегали самыми категорическими приказами. Мачта, которую укрепляли, вырвалась из гнезда, конец ее просвистел у головы Ле-Кордека.

И вот через волны, хребты, дебри и пески я обращаюсь к вам. Друзья мои! Не слишком ли громко беседуем мы при бесшумных слугах? При земледельцах, возделывающих наши сады и поля? Даже при рыночных торговках? Что, если близок — пусть звучит это абсурдом — страшный день, который мы сами торопливо готовим,— день, когда — чересчур поздно! — слетит повязка с наших глаз?

Видите, какие мысли внушают Южный Крест и досуг моряка!

Итак, медлить у острова сделалось невозможно. Заспешили плотничьи топоры и кривые иглы парусовщиков. Офицеры не уставали подгонять. Нет места жалости к другим, когда презираешь собственную слабость. Мы должны отчалить, чтобы начать все сначала, по крохам, у побережий, облепленных европейскими кораблями, как мед мухами...

Теперь, когда все ушло в невозвратное, я и шлю вам письмо — горькая удача! — с капитаном одного из этих кораблей, тех, что опередили нас... Трюмы полны, капитан возвращается на родину,— тем труднее наполнить их нам, тем дальше она от нас!

Мне приходится упомянуть еще отчаянную «кухонную» вылазку, предпринятую Ле-Кордеком ради повара и его кладовой. В решающий час не жалели зарядов. Заговорила единственная пушка, сохранившая голос.

Последний возврат на борт. Поверка. Недосчитались одного. Он нарушил строжайший запрет не отлучаться из рядов. С мешком за плечами, размахивая свободной рукой, ослушник показался, когда уже захлопали паруса. Упал, поднялся, что-то выкрикивал. Никогда не забуду ледяного презрения, с каким глядел Ле-Кордек на заплетающиеся ноги человека, бежавшего изо всех сил, не выпуская мешка. Приготовившись скомандовать, я запнулся.

— Вы что, французский дворянин или...— с грубой угрозой, без обращения сказал Ле-Кордек.— Якорь!

Дисциплина на судне жестче, чем в осажденной крепости. По моему знаку младший офицер обнажил кортик. Люди взялись за рукояти. Заскрежетал ворот. Тяжелые звенья поползли на палубу, мокрые и лоснящиеся, как фарш из мясорубки. Так я подумал в первый раз в жизни.

— Я покажу каналье! Я проучу всех каналий,— сквозь зубы пробормотал Ле-Кордек. Он думал о мачте, просвистевшей мимо его виска.

Матрос все бежал по берегу за кораблем; одна нога его, в кромке прибоя, зарывалась в песок, точно он был хром или изувечен в сражении,— вымоченный до пояса, он не замечал ничего, и все махал рукой, и все придерживал мешок, оттягивающий ему плечи. (Что было там? Золото, жемчужницы, откопанные в пепле сожженной деревни, или скорее куски алебастра, принятого за драгоценность?) Изо рта, зияющего как рана, вылетал непрерывный, на одной ноте, хриплый, уже почти беззвучный вой. Я не видел никогда ужаса, подобного тому, какой исказил каждую черту этого человека. Еще живой, рядом с нами он был мертвец, непереходимой гранью отрезанный от жизни. И с каждым мгновеньем ширилось то, что отделяло, отсекало его. Он остановился наконец. Гримасничал и дергался и все, как заводной, взывал рукой — далекий, чуждый, под блистающим солнцем — будто зарытый в могиле. Словно я черным волшебством подсмотрел муки души у еще не остывшего трупа, в ее страшном одиночестве смерти — на том, уходящем в забвение берегу, откуда никто не возвращается...

Судно ускоряло ход.

Итак, прощай, сладостное видение потерянного рая!

Корабль со ржавой надписью «Цивилизация» причалил к тебе — и оставил кровавый след в твоей лагуне. А что же увез с собой?

Я знаю, что *нашу* историю назад не поворотишь, как бы ни был печален ее бег, и право наследования, опору общества с его неравенством, нельзя уничтожить, поскольку нам открыто бессмертие души.

По секрету вам скажу, что свои надежды я возлагаю не на дряхлую Европу, но на Америку, смело восставшую против лондонского деспота. Сильные люди, свобод-

ные от величия и гербов предков... Найдется ли в среде их философ, который укажет им правый путь?

Вот, дорогой и милый друг, то, что я хотел вам написать. Я стал болтлив. Простите мне это. Вспоминайте обо мне.

Остров мы назвали (я так предложил) Святое Упование. И водрузили на нем лилии Бурбонов.

Я уповаю.

Целую вам ручки, так как больше не смею сделать того же с самыми прелестными губками на земле».

— Я прочитал,— сказал ученый.

— Да? — отозвался друг.

— Литература, разумеется. *Фикция,* как справедливо предпочитали обозначать это англичане. Но в основе тут что-то есть.

— А вам не приходит в голову, что именно литература и искусство рассказали человеку главную правду о нем самом?

— Признаем просто, что памятник любопытен. Кодификаторы пропускают многое. И я хотел бы опубликовать его, сославшись, само собой, на вас.

1932; 1962

ТИГР

— Нет, не берусь назвать. Городишко. Не в том смысле, что мал или не имеет своего лица. Вероятно, и лицо какое-то было. Но когда мельтешит сотня, в конце концов, ему подобных...

Прокатился почтительный гул. Но Сергей Ильич Кричевский скорее всего покривил душой. Ну откуда же всетаки сотня! Правда, эффект полностью оправдал некоторое преувеличение. Оставалось развить сказанное:

— Вы знаете, при моей работе... Сколько исколесишь! Да и черт ли в городишке этом, когда одно: опаздываю! А тут проклятая вынужденная посадка хваленой «Каравеллы»...

Автоматическим движением он поднял к губам тонкий бокал, со дна которого срывались уже редкие золотистые пузырьки. Но опять лишь пригубил его, как по-

ступил и тогда, когда на совесть исполнявший свою обязанность тамада возглашал очередной тост.

Было ярко, празднично. Собралось человек двадцать. Пестрое общество, умело сплоченное искусной хозяйской рукой. Очевидно, было предусмотрено и на первый взгляд удивительное впечатление, зачастую свойственное домашним торжествам: казалось, что людей больше, гораздо больше. А ведь никаких апартаментов. И если поглядеть днем — комната как комната и стол в ней как стол, где усесться за ним и половине тех, кого хлопотливо созывали настойчивыми, повторными телефонными звонками? Но пробил урочный час — и будничная жилплощадь обратилась в фантастическую пещеру Лихтвейса, сказочный покой, чьи стены словно раздвигались, отбегая прочь друг от друга, вмещая между собой и столько, и еще столько, да и еще бы, и еще!..

Как во всех сходных случаях, предусмотрительными хозяевами должна была быть подготовлена изюминка вечера. Собственно, даже две. Одна, менее значительная, но необходимая — уже упомянутый тамада. То был химик-органик, замкнутый и сухой в институте, где он занимался чем-то связанным с синтезом дезоксирибонуклеиновой кислоты. Но до чего же преображался он и расцветал, очутившись во главе стола! Какие затейливо-искрометные речи, поражающие находчивостью, изливались из его уст! И хоть бы тень усилий, старательных поисков, что́ бы еще сказать, чем распотешить внимающих ему и притом попасть в точку, нет, легко, играючи, с самозабвенным наслаждением — истинный дар божий! Так что поневоле у многих возникал вопрос, угадал ли человек свое истинное призвание? Как бы то ни было, застольная известность его превзошла лабораторную. И сколько семей впали бы в истинное отчаяние, не удайся им залучить его к себе в свои знаменательные дни.

Тем не менее вечером, о котором здесь повествуется, ему суждено было довольствоваться лишь второй ролью. Первая же вне всяких сравнений отводилась Сергею Ильичу. «На него», как говорится, и созывали гостей. Шутка ли, поездки «чуть не по всему свету», как предваряли созываемых хозяева, почему-то понижая голос,— он и в самом деле ездил, хоть и не «по всему свету», возможно — имея касательство к внешнеторговым делам, возможно, фрахтуя что-то. И как неуловимое, но внятное свидетельство обо всем этом — общий облик, манера держать-

ся, покрой платья, блеск очков. Чудо, что и теперь звонок хозяев застиг его дома!

И вот он здесь. Но и это еще полдела. Сдержан, скуп на слова — «тренинг профессии», поясняли хозяева, на этот раз переходя уже на полный шепот. А задача-то именно в том, чтобы выманить из раковинки! Значит, необходима стратегия, диспозиция предстоящего заправского сражения — как рассадить, кому отвести место рядом, ну конечно, милой тараторке Нине Григорьевне, если уж кому удастся расшевелить, то это ей, с ее обаятельной женственностью!

И удалось! Выманила! И праздничный шум приутих, умолкли разговоры отдельных группок за столом. Тамада придержал рвавшуюся наружу новую хитроумную здравицу.

— И вы не обратили внимания на название? — подбрасывала Нина Григорьевна свой каучуковый мячик.— Так-таки совсем-совсем? Ну хоть на здании аэропорта? Чисто машинально? Если бы, например, пришлось мне...

— Прелестное женское рассуждение! В том-то и дело, что вам не приходилось во что бы то ни стало торопиться попасть, доехать, долететь к определенному дню и часу, да еще за рубежом, неся, так сказать, весь груз ответственности на собственных плечах. А тут тебе проклятая вынужденная посадка! — повторил Сергей Ильич.— Тут уж тебе не до такой роскоши, как любопытство! Особенно когда навидаешься и таких, и этаких городков, городов, городишек, и больших, и малых. И убедишься, до чего же они схожи — именно своей несхожестью!..

— Однако что-то же побудило вас сесть, не знаю, в трамвай, в такси и поехать в...

— Что-то! Я вам скажу — что. Пришел в действие механизм психической самозащиты. Как можно безболезненнее избыть пустое время. Правда, тут возникает — вы не замечали? — и некоторая оборотная сторона. Чем дольше затянется задержка, тем больше риску опоздать. Парадокс? Хотите «случай из жизни»? — Краткая усмешка подчеркнула легкую ироническую закавыченность последних слов. Не было сомнений, что рассказывает он для всех собравшихся, хоть обращался только к одной Нине Григорьевне.

— Был зелен и юн. Поздняя осень. Из Средней Азии, где работал на одном из эвакуированных предприятий, еду по вызову Центра, очевидно, для отправки на фронт,

о чем (это в скобках) не раз просил. На узловой станции вагон должны перецепить к другому поезду. А чтобы понять, как ходили поезда, достаточно сказать: сорок второй год! Стоянка семнадцать часов. Побывали в поселке. Коллективно приобрели и съели арбуз. А стрелки на часах точно застыли. Тут говорят: поблизости баня не баня — санпропускник. Пускают поочередно то женщин, то мужчин. Оставил все лишнее: пальто, костюм, деньги, документы, вещи и пошел — брюки, трусы, рубашка, даже без носков — дожидаться вместе с местными колхозниками нашей мужской очереди на пригреве еще южного солнышка. Лежим, рассказываем кто о чем, некоторые уже вернулись с фронта после ранений, слушаю жадно, рассказываю и сам, что знаю. Дождались. Одежду отбирают для санобработки. Моемся, а сам поглядываю в окошко: стоит вагон! Вымылись, дожидаемся одежды, а командует нами, надо сказать, строгая сестрица в халате, прелестная девчушка лет восемнадцати. Одеваюсь, стоит вагон, отлично! Захожу в свое купе. Что за притча? Как подменили всех! Ошибся? Я в соседнее. Ни одного знакомого лица. С ума сойти! «Куда вы едете?» — спрашиваю. «Как куда!» И называют тот город, откуда я выехал. «А где же поезд в центр?» — «А во-он!» Дымок на краю неба! Вагон-то стоял, да только уж не мой, а встречный! Представляете — в тенниске, с голыми по-летнему руками, на босу ногу, без копейки, без документов, а время-то какое — немцы на Волге, а сразу после заката ледяной холод!

Раздались восклицания. Несмотря на повелительный блеск оптических стекол, задана непосильная задача — представить Сергея Ильича в невозможном, немыслимом обличье! И лишь тамада, повинуясь обиженному, любящему, смятенному взгляду жены: «Что же ты молчишь?! Никогда же не бывало, чтобы ты так молчал!» — тамада вдруг особенно оживился:

— Что я слышу? Так это вы ворвались в мое купе в виде этакой ритуальной фигуры, что, не знаю, как теперь, а прежде ставили на огородах для отпугивания крылатых налетчиков?! Штаны до нагих лодыжек, на ногах... что у вас было на ногах? Помню, пальцы торчали. Насчет птиц не сужу, а дам вы смертельно перепугали. Не хочу поминать, за кого они вас приняли и куда требовали обратиться. Скажите спасибо, с трудом успокоил! Нет, моей нынешней жены, которую вы здесь видите, но не слышите (очевидно, то была привычная супружеская шутка), еще

не было тогда ее... А случилось так,— возвысил он голос,— что я возвращался в том самом, «подмененном» вагоне. А сейчас мы с товарищем Кричевским сидим за одним гостеприимным столом наших дорогих хозяев! Судьба умеет вычерчивать вензеля — нарочно не придумаешь, а придумаешь — не поверят! Здесь нет писателей? Англичане не зря называют изящную литературу «фикцией» — ей учиться и учиться у жизни и, подозреваю, никогда не выучиться! Верно, Сергей Ильич? Оказывается, старые знакомые!

— Не знаю, я вас не заметил. И не узнал бы, хотя вы не были... в ритуальном виде! — хмуро отозвался Сергей Ильич.— Впрочем, я еще ничего и не рассказал. Так, штришки. А между тем стоило бы. И как лежали на траве, и я, в тон другим, весьма правдоподобно описывал свой колхоз — там же, по соседству. И как потом терпеливо стояли и ждали горячей воды вроде этаких античных статуй перед суровым взором юной командирши, а я все проверял вагон в окошко и успокаивался: порядок! Но когда-нибудь подробнее в другой раз, как случится, я достаточно отнял времени, извините.

— А ведь интересно,— тамада решительно захватил воображаемый микрофон,— скажу — чрезвычайно интересно осветить одно и то же происшествие с двух противоположных сторон! Я, если угодно, выполнив в столице поручение Алексея Николаевича Баха... Нет, но прежде — и ни слова до этого! — я хочу, чтобы пустые бокалы, стоящие перед каждым...

Что случилось с Ниной Григорьевной!.. И какие отчаянные знаки слала ей через стол Людмила Васильевна, хозяйка!

— Ради бога! Валерьян Александрович! — почти самозабвенным жестом Нина Григорьевна простерла руку к тамаде, и рукав ее откатился, обнажив нежнейшую кожу молочной белизны, но она не думала об этом, не замечала. Всю жизнь она стремилась старательно выполнить, что бы ни поручалось ей.— И вы, Сергей Ильич! Нет, нет, тысячу раз нет! Мы же просили, вы согласились. Обязательно, обязательно! Сергей Ильич! Профессор, Валерьян Александрович, скажите ему и вы!..

Тамада немного резко поставил на стол поднятый было бокал, издав хмыкающий звук; можно было приписать ему любое значение. Сергей Ильич силился улыбнуться соседке.

— Да ведь что же я, раз вы настаиваете... Только, уж простите, вовсе упустил, о чем бишь и кому это интересно?

— Как кому? Да ради одного этого...— проговорилась Нина Григорьевна, сбилась, покраснела.— Я все время гадаю, почему же зоопарк, причем зоопарк,— поправилась она.

— Зоопарк? То есть какой же зоо... Ах, еще раз простите. Вы спрашиваете, по какому я, собственно, вдохновению там, в городке...

— Да, милый Сергей Ильич, именно, именно! — Как все сразу отражалось на ее лице, в заблиставших глазах — радость, восторг — после смятения, даже на руках ее с красивыми длинными пальцами, не умевшими замереть в мертвенном покое! И Кричевский уже открыто улыбнулся ей.

— Тяжелую вы задаете мне задачу! Если я скажу — орел и решка, вас устроит? Нет? Но не любоваться же было достопримечательностями сто первого собора (брал, брал грех на душу Сергей Ильич Кричевский даже в такой момент!), и не выслушивать же, любуясь, елейное журчание гидов, сыплющих именами простодушных средневековых камнерезов, которые вы благополучно забудете через полчаса. А тут все-таки проедешься по улицам, людей посмотришь... Да вот она, невысокая ограда, неказистый вход. Тот самый зоопарк. Ничего лучшего, впрочем, и не ждал от городишка. Аккуратная аллейка подстриженных деревьев, по чьим ветвям рассажены наивно и симметрично прицепленные за ногу попугаи. Хоть поворачивай обратно! И вдруг... вдруг я так и застыл в изумлении. Не поверя глазам. Слегка зыблясь, разостлалась степь, саванна. Где-то вдали промчится, пролетит, еле касаясь земли, стадо антилоп. Что-то испугало их у леска на горизонте...

— На горизонте? В середине городка?

— Да, в центре, на магистрали, за невысокой оградой, неказистым входом! Знаете, как фокусник из шляпы извлекает полсотни метров ленты, стаю голубей, цыплячий выводок, сервиз и еще графин с вином?

— «Дверь в стене»,— сказала голубоглазая хозяйка, коснувшись локтя бессловесной супруги решительного тамады — ее звали только ради мужа, но зато сажали рядом с хозяевами.

— «Дверь?..» Догадываюсь, фантастический рассказ? Какая фантастика — настоящая реальность. Но в самом деле дверь, вход, за которым... Вот увидите. И толкуйте, как хотите. Надо отдать должное таланту устроителей. Мне показалось, сейчас там из леска тремя прыжками выскочит хищник, преследователь. Но еще больше поразили дети. Никаких шалостей, шуму, криков. Серьезно, вдумчиво разглядывают, проходят дальше. Чуть не обмолвился — изучают. Я не педагог, отнюдь. Дело вкуса, конечно, а все-таки, что до меня, скажу, мне по душе, чтоб бил в ладоши мальчишка от полноты чувств и, подпрыгивая, взвизгнул, аж в ушах зазвенело, и «Папа, купи булочку слону, ну, пап!» — а папа, сдвинув брови, понимая серьезность момента, послушно покупает, а у клетки берет за ручку: хоть и прутья, да мало ли что! Ну, никому не навязываю... Было там, кстати, и еще кое-что, на что сперва не обратил внимания. Запашок. Эдак паленым, слабая витающая гарь; вовсе не городской запах. А люди — взрослые, старики, дети — льются мерным потоком. Или совершают чинное шествие. Так и влились, вступили в прозрачное сооружение. Охватил липкий жар. Платок хоть выжми. В парно́м удушье ввысь, к небу громоздятся — крыши будто и нет — перевитые лианами джунгли. Внизу, в тихой воде, на круглых листьях размером с варяжский щит — помните картину Васнецова? — лежат тяжелые бело-розовые цветы — с голову. А возле них буро-оливковые бревна. Топорно обрубленные, в каменно-жестких бляхах, мертво-неподвижные...

— Крокодилы?! — одним дыханием выдохнули Нина Григорьевна и Людмила Васильевна.

— Да. Но ни признака жизни. Я следил. Безглазые — с белесой плевой на месте глаз. А сунься к ним попробуй с эстакады! Ого! С высокой ветки сорвался цветок, перепорхнул, обмахиваясь лепестками, как бумажная четвертушка, только радужная. Сроду не видывал таких бабочек! Подвешены грязные переметные сумы: летучие собаки... или лисицы. Исполинские летучие мыши! С клекотом и шорохом вырвалась и тут же канула клювастая птица. Аллах с Бремом знают, что за птица. Поневоле задаешься вопросом, что там еще скрывается в дебрях, в сердцевине? С издевкой перед тобой кривляются мартышки. Сотряслась кожистая, веерная и маленькая, вроде березовой, листва. На то время, покуда не вынесет прочь из теплицы людской поток, ты подлинный обитатель тро-

ников. Вот никогда не чаял, а побывал-таки в девственном лесу! Как это сделано, как устроено? В лесу — во всем его сверкании и дочеловеческой мощи, но все же очеловеченном, обезвреженном!

— Вы так рассказываете, что я... И при отлете тоже не взглянули на надпись, название города? Ведь право же, или я не понимаю человеческой природы...— тихо проговорила Нина Григорьевна.

— Не всякой человеческой, не всякой: кто лучше вас знаком с прелестной женской! Ну-с, а я... Как только, Нина Григорьевна, у входа, у неказистой калиточки я опять увидел, услышал улицу, с машинами, витринами, говором на тротуарах, звоночками автобусов, газетными киосками, так сразу, словно по команде, как бывало на военной службе, вернулся к насущному, скинул лишнее с себя вместе с застрявшим во рту вкусом дымка, гарьки, паленого, может, хворост там жгли, сухую пампасскую траву, уж не знаю, костров и ворохов не видел...

— Сплюнули, да?

— Ка-ак?

— Я про вкус этот, застрявший между зубами.

Сергей Ильич стремительно повернул голову. Глупая шутка! А не смеется. Бог весть, кого только не зовут! Впрочем, вполне пристоен, в черном костюме, при черном галстуке, похож на пастора. Или скорее на главбуха крупной строительной организации. Бдительно блюдущего букву закона. В любую жару наглухо застегнутого, вселяя трепет в снабженцев. Вон он, горой высится над столом и над плечами соседей!

Человек вежливый, Кричевский отозвался, как того стоило:

— Вас что, занимает физическое движение, жест? Сожалею, не могу удовлетворить любопытства: было не до самонаблюдений... этакого сорта. Так вот, Нина Григорьевна, отладили «Каравеллу», и метеосводка наконец подходящая — значит, ты в строю. А прочее долой, помните, как в классе стирают губкой, а то тряпкой с доски? И если бы не вы, с вашей бархатной, а под бархатом ой какой железной лапкой, так бы все и покоилось навеки погребенным в памяти, извините пышность выражения.

— Леонид! — громко обратилась Людмила Васильевна через стол к мужу.— Я к тебе. Ты послушай. Мы же были там! Вышли из метро на станции «Zoogarten». И ты

тоже как раз жаловался на зной и пил какую-то Iohannisbeere...

— Прекрасная штука — смородинная шипучка, ну как же, Людмила Васильевна! — ответил муж. И не всякий бы догадался, внимая необычной живости его ответа и слыша это «Людмила Васильевна» (жене — по имени-отчеству!), создающее особо непринужденный приятельский с юморком тон, не всякий бы понял, что он туговат на ухо, почему и предпочитает отзываться на последнюю расслышанную фразу.

— Вот вам и разгадка, где все это было! Теперь узнаете? — Людмила Васильевна улыбнулась Сергею Ильичу.— Только я и половины не приметила того, о чем вы так замечательно...

— Ну что вы, к чему арифметика! Всякому свое. У одного профессиональная наметанность глаза, у другого... я хочу сказать, у другой — иные, верно, лучшие достоинства. Я счастлив, что своим рассказом пробудил вашу память, и так называемая загадка...

— Не торопитесь. Осторожнее. Городок — и метро?

Опять тот же шутник!..

— Да, и я обратила внимание,— пробормотала Нина Григорьевна.

— А вкус — как вы его, если точнее, определите? Пригорелого молока — на языке и на губах?

— Да вы что, специалист по вкусам и запахам? — (Нет, навряд ли главбух. Шеф-повар?!) — И ничто иное для вас не существует? Мир, взятый верхним чутьем,— не посетуете, что прибегаю к охотничьему словцу? Ну пусть подгорелое молоко. Я же сказал.

— Отлично. Просил повторить, чтобы не вышло ошибки.

— И... что же отсюда вытекает?

— Только одно: если нашей хозяйке простительно воображать, будто и она побывала там и что-то видела, то вам, да еще со ссылкой на профессиональную наметанность, упустить суть — все равно что признаться: я не видел ничего.

— Однако...— Сергей Ильич даже откинулся на стуле. След улыбки все еще блуждал на его устах. Золотистые пузырьки перестали восходить со дна недопитого узкого бокала.— С этакой безапелляционностью вы... Либо приведите доказательство, либо... надеюсь, вам понятно? *Какую* суть?

Прокатился говор. Две дамы отсели от человека в черном, и выставился напоказ строгий перпендикуляр его торса, словно не просто костюм, но весь он вздет на незримую вешалку.

— Однако я слышал, вы предложили вопрос, что там таится в сердцевине, так?

— Я ничего не «предложил». Обычная форма выражения.

— Ах, я принял буквально. Никак не отучусь. Тем более, что вопрос точен. В сердцевине — тигр.

— Что?!

— Первобытный лес не копия. Не модель. Подлинный. В этом суть. Раз в день тигр выходит из зарослей и похищает одного-единственного посетителя.

— Послушайте, когда вы обратили внимание, что не тот город, все согласились. Правда, все? — Нина Григорьевна обвела вокруг взглядом.— Но есть же границы. Вы считаете это остроумным? Вот то, что вы сейчас?..

— Никогда не мог понять, кто ославил меня остроумцем...

Левая бровь Сергея Ильича приподнялась: редкостная самонадеянность! «Я, меня...» Да не то что ославить, кто вообще-то знает его?! Чистейшей воды абсурд!

Но как ни в чем не бывало *тот* (иначе его и не мог называть Сергей Ильич) досказывал свое:

—...Акробатом словесных курбетов. Я, прошу извинить, понимаю буквально. И отвечаю прямо. Оставим это. Дело идет о любопытнейшем социально-психологическом эксперименте. Вы, Сергей Ильич — так кажется? — с Вашей профессиональной сноровкой (Сергей Ильич сжал красиво очерченный рот; он больше не улыбался), Вы справедливо отметили чинность шествия, изумились поведению детей, но причины по обыкновению оставили в стороне. Отсутствие любопытства, на чем Вы настаивали, сослужило плохую службу. *В том шествии знали все, кроме вас.*

— Но вы подумайте! В центре Европы! В наши дни! — воскликнула одна из отстранившихся дам, и странно: в голосе ее звучала уже как бы готовность слушать дальше. Пусть еще лишь оттенок готовности...— Тысяча и одна ночь!

— Да, эксперимент. Вы следите за ходом моей мысли? Разделите опасность единственного похищения на число проходящих за день: частное от деления окажется исче-

зающе малым. Вот вы, Сергей Ильич — я не ошибаюсь? — Вы не почувствовали ничего, ни тени страха.

— Я? — немного чересчур заторопился Сергей Ильич, чье имя-отчество почему-то постоянно сопровождалось оговоркой о возможной ошибке.— Я? В каком же смысле — страх? Ведь вы же сами только что в отношении меня... То есть, позвольте, уж не хотите ли вы сказать, что, значит, в то время, в том шествии, как вы выражаетесь, и я совершенно одинаково подвергался...

Он осекся, будто пораженный внезапной мыслью.

Собеседник (если к нему подходит это слово) не откликнулся ни звуком. Он бесстрастно, внимательно, *любопытно* разглядывал Сергея Ильича, а затем отвел глаза, причем, как клялась позднее Нина Григорьевна, удовлетворенно шевельнул, нет, нырнул, клюнул подбородком — ни дать ни взять, уверяла она, строгий учитель, поощрительно кивающий, когда нерадивый ученик решит наконец элементарную задачку. Впрочем, пылкое воображение Нины Григорьевны общеизвестно, ей причудилось, например, будто Сергей Ильич зябко повел плечом и даже сделал губами «бр-р-р!», обдумывая, как она не сомневалась (хотя никогда, никогда не напомнит ему об этом!), все ту же поразившую его мысль: вещь совершенно невероятная с точки зрения всякого, хоть сколько-нибудь знающего Сергея Ильича Кричевского!

Между тем главбух, шеф-повар, школьный учитель или кто бы он еще ни был, уже продолжал с того самого места, на котором застигла его происшедшая заминка:

— ...Итак, нельзя было уловить ни тени страха в настроении идущих. Идущих и *знающих*. Я только это хочу повторить и подчеркнуть. Вы поняли меня? Людского потока. Их серьезность — это другой вопрос; жизнь — об этом часто забывают — очень серьезная штука. Юмор я считаю мнимостью. Но отвлекся, прошу извинить. Произведены точнейшие статистические обследования посещаемости до и во время опыта. Кривая не пала, а скорее обнаруживает тенденцию к взлету! — И голос его вдруг сам взлетел на петушиную высоту. Создалось диковинное впечатление, что в горло ему, как бывает у кукол, вставлена говорящая машинка-пищалка. Какое уж там остроумие — поистине ни сном ни духом!

Однако речь опять потекла плавно.

— Удивительно? На самый поверхностный взгляд!

Риск, если его выразить языком цифр, значительно уступает риску погибнуть от инфлюэнцы.

— Да, да! — внезапно заговорила бессловесная жена химика-тамады, и выяснилось, что ее взоры, покинув супруга, давно уже покоятся на госте в черном.— Даже от кирпича, свалившегося на голову! Мать нашей знакомой открыла холодильник, увидела, что ничего нет к завтраку, сказала: «Я на уголок за колбасой» — и не вернулась. Там стоял аварийный дом и...

Человек повелительно приподнял руку. Женщина замолкла на полуфразе.

— Достаточно. Вывод, как убеждаемся, общепонятен. Мне остается лишь вновь подчеркнуть то неотразимо влекущее чувство, к которому Сергей Ильич — я не путаю? — отнесся, на мой взгляд, с необоснованным пренебрежением: любопытство.

— Не предпочесть ли любознательность? — вопросительно произнесла Людмила Васильевна.

— Я говорю, любопытство! — отрезал фальцет на высочайшей петушиной ноте.

— Вы знаете... Если заглянуть внутрь себя...— медленно проронила Нина Григорьевна.— Ведь обычно никто этого... Не тем полна голова, и ни времени, ни навыка. Но когда вы сейчас с такой осведомленностью...

— Я врач-психиатр.

— Внутрь себя!..— повторила хозяйка.— Вон как ты, Ниночка! И я то же скажу о себе, я тоже. Но что такое?! Леонид! Телефон! Ты слышишь? И так поздно. Кто бы это?

Она порывисто отодвинула кресло.

— Конечно, слышу. Ничего особенного, почему ты волнуешься? Возможно, с работы, по поводу завтрашнего. Назначено... Хотя, правда, все здесь... Иду, иду!

— Не беспокойтесь,— остановил встревоженную чету человек, завладевший вниманием общества.— Это меня: я жду. Минуточку.

Как уверенно он встал! Ему бы, по росту, чрезвычайно удобно переменять лампочки в хозяйской люстре. Ноги — быть может, из-за отложения солей в суставах — он не сгибал в коленях, а переставлял, как ножки циркуля.

— Минутку,— подхватил его словечко Сергей Ильич.— Как же вас зовут? Имя-отчество? Неудобно так...

Клохчущий звук горлом, изданный на ходу, означал вежливый смешок.

— О, просто! Но так как никто не запоминает, я принципиально избегаю...

— Все-таки?

— Мы просим! Пожалуйста!

— Ну если уж...

И, открыв дверь в коридор, на миг приостановился в ее темном проеме, откуда, теперь на всю квартиру, неслись нетерпеливые звонки телефона.

— Как он назвал себя? Тише! Да тише же!

— По-моему, Иван... Иван... И вправду совсем просто: Иван Иванович! Да ведь это я Иван Иванович,— в изумлении отозвался один из гостей.

— Нет, Аркадьевич! Я еще обратил внимание: мое отчество.

— И не Иван — держи карман! — грубо срифмовал всегда строго сдержанный третий гость и с непонятным ожесточением сверкнул глазами.— Волан, вот что он сказал!

— Конечно, в таком шуме и гаме,— неужели нельзя помолчать? И при его дикции. Да еще под трезвон. А я все же услышала. Присел, прежде чем захлопнуть дверь, скроил мне гримасу и выпалил: «Битте-дритте»,— вдруг защебетала дама, известная тем, что, смотря на окружающих как бы с некой высоты своего строгого изящества и безупречного вкуса, она на вес золота ценила каждое свое слово. Было ей далеко за пятьдесят, но звали ее все еще как девушку: Рита Рауд.— Присел, скроил рожу, подмигнул мне очень смешно и выпалил: «Битте-дритте!»

И Рита Рауд, совсем как девочка, прыснула в рукав безупречного английского костюма со снежно-белой блузкой.

Это уже не лезло ни в какие ворота. Щебет встретило ледяное молчание. Лишь импозантный, всегда строго сдержанный упрямо снова бухнул свое:

— Волан Ликандрыч. По-гречески Ликандр — мужчина-волк, а? Так что не пойму я толком...

— Не поймете? Что вы понимаете, что понимаете, когда он, скривясь, отчетливо прокукарекал мне в лицо мое собственное имя-отчество! — оборвал его деликатнейший, обязательнейший тамада — кто бы мог такого ожидать? — Слышите: мое! Валерьян Александрович. Сделайте одолжение: тезки!

— Ну что вы, друзья, полно, полно,— захлопотала Нина Григорьевна.— Зачем же... разве можно так? Ведь

вы же все друзья! Постойте, мы все сейчас выясним, уточним. Людмила Васильевна! Людмила... Ты хозяйка. Открой секрет: кто он?

— Но я его,— изумленно и беспомощно развела руками Людмила Васильевна,— я его впервые вижу. Как и вы... Кто-то привел. Знаете: друзья наших друзей... Признавайтесь, кто?

— Вот вам прелесть пестрых сборищ — с бору да с сосенки. Сами хозяева подчас не знают, с кем им придется сесть за стол,— покачал головой Сергей Ильич.— Да что он там так долго?

— И мы даже,— спохватилась хозяйка,— мы не спросили, какой все-таки город? Страна?

— Спросим. Первым делом спросим. И не одно это. Кому поближе к дверям, не сочтите за труд взглянуть: как он? Скоро?

Тишина. Ожидание. Кто-то кашлянул. Скрип двери: вернулась разведчица.

— В коридоре — никого.

— Как так никого? Что это значит — никого? Нигде никого?

— А если, к примеру, куда царь пешком?..— язвительно предположил Валерьян Александрович.

— Я проверила,— опустила долу глаза вернувшаяся.

— Срочный вызов? Ведь если правда врач...

— Что гипнотизер, это уж точно.

— И не попрощавшись! Никогда так у нас не бывало.— В голосе Людмилы Васильевны звучала обида.

— Как же теперь выяснить?

— Никаких затруднений,— пояснил с чрезвычайно серьезной миной маленький кругленький человечек — знаменитый комик-эстрадник.— Не советую рыться в списках врачей: кто теперь говорит инфлюэнца?

— Наоборот,— вполне по-докторски.

— Да? Не слыхал. Но не будем ломать копья. Проще справиться в адресном бюро об Иване Ивановиче — редчайшее имя! Либо, еще того лучше, о Волане. Это, кажется, такая оборочка или чем перебрасываются в бадминтон — летучка с перышками. Ну тут подойдет любой магазин спорттоваров. И дело в шляпе.

Его искренно веселило происходящее, и он с привычной хитрецой оглядел стол, выжидая смеха, который непременно следовал за всем, что бы он ни говорил.

Но на этот раз слова его растаяли впустую. Возбужденные реплики сыпались наперебой.

— А в начале вечера его кто-нибудь видел? Не спустился же он на паутине, как паучок, предвещающий письмо!

— Такая заметная фигура!

— А ты хороша! Ты! Ты еще поддержала его!

— Не ссорьтесь, ради бога! Прошу вас! — Нина-миротворица заспешила со своей пальмовой ветвью к грозному Валерьяну Александровичу.— Я ведь и сама...

— Да ведь так авторитетно, логично...— оправдывалась бессловесная жена.

— Что говорить, все отличились! Развесили уши. Никто не осадил. Не поставил на место.

— Он все толковал об эксперименте. Вот он и проэкспериментировал над нами.

— Боже мой, стыд какой! И ведь едва не поверили! И чуть не перессорились.

— Я точно очнулась от наваждения,— вымолвила Людмила Васильевна.

— А его назойливость с запашком паленого, это отчего бы? — Молодой художник поднял глаза от маленького альбомчика, который, видно, раскрыл слишком поздно, страницы остались девственно-чисты.

— Черт знает что! — не сдержался Сергей Ильич.

— Знает... кто-кто, вы говорите? — переспросил хозяин-супруг, по имени Леонид, без отчества, и поспешно отдернул ладонь, приставленную было к уху.

— А все-таки... я опять к тому: если бы вы поинтересовались тогда названием городка... ну хоть из любопытства, о котором он столько раз сегодня здесь...

Большие темные прекрасные глаза Нины Григорьевны смотрели прямо на Сергея Ильича Кричевского.

Он положил свою руку на ее тонкие пальцы.

— Нет, оставьте это. Не надо. Забудьте. Ничего сегодня не было! *Ничего.* Но если отвлечься от всего абсурда, чепухи... Теперь я думаю, что вы правы. Да, вы правы, Нина! Будь я внимательнее, это сразу сняло бы даже возможность вздорной выдумки. Поделом мне. Я полагал: только работа, ну а прочее... Теперь даю вам слово на будущее. И вы поверите мне и убедитесь — во многом-многом убедитесь, Нина!

Здесь можно бы поставить точку на всей этой нелепой истории. Однако... что там еще?

А знаменитый комик хлопнул в ладоши. Ну что ж, послушаем его.

— Прошу внимания. Нет, нет, смешного не будет. На этот раз абсолютно ничего. Ни смешинки. И совершенно напрасно не верите. Я как раз к тому, что надо больше верить — не байкам-басням, а друг другу. Так что и улыбки ни к чему. Земно кланяюсь, прошу серьезности, уважьте! А прежде всего я к вам, Сергей Ильич. Что же это вы все взваливаете на себя? Внимателен — невнимателен, заметил — не заметил... Разве в этом суть и корень? Кто мы, здесь собравшиеся? Товарищ профессор-химик. Товарищ Рита... Маргарита — извините, так и не разгадал вашего отчества; что вы, слышу я, пишете, честно признаюсь, мне не по зубам, что-то там лингвистика, математика, не смею, не смею судить, но от понимающих, которым завидую, слышу: замечательные работы. Теперь, значит, я: так сказать, из обольстительного мира эстрадного лицедейства. Иван Иванович и другой товарищ, по отчеству Аркадьевич, начали войну рядовыми в ополчении, кончили у рейхстага командирами. Откуда знаю? Поглядите на выправку их! А у меня привычка, вторая натура, мало что подмечать, еще и разузнавать; и не одно смешное! Хозяин наш кто? Отличный инженер. Товарищи дамы! Товарищи девушки! Честь и почет, каждая на своем месте, большом ли, малом, работяги-трудяги, любую взять — своя специальность, свой профиль в своей, как говорится, системе. Люди уже до чего разные, а главное-то, выходит, у нас у всех общее. *Товарищи*. Так и говорим, называем: мы — товарищи. *Свои*. И хорошая же штука это, скажу вам! А вот подзабыли. Про то забыли, чего никак забывать нельзя. Про суть и корень. И пошли-поползли трещины-щели. А чуть поползли, в них и просунется головешка: Сменяльщик Лампочек на Потолочной Люстре. Упустили, что надо больше верить друг другу. Опираться друг на друга. Каждый в одиночку что значит? Ничего не значит. Как я без вас: по себе-то оно лучше видно. Вот он и урок. И мне, старому хохмачу, который, кажется, сейчас всех уморил скукой — ай-ай-ай! Ну хоть предварил о том, так что повинную голову... простите уж великодушно, отслужит, отслужит голова!

1976

ДВА ВОВСЕ НЕВЕРОЯТНЫХ СЛУЧАЯ

1

Чуть речь зашла о пополнении в уставные сроки некой выборной ученой корпорации, ее глава, исследователь и теоретик, рекомендовал своего ученика, человека уже немолодого, который заждался этого последнего признания — всеми прочими он давно был взыскан. Комитет, взвешивающий кандидатуры, принялся скрупулезно разбирать то, что, в сущности, у всех на виду; недаром в его состав входило несколько виртуозов микроскопической техники. Обсуждение затягивалось. «Все то же, то же,— с горечью пожимал плечами глава корпорации.— Поплотнее затворить двери — мы сами тут, а после нас... вот бы так, чтобы после нас не пускать больше никого! Будь даже солнце — и на нем начнут высматривать только пятна».

Его считали счастливчиком, баловнем судьбы. Университетская скамья — на заре времен, лаборатории, экспедиция, сотня публикаций, книги, ступеньки за ступеньками, степени, награды, неколебимый авторитет — и лишь один он помнил, не мог забыть те несколько черных шаров, которые и ему подложили при баллотировке точно в таком же комитете когда-то, на заре времен... «Ах уж эта консервативная закоснелость — и при нынешнем развороте дел, требованиях времен. Анахронизм! Пора впустить глоток свежего воздуха, да, да, не остановясь и перед пересмотром структуры, хирургическим вмешательством, так сказать, если потребуется. Таков прямой долг; впрочем, это крайность...»

Он выступил в комитете сам. Выступление было блистательным, суть состояла в доказательстве, что дважды два — четыре, а между посылкой и выводом с железной логикой вместилась та эрудиция, которой совершенно справедливо дивился ученый мир.

Но тут автору приходится расписаться в своем полном бессилии сколько-нибудь внятно изложить ход событий. Задача эта совершенно неразрешима без полета художественного воображения. В нем единственная надежда и якорь спасения. «Прекрасно,— как можно представить,

сказал себе оратор.— Я глава и руководитель. Это обстоятельство никоим образом нельзя недооценивать. Каждое мое слово — magister dixit. Сверх того, речь мне на редкость удалась; такие вещи всегда чувствуешь. Итак, единогласие при баллотировке «за» — единственный логически возможный результат. И, как видите, безо всяких оперативных, хирургических... Превосходно! Бывало ли нечто подобное в практике комитетских голосований?! Да, вот именно... Интересный вопрос! *Бывало ли нечто подобное?* Следовало, пожалуй, предварительно свериться в архиве. Чтобы избежать вполне возможных нареканий, едва ли не обвинений в злоупотреблении моим особым положением. Мы, бесспорно, создаем прецедент: надо остерегаться бестактности. Ведь даже тогда, даже в случае со мной...» Воспоминание о тех немногих черных шарах — на заре времен, пусть все давно забыли, кроме него, оно горело, как незаживающая рана...

«Я поступлю вот как: положу черный. Один черный, все белые: вполне пристойно. И мы не переборщим. Есть мера вещей: в конце концов, я-то знаю, не Исаак же Ньютон баллотируется...»

Когда открыли урну, в ней лежали одни черные — без единого белого.

2

В некотором царстве, не в нашем государстве...

Но боюсь, я не имею права начать такой классической фразой, которая просто значила бы, что немыслимая эта история не происходила нигде.

Достоверно, что случилась она не в наше время.

Гражданин (возможно, то была гражданка) маститых лет снискал (или снискала) известность в одном из широких и зачастую — что скрывать? — несколько легкомысленных кругов деятельности, обозначаемых общими словами «журналистика», «литература», «искусство». История умалчивает, чем именно он или, допустим, она прославился (либо прославилась). Достоверно, что престиж работника основательного и трудолюбивого, репутацию стилиста, находки своего страстного пера он возмечтал увенчать беспристрастными и бесстрастными академическими лаврами. Что диковинного? Я знавал серьезнейших докторов наук, отважных путешественников, разведчиков высот и

недр, даже шахматистов, какие остались бы безутешными, если бы за ними не признали, сверх всего, достоинства искусных мастеров слова, притом не в дружеском общении, а по всей форме — с подписями и приложением печати.

Существует немало научных объединений, институтов, ассоциаций, причастность к которым способна весьма лестно повысить самоуважение. Но наш герой предпочел — по причинам, о коих несловоохотливая история тоже ничего не сообщает,— научное сообщество, принадлежащее не метрополии, но одной национальной республике. Не исключено, что его навело на эту счастливую мысль звучание собственной фамилии. Судить не берусь. Но так или иначе туда и был направлен увесистый вьюк с книгами, пакетами вырезок, пачками журналов.

Совет или разряд, куда он попал, составляли шесть действительных членов. Они подымались один за другим, делясь своими впечатлениями.

— Ни строчки на нашем языке...

— ...которым, кстати, отправитель вообще вряд ли владеет...

— ...что, впрочем, не в укор, не в укор! Какое это имеет значение? Решительно никакого. Даже естественно — в настоящем характерном случае. Однако при чем тут, спрошу, наша организация...

— ...особенно если учесть, что та единственная книга, о которой еще можно бы упомянуть в данной связи...

— ...посвящена деятелю совсем другой республики...

— ...куда, полагаю, и уместнее обратиться претенденту.

Короче, мнение шестерых в единой, дружной своей недвусмысленности напрочь исключало любую щелочку для надежды.

И вот, дойдя до этого грустного пункта... нет, я не просто бессилен, я в отчаянии. Передо мной зияет пропасть, бездна — какой костыль, ковер-самолет, порыв художественного воображения поможет перенестить через нее?

Каждый из шестерых, садясь на свое место, окидывал прочих воинственным оком. «Все это совершенно справедливо. Но что я слышу?! Они, эти пятеро, перехватывают мои мысли. Присваивают их. И всовывают мне в рот — что̀ говорить, в мозг — что̀ мне думать. Дуют в дуду, а я пляши?! За ручку меня, как маленького! На веревочке, как... (Отсюда читатель вправе заключить, что в данном совете или разряде создалась в те баснословные времена

ненормальная, неправдоподобная, я бы сказал даже — сверхъестественная, фантастическая обстановка, к счастью, вовсе невозможная в наши дни). Так я же, шалишь, удружу им, голубчикам! Пусть они там оптом, стадом, скопом. А я...»

Когда открыли урну, в ней оказалось шесть голосов «за».

1967

ВОДОНОС ЮСУФ

1. БЕЛЫЙ ОСЕЛ

— Сколько еще раз, о сын скорпиона, ты будешь стучаться в мою дверь с тощими мехами на плечах, прежде чем сделаешь свое дело? — спросил почтенный Абдалла абд ар-Рахим аль-Халак у Юсуфа, согнутого в дугу под тяжестью ноши.

— Не гневайся, эфенди,— сказал Юсуф, водонос.— День жгуч и зноен. Пот и пыль ослепляют меня. Шея моя стерта в кровь. Но никому не поднять мехов тяжелей моих! И хвала Аллаху: цистерна полна, как мы договорились.

Однако мудрый Абдалла велел ему не просто опорожнить, но и выкрутить, выжать последний мех, чтобы в нем не остались нечестно утаенные капли воды, по справедливости принадлежащей хозяину. Он любил лично вникать во все мелочи, не щадя сил и времени, ибо каждый обязан трудиться на своем месте, не покладая рук, как то и заповедано Книгой, опустившейся с небес на землю в Ночь чудес, называемую также Ночью могущества.

Затем он внимательно выбрал в кошеле две наиболее стертые монетки — то были пара́ или миллимы — и подал их Юсуфу.

Но водонос ударил обеими заскорузлыми ладонями в грязный сарык, тряпку, обмотанную вокруг коричневого лба.

— Сжалься! Что купит на это моя жена голодным детям?

— Вот ты как! — грозно сказал почтенный Абдалла абд ар-Рахим аль-Халак и выставил вперед красную туфлю с загнутым носком.— Значит, не рвение к труду оду-

шевляет тебя, а презренная корысть, сын свиньи и праха? Не любовь ко мне, а стремление воспользоваться мной? Вскочив на спину, продолбить темя? Клянусь, ты выучишься благодарности. Эй, слуги! Палок!

— Конечно, господин, я люблю тебя.— И Юсуф низко поклонился.— Спасибо, господин. Но умоляю, просвети меня, за что я тебе благодарен и так горячо люблю тебя?

— За что? За что, негодный? — в голосе благочестивого Абдаллы задрожали слезы обиды.— Как за что?! Да за то, что ты и твои шелудивые дети, набивши брюхо просяной лепешкой, избегнут смерти: ты обязан мне жизнью. За то, что ничтожная твоя жизнь услащена удивительными и прекрасными зрелищами, которые я дарую тебе. Взгляни, как светится гладкий камень моей цистерны сквозь прозрачную воду. Обернись: там идут мои верблюды с глазами змеи и лебединой шеей. Ты обратил ли еще внимание, как расшито цветными шелками седло коня, на котором я выезжаю? Любуйся же, не платя ни обола! А мой осел — такой белизны, какой сроду ты не видывал и не увидишь больше, пока не расстанется с телом жалкая твоя душонка. Так или нет, отвечай, я спрашиваю тебя!

— Слушаю и повинуюсь. Камень твоей цистерны, эфенди, шершав и сер: поглядел бы ты на плитки с розовыми жилками в виде рыбок в доме вдовы Навахи Зад ад-Давахи. И разве не втрое больше верблюдов у твоего соседа Мустафы абд ат-Тавваба? А если бы ты повстречался с ослом уста Али, копальщика колодцев, то забыл бы о белизне своего, чью шерсть, по правде, будто там и сям жевали коровы мягкими губами.

— Губы... нет, зубы, клыки гиены вонзаешь ты в руку, кормящую тебя! И какой-то Али, копальщик колодцев...— Дыхание благородного Абдаллы пресеклось: кто остался бы равнодушным, видя и слыша это? — Но я,— воскликнул он,— вгоню обратно в твою пасть смрад, извергнутый ею! Слуги! — опять воззвал он.— Или вы оглохли и не про вас сказано: «Меч власти длинен»?

— Помедли, великодушный, и рассуди сам,— возразил водонос.— Если я буду слово в слово повторять за тобой, зачем тебе мои слова? Если не слушаешь ответов, для чего спрашиваешь? Не проще ли в таком случае говорить одному — да продлит Аллах твои дни, чтобы дольше звучал в твоих ушах собственный голос, ни в чем не переча и не противореча тебе!

2. ЗЕРКАЛО

Однажды водонос Юсуф, придя со своими мехами, застал во дворе всех слуг и сидящего перед ними на возвышении почтеннейшего Абдаллу абд ар-Рахима аль-Халака.

Торопливо слив воду, Юсуф хотел незаметно удалиться, потому что до полудня ему предстояло обойти еще пятнадцать дворов, а босые ноги его стали далеко не так выносливы и быстры, как в прежние годы.

Но Абдалла-эфенди остановил его знаком.

— Я числю тебя принадлежащим к моему дому. Побудь же с нами и послушай.

И он продолжал свою речь:

— Итак, я возвещаю вам про Омара Абу-Бабá ибн ас-Сааба. Нечестивец этот, чье сердце буйвола сжирает неистовая алчность, не гнушается лично считать капли воды, которую приносит ему на своих покрытых язвами и струпьями плечах несчастный водонос Ибрагим. Подскобленные миллимы, позеленевшие парá — вот чем он, жиреющий на халве и кебабе, вознаграждает каторжный труд,— просяной лепешки бедняку не купить для голодных жены и детей... Горько говорить об этом, о домашние мои! Умолчу ли, однако, и о прочем? Он забил палками раба лишь за то, что тот отказался вторить ему, но, хуля его дом, его коз, халаты, клетки с павлинами, его сына, жен и бородавку на лице, восславлял, как и подобало, мой дом, обилие моих слуг и стад, мою цистерну, важность моего лица и красоту чалмы. Он забил его фалакой и бамбуковыми палками, понося при этом меня чудовищными и завистливыми ругательствами, надеюсь, вам понятно, что я никогда не унижусь настолько чтобы отплатить негодяю подобной монетой. Но вот почему, мои верные, я до седьмого колена не прощу исчадиям и отродьям этой ехидны, пиявки, осквернителя святынь, которому надо срубить голову на площади аш-Шихаб, мерзостного карлика, клятвопреступника, скотоложца, братоубийцы, шута, палача, желтого пса Абу-Бабá! Что же, Юсуф, любящий поговорить, что скажешь, любезный мой, о гнусном его поведении?

— Ты прав, прозорливец: поведение его гнусно. А раб, о ком ты поведал, как и водонос Ибрагим, мне друг...

— Видишь! Радуюсь нашему единомыслию. Так воскликнем сообща: Абу-Бабá — да сгинет он, и дети его, и дети детей! Да скажет ему Джебраил, податель кре-

ности и мощи: «Помесь козы и грейпфрута! Вот я отвращаю от тебя свое лицо». И скажет Азраил: «Я тут, чтобы выдрать из твоей груди вонючее черное сердце». И да напьемся мы вволю кофе без сахара, что подадут в его доме на его поминках!

Казалось, гремящий голос самой Истины возносит к небу эти справедливые пожелания.

И все смолкли, прислушиваясь.

Многодумный Абдалла абд ар-Рахим аль-Халак беспокойно погладил бороду.

— Что делать? Уши неба закрыты. Абу-Бабá все еще жив. Это очень странно. Он жив. Он живет как ни в чем не бывало. Что мы упустили? Сотворим же, спевши хором подобающую молитву, истихаре — гадание по Книге, вместилищу всех знаний, дабы узнать, чего именно нам недостает в нашем благородном рвении.

— Я дам тебе ту вещь, какой недостает,— отозвался Юсуф.

— Вещь? Ты? Ты знаешь? И ты дашь? А где тебе, нищему, взять?

— Здесь, у тебя, обладатель сокровищ.

— Беги же, ищи! В любом покое, среди всего, чем я владею! И принеси, не возвращайся без нее! Скорее ступай!

Но Юсуф только шепнул несколько слов шустрой прислужнице гарема, что, привлеченная криками, горя любопытством, показалась на миг с прикрытым лицом за оконной решеткой в дальнем конце двора. И та проворно юркнула куда-то, чтобы тотчас, приоткрыв низенькую дверцу, просунуть в нее обернутый тканью плоский предмет.

— Это? — спросил Абдалла, оттопырив губу.

— Да. Простая вещь, которой недостает.

— Но, джинны и шайтан, что же это?

— Зеркало,— сказал Юсуф, откидывая ткань.

1968

СЯНСКИЙ

Он так хлопотал о футбольной команде, что я готов был счесть ее кровным его детищем, хотя и твердо знал — он тут ни при чем, формируют другие. Собственно, хлопотал он не столько о нашей, сколько о команде противников. Бог весть откуда — вот где бесспорна его заслуга! — он раздобыл биографии всех ее игроков. И не просто биографии, а, так сказать, препарированные, насквозь просвеченные рентгенограммы биографий. И тасовал их так и этак. Примерно пяти игрокам следовало заявить решительный отвод: Сянского не устраивали даты их паспортных пометок о начале работы на данном предприятии. А когда они, черт возьми, вообще прописаны по своему местожительству? Вот чем надо еще заняться!

— Борис,— спросил я его,— как вы расцениваете нашу команду?

— Сильнейшая из всех! — ответил он, даже не посмотрев в лицо человеку, способному задать дурацкий вопрос.

— Чего же вы так стараетесь о зеленой улице для нее? Я, как и вы, уверен в победе. Но крепче противники — интереснее встреча. И нет же ни малейших оснований — вам отлично известно — подозревать их в подтасовке. Заслуженные люди, о комсомольском коллективе пишут в газетах, у председателя профкома — золотая звездочка.

— Наш выигрыш должен быть обеспечен.

— Я не понимаю. Мы увидим отличную игру. Тем лучше. Кто сильнее, тот победит.

Он взглянул. Между ним и мной мгновенно выросла стенка. Он глядел не на меня, а как бы измеряя ее толщину.

— *Мы* так не думаем,— кратко бросил он.

И это «мы» настигло и прихлопнуло меня за незримой, но алмазно-твердой преградой.

Я полагал, что наше мимолетное знакомство на этом и оборвется. Но ничуть не бывало. Вскоре я понял, что он числит меня в сонме своих приятелей. Тех, что обступали его кольцом, едва он появлялся где-нибудь во Дворце культуры или в павильонах и на площадях летнего парка.

Да и шутка ли, он знал все. Касалось ли дело накала страстей во время хоккейных встреч с канадскими профессионалами, олимпийских прогнозов или, выходя далеко за рамки спорта,— извлечения с ловкостью фокусника скрытого смысла из нового пространного стихотворения Евтушенко. И с такой же уверенной легкостью судил он о любом сложном переплете в международной политике, о тайных (но, очевидно, открытых ему) замыслах Пентагона. И какие неведомые детали и подробности он щедро рассыпал перед завороженными слушателями! Честное слово, возникало совершенно немыслимое впечатление, что он не просто *знает,* но неким непостижимым образом причастен к вожжам, правящим бегом событий!

Шло удивительное время. То, что чуть не вчера было лишь сказочным достоянием фантастов — космические полеты, вошло неотъемлемой частью в нашу жизнь. Их героев вся страна называла по именам, сразу узнавала на экранах телевизоров. Геологи и строители нарушили, казалось, беспробудный сон вечной мерзлоты. В ящике Кащея на морском дне распечатывали залежи нефти. Менялись вековые облики городов.

— Сталь и стекло! — резюмировал Сянский.— Сейчас это мировой стандарт. Градостроительство сегодня — геометрическая проблема. Архитектурным объемом становится высь, прежде отданная ангелам и воробьям. А вся эта путающаяся в ногах рухлядь...

— Но, помимо рухляди, есть и нечто исторически сложившееся, здания и ансамбли, созданные великими зодчими, память о замечательных людях, живших, работавших, умерших здесь, любивших эту землю под ногами, небо над головой, живые отголоски народной истории — святые камни, напомни, кто так назвал, ты же все знаешь! И с маху, под одну гребенку, улицы, вековые парки ножом бульдозера...

— Я тебе отвечу: подобные взгляды в наши дни лучше излагать стихами. Понял? У тебя есть к этому несомненные способности!

И самая безоблачная из улыбок отклонила продолжение спора.

Однажды я застал Сянского за чтением статьи по ученому вопросу — наука касается всех! Слова «информация», «ДНК», «обратная связь», «эффект аннигиляции» доставляли ему острое наслаждение. Они казались ему разноцветными булавками, на которые бдительно и хитроумно насажена природа, непрестанно стремящаяся замести свои следы; он ни за что не поверил бы в отсутствие заднего умысла и в прямоту в каком угодно явлении мира. «Я человек любопытный»,— говорил он о себе. И это была истинная правда. Ему ничего не стоило обронить, к разговору, веские замечания не только о лазерах, но и о мазерах и даже каких-то разерах, о которых, каюсь, мы не имели ни малейшего представления. Но было очевидно, что выше всего ценил он вовсе не все эти знания, а те скрытые, особые, откуда и почерпал непогрешимость своих суждений.

Он поднял глаза от журнала и вдруг спросил меня:

— Ты следишь за исследованиями по парапсихологии?

Я был захвачен врасплох.

— Но, Борис...— пролепетал я.

— А тебе известны последние данные по летающим тарелкам? Надо быть в курсе. И по контактам с ними? Нет, ты не ослышался. Источники? Я мог бы сослаться на комиссию американского конгресса. Да, да, специальную комиссию. Мало? Есть и еще кое-что. *Кое-что:* тебе понятно? В подробности входить не буду. Ты, чего доброго, не слыхал и о пустом судне, судне, на котором не осталось ни души после того, как оно вышло из Бермудского треугольника?

— Но, помилуй, почему же об этом ни в общей, ни в специальной печати...

— Так надо! — отрезал он с великолепно-снисходительным презрением к моей глубокой младенческой наивности.

Нет сомнений, теперь-то я окончательно пал в его глазах! Но раздался телефонный звонок. Необходима встреча.

— А в чем дело? К чему такая срочность? Хоть объясни.

— Это не телефонный разговор.

Все оказалось просто. Сянский звал меня на Кавказ. О нет, не на курорт. В один из заповедников. И надо решать немедленно.

— Ты охотник? Кабаны и фазаны. Не знаю, как тебе, а мне не приходилось сшибать пулей орла в полете. Но это пустяки.— Он приблизил полные румяные губы к моему уху.— Сохранилось стадо зубров, не внесенное в государственную племенную книгу. Ты следишь? Не вписанное. Только нужно взяться с умом. Но если за это берется сам Иван Андреевич... Тебе ясно? Что? Ну уж у Ивана Андреевича возможности найдутся!..

Мне стало неловко, что я вовсе не умел разгадать, кто такой Иван Андреевич. А Сянский продолжал:

— Мы открываем сафари. Едем машинами — у тебя есть? Ты дал себе труд разобраться, какое значение приобрело сафари в современном мире? А вот такое, что без сафари нельзя представить себе его лица!

Увы, я упустил дать себе и этот труд. И не поехал, вполне отдавая себе отчет, что мое отсутствие вряд ли будет замечено довольно многоликой свитой сопровождающих — Сянский не терпел одиночества. Через одного из бесчисленных приятелей моего приятеля я только передал пожелание, чтобы пули миновали зубров и больше их осталось на нашей земле.

Долгое время мы не видались.

Жизнь была полна.

В печати развертывались дискуссии по нравственным, бытовым, литературным вопросам, проблемам градостроительства. Подчас дискутирующие стороны одинаково ревностно окрашивали факты в два контрастных цвета.

Никто не обвинил бы в этом моего знакомца. Теперь его голос не долетал. Я понял: он нетороплив. Он мудро выжидает конца споров, чтобы с присущим ему темпераментом заклеймить сторону побежденную и воспеть вдохновенную хвалу всем достоинствам стороны победившей.

Впрочем... однажды я прочитал статью. Начатая во здравие, а конченная за упокой, она парит «над схваткой». И я догадываюсь, что если она и не вылилась целиком из-под его пера, то, вероятнее всего, вдохновлена им.

А встретились мы, собственно, только еще один раз.

Он посвежел, посмуглел, будто раздался в плечах — сафари (к чему бы оно ни свелось) пошло ему на поль-

зу, что и неудивительно при его необыкновенном таланте извлекать пользу изо всех жизненных перипетий.

Смех его раскатывался еще громогласнее, а взгляд скользил поверх голов окружающих. Он куда-то торопился, повадка обрела небрежность — конечно, мое общество больше не казалось ему занимательным.

Я слышал — сейчас он готовится открывать лыжный сезон, должно быть, так, как открывал сафари. Полагаю, что вопрос стоит уже не о Бакуриани, не об Уктусских горах, тем более не об Опалихе под Москвой — влекут его, вернее всего, выси Татр, а то — чем черт не шутит — и снега Килиманджаро. Разумеется, приглашения на этот раз я не получил. Едет он в компании строго избранных, они, надо думать, уверенно опознают друг друга по одним им ведомым знакам вроде, к примеру, особым кукишем сложенных пальцев.

Так кто же он, Сянский? И какое из многоразличных занятий, посреди (или около) которых он вращается, его настоящее дело? Возможно, вы счастливее меня, и вам это известно. Убежден, что и вы знакомы с ним или, по крайней мере, слышали о нем!

1954; 1977

СОДЕРЖАНИЕ

Сафонов В. А.

С22 Собрание сочинений: В 3-х т.— М. : Худож. лит., 1982.—

Т. 2. Повести о бессмертных судьбах; На горах — свобода! Роман; Рассказы.— 1983.— 543 с.

Во второй том вошли биографические повести о последних днях Пушкина, о Тарасе Шевченко, о Некрасове и Рембрандте, а также роман «На горах — свобода!» о жизни великого ученого, путешественника Александра Гумбольдта и рассказы разных лет.

С $\frac{4702010200\text{-}125}{028(01)\text{-}83}$ подписное Р2

Вадим Андреевич Сафонов

Собрание сочинений

Том 2

Редактор
Н. Новикова

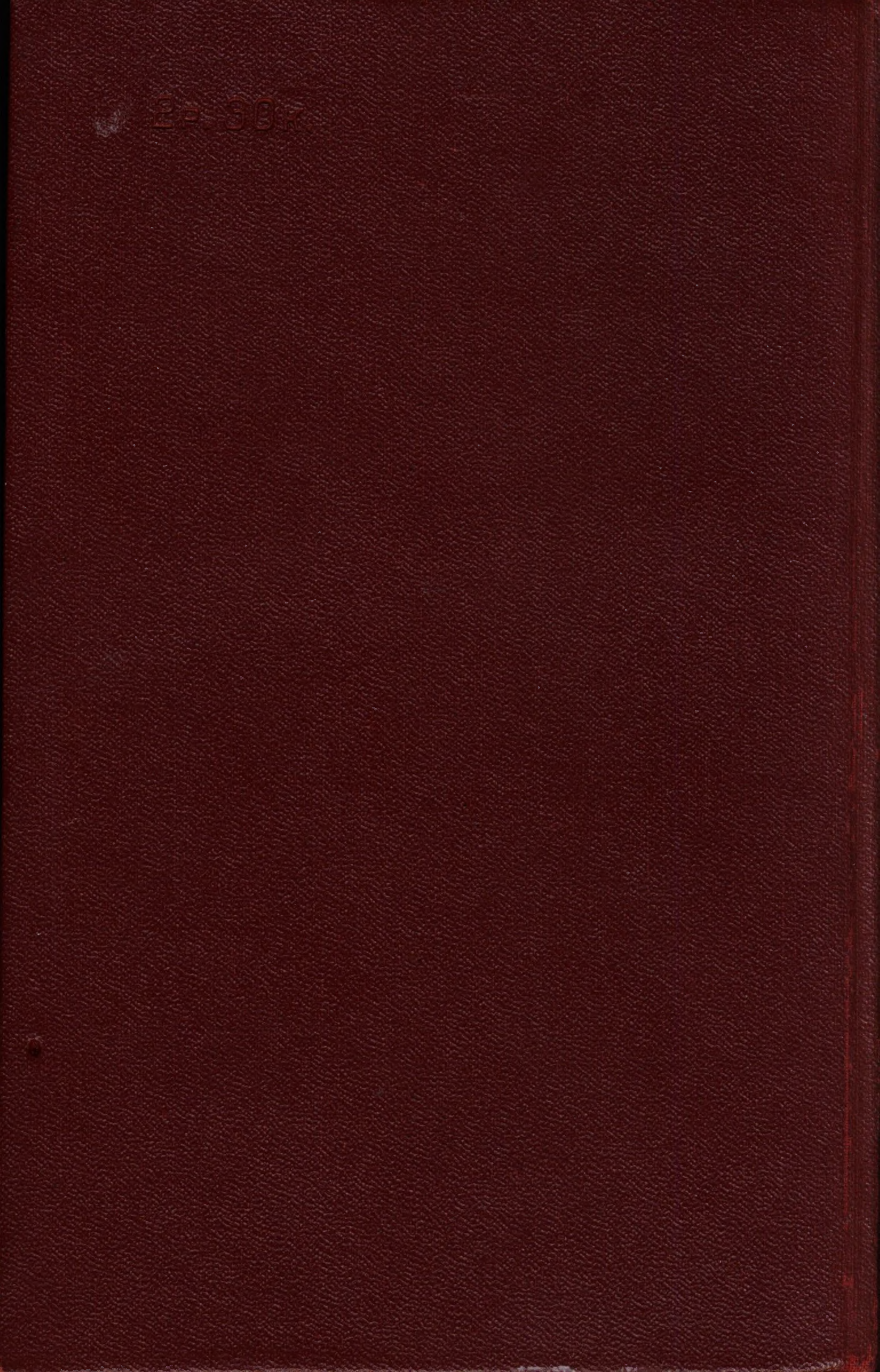
Художественный редактор
Е. Ененко

Технический редактор
Л. Синицына

Корректоры
М. Миримская, М. Сафронова

ИБ № 3044

Сдано в набор 06.05.82. Подписано в печать 24.12.82. А09742. Формат 84×108[1]/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 28,56. Усл. кр.-отт. 28,56. Уч.-изд. л. 30,2. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-601. Зак. № 1342. Цена 2 р. 30 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882. Москва, Ново-Басманная, 19. Отпечатано с матриц Головного предприятия на Киевской книжной фабрике республиканского производственного объединения «Полиграфкнига» Киев, 252054, ул. Воровского, 24.


2 р. 30 к.


2
Вадим Сафонов